

Библиотека  
Московской  
школы  
политических  
исследований

---

*Пресса в обществе*  
(1959–2000)



**Институт  
социологии РАН**



**Библиотека  
Московской  
школы  
политических  
исследований**

Библиотека Московской школы  
политических исследований

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев

В. А. Найшуль

Е. М. Немировская

А. М. Салмин

Ю. П. Сенокосов

А. Ю. Согомонов

М. Ю. Урнов

*Пресса  
в обществе  
(1959–2000)*

Оценки журналистов  
и социологов. Документы

*Московская  
Школа  
Политических  
Исследований*

2000

ББК 84.7  
П 77

Авторы и исполнители проекта А.И. Волков, М.Г. Пугачева, С.Ф. Ярмолюк

Художественное оформление серии Андрея Бондаренко

Книга подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) проект № 00-03-00105

ISBN 5-93895-008-2

© Институт социологии РАН, 2000  
© Московская школа политических исследований, 2000  
© А. Волков, М. Пугачева, С. Ярмолюк, 2000

# Содержание

Предисловие .....	7
1959–1964	
<i>Р.Н. Аджубей</i> “Решающий шаг был сделан” .....	14
<i>Б.А. Грушин</i> “Институт общественного мнения — отдел “Комсомольской правды” .....	46
1964–1968	
<i>Г.С. Лисичкин</i> “План и рынок”: научная дискуссия для массовой аудитории” .....	66
<i>Э.М. Максимова</i> “Здесь я могла работать, не изменяя себе” .....	83
<i>А.И. Волков</i> “Из публицистов-технологов мы превращались в обществоведов” .....	93
<i>В.Э. Шляпентох</i> “Я знал, что думают читатели “Известий”, “Правды”, “Труда”, “Литературной газеты” .....	108
1968–1972	
<i>И.И. Виноградов</i> “Это был единственный легальный оппозиционный журнал” .....	124
<i>И.С. Кон</i> “Каждая новая публикация поднимала планку возможного” .....	141
<i>В.Н. Шубкин</i> “Стремление “изменить жизнь” было у меня почти марксистским” .....	158
<i>Ю.П. Сенокосов</i> “Были иллюзии, были надежды и была реальность...” .....	169
1972–1985	
<i>А.Б. Борин</i> “Нам удалось вытащить из тюрьмы 37 невиновных...” .....	186

<i>Л.В. Степанов</i>	
“Гнездо ревизионизма” .....	200
<i>А.Т. Гладилин</i>	
“Все делалось скорее для самоочищения” .....	228
<i>О.Н. Яницкий</i>	
“Пресса соединяла людей в “гражданских инициативах” .....	241
1985–1993	
<i>Е.В. Яковлев</i>	
“Пресса равна общественному состоянию” .....	258
<i>О.Р. Лацис</i>	
“Мы должны были развернуть эту пушку в другую сторону” .....	272
<i>Е.Т. Гайдар</i>	
“Перемены в сознании неизбежно запаздывают” .....	290
<i>В.А. Коротич</i>	
“Быть соизмеримым со временем...” .....	306
<i>Т.И. Заславская</i>	
“Мы не знали того общества, в котором жили” .....	334
1993–2000	
<i>Ю.А. Левада</i>	
“В мире аудиовизуальной коммуникации нужен новый тип газеты” .....	354
<i>Р.С. Шакиров</i>	
“Так “Коммерсантъ” стал газетой влияния” .....	372
<i>С.Б. Пархоменко</i>	
“Журналистика прошлого и настоящего — две разные профессии” .....	384
<i>И.Е. Петровская</i>	
“Думать — тоже работа” .....	405
<i>А.К. Симонов</i>	
“Мы проскочили момент личной ответственности” .....	418
<i>В.А. Ядов</i>	
“Ищем “других”, чтобы найти себя” .....	436
Документы	
Предисловие к документам .....	453
I. Пресса и цензура .....	456
II. За рамками экономической дискуссии в печати .....	474
III. “Новый мир”: зафиксированные позиции .....	500
IV. Лики писем .....	526
V. Настроения в обществе: спецслужбы сигнализируют .....	539
VI. “Дело Карпинского — Лациса” .....	558
VII. СМИ, читатель, власть: мозаика цифр и фактов .....	577
Об авторах .....	601
Именной указатель .....	608

## Предисловие

Еще совсем недавно, казалось бы, мы бежали навстречу почтальону, чтобы забрать толстую пачку газет и журналов, которая просто не влезала в почтовый ящик. Потом, уже в перестроечные времена, то и дело ремонтировали его замки, потому что воры-интеллектуалы регулярно крали “Московские новости”, “Огонек” и другие издания. Теперь почтовые ящики в подъездах почти пусты, а дверки их распахнуты настежь. Оттуда сыплются на пол только листочки рекламы... Что-то произошло в отношениях прессы и граждан.

Объяснения этому не лежат на поверхности. То, что произошло, имеет свою историю, глубокие корни. Представляется интересным и важным проследить, когда и почему в прессе начались перемены и как это связано с переменами в обществе. Как взаимодействовала пресса с общественным сознанием и влияла на окружающий нас социальный мир. Чем была и чем стала в результате наша печать и хорошо это или плохо — то, что с ней произошло. Ответить на эти вопросы необходимо для лучшего понимания общества, в котором живем.

Пресса в обществе. Пресса — сознание — социальный мир. Так мы сформулировали для себя тему исследования и тему книги, подготовленной на его основе. Период — от конца 50-х до наших дней. Основание для такого выбора — в том, что во времена оттепели, после критики культа личности Сталина, впервые в истории советского государства в необычайно широких слоях общества возникло сомнение относительно его устройства. Пробудилась и потребность поиска лучших путей в будущее. С этим связаны и перемены в печати. Они, однако, не стали непрерывным процессом. Нами пережиты и времена “заморозков”. И все же конец столетия совпал с завершением того этапа перестроечно-реформаторской эпохи, когда интересующий нас процесс трансформации общества и прессы если и не привел их еще к некоему новому устойчивому состоянию, то прошел кульминацию.



Развитие прессы как социального института интересно прежде всего *содержательной* стороной. Это в какой-то части, причем очень важной, — история идей, история общественной мысли, которая не только находила отражение в печати, но и стимулировалась ею. Нас эта сторона процесса интересовала прежде всего.

А вместе с тем — и *перемены в функциях прессы*. Основные ее функции хорошо известны. Прежде всего это информация, коммуникации, необходимые для жизни современного социума как, скажем, кислородный обмен для любого организма. Пресса непосредственно причастна к тому, что социологи называют социальным действием. Она конструирует образы социального мира и так или иначе внедряет эти образы в сознание своей аудитории. Но “если люди конструируют социальное пространство определенным образом, то эти конструкции реальны по своим последствиям”, — так формулируется известная “теорема Томаса”, одного из видных американских социологов 30-х годов.

В периоды значительных социальных потрясений и преобразований обнаруживает себя еще одна функция прессы, постоянно присутствующая, но в такие вот моменты проявляющая себя как обостренная общественная потребность.

Обратим внимание на сигналы социологов, социальных психологов, всех обществоведов, которые фиксируют в моменты крупных социальных потрясений растерянность и фрустрации, утрату четкости ориентиров и разрывы в социальных контактах, а отсюда — резкие смены в поведении граждан и подчас его неадекватность. Хотя и в различной степени, это проявилось в связи со смертью Сталина, затем — с осуждением его культа, во время последующих смен власти и реформ, особенно с началом горбачевской перестройки и крутых поворотов в политике ельцинской поры. Взрыв всей социальной материи 80–90-х годов, смена, да еще и не одна, едва ли не всех общественных оценок прошлого и явлений настоящего, самих критериев этих оценок, касающихся общественного устройства, политики, собственности, отношений людей в производстве и в быту, — все это можно охарактеризовать емкой шекспировской фразой: “Распалась связь времен”. Суть в том, что если рушатся представления о прошлом, как следствие рушатся и представления о будущем. Возникает потребность как бы в *новой идентификации личности*, самоопределении каждого в этом быстро меняющемся мире, поиск своей группы, “наших”.

А вместе с тем — потребность в образовании *новых солидарностей* ради совместного активного действия, чтобы устроить мир вокруг себя, весь социальный мир в максимально возможном соответствии со своими интересами и представлениями. Как это происходит? Какую роль в этом процессе играет пресса в качестве *общественного организатора*?

Глобализация всех общественных процессов заставляет задуматься, почему тема воздействия печати, а также других средств массовой информации на сознание людей, а конкретнее — на рождение и развитие социальных движений, на политику партий и государства привлекает внимание общественности во всех странах и обретает некое новое звучание. Выходят книги (в основном за рубежом), публикуются статьи, в которых выражается озабоченность огромным влиянием СМИ на судьбы общества. Они сменяют правительства и министров, создают условия для карьеры тех или иных публичных политиков, манипулируют массовым сознанием во время выборов и иных кампаний, вмешиваются в личную жизнь граждан настолько, что ставится вопрос: как должны соотноситься права прессы и права человека? СМИ называют “четвертой властью”. Вместе с тем западное общество озабочено их *деонтологизацией*. Их свобода, за которую долго и упорно боролись, стала проблемой. Она, если судить по непрерывным атакам на прессу, актуальна и для нас. Какие, однако, она обрела особенности в России?

Оговоримся, что в книге не рассматривается роль и деятельность всех средств массовой информации. Предмет нашего внимания — именно пресса. Радио, телевидение, информационные агентства, Интернет достаточно специфичны в смысле и роли, и функций, и форм работы. К тому же именно печать во второй половине уходящего века претерпела столь серьезную трансформацию, причем особенно стремительную в России, что сегодня исследователи говорят о ее небывалом расцвете, а вместе с тем — о том, что “печатная пресса”, если употребимо такое тавтологическое выражение, обречена на исчезновение. Последнее связывается, в частности, с развитием аудиовизуальных средств информации. Несомненно: возросшая конкуренция с ними вносит нечто новое в жизнь прессы, и вот с этих позиций в книге в какой-то мере рассматриваются и СМИ в целом.

В поле нашего зрения и *проблемы восприятия* читателями тех импульсов, что идут от прессы, а также вопросы обратной

связи. Особый вопрос — о союзе науки и прессы. С тех пор как ученые стали все больше обращаться к периодической печати, не только научной, но и общеполитической, стремясь быстрее донести до широких слоев населения свои идеи и воздействовать на политические, экономические, социальные процессы, а печать — охотно публиковать их статьи, вопрос о возможностях, о потенциале такого союза стал актуальным. Интересен прежде всего такой парадокс: почему уже длительное время в печати идут широкие дискуссии с участием научных сил о средствах развития экономики, о совершенствовании демократии и так далее, но раз за разом приходится констатировать, что приняты не самые удачные решения, а самое нужное не сделано, что избраны не лучшие пути в будущее, а лучшие предложения отвергнуты, и “получилось как всегда”.

В последние годы упорно высказывается мысль о необходимости новой социальной доктрины или национальной идеи, которые могли бы объединить и направить к единой цели усилия всего народа. Но способны ли в принципе наука и пресса, действуя в союзе, хотя бы *корректировать общественное развитие*, а если уж по максимуму — открывать новые пути и способствовать лучшему выбору?

Начало обновления прессы, хотя оно и связано с оттепелью, мы датировем не 1956 годом, то есть не годом XX съезда. Перемены в печати, как, впрочем, и в других общественных сферах, не наступили немедленно после него. Напротив, здесь наблюдается значительный временной лаг. Только в 1959 году волна обновления пошла от Пушкинской площади, где находится редакция газеты “Известия”, и распространилась на всю страну. Поэтому мы предлагаем свою периодизацию сорокалетней истории нашей прессы.

Годы: 1959–1964. Это время от прихода в “Известия” А.И. Аджубея, в короткий срок изменившего содержание и облик этой газеты, с чего начались перемены и во всей советской печати, — до октябрьского пленума ЦК КПСС, положившего конец одной эпохе, эпохе оттепели, и начало другой, связанной уже с иными целями и мотивами общественной деятельности.

1964–1968. Это годы, когда в центре общественного внимания и, естественно, прессы оказались назревшие экономические реформы, а по сути — попытки совершенствования социализма, предпринятые почти одновременно в ряде стран “социалистического лагеря”. Пресса готовила их задолго до официальных решений. Завершает этот этап ввод войск в Че-

хословакию и подавление Пражской весны, что сказалось на всей печати, на всей ее тематике и на судьбе многих журналистов.

1968–1972. Это период противоборства инерции реформаторства и торможения реформ, сопротивления им со стороны утвердившегося у власти “нового класса” (М. Джилас). Конечный рубеж этого периода достаточно условен, граница здесь несколько размыта, но именно в 1972–1973 годах власти переходят к открытым репрессиям по отношению к журналистам, литераторам, интеллигенции вообще. Знаменательным событием стал разгон редколлегии “Нового мира” во главе с А.Т. Твардовским в 1970 году.

1972–1985. Откат, глухой застой в обществе и прессе. Вынуждены покинуть редакции “Правды”, “Известий”, других газет многие журналисты, определявшие лучшие черты этих изданий. Большинство газет и журналов деградирует. Быстро развивается пресса андеграунда. Конец периода связан с восхождением на вершину власти М.С. Горбачева, положившего начало реформам в обществе и эпохе гласности.

1985–1993. Само провозглашение перестройки почти сразу влечет за собой перемены в прессе, гласность — главное реальное завоевание этих лет. Но конечный рубеж мы определяем не по таким событиям, как распад Советского Союза, уход Горбачева с поста президента, а по новым изменениям именно в прессе. Партийно-советская печать завершает свое существование в 1992–1993 годах, нарождающийся рынок кардинально меняет требования и к содержанию изданий, и к их коммерческой политике. Начинается трудное самоутверждение новой прессы.

1993–2000. Это время, когда “расцветают все цветы”. Многие промышленно-финансовые группы покупают или создают свои средства массовой информации. Новая пресса живет полнокровной жизнью и... ожидает своего конца: будет ли она нужна олигархам в обществе, которое после выборов президента и Думы вновь претерпевает перемены?

Сама тема книги предопределила сотрудничество в ее создании журналистов и социологов, ученых-обществоведов, работавших или регулярно выступавших в тех изданиях, которые способствовали движению демократической мысли. Мы обратились к известным публицистам, редакторам и ученым с просьбой ответить на несколько основных, общих для всех вопросов “о времени и о себе”. Эти интервью дают возможность проследить развитие интересующих нас общественных процес-

сов. Не безразлично объективистские, не холодно отрешенные, они пронизаны собственными переживаниями авторов и связаны с судьбами других людей. Беспристрастность, справедливо возведенная в ранг едва ли не высшего научного принципа, в социальных науках, да еще в столь бурную пору, как наша, пожалуй, и невозможна. А оценки времен и событий людьми, их прожившими и пережившими, если эти оценки взвешенны и строги, обладают особой убедительностью и вместе с тем позволяют увидеть происшедшее, саму историю как бы стереоскопично.

Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу.

Книга содержит и раздел документов, подтверждающих достоверность изложенного в интервью, добавляющих весомости выводам и вместе с тем передающих атмосферу своих времен, их особые штрихи и краски. Публикация тех документов, которые обнародуются впервые, имеет, разумеется, самостоятельную ценность.

*А. Волков, М. Пугачева, С. Ярмолюк*

1959–1964

Р.Н. Аджубей

## “Решающий шаг был сделан”

“Странное чувство облегчения овладело мной. Я еще не знал никаких подробностей, когда мне позвонила жена и передала разговор с отцом. Он сказал, что вопрос с ним решен. Подбодрил тем, что на заседании Президиума ЦК отметили рост подписки на газету “Известия” (с 400 тысяч в 1959 году до почти 9 миллионов на октябрь 1964 года) и что мне, как было сказано, “подыщут соответствующее журналистское занятие”... Я понимал, конечно, что найдется немало людей, которые расценят мое спешное увольнение по-своему: Аджубей занимал свой пост по протекции, его карьера зависела от родственных связей. Честно сказать, сам я так не думал: кое-что смог и успел сделать в журналистике”<sup>1</sup>.

— *Представляется закономерным, Рада Никитична, что первое интервью в этой книге должно быть ваше. Все, кто долгое время работал или работает в журналистике, знают, что наша пресса, как и ее влияние на людей, начали реально меняться с конца 50-х годов. Вам ближе, чем многим другим, знакома сложившаяся тогда ситуация — и в обществе, и в печати. Что ее определяло?*

— Хочу предварить наш разговор неким общим посылом. Первое. Я — лицо пристрастное (хотя и стараюсь быть объективной). Ведь речь пойдет о самых близких мне людях: Хрущев Никита Сергеевич — мой отец, Аджубей Алексей Иванович — муж. Второе. Мои рассуждения — не более чем мысли по поводу, оценки — скорее эмоциональные, чем аналитические. Я не историк, не политолог, я — просто современник той далекой уже поры, свидетель...

<sup>1</sup> Беседу с Радой Никитичной Аджубей сопровождают (по согласованию с ней) выдержки из книги А.И. Аджубей “Те десять лет” (М.: Советская Россия, 1989. С. 7–8, 18, 21, 59, 90, 179, 182, 187, 199, 282). — *Прим. ред.*

А теперь — к теме.

Конечно, определяющим был 1956 год, XX съезд партии, секретный доклад Никиты Сергеевича Хрущева “О культе личности Сталина”. Это, безусловно, крутой вираж в истории страны и событие, взорвавшее наше, казалось, монолитное общество изнутри. С тех пор прошло более сорока лет, что немало в масштабе человеческой жизни. В эти годы уложилось правление Л.И. Брежнева, похоронный kaleidoscope престарелых генсеков, всплеск горбачевской перестройки и годы мучительных поисков дальнейших путей развития страны и общества в русле демократии. Достаточное удаление, позволяющее оценивать события 50-х и 60-х в ретроспективе.

Вглядываясь из нашего сегодняшнего далёка, я думаю, не будет преувеличением сказать, что в феврале 1956 года произошла не менее, а, может быть, даже и более значимая революция, чем та, которую мы переживаем сейчас, уже в течение десяти лет. Думаю, сегодняшним поколениям трудно во всей реальности представить, каким было тогда внутреннее состояние нашего общества, несмотря на то, что они многое знают, им открыты архивы, доступны секретные когда-то документы. А мы жили в абсолютно замкнутом, регламентированном мире, где даже подумать о какой-то малейшей критике устоев, Ленина, Сталина считалось абсурдным, преступным. Я не говорю о тех, кого потом стали называть диссидентами, которые, скажем так, знали все. Я говорю о тех, которые, как я сама, не знали ничего. Мы в этом родились, выросли, верили, не задавая вопросов, — таковы были предлагаемые обстоятельства. Я думаю, таких в стране было большинство. Хотя потом, за все годы после XX съезда и после начала перестройки особенно, ко мне в журнал “Наука и жизнь”, где я работаю заместителем главного редактора, приходило множество людей, приходили как к дочери Хрущева, единственно затем, чтобы сказать “спасибо” (не мне, конечно) за избавление от тюрьмы, от клейма “враг народа”. И у меня было такое ощущение, что нет семьи, которую бы этот ужас, эти “посадки”, лагеря не затронули.

А на поверхности мы были слитны, едины. Но даже я, которая жила в особой, можно сказать, исключительной, обстановке (отец с 1939 года — член Политбюро ЦК ВКП(б) — вершина партийной номенклатуры), чувствовала, как сгущается атмосфера. Шел 1952 год. Я только что закончила Московский университет, мой муж, Алексей Аджубей, уже работал в “Комсомольской правде” литсотрудником, жили мы вместе с моими родителями. В



университете на наших глазах исчезали преподаватели — “космополиты”, опустела квартира наших соседей по подъезду — по ленинградскому “делу” арестовали ее хозяина, Н.А. Вознесенского, члена Политбюро ЦК партии, первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР. Забрали А.А. Кузнецова, секретаря ЦК, отца моей ближайшей подруги. Разразилось “дело” врачей-вредителей... И мы — уже взрослые, казалось бы, неглупые люди — верили, что вокруг враги, верили, что профессора-медики травят людей, а где-то глубоко шевелилось сомнение. Все это оседало и оседало в мозгу, давило. Было ощущение, что воздух вязкий, дышать нечем.

Ощущение — самое то слово. Тем не менее никаких вопросов я не задавала, и даже с Алешей мы на эти темы не говорили. Нараставший в обществе психоз разрядился смертью Сталина. Дышать стало легче, но принципиально вроде бы ничего не изменилось, хотя следующим потрясением после похорон вождя был арест и расстрел Берии. Это отдельная тема. Замечу только, что те, кто сегодня пытается изобразить его предтечей нашей демократии и радетелем за счастье людей, ссылаясь на буквы архивных документов, активно не хотят вдуматься в те обстоятельства, понять, кем был этот преступный циник, — исходя не из сегодняшних наших взглядов, а из контекста того времени. В этом и заключается принцип историзма.

И вдруг XX съезд.

— *И для вас это тоже было “вдруг”?*

— Да, именно так. Когда спрашивают: “Вы что-то знали? Отец с вами советовался?” — у меня это вызывает улыбку. Отец ни с кем из нас не советовался и ничего дома не обсуждал. Выступление его на XX съезде действительно готовилось втайне, это был взрывоопасный материал — сокрушение основ.

— *Что же его подтолкнуло?*

— Совесть. Я глубоко в этом убеждена. Его феномен состоял в том, что, будучи выдвигенцем Сталина, безоговорочно вставшим на сторону вождя в его борьбе с оппозицией в 30-е годы, работая долгие годы под руководством Сталина на самых высоких партийных и государственных постах, он каким-то чудом сумел сохранить свои, пусть утопические, представления о справедливом обществе, с чем когда-то шел в революцию, и самое главное — совесть. Скажут, это категория не из области принятия государственных решений, не побудительный мотив для политика; есть документы, воспоминания, утверждения... Да, есть, и я знаю, что все не так просто и однозначно. Покаяние в тех условиях бы-

ло несравненно более опасно, чем сегодня. Тем не менее берусь утверждать, что главным мотивом для Хрущева было: невозможность продолжать сталинский преступный курс по отношению к народу (он говорил, убеждая соратников: “Как мы в глаза людям будем смотреть?”) и желание сделать жизнь человека лучше. Он, как и многие сегодняшние, считал, что знает, как этого достичь.

Уже во времена перестройки, когда открылись шлюзы и каждый день обрушивал на нас новую информацию, я узнала, что после смерти Сталина в ЦК КПСС (столь сильна была вера) к Хрущеву как к Первому секретарю окольными путями, иной раз зашитые в ватники, доходили отчаянные письма из лагерей, что еще до XX съезда он собирал совещание прокурорских работников и дал задания расследовать многие дела, и так далее. Конечно, он многое знал. И “расстрельные списки” подписывал. При всем этом я иногда думаю про то время: сегодня, когда опубликовано столько документов, архивных материалов, исследований, статей, мы знаем больше, чем он тогда. Так сложилось, что на многих заседаниях Политбюро он не присутствовал: работал на Украине, в Москву приезжал только по вызову. О каких-то решениях его даже не извещали. Потом война. Все военные годы он провел на фронте и тоже был в стороне от той “кухни”. А уже после смерти Сталина, оказавшись на вершине власти, встал перед выбором: что делать дальше?

— *Иногда сейчас говорят, что значение XX съезда преувеличивается.*

— Я могу только повторить, что, по моему убеждению, это была революция. В то время я воспринимала доклад Хрущева на XX съезде как естественный шаг по восстановлению справедливости. Сейчас я думаю, что это был гражданский подвиг. Посудите: сегодня, пытаясь заложить основы демократического общества, уже сколько лет мы не можем вырваться из вязкой трясины, и результат — увы! — проблематичен, непредсказуем. И если через сорок лет мы оказались столь неготовыми к этому шагу, то что говорить о времени 50-х. Тогда это был взрыв вулкана. Хотя и секретный.

Доклад у нас в стране был опубликован только в 90-е годы, даже при Горбачеве мне это сделать не удалось, несмотря на все усилия. С ним знакомили — читали вслух — на партийных и комсомольских собраниях. Я сама услышала его на комсомольском собрании биофака МГУ в 1956 году. Относительно недавно на съемках телепередачи “Старая квартира. Год 1956-й” я услышала рассказ Александра Николаевича Яковлева, работав-

шего в то время в отделе пропаганды ЦК. Он присутствовал на закрытом заседании, получив гостевой билет. Хрущев прочитал свой неожиданный доклад в полной, звенящей тишине. Прозвучали последние слова, сопровождаемые такой же тишиной, Хрущев сошел с трибуны. “Каждый спрашивал себя: что происходит? Боялся повернуться к соседу, посмотреть в глаза”. Многие восприняли антисталинский доклад, как сейчас говорят, неоднозначно.

Отец не раз рассказывал о своей полемике с Константином Михайловичем Симоновым, человеком далеко не ретроградного толка. Во время разговора с Хрущевым тот сказал: “Знаете, Никита Сергеевич, даже машине, когда она на полной скорости идет вперед, чтобы дать задний ход, нужно сначала остановиться, переключить передачу...” Он тогда уехал из Москвы, несколько лет работал корреспондентом “Правды” в Узбекистане. Размышлял, переосмысливал. Симонов — особая статья, был близок к Сталину, числился любимцем. А сколько самых обычных людей не могли принять виновность Сталина! Рушился символ веры, в которой были воспитаны поколения. У многих на переосмысление, выработку внутренней, собственной позиции ушли годы. И как непрочно были зачастую эти едва проросшие корешки демократических тенденций, можно было наблюдать уже в начале 70-х, в брежневские времена.

Один штрих. По Большой советской энциклопедии 1971 года издания я попыталась уточнить данные по Н.А. Вознесенскому, которого упоминала выше. И была потрясена. Казалось бы, заметка как заметка — биографические данные, перечень заслуг перед Родиной, последняя фраза: “Награжден орденами Ленина”. Ни слова о том, что был арестован и огульно обвинен, что погиб в тюремном застенке, где его зверски пытали. Что это, как не фальсификация истории, не оболванивание народа? А в нынешнее время приверженцы Сталина, последователи его политики и мировоззрения прорастают на нашей зыбкой политической почве, как грибы.

“...Административная система власти, созданная Сталиным, как раз и была рассчитана на непрерываемость мнений одного человека, вождя. Ушел из жизни Сталин, но Система не сдавалась. Эта Система — самое великое изобретение Сталина. Она пережила потрясения XX съезда. Сломать ее в те годы не удалось. И кое-кто будет стоять за ее сохранение до последнего и сегодня”.

Тем не менее решающий шаг был сделан. И обозначился тот перелом, который, конечно, определил дальнейшее развитие всех общественных процессов до 1964 года. Казалось, вот они, сияющие вершины, совсем близко. Но с 62-го движение стало пробуксовывать.

И вихри, вздыбившие общество, соответствовали силе взрыва. Вспомните, после XX съезда раскололось коммунистическое движение во всем мире, восстания в Берлине, Варшаве, Будапеште. И у нас были радикалы, призывавшие вооружить народ, выйти на улицы. Говорили о непримиримости палачей и жертв, о необходимости выявить, судить, истребить виновных. Генерал Григоренко — из того времени. Позиция отца была иной: “Понимаете, — говорил он, — мы расколем общество на два лагеря и, кроме гражданской войны и ужасов этой войны, ничего не получим”.

Сегодня упреки в его адрес сыпятся со всех сторон. Правые считают, что задушил демократию, левые — что предал революцию. Мне кажется, что опыт последних десяти лет подтверждает: к цели надо двигаться постепенно, просчитывая каждый шаг. Иначе катастрофа неминуема.

Сам Хрущев в то время еще в чем-то оправдывал Сталина, что-то в нем признавал, но у него хватило мужества высказать свое отрицание сталинизма. Я повторю: он был своего рода романтиком, и мечта его была столь же простой, сколь, судя по всему, и недостижимой — построить справедливое общество.

— *А справедливое общество — общество коммунистическое...*

— Несомненно. Причем коммунистическое общество в рамках существовавших в 50-е годы исторических реалий. А они: разрушенное войной хозяйство, бедность, талоны на многие товары, только что отмененные продовольственные карточки, подавляющее большинство городского населения живет в коммуналках, подвалах, бараках. Вот и очерчены отправные рамки. Достойная жизнь — это: люди должны быть сыты, одеты, иметь квартиру (пусть крошечную, в пятиэтажках, но быстро, сегодня, а через двадцать лет построим для каждой семьи хорошую, удобную), вокруг больших городов — сеть пансионатов (он был против отдельных дачек), прокатные пункты автомашин, чтобы каждый мог взять машину на время и поехать когда и куда требуется. Короче, предоставить набор “социальных благ”, как мы сейчас говорим своим казенным языком. Спектр этого набора зависит от обстоятельств и времени.

В первую очередь перемены коснулись села. Крестьянам выдали на руки паспорта, они перестали быть крепостными, прикрепленными к земле. А в туманной дымке будущего уже проступали агрогорода, освобождение от изнурительного труда на своей приусадебной земле, от своей коровы. Отец, родившийся в бедной безлошадной крестьянской семье, жившей в селе Капиновка Курской губернии, с детства знал, что такое каторжный крестьянский труд, и хотел облегчить крестьянину жизнь. Но ведь у нас — “хотели как лучше, а получилось как всегда”. До сих пор его поминают недобрым словом за то, что урезал приусадебные участки, предписывал держать личный скот на общественных фермах... А ему виделись богатые мощные колхозы, благоустроенные поселки, где есть и школа, и детский сад, и клуб, а то и свой театр. Самое удивительное, что все это было — в отдельно взятых точках.

Сразу после смерти Сталина встал вопрос, как прокормить страну, — оказалось, что нет даже стратегического государственного запаса. Откуда взять зерно, хлеб? Тогда и возникла у Хрущева мысль об освоении целинных земель. Он перебирал все возможные варианты. Украина — только-только оправляется от послевоенной разрухи, Нечерноземье — требует больших и долговременных вложений. Распахать земли, отданные в севооборотах под травы, а ставку сделать на минеральные удобрения... Но быстрый, большой хлеб может дать только целина.

Вот эти проблемы он со мной обсуждал. Конечно, “обсуждал” — не то слово. Просто высказывал вслух мысли, размышлял, как выйти из положения. А я играла роль аудитории, молча поспевая рядом во время его неизменной часовой пробежки быстрым шагом перед работой. Изредка задавала вопросы или подавала реплики. Очень важно упомянуть главнейший фактор. Мы были победителями, вышли живыми из страшной войны. В будущее смотрели с надеждой, верили, что все можем, что все в нашей стране изменится к лучшему. И действительно, на этой волне и именно с XX съезда жизнь стала меняться, и довольно существенно.

Вот отдельные, разрозненные детали.

В Москве открыли Кремль, и это было не рядовое, а знаковое событие. Казалось бы, как просто раскрыть ворота Кремля для всех. Но какие баталии выдержал Никита Сергеевич по этому поводу! Там жили члены Политбюро (он сам никогда в Кремле квартиры не имел), и тот же Ворошилов, например, говорил: ну что ты, зачем это... Но так или иначе, все утрясли, и

народ повалил в Кремль. Елка в Георгиевском зале, там же — студенческий бал (отец взял меня с собой), с аттракционами по всей территории Кремля.

Приоткрылся железный занавес — первые поездки за границу, только группами, под присмотром человека из “органов”. Но все равно — упоительный глоток свежего воздуха. Я сама так проехала на теплоходе вокруг Европы и видела, с каким восторгом наш крупнейший специалист по средневековью входил в Собор Парижской богородицы. Он знал там каждый витраж, но видел воочию впервые. “Впервые” было многое.

— *Фестиваль молодежи и студентов в 1957-м...*

— Незабываемое событие. Все перевернулось. В закрытой, отгороженной от всего мира Москве — и вдруг тысячи молодых людей из всех уголков планеты. Яркие, праздничные, разноязычные, многие одеты в национальные костюмы, танцуют, поют. Алеша был членом организационного фестивального комитета и пропадал там дни и ночи. А я стремилась на улицы, сбегая с работы, благо, редакция наша помещалась в самом центре Москвы — на Новой площади. Хотелось увидеть все, побывать всюду, — встречи, действия проходили на площадях, улицах, в концертных залах и клубах. Это было открытие мира, взаимное — и для нас, и для наших гостей. Но самое главное, оставшееся в памяти от тех дней, — это опять же восторженное ожидание будущего, осуществления надежд. Мы были молоды...

Таким было начало, первые шаги — прорыв во многих точках. А дальше — нащупывание новых путей, реформы, провалы, удачи и постепенный, к 1962–64 годам, спад. Мы с Алешей это видели, остро переживали. Особенно чувствовал груз ответственности Алеша. К этому времени он был главным редактором “Известий”, членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, получал огромную почту, принимал самых разных людей, которые шли главным образом со своими бедами, за помощью; работал над документами ЦК КПСС. То есть многое знал и мог представлять себе достаточно полную картину происходящего. А я не раз в эти годы ловила себя на мысли, что отец исчерпал свою программу, да он и сам не раз говорил, что нужно дать дорогу молодым. Говорил, но не сделал. Когда в октябре 1964-го Хрущева отправили на пенсию, я искренне верила, что процесс демократизации и реформирования пойдет дальше, наберет обороты. Оказалось, я была до глупости наивна.

— *В 65-м еще был какой-то подъем — мартовский пленум ЦК по селу, потом сентябрьский, реформаторский.*

— Последние всплески, отголоски прошлых лет, а не начало новых серьезных реформ. Так мне видится. Ведь и “заделы” косыгинских реформ относятся к временам Хрущева. Довольно скоро все затянула тина застоя, более того, мы активно стали разворачиваться назад, на горизонте вновь замаячил монумент Сталина.

— *А когда Хрущев “делил” партию, он действительно хотел, чтобы у нас было две партии — “городская” и “сельская”?*

— Как я понимаю, нет. В последние свои годы у власти он просто метался, видел: что ни предпринимается — пробуксовывает, результата нет. Я думаю, его цель была ослабить единоличную власть главного партийного начальника в области, районе. При этом он считал: если уж ты действительно занимаешься сельским хозяйством, то должен в нем что-то понимать. Для меня в этом же ряду стоит и его идея возрождения совнархозов. Совнархозы во многом себя оправдали. На местах выросли промышленные центры, появились сильные кадры, закипела жизнь, возникли, как мы сейчас говорим, новые рабочие места, укрепилась социальная сфера. Это были поиски, нащупывание возможных путей дальнейшего развития. Но все уходило в песок, усилия не давали ожидаемого результата. Окончательно исчерпала себя система? Возможно. И абсолютно точно — саботаж, едва прикрытое противодействие чиновников партийно-государственного аппарата, раздраженных и испуганных посягательством на их власть. Хрущев говорил, требовал, бушевал, а все спускалось на тормозах.

Еще раз оговорюсь, это очень разрозненные, отдельные черточки того времени. Нарисовать хотя бы отдаленно полную картину в этом интервью я, конечно, не берусь; тема требует других объемов, подготовки, знаний. Говорю о том, что видела, слышала, знала сама, что осталось в памяти. А многое, что потом, в исторической ретроспективе проявилось как важное, иногда главное, проходило мимо меня, не задевая. Рядом, но мимо. Я никогда не пыталась воздействовать на отца в момент его трагических ошибочных столкновений с писателями, художниками. Я была на первой встрече с творческой интеллигенцией. Проходила она в ста километрах от Москвы, на “дальней” сталинской даче, в Семеновском. (По иронии судьбы, в свое время Брежнев предназначил эту дачу для проживания опального пенсионера Хрущева, — с глаз долой. Но отец отказался и поселился в гораздо более скромном месте, в поселке Петрово-Дальнее

в ближнем Подмосковье.) В Семеновское было приглашено множество народа. Яркий летний день, на лужайке — накрытые столы... Отец встает с бокалом вина в руке, следует длинный тост. Что он говорил, не помню, но помню свое ощущение: не так и не то. Я очень переживала за отца, волновалась. Незаметно вышла из-за стола, стала ходить взад-вперед поодаль, ко мне подошел помощник отца Владимир Семенович Лебедев, человек прогрессивный, думающий, хорошо знавший и любивший литературу, театр, живопись. И мы стали переживать вместе...

Алеша не раз пытался защищать опальные произведения, кого-то из писателей, художников, режиссеров, использовал все возможные пути — официальные и неофициальные, опирался часто на того же Лебедева, как и на многих других. Иногда удавалось, иногда нет. А о многом ни он, ни я и не слышали. Трагическая эпопея романа В. Гроссмана “Жизнь и судьба” открылась нам уже только в годы гласности. Не уверена, знал ли эту историю Хрущев.

На совести отца и гонение генетики. Эту эстафету он безоговорочно принял от Сталина. Здесь я не молчала — у меня было свое мнение, свои убеждения. Я спорила, доказывала, ссорилась, даже плела интриги (абсолютно не мой жанр) — и ничего не могла сделать.

Была и другая сторона медали. В эти же годы на волне оттепели родились новые журналы (самый известный из них — “Юность”), театр “Современник”, театр на Таганке, откуда же поэзия Евтушенко и непримиримого антихрущевца Вознесенского. А блистательные вечера поэзии в Политехническом...

— *И эта же волна подхватила и понесла прессу. Когда в “Известия” главным редактором пришел Алексей Иванович Аджубей? В 1959 году?*

— Да, в “Известия” он пришел в 59-м, и, пожалуй, в эти годы произошел перелом: у наших газет и журналов стало другое лицо — не такое казенное, более живое, обращенное к человеку. Проявилось это ярче всего и нагляднее в “Известиях”, но ручеек начал подспудно пробиваться гораздо раньше и постепенно превратился в бурлящий поток. Хотя каждый шаг стоил огромных усилий и борьбы — с консерватизмом, с реакцией.

А началось все с “Комсомолки”.

“Вспоминая “Комсомолку”, многие ее бывшие сотрудники называют газету родным домом, дружной семьей, где все были братьями и сестрами. Важнее, мне кажется, дру-



гое. Во-первых, ценился и выработывался профессионализм, во-вторых, уже в самом начале 50-х больше, чем в других газетах, допускались свобода мнений, спор, поощрялась острая тема. Там приветствовали тех, кто любил письма, шел к теме от реальных историй, от обращения к раздумьям читателя, от факта жизни, а не от схем, какими заполнялись тогда страницы многих газет”.

Когда мы с Алешей пришли в “Комсомолку” на студенческую практику, кажется, в 50-м году, главным редактором газеты был Дмитрий Петрович Горюнов, человек строгий, умный, для того времени прогрессивный, в рамках возможного. С трудом дотянув необходимый для зачета месяц практики (в отделе комсомольской жизни), я на всю жизнь усвоила, что политическая журналистика — не для меня. А Алеша остался, добился специального разрешения учиться и работать одновременно и окунулся в газетную стихию с головой — на всю жизнь. В “Комсомолке” он проработал до 1959 года, пройдя все ступеньки — от стажера до главного редактора, все — выкладываясь до конца.

С Дмитрием Петровичем Горюновым и его женой Вероникой мы дружили долгие годы, до его смерти, случившейся несколько лет назад. Именно в то время проходило становление поколения, которое под влиянием XX съезда почувствовало возможность раскрепощения — даже в рамках существовавшей системы. В это поверили, и люди стали на это работать, каждый в меру своих сил и таланта. Таких было много — мы нация доверчивая и увлекающаяся. Вот Алексей Иванович был одним из них. По натуре он был человек энергичный, кипевший, бурливший разными мыслями, идеями, планами, был, как мотор, сутками работающий бесперебойно, потому, естественно, и вклад его в любое начинание был соответствующим.

Полная отдача — одна из замечательных черт его характера. Причем независимо от того, что это — отчет с соревнований по стрельбе, проходивших под Москвой, или первое в истории нашей журналистики интервью Президента Соединенных Штатов Америки советскому газетчику. Ответственность — разная, профессиональный подход — один и тот же.

Ему — человеку живому, увлекающемуся, артистичному (Алеша учился в школе-студии МХАТ и ушел отсюда в МГУ на отделение журналистики) — претили застывшие газетные штампы, казенщина. Хотелось переломить рутину, оживить, сделать ярче газетную полосу. Главной его линией с самого на-

чала журналистской карьеры было обращение к человеку, к читателю, пробуждение чувств. Поэтому, я думаю, очерк ему давался лучше, чем статья.

Все эти идеи он активно выносил на полосы “Комсомольской правды”, став ее главным редактором. И получал по шапке! В отделе пропаганды ЦК бдительно следили за каждой строчкой. Главный идеолог нашего государства член Политбюро Михаил Андреевич Суслов вольности не прощал, самостоятельности в среде подчиненных не терпел.

А однажды я была свидетелем нагоняя, который Алеша получил от моего отца. Обычно отец дома о делах не говорил. А тут, потрясая перед Алешей “Комсомолкой”, стал на повышенных тонах выговаривать: “Что вы себе позволяете?! Нужно экономить газетную площадь! В стране не хватает бумаги, а вы даете огромные фотографии...”

Тогда ведь еще действовало распоряжение, подписанное Сталиным: экономно расходовать газетную площадь. Действовало в полной мере. А там значилось: никаких иллюстраций, заголовки определенным шрифтом, в верхний правый угол — сообщения ТАСС, в нижний левый — сообщения с мест, и тому подобное. Сегодня это звучит смешно, комично. Но так было, в таких жестких рамках мы работали и жили. Помню, растерявшийся Алеша как-то оправдывался, что-то доказывал. А потом вычислял, откуда веяние, не иначе как из кабинета Михаила Андреевича.

Но все же он “Комсомолку” “перешерстил”, она стала неузнаваемой и резко выделялась на фоне других газет. Разговор с читателем напрямую, огромная читательская почта, скачок тиража...

В “Комсомолке” в нем открылось новое качество — талант главного редактора. Мне повезло в жизни, я соприкоснулась с двумя такими людьми: один, Аджубей Алексей Иванович, был моим мужем, другой, Болховитинов Виктор Николаевич, моим главным редактором в журнале “Наука и жизнь”. С полной ответственностью могу сказать — это особый творческий дар, научиться этому нельзя, работать с таким человеком необыкновенно интересно и очень тяжело, жить — еще интереснее и еще тяжелее. Это цена соприкосновения с личностью, с талантом. Это люди прежде всего увлеченные. А только так и можно создать что-то яркое, значимое, увлечь других.

Вот таким Аджубей пришел в “Известия”. Было ему тридцать пять лет. В “Известия” он идти боялся — а вдруг не получится? Большая ответственность, вторая, после “Правды”, газе-

та в стране. Государственный орган — издание Президиума Верховного Совета СССР. Советовался со мной: “А может, лучше уехать собкором в Англию?” Но в нем уже разыгрался азарт, хотелось попробовать свои силы, доказать себе и другим, что может. Конечно, он шел с мыслью сделать новую газету. Да и Анастас Иванович Микоян (тогда председатель Президиума Верховного Совета СССР) поддержал его; собственно, Микоян и выдвинул кандидатуру Аджубея. Надо сказать, что Микоян помогал ему. Когда возникали проблемы — хозяйственные, организационные, политические, — можно было рассчитывать, что он поддержит смелую идею, острую публикацию, его можно было убедить, доказать. Анастас Иванович интересовался газетой, часто звонил сам по “вертушке”, давал задания. И тут возникали казусы. Вся свою жизнь Микоян прожил в России и при этом говорил с акцентом и очень неразборчиво. Алеша не раз жаловался: “Звонил Микоян, что-то буркнул в трубку, о чем речь — понять невозможно. Говорю: “Хорошо, Анастас Иванович”, кладу трубку и звоню его помощнику: “Что он сказал?”

— *Это называлось — курировал?*

— Нет, это слово не подходит. Курировать — значило надзирать, отслеживать. Это было Микояну не по чину, да и не по характеру. Он был человек прогрессивных взглядов, никогда не “давил”. Аджубей пришел в “Известия” со своей программой, с определенным заданием общественных задач.

“Опыт работы в “Комсомольской правде” здесь, в большой официальной газете, невозможно было применить впрямую. Но и делать ее, как прежде, тоже не хотелось. Небольшой тираж солидного издания не делал ему чести. Сложность состояла не только в том, чтобы готовить материалы более острые, злободневные, но, что оказалось труднее, — человеческие. Какими бы извилистыми путями ни шла в ту пору общественная жизнь, главное в ней определялось, я бы сказал, раскрепощением души человека”.

— *А в чем он видел эти задачи? Насколько далеко в то время шли ваши мысли об общественных преобразованиях? Возможно, вы кратко охарактеризуете социальные взгляды Аджубея?*

— В самом общем плане — демократическое преобразование общества. А как это сделать? По каким направлениям дей-

ствовать? Какова цель? Мы до сих пор барахтаемся в этих вопросах, и у каждого политического направления свои ответы. Тогда таким, как Аджубей, было проще. Он был, безусловно, функционер той системы, занимал высокие посты, служил ей. Ни о какой кардинальной ломке речи не было. А вот степень реформирования...

На фоне сегодняшнего разброда и шатания в обществе мне часто вспоминается одна домашняя сценка. Было это, наверное, в 83–84-м году, до прихода к власти Горбачева. На нашей дачке под Дмитровом собралась тесная известинская компания. Владлен Михайлович Кривошеев, работавший в газете до 1968 года, когда его, собкора “Известий” в Праге, уволили и негласно запретили брать на работу в прессу: в трагический момент ввода наших войск в Чехословакию он слал оттуда телеграммы, убеждая, что это чудовищная ошибка, что этого делать нельзя, и отказался освещать события “как надо”. Геннадий Степанович Лисичкин, сегодня его представляют — “известный экономист”. В “Известия” Алеша его “переташил” из МИД — он был советником в нашем посольстве в Белграде, занимался сельским хозяйством, исповедовал (в те времена!) рыночные взгляды, чем и вызвал интерес Аджубея. И мы с Алешей. Под более чем скромную закуску — ведро макарон — разгорелась жаркая дискуссия: что важнее для становления демократии — гласность или рыночные отношения? Аджубей твердо стоял за гласность, Лисичкин — за рынок. Приводили аргументы, кричали, спорили, ссорились — в пору разнимать.

Эта сценка из прошлого — в чем-то ответ на ваш вопрос. В ней отражен кадровый состав “Известий” аджубеевских времен, его собственные “приоритеты”, идеи, которые исповедовались, Аджубеем в том числе.

А если по современным меркам — то в общем он был радикалом, ратовал за свободу личности, раскрепощение, но, как и большинство, тоже не мог вырваться за определенные рамки. У него не было строгой, системно разработанной программы — ни экономической, ни даже политической. Но общая идея — по мере сил поддерживать и продвигать все прогрессивное — была, и он следовал ей, продираясь часто через дебри политических и бюрократических препон. Он был практик и реалист. Что ему удавалось “пробить”, то и делал, и, повторяю, отчаянно сражался, используя все свои возможности (шел в ЦК, доказывал, убеждал), за то, что считал важным, прогрессивным. Бывало, приходилось отступать. Таким грехом на его совести была публикация

статьи известного в те годы охранителя устоев В. Ермилова, громившая книгу воспоминаний Ильи Эренбурга “Люди. Годы. Жизнь”. Аджубей даже отдаленно не был единомышленником Ермилова, но “отбиться” в данном случае не смог. Печатал ермиловых против своих убеждений и очень переживал. Но побед, к счастью, было больше. Я говорю “побед”, потому что все давалось не просто, а через яростную иногда борьбу. Именно такова предыстория появления в “Известиях” отрывков из книги Эммануила Казакевича “Синяя тетрадь”, по тем временам это была острая политическая публикация. Если помните, в книге Казакевича рассказывается о том, как Ленин летом 1917-го скрывался от ареста под Петроградом, на станции Разлив. И в знаменитом шалаше с ним прятался Лев Троцкий. Упоминание имени Троцкого — уже крамола, а тут еще в одном ряду с Лениным...

А главы запретной до последних лет поэмы Твардовского “Теркин на том свете” тоже впервые были напечатаны в “Известиях”.

Газета активно поддерживала практические экономические инициативы. Помнится нашумевшая статья об автокомбинате: его директор ратовал за право на хозяйственную инициативу, чтобы зарабатывать деньги, платить больше рабочим — заинтересовать коллектив в конечном результате труда. И это тоже была крамола, система отвергала право на самостоятельное решение.

Структура власти оставалась незыблемой, последней разрешительной и запретительной инстанцией был ЦК КПСС, а в ЦК — Хрушев. Но до него еще надо было идти, а потом — убедить, доказать. Иногда это удавалось, как в упомянутых выше случаях. Но отнюдь не по семейной линии, а скорее — вопреки.

А материалы о безвинно репрессированных, о Федоре Раскольникове, например. Каждый раз был эффект разорвавшейся бомбы. Потом мы все забыли и при Горбачеве открывали заново. Газета обратилась к человеку, его переживаниям, его душе, — не случайно Аджубей так поднял Татьяну Тэсс, для которой это была главная тема. Не случайно тогда появился в “Известиях” и Анатолий Аграновский.

Аджубей ощущал себя не только журналистом, но и политиком, что так и было, и всегда хотел быть политиком самостоятельным. Начало его журналистской карьеры совпало со временем Хрущева, XX съездом; он воспринял идеи демократизации со страстью молодости и своей кипучей натурой и остался верен им навсегда. Они были близки ему, органично присущи. Он ни-

когда не был “подручным” журналистом Хрущева, который, как свой человек, как зять, писал бы нужные статьи на нужные темы. (Правда, и мой отец не принял бы такую систему взаимоотношений — он уважал людей.) Они были единомышленники. Каждый на своем уровне и со своей мерой ответственности.

Когда подходила к концу жизнь Брежнева и Алеша уже двадцать лет просидел за решеткой (и переносно, и буквально: окно его крошечной редакционной комнаты было зарешечено) в не интересном ему, а потому ненавистном журнале “Советский Союз”, он часто повторял: “Какое счастье, что Леонид Ильич так безоговорочно выкинул меня из тележки, а то, глядишь — человек слаб, — пошел бы служить и пропал бы, изменил себе, как это произошло со многими порядочными людьми на наших глазах”.

— Скажите, Рада Никитична, а какую роль сами “правлящие лица” отводили тогда “Известиям”? Чего хотели и ждали от газеты со сменой главного редактора?

— Алексей Иванович часто вспоминал историю, которую ему рассказывал тот же Микоян. А история такова. Когда Сталин (уже после войны) назначал Симонова главным редактором “Литературной газеты”, он ему сказал (Алеша это “подавал” актерски): “Товарищ Симонов, я хочу, чтобы вы пошли в “Литературную газету”. Понимаете, у нас нет оппозиционных партий, но у нас должна быть оппозиционная газета. Вот вы и будете выразителем этих оппозиционных мнений”. Конечно, в рамках, очерченных Сталиным. Симонов был окрылен этим разговором, и на какое-то время “Литературная газета” стала смелым, прогрессивным изданием, конечно, по тем временам, на фоне других. Однако недолго.

“Закончил Анастас Иванович так: “Острая газета нравилась товарищу Сталину какое-то время, а потом стала раздражать. Думаю, главного редактора Симонова могли ждать большие неприятности, если бы Сталин не умер раньше, чем успел дать распоряжение разобраться с газетой, где редактором был товарищ Симонов...”

“Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок”... Анастас Иванович рассказал эту притчу при утверждении Аджубея главным редактором “Известий” на Политбюро ЦК КПСС. Аджубей намеки не воспринял, а подхватил идею. Микоян был очень живым человеком, абсолютно “незаконсервированным”.

“Вот ты, — сказал он Алеше, — и устроишь через “Известия” “брожение умов”. Заманчивая программа! И поддержка есть. В отделе же пропаганды ЦК, который “ходил” под Сусловым, это встречало сильнейшее сопротивление. А любая “острая” публикация, любое решение проходило через отдел пропаганды. Нужно было изгаляться, искать связи (как всегда и везде!). С Л.Ф. Ильичевым, секретарем ЦК по пропаганде, у Алексея Ивановича сложились неплохие отношения, тот был “поддающимся”. А Суслов этого “брожения умов” не воспринимал органически. Аджубей и Суслов были антиподы. Во всем. Суслов — сухарь, консерватор, догматик; Аджубей — веселый, остроумный, жизнелюб, радикал и подрыватель устоев. Я удивлялась потом, как это Брежнев и Суслов нашли общий язык, так долго дружно жили. Ведь с Брежневым они тоже были антиподы, — весело пожить Леонид Ильич любил.

Алеша пришел в “Известия” и тут же столкнулся с тем, что утверждение любого, казалось бы, минимального новшества требовало невероятных усилий, пробивания, звонков, записок “наверх”... Не обходилось, к сожалению, и без существенных издержек — всякого рода “заказных” кампаний.

“...К стыду своему, я сам принимал участие по меньшей мере в пяти таких газетных кампаниях. Ничем себя теперь не оправдаешь, ничего не переменишь, и правы те, молодые, кто не может понять и простить нас, как мы, в свою очередь, не должны прощать тех, кто уродовал нашу нравственность...”

— *Чем, на ваш взгляд, объясняется успех “Известий” в те годы? Связано это с идеями, которые выдвигала газета, с необычной (во многом новой) тематикой либо броским изменением в формах подачи материалов? Насколько значима личность главного редактора?*

— Личность редактора — отправной момент. “Каков поп, таков и приход”. А отсюда и все остальное. Какие цели перед собой ставит редактор — таково и все построение.

После своего первого дня на новом месте работы, в “Известиях”, Алеша вернулся домой возбужденный и злой. Из молодой, живой, озорной “Комсомолки” он попал в степенное болото, с устоявшимся, размеренным, неспешным ритмом жизни. Нужно было знать Аджубея, чтобы понять, как это на него подействовало! Все это было не по нему, не по его характеру, стилю жизни,

убеждениям. Даже вид редакции вызывал протест: захлапленные комнаты, запущенные коридоры, пыль и убожество. А надо сказать, Алеша не признавал неряшливости, считал, что это отражается на работе. В редакцию ходил подтянутый, аккуратный, любил нарядно одеваться. Отличался этим всегда, еще в студенческие нищие послевоенные годы являлся в аудиторию в отглаженной голубой яркой рубашке, а в торжественных случаях — и с “бабочкой”, что чрезвычайно раздражало наше факультетское начальство. В те времена даже это было вызовом.

А в “Известиях” уже через несколько дней все знали, что к “главному” можно зайти в любое время по любому вопросу, без секретаря и предварительной записи, но беда, если у тебя грязные ботинки. Разговаривать не станет, даст 20 копеек и пошлет на угол — к чистильщику. А потом — приходи.

Аджубеевские “Известия” начались одновременно по всем линиям. Ремонт редакции, реорганизация отделов, иной ритм работы (все бегом, скорее), новая верстка полос, планерки и обсуждение номеров, редколлегия в кабинете “главного”, дисциплина и при этом — полный демократизм редакционных взаимоотношений, то есть творческий коллектив, а не бюрократическая контора.

Придя в “Известия”, Аджубей не уволил ни одного человека (Алеша гордился этим). Все, кто делал “Известия” при прежнем редакторе, Губине, остались. Но закипела жизнь, и каждый человек “заиграл новыми красками”, раскрылся. Аджубей заражал своим азартом, пробуждал дух соревнования, он сам мечтал “обойти” все газеты, а главное — “Правду”. Обойти по читательскому интересу, по влиянию на людей, на общество, сделать “Известия” газетой номер один. Эти честолюбивые притязания были бескорыстными, но именно потому, что они так блистательно осуществились, многие в “аппарате”, в структурах власти его органически отторгали. Он был “чужой”, поворачивал не туда, звал не туда, а за ним шли, газета пользовалась колоссальным успехом. Эта полная несовместимость с официозной линией, символом которой являлся Суслов, была в ряду причин того, что в тот же час, когда отправили на пенсию Хрущева, сняли с должности Аджубея. Он раздражал сам по себе, а не только как зять.

Многие из “старых” известинцев работали в газете до последнего времени, пережив не только Аджубея, но и череду последующих “главных”. Можно назвать Алексея Васильевича Гребнева, Станислава Николаевича Кондрашова, Татьяну Николаевну Тэсс, Мэлора Георгиевича Стуруа, Юрия Васильевича Феофановича



ва, Георгия Николаевича Остроумова... Дух, закваска тех аджубеевских “Известий” оказались очень стойкими — сохранялись долгие годы, несмотря на все повороты политического курса.

Постепенно коллектив перестраивался, пришли журналисты из “Комсомолки”, из других изданий, привнеся некий молодежный и реформаторский дух.

Пробивая лбом цеховские стены, он добился постановления, разрешающего “Известиям” выходить вечером — он считал, что это приблизит газету к читателю: человек приходит с работы, получает газету, читает не торопясь, не на бегу... Кроме того, это был тактический маневр, “военная хитрость”. В те годы две главные наши газеты, “Правда” и “Известия”, были похожи как близнецы, — сплошной официоз, казенный стиль, и выходили они одновременно, утром. Вот Алеша и сделал “ход конем”. “Известия” стали вечерней газетой и таким образом опережали “Правду” на полсуток — новости читатель “Известий” получал первым.

Аджубей преследовал казенщину и в содержании, и в верстке газеты. Броская фотография, душеспасительный очерк, статья на моральную тему, диалог с читателем, публицистические размышления — все это наряду с информацией. Дошло до того, что стали обходиться без “передовиц” — неслыханная вольность. На открытие ставили значимые и одновременно интересные авторские заметки. Заинтересовать, заинтриговать, поразить читателя — рецепт в журналистике известный, лежит на поверхности. Но это оружие обоюдоострое. Какова цель, задача? Помочь, поддержать, направить? Пробудить добрые чувства? Или бросить в омут “чернухи” — выплывай как знаешь... Те “Известия”, рожденные на волне 60-х, верили в добро, справедливость. Это, конечно, было прекраснодушие, но так было.

Одной из первых забот Аджубея по приходе в “Известия” было распространение газеты, тираж. Умудренный опытом Михаил Евсеевич Фрумкин, заведующий отделом распространения, выложил на стол карты: “Главное — ведомственная, обязательная подписка, она всегда — в кармане, а индивидуальный подписчик... Будем продавать газету в трамваях, троллейбусах — нагоним розницу”.

А Алеша на это: “Все. С завтрашнего дня — никаких трамваев, троллейбусов, автобусов. Найдем такие темы, чтобы вся Москва вздрогнула. Народ кинется искать газету, а купить ее трудно”... И действительно, дали несколько “шлягерных” материалов. Реакция ожидаемая: вы читали? где купить? Всё: на-

род побежал в киоски и на почту — подписываться. Аджубей считал, что нечего навязывать газету — ее должны спрашивать, искать.

Сегодня это звучит тривиально, но не забывайте, что происходили все эти события сорок лет назад, в тогдашних исторических рамках и обстоятельствах. И это был настоящий переворот в нашей журналистике, рождение новой прессы. Время было другое, другие законы — и жанра, и всей жизни.

Вспоминаю одну тогдашнюю историю. Четырех наших солдат, служивших на Курилах, шторм унес на барже в море, больше месяца баржу трепали штормы, подхватывали течения, удовольствие давно кончилось, они съели свои сапоги, ремни и уже прощались с жизнью. Их обнаружил у берегов Америки военный корабль США, поднял на борт. В редакции “Известий” узнали об этом происшествии из сообщения американского информационного агентства. Кинулись выяснять подробности и получили указание: “Материал не печатать, возможна провокация”. Аджубей собирает редколлегию и, заручившись поддержкой коллег, на свой страх и риск решает действовать. Алеша попросил своего товарища еще по “Комсомолке”, а в тот момент корреспондента “Правды” в Нью-Йорке Бориса Стрельникова помочь “Известиям” (своего корреспондента у них на месте тогда не было). Борис Стрельников встречает путешественников поневоле у трапа корабля. Америка потрясена — сорок девять дней в океане! А “Известия” отводят целую полосу мужественным ребятам. Вся страна узнает их имена. Филипп Поплавский, Асхат Зиганшин, Анатолий Крючковский и Иван Федотов — гости редакции, министр обороны награждает солдат орденами Красной Звезды.

Алексей Иванович был человек азартный, в смысле “делания” газеты — особенно. Он любил вспоминать, как “Известия” “вставили перо” “The Sunday Times”. Гостем редакции был один из “королей” английской прессы, владелец этой газеты. За ленчем беседу вели на профессиональные и политические темы. Гостю понравилась Москва, газета “Известия”, ее редактор. Под конец англичанин упомянул о большой журналистской удаче: “Знаете, господин Аджубей, Чаплин только что закончил свои мемуары и обещает нам через два-три дня дать большой кусок. Это эксклюзивный договор, только нам, мы платим большие деньги”. Гость за порог, а Алексей Иванович тут же вызвал лондонского корреспондента “Известий”: “Бегом к Чаплину, у нас завтра же должны быть отрывки из его

книги “Автобиография”!” Через два часа звонок: “Алексей Иванович, Чаплина я с большим трудом, но уговорил. Его условие: гонорар — черной икрой”. Побежали в Елисейский, благо тогда икра была не в дефиците и стоила не так дорого.

“С ума сойти, — сказал Чаплин нашему собственному корреспонденту в Англии Владимиру Осипову, когда тот привез в отель огромный сверток — кастрюлю из известинской столовой, набитую льдом, который выпросили у мороженщиц, с четырьмя килограммами икры. — Эти парни поставили меня в тупик”, — и отдал рукопись”.

И когда англичанин пришел через день в “Известия” попроситься, Аджубей ему показал уже сверстанную полосу чаплинских мемуаров. Тот был ошарашен, потом рассмеялся и предложил обмен: Алеша едет на месяц в Лондон редактировать его газету, а редактор лондонской “The Sunday Times” — в Москву, в “Известия”, перенимать опыт.

Конечно, это не было главным содержанием тогдашних “Известий”, но дает представление о настрое в коллективе, что неизбежно выливается на страницы газеты и передается читателю.

Естественно, всё в газете — статьи, очерки, заметки — не может быть равноценным. Любое печатное издание — полотно, состоящее из мозаики отдельных материалов. Но обязательно должно быть броское пятно, козырь, на который делается ставка в номере и который непременно заинтересует читателя. В “Известиях” тогда собирались замечательные журналисты, материалы которых определяли вектор общественного настроения.

— В каждом номере должен быть “гвоздь”, как тогда говорили.

— И этим отличались “Известия”. Открытием в журналистике это не было, но “Известия” пробрили брешь в глухой стене запретов, сделали возможным прежде невозможное. Говоря о личности главного редактора, нельзя забывать об умении вдохнуть жизнь в каждый номер, постоянно выдерживая должный творческий уровень, как в хорошем театре.

— Вспоминая об Аджубее, некоторые коллеги и называют его режиссером.<sup>2</sup>

— Им виднее. Я думаю, что это сравнение справедливо. Видите ли, я из тех жен, кто не вмешивается в дела мужа, даже в

---

<sup>2</sup> См., например: Анатолий Друзенко. Правда об “Известиях”. М., 1998. — Прим. ред.

здании “Известий” я была считанные разы, — помнится, на просмотрах опальных фильмов, которым грозила участь лечь на полку, и авторы искали защиты у “Известий”. Представляете ханжество тогдашних нравов и зуд всезапретительства, если одной из таких кинолент была “Гусарская баллада” молодого, начинающего Эльдара Рязанова?

Неловко вроде бы мне, такому близкому человеку, это говорить, но, оправдываясь тем, что я не только жена, но и журналист, скажу: А.И. Аджубей заслуживает быть названным реформатором советской прессы. Он всколыхнул это затянутое многослойным льдом море. Где-то пробил лунки, оттаяли полыньи, и пошли трещины по всему фронту...

Он начал поздно, в двадцать три года вернулся к учебе с войны, и к тому времени, когда его в сорок лет, полного сил, энергии, кипящего идеями, “отставили” от “Известий”, за его плечами были газеты “Комсомольская правда” и “Известия”, приложение к “Известиям” — еженедельник “Неделя”, лежал готовый макет дайджеста “Радуга” (эту идею подхватил Борис Сергеевич Бурков, и руководимое им агентство “Новости” начало в 1965 году выпускать “Спутник”) и — в проекте — многое другое. Аджубей мечтал создать мощный издательский концерн, прошупывал почву в “верхах”. Примером для него отчасти служил Михаил Ефимович Кольцов, который, если вспомнить историю советской журналистики, возглавлял в 30-е годы журнально-газетное объединение, основал “Огонек”, был редактором сатирических “Чудака” и “Крокодила”, вместе с Горьким издавал “За рубежом”, а в 1937 году выпустил книгу “День мира — 1935”. Особо хочу обратить внимание на два последних издания. Алексей Иванович был инициатором создания в 60-е годы еженедельника “За рубежом”, по его замыслу это должно было быть окно в мир, обзор самого интересного в зарубежной прессе. По тем временам — неслыханная смелость. А идея “Дня мира” так его захватила, что “Известия” выпустили “свой” “День мира” в 1960 году. Пытался собрать он и “День мира — 1985”, но — не удалось.

О Кольцове Алеше рассказывал работавший в “Известиях” художник-карикатурист Борис Ефимов, брат писателя. Рассказывал полушепотом — так велика была инерция страха. Алеша пересказывал мне, это были откровения. У того и у другого карьера оборвалась на взлете. У Кольцова — трагически, архивы открыли нам страшную картину его ареста и расстрела. Аджубей был просто отставлен, даже не сослан (хотя поползновения

были) — наглядный пример изменений, произошедших после XX съезда. Но двадцать лет в журнале “Советский Союз” для него — та же ссылка, без права печататься под своей фамилией, ездить за границу и тому подобное.

На волне и в русле тех перемен, по сути, заново, родился и журнал “Наука и жизнь” — в том виде, в каком существует сейчас. В этом журнале я проработала всю жизнь и знаю: мы шли той же дорогой обращения к человеку. Разговор наш начинался с влияния прессы на личность; по опыту своего журнала знаю — оно было огромно. Пик популярности “Науки и жизни” пришелся на 70-е годы, когда тираж достигал более трех с половиной миллионов. И сегодня частенько слышишь от людей “среднего” возраста — от тридцати до пятидесяти: “Как же, с детства читал...”, “Мы выросли на “Науке и жизни”, “До сих пор храним подшивку за многие годы”. И затем — горькое для нас: “А разве вы еще выходите?”

— *Ваше имя так же прочно связано с журналом “Наука и жизнь”, как имя вашего мужа — с “Известиями”. Каким был тот период в вашей собственной редакторской практике? Вас не тяготило такое долгое и “негромкое” пребывание в одном и том же издании?*

— В “Науку и жизнь” я пришла в конце 1953 года и сделала это по трезвому расчету. Так случилось, что по окончании университета я тяжело болела и распределение прошло без меня. А у нас было жесткое распределение, многие уехали в Сибирь, на Дальний Восток — укреплять пропагандистские кадры. Полгода, наверное, даже больше, провела на полубольничном режиме, много думала, куда идти работать. Отец в это время — после смерти Сталина — был избран Первым секретарем ЦК КПСС, и, как вы понимаете, меня бы взяли в любое место — только намеки. И это мне было чрезвычайно неприятно. Еще одно русло моих раздумий: заканчивая отделение журналистики, я уже твердо знала, что пойду учиться на вечернее отделение биологического факультета Московского университета. Биология, природа, живность — этому я была привержена с детства, это мое душевное призвание. И я искала издание, где бы могла заниматься проблемами биологии. Кроме того, я считала (и за долгие годы, прошедшие с той поры, только утвердилась в этом), что журналист должен иметь фундамент, почву под ногами — быть инженером, физиком, историком, математиком, а потом уже журналистом. Так в конце 1953 года я вновь стала студенткой МГУ и одновременно пришла в

“Науку и жизнь” — заведовать отделом биологии, медицины, сельского хозяйства и передового опыта. Отдел состоял из меня одной, а вся редакция насчитывала 7–8 человек. Все мы, редакторы, сидели в большой комнате, а начальство занимало две маленькие. “Подсказал” мне “Науку и жизнь” и буквально привел туда Георгий Николаевич Остроумов, заведовавший отделом науки в “Известиях”, а до того — в “Комсомолке”, инженер по образованию, прекрасный популяризатор науки. Алеша ценил его как высокопрофессионального журналиста, а для меня он до сих пор — эталон.

Журнал “Наука и жизнь” в то время был органом созданного после войны Общества по распространению политических и научных знаний, изданием скучным, казенным, неприметным. И меня это очень устраивало: никто не скажет, что получила престижное место по благу. Моим первым учителем редакторского мастерства была Людмила Николаевна Познанская — ответственный секретарь, наш строгий начальник. Как-то встретилась через много лет. “Помните, — спросила она, — как вы пришли к нам — девочка в тапочках и с косичками?” Главный редактор, Александр Сергеевич Федоров, возглавлял главк научно-популярных фильмов и в редакции появлялся эпизодически, хотя все тексты прочитывал “от корки до корки”.

А в 1961 году в “Науке и жизни” произошел свой переворот, проведенный “сверху” и активно поддержанный “низами”. Ветры перемен будоражили нашу печать, и даже отдел пропаганды ЦК не мог противостоять этим веяниям. К нам пришел новый главный — Виктор Николаевич Болховитинов. Пришел с программой и своей “командой”, в которую входили такие классики научной популяризации, как Владимир Орлов, Олег Писаржевский, Даниил Данин. Работать стало необыкновенно интересно. Журнал действительно как бы заново родился, это было “очередное” рождение, потому что журнал с таким названием и, что удивительно, с такой же программой начал выходить в 1890-м году, так что “Науке и жизни” — сто десять лет. Во времена революции 1917 года он закрылся, в 30-е годы начал выходить вновь — по инициативе Горького. И выходит по сей день, несмотря на все общественные катаклизмы.

Изменения в журнале происходили на фоне полной реорганизации нашего издателя — общества по распространению всяческих знаний. Его переименовали в общество “Знание”, была поставлена задача часть своего бюджета зарабатывать самим (доходы от издания “Науки и жизни” должны были отны-

не делиться между ЦК КПСС и обществом “Знание”, раньше все шло в кассу ЦК), активно использовать большую аудиторию Политехнического музея, оживить лекции, сделать их окупаемыми. Возглавил “Знание” Нобелевский лауреат академик Н.Н. Семенов, человек, имеющий склонность к научной популяризации, уважающий и понимающий ее проблемы. Он и был тем тараном, который пробивал в ЦК составленную Болховитиновым программу. Она казалась очень простой, и за последующие годы ее буквально “расхватали”, растащили по частям, что доказало ее актуальность. Вплоть до того, что отдельные наши разделы стали самостоятельными журналами — “Химия и жизнь”, “Квант”. В тот момент “Наука и жизнь” была уникальным изданием, “патентным”, как по структуре, так и по содержанию, по духу. А основная мысль заключалась в привычном сегодня слове “мэгэзин”. Виктор Николаевич обычно говорил: “Что такое журнал? Мэгэзин”. Где есть все. Журнал для семейного чтения, где каждый — папа, мама, бабушка, дедушка, дети — может найти интересное для себя чтение и занятие. А попутно — увлечься наукой, заняться самообразованием.

Наш главный редактор был человеком замечательным. По образованию физик, главная страсть его жизни — поэзия. Прекрасно знал литературу, часами мог читать на память Блока, Мандельштама, Бунина. Заведовал отделом науки в “Литературной газете” и оттуда привел в журнал многих писателей — Леонова, Окуджаву, Антокольского, Наровчатого, Нилина, Андроникова... Все они частенько заглядывали в редакцию — посидеть, поговорить. Ираклий Луарсабович Андроников “обкатывал”, случалось, на нас свои блистательные устные рассказы. Его квартира была недалеко, на улице Кирова (ныне вновь Мясницкой). Как-то пришел вечером, уже стемнело, в кабинетах пустота. Присел на кресло у моего стола и начал рассказывать. Через полчаса я взмолилась: “Позвольте, я позову еще кого-нибудь, мне совестно, что я — единственный слушатель!” А он в ответ: “По мне, что вы одна, что полный зал Чайковского...”

Специально для “Науки и жизни” молодой тогда Гендряков написал фантастическую повесть “Путешествие длиною в век”. Помню, он жаловался: “У меня было ощущение, что в вашей редакции работают весело, легко, играючи, а вы так безжалостно правите, заставляете трудиться в поте лица — переделывать, дотягивать...” Свои первые исторические очерки о “Колоколе” Герцена печатал у нас Эйдельман. Уже позже, в 70-е годы, Бол-

ховитинов увлек Павла Нилина идеей написать для журнала документальную повесть о замечательном российском хирурге Н.Н. Бурденко. А эксклюзивные эссе Солоухина о травах, а потом — о грибах...

И столь же страстно Болховитинов увлекался шахматами, логическими задачами, головоломками, спортом.

Казался мягким человеком, но поставленной цели добивался стопроцентно. Сам про себя говорил: “У меня мертвая хватка, как у шотландского терьера”. Что касается “качества продукции”, был невероятно требователен и к себе, и к каждому из нас. Многократно “просеивал” каждую фразу, каждое слово. Сядет рядом: “Давайте мы с вами напишем вот так”. Написали. “Нет, давайте переделаем”... И так “шлифуем” часами. Это была трудная, нудная, но замечательная школа. Такая же требовательность к тексту была и у Аджубея. Он чрезвычайно уважал Маргариту Ивановну Кирклисову, отличного стилиста, редактора, которая сначала в “Комсомолке”, а потом в “Известиях” работала с текстом, у нее учились многие знаменитые газетчики, через нее “проходили” все известинские рукописи. Алеша считал ее уникальным человеком, который свой собственный талант отдал тому, чтобы прибавить блеска чужим статьям, чтобы газетные страницы выглядели достойно.

В редакции “Науки и жизни” сложился свой микроклимат, чрезвычайно демократичный и творческий. Мы всегда были коллегами и товарищами, эта атмосфера сохранилась по сей день. Маленький штришок — в редакции никогда не было портретов вождей. Время от времени Болховитинов говорил: “Давайте повесим фотографию Ленина, ту, где он сидит в кресле с кошкой на руках”. А потом забывалось... Мы безошибочно узнавали, когда редактор идет по начальству. “Виктор Николаевич, вы сегодня в ЦК?” — “Да, а откуда вы знаете?” — “А галстук?” Вернулся из ЦК, галстук снял — все, нормально работаем. Многие давалось нелегко, над нами, как и над всеми, был Главлит. Слава богу, нас это задевало не столь жестко, как политические издания, но трудностей хватало.

В “Науке и жизни” всегда было два заместителя главного редактора. Тематика журнала сложная — весь спектр гуманитарных и естественных наук, техника, большой блок развлекательных материалов — примерно треть номера; литературные страницы. Техника, физика, математика, задачки, игры — это была епархия Игоря Константиновича Лаговского (сейчас он главный редактор “Науки и жизни”, занял этот пост после



смерти Болховитинова в 1980 году и мужественно несет свою ношу). Я думаю, сегодня наш журнал — почти уникам: живем только на подписные деньги, ни от государства, ни от спонсоров ничего не получаем, существуем в рамках закона, платим все налоги, на потребу не работаем — журнал сохранил свое лицо, свою программу.

Мое поле деятельности — биология, медицина, сельское хозяйство, история, науки о Земле, литература... Я веду эти разделы в журнале с 1961 года, когда стала заместителем главного редактора. С Лаговским мы делили на двоих один кабинет, и здесь же, сидя у моего стола, большую часть дня нередко проводил и Болховитинов. Он любил работать коллегиально, тут же обговорить любой вопрос, вместе отредактировать трудное место в статье, обсудить план очередного номера, просто поговорить “за жизнь”.

В 1961 году тираж “Науки и жизни” был 150 тысяч, через год 300 тысяч и — пошел расти. Купить журнал было невозможно, подписка лимитирована — такова была реальность. Мы писали письма в отдел пропаганды ЦК с просьбой увеличить цифры лимита, рос читательский спрос — общими усилиями удавалось продвинуться еще на шаг, еще...

Чем привлекал журнал читателя? Живостью, разнообразием, смелостью. Все это тогда было внове, откровением. Анекдоты, шутки, логические задачки, пасьянсы, рассказы о Шерлоке Холмсе — все впервые. А на этом фоне — статьи о генетике, что вообще было запретно, летающие лодки засекреченного КБ Г. Бернева, прорыв в космос. Мы обходили цензуру, убеждали цензора, каялись, доказывали. Помните Некрасова и его “Современник”? Все точно так же, только жестче. В каком искаженном мире мы жили!

Прославились наши тематические номера. Первый такой выпуск был посвящен биологии, № 6 за 1962 год. До сих пор его помню. Какой был бум! Не только упомянули ген, но даже фотографию его дали на обложке. А статья академика Петра Леонидовича Капицы — его рассуждения о развитии атомной энергетики, он всегда любил вольное что-либо сказать... Последний всплеск нашей всесоюзной популярности — статьи Г.Х. Попова и А.С. Ципко. Это уже 1987–1988 годы. В статье Попова “С точки зрения экономиста. О романе А. Бека “Новое назначение” впервые появился термин “административная система”; затем развитие этой темы в следующей статье — “Система и Зубры. Размышления экономиста по поводу пове-

сти Д. Гранина “Зубр”. Название очерков Ципко “Истоки сталинизма” не требуют пояснения.

— *Вы упомянули, что журнал “сохранил лицо” и живет на свои деньги. Известны проблемы старых изданий, которые продолжают выходить, но живут крайне трудно. Не обошли, видимо, трудности и ваш журнал?*

— В нашем журнале главная трудность — найти молодых, которые захотели и смогли бы подхватить эстафету. Журналистика никогда не была легким делом. Даже в лучшие времена оттепели и перед лучшими представителями нашего поколения журналистов стояли свои препятствия и проблемы — и не только внешнего плана.

“...Долго нас учили ничего не видеть, ничего не слышать. И, как следствие, не знать. Цель оправдывает средства — эти удобные постулаты охраняли нервную систему многих лиц. Надо сказать откровенно: спасительная формулировка или, скорее, философия бытия существовала и во мне, и во множестве моих коллег, отнюдь не безразличных к правде. Очень трудно было “выдавливаться из себя раба”.

Сейчас трудности иного рода. Деньги, тиражи, независимость — вкусив ее, так не хочется терять, продаваться...

— *А не представляется вам, Рада Никитична, одной из серьезных проблем противопоставление “старой” и “новой” журналистики?*

— Думаю, это отражение общего процесса — полное отрицание всего, что было и, увы, часто бездумное подражание худшим заграничным образцам. Только голая информация, нередко на потребу самому низменному вкусу. Надеюсь, что это уйдет, отстоится. Жаль, если будут обрублены корни преемственности российской журналистики, — а они глубокие, еще дореволюционные. Краеугольным камнем мне видится здесь ответственность перед обществом, а отсюда и принципы морали, цели и прочее. Ведь и в столь привлекательной для многих за границе есть издания “на потребу” — все, что угодно, только купи, — а есть почтенные, сохраняющие традиции. В нашем цехе это “Scientific American” и “National Geographics” в США, “Science et vie” и “Science et Avenir” во Франции и другие. Хотелось бы, чтобы “Наука и жизнь” осталась в ряду последних.

— *Сегодня это возможно?*

— Конечно, возможно. Рецепт простой. Нужно: первое — захотеть, второе — найти деньги. Реклама, издательская деятельность. Мы стали печатать дешевые выпуски — приложение к журналу. Все это не ново. Ну, а мы делаем первые шаги, учимся, боюсь, слишком медленно.

Серьезной журналистике существовать непросто, но все равно такие издания есть и будут. Вам не приходилось держать в руках “National Geographics”? Я уже упоминала его. Это издание американского географического общества, с миллионными тиражами. Его темы: природа, страны и народы. Журнал высочайшего класса, пример для подражания.

Мне бы хотелось, чтобы у нас осталось правилом: информация — из первых рук, достоверная, качественная. Сегодня эта задача усложнилась во сто крат. Время уплотнилось, все спешат, думать некогда. А написать хорошую научно-популярную статью — большой труд. Так что роль журналиста, редактора возрастает. Найти тему, уговорить, убедить ученого рассказать о своих работах — и изложить, интересно и понятно. Извечные проблемы. Высшее достижение — если статья побуждает читателя размышлять, а не только верить. Это особенно важно сегодня, когда интерес к науке упал, а процветают “суррогаты”. Скажем, астрология, мистика выползают из всех углов. И средства массовой информации охотно и даже с упоением мусолят эти темы. Ведьмы, колдуны, летающие предметы не сходят со страниц газет и журналов.

По-моему, губительным для журналистики было бы утратить обратную связь с теми людьми, для кого мы, собственно, и работаем. Уважать читателя, а не обольванивать его — это важно. Раньше главным каналом были письма, читательская почта измерялась мешками. В “Известиях” отдел писем был самым многочисленным в редакции, да и у нас в журнале он состоял из нескольких человек. В значительной мере по почте приходили жалобы, просьбы, всякого рода обращения читателей, печать выступала в роли борца за права отдельного человека, и довольно действенно. Сейчас эта ее функция, надо полагать, исчезает. Но были и другого рода письма, которые во многом питали газету, их публиковали, обсуждали, по ним газетная элита ездила в командировки, устраивались читательские конференции. Даже мне сегодня не верится, что на устные выпуски “Науки и жизни”, которые мы устраивали в большой аудитории Политехнического музея, невозможно было попасть,

случалось, толпу сдерживала конная милиция. Люди хотели воочию увидеть академиков — Амосова, Федорова, Гинзбурга, Газенко, услышать Окуджаву, Антокольского, Вознесенского... Всех тех, кого встречали на страницах журнала. Таково было веяние времени и влияние прессы.

Недавно я услышала рассуждение одного литературного критика: еще со времен Пушкина поэт в России — больше, чем поэт; литература — больше, чем литература, а журнал — больше, чем журнал; и время это безвозвратно кануло в Лету... Грустно, но, может быть, это и так.

Все же хотелось бы сохранить в людях веру в печатное слово, в благородство, честность пишущей братии. В этом — основная нить обратной связи.

— Рада Никитична, как долго, на ваш взгляд, работал бы Алексей Иванович в “Известиях” и какой была бы эта газета, не случись та внезапная отставка?

— Не думаю, что долго. К тому моменту это была уже пройденная ступенька, какой была бы следующая — не знаю.

“Только через правдивую прессу может каждый, в том числе и люди, облеченные высшими полномочиями, видеть и узнавать, как на самом деле обстоят дела в государстве. Но пресса “подвижна”. Велика ее способность выстраивать мир иллюзий”.

— Тем не менее во времена перестройки он начал выпускать газету “Третье сословие”.

— И очень увлекся. Поверил в реформы и хотел активно, через газету, влиять на их ход, помочь становлению среднего класса — столпа нового общества. Ищет деньги, формирует “команду”. После двадцатилетнего “сидения” в журнале “Советский Союз” (господи, двадцать лет просидел! — говорил он с ужасом) перед ним распахнулись двери в мир. Решил попробовать себя в “новой журналистике”. Не успел. “Третьего сословия” вышло всего двенадцать номеров (раз в неделю, если удавалось выдержать график). В последний свой день утром он еще отдавал распоряжения по газете, а в полдень его не стало. Было это в 1993 году, много воды с тех пор утекло...

— Рада Никитична, а как вы сами относитесь к новым изданиям? Верите в их будущее?

— Смотря к каким. Меня отвращает плохой вкус, пошлость, навязчивость, громогласные выкрики на пустом месте, недоб-

росовестность, обман... Цель, возможно, для кого-то и оправдывает средства, но ведь важно — какова цель. Замечательно, что сейчас изданий множество, — есть из чего выбирать, среди них — и очень достойные. Вот совсем новое — дайджест “Мир за неделю”. Редакция отбирает интересные материалы, успешно доказывая, что “интересность” существует не только на уровне сплетни, “клубнички”, вообще “желтой” прессы.

Не вызывает сомнения профессиональный уровень “Общей газеты”, “Новых Известий”. Куда их отнести? К новым изданиям? Все мы знаем, что сейчас пресса, журналистика переживает еще одно серьезное испытание на прочность — зангажированность, зависимость от тех, кто дает деньги. Это беда, трагедия — разъедает душу и ум как журналиста, так и читателя, подрывает веру во все и вся. А долговечность новых изданий, как и во все времена, зависит от людей, их издающих. Добыть деньги, проявить волю — легко сказать, но нелегко сделать...

Меня до сих пор удивляет долговременность запаса инерции у аджубеевских “Известий”. Десятилетия газета жила этим багажом. Сменялись главные редакторы — десять после Аджубея; одни хотели поддерживать его линию, другие — нет, а дух, атмосфера в редакции, творческий потенциал сохранялись. Увы, в наше время “Известия” не избежали участи многих изданий — разделились...

Честно говоря, у меня нет особого желания читать современную прессу. Возможно, она следует изменившимся запросам публики, негласным требованиям “новой журналистики”. Не знаю. Из тех времен нашей истории, когда пресса была больше, чем пресса, я сохранила убеждение, что одна из ее главных задач — воспитание и просвещение. А как добиться этой цели — проблема проблем. Ну как, например, побудить (это уже в нашем журнале) человека, далекого от научных проблем, прочитать статью по физике? Очень трудно. Ведь нужно, чтобы было не только понятно, но и интересно. Что-то столь завлекательное, чтобы читатель зацепился взглядом и за физику.

— *А он вас спросит: а зачем мне все это надо?*

— Может быть. Но наш читатель особый — любознательный, поразительно любознательный. Как вы думаете, по какой теме до сих пор самая большая почта? По вопросам мироздания. И еще я думаю, что угар голой “развлекательности” сходит на нет. Общество немного опомнилось и уже хочет чего-то настоящего. Конечно, читатели делятся на категории по интере-

су, возрасту, запросам и прочее. Но ведь это проблемы всеобщие, и методов решения — множество.

Когда-то Алексей Иванович был в командировке в Америке, и его хороший знакомый, очень богатый человек, предложил прокатиться на яхте. Яркий солнечный день, синяя гладь океана, прекрасно обустроенные пляжи — богатая Америка во всем блеске. Алеша затевает извечный русский разговор: “Все у вас, у американцев, есть, но вы — нация бездуховная, не склонная размышлять, не читаете книг, любимое времяпрепровождение — вцепиться в руль машины и мчаться куда глаза глядят”. А хозяин ему в ответ: “Ничего, подожди, когда вы будете такими же богатыми, как мы, когда появятся и машины, и яхты, то тоже не будете ничего читать, кроме биржевых сводок”. С тех пор прошло сорок лет. Мы живем — кто беднее, кто богаче. Но читать, кажется, еще не разучились...

“...Теперь, когда гласность резко увеличила не только значимость, ответственность, но и поток слов, увы, легки и скоры на провозглашение истин чаще всего те, кому ни в какие времена не пришлось нести существенных потерь”.

Б.А. Грушин

“Институт общественного мнения —  
отдел “Комсомольской правды”

— *Борис Андреевич, вы известный социолог, автор ряда научных книг, и вместе с тем ваше имя неотделимо от журналистики 60-х годов, от “Комсомольской правды” и ее Института общественного мнения. Как вы это сами объясняете?*

— Возможно, случайностью был сам мой приход на работу в газету (прямо скажем, не от хорошей жизни). Но уже характер работы и главное — создание Института общественного мнения отнюдь случайностью не были. Ни с точки зрения времени, в которое все это происходило, ни с точки зрения существа задач, которые мы ставили. Объяснение факта лежало в серьезных исторических подвижках в общественном сознании, случившихся в стране в пору хрущевской оттепели. В равной мере они затронули как социальную науку, которая после долгого исторического перерыва потянулась к конкретному эмпирическому знанию, так и массовую журналистику, занявшуюся энергичными поисками новых форм контактов со своей аудиторией.

— *Институт общественного мнения и стал одной из таких форм?*

— Да. Он возник в мае 1960 года по инициативе работников редакции и с точки зрения официальной академической и университетской науки явился типичным “незаконнорожденным ребенком”. В то время тягу к конкретной социологии испытали довольно многие учреждения и организации не академического толка — партийные и государственные органы, администрации заводов, даже правления колхозов. Однако наш центр выгодно отличался от других — недолговечных и самодельных — тем, что ему на редкость повезло с “матерью”: авторитет и популярность центральной ежедневной молодежной газеты с тиражом свыше четырех миллионов экземпляров, ее большие технические, финансовые и административные возможности позволили придать делу с самого начала завидный размах, широкое

общественное звучание и обеспечить ему плодотворное долголетие. Институт просуществовал почти восемь лет (до конца 1967 года), провел в общей сложности двадцать семь опросов общественного мнения, в том числе один международный и двадцать всесоюзных.

Правда, с точки зрения строго административной институт долгое время оставался, скорее, отвлеченным понятием. Проведение зондажей, обработка и анализ их результатов первоначально не были за кем-либо специально закреплены. Они выполнялись в виде дополнительной и добровольно принятой на себя “нагрузки” сотрудниками отдела пропаганды. Лишь в 1966 году был создан специальный отдел “Комсомольской правды” — Институт общественного мнения — со своим помещением, своими, хотя и очень скромными, штатами и своим бюджетом (он, кстати, предусматривал возможность нанять на временную работу достаточное число интервьюеров, кодировщиков и так далее).

Корреспондент одной из итальянских газет сообщал тогда своим читателям, что “Московский институт общественного мнения” — огромное учреждение, которое занимает большой дом, насчитывает около трехсот сотрудников и располагает мощной электронно-вычислительной техникой. Все это было, мягко говоря, преувеличением (понятно, что в редакцию он и не заглянул). Мы — максимум семь сотрудников — никогда не имели больше двух комнат на шестом этаже комбината “Правда”, всю собираемую информацию поначалу обрабатывали вручную, а затем в разных вычислительных центрах Москвы, главным образом ЦСУ.

В отличие от легкомысленного итальянца корреспонденты других иностранных газет и агентств, а также зарубежные социологи нередко поднимались к нам на шестой этаж, интересовались результатами и планами работы. И почти всегда задавали один и тот же вопрос: а почему именно “Комсомольская правда”?

— *И действительно — почему?*

— Во многом в силу субъективных факторов. Что тут имеется в виду? Царивший в коллективе особый дух товарищества, какой-то редкой благожелательности и заинтересованности в общем успехе, носителем которого были ветераны газеты — “сорокалетние старики”, в прошлом нередко военные корреспонденты. Молодежный состав редакции — большинство сотрудников получило высшее образование и пришло в газету после переломного 1956 года (уж по крайней мере после 53-го) — и связанная с этим об-



становка непрерывного генерирования новых идей, которые активно поддерживались. Столь же молодое руководство, не успешшее утратить вкуса к профессиональному риску. Тогдашнему главному редактору “Комсомолки” Юрию Воронову только что стукнуло тридцать лет, его первому заму Борису Панкину, одному из самых активных “катализаторов” процесса создания нашего института, и того меньше — всего двадцать восемь. Ну и совсем уж случайное присутствие в коллективе философа-методолога, который пытался тем или иным образом приложить свои профессиональные знания к журналистской практике и к тому же был полон научных амбиций, обладал важными связями с разного рода полезными для дела специалистами — социологами, статистиками, математиками<sup>1</sup>.

А если говорить о том, что все эти факторы сошлись именно в газете (не где-то в системе Академии наук) — то здесь мощно действовали уже не субъективные, а исключительно объективные факторы.

В самом деле, несколькими годами раньше в Варшаве появился Центр опросов общественного мнения при Польском радио и телевидении, парой лет позже такой же центр возник в Будапеште. Значит, тут существовала явная зависимость: типично социологическая служба, каковой является любой центр изучения общественного мнения, определенно тяготеет к альянсу с тем или иным органом массовой коммуникации. И основа такого тяготения достаточно прозрачна. Изучение общественного мнения, что называется, по определению предполагает наличие постоянной возможности оперативного обращения к массовой аудитории — то ли с целью зондирования ее позиций, то ли с целью ее информирования о результатах зондажей. И наилучшей техникой реализации этой возможности, бесспорно, являются каналы печати, радио, телевидения. В отличие от любой чисто технической связи (например, телефон-

---

<sup>1</sup> Наш собеседник, возглавивший Институт общественного мнения, окончив философский факультет МГУ, а затем аспирантуру по кафедре логики того же факультета, понал в редакцию в 1956 году, в пору своей затянувшейся безработицы, из квартета так называемых диалектических станковистов, в который, кроме него, входили А.А. Зиновьев, Г.П. Щедровицкий и М.К. Мамардашвили. К моменту создания института он был не только одним из редакторов газеты (по отделу пропаганды), но и преподавателем философии на механико-математическом факультете МГУ, кандидатом философских наук, защитившим диссертацию по проблемам логики исторического познания. — *Прим. ред.*

ной или даже — в последние годы — компьютерной) массовая пресса решает эти задачи не только более экономно и оперативно, но и — что представляет особую ценность, учитывая специфику предмета, — наиболее естественным, органическим путем. Ведь любые операции с общественным мнением легко вписываются в восприятии публики в привычные, каждодневные информационные функции той же газеты.

С другой стороны, интерес счастливым образом оказывается взаимным. Начавшиеся после XX съезда подвижки в социальной науке, как я уже говорил, в не меньшей мере затронули и деятельность массовой прессы. Былые безапелляционный арбитрализм и скучная идеологическая дидактика мало-помалу начали сменяться стремлением развить две основные органические функции журналистики — собственно информирования аудитории и выражения общественного мнения. И это заставило прессу искать новые, более прочные и регулярные связи с читателем. Изучение механизмов восприятия информации, как и систематическое изучение всех видов “обратной связи”, постепенно осознавалось в качестве не просто желательного, но и необходимого условия нормальной работы редакций. И отсюда уже было два шага до идеи создания собственной социологической службы, которая могла бы удовлетворить возникшие потребности. Правда, у любой газеты имелась и иная возможность — обратиться к услугам уже существующих социологических центров. Однако ясно, что при прочих равных обстоятельствах создание собственной лаборатории во многих отношениях было куда более привлекательным.

— *К чему, на ваш взгляд, при этом стремилась газета — следовать общественному мнению, чтобы завоевать большую популярность, либо со знанием дела влиять на него?*

— Конечно (что там говорить!), “Комсомольская правда” тех лет, подобно остальным массовым изданиям, была лишь частью общей идеологической и пропагандистской машины государства и, значит, не могла развивать особой активности и самостоятельности. И все же “люфт” для свободного поведения в рамках общих правил был достаточно велик, и Институт общественного мнения не только небезуспешно стремился до предела использовать эту свободу, но и многократно “злоупотреблял” ею (что, кстати, в конечном счете — после скандального опроса “Комсомольцы о комсомоле” 66-го года — и привело к его закрытию). Во всяком случае, за все годы его работы редколлегия ни разу не пришлось действовать по чьей-либо указ-

ке “со стороны” — ни при выборе тем опросов, ни при определении манеры интерпретации их результатов.

Самопровозглашенный исследовательский центр, созданный в рамках газетной редакции, не мог не решать целой серии задач, связанных с интересами газеты как таковой. Первым из этих интересов было, конечно, распространение и внедрение в массовое сознание ценностей и норм, образцов сознания и поведения, входивших в корпус так называемого коммунистического воспитания молодежи. И, скажем, в своем первом опросе — о войне и мире — редакция явно хотела не только узнать, каким в самом деле было мнение населения страны по этому поводу, но и (это совершенно очевидно) лишний раз провозгласить “преимущество социализма над капитализмом”, доказать (показать, убедить), что “Советский Союз — сильнейшая держава в мире”, а “Н.С. Хрущев — главный миротворец”. Во втором опросе, где речь шла о динамике жизненного уровня населения, главная идея опроса (газеты) снова заключалась не только и не столько в том, чтобы выяснить реальное положение вещей или собрать предложения людей относительно способов решения существующих проблем, сколько в том, чтобы опять же лишний раз подтвердить, что “дела в стране идут очень хорошо”, что “главный залог счастья народа — политика партии” и так далее.

Подобное использование результатов опросов резко усиливало пропагандистский потенциал газеты, поскольку теперь пропаганда “подавалась” уже не голословно — с помощью одной лишь словесной эквилибристики и логики, — но куда более убедительно: во впечатляющей упаковке “объективной цифры”, полученной “научным путем”. Кроме того, прибегнув к публикации на своих страницах различных, не совпадающих друг с другом (в том числе если и не “антисоветских”, то заведомо “несоветских”, “неправильных”) мнений, газета заменяла былую прямолинейность и односторонность большей объективностью и создавала новые возможности для “выпускания пара”.

Весьма привлекательным также был значительный рост редакционной почты (в те годы это считалось важным показателем эффективности журналистской работы). Ради этого с 1961 года мы стали широко использовать, наряду с техникой персонального интервью, так называемые газетные опросы — публикации анкет на страницах “Комсомолки” с предложением ответить на вопросы “всем желающим”.

Наконец, действительно с помощью Института общественного мнения редакция стремилась еще более укрепить свой ав-

торитет среди читателей, свою популярность у населения. И это ей явно удалось.

— *И как при этом, Борис Андреевич, в вас лично уживались журналист и ученый? Явно выраженный “журнализм” в деятельности Института общественного мнения, видимо, вступал в противоречие с научными интересами, поставленной исследовательской задачей?*

— Если угодно, это была та цена, которую социология опросов должна была заплатить за свое рождение и существование. И нельзя не признать, что цена немалая. Заведомо зауженным было понимание той роли, которую новая институция по своему определению призвана играть в жизни современных обществ.

Известно, что в западном мире понятие “общественное мнение” употребляется в двух различных смыслах: во-первых, как некоторое коллективное суждение множества индивидов, выражаемое тем или иным образом, и во-вторых, как политический институт (так называемая пятая власть), участвующий в управлении жизнью общества. В соответствии с этим любая деятельность по изучению общественного мнения “помогает” ему выразиться и реализует его участие в жизни гражданского общества, то есть формирует общественность, повышает уровень ее самосознания, обеспечивает ее связь с политическими институтами, в том числе институтами власти.

Разумеется, в ту пору жизни России, о которой теперь идет речь, об общественном мнении можно было в принципе говорить (причем со многими оговорками) лишь в первом смысле и вовсе нет — во втором. Это значит, что возникший в стране Институт общественного мнения, при прочих равных обстоятельствах, мог бы рассматриваться как некий “подарок судьбы”, как некий нечаянно подвернувшийся механизм для исторического прорыва в гражданское общество, в политическую демократию. Однако ничего этого не произошло и, конечно же, не могло произойти. Несмотря на наступившую (к тому же, как скоро выяснилось, весьма кратковременную) оттепель, страна была категорически не готова к изменениям, случившимся с ней двадцать с лишним лет спустя. Потому “революционная” по своим общественно-политическим потенциам деятельность нашего центра не получила тогда сколько-нибудь адекватной оценки и не была востребована в рассматриваемом значении ни газетчиками, ни политиками. Те и другие упорно видели в ней лишь “еще одну” (правда, очень удачную и броскую) рубрику в газете — не более.

Впрочем, на чисто спонтанном уровне, независимо от интересов редакции и политических лидеров, наша работа и ее цель — формировать общественность, прививать людям навыки участия в публичной дискуссии, создавать и использовать язык гражданского общения, отличный от официального, и так далее — все же не была безрезультатной, по-видимому, давала какие-то плоды.

Платой “журнализму” для нас как социологов было и то, что редакцию совершенно не волновали такие сюжеты, как репрезентативность информации, строгая выверенность задаваемых вопросов, соблюдение принципа анонимности ответов, чистота кодирования полученной информации и многое другое. Ей вовсе не нужна была тяжеловесная, строгая “наука”, ей нужно было завлекательное, оперативно изготавливаемое “чтиво”. В результате этого поле деятельности Института общественного мнения в редакции было полем не только коллективного энтузиазма и радости (по поводу каждого нового опроса и каждой крупной публикации), но и постоянных скрытых и явных напряжений между интересами “газеты” (“журналистов”) и интересами “науки” (“социологов”), равно как и постоянных компромиссов между этими интересами.

В самом начале пути такого рода компромиссы решались, как правило, в пользу “газеты”. В том числе, видимо, и поэтому результаты первых четырех опросов были восприняты в обществе исключительно как явление журналистики, а отнюдь не науки. Однако начиная с пятого исследования, посвященного проблемам движения за коммунистический труд, ситуация стала заметно меняться. “Продукция” института начала активно проникать в научную литературу, рассматриваться в одном ряду с опросами и исследованиями других центров социологической науки в стране. Такое изменение в балансе “газета — наука”, особенно на втором этапе деятельности Института общественного мнения “Комсомолки” (1965–1967), обернулось в конце концов прямым конфликтом между мной как руководителем института и редколлегией газеты и, безусловно, способствовало его “безвременной” (а на самом деле еще как “временной”!) кончине.

Во всяком случае, независимо от того, каким образом объединялись для меня тогда наука и журналистика, каковы были плюсы и минусы обеих, мне удалось понять самое важное: что общественное мнение — одна из форм существования и выражения не группового, не классового, а так называемого массо-

вого сознания; что общественное мнение может быть и бывает “всяким” — широким и узким по своему субъекту-носителю; единодушным и (в подавляющем большинстве случаев) плюралистичным по своему составу; ложным и истинным по своему содержанию; компетентным и некомпетентным по своему значению; “естественным” (самозарождающимся) и “искусственным” (создаваемым) по механизмам своего возникновения; спонтанным и организуемым по механизмам своего выражения и так далее. Окончательное обобщение всей этой работы, занявшей несколько лет, приняло форму двухтомной докторской диссертации “Проблемы методологии исследования общественного мнения”, завершённой в 1966 году, а затем монографии “Мнения о мире и мир мнений”, изданной Политиздатом годом позднее.

Так что при вынужденном “журнализме” в работе Института общественного мнения “Комсомолки” сама информация, полученная в ходе опросов, оставалась в рамках серьезной социологии, сохраняла научный характер и, следовательно, оставляла принципиальную возможность для иного рода ознакомления с нею широкой общественности и иного рода ее содержательной интерпретации, нежели просто публикации в газете в начале 60-х годов. В некотором смысле она бесценна, если учесть, что тогда это был единственный социологический центр, который мог проводить и проводил многие свои исследования не на каком-то отдельном предприятии и не в каком-то отдельном городе или регионе, а в масштабах страны. Зафиксированные образцы сознания людей, живших в эпоху Хрущева, обладают непреходящими достоинствами. Разумеется, прежде всего как живые свидетельства менталитета собственно шестидесятников. Но не только. Объективный наблюдатель найдет в них также указания и на некоторые более глубокие пласты сознания тех, кого теперь нередко оскорбительно именуют “совками”, но кто на поверку, при ближайшем рассмотрении, оказывается самим российским народом. Широко распространенный взгляд, будто бы общественное мнение — само непостоянство (сегодня оно одно, завтра другое — “семь пятниц на неделе”) и что поэтому обращение к его тестам сорокалетней давности не может дать ничего, кроме каких-то (в том числе невнятных) намеков на “дела давно минувших дней”, “преданья старины глубокой”, — не более чем предрассудок. Ведь представленное в опросах общественного мнения массовое сознание состоит не только из “сиюминутных” настроений, эмоций, влечений, подсознательных

импульсов, но и из множества других, фундаментальных образований, формирование и эволюция которых происходят на протяжении десятилетий и столетий.

— *Вы потом отошли от журналистики? Не возвращались больше и к этим материалам?*

— Несколько лет я работал в Праге, в журнале “Проблемы мира и социализма” (в два “захода”, со значительным разрывом во времени), но работа там имела свою специфику. А что касается материалов, связанных с опросами в “Комсомолке”, то именно этим я сейчас и занимаюсь. В своей первой книге о массовом сознании я рассматривал его чисто теоретически и пообещал, что позже выйду на его конкретные характеристики. Вот сейчас и настало время — изучаю наши опросы времен Хрущева.

— *И о чем говорит уже сегодняшний ваш анализ работы той поры? Что, в частности, судя по этим опросам и по итогам осуществления ваших последующих проектов, можно сказать о влиянии прессы на массовое сознание и сознание личности, на ее социальную ориентацию и социальную активность?*

— Должен сказать, что сейчас меня совершенно не волнует то, что обычно волнует исследователей общественного мнения, — распределение ответов на те или иные вопросы. Я пытаюсь восстановить структуру массового сознания по десяти определенным его характеристикам. Например, первый признак — включенность в проблему, в диапазон интересов людей того времени; второй — морфология самого массового сознания, какие типы высказываний преобладают. А завершается этот ряд “плюрализмом-монизмом” мнений (противоречивость-целостность сознания; реактивность, тип реакции на вопросы, на те или иные явления жизни; ценностные характеристики — какие ценности считаются главными, какие второстепенными и так далее).

Дело в том, что в теории и идеологии того времени утвердилось весьма вредное — с точки зрения прогресса — и абсолютно ложное суждение о том, что общественное мнение при социализме едино, что “носителем” его является народ в целом. О чем бы ни заходила речь — “все как один”! Конкретные исследования, которые я начал, показали, что это полная чепуха, что общественное мнение при социализме, как и в любом другом обществе, плюралистично, оно распадается по каждому конкретному сюжету на большое количество точек зрения, не совпадающих друг с другом, а иногда и противоречащих друг

другу. Это удалось установить уже в самых первых опросах “Комсомолки” (о войне и мире; об уровне жизни; о новом поколении — “Исповедь поколения”).

Прежде всего стало очевидно, что общественное мнение у нас существует — а эта проблема тоже остра и важна, ибо само существование общественного мнения есть некий результат идущего в обществе дискуссионного процесса. Далее, повторю, оно плюралистично, и сам этот плюрализм различен: в опросе о “войне и мире” 98 процентов высказалось “за” мир, а скажем, уже в следующем опросе картина предстала иная, потому что уровень жизни повысился далеко не у всех и общество раскололось на три неравных группы.

Исследуя плюрализм мнений, можно было оценить влияние прессы на ту или иную точку зрения: если бы оно было всеобъемлющим, абсолютно монолитным, тогда правомерно было бы говорить, что это проникла идеология, полностью захватив умы и сознание людей, или люди сами сошлись во взглядах на тот или иной предмет по каким-то невероятным обстоятельствам. А вот при плюрализме мнений трудно понять, почему одни занимают позитивную позицию, другие — негативную. Можно было, скажем, точку зрения первых связать с влиянием прессы — но как в это укладывается влияние прессы на точку зрения негативную... В общем и целом это была довольно сложная задача, и она остается такой, поскольку сегодня существует два взгляда на времена Хрущева, в том числе и в отношении “влияния прессы”. Один абсолютизирует это влияние, другой абсолютизирует как раз так называемую полную самостоятельность масс и их свободное существование вне системы. Те, кто разделяет эту точку зрения, отрицают влияние прессы как таковой, говорят, что она “бьет” мимо цели. Именно этим объясняют столь быстрый распад Советского Союза и падение социализма как системы, как строя: когда возникла возможность свалить на себя бремя тоталитарного государства — масса это и сделала.

А что в действительности? Этим я сейчас и занимаюсь, полагая, что и та, и другая точки зрения глубоко ошибочны, и оценивать надо, скорее, влияние не прессы как таковой, а идеологии в целом (строго говоря, влияние прессы в чистом виде мы измеряли только один раз, в 1967 году, позже хрущевского времени).

Непосредственно сейчас я провожу анализ массового сознания по отношению к движению “За коммунистический труд”.



Это интересная вещь — начиная с того, что я был свидетелем “перерождения” газетной акции (Аджубей был тогда главным редактором “Комсомолки”) в новый “великий почин”. Просто сидели и думали, как отметить очередной юбилей Октября, и именно Аджубей, по-моему, придумал вот это самое движение за “коммунистический труд”: “А давайте мы грохнем, давайте поедем в Москву-Сортировочную!”... Казалось бы, в него включился весь народ, казалось бы, это был один из постулатов самой пропаганды — она настаивала на том, что строительство коммунизма осуществляется всем народом. В той или иной форме — на уровне реального участия или хотя бы в виде разного рода забот, переживаний, “проговаривания” разных слов по этому поводу, — но “строительство коммунизма” захватило всех, не было семьи, где бы это не обсуждалось (возможность — невозможность, вера — неверие и так далее). И вот наш опрос, который мы провели в 1961 году, показал, что это — абсолютная “липа”. Статистика в том году утверждала, что двадцать миллионов человек борются за звание “бригад коммунистического труда” или “ударника” (это статистика официальная; поскольку движение возглавлялось профсоюзами и комсомолом, то в ВЦСПС и в ЦК комсомола получали официальные данные по поводу “ударников”). Три миллиона человек к 1961 году уже имели это звание, восемьдесят тысяч коллективов (или двести тысяч? — уже не помню) его добивались, в каждом коллективе не меньше чем по тысяче-две человек... Получалось, как минимум семьдесят пять миллионов человек участвовало на том или ином уровне в “коммунистическом” движении, и все это еще обсуждалось в семьях, на собраниях. Действительно — весь народ!

Наш опрос мы проводили, когда газеты вели дискуссии по поводу новой Программы партии (перед съездом), и тут тоже создавалась иллюзия, что участвуют все — печатались замечания, возражения, добавления, и так далее, и тому подобное. Опрос проходил среди представителей, так сказать, трех типов сознания. Опрашивали коллективы (по очень надежной выборке). В газете опубликовали анкету, как нередко делали, с призывом откликнуться на нее — и “ударникам”, и тем, кто борется за звание, и тем, кто вообще плевал на это звание, но все же хотел сказать что-то свое. И вот когда откликнулись все желающие, набралось 1290 человек. Такого срама, такой неудачи с точки зрения массовости участия в опросе общественно-го мнения мы вообще никогда не видели (перед этим прошли опросы на темы “Исповедь поколения” — 17446 человек,

“Семья” — 10500 человек). А тут — 1290. Совершенно непонятная вещь поначалу. А потом выяснилось, что огромная масса людей не только не участвует в этом движении, но не хочет его и обсуждать. Для них оно просто не существует, как не существует и само строительство коммунизма как таковое. Это был, конечно, шокирующий результат, шокирующий для пропаганды, для идеологии, и поэтому мы имели очень большие трудности с публикацией результатов. К тому же выяснилось, что у людей весьма смутные представления о коммунизме и о коммунистическом труде (абсолютная разорванность сознания!), каждый по-своему понимал, что значит “жить и работать по-коммунистически”, путали даже самую “основополагающую” формулу. Это говорило о том, что пресса, несмотря на гигантский прессинг на массовое сознание, с точки зрения проблематики движения за коммунистический труд со своими задачами “не справлялась”. Значит, сама пресса или сама идеология не имели четкой концепции. Вернее, концепция-то была: работа — на первом месте, жизнь — на втором. Установка была именно на эту формулу, а народ, тем не менее (во всяком случае, значительная его часть), в этом деле “не разобрался”...

— *Речь идет, таким образом, об отражении массового сознания в прессе или, напротив — о влиянии прессы на это массовое сознание?*

— Нет, о влиянии. В эпоху Хрущева, должен буду я сказать, когда стану подводить итоги всех проведенных тогда опросов, влияние идеологии, прессы в частности, было грандиозным, тем не менее не беспредельным. Далеко не беспредельным, потому что в обществе существовали многие сегменты, которые избежали зависимости от идеологических построений. Это выявилось особенно наглядно по результатам третьего нашего опроса, самого популярного, знаменитого, имевшего большой зарубежный отклик. Суммарный анализ ответов на его девятнадцать вопросов позволил выделить как минимум семь типов молодых людей, из которых только три первых типа можно было посчитать порождением тогдашней идеологической деятельности. Это были так называемые революционеры (продолжатели дела отцов), их было очень много. Второй тип — так называемые романтики, которые при описании своей деятельности не обязательно пользовались словом “коммунизм”, тем не менее заведомо отдавали приоритет благу общества перед собственным благом. У них был свой лозунг: “Сделать все, отдать максимум сил для пользы народа, для пользы общества”.

Они очень серьезно — по лексике, типу поведения — отличались от “революционеров”. Третий тип — это люди, активно включенные собственно в трудовой процесс, видевшие смысл жизни в творческом труде (таких было тоже немало). Это были профессионалы, “творцы”, которые если и вступали в партию, то для них все эти идеологические вещи были вторичными (в то время как для “революционеров”, “романтиков” — на первом месте); они хотели жизнь положить на то, чтобы сделать что-то значительное в своей сфере — своими усилиями продвинуть науку, практику, искусство и тому подобное. Четвертый тип — это “трудолюбивые”, люди, которые хотели “жить как все”, которые вообще не пользовались лексикой, связанной с коммунизмом, социализмом и так далее. Просто хотели иметь нормальную, обеспеченную семью, меньше забот. Их уже, с моей точки зрения, идеология не захватывала, хотя они составляли большинство в обществе, судя по многим другим опросам. Пятый тип — так называемые пессимисты, люди недовольные, разочарованные, начинавшие с активной деятельности (в комсомоле или в тех или иных сферах труда) и пришедшие к выводу, что главная ценность — деньги, а вовсе “не ваши коммунистические идеалы”. Но они попадали в категорию “разочарованных”, потому что начинали иначе, а потом “муж оставил”, “с детьми не получается”, “с работы выгнали” (много было таких сюжетов). Шестой тип — так называемые нигилисты. И если “разочарованные” не отменяли социалистические ценности как таковые, но считали, что сфера их реализации уж очень узка (“острова социалистические, а вся основная жизнь не очень хороша”), то “нигилисты” отменяли все (в чем было, конечно, много поэмы).

— *Имеются в виду диссиденты?*

— Нет. Но седьмой тип я обозначаю как “скрытые диссиденты”, которые обнаружили уже тогда, в опросе 1961 года. Главным мотивом диссидентства в те годы, на мой взгляд, были репрессии против родителей, это четко просматривается. Очень мало таких людей приняли участие в опросе, тем не менее некоторые даже указывали свои фамилии. Позднее диссидентство уже было связано с влиянием других моделей поведения и самой жизни, с пониманием того, что существует нормальное общество, а у нас оно ненормальное, и потому надо двигаться от тоталитаризма к некоей демократии, и так далее. “Скрытые диссиденты” так вопрос не ставили, они не собирались бороться. Всем им было где-то под тридцать, и у всех в

ответах на анкету (а они приходили из разных концов страны) присутствует “репрессия отцов”, которая не оставляет их в покое.

Наличие этих семи, как минимум, типов (можно было дробить и еще) людей, в разной степени причастных к тоталитарной идеологии, показывало, что идеологическое воздействие, в том числе и прессы, не было повсеместным и всеобъемлющим. То же самое мы отметим и позже, в других опросах, в частности и том, которым кончается эпоха Хрущева.

— *Борис Андреевич, а журналисты, работавшие в те годы, ставили задачу “объять” все слои, всех потенциальных читателей или имели в виду “свою”, определенную аудиторию?*

— Объять все? Нет, конечно. Пресса и тогда была разная. Замечу, кстати, что процесс ее революционизирования начался, на мой взгляд, не с “Известий” (как принято считать), а с “Комсомольской правды” и при участии Аджубея. Он был очень активен как заместитель главного редактора (меня на работу в “Комсомольскую правду” брал именно Аджубей, это был март 1956 года). Факт тот, что он был не просто замом Горюнова, а по-настоящему работающим замом, то есть определял идеологию газеты, впервые именно там “запустил” те самые типы газетного творчества, которые потом в “Известиях” расцвели полностью, потому что “Известия” была “взрослой” — государственной, правительственной — газетой.

Сами по себе мы, конечно, не ставили задачу охватить всех или охватить все. Но таков был главный постулат тоталитарной идеологии, исключаящий в любой сфере деятельности что-то, не вписывающееся в образцы.

— *Тем не менее именно тогда, скажем, журналы “Новый мир” и “Октябрь” явно ориентировались каждый на своего читателя. Они уже знали свою аудиторию или каким-то образом формировали ее?*

— Трудно сказать. Я думаю, что в смысле формирования аудитории все получалось случайно. Целенаправленной деятельности такого рода не было, потому что для этого надо очень хорошо знать, каков твой читатель. Круг авторов был вполне определен и известен, а вот круг читателей — нет. Не случайно, я думаю, социолог Шляпентох по заказу редакций в середине 60-х годов проведет ряд исследований по изучению читательской аудитории крупнейших газет.

Но сам факт “размывания” общества был в то время уже очевиден. Речь шла о расшатывании тоталитарной наследст-

венности, причем происходило это где целенаправленно, где случайно — и не без активного участия прессы. Мы тогда, например, в “Комсомолке” возродили действенную журналистскую форму — социально-экономический очерк: помню, в 1957 году дали две полосы с рассказом о годовом бюджете семьи Андриановых из Горького. Был тогда у нас Александр Владимирович Гурьянов, журналист-энтузиаст, человек свободный (так сказать, на вольных хлебах), работавший на “Комсомолку” по-крупному. В течение года он вел дневник (бюджет той семьи) и потом выплеснул этот совершенно фантастический по тем временам материал, где отнюдь не все безусловно соответствовало официальной идеологии:

Институт же общественного мнения просто взрывал тоталитарную систему управления, прежде всего потому, что выявлял несовпадения точек зрения, разные взгляды на предмет, а не потому только, что ставил какие-то опасные вопросы.

— *А не было такого, Борис Андреевич, что сознание людей уже изменилось, “ушло вперед”, а пресса все еще ориентировалась на некий прежний либо усредненный, “примитивный” уровень?*

— Не думаю. В 60-е годы, по-моему, пресса все-таки была в лидерах по отношению к сознанию. Кстати говоря, иногда сейчас читаешь обратное — во многих материалах я это видел, — что в то время был сплошной обман публики и она ни в чем не участвовала, была как “стадо баранов” и так далее. Это полная ерунда. Ведь, в частности, в коммунистическом движении были реальные практики, реальные трудовые успехи — не только идеологические конструкции. Люди вдруг меняли образ жизни, бросали пить, курить и так далее (все это определялось через отрицание). Росла производительность труда. Люди писали о случаях, когда в движение зачисляли не на добровольных началах, а просто говорили: “Вот ты будешь ударником”. Или когда весь коллектив объявляли “коммунистическим”, причем создавали для него тепличные условия: весь инструмент, сырье шли в ту бригаду, чтобы она показывала чудеса героизма, а все остальные ходили с “голым задом”. То есть очень много было “липы”, люди это видели, понимали — наш опрос это выявил. И тем не менее по наивности, по простодушию и без зарплаты работали, скажем, в честь полета Германа Титова. Час работы бесплатно — это же было! И уж никак нельзя сказать, что это просто была игра в слова. Люди меняли свою жизнь, находили новые практики (деятельностные, а не только словесные), хо-

тя, повторю, многие уже понимали, что это “липа”. Но продолжали настаивать на том, что это хорошо. Такой факт двоемыслия был впервые замечен нами — не в осуждение.

— Но пресса же и способствовала такому двоемыслию, одновременно и насаждая и осуждая подобную “липу”? В этом смысле она играла негативную или все же позитивную роль?

— Позитивную.

— Настойчиво “вдалбливая” в сознание масс заведомо вздорные вещи?

— Дело в том, что вообще система, так сказать, “вдалбливания” — это в действительности очень сложная проблема, потому что с помощью прессы, с помощью “вдалбливания” в том числе происходило социальное интегрирование общества — чего не делает нынешняя пресса, в чем ее главный грех. Почему я и считаю, что главным врагом нашего общества сегодня являются средства массовой информации — не пресса даже, а прежде всего телевидение. Это моя точка зрения. Уже пять лет я ее отстаиваю, был дважды освистан в Доме журналиста, когда это произносил, но я на этом категорически настаиваю: главный враг нынешнего общества — телевидение. А пресса сейчас не имеет никакого влияния. В перспективе она вообще исчезнет. В том числе под воздействием чисто технологических решений, поскольку Интернет скоро вытеснит и телевидение тоже. Одно выталкивает другое. Это конкуренты. В нашей стране, правда, это произойдет еще не скоро. Очень не скоро.

— В том же Интернете можно было познакомиться с “Тезисами о СМИ и не только о них” вашего коллеги, социолога Ослона. Утверждая, что общество делится и на ментальные группы — группы на волне настроений, — что средства массовой информации и население — это два взаимодействующих потока (информационный поток и поток потребностей-ожиданий), он подчеркивает необходимость особо тонкой настройки, точечного попадания в работе СМИ — иначе она становится бессмысленной. Возможно, речь и могла бы идти о такой переориентации прессы, но не о ее исчезновении?

— Эти вещи замечены уже давно. Происходит так называемая демассовизация массовой информации, что связано именно с новыми технологиями. Когда у тебя не два или три канала, а сто, ты можешь найти здесь все, что тебе угодно. На определенном уровне развития обществ возникает дифференцированный интерес. У нас он еще очень низок, очень ограничен в силу на-

шей бедности. Тот же Интернет — это гигантский, небывалый веер информационных предложений, и поскольку западное общество дифференцировано очень сильно, в том числе и на малые группы (чем, собственно, демократия отличается от того, что имеем мы), возникает сто тысяч разных точек зрения соответственно предложению. Чем более дифференцируются потребности, интересы людей, тем очевиднее “гибнет” так называемая тоталитарная структура информации. И в этом смысле говорить о том, что пресса, наша пресса, повысит свою роль в обществе, совершенно невозможно.

— *А в том, что касается ее функции организатора?*

— Нет. Это именно система воздействия на общественное мнение, на поведение и способы сознания людей. Нынешняя пресса ни в одной стране мира не является организатором.

— *А способна ли пресса — в содружестве с наукой — как-то повлиять на выбор обществом лучшего варианта социального устройства?*

— Не способна, если за наукой и прессой не стоит общая структура власти. Если общество бессильно. Я, скажем, могу заниматься наукой, но мое влияние нулевое. Мою книгу “Массовое сознание” здесь никто и не прочитал, хотя в любом другом обществе она могла бы сыграть свою роль. Никакая пресса, никакая наука в ситуации сплошного хаоса — с точки зрения прежде всего правовой — ничего не может сделать. То есть она может сделать все, что угодно, если появляется некий бизнесмен, дает деньги, ты для него проводишь исследование, публикуешь данные и все такое прочее. Ты получаешь удовлетворение, если ты вообще азартно работаешь; сам-то получаешь удовлетворение, но результат нулевой, потому что интерес прессы и интерес науки не может быть сильнее тех механизмов, которые управляют обществом, а эти механизмы связаны с властью, законом — в том вся и проблема. Очень долго еще будет то, что мы имеем сейчас, пресса будет продолжать играть безумно плохую, негативную роль — до тех пор, пока не появятся первые социальные субъекты, которые заявят о себе и которым удастся противостоять власти, то есть когда возникнут первые элементы гражданского общества, потому что пресса — их рупор.

— *Вам не кажется, что получается замкнутый круг: гражданское общество не может возникнуть без прессы, а пресса не способна играть свою положительную роль вне гражданского общества?*

— Я говорю, что гражданское общество не может возникнуть не без прессы, а без его субъектов. Гражданское общество — это совокупность определенных субъектов, которых отличают позитивная деятельность в том или ином направлении и их независимость от государства. Вот у нас сейчас нет таких субъектов, они лишь “прорываются”. Здесь действительно круг, классический круг. История без конца повторяет эту ситуацию: курица или яйцо. И тем не менее где-то осуществляется какой-то точечный прорыв, благодаря чему так называемый *circulus vitiosus* — “порочный круг” разрывается. Эти прорывы могут быть и в прессе в том числе.

Семьдесят лет как минимум мы будем иметь тот самый кипящий “мутный бульон”, которому подобно сейчас наше общество; должно смениться три поколения, чтобы появились люди абсолютно непорочные...

— *Это не идеализм?*

— Какой же это идеализм? Так оно было во всей истории. Прорыв осуществляется людьми, которые действуют “во благо общества”. Они придут. Прогресс все равно бесспорен. Накопление все равно идет. Нулевой результат, которым кончилась оттепель, через двадцать лет привел к 1985 году. Так или иначе отложение определенных результатов в ткани общества происходит. Миллионы людей втянуты в новые формы жизни (в том числе ненормальные), которые делают невозможным возвращение к тоталитарной системе.

— *Иногда говорят, что шестидесятники, в том числе и журналисты и социологи, лучшие из них, тем не менее, делали “черное дело”, ибо стремились усовершенствовать негодную систему. Вы с этим готовы согласиться?*

— Это неправда. Категорически не согласен с тем, что я делал “черное дело”. Я создал Институт общественного мнения, который мог стать первым прорывом в настоящую демократию. Этот прорыв не состоялся потому, что его никто не осознал как демократию. Тем не менее рубец — инфарктный или инсультный — он у общества оставил. У меня масса неизданных книг, нереализованных проектов. Но нулевой результат, о котором я говорил, тем не менее не дает мне основания утверждать, что вся работа была черно-белой или напрасной.

Нет, наша пресса тоже не делала “черное дело”, она, скорее, как я уже говорил, расшатывала систему. Это происходило в массовом масштабе. В общем, за исключением откровенных холуев, которые получали с барского стола и продавались в чистом



виде, все остальные работали на “расшатывание”. Даже странные “звездочеты в колпаках”, типа Лотмана, который, казалось бы, неизвестно чем занимался и вообще никому не мешал...

Когда мы проводили свое весьма обстоятельное социологическое исследование в Таганроге (1967–1974), включающее и деятельность прессы, то результаты его уже показывали начавшийся распад тоталитарной системы информации. Каждый начал “дуть в свою дуду” более, чем было дозволено, и это было связано не с демократизмом строя, а с его слабостью. Он уже разрушался. Характерно, что возникли немалые сложности с публикацией итогов “Таганрогского проекта”, хотя осуществлялся он по заказу ЦК КПСС. Возник феномен “непослушной” прессы.

А 1985 год — это уже грандиозный сдвиг во всей мировой истории, это уже разрушение системы.

...Что еще можно сказать о прессе начала 60-х? Вот я беру газету “Известия”, газету “Комсомольская правда”. Блистательные по форме, очень острые по содержанию. Как это ни абсурдно звучит — во многом благодаря чисто исторической случайности: что Аджубей был зятем. Этим многое, очень многое можно объяснить. Случай, как известно, играет гигантскую роль в истории. Не будь этого случая, мы вряд ли имели бы в те самые годы такой результат. Не исключено, что следствия XX съезда партии, борьбы с культом личности были бы гораздо более слабыми, если бы не это вот обстоятельство.

1964–1968

Г.С. Лисичкин

## “План и рынок”: научная дискуссия для массовой аудитории

— Геннадий Степанович, в 60-е годы вы были известным публицистом-экономистом, возмутителем спокойствия, “подрывающим” устои общества своими рыночными идеями. Вашу книгу “План и рынок”, изданную в то время у нас и за рубежом, одни взахлеб хвалили, другие нещадно ругали, что, собственно, сказалось потом (не лучшим образом) на вашей жизни и научной карьере. Если взглянуть на все это сегодняшними глазами: что вы стремились утвердить, чего добивались — радикальных перемен или определенного совершенствования существовавшей системы?

— Именно это слово — совершенствование — мне больше всего нравится, потому что ни о каком слове системы, в которой я жил и иной не знал, естественно, и мыслей не было. А если конкретнее — я лично хотел повернуть внимание общества к сельскому хозяйству. Мне казалось тогда, кажется и сейчас, что возрождение России может начаться именно с сельского хозяйства. Понимаю это не так, что нужно лучше сажать картошку, сеять пшеницу и разводить пчел — имеется в виду весь агропромышленный комплекс. Если поднимать сельское хозяйство, то, естественно, нужны трактора, комбайны и заводы, их производящие, необходимы дороги, авиация, химия, — короче говоря, такой шлейф к сельскому хозяйству, который вовлекает в себя многое.

Поэтому я считал и сейчас твердо уверен, что Россия начнет возрождаться, если сельское хозяйство поставит в то положение, в котором вчера находился военно-промышленный комплекс. Когда будем давать туда столько, сколько получал он, тогда и начнется подъем. Говоря “давать столько”, я имею в виду не только капитал, не только железки. Лучшие умы, которые имелись на Руси, были сосредоточены именно там, в ВПК. Там был Курчатов, там был Сахаров, там были имена, которых мы и не знали (нам было не положено). Уже много позже стали уз-

навать, какие же это были крупные ученые. Потому и возрождение села, развитие всего агрокомплекса видится мне прежде всего как абсорбция лучших умов. Если посмотреть на все германии, на все японии — там тоже все начиналось с сельского хозяйства. И стратегическая независимость, безопасность начинается с того, что в стране есть элементарное количество картошки, хлеба, молока, мяса. Вся экономика может выстроиться под сельское хозяйство...

— *Ну, уж вам ли не знать, кем только и сколько у нас не говорилось об этом. Селу надо помочь, его надо “вытащить”, “возродить”. Возьмите Хрущева, с чего он начал: сентябрьский пленум 1953 года — о подъеме сельского хозяйства.*

— Я ведь говорю не о лозунгах, которых, конечно, было достаточно. А почему все превращалось в лозунги? Потому что два арбуза в одной руке удержать невозможно. Или ты развиваешь военно-промышленный комплекс, поскольку решил “закопать капитализм”, да еще миллионы отдаешь на строительство мирового социализма, на подъем экономики Анголы, Кубы, Вьетнама и так далее, или развиваешь свое сельское хозяйство. У нас на него всегда не хватало средств. Всегда сельское хозяйство в иерархии расходов было в конце. Это первое. А второе — даже тогда, когда деньги давали (а их все-таки давали, и значительно больше, чем сейчас), они бестолково использовались. Для наглядности, я помню, мы обратились тогда в газете к знаменитой “бочке Либиха”, даже изобразили ее. Немецкий ученый лет двести тому назад сказал, что если в бочке не хватает одной дощечки, или как там ее называют, то вся вода, сколько бы ты ни лил, вытечет. На каком уровне сломано это одно звено, до этого уровня в бочке и сохранится вода, если даже другие звенья окажутся выше. Либих говорил это применительно к агрохимии, но ведь в экономике то же самое. Все затраты должны быть увязаны друг с другом и “упакованы” в одну коробочку, которая называется “предприятие сельского хозяйства”. А этого не было тогда, тем более нет сейчас. Всегда у нас та “бочка” была с огромной дырой.

— *Насколько известно, в свое время вы были председателем колхоза, так что все это познавали на практике. А как случилось, что вы, выпускник престижного МГИМО, стали председателем?*

— Молод был (мне было двадцать четыре года), жизни не знал и был донельзя политизирован. Мне казалось, что если

только поехать в село и быть честным и добросовестным, то все можно там наладить. Но за три года, пока работал в колхозе, я прозрел, увидел, что там работают люди, которые всего-навсего в десять, двадцать, тридцать раз умнее меня, грамотнее меня, если брат не число прочитанных книг, не то, насколько они знают Шекспира и Гёте, а вполне практические вещи. Когда я все это осознал, когда понял, что этих умных людей просто никто не слышит, потому что не хочет слушать, тогда начал понимать и многое другое.

— *На этой основе и формировались ваши взгляды?*

— Конечно, первое — те догматические вещи, которые дал мне Институт международных отношений. Я был очень политизирован, как уже сказал. И когда попал в реальную жизнь, в колхоз...

— *Но почему вдруг колхоз в Казахстане?*

— Потому что я в свое время читал “Как закалялась сталь” и все такое прочее. А тут 55-й год, освоение целины. Все мы были воспитаны в том духе. Сейчас все кажется идиотизмом. Но мне, конечно, повезло, потому что проходить такую школу надо именно в этом возрасте — двадцать четыре–двадцать пять лет. Впереди разгон, еще есть время, когда уму-разуму можно учиться. И моими воспитателями были те люди, которыми там был окружен. Единственное мое спасение, что у меня чуть было: я окружил себя очень мощными людьми. Бывший председатель колхоза немец Вильвер. Я преклоняюсь перед ним, потому что вместо того, чтобы как-то ревновать — все же я сел на его место, — он стал моей правой рукой. Потом Беллер, тоже немец, он стал моей левой рукой. Эти люди по-настоящему болели за производство и понимали его. А мне хватило ума просто их слушаться. Потому я и смог справиться, удержался, и в общем-то успешно.

— *Это был немецкий колхоз?*

— Я там изучил не только экономику, но и то, как советская власть решила национальный вопрос. Он был, как известно, решен “окончательно и бесповоротно”. В колхозе, где я работал, одно село было немецкое, одно украинское, одно наполовину немецкое, наполовину чеченское. Как-то меня пригласили в Алма-Ату, наградили орденом. Только его вручили, вызывают прямо со сцены за кулисы. Думаю, чего это там, не дали даже на свое место сесть. А мне говорят: “Вы знаете, у вас дома несчастье”. Господи, думаю, неужели жена, ребенок. Нет, резня. Зарезали моего заместителя Матвея Дуккарта. Чеченцы. Одно-

го чеченца застрелили. Но сами чеченцы, как чеченцы, были не виноваты в случившемся — обычная пьяная молодежная драка. Когда я приехал на место, именно чеченцы помогли мне успокоить село. Именно в те годы я получал закалку и выработал взгляд, компромиссный, на национальный вопрос.

Благодарен жизни, что прошел эту школу. Если бы шел традиционным путем — а у меня тогда уже был диппаспорт, я был назначен пресс-атташе в Копенгаген, — жил бы как у Христа за пазухой. И, конечно, плохо бы кончил... Так что я считаю, академию я прошел в колхозе. Там же написал диссертацию. Потом окончил аспирантуру, вернулся в МИД, и мне предложили два варианта. Первый — ехать в ООН, в Женеву. Недурно, прямо скажу. Перед этим я побывал там, и Женевское озеро мне понравилось, и климат, а от магазинов я вообще обалдел, долго потом лечился, но все-таки вылез. И еще предложили Югославию.

Я предпочел Югославию, хотя, конечно, это менее, как говорят, “ситуированно”. Но мне хотелось посмотреть эту страну, потому что уже знал кое-что о ней. И это была вторая моя академия. Югославы находились в оппозиции к нам и были более раскованны. Именно там, а не здесь, я познакомился с нашими экономистами 20-х годов. Там я прочитал, кто такой Юровский, его книги, узнал, кто такой Кондратьев. И мои поездки по сельскохозяйственным предприятиям... У меня были исключительные возможности, я всю страну объездил. Быстро освоил язык, поэтому югославская теория и мечта о самоуправлении стали мне тоже интересны и близки.

— У них ведь тоже тогда шла речь о совершенствовании социализма?

— Да, но у них слово “рынок” уже не было ругательством, сочетание “рыночный социализм”, которое у нас было запрещено до — даже не знаю, до какого времени, фактически до перестройки, — у них стало ключевым. Я наблюдал, как они ломали себя, потому что их руководство было коммунистическим похлеще нашего. Как только они поссорились со Сталиным, провели такую коллективизацию (чтобы доказать, что они-то и есть настоящие коммунисты), которая не снилась даже Сталину. Но поскольку страна поменьше и победнее, и Сибири нет, куда ссылать кулачество как класс...

— А если говорить о теории, вы там имели возможность почитать то, чего у нас не было. Кто вас привлекал тогда — классики (Кейнс, Сэмюэлсон), либо соцстранов-

*ские экономисты? Кто, как вы сами считаете, повлиял на вас в большей мере?*

— Советские экономисты 20-х годов, именно они. Дальше — югославские экономисты, начиная с Бориса Кидрича, одного из крупнейших теоретиков, который тоже шел не от схем, а от жизни. Он впервые, в 1951 (если не ошибаюсь) году опубликовал тезисы о товарном производстве при социализме, которые потрясли меня и перессорили наших ученых с их учеными. Вот от Кидрича и, конечно, Карделя начинается дискуссия. Она меня очень увлекла. Дальше — Самарджиа, с ним я часто встречался, это были неформальные беседы, открывавшие новый взгляд на многие вещи. И плюс, как уже говорил, поездки по совхозам, которые подтверждали мои догадки о том, что если всю технологию производства продуктов “упаковать” в предприятие, то будет очень большой эффект. Появились мои статьи (под псевдонимом), целые полосы вышли в “Сельской жизни” о комбинате “Београд” под Белградом, где как раз была осуществлена эта идея. Когда я спрашивал, почему у вас в пять раз выше все показатели, чем у частных, а у нас — наоборот, они говорили: естественно, частник же не может вести на своем огорожке, на своей парцеле, даже на своих десяти гектарах, скажем, селекционную работу; она должна быть вынесена за скобки, этим благородным, но нерентабельным, некоммерческим делом должен заниматься кто-то другой. Тогда я понял, что не форма собственности — главное в решении проблем этой самой трудной отрасли производства.

*— И вот с этим всем вы пришли в газету. Как это, кстати, произошло?*

— Приехала в Белград наша высокая делегация, я был включен в команду, которая ее обслуживала. Тогда и познакомился с четой Аджубеев. Когда уже кончался визит, с ними установились какие-то отношения на почве обсуждения тех же сельских проблем (Рада этим тоже интересовалась). Потом мне поступил сигнал от моего друга, корреспондента “Известий” В. Кривошева: тебя ждет Аджубей. Я испереживался, исхудал — и хочется, и колется... А в посольстве, чувствуя, дипломатическая карьера, чиновничья — не мое. Очень остро почувствовал. Из-за моих симпатий к Югославии мне сразу стали “клеить” всякие ярлычки, а я по-прежнему оставался дурачком: то, что думал, на закрытых совещаниях и говорил. Когда приехал в отпуск, Аджубей предложил стать редактором отдела сельского

хозяйства, обещал и квартиру (а у меня двое детей, жилья нет). И я дал согласие.

— *А такой аргумент, что это дело полезное, что есть возможность и высказать свои взгляды и найти новых сторонников — не выдвигался?*

— Да, конечно. Та же юношеская мечта. Если уж я в колхоз поехал, отказавшись от диппаспорта, то хотелось и продолжить. “Мужик, что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выпрешь — упирается”... Вот уж действительно. Не то чтобы я сразу рубашку рванул на себе, все бросил, лишь бы пойти в народ, — нет. Просто сошлось несколько факторов.

— *А наука тогда вас не привлекала? Не она была на горизонте?*

— Нет. И на горизонте не было. Я кандидатскую защитил, ну и все. Мне очень понравилось в “Известиях”, очень понравилась журналистская работа. Ездил по всей стране, собирал материал, с запалом писал, “проталкивал” на полосу. И меня это полностью удовлетворяло.

— *Проводя свои идеи, на кого вы опирались (и в редакции и вне ее)? Какой был резонанс от выступлений в газете? Аграновский, скажем, очень большое значение придавал откликам на свои очерки.*

— Что касается сторонников в редакции, то произошла совершенно невероятная вещь. Ведь любой коллектив со сложившейся структурой трудно принимает “новенького”, часто отталкивает его. А тут еще такая заметная должность, весьма заметная, как редактор отдела правительственной газеты. Тем более аджубеевской. Но меня хорошо приняли. Опирался я в первую очередь, конечно, вот на таких людей, как Анатолий Аграновский. Как ни странно, мне важно было и много давало общение с людьми, которые очень далеки от экономики сельского хозяйства: Лордкипанидзе, Исмаилова, писавшие о театре, Друзенко, Лацис — “промышленники”. И постоянные контакты, и мимолетные даже разговоры подзаряжали. Можно было себя проверить.

И самый тесный “союз” был у нас с Александром Волковым, тогда собственным корреспондентом “Известий”. Первое знакомство состоялось заочное: я прочитал его “Поднять или приподнять?” — это была статья! — и понял, что мы единомышленники. А потом пошли наши многочасовые разговоры и о сельском хозяйстве, и о теории, и обо всем на свете. Я-то по



природе своей не редактор, любил писать и к чужому письму относился как к чужому. А он — редактор, и над чужими материалами работал как над своими. У нас получилось удачное сочетание: при общем “тяготении” к селу мы сверяли свою практику, свои выводы из нее (он тоже приехал не “с асфальта”).

А сторонники и опора за рамками редакции — это председатели колхозов, другие люди, производственники, с которыми я встречался. По их реакции я чувствовал, что иду в правильном направлении. И разговор — на одном языке. Именно с производственниками, а не с чиновниками. Это естественно. У меня ведь было два искушения в жизни. Первое, как я говорил, когда выложил диппаспорт и поехал в Казахстан. А в Казахстане мне предложили стать кандидатом в члены ЦК компартии Казахстана. Сами понимаете: если бы я в двадцать семь лет стал кандидатом в члены ЦК — открывалась карьера. Но опять-таки Бог меня как-то одернул. Я почувствовал: или нужно “официантом” становиться при властях, “чего изволите”, или шагать по головам, не оглядываясь. Тогда я в аспирантуру и уехал. Ну, и тоже надо было найти в себе силы, когда к Аджуебу ушел, бросив дипломатическую работу второй раз... Иногда нужно себя ломать, хотя это очень трудно.

— *Что вам памятно из того, что удалось сделать в “Известиях”?*

— Первую головомойку я получил за статью, которую мы опубликовали вместе с Доленко, корреспондентом “Известий” по Украине. Мы рассказывали о знаменитом крымском колхозе, о его председателе Герое Социалистического Труда Егудине, и из нашего рассказа следовало, какое сильное это хозяйство, как разумно оно организовано и какой разумный герой Егудин. И я там написал: “Считается, что этот колхоз будто якобы низшая форма собственности”. Это “будто якобы” — мое природное ехидство проскочило каким-то образом, заместитель главного не заметил, что я подверг сомнению “высшую” форму, государственную, и в итоге мне было сделано очень резкое замечание как редактору. После этого я “озверел” и опубликовал статью “Жизнь вносит поправки” в 65-м году, в № 49 “Известий” (я сейчас, перед беседой, перебирал свои вырезки, уточнил). Там уже был поставлен вопрос о товарном производстве при социализме, о регулирующей роли закона стоимости. Толкунов, главный в то время, еще до публикации сказал: “Первое. Получи поддержку, поезжай к академику Румянцеву”. Ну, он не просто академик, а — все знают — вчерашний “агит-

проп”. Я приехал, он посмотрел статью; понимая, чем это грозит, очень топтался, топтался, но в конце концов поставил визу. Толкунов предупредил: “Я печатаю статью, только ты готовься к тому, что тебе будет очень плохо. Если хочешь, сними сразу”. Но Румянцев же поддержал, снимать не буду. “Тогда пеняй на себя. Если смогу, помогу как-то из этого вылезти”:

Я, конечно, не думал, что будет такой резонанс, просто взрыв, обвал. Масса писем посыпалась.

— *От кого? Председателей, ученых?*

— В первую очередь, естественно, от председателей, бригадиров, всех, кто “на земле”. Это меня, конечно, окрылило. А ученые как ученые — на дух не приняли, отвергли. И в том же году в № 64 появилась статья “Что регулирует производство? В чем не прав Геннадий Лисичкин”. Подписали ее Атлас, Злобин, Винокур, Кадышев... Имена по тем временам сильные. Они меня просто растоптали. В “Известиях”, в моей газете. Дискуссия есть дискуссия. Но ведь тут надо еще отдавать себе отчет: Аджубей ушел, Хрушев ушел, наступил период, когда многое было неустойчивым. Период поиска путей. В этой сумятице можно было что-то и “вякнуть”. Поэтому мне дали “вякнуть”, то есть я им ответил, потом они выступили еще раз. Я поехал к Л.А. Леонтьеву, и он опубликовал статью в № 67 “В чем суть спора? Ответ критикам статьи “Жизнь вносит поправки”, где в значительной степени, процентов на 90 с лишним, встал на мою сторону. Тот Леонтьев, который прошел школу 20-х годов, был бит-перебит, и Хмельницкая, его жена, тоже, — все нахлебались по тем временам.

— *Он тогда где работал?*

— В Институте экономики АН СССР, она — у Арзуманяна, в Институте мировой экономики и международных отношений. Потом выступил Кронрод, который пытался пройти где-то посередине, но по сути — больше против. По крайней мере хоть вежливо. Дискуссия в целом получилась громкая, заметная. Но меня уже “несло”, я сразу сел писать книжку “План и рынок”. Один из аспирантов, с которым я кончал институт, В. Морозов, позвонил мне во время этой дискуссии и предложил опубликоваться в издательстве “Экономика”. Книжке дали “зеленую улицу”, она вышла небывало быстро по тем временам. И вот уж тут началось...

— *Геннадий Степанович, а вы считаете нормальным, что, собственно, научная дискуссия шла на страницах газеты “Известия”?*

— Я считаю, что это очень хорошо.

— *А почему именно так? Шла ли подобная дискуссия внутри академических институтов или в университете? Почему она не велась в специализированных журналах?*

— Это было невозможно. С такой статьей я не мог прийти, скажем, в “Вопросы экономики” или в любой печатный орган, который находился под наблюдением ученых. Ведь ученые — самые нетерпимые люди, потому что каждый (и это так и положено) считает себя носителем истины в конечной инстанции. Все статьи обычно рассылаются членам редколлегии. Предположим, пришла бы моя статья Гатовскому, директору Института экономики, или тому же Кронроду — они бы ни за что ее не пропустили, ибо это не соответствует их убеждениям. И к тому же — официальной доктрине. Поэтому инициатором такой “драки” мог быть только человек со стороны, и не специальный журнал, а газета, редактор которой на что-то решился. Умные люди говорят: “Это слишком серьезный вопрос для того, чтобы поручать его решать специалистам”. По-моему, прекрасно сказано. Вот я и был тем дилетантом — чуть-чуть того поглядел, этого почитал — плюс газета, которая имеет мощный резонанс. Я безумно благодарен такому стечению обстоятельств — в “Известиях” я мог начать разговор, который послужил основой книжки “План и рынок”. А дальше... Сейчас мне даже немного обидно, что “План и рынок” знают и помнят, а сам я считаю, что гораздо лучше была следующая моя книга — “Что человеку надо?”. Она уже не получила такого отзвука. Наступило другое время. Ее, кстати, уже почти под нож пустили в издательстве, по указанию свыше. Слава Богу, в ЦК нашелся человек, который сказал: “Ну, сделайте небольшим тиражом, по-тихому пропустите ее”.

— *Вам кажется, что именно момент играл решающую роль?*

— Конечно. “Дорога ложка к обеду”.

— *Вы писали о законе стоимости, спорили о его регулирующей роли. Вы уверены, что те же бригадиры и председатели, которые присылали свои письма, понимали все это?*

— Я как раз писал бытовым языком, на примерах, на пальцах объяснял, что почему. Закон стоимости — это паритет цен, это сколько стоит комбайн и сколько — литр молока. Это — сколько надо отдать гектаров пшеницы за одно колесо какого-нибудь “Кировца”. Они это все прекрасно схватывали, сразу на это реагировали. Но, честно говоря, когда я писал статью, вряд

ли думал, на какого читателя рассчитываю. Больше всего думал о том, как выйти на полосу. А по существу для меня это значило — “пройти Кирклисову”. Она была редактором в секретариате “Известий”, очень уважаемым и компетентным. И важна была прежде всего ее оценка: это читается или нет? Пусть ты пишешь правильные и нужные вещи, но если это такая “тягомотина”, что не продерешься и через первый абзац... Пройти строгую в этом смысле Кирклисову — было большое дело.

Потом, после “Плана и рынка”, у меня в “Новом мире” пошла серия статей.

— *Почему именно в “Новом мире”?*

— Потому что территориально “Известия” и “Новый мир” были соседями. Ну, и потому, конечно, что там уже был Хитров (мы с ним работали в “Известиях”), я был уже знаком с Лакшиным — в общем, тем людям, которые там работали, я симпатизировал. Я не был регулярным читателем “Нового мира”. “Иван Денисович” до меня еще не дошел. Твардовский для меня тоже еще не был общественным авторитетом. Для меня был авторитетом Ефим Дорош, который печатал в журнале свой “Деревенский дневник”, и когда проходил там мой текст с таблицами (что для них было непривычно), то самым большим моим защитником как раз оказался Дорош.

А обстановка между тем менялась быстро. Ведь когда вышла моя книжка о плане и рынке, ее запросили в ЦК, обратили на нее внимание и, в общем, отнеслись положительно. Там, повторю, еще шел поиск, пока ничего не устоялось. Ну, а позднее уже начался откат. И я в “Известиях” как-то “завис”. Уже за мной числилось немало “провинностей”, начиная с крымской статьи. И кому-то было не совсем понятно, почему меня взял Аджубей, ставленник я его или не ставленник. Вот и в “Новом мире” стал печататься, что не поощрялось. Много накопилось отрицательных моментов. Тогда меня стали “собо­р­о­вать” корреспондентом “Известий” в мою любимую Югославию. Мне больше подходило остаться здесь, хотя, конечно, Югославия тоже привлекала. Но меня пригласили в “Правду” (там сменилось руководство), а когда я согласился, позволили очень активно работать.

Так получилось, что к нам приехал чешский экономист О. Шик, я с ним общался, это было на виду; Шик пригласил меня на очень представительный форум рыночников всех соц­стран. Проходил он в Праге, там была рыночная элита, только-только нарождавшаяся — венгерская, польская. И там, в Пра-

ге, перевели сразу на чешский и словацкий языки “План и рынок”. В “Руде право”, в других газетах — комментарии. Моя книжка стала для них как бы зацепкой: не такие уж мы, мол, отщепенцы, вот смотрите — и в Советском Союзе есть люди, мыслящие так же. А потом оккупация. Я в это время от “Правды” был в командировке на Алтае. Когда услышал, что вошли войска, сразу понял, что последует. Меня вызвал Зимянин: “Я тебя не гоню, все, что ты публиковал в “Правде”, абсолютно правильно. Никаких здесь претензий не может быть. Но печатать не буду”. Я сказал, что все понял. И стал искать, куда податься...

— *Как известно, вы работали потом в научных институтах, стали доктором экономических наук и продолжали выступать в массовой прессе. Это оставалось потребностью? Необходимостью? Интересно узнать ваше мнение о связях науки и журналистики, насколько они были и могут быть плодотворными?*

— Разная была наука. И та, что обращалась к людям с предложениями, как улучшить и экономику, и жизнь вообще. Она сотрудничала с газетами. И та, что была замкнута в себе, здесь были отработаны свой язык, высокомерное отношение к журналистам. А писали нечто совершенно оторванное от жизни. Для меня такой яркий пример — книга “Труд” Чангли. Маркс написал “Капитал”, а она — “Труд”... По сию пору я ощущаю себя чужаком в этой среде — другой язык, совершенно другие задачи. “Чистая” наука. На кого ты работаешь при этом? Для чего? Защита диссертации — ритуал. Я сижу на ученом совете и заранее знаю, как это будет — кто выступит, как выступит, все ранжировано, все отзывы получены, слова, какие должны быть, написаны. Если ты напишешь не теми словами, тогда не здесь, так в ВАКе тебя “зарезут”.

— *И вы не допускаете, Геннадий Степанович, что может быть крупный ученый, скажем, в области теории социологии?*

— Ну, естественно — и может, и есть. Вопрос в том, что такое “ученый” и “не ученый”. Тут у меня на полке Николай Бердяев, “Вехи” — это же написано по-человечески. Вот это для меня — наука, вот это — апелляция к людям, по тем проблемам, которые реально существуют. Когда я читаю Маркса и Энгельса, я забываю, наука это или не наука. Это — публицистика.

— *“Капитал” Маркса — публицистика?*

— Нет, все остальное. Кстати, он его писал, писал, а потом в конце концов забросил и перед смертью все-таки от “Капитала” отказался. Вот, пожалуйста, я вам зачитаю: “История пока-

зала, что и мы, и все мыслящие подобно нам были не правы. Она ясно показала, что состояние экономического развития европейского континента в то время далеко еще не было настолько зрелым, чтобы устранить капиталистический способ производства". Основа, на которой происходило его развитие, "обладала еще очень большой способностью к расширению". Вот что, перечеркнув "Капитал" и тем более "Коммунистический Манифест", Энгельс, будучи предпринимателем, бизнесменом, сказал, оглядевшись: "Ничего подобного, никакая не последняя стадия". Но эти слова, хотя они существуют, нигде же не приводились. "Маркс сказал, Энгельс сказал"... А то, что они сказали, кроме Чапаева и Сулова никто не читал. Никто же не читал Маркса! Тогда, не читая, на него ссылались, теперь бездумно и легкомысленно от него отказались.

И второе. Общественные науки (и философия в том числе, и социология, и экономика) были уничтожены, расстреляны. Только сейчас начинается зарождение общественных наук, потому что наука не может быть только советской, нужно соприкоснуться с "той" наукой, а мы от нее были отрезаны начисто.

— *В 60-е годы некоторые были знакомы с западной социологией.*

— Если ты и знаком с западной социологией, то для тебя есть одно направление — критика буржуазных теорий. Да и тут внимательно смотрели, как ты их подаешь. Следили — и сразу (по себе знаю): "А, это ты протаскиваешь рыночный социализм!" Так же, как в предвоенное время: если ты, критикуя фашизм, будешь цитировать ту же "Майн кампф", — это преступление. Это ты таким образом пытаешься познакомить читателя с подлинниками и заронить в душу сомнение.

— *Почему все-таки вас лично, Геннадий Степанович, постоянно "рубил", в чем-то вам отказывали и так далее?*

— И считаю, что они правы абсолютно.

— *Они?*

— Те, кто и сейчас у власти. Ведь начиная с 17-го года все больше и больше власть брали и окончательно взяли бывшие полухозяева, теперь они стали хозяевами. Я написал об этом в книге "Есть ли будущее у России" (М., 1996). Специальная глава: "Когда полухозяин становится хозяином". Дело в том, что Россия — страна чиновничья. В свое время раньше всех нас суть их власти осознал Джилас, когда написал "Новый класс". Чиновник (тот же секретарь обкома), с одной стороны, имел огромную власть, материальное благополучие, но, с другой сто-

роны, это не передашь по наследству, а в любую минуту, если окажешься негоден высшему начальству, тебя могут лишиться всего. Переход к рыночному хозяйству — это вызов, это открытая борьба против чиновничества. Если все можно купить, все можно продать и не спрашивать, как, если еще и открыться мировому рынку — куда чиновнику деться? Чиновнику нужно сохранить право подпустить меня к трубе или не подпустить, дать лицензию или не дать, установить такие налоги или другие. Поэтому у нас идет настоящая гражданская война между рыночниками, которые хотят вот этой свободы и независимости от чиновников, и чиновниками. Они тогда, в 60-х годах, прекрасно сознавали, чем им грозит рынок. И сейчас сознают. Если отдать землю (не будем говорить, каким образом) крестьянам, что чиновнику останется? Ведь сейчас даже для того, чтобы получить участок для дачи, огромные деньги, половину своих расходов, нужно отдать чиновнику. Поэтому борьба идет не на жизнь, а на смерть. И смотрите, как они все поднялись, как грибы после дождя. Почему? Потому что чиновник сейчас имеет большую силу, чем при Сталине, чем при Брежневе и Горбачеве. Поэтому у рыночной экономики, понимаемой всерьез, у нас так и нет, у нас она олигархическая.

Вот я и считаю, что они правомерно тогда боролись и сейчас борются за свое выживание, со всеми опасностями, которые встречаются на их пути. И становятся из полухозяев полными хозяевами, когда свою чиновничью власть соединяют с собственностью.

— *Значит, вы оказались побежденным?*

— Ну, я “один из”. Причем еще наиболее удачливый, как-то все время выкручивался. А что случилось с Леном Карпинским? С Леной Кассириным? С Венжером? Что со многими другими, которые “высовывались”, а “высовываться” было нельзя? Когда в 40-х годах опубликовали данные нашего отставания от сельского хозяйства США, “погорела” целая группа ученых. И все затаились, стали бормотать то, что от них ждали. Или уходили в другую отрасль. Поэтому я и считаю, что весьма успешно продержался в “своем окопе”, а масса людей вообще не имели возможности высказаться, не защитили диссертации, потому что выходили с гораздо более смелыми, может быть, решениями. Скажем, докторскую диссертацию, которую я защитил — третью по счету — мне противно взять в руки. Уже потому, что, когда мне сказали: “Ну, ладно, пропустим” — я тят-ляп что-то сделал, на их языке, под их требования. По сравнению с теми

двумя диссертациями, которые написал раньше, еще с верой во что-то, она намного слабее. Но почему все же защищал? Потому что когда идет молодой человек с лейтенантскими погонами, это хорошо, но когда идет обрюзгший пятидесятилетний дяденька и у него лейтенантские погоны, всегда хочется подать копеечку. Если уж оставаться в науке, то надо какой-то элементарный статус обрести, хочешь — не хочешь. Это была своего рода плата за то, что мне удалось сделать в прессе в 60-е годы. Что чего стоит — сейчас сказать трудно. Но думаю, что в целом многие ученые и многие журналисты что-то заронили тогда в сознание людей.

— *Можно ли сказать, что уже тогда, в 60-е, шла или началась борьба за самостоятельную роль прессы в обществе, за право журналистов писать то, что они думают, как понимают события?*

— Может быть, каждый отстаивал такое свое право. Была и солидарность журналистов. Но была и полная ясность, что никакая независимость невозможна. Маневрировали в рамках допустимого. И ЦК КПСС заботился, чтобы каждый нес ответственность не только за себя, но и за коллегу, за подчиненного, вот за ту самую солидарность. Карпинский допустил такие-то ошибки, а Торсуев не прореагировал вовремя и задержался на пять минут с вынесением ему выговора. Что сделали с Карпинским, знаете — исключили из партии, оставили без работы. А что сделали с Торсуевым? Из директоров издательства вылетел мигом и стал чуть ли не экскурсоводом на ВДНХ. За что? За отсутствие бдительности. Везде действовал этот принцип: если ты не заклевал, если ты просмотрел, погибай вместе с тем, кто “провинился”. Поэтому мы прекрасно знаем всех тех редакторов, которые, если “надо”, сразу найдут крамолу. Я прекрасно помню одного такого. Передовицу даже напишешь — моментально выискивает строчку... Там 200–300 строк, а он обязательно найдет ту, которую я специально вписал: ну-ка, интересно, пройдет — не пройдет. Нет, не прошла.

— *В журналистике всегда были разные люди: один “пробивает” свои идеи, переживает за каждый абзац, который вычеркнули, а другой заметку напишет, гонорар получит, и это его вполне устраивает. Вам, наверное, тоже приходилось это наблюдать?*

— Ну, тут уже действуют свои ценности. Может, совесть, а может быть, гражданская совесть. Чего не хватало, скажем, Чадаеву? Жил бы себе и жил. А чего Герцен там маялся? Как-то



я читал Поршнева, он выдвинул теорию, согласно которой все люди только кажутся одинаковыми, потому что у нас две руки, две ноги, два глаза, а на самом деле мы произошли от разных животных. Одни — от хищников, вот волки бегают, тигры, готовы любого разорвать. Среди них ходят шакалы. Это другая порода. Есть еще овцы. Куда их погонят, туда они и пойдут. И есть элита, интеллектуалы типа Сахарова, Коперника, Джордано Бруно, Микеланджело, Рублева... Их единицы. Мне это показалось справедливым. Потому что, например, я не могу убить человека, а другому, кажется, — раз плюнуть. Я не могу сделать массу вещей, которые сейчас делают очень близкие наши знакомые. А я прихожу больной совершенно от этого, жалею жене, как будто она что-нибудь в силах изменить: “Как это можно, как это можно?!” А можно, можно. А потом встречаешься с человеком, он смотрит в глаза. Мне неудобно за то, что он сделал. А он — ничего, общается со мной: “Ну, как живешь?” Так что, я думаю, это — ДНК виновата.

— *Но вот социологи задаются вопросом: “Кто и как конструирует наше сознание?” Пресса, на ваш взгляд, входит в этот ряд? Какое вы ей отводите место?*

— Я думаю, в основном сознание все-таки формирует жизнь. Вся, в целом. Мы в какой-то степени помогаем людям, если нам удастся сообщить: “Ребята, там рифы есть, осторожнее”. Это максимум, что мы можем сделать. Но люди все равно плывут, тонут, бьются об эти рифы, а потом вспоминают: “Вот был голос, между прочим, правильный. Нас предупреждали, что есть рифы”. Наша задача, я думаю, заключается в том, чтобы уметь выбирать трезвые голоса из шума толпы, которая мчится куда-то — между прочим, никто не знает, куда она мчится. Но созидательные натуры должны получить при помощи прессы возможность услышать то, что кажется трезвыми голосами. И в общем — это получается в конце концов.

Когда вот сборники “Вехи”, потом “Из глубины” написали об интеллигенции? До меня лишь сейчас это дошло (только появились книжки, раньше они были в спецфондах). Теперь я читаю и чувствую: значит, я не столь уж заблудился, если люди так же думали столько лет назад. А я просто их продолжаю и не чувствую себя одиноким. И начинаю думать, что, наверное, я на правильном пути.

— *Сейчас много говорят о шестидесятниках, они, мол, были романтики, жили иллюзиями... Интересно в этой связи ваше мнение: хотя бы в какой-то мере сказалась реально во*

*времена перестройки та ваша борьба за экономические реформы, за рынок?*

— Сказалась, несомненно, сказала. Конечно, в русском характере — нигилизм, “иваны, не помнящие родства”. Мы не знаем своих предшественников, предпочитаем все открывать заново. У меня же иногда опускаются руки: “Но ведь это все давно написано, только гораздо лучше и более аргументированно”. Теперь я могу только проиллюстрировать эти мысли еще и нашими примерами, не только времен революции 1905 года, столыпинской реформы и так далее. Сейчас поджигают хозяйство фермера, тогда — хуторянина, который вышел из общины. К сожалению, происходит то же самое, развитие идет по кругу, а не по спирали. Поэтому мне представляется весьма важным хотя бы уже просвещение наших граждан относительно того, что надо делать в экономике. Чем и занималась пресса в 60-е годы — именно газеты, журналы. Если что-то удавалось и тогда, то теперь возможности совсем другие. Вот у меня лежат “Вопросы философии” (слава Богу, теперь возрождаются и философия, и журнал). Много западных авторов, которых раньше было просто невозможно прочесть. И выросли люди, которые не “затюканы”. Я вспоминаю того же Льва Абрамовича Леонтьева: он боялся, потому что стольких его коллег и друзей посадили, всех он помнил, как помнил и то, что с ним не здоровались, его сторонились... И авторы, и читатели уже иные.

*— А вы следите за современной прессой? Какое у вас впечатление?*

— Некоторым авторам я просто завидую — их раскованности, глубине анализа. Уровень выше того, что был в нашу пору. Таких авторов, правда, немного, и им не дают разогнаться, потому что во все времена есть спрос на какие-то вещи, которые мне, например, кажутся неинтересными. Многие материалы (я это вижу) написаны по заказу, в коммерческих интересах. Не с общественной точки зрения, и не с государственной даже — государство и общество я все же разделяю, — проталкивают групповые интересы, какие-нибудь “алюминиевые”. Коммерциализация очень большая. Как добиться, чтобы пресса стала общественной, а не “газета Березовского”, “газета Ходорковского”, “канал Лужкова”? “Нет, мы эту статью в “Новых Известиях” печатать не будем, потому что здесь есть выпад против предприятий, входящих в группу Березовского”. И как преодолеть “моду” среди власть имущих, среди чиновников на равнодушные? Раньше было — напечатали и, как правило, рассчитыв-

вали на резонанс, отклик, “действенные меры”. Сейчас кажется — никто никакого внимания не обращает ни на что. Гордятся даже: про меня пишут, а я не обращаю внимания.

И еще одно: главный редактор крупной газеты все-таки должен быть общественным деятелем. Общественным деятелем, который прошел какую-то школу. И — личностью, а не просто вчерашним бухгалтером. Вот Твардовский много нес людям, много внес в общественное сознание. Вот про “Новый мир” можно сказать, что он конструировал сознание, потому что он создавал критерии современной нравственности, принципы отношения к жизни.

У нас как-то не разделились коммерция и журналистика, они сплошь и рядом — в одном лице. На Западе, например, это четко разделено.

— *Сейчас в любой, наверное, редакции можно услышать, что никому не нужны “кирпичи”, то есть крупные аналитические материалы, которые вы всегда и писали. Их время прошло? Газета — царство информации?*

— Не думаю. Во всяком случае, такие мысли не возникают, когда смотришь западную газету, например, “Neue Züricher Zeitung” или “Die Welt”. По объему это 40–50 страниц, по уровню материалов — монография. Я знаю, что здесь найду статьи про экономику, про археологию, про искусство. И все — квалифицированно. И все — для своего, заинтересованного читателя. Вы дайте мне эти “кирпичи”, и я составлю представление, надо ли мне ждать, когда выйдет монография данного автора, да и стоит ли ей выходить (возможно, задуматься над этим будут основания и у самого автора). Газета и журнал оперативнее, они должны иметь свою “площадку”.

Как-то редактор английского “Экономиста” сказал, что это журнал “мнений и анализа”. В этом качестве он существует много лет. Я бы хотел такой судьбы для наших периодических изданий.

Э.М. Максимова

“Здесь я могла работать,  
не изменяя себе”

— Читатели, которые привыкли к “Известиям”, привыкли и к подписи “Э. Максимова” — вашей подписи. Она прочно связывается с проблематикой, заставившей в 60-е годы говорить о повороте прессы к человеку, к темам гуманизма, морали, нравственности. Не могли бы вы рассказать, как вам дался такой поворот?

— Перед беседой перебирала наши выступления... Боже мой, как же много определялось внутренним самоограничением, цензурой! Мы по-другому писали.

— Лучше или хуже?

— В иных случаях и лучше — тщательнее выбирали, глубже вникали. Говорю про себя. Проще было писать? Пожалуй, труднее. И “головы”, и изворотливости, и точности требовалось больше. Потому что потом меня вызывал Гребнев, заместитель главного редактора, и спрашивал: “А где партия? Где цитаты?” — главная присказка на мой счет. С ним я тоже должна была хитрить. Так что дважды — сначала, когда писала, потом, когда “объяснялась” — думала, как это воспримут. Помню, что такое комната цензоров, где нередко приходилось бывать, потому что бралась за темы довольно опасные по тем временам. Кстати, очень часто убеждалась, что и цензоры все понимали, а порой просто помогали найти выход: я не могу от чего-то в статье отказаться, и мне предлагают варианты. Но были среди них и тупицы, мы их знали и просили секретариат поставить материал не в тот номер, когда дежурит такой-то.

Я пришла в газету еще тогда, когда главным редактором был Аджубей и газета имела как бы особый статус. Каждый раз, еще только собираясь в командировку по конфликтному делу, знала, что будет потом, какой начнется переполох в райкоме, в обкоме. Было странное ощущение еще в поезде: “Боже мой, сидят себе там спокойно и не знают, что они уже на крючке у “Известий”. Каждый известинский корреспондент был карающим ме-

чом — уже в силу того, что работал в газете, где главным редактором — зять Первого секретаря ЦК. После критического выступления “Известий” непременно следовали санкции, часто весьма чувствительные. Стыдно сказать, но при первой встрече со своим будущим антигероем у меня начинало трепыхаться сердце. Помню, как “снимала с работы” заведующего горно Сочи. Негодяй, держиморда, а все равно не могла избавиться от внутреннего напряжения. Действенность газеты была довольно тяжелым бременем. Но при том — и школой ответственности, которая многому научила на всю журналистскую жизнь.

— *А почему вы заранее считали, что человек — “негодяй, держиморда”?*

— Как правило, решение о командировке принималось после основательного знакомства с ситуацией. Откуда были “сигналы”, как тогда говорили? Из писем. Но если в письме — копии документов, если его подписывают десятки людей с указанием всех сведений о себе, и так далее — есть серьезное основание верить. Я не помню такого случая, чтобы приезжала и заставала “ангела”.

— *А что вы кончали?*

— Филологический факультет университета, западное отделение, специальность — английский язык и литература. Распределили меня в Главлит, в ту самую цензуру. Начальник их отдела кадров сидел на распределении, сам отбирал, видел мои анкеты. Он же не мог не заметить пункт 5: “еврейка”! Но когда через две недели я явилась на работу, мне сказали: “Ваше место уже занято”. Теперь думаю: какой Бог меня спас?

— *Помимо ощущения “карающего меча”, было у вас ощущение полезности того, что вы делаете?*

— Иначе я не смогла бы работать. Ведь при всем том газета была защитником, последней инстанцией. В аджубеевских “Известиях” людям стремились помочь, и это сохранилось на годы и годы. Газета была гуманной и гуманитарной. И когда каждый из нас “пробивал” свой материал через того же Гребнева или цензора, бегал по этажам, и очередной начальник что-то вычеркивал, а ты сопротивлялся, как мог, вряд ли мы задумывались, во имя чего это делаем. Просто было ясное представление о правде, об истине, о справедливости. Для того, кто приходил в “Известия” и работал хотя бы два-три года, это становилось способом мышления. Мы внутренне были готовы к перестройке. Не в том смысле, что реально представляли, с чего она может начаться и как осуществляться. Но необходи-

мость перемен жила вне зависимости от их реальных возможностей. Нельзя так — и все. Устройство жизни было столь противоестественным, что нормальный человек не мог его принимать. Ну, и воспитание сказывалось.

Сколько людей думали так же, какая часть общества понимала, что происходит? Сознание-то было искорежено. Но люди вокруг меня это понимали, исходя из этого и писали. Ведь Аджубей подбирал сотрудников “поштучно”. И при Толкунове осталась такая практика: подробные беседы во множестве кабинетов, через которые проходил человек, изучение папок с его газетными вырезками. Появлялись, разумеется, и другие — по звонкам, по указаниям свыше. В ком-то ошибались... Но я имею в виду большинство, общий фон, атмосферу.

— *Позиция журналистов “Известий”, видимо, была и их гражданской позицией? Многие знают, как два известинца, собственные корреспонденты газеты в Чехословакии, отказались освещать с официальных позиций события, связанные с вводом войск в Прагу.*

— Это был, мало сказать, мужественный поступок. И Борис Орлов, и Владлен Кривошеев — люди мыслящие, воспринимали и оценивали происходящее так же, как мы. Но у них хватило душевных сил, бесстрашия выразить неприятие в такой вот действенной, категоричной форме.

Я как-то писала о тех, кому Израиль дает звание “праведников” за спасение евреев во время войны. Так вот оно дается только тому, кто, спасая, ставил на кон свою жизнь. Важен первый шаг: к тебе постучали в дверь, ты открыл, без размышлений впустил человека. А если стал думать, прикидывать “за” и “против”, едва ли ты будешь его спасать. Наши собкоры не взвешивали последствий, которые, кстати, наступили очень быстро.

Ну, а мои представления о системе сложились очень давно: мне все родители объяснили. У меня половина родни сгинула в 37-м. Я девочкой видела привезенную из печально знаменитого “Алжира” — Акмолинского лагеря жен изменников родины — свою двоюродную сестренку, ее первые слова в нашем доме: “Козел ушел за зону”. Два года ей было... С этим я пришла в газету и поняла, что здесь могу работать, не изменяя себе и своим взглядам.

Удивительная была ситуация в “Известиях”: ведущие спецкоры, начиная с Анатолия Аграновского и Татьяны Тэсс, не состояли в партии.

— Аграновский как-то с гордостью говорил: “У нас в семье два б/п — я и моя собака”.

— Он и в обком шел как “Аграновский”. Им в голову не приходило, что он — не член партии, открывали ему сейфы с документами. В “Правде” это было невозможно — только в “Известиях”, поскольку мы были газетой Верховного Совета и в ней должен был присутствовать “блок коммунистов и беспартийных”.

Мне даже в этом не пришлось ломать себя. В партию не вступила, хотя предлагали, с нажимом, обещали “рост”. А я спецкором пришла, спецкором и уйду.

Да, был в “Известиях” общий дух, который держал коллектив, из-за которого трудно было расставаться с газетой, если приходилось уходить. Интеллектуальный уровень, ниже которого стыдно опуститься. Нормы поведения на полосе, которые стыдно преступить.

— Все это, видимо, определяло и содержание газеты? Невслучайно ведущие публицисты “Известий” занимались нравственной проблематикой?

— В том числе и даже в основном наш отдел — школ и вузов. Большую часть своей известинской жизни я проработала в нем. Казалось бы, всеми этими идеологическими, нравственными вопросами должны заниматься отделы, рассматривающие проблемы общества, культуры и так далее. А часто занимались мы.

“Известия” брались за очень колючие темы, но всегда они, если можно так сказать, “сажались” на конкретного человека. Это была почти единственная возможность вынести на полосу то, что мучило общество, общественность, просто порядочных людей. Требовалось придать ситуации частный характер — чтобы был конфликт одного Иванова с одним Петровым и чтобы происходил он “в нашем учреждении”, в “нашем (самое большое) городе”. Учитель тебе толкует об общественной проблеме, а ты упорно ограничиваешь его кругом его учеников, коллег. К нашему отделу это вообще имело особое отношение. Уже спустя год после того, как Аджубей его создал и мы заработали в полную силу, он считал, что благодаря отделу школ и вузов газета приобрела огромное число интеллигентных подписчиков. В границах школьного и вузовского микромира можно было сказать кое о чем и большем. Наши материалы фактически выходили на более широкую тематику — прав человека, как сказали бы теперь. Из нее потом вырос отдел “Право и мораль”.

— *Не могли бы вы немного подробнее рассказать, о чем в то время писали, чем “болели”, что запомнилось?*

— Моей первой испытательной работой была авторская статья директора школы из Северной Осетии. Тогда шла очередная перестройка образования — бурная “политехнизация”, которая стала для школы сущим кошмаром. Появился Закон о школе, по которому детей снимали с занятий на уборку урожая и в сентябре, и в октябре, и вообще когда нужно, сокращали программы, в классах отгораживали углы для кроликов, у детей были свои поля, они должны были добиваться рекордных урожаев. Все приняло, как обычно, совершенно кафкианский характер. “Тройки”, говорилось в статье, “перекрываются гектарами”, которые напрочь загубят школу. Дня через два — звонок, редактора отдела вызывают к секретарю ЦК. Понятно, чего мы ожидали, но, к своему удивлению, получили поддержку и одобрение (может, тут и Аджубей “руку приложил”). С этого практически начался наш отдел, статья висела у нас на почетном месте в рамке. Называлась она, заметьте, “При подъеме на гору”, то есть в общем и целом идем вверх, а при подъеме встречаются канавки, булыжничек, можно оступиться, но — подъем!

Технологией школьного, вузовского образования мы не занимались. О чем писали? О том, как достигается стопроцентная успеваемость (был жупел такой, отражение тотальной лжи). О попрании человеческого достоинства, но, повторю, отдельного учителя или профессора. Воевали с пьянством, калечившим детские судьбы, причем долго воевали. Выступив, не бросали тему или человека, а отслеживали судьбу, возвращались к теме.

Я очень много занималась вузами. Самые острые социальные моменты — прием и распределение. Здесь-то и цвел пышным цветом антисемитизм. Мы никогда не писали слово “еврей”, упаси Бог. Даже фамилий не называли, их все равно вычеркивали цензоры. Брали конкретные случаи из писем (их было много). Я сохранила некоторые. Недавно Женя Альбац выпустила книгу об антисемитизме в СССР, в которой использовала их. Половина — о приемных экзаменах, половина — о приеме на работу. Я писала об этом бесконечное число раз и должна сказать, что тут газета могла помочь, увы, очень редко...

Иногда приходили поразительные письма, которые просто просились на полосу. Если позволите, расскажу об одном.

— *Да, конечно.*



— В вузах существовали внеконкурсные льготные места для автономных республик, слабо развитых районов — для поддержки в создании собственной интеллигенции. Однажды пришло письмо от учителя физики из Якутии. Михаил Андреевич Алексеев писал о своем ученике Ване Николаеве. Парень занимался все время прекрасно, и решено было послать его в МГУ — им дали одно место. Но нашлась супружеская пара научных сотрудников, тоже якутов, которые устроили так, что поехал не Ваня, а их дочь, девочка с довольно посредственными способностями. И тогда Алексеев собрался из Заполярья в Москву. Он был человек прямой, простой, без всяких затей. Пошел сразу к министру, попал, правда, к заместителю, все ему рассказал. Ваню все же направили в Новосибирский, а не Московский университет. Но почему Алексееву так хотелось послать своего лучшего ученика именно в столицу? Потому что его ребята поступали в НГУ и без всяких льгот. Они были постоянными участниками всех тамошних летних математических школ. МГУ — новая ступень... Мне сказали потом, что современная якутская физико-математическая интеллигенция на четверть состоит из выпускников алексеевской школы.

У самого Михаила Андреевича — потрясающая биография: он был политруком, попал в окружение под Уманью, потом в плен, бежал, год шел к своим; а когда дошел, его обвинили в том, что он японский шпион и, естественно, отправили в лагерь, где он отсидел несколько лет. Он вернулся на родину, в Якутию, долго был изгоем — как же, “сдался” в плен, значит, изменник! И этот человек нашел в себе силы начать все заново. Поступил в пединститут, окончил его и создал в своем Верхневилуйске эту ставшую знаменитой в Сибири школу.

В конце его письма, написанного аккуратным, каллиграфическим почерком (он писал по-русски, как и говорил, до смешного правильно), была после фамилии маленькая заклеечка, которую мне удалось отклеить. Прочла: “награжденный орденом Ленина”. Первое, что я спросила его в Верхневилуйске: “Почему вы это заклеили?” Он сказал: “Однако я подумал, что это может повлиять на решение редакции о командировке. Я этого не хотел”. Потом он стал Народным учителем СССР.

Мы тогда много писали о сильных людях, которые не только сохранили честь, совесть, но еще и умудрялись взрастить это в своих учениках. О прославившемся на всю страну — горжусь своим открытием — учителе Луневе из Харьковской области, который с помощью Фаворского создал в селе великолепную

картинную галерею. Одной из первых я написала и о Лотмане, и о профессоре истории из Саратовского университета Пугачеве. Они много чего себе разрешали, такие, как Лотман и Пугачев! Из писем “выуживали” яркие личности, в том числе ребят, мальчишек, и на этом детском материале защищали право человека на собственное мнение, на свое восприятие мира, на достоинство.

Среди таких мальчишек были два Бориса, два старшеклассника, которых учителя старались всяко, причем и непозволительно жестоко, сажать на место, чтобы не “торчали”. Один сейчас руководит всем народным образованием в Киеве. Тогда он прислал в газету письмо, где рассказывал о баталиях с учителями: “Они называют меня вошью на теле общества, потому что я разрешаю себе с чем-то не соглашаться и отстаивать свои принципы”. После публикации очерка мы долгие годы переписывались — пока он учился в университете, работал учителем на Урале, растил собственного сына. А другой Боря — из Смоленска, по отзывам крупных ученых с блестящим будущим физика-теоретика, в двадцать пять лет покончил с собой. Сколько таких мальчиков загублено! Но говорить об этом позволялось опять же на примере отдельно взятого Бори.

— *Очерки Аграновского тоже строились, как правило, на конкретной судьбе человека, предприятия, идеи. Но выводили читателя далеко за рамки этой конкретики, превращая единичное во всеобщее, в явление общественной жизни. Они ведь так и воспринимались?*

— Да, и мы все старались добиваться того же. Но мы были просто хорошими, деловыми профессионалами, а он — красой и гордостью газеты. Аграновский, конечно, занимал в “Известиях” особое, очень высокое положение. Плюс совершенно потрясающее профессиональное мастерство, которое и обеспечило это положение. Вместе с правом на особую публицистическую смелость он обладал еще умением создать объемную картину. Писал он немногословно. Иногда одной фразой, почти афористичной, создавал подтекст, к которому и придираться было нельзя, а под ним — такая глубина. Это же он сказал: “Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает”. Хорошее думанье сильно осложняло жизнь журналиста.

— *Известинцы рассчитывали на определенный слой читателей. У вас, например, Элла Максовна, была своя аудитория?*

— Конечно, как и у каждого сотрудника отдела. И был высокоинтеллектуальный авторский актив. Публикация в “Известиях” для человека думающего означала тогда весомую добавку к тому, как его воспринимали и как он сам себя воспринимал. Это была сильная поддержка. В свою очередь, авторы подпитывали нас.

— *Как возникал этот круг?*

— А сам собой. Люди знали позицию отдела, многое читали между строк, следили, о чем мы пишем, чем интересуемся, плюс престиж “Известий”. Они приходили сами или писали в редакцию. Вообще газета стояла на почте — и на полуграмотной, и на высокоинтеллектуальной. Кроме того, существовала большая сеть корреспондентов на местах, собкоров, державших в поле зрения всю страну.

Наши читатели — в основном это все же была газета интеллигенции — с большой долей вероятности знали, как мы откликнемся, если они нам напишут, как прореагируем на определенную ситуацию. Отклики приходили сотнями, а то и тысячами. Когда я начала заниматься бывшими пленными и перепавшими без вести (это уже в 80-е годы) и опубликовала первую полосу, получила шесть тысяч писем. Все так и не прочла, это невозможно. Но перед Днем Победы иду в библиотеку, где они лежат, беру папки, откладываю очередную партию писем и делаю спецполосу. Так уже несколько лет.

— *Воспринимается как очевидное, что у “Известий” и “Нового мира” были, по сути, читатели одной и той же настроенности. Но вот Лакшин в своей книге о “Новом мире” времен Хрущева замечает, что газета “давила” журнал, выступая, скажем, против Эренбурга, Яшина, Некрасова. Чем объясняется такая двойственность?*

— Это не двойственность. Это норма той жизни. Понятно, например: если уж Хрущев вышел из себя на выставке в Манеже, то Аджубей не мог ему противостоять. Но были и прямые указания и соответственно черные статьи, выполненные по заданию. Наши читатели, я думаю, понимали неизбежность, обязательность подлости, если можно так сказать. Более того — представляли себе, кто может на заданную тему выступить. Ведь как оно делалось — со Старой площади звонили главному редактору: надо такое-то, тогда-то. И он безошибочно знал, кого может позвать, кому это сказать. Знал, что Максимова звать бесполезно, следующим шагом могло быть только увольнение из газеты. Жалко было, наверное, ее выгонять, потому и

не звал. И десятки других людей не звал. А были такие немногие, которых звал.

— *Сейчас на страницах газет редко встретишь прежние славные имена. “Та” журналистика, как утверждают, уходит. А может, и уже ушла. Что, на ваш взгляд, мы при этом теряем?*

— Человека потеряли, рядового, неименитого. Остался он в рейтингах, диаграммах и уличных мини-интервью. Экономико-политическая проблематика от него отодвинута напроц, даже стилем, набором слов. Как этому человеку втиснуться в информацию, считанную с компьютера? Когда сам ее добываешь, то обязательно через кого-то, все же человеческое общение. А между экраном компьютера и полосой откуда ему взяться? Сегодняшний профессионал уже не способен, по-моему, загореться по причине, не касающейся его лично. Зарабатывает в газете деньги, даже не имя. А с человеком уходит основательность в работе, многогранность, многоцветность жизни.

И еще одна потеря. Не знаю даже, как ее обозначить — дух общности, надежности, почти родственного единения. Конечно, время другое, каждый сам за себя. И все же газета сильна коллективом, а не только отдельными публицистами. Была искренняя заинтересованность друг в друге — ради интересов газеты. Возникали трудные, казалось бы, неподъемные темы. Но ты мог поднять их с помощью других — только кликни. Да что говорить, они были рядом с самого начала — при обсуждении задуманного.

Не могу не сказать здесь хоть несколько слов о редакторе нашего отдела Любви Михайловне Ивановой. Она хорошо писала, но мало: любила, когда пишем мы. Помню, как обговаривалась командировка, как предварительно раскладывали варианты: если сложится так, а если эдак. Возвращаешься, заходишь к Любви Михайловне, она уже потирает руки от предстоящего удовольствия: “Приехала? Ну, садись, рассказывай, только подробно!”

Самые яркие известинские журналисты, в том числе и Толья Аграновский, первым делом несли свои творения ей, она непременно спрашивала: “Будем говорить как мужчина с женщиной, или нежно?” Разговор бывал весьма мужским, но всегда конструктивным. Божьей милостью редактор, логику материала, композицию, слово чувствовала прекрасно. И очень была умна.

— Элла Максовна, возможно, есть и какое-то превосходство современной журналистики, какие-то преимущества перед “старой”?

— Разумеется. Она оперативнее, лаконичнее, хотя при этом бывает то малограмотной, то изощренно снобистской. Но сравнения уместны лишь в профессиональном плане. Как можно сравнить прессу в общем-то свободную и несвободную?

— Она сейчас свободна?

— Относительно прежней — безусловно. Даже если считать это несвободой, то она другая. Тогда мы были несвободны от ЦК КПСС, КГБ, от всяких наблюдающих компетентных органов. А сегодня если одна газета и опубликует “заказуху”, то завтра найдется другая, которая ее опровергнет. На ту и на другую будет спрос. Как вообще можно сейчас говорить о крупных, жизненно важных идейных категориях, касающихся всех! Влияние СМИ на сознание общества? Но — какого общества? Влияние личности — какой личности? Воздействовать на человека, готового от безденежья брать кол в руки и идти громить всех и вся — это одно. На безработного инженера, вынужденного торговать на рынке, — другое. Нет сейчас большинства. Судя по результатам, это не очень-то хорошо. Но то, что было, — много хуже.

Все читают “свои” газеты, если вообще читают. Возможно, с помощью газеты ищут единомышленников. Недаром повсюду все больше материалов под рубрикой “Мнения”. Да, “Известия” пытались в свое время удерживать на пристойном уровне элементарные нравственные понятия. Как говорила та же Любовь Михайловна, не опускаться “ниже ватерлинии”. Но действовала и другая пресса — “Правда”, все областные, городские, районные газеты, которые делались по ее подобию. Необозримое, бескрайнее “прессовое” поле! Нас все-таки было мало, хотя у нас было очень много читателей.

А.И. Волков

## “Из публицистов-технологов мы превращались в обществоведов”

— Александр Иванович, в середине 60-х вы работали в “Правде”, органе ЦК КПСС. Это после аджубеевских “Известий” и после того, как вас с шумом сняли с должности редактора отдела “Советской России” — из-за конфликта с отделами ЦК. Согласитесь, представляется нелогичным ваш последующий приход в эту ортодоксальную, самую партийную газету. Плюс к тому там же оказались в то время Лисичкин, Черниченко — то есть люди, явно чуждые официально-бюрократической правдинской атмосфере, самостоятельно и критически мыслящие. Как и почему это произошло?

— Можно было бы сказать — случайно. Но все же не совсем так. Если по порядку, то я действительно после “Алтайской правды” работал собкором “Известий” — как раз все годы с Аджубеем. Это была замечательная школа. Если хотите, школа высокой журналистики. Профессиональной, изобретательной, аналитичной и страстной. И это ведь Аджубей сказал, что газета прежде всего должна быть интересной. Нам до того и в университете, и всюду твердили: прежде всего — идейность, партийность, газета — коллективный пропагандист, агитатор, организатор. А он сказал — “интересной”. Потому что газета — это собеседник читателя, который каждый день приходит к нему в дом. А кому нужен скучный собеседник? Что он донесет до человека, если не заинтересует?

Потом была “Советская Россия”. С Константином Ивановичем Зародовым, ее главным, работалось хорошо. Он тоже стремился делать интересную газету. Его трудно сравнивать с Аджубеем: совершенно непохожие люди, различались, я бы сказал, как аристократ и крестьянин. И воспитание, и положение, и возможности, что и говорить, были совершенно разные. Но в одном они были одинаковы — оба страстно любили газету, журналистику, журналистов. Очень высоко ставили эту профессию. В 64-м, когда я пришел в “Советскую Россию”, она

была знаменита необычной информационной полосой и тоже блистала порой неожиданной тематикой. А вот когда Зародов ушел в “Правду” и редактором стал печально знаменитый генерал Московский, действительно случилась шумная история.

Меня тогда обвинили, что как редактор отдела и член редколлегии не советуюсь в ЦК КПСС, “не сработался”, так в самом деле было официально заявлено, с отделами пропаганды и сельского хозяйства. Поводом послужила моя передовая статья, которая возмутила члена Политбюро Кириленко. Смешно вспоминать, но, оказывается, я выступил с призывом к сокращению поголовья скота в стране. Надо же! Не хуже тоннеля от Бомбея до Лондона. Конечно, за этим стояло многое — позиция газеты во времена Зародова, противоречия между Кириленко и Вороновым, тоже членом Политбюро и Предсовмина РСФСР, внутренние разногласия в редакции. Но факт, что Кириленко потребовал моего увольнения, и мне дали двадцать четыре часа на размышление: либо уйду “по собственному желанию”, либо газету будут “слушать” на Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Тогда бы уже, конечно, пострадал не один я. И вот в этот момент известинцы предложили мне вернуться к ним спецкором секретариата. Надо сказать, им требовалось мужество, чтобы противопоставить себя члену Политбюро — известному самодуру. И ту же должность предложил мне Зародов в “Правде”. Его мотив был такой: пойдешь в “Известия” — это тебя, бедного, битого, подобрали друзья, а в “Правду” — вроде как на повышение, эффект от скандала с увольнением будет смазан. У меня дома тогда собрались друзья — известинцы, россияне и правдисты, все вместе и решили: надо идти в “Правду”.

— *Значит, все же случайно?*

— Да не совсем. Зародов сказал потом, что он меня и без этой истории собирался позвать в “Правду”. Признаюсь откровенно: я бы пошел. Постараюсь объяснить — почему.

Вы говорите: самое партийное издание. Но ведь непартийных изданий в то время и не было. У тех же “Известий” имелся свой куратор в отделе пропаганды. Даже у детской “Мурзилки” наверняка был. Всем редакторам без исключения звонили из ЦК или члены Политбюро или заведующие отделами (в зависимости от ранга редакторов) и давали указания, устраивали разносы за какие-то публикации, всех вместе собирали на коллективные накачки. “Правду”, может, опекали плотнее. Но ведь и влияние ее было другое. Она была все же главной газетой страны. Слово “Правды” по весомости ни с чем нельзя было срав-

нить. Протолкнуть в этом “центральном органе” статью со смелой мыслью, протащить даже одну хорошую формулировку значило многое. Значило, что это будет замечено. Значило, что все это будут обсуждать. А партийный актив “примет к исполнению”. Сегодняшними мерками все это мерить невозможно и глупо. Мы ведь верили тогда в возможность кардинальных реформ, но понимали, что с ними будет трудно, уже столкнулись с сопротивлением партаппарата. Вот и шли в “Правду”, чтобы “влиять”. И не только на партийно-хозяйственный актив. На массовое сознание — тоже, ведь тираж газеты подходил к десяти миллионам экземпляров.

Позиция газеты в то время имела смысл: в КПСС существовала как бы не одна партия. В ней состояли разные по взглядам люди. Там отнюдь не было монолитного единства. И я говорю не просто о противостоянии кланов, борьбе за положение на иерархической лестнице, за “доступ к телу” и тому подобное. Это была не только борьба за власть, что в политике, конечно, всегда главное, но в каком-то смысле даже идейная борьба. Одни были ортодоксами, другие хотели перемен. Мы находили общий язык со многими хозяйственниками в отношении к тем же реформам, даже к идее рыночных отношений. С некоторыми секретарями обкомов — тоже. Помню, уговорили первого секретаря Тамбовского обкома партии написать нужную нам статью; он при этом решал свою задачу — “показать область”, а мы — свою: вставить в текст один важный абзац, который от нашего имени не прошел бы, а у столь видного партийного деятеля прошел, и мы потом на него сто раз ссылались и в “Правде”, и в “Новом мире”. Тогда некоторые из нас в этом журнале регулярно печатались, и вот базу для серьезного выступления заранее и специально закладывали в “Правде”. У Черниченко просто система была отработана: после очередной командировки сначала статья в “Правде” страниц на восемь, а потом — очерк в “Новом мире” листа на полтора-два.

Что касается внутренней правдинской атмосферы, то она в то время как раз менялась. Пришел новый главный редактор М.В. Зимянин, который поначалу хотел сделать что-то заметное. Первым замом стал Зародов, почувствовавший к тому времени вкус к экономике, нашли общий язык, и я уже знал, зачем к нему шел. Этот личностный момент играл большую роль. Оба новых руководителя набирали новых людей под перестройку “Правды”, о чем оба мечтали. Зародов уже перетаскил к себе Черниченко, потом и Лисичкина, и Егора Яковлева, и Юру Во-



ронова из “Комсомолки”. В “Правде” образовался этакий словеный пирог: старожилы, народ действительно идейно непоколебимый, каждый — со связями, часто со своим высоким покровителем в ЦК, и люди со стороны, но зато опиравшиеся в своих новаторских попытках на руководство редакции. Там шла внутри не очень откровенная, но и не очень скрываема борьба. И, кстати, благодаря упомянутым связям каждый конфликт становился известным в “верхах”.

— *А с какими идеями вы шли в “Правду”? За что намеревались бороться?*

— В “Правде” — уже определено за продолжение реформ. Если хотите — за рынок. Но сложилось это, конечно, не сразу. Шаг за шагом шли к тому, к чему толкала практика. Для меня, например, работа в “Алтайской правде”, а потом в центральной печати все нагляднее выявляла остроту сельских экономических проблем. На поверхности были диспаритет цен на промышленную и сельскую продукцию; слабость стимулов к развитию производства, материальной заинтересованности людей прежде всего; администрирование — то, что колхозу или совхозу, как и промышленному предприятию, сверху предписывалось, что производить и как. Мы и шли в своих статьях, в организованных нами дискуссиях от конкретного, от частного к общему. Мы начинали видеть, что эти вот частности возникают из нерешенности каких-то более общих проблем, теоретических вопросов, из принципов устройства нашей экономики. Прежде всего начинали осознавать ошибочность подхода к роли товарного производства при социализме, а проще — в нашей реальности.

Как раз в эту пору многие из нас переходили как бы в новую категорию журналистов, на новую ступень журналистики. Если прежде, в 50-х годах, мы сосредоточивались на вопросах технологии и ругали в своих статьях тех, кто не использует передовые методы бурения скважин или квадратно-гнездовой посев кукурузы, видели все беды в несознательности или косности отдельных руководителей, “ссылающихся на объективные причины”, то теперь усматривали корни в чем-то ином. Мы раньше, представляя себя на месте председателя колхоза, думали, что достаточно применить в хозяйстве все, уже созданное наукой, проявить энергию, волю — и добьешься успеха. Поэтому и подавали заявления с просьбой послать в колхоз в числе “тридцатитысячников”. Я тоже подавал такое заявление, прошел пять инстанций, на последней, шестой, мою кандидатуру

отвергли, сказав, что молод еще... Каждый из нас специализировался — один на сельском хозяйстве, другой — на промышленности, кто-то и еще уже — на угле или нефти (кстати, я сам после университета учился заочно в сельхозтехникуме, считая важным постичь агрономию, коль пришел в сельхозотдел).

И вот постепенно “публицисты-технологи”, как я условно их для себя называю, становились публицистами-экономистами. Не случайно в ту пору многие защитили диссертации по экономике. И как раз на защите Отто Лациса в Институте народного хозяйства им. Плеханова известный экономист Александр Михайлович Бирман говорил, что многие публицистические статьи в журналах и даже газетах по глубине анализа отвечают самым строгим требованиям, предъявляемым к научным трудам (он назвал тогда и конкретных авторов).

Было целое поколение журналистов, которые по-настоящему увлеклись социальными проблемами и пытались дать ответы на сложные вопросы общественной жизни. Те, кто научился отвечать на эти вопросы и видеть корни явлений в человеке, его положении в системе экономических отношений, становились журналистами-обществоведами. Может быть, это была часть поколения, потому что кто-то сумел отлично устроиться, приспособиться, писал только то, что нравилось властям. Некоторых и замечали, брали, например, в помощники к секретарю ЦК, крупному совминовскому деятелю — это уже было недалеко, при соответствующем таланте, до партийного и советского чиновника, которому самому полагался помощник. Или до редактора какой-нибудь газеты. Кстати, мой предшественник на должности редактора отдела сельского хозяйства “Советской России” и некоторые из тех, кто был после меня, проделали именно такой путь. А были еще и другие — нейтральные, что ли, которые шагали по “росным колхозным лугам”, летали на специально выделенном им вертолете над строящейся Красноярской ГЭС или какой-нибудь другой великой стройкой и писали о героизме “советских тружеников”, считая себя истинными (если не лучшими) представителями журналистики шестидесятых.

Но мне представляется, что типичными для того времени были именно те, кто искал истину в глубине экономических отношений, задумываясь, почему же социалистическое производство, которое, казалось, еще недавно обеспечило победу в Отечественной войне, восстановление разрушенного хозяйства и так далее, стало проявлять все большую несостоятельность.

— Сейчас, когда едва ли не все — политологи, непросто, наверное, представить, что именно вам приходилось отстаивать. Не могли бы вы сказать о главном в содержании экономических выступлений?

— Название книги Лисичкина “План и рынок” как раз отражало главную экономическую проблему, которая находилась в поле нашего зрения. Заметьте, что и теперь многое вертится вокруг этой проблемы: рыночные свободы необходимы, но и государственное вмешательство вроде бы требуется. Одно без другого немислимо, это, наверное, все понимают, однако вопрос в конкретном соотношении этих двух элементов, в пределах и формах вмешательства. А в то время слово “рынок” и сказать было нельзя. Говорили “товарно-денежные отношения”. Помню, как Суслов неизменно вписывал в текст о товарно-денежных отношениях, если его посылали на согласование в Политбюро, определение “социалистические”. Они, естественно, должны были отличаться от капиталистических. Мы писали о характере и уровне обобществления производства, опираясь на аргументы Маркса, о материальной заинтересованности людей, ссылаясь на Ленина. Известно: чем крамольнее мысль, чем она новее, тем больше требует ссылок на авторитеты, требует опор в прошлом, общеизвестном, общепризнанном. Писали о роли закона стоимости и так далее. Но все это было способом доказать острую потребность перехода нашего общества к рыночным отношениям. Это все были своего рода эвфемизмы, за которыми скрывался рынок.

Теперь нас упрекают: за что боролись, на то и напоролись; вот вам рынок — радуйтесь. Но это смешно, какой еще у нас рынок! А в преувеличении роли рынка нас упрекали — правда, это было уже немного позднее — даже французские коммунисты, социалисты из разных стран, с которыми приходилось встречаться. Что же это, мол, вы все про рынок, про рынок. Сами же они напирали на необходимость государственного регулирования... И однажды в беседе с французами я вслух задался вопросом: почему мы не понимаем друг друга? Потому что, говорил я им, у вас есть бассейн, а у нас его нет. Представьте, скажем, что у вас есть бассейн, в нем вода, и вы думаете о ее обновлении, подогреве, о том, что нужно построить вышку для прыжков, дабы нырять поглубже. А в нашем бассейне вышка есть и спасательные круги разложены вокруг, и даже средства от насморка, если, не дай Бог, кто-нибудь простудится, но нет воды. И мы кричим: дайте воду, потому что мы уже прыгаем!

Меня все более увлекала и проблема положения человека в производстве. Известно, что оно у нас было схоже с крепостническим, едва ли не рабским (достаточно вспомнить, что до хрущевской оттепели у крестьян и паспортов не было). Мы все — и крестьянин, и рабочий, и тот же журналист — испытывали чувство отчуждения от средств производства, от производства вообще, от собственности. Это самое мягкое определение нашего положения. Мы сами, если хотите, вместе со средствами производства были присвоены государством, а государство — собственностью бюрократии. Вот мы и были присвоены бюрократией — колхозники вместе с землей, рабочие — с заводами, а журналисты вместе со своими столами и пишущими машинками. Брошюрка, которую мне удалось издать, когда я уже работал в “Правде”, называлась “Работа на себя”. Написанная на основе выступлений в “Советской России” и “Правде”, она была попыткой осмыслить возможности преодоления этого положения. Мы стремились привлечь внимание к проблеме кооперации в чаяновском понимании, в ленинской трактовке. Может быть, здесь мы как бы сужали проблему работы на себя, видели ее только в такой вот форме, кооперативной. Все это оказалось более сложным.

Если взглянуть на наши представления того времени с современных позиций, то можно сказать, что наше “совершенствование социализма” выглядело как смешение социализма и либерализма. Мы верили, что можно дать свободу производителю, обеспечить рыночный выбор потребителю, не отходя от тех ценностей, которые связывались с общественной собственностью, социалистической солидарностью, хотя мы уже различали для себя общественную собственность и государственную собственность, писали об этом. И в общем это отнюдь не было абсурдом, если понимать социализм и либерализм не как строй, а как системы ценностей и ориентиров в общественном развитии.

Иллюзии наши заключались в том, что мы верили в способность властей преодолеть собственную идеологическую косность, зашоренность, обманывались звонкими словами в постановлениях о реформах. Система оказалась куда более жесткой, чем нам тогда виделось. Но, повторю, шли-то мы чаще всего от конкретного. Вот уже в 1964 году в “Советской России” мы вели три дискуссии одновременно, параллельно: о материальном стимулировании производства; о земельном кадастре и цене на землю (дискуссия, которая до сих пор не завершилась, можно сказать); о проблемах Нечерноземной зоны (к которым тоже сто

раз многие возвращались в разные времена). Обсуждались и социальные проблемы села. Потом все дискуссии как бы слились в одну, как раз перед мартовским пленумом ЦК КПСС 1965 года (который был достаточно прогрессивным по тем временам).

Накануне пленума опубликовали обобщающую статью, она так и называлась — “Проблемы сельской экономики”. Статья была, видимо, неоднозначно воспринята в верхах, последовал звонок от Воронова и Полянского с просьбой дать записку, в которой мы высказали бы свои предложения к пленуму на основе этой статьи. Мы написали такую записку, а потом отыскивали в партийных документах строчки, которые нам казались именно нашими (там ставился вопрос об экономических способах управления экономикой, вопреки административным, предполагалось “всемерное использование товарных отношений” — фразочка, которую мы двадцать раз потом цитировали, а нас за это цековские аппаратчики критиковали, как будто это не было записано в решениях пленума, — и так далее). Сейчас, конечно, немного смешно это вспоминать, но все-таки что-то и было сделано, не зря сделано. Это, кстати, тоже показатель влияния на сознание людей — на сознание того же партийного актива и даже партийного руководства.

— *Не хотите же вы сказать, что писали свои статьи “для начальства”?*

— Ну, и для него в немалой степени, оно решало. Понятно, конечно, что не только для него. Создавалось общественное мнение. Очень важна была для нас реакция людей (знакомых и незнакомых), близких по взглядам. Радовались, когда звонили друзья и хвалили статью. Стремились привлечь больше единомышленников и обращать в единомышленники все новых и новых своих читателей. Но уже тогда мы прекрасно понимали, что существует проблема восприятия этих мыслей и идей, что оно различно у людей с разным, как теперь говорят, “менталитетом”. Среди тех же крестьян одни давно приспособились к системе, другие — ею мучались. Мы рассчитывали, конечно, на людей второго типа, а каких было на самом деле больше — и сказать трудно.

Дискуссии такого рода были важны не только с точки зрения выяснения истины. Они способствовали, да и способствуют в каждом таком случае, самоопределению человека, отысканию “своих”, их общению. Люди находят друг друга через газету, показателем чего становятся письма. Скажем, почта сельхозотдела в “Советской России” на гребне экономических

дискуссий выросла вдвое — причем не за счет традиционных жалоб (бригадир не дал лошадь, председатель с утра до ночи пьет, и тому подобное), а за счет откликов-рассуждений на социально-экономические темы, довольно уже сложные, идущие в глубину проблем, в глубину тех причин, которые порождали трудности в сельском хозяйстве.

— Скажите, Александр Иванович, а кого из авторов вы привлекали, стремясь проводить определенную линию в той же “Правде”? Вы были свободны в своем выборе? В какой мере газета при этом играла роль организатора?

— Тут я “твердый ленинец”: газета — общественный организатор. Мы начали с того, что собрали в редакции “круглый стол” молодых экономистов: Кассиров, Лемешев, Карлюк, Морозов — всех даже не вспомню. Иных уж нет, а те — далече. Далече порой идеологически. Каждый за этим “круглым столом” начинал свое выступление так: “Вы это все равно не напечатаете, но я считаю...” Мы напечатали очень многое, получили свои шишки, но вот так у нас и стал складываться хороший актив экономистов, который собирался по любому зову, даже тогда, когда надо было не только статью подготовить, а и представить, например, в ЦК “предложения к докладу товарища Брежнева” и прочее. Очень нам помогали такие ученые, как Лев Леонтьев, Александр Бирман, Игорь Бирман, ныне американский профессор; писал нам Бронштейн, известный теперь в Эстонии экономист и общественный деятель; писал Алексей Емельянов; тесно сотрудничал с нами в “Советской России” и “Правде” Павел Гужвин, в то время заведующий сельхозотделом ЦСУ РСФСР, а потом и его начальник. Это был коллектив авторов-единомышленников, объединенных идеей “перехода к товарно-денежным отношениям”, как тогда говорили.

— Это касалось только выступлений по сельской тематике?

— Если говорить об экономических дискуссиях того времени, то, конечно, надо прежде всего вспомнить статью академика Немчинова, опубликованную в марте 1964 года в журнале “Коммунист”. Надо вспомнить статью Либермана, по-моему, в “Правде”, которая привлекла широкое внимание публики (хотя, на мой взгляд, была не столь интересна). Все основные принципы реформы 1965 года, косыгинской реформы, были изложены именно в статье Немчинова. И последовавшие дискуссии как бы разделились на “промышленную” и “сельскохозяйственную”. Глупо, но факт. Я же говорю больше о сельской

тематике не только потому, что сам ею “болел”, но и потому, что в то время она занимала особое место в работах экономистов, журналистов, в творчестве писателей. “Деревенщики”, как их называли, лидировали в постановке актуальных для общества вопросов. В “Правде” мы создали актив не только экономистов, но и писателей. В то время их у нас выступило больше тридцати, насколько мне помнится. С писателями работал Виталий Степанов, которого специально выделили на это дело: он умел посидеть с ними за чашкой чая, неспешно потолковать, а главное — послушать, что для писателей-“затворников”, может, было всего ценнее. “Пригрели вы меня”, — сказал как-то Александр Яшин после очередных таких посиделок. А в результате рождалась тема выступления в газете. Мы напечатали тогда тех, кого отлучили буквально от всех изданий — Яшина, Дороша, в какой-то момент опального уже Крутилина. То же было и в некоторых других изданиях (скажем, с сельхозотделом “Известий” сотрудничали порядка десяти писателей, в том числе опальный Борис Можаяев). Это, несомненно, поднимало уровень публицистики.

Кстати, хороший, по-моему, телеведущий Парфенов в своем цикле передач исторического характера, рассказывая о 1966 годе, назвал писателями-“деревенщиками”, чье творчество стало серьезной критикой колхозной системы, Абрамова, Белова, Астафьева, Распутина, даже как бы свел их в один отряд. Это было по меньшей мере неточностью. Да, уже был известен Белов; Астафьев и Распутин начали тогда печататься, но только еще в провинциальных изданиях, и их мало кто знал. Абрамова знали как литературного критика, но лишь в 1968 году он опубликовал в “Новом мире” свои “Две зимы, три лета”... “Деревенщиками”, которые действительно в то время будоражили общественность своими правдивыми рассказами о селе, называли прежде всего Овечкина, Дороша, Крутилина, Радова, Можаяева, Яшина и с 1966 года — Белова. Я не пытаюсь “расставить” их в каком-то осмысленном порядке. Абрамов вошел в эту плеяду, мощно заявил о себе, но все же это было позднее.

— *Вы действительно склонны считать, Александр Иванович, что тот газетный “натиск” 60-х годов существенно повлиял на суть реформ, последовавших через двадцать с лишним лет?*

— В этом смысле у нас есть любопытное свидетельство: мемуары “Жизнь и реформа” Михаила Сергеевича Горбачева. Если позволите, я приведу некоторые его высказывания.

В те годы, о которых мы говорим, “Правда” и ряд других газет выступили в защиту Иннокентия Баракова, начальника Георгиевского производственного управления на Ставрополе. Горбачев работал тогда в Ставрополе, хорошо знал Баракова, называет его в своей книге ярым поклонником Лисичкина, пишет, что он выступал с предложениями расширить права колхозов в распоряжении произведенным продуктом, разрешить его свободную продажу, смягчить государственный план. Пока дело ограничивалось разговорами, пишет Горбачев, это мало кого волновало. Когда же Бараков в своем Георгиевском районе попытался осуществить эти идеи на практике, все всполошились, восприняли это чуть ли не как открытую атаку против системы в целом.

“Правда” выступала в защиту Баракова дважды, и это все-таки не помогло — его сняли с работы. Горбачев в своей книге делает вывод, с которым трудно не согласиться: преобразования в сельском хозяйстве того времени, как и в промышленности, проводились в заранее четко очерченных рамках, выходить за них не дозволялось. Даже Брежнев, докладчик на мартовском пленуме ЦК, лавировал между различными группами в Политбюро, но по сути тщательно маскировал свою приверженность консервативным взглядам. Поэтому “дело Баракова” “стало свидетельством, с одной стороны, назревших перемен, а с другой — жесткой реакции системы на саму возможность подобного рода изменений”.

А я теперь добавлю от себя: оно стало и свидетельством того, что “Правда”, как бы подчеркнув значимость того “дела”, оказала влияние и на самого Горбачева. Оно ему запомнилось, и выступление газеты запомнилось, и фамилия Лисичкина, как видим, запомнилась. Михаил Сергеевич дальше вспоминает и второй эпизод — атаку “Сельской жизни” на правдистов и “Новый мир”. Все это, наверно, как-то сказалось на его созревании как реформатора, подвигнуло к освоению идей рынка, хотя известно, что он шел к ним трудно.

— По вашим рассказам, Александр Иванович, может сложиться представление о “Правде” того времени как об очень прогрессивной газете. Но вы же и сами согласитесь, что это было не так.

— Но именно по вопросам экономики, особенно сельской экономики, нам кое-что удавалось сказать. Мы даже выходили далеко за рамки проблем села и, скажем, лисичкинская статья о НЭПе, которую “Известия” не решились напечатать, а мы на-



печатали, ставила вопрос о товарно-денежных отношениях в условиях общественной собственности. Напечатали довольно дерзкую по тем временам статью Белкина и Ивантера о банках: Конечно, все было в “Правде” вполне “правдистским”, кроме, может быть, вот этих некоторых вещей. Но эти “вещи” все-таки были очень значимыми. Недаром один экономист, выступая на Отделении экономики Академии наук СССР, размахивал “Правдой” и призывал так же смело, как она, ставить вопросы экономики, вопросы формирования товарно-денежных отношений. Это о чем-то говорит.

Ведь доходило до парадоксов. Однажды заместитель главного редактора “Правды” Борис Иванович Стукалин приезжает из ЦК и говорит, что существует большая записка, в которой “Правда” обвиняется не больше не меньше как в отступлении от линии XXIII съезда партии. Записку предлагается вынести на обсуждение Секретариата ЦК. Сама она никем не подписана, но сопроводительную бумагу завизировал Федор Давыдович Кулаков, секретарь ЦК КПСС, ведавший в то время сельским хозяйством. Вот так: главная газета партии против линии партии...

Мы раздобыли эту записку. В ней “Правду” обвиняли в том, что газета не только не показывает пример другим, как “Сельская жизнь” (а она была там представлена в качестве образца партийного подхода к проблемам экономики), не только не одергивает тех, кто зарвался, а публикует материалы, не совместимые с решениями пленумов ЦК партии и даже ее съезда. Яростной критике были подвергнуты наши авторы, цитировалось множество наших статей. Все эти факты, утверждала записка, говорят о том, что установившийся в “Правде” подход к освещению экономической жизни села не случайность, а линия газеты...

Этот документ содержал более двадцати страниц. Нам с Лисичкиным поручили подготовить ответ, и мы разразились на двадцати пяти страницах. Наш текст перед подписанием Зиминным и отправкой в ЦК долго правили, можно сказать, вылизывали, но он был все-таки достаточно резким и в последнем своем варианте. Он заканчивался утверждением, что авторы записки “предъявляют необоснованные претензии “Правде”, допускают неправильное толкование некоторых важнейших положений экономической политики партии в сельском хозяйстве и дают органам печати теоретически не обоснованные рекомендации, ориентируют на свертывание творческих поисков в области экономики, утверждая монопольное положение в печати определенных, порой устаревших взглядов на экономи-

ческие процессы”. Короче говоря, мы обвиняли своих оппонентов в том же, что и они нас: в отступлении от линии партии в сфере экономической политики. А линия-то уже так завилала, что о ней самой можно было сказать что угодно.

Не буду подробно рассказывать о дальнейшей полемике главного редактора “Правды” и секретаря ЦК, в итоге обе записки были отозваны, мы торжествовали победу. Но то была пиррова победа. Для начала Лисичкина перестали печатать в “Правде”. Просто откровенно было сказано, что любая его публикация вызовет большие неприятности. Потом стала невозможной и моя жизнь в “Правде”, и Черниченко. Все мы оказались за пределами редакции и даже прессы вообще.

— *Наверное, это естественно, когда все средства массовой информации подчиняются одному центру, когда редакционные планы утверждаются в партийных инстанциях, а статьи посылаются туда на согласование, когда вмешательство в работу журналиста — дело повседневное. Не “вписались”?*

— Как-то я смотрел телепередачу, в которой известные журналисты нового по сравнению с моим поколения спорили, неизбежна ли для них продажность. Я завидовал той возможности открыто выражать свое мнение, критиковать власти, которой они теперь обладают. Но вдруг поймал себя на мысли: а ведь мы, те, кто работал в пору жесткого партийного контроля над прессой, были свободнее, чем наши молодые коллеги сейчас. И мы не считали себя продажными, несмотря на то, что сознавали несвободу, в которой приходилось действовать, несмотря на то, что постоянно ощущали партийную грубую опеку. Дело в том, что мы *противостояли* этой несвободе. Мы видели для себя возможность выбора и делали этот выбор. Мы, конечно, приспособлялись к условиям, но ради того, чтобы реализовать свои идеи. Если надо было проташить в печать некую актуальную мысль, помочь разрешению некой назревшей проблемы, мы готовы были не только использовать специально подобранные цитатки из классиков марксизма, но и ссылаться на того же Брежнева, постановления ЦК, вовсе не считая это уступкой ортодоксам и ретроgrадам, потому что знали, чего хотели, чего добивались.

— *И все кончилось в 1968 году, с вводом войск в Чехословакию?*

— 1968 год, конечно, веха в истории страны. Скажем, Витторио Страда утверждает: рассматривая период от смерти Ста-

лина до назначения Горбачева, можно видеть, как он явственно распадается на две части — до 68-го и после него. От этого года некоторые исследователи отсчитывают время семидесятников, противопоставляя их шестидесятникам. На мой взгляд, все не так просто. Да, ввод войск в Чехословакию нанес удар по иллюзиям о возможности совершенствования социализма. Казалось даже — положил им конец. Но он же породил в общественном сознании и четкое представление, что при таком, как есть, социализме жить нельзя. Различные формы инакомыслия резко усиливаются — от молчаливого несогласия с решением высших властей до активного протеста, от осознания насущной необходимости пересмотреть некоторые основы этого социализма до его полного отрицания.

Казалось, что реформы совсем задушены бюрократией, но в то же время усиливается ощущение, что экономика и по-старому развиваться не может. Экономисты ищут новых решений и предлагают их прессе. Казалось, что журналистика просто разгромлена. “Правда”, “Советская Россия” особенно резко меняются. Оттуда ушли многие журналисты, которые определяли их лучшие черты. Но “Известия” держатся куда приличнее, хотя они тоже кое-кого потеряли (газету основательно “подорвал” только Алексеев, возглавив ее после “Сельской жизни”, однако это было уже позже, в 1978 году). Журналисты-обществоведы, как я условно их назвал, те самые шестидесятники, прорываются на страницы разных изданий со своими прежними идеями.

Нет, в 68-м все не кончилось. Переход к застою, особенно в прессе, не был одномоментным. Власти не сразу выработали новые правила игры, а журналисты не сразу с ними смирились. Потребовались еще долгие годы, те самые годы застоя, чтобы вытравливать и вытравить из сознания людей, и то не до конца, идеи преобразования общества. Лучшим подтверждением, что это не удалось, служит возрождение в 80-е годы, в пору перестройки, тех же идей и тех же иллюзий, связанных с совершенствованием социализма, что были у шестидесятников. Это время нового, я бы сказал, торжества шестидесятников. Другое дело, что прежний потенциал идей к тому времени уже оказался явно недостаточным.

— *Любимый вами жанр экономической публицистики явно переживает сейчас не лучшие времена. Как вы к этому относитесь?*

— В журнале “Журналист” не столь давно была опубликована статья Владимира Гуревича на эту тему. Хотя и с оттенком

В.Э. Шляпентох

“Я знал, что думают читатели  
“Известий”, “Правды”, “Труда”,  
“Литературной газеты”

— В середине 60-х вы, Владимир Эммануилович, провели серию исследований по изучению читательской аудитории ряда центральных газет<sup>1</sup>. Как возникла сама идея такого рода исследований? Чья это была инициатива — редакций или лично ваша?

— Нет, отнюдь не моя. Я оказался втянутым в эту историю (и не скажу, что был этим огорчен, напротив). Как получилось, что я — еврей, беспартийный, человек с либеральной репутацией, находившийся под колпаком КГБ, — стал не только вхож в редакции крупнейших советских газет, но, по сути, проводил экспертизу их деятельности?

Я защитил докторскую диссертацию по экономике и, в общем-то говоря, определял свой дальнейший путь. По первому образованию я историк, больше всего интересовался социальными делами. Экономикой занимался в силу того, что в тех условиях мне нельзя было двигаться ни в какую сторону, более близкую социальным проблемам (из-за упомянутых уже обстоятельств). И все-таки 1966 год, несмотря на снятие Хрущева, был еще временем либеральных настроений. Это был весьма специфический период. Брежневский режим уже явно ориентировался на восстановление (в какой-то степени) сталинских норм. Едва Хрущев был отстранен, Леонид Ильич 9 мая на торжественном заседании по поводу Дня Победы произнес первые хорошие слова о Сталине. И они были встречены аплодисментами. Это была явная попытка двигать страну в определенном

---

<sup>1</sup> Материалы этих исследований были опубликованы в сборнике “Читатель и газета. Итоги изучения читательской аудитории центральных газет”. Информационный бюллетень № 35 и 36 (Выпуск 1. Читатели “Труда”. Выпуск 2. Читатели “Известий” и “Литературной газеты”). М., 1969. — *Прим. ред.*

ностальгии, он говорит о спаде, если не о закате (!) экономической публицистики, противопоставляя это явление “подъему жанра экономических новостей, оперативного комментария, а также возникновению особой бизнес-журналистики”. И если бы он просто остановился на констатации фактов. Он же пытается доказать не только естественность рождения такой журналистики (с этим странно не согласиться), но и закономерность краха публицистики, даже ее ненужность. На экономическую публицистику нет спроса, — вот в чем видит Гуревич причины ее “заката”.

Характерно начало его статьи — о том, что современный Гамлет задается вопросом, куда вкладывать деньги. Уж если так “заземлять” Гамлета, то вопрос, скорее, в ином, в частности и для газет: где взять деньги? Но главное — нельзя заземлять! Это ведет к ложным вопросам и ложным ответам. Гамлета, как и прежде, волнует все то же: “Быть или не быть? Что благородней духом...” И, как говорится, далее по тексту, разве что с учетом новых реальностей. Иначе это и не Гамлет вовсе — совсем другой парень. И этого парня не нужно смешивать с Гамлетом и не нужно противопоставлять ему.

Так же, на мой взгляд, нет никакого реального противостояния или конкуренции журналистики, *обслуживающей* рынок (информация, прогнозы по поводу инфляции, налогов, рейтингов и так далее) и журналистики, *осмысливающей* главные проблемы общественного бытия, общественных отношений, в частности в сфере экономики (что и составляет суть публицистики). Появление первой связано, естественно, с новым *спросом*, с рождением рынка, но спад второй, если здесь в самом деле есть предмет для беспокойства, никак с этим не связан. Причину надо искать *не в спросе, а в предложении*. Не вижу оснований совсем уж впадать в панику, есть в сегодняшней печати интересные статьи, и журналисты-мыслители тоже есть. Но предложение, может быть, действительно еще не соответствует спросу.

Другое дело, что не журналисты только виноваты в неспособности удовлетворить этот спрос. Просто не созрели в обществе новые серьезные идеи.

направлении. И, собственно говоря, тогда интеллигенция это поняла. Многие встали на защиту XX съезда партии, появились первые “подписанты”.

Снять Генерального секретаря — с моей точки зрения, опасная акция для советской системы. Непонятно было, что может произойти. И брежневский режим чувствовал себя не очень уверенно, отступил и даже как бы продолжал в мягкой форме реформы. Тогда-то появилась знаменитая статья Румянцева в “Правде” — “Партия и интеллигенция”, которая всех нас очень обрадовала, потому что практически нам было официально сказано: “Мы будем продолжать линию Хрущева и будем более уважительны, не позволяя себе по отношению к художникам, писателям того, что позволял он. Без вас мы не обойдемся”. Таково было тогда послание. Вот на этой волне и стали развиваться социология и ее “родственники” — математические и экономические методы, они шли вместе. Были созданы Институт социологии и Центральный экономико-математический институт. Оба стали оплотом либерализма в стране (во всяком случае, на какое-то время). В этот период социология и рассматривалась партией, Центральным Комитетом как некий символ, доказательство того, что руководство страны готово идти на известный прогресс во взаимоотношениях с интеллигенцией, готово что-то менять и так далее (консерватизм, который был как бы задуман в 1964 году, начался позднее, в 1968–1969 годах). Руководство, переоценивая опасность интеллигенции, старалось сохранить лояльность, да и для Запада это было совсем недурственно.

Вот именно тогда, в 1966 году, корреспондент “Известий” по Новосибирской области Василий Давыдченков от имени редакции обратился к Абеу Аганбегяну с предложением провести некое социологическое исследование. Собственно, он передал просьбу: выяснить там, в Академгородке, не могут ли они для газеты провести анализ ее читательской аудитории. Аганбегян обратился ко мне. Надо сказать, что у нас были довольно сложные отношения. Я его уважал, ценил его энергию, организаторские способности, его “либеральную подкорку” — в общем-то он был в прогрессивном “лагере”. Но я тогда числился как бы “лидером оппозиции по отношению к Аганбегяну”. В тот момент людей, близких ему, кого он мог бы попросить заняться “Известиями”, “в наличии” не было. И Аганбегян сказал: “Ну, Володя, ты всегда говоришь, что любишь социологию. Вот, по-

жалуйста, и возмись”. А я понял, что это интереснейший шанс и его нельзя использовать каким-то ограниченным образом: надо провести всесоюзное исследование читателей газеты. Я убедил в перспективах такого масштабного исследования корреспондента “Известий”, потом — уже вместе с ним — мы убедили в этом руководство газеты. И я получил карт-бланш и огромные ресурсы, о которых никто в социологии не мог тогда и мечтать. Газета была богатая, тираж был огромный. Он рос — росли и доходы.

Когда потом, через несколько лет, мы с Давыдченковым пришли к Аджубею в гостиницу, в Академгородке, он сказал: “При мне это было бы, наверное, невозможно”. — “Как? С вашим тестем?” — “Нет, это было бы невозможно”. Что, мол, политически невозможно.

— *Имелось в виду, что исследование выходило за рамки чисто газетных проблем? Или его итоги воспринимались именно таким образом?*

— Ну, представьте, вы приходите в редакцию и говорите: “Товарищи журналисты! А вы же не знаете своих читателей”. Во всех редакциях были твердо уверены, что они их прекрасно знают: “Мы же читаем письма!” Было аксиомой, что партия знает народ, потому что социология в этом смысле была политически острым инструментом. Мы фактически объявляли государству, партии, что они не знают свой народ.

— *Вы ставили знак равенства между “партией” и “газетой”?*

— Конечно. В общем-то это была господствующая политическая структура.

— *Вы проводили исследования по четырем газетам. Это были “Известия”, “Правда”, “Литературная газета”, “Труд” — издания весьма различные. И вы, таким образом, полагали, что у всех у них одна и та же читательская аудитория?*

— Нет. Мы-то точно знали, что нет. Но в каждой газете считали, что она-то — газета всего народа. Моя мысль была такова: в каждой редакции уверены, что их читают вся страна и все группы населения. Никто не исходил из того, что у них своя, особая аудитория. Даже “Литературная газета”. Наверное, здесь не может быть однозначного толкования. Это уже история, дело памяти, восприятия. Вот таково мое восприятие. У тех, кто работал тогда в газетах, оно, возможно, другое. Но

я утверждаю, что поведение руководителей газет по этому параметру было одинаковым: все были удивлены, когда мы им принесли результаты исследований о составе их читателей. В газете “Труд”, например, очень удивились, что их читатели — прежде всего люди с образованием ниже среднего. Не хотели этому верить. Им это было неприятно. Здесь думали, что “Труд” — не менее интеллигентная газета, чем, скажем, “Известия”. И когда мы показали: вот ваши читатели — это было для них неким шоком.

“Литературную газету” в основном читала интеллигенция, значительное число рабочих, но отнюдь не все категории населения (как казалось). В “Правде” были менее удивлены своим читательским составом. Здесь исходили из того, что в общем-то адресуются к членам партии, партийным работникам. Это были их подписчики. В значительной мере на “Правду” была ведь принудительная подписка; никаких ограничений — в отличие от “Известий” и “Литературки”.

— А в “Известиях” чему удивились?

— В отношении состава читательской аудитории удивились мало. Здесь было другое. Во всех газетах мы предложили журналистам: “Прогнозируйте результаты опроса”. Дело в том, что социология — такая наука, у которой всегда найдутся оппоненты. Типичная реакция на любой социологический результат: “Это я и так знал”... Ну, в данном случае все ошиблись в прогнозах, попали пальцем в небо. Все, без исключения. И в общем согласились признать наши результаты только благодаря престижу Академгородка и кибернетике. Да, за нами была кибернетика, компьютеры. Без компьютеров социология могла вообще не возникнуть, не получила бы тогда признания. А я представлял компьютеры. Так, если говорить очень жестко и грубо. Это была объективность. Вот что сказала машина — так оно и есть. И этим я активно пользовался.

Казалось бы, заинтересовались нашими исследованиями и “наверху”, в ЦК. Позвонил Косолапов Ричард Иванович, в то время (1967 год) инструктор отдела пропаганды: “Владимир Эммануилович, вот вы, значит, проводите исследования. Мы хотели бы вас послушать”. Я сказал: “С большим удовольствием”. Вообще внимание Центрального Комитета для меня было важным — всегда это было признаком какой-то безопасности. “Вам позвонят из Новосибирского обкома, скажут обо всех деталях” и так далее. Проходит день, два, три, четыре, а никто не



звонит. Только потом Василий Давыдченков мне объяснил, что произошло. Они позвонили в обком и спросили: “Какой номер партийного билета Шляпентоха?” Когда узнали, что номера вообще нет, они немедленно забыли о приглашении, вместо меня поехал Давыдченков, он щадил мое самолюбие и потому ничего мне не сказал.

Чтобы закончить эту линию, нужно сказать: к концу 1969 — началу 1970 годов у меня в руках была политическая информация совершенно бесценного характера — данные об опросах читателей “Правды”, “Известий”, “Литературной газеты”, “Труда”. Конечно, с учетом ограничений того времени. Я лучше, чем кто-либо в стране, знал, что думают советские люди. Так получилось. И я ни разу, никогда не был приглашен в Центральный Комитет с каким-нибудь докладом. Меня, автора, который знал все детали, мог рассказать тысячу разных вещей, никто не считал нужным (или возможным?) выслушать. Вот что такое советская система, социология печати и так далее.

Когда я уезжал из страны, в моем доме был огромный уникальный архив. Никому это не было интересно. Я хотел даже отдать его КГБ (шучу!), лишь бы кто-то им воспользовался. Но никому это не было нужно. Никому.

В Америке на одной из своих первых лекций по советской социологии я объяснял гражданам разных ведомств, включая министерство обороны, ЦРУ и прочее, что советское правительство, советское руководство социологией мало интересуется и даже всячески ей мешает. После лекции подошел ко мне какой-то большой человек и сказал: “Доктор Шляпентох, что за странные вещи вы говорите? Руководство страны не заинтересовано в получении информации о том, что происходит в обществе? Этого не может быть. Это же в его интересах — иметь такую информацию”. А я ему сказал: “Видите ли, если у руководителя американской корпорации дела идут из рук вон плохо, то захочет ли он финансировать исследования, которые расскажут, сколь плохо идут дела в корпорации? В интересах ли это руководителя? Такая информация может попасть в руки его политических противников и других. Поэтому он разумно рассуждает: “Лучше мне без этой информации обойтись. Я потеряю меньше, нежели если ее использую”.

— *А насколько была востребована полученная вами информация самими газетами? В какой мере оказалась полез-*

*ной, повлияла на их содержательный уровень, рост тиражей и так далее?*

— По сути, по большому счету газеты интересовались ею умеренно. Кто-то где-то написал, что мы своими исследованиями СМИ повысили тираж одной газеты в пять раз. Какая чушь, какой вздор! Ничего этого не было. Для газеты наше исследование было прежде всего символом того, что она тоже прогрессивна.

Но были и результаты, которые в газетах, несомненно, восприняли. Пожалуй, одним из самых сенсационных стало мнение читателей о передовых статьях “Правды”.

— *Что их никто не читает?*

— Вот это была глубокая ошибка. Их читали, и в первую очередь. И не только партийные работники. Это были инструкции, руководство. Сами журналисты “Правды” презирали эти передовые. Во всех газетах презирали партийный идеологический материал и считали, что так же к нему относятся и читатели... Ну, сколько процентов читает передовую: пять, десять — больше никто в нашем экспертном журналистском опросе не называл. А оказалось, что частично или полностью их читало процентов восемьдесят читателей “Правды”. Потому что это же “дух”, позиция руководства страны на сегодняшний день.

Как-то я был в семье знакомых — преподавателей-обществоведов. Он сидел и читал материалы съезда партии. У него было пять цветных карандашей. И каждый использовался для того, чтобы выявить какие-то партийные позиции по разным вопросам. Это у нас был высший уровень чтения газеты. А “Правду” читало все руководство, на всех уровнях бюрократической иерархии. Одна из замечательных особенностей советской системы в том, что в ней была масса маленьких начальников. Она культивировала маленьких начальников, вручая огромному количеству людей какой-либо элемент власти над другими людьми. Пусть человек даже будет агитатором — он уже приобретал какой-то маленький рычаг воздействия на других людей. Это было мощным цементирующим фактором системы. И “Правда”, ее передовая статья были тут очень важны.

Что выявилось еще? Это интерес к международной информации. Он был большим и в значительной степени определялся тем, что жизнь внутри страны была скучной и писали о ней скучно, а в международной жизни что-то происходило.

— А как в отношении восприятия аналитических материалов, скажем, по экономической проблематике?

— По-моему, тогда их читали мало. Даже в “Литературной газете”. Всюду вышли на первый план моральные проблемы. Проблемы человека. Это давало пищу для ума.

— Где-то в середине вашего большого исследования случился 1968 год. Отразились каким-то образом события в Чехословакии на читательской аудитории? Или ваши исследования не смогли это зафиксировать?

— Что мы выяснили тогда? Что интеллигенция в основном была либерально настроена. Исследование по “Литературной газете”, с учетом ее аудитории, особенно это выявило: 70 процентов интеллигенции было “за социализм с человеческим лицом”. Сомнений тут не возникало. Мы же придумали вопрос, которым я хвастался потом в Америке. Нельзя было спросить: “Что вы думаете о социализме и капитализме?” и так далее. Поэтому мы спросили: “Каких современных авторов вы любите? Каких не любите? Назовите последние произведения, которые вам понравились”. Затем мы предполагали каким-то образом определить, какова позиция названных авторов. У меня даже был специальный разговор с Чаковским: “Александр Борисович, создайте экспертную комиссию, и пусть ваши писатели определяют позицию автора”. Чаковский понял, что это “западня”, что политический аспект я решил “взвалить” на него: дадут они ту или иную политическую оценку, а мы потом это используем. И отказался. Он сказал: “Владимир Эммануилович, делайте, что хотите, но этим здесь заниматься не будем”. Тогда мы прибегли к другому варианту. Почти все произведения современных писателей публиковались вначале в толстых журналах. В каком именно? В “Новом мире”, “Октябре”, “Иностранной литературе”, в “Юности” или где-то еще? Преимущество “Нового мира” в опросе читателей “Литературной газеты” было бесспорным. А “Новый мир” был своего рода символом. Для определения его позиции не надо было никаких специальных исследований. Твардовский был сторонником “социализма с человеческим лицом”, и журнал был таков. И либеральная ориентация интеллигенции была однозначна. Как говорится, это “документировано”. Сторонников сталинизма, типа проповедовавшего в “Октябре”, было мало, просто очень мало: соотношение один примерно к десяти.

Ответы на вопрос “Каких современных писателей вы больше всего цените?” выявили трех таких авторов — Симонова, Булгакова, Солженицына (соответственно — “Живые и мертвые”, “Мастер и Маргарита”, рассказы и “Один день Ивана Денисовича”). Мы, конечно, по-человечески обрадовались, что в число лидеров вышел и Солженицын. Для меня он был великий человек. Тогда, в 1968 году, я был страстным его поклонником. Но “Литературной газете” это явно осложнило жизнь. К тому времени Солженицын уже вошел в конфликт с властью, началась его переписка, затем — изгнание из Союза. О публикации наших данных уже и речи быть не могло. В “Литературке” были и довольно циничные люди, они хотели “усечь” Солженицына. Мы сказали категорическое “нет”...

Но в моей группе, в Новосибирске, работал человек по фамилии Гольденберг, филолог, пользовавшийся бесконечной любовью и всех наших сотрудников, и своих учеников. Я подозреваю, что он тогда участвовал в протестных акциях. Во всяком случае, стало проблематичным допустить Гольденберга к кодированию наших материалов. И, по-моему, мы этого уже не делали, что вызвало возмущение в кругах Академгородка. Помню, меня обвиняли Бог знает в чем — что я не проявил твердости, мужества и так далее. Но вообще, моя причастность к диссидентскому движению (даже косвенная) означала бы сильный удар по легитимности проводимых исследований. Даже по всей социологии — мы же были в таком хрупком состоянии. Короче говоря, я, видимо, не был чрезмерно мужественным в этот период. Уступил. Так или иначе, однако, судя по всему, Гольденберг передал результаты нашего опроса за рубеж, и они появились в “Unita”. Меня вызывает Сырокомский, тогда заместитель главного редактора “Литературки”: “Посылаю за вами машину”. Я понял, что и почему. Машина едет в редакцию, причем мимо Лубянки. Думаю, а может — на Лубянку? Но она все-таки свернула, отправилась на Цветной бульвар. А Сырокомскому, видимо, нужна была “галочка”. Он: “Ну, вы знаете?” — “Слышал”. — “Откуда?” Я, между прочим, не знал, как попали эти данные. Но они попали, что, конечно, было и доказательством того, насколько Солженицын стал тогда популярен. Так что в этом отношении наши исследования прямо участвовали и в той политической борьбе, которая развернулась в 1968–1969 годах. Главным образом, по линии литературной критики.

— Когда вы приступали к тем “газетным” исследованиям, Владимир Эммануилович, в чем состоял ваш собственный научный интерес?

— Это были первые общенациональные исследования в стране. Первые по серьезной выборке. Конечно, пионером в изучении общественного мнения был Грушин, в этом нет никакого сомнения. Он зачинатель этого дела. Но первая всесоюзная научная выборка была применена в нашем исследовании. И Борис Андреевич не будет этого отрицать.

Я понимал, что представлял интересы всей социологии. Мы резко поднимали ее статус. Центральные газеты и, следовательно, Центральный Комитет партии просил нас провести исследования. Мы, таким образом, как бы включались в большую политику, практическую политику, мы как бы могли помогать...

— *Управлять обществом?*

— Да, между прочим, присутствовал и этот не то чтобы гнусный, но малосимпатичный, с позиции современного общества, элемент социологии. Ведь все мы, даже я, беспартийный, не говоря уже о Грушине, Шубкине, Ядове, Здравомысловом, — все мы хотели помочь партии эффективно управлять обществом.

— *Газеты тоже.*

— Так оно было. Когда я недавно выступал в Кембридже, меня спрашивали: “Вот вы говорите, что советская система спокойно существовала к 1985 году, никаких серьезных проблем у нее не было — а как же диссиденты? Вы сами, доктор Шляпентох?” Какая чушь! Какой я диссидент? Уж я-то точно с советской системой не боролся. Даже такие люди, как Солженицын и Буковский, никакого особенного вреда принести ей не могли. Я уж не стал им говорить (это было бы слишком), что мы не только не воевали с системой — мы хотели ее модернизировать, усовершенствовать.

Как мы были непроницаемы! Я хорошо помню: мы летели с Карпинским из Академгородка в Москву летом 1968 года (он был у нас) и рассуждали о чешских событиях. Все газеты писали, что в Чехословакии хотят реставрации капитализма — один из лозунгов официальной пропаганды. А мы сидели с Леном и возмущались: “Какая чушь! Как можно восстановить частную собственность? Нам голову морочат! Это же невозможно. Как вот немецкий реваншизм. Это баловство”. Что значит

мышление тех времен! Вот вам два неглупых человека — и что они думали летом 1968 года. Фантазия наша не работала никоим образом...

Ну, а возвращаясь к тому, в чем состоял мой собственный научный интерес, коротко можно сказать: мы действительно могли научиться на этих исследованиях методике социологических исследований. Я тут развернулся в полной мере, потому что в газетах готовы были пойти навстречу всем нашим пожеланиям. Что только я не придумывал! Были почтовая анкета и интервью. Мы изучали читателей у стендов, опрашивали экспертов, меняли порядок вопросов в анкете, соотношение открытых и закрытых вопросов. Впервые включили в выборку случайную выборку. По почтовым отделениям составили список подписчиков. Были специальные анкеты для покупателей газет. Покупатели, подписчики, почтовые анкеты большие, почтовые малые — все это очень важно для достоверной выборки. Конечно, был и анализ писем — этим занимался Давыдченков. То есть мы “переоткрыли” все, придумали велосипед заново. Это было масштабное исследование — у нас в Новосибирске в нем участвовали десятки людей. Когда проводили опрос по газете “Правда”, привлекали партийные организации. Анкету для читателей “Труда” нарисовал мой друг, художник. Это была анкета с картинками.

— *Она потом вошла в учебники.*

— Серьезно? Надо ему сказать. В общем, для социологов это был праздник души. В 1976 году мы провели для “Правды” опрос жителей страны — уже не читателей, а жителей страны — и тем самым, можно сказать, окончательно “застолбили” нашу методику. Мы настолько продвинулись в этом деле, что когда я приехал в Америку, в профессиональном отношении я чувствовал себя уверенно. Вы понимаете, что значит в пятьдесят три года начинать профессиональную жизнь в другой стране. Сильное было испытание для меня. Приехал (это был 1979 год), и через несколько месяцев — моя большая пресс-конференция в Нью-Йорке. Пришли представители всех газет. Видимо, им было интересно услышать, что может сказать о социологии этот “дикарь” с востока. Я это сразу почувствовал. И вместе с тем я понял, что американцы — люди очень самокритичные. Вот такое сочетание: самонадеянность, самоуверенность уживаются с элементами мазохизма, самокритики. Такая специфическая культура. На той пресс-конференции настроенность была

вполне определенной — ну, что там, мол, за социология, что вы умеете... А я утверждал, что советские социологи по составлению анкет на голову выше; в наших условиях узнать политические и другие настроения людей очень непросто, поэтому приходится быть виртуозами. Ко мне подошел потом один наш эмигрант: “Ты в этой стране, считай, два дня, у тебя нет работы. Как ты можешь их ругать?” Однако моя стратегия оказалась правильной. Через два дня вышла “New York Times” с моим портретом и заголовком: “Советский социолог считает, что в СССР социология лучше”.

— *Владимир Эммануилович, ваши исследования, как вы сами отметили, выявили либеральную настроенность людей, в частности интеллигенции. Означало ли это некую подготовку сознания к восприятию необходимости реформ, и более того — не на этой ли основе и возникла будущая “перестройка”?*

— На мой взгляд, интеллигенция никакого отношения к началу перестройки не имеет. Никакого. Это иллюзия.

— *Но почему вдруг появился Горбачев?*

— О, это вопрос! Горбачев никакого отношения ни к Солженицыну, ни к Сахарову не имеет.

— *Почему именно к Солженицыну и Сахарову?*

— А кто же мог “расшатать” Горбачева? Что могло на него повлиять, какой механизм? Я же социолог и утверждаю, что когда Михаил Сергеевич пришел к власти, у него было ноль контактов с так называемой либеральной интеллигенцией. Он ее не читал.

— *Но в таком случае — что значит “либеральная интеллигенция”? Вы туда включаете только диссидентские круги?*

— А какие другие? Но оставим диссидентов. Давайте я вам коротко повторю свою “теорию Горбачева”.

Горбачев — партийный человек, который мало чем отличался от своих коллег. Нормальный “продукт” партийной системы. Он не мог бы добраться до этих вершин, если бы где-то дал либеральную слабину. Система жестоко отрезала каждого, кто отклонялся от стандарта (в этом смысле она была эффективная система). Он добрался. В той среде были какие-то элементы в пользу реформ, экономических, например, но не имевших никакого отношения к политике, идеологии. Тогда, в 1986 году, Горбачев был абсолютно нормальным лидером с абсолютно со-

ветской идеологией. Он созывает совещание “стахановцев” и говорит слова, которые вполне могли быть опубликованы в 1935 году — как плохо гнаться за “длинным рублем”, как важны моральные патриотические стимулы. Эта эмпирика показывает: сознание в 1986 году было стерильным в отношении свобод, либеральных реформ и так далее.

Вообще-то говоря, Горбачев был приведен к власти вовсе не для либерализации страны, не для “перестройки”. Политбюро за него голосовало, КГБ его поддерживало, армия его поддерживала только для того, чтобы он мог усилить военный потенциал страны. Доказательство: та же эмпирика. Программой Горбачева было “ускорение технологического прогресса”. Так это же очень важно! У Дубчека, скажем, была широкая либеральная программа. У Горбачева ее не было. Он пришел к власти как представитель военно-промышленного комплекса, армии, КГБ, ЦК для восстановления военного паритета с Америкой, который зашатался из-за рейгановских “звездных войн”. Он зовет Аганбегяна и разрабатывает “экономическое ускорение”. Интеллигенция молчала. Не верила, когда Горбачев объявлял, что хочет каких-то реформ. Она его боялась как огня, видела в нем чуть ли не провокатора — так было в 1985–1986 годах. Горбачев толкал советскую интеллигенцию, а не наоборот. Чтобы ускорить экономический прогресс в стране, нужно привлечь к этому массы, интеллигенцию; если соединить социализм с большим участием масс, эффект будет грандиозным — такова была его замечательная идея. Я ничего не имею против, но никакого отношения это к интеллигенции 60-х годов не имеет... Настоящей революцией для него стали поездки за рубеж и беседы с Яковлевым, который несколько лет был послом в Канаде.

А дальше — уже логика “перестройки”. Экономического прогресса не получилось, прямо-таки наоборот — экономика начала расшатываться. Потому что ослабили контроль государства, роль партии, а данная экономика привыкла действовать в таких-то рамках. Система была ведь очень продумана, по-своему хорошо организована. Если вы начинаете ее “трогать”, не очень осторожно реформировать — ничего хорошего для этой системы не получится. Так и вышло. И решено было что-то делать уже в области политики...

— *Значит, мы должны согласиться, что тогда, в 60-е годы, либерально настроенная пресса отнюдь не влияла на общественные настроения?*



— Ну, почему? В тот период пресса сумела в общем-то действовать развитию либеральных настроений в стране. Конечно, в той мере, в какой это позволяла партия. У вас как-то невольно получается, что некую самостоятельную роль тогда играло общество. А было ли общество? Для меня понятие “общество” звучит как-то фальшиво. Были население страны, его отдельные группы, интеллигенция, массы. Вот это для меня реальные понятия, имеющие отношение к тому периоду. Скажите, какое влияние вы оказали на серьезное решение правительства, руководства страны?

— *Возможно, следует говорить о влиянии на формирование системы ценностей...*

— Верно, но, между прочим, это большой-большой вопрос, потому что мы видим, как велика сегодня в России популярность советских ценностей. Фантастическая популярность: по всем опросам общественного мнения две трети — за социализм. Конечно, среди этих “двух третей” больше старых, чем молодых. И тем не менее.

К 1985 году большинство населения страны верило в преимущества планового хозяйства, общественной собственности на средства производства, верило в культурное, моральное превосходство Советского Союза над Западом. Глубоко верило, было глубоко патриотично и вполне искренне поддерживало внешнюю политику советского правительства. Даже Афганистан. Так что ничего мы с вами тогда не достигли. И, с моей точки зрения, никакого влияния на дальнейший ход событий не имели. Пришел в руководство страны новый человек — а о том, что было далее, мы уже говорили.

— *Владимир Эммануилович, а не есть ли это уже ваш сегодняшний взгляд — сегодняшними глазами на ту действительность? Причем человека, уже смотрящего со стороны и на другое общество?*

— Вы абсолютно правы. Опасность этого существует, конечно. То, что мы сейчас обсуждаем, — интересный, драматический вопрос. Это для фильма, для пьесы. Вот мы видели с женой в Лондоне замечательную пьесу Фрайена “Копенгаген”: разговоры Гейзенберга и Нильса Бора в 1941 году. Речь о том, что Гейзенберг, который был руководителем атомной программы Германии, не сумел создать бомбу. Не мог как физик или не хотел, потому что боялся? Вот вопрос. Так или иначе, но какими-то действиями он парализовал ту программу. И ни сам Гей-

зенберг, ни другие не могут понять: какие были у него мотивы и что в итоге из этого получилось. Очень интересно. Пьеса о неопределенности мотивов. Никто не знает мотивы людей, общества и так далее.

Что получилось у нас, какая у нас драма для пьесы? Драма такова: сидят интеллигенты и думают — какую роль они сыграли в тех процессах, которые произошли в стране? Мы — социологи, журналисты — печатали в прессе всякие там статьи с подтекстом...

— *Кстати, вы же тогда активно публиковались, и ведь был мотив печатать свои статьи?*

— Конечно. Во-первых, тщеславие, которое всегда присутствует. Ну и — принести пользу, внести вклад в либеральное дело. Мы не могли бы работать, если бы не думали, что это на пользу. И не только думали — мы считали себя, так сказать, бойцами фронта. И когда я уезжал, мой друг был горячим противником отъезда. Он говорил (да и не только он): “Ты покидаешь линию фронта. Ты — дезертир!” Я ему что-то отвечал довольно жестко...

Все это было, не отрицаю. Я очень гордился, скажем, своей статьей “Послевкусие” — была у меня такая свободомыслящая статья, все удивлялись, как это ее опубликовали. Я охотно печатался в “Литературной газете”, других изданиях, собирал, кстати, огромные аудитории, когда рассказывал о наших исследованиях — словно тенор. А вот в той нашей пьесе скажу: “А никакого влияния на 1985 год все это не оказало”. Это будет не совсем точно. На самом деле все пришло в движение — но уже потом, в 1987–1988 годах, когда Горбачев наконец-то убедил интеллигенцию, что действительно что-то хочет сделать в области политики, идеологии и так далее. Вот тогда была мобилизация, тогда появились “прорабы перестройки”. До этого они молчали, в крайнем случае — печатали либеральненькие, скромненькие статьи. Все изменилось с появлением “Детей Арбата”. Вот тогда все поняли. Вот тогда начался кумулятивный процесс.

— *Вам, видимо, ближе проблематика гуманитарно-правозащитная, скажем так, нежели социально-экономическая?*

— Но видите ли, в чем дело. Даже в брежневские времена экономические дискуссии допускались. И даже в брежневские времена функционировал ЦЭМИ. Но они были абсолютно бесполезны. Это вода в песок. Они не оказали никакого влияния на дальнейшие события.

Конечно, все получалось не так, как мы ожидали. Такова жизнь вообще, и все в ней есть.

— *Владимир Эммануилович, а вы следите за нашей современной прессой?*

— Я и выписываю газеты, и читаю их внимательно. Печально, что пресса оказалась под контролем олигархов. Такое циничное, грубое влияние денег. Это горестный факт.

— *На ваш взгляд, у нее есть будущее?*

— Это опять-таки зависит от общего политического процесса в стране. Действительно печально, что прежде чем прочитать статью, ты должен думать над тем, кто контролирует эту газету (в Америке у тебя нет такого ощущения). Хотя плюрализм, тем не менее, существует. Газеты всегда ценны аналитическими материалами, мнением журналистов, мнением авторов. И все разговоры о том, что в скором будущем их неминуемо вытеснят телевидение, Интернет, я считаю несерьезными. Во всем мире газеты нужны, а в России вдруг они перестанут быть нужными. Несерьезно.

1968–1972

И.И. Виноградов

## “Это был единственный легальный оппозиционный журнал”

— Игорь Иванович, в 60-е годы вы работали в “Новом мире”, были членом его редколлегии, хорошо знали Твардовского. Что, на ваш взгляд, тогда отличало журнал, выделяло среди других? По какому принципу складывался круг писателей, печатавшихся в “Новом мире”?

— В сущности, это был единственный легальный оппозиционный журнал, что сильно отличало его, скажем, от тех известных оппозиционных журналов XIX века, с которыми “Новый мир” часто сравнивали — от “Современника”, “Отечественных записок”, журналов Писарева и так далее. При всех цензурных тяготах, на которые жаловались наши предшественники, их положение все же было неизмеримо легче. Существовало несколько журналов, не было той монополии на “оппозиционность”, той “единственности”, исключительности, которая тяжелым бременем легла на наш журнал. В какой-то мере к “Новому миру” примыкала “Юность”, но это был все-таки несколько иной уровень. “Новый мир” пользовался репутацией самого престижного, располагавшего широким общественным признанием оппозиционного журнала, который хотя и был официально разрешен, но постоянно преследовался. Просто авторитет Твардовского, авторитет журнала были настолько велики, что не так легко оказалось с ними справиться — а сделать это пытались всеми способами. Поэтому он был и оставался основной “щелью” для свободного или полусвободного слова, и все более или менее оппозиционное, либеральное, демократическое, всякая вольная, ищущая мысль, естественно, в эту “щель” устремлялись.

Спектр был очень широк. В журнал шли люди очень разных взглядов, подавляющее большинство — социалистически ориентированных, светско-гуманистических, может быть, в чем-то даже активно атеистических. Но были люди и религиозно настроенные (хотя тогда это никак не афишировалось), и люди, доста-

точно скептически относившиеся к социализму, к возможности построения социалистического общества и тоже, как правило, не спешившие афишировать, раскрывать свои позиции. Поэтому и литература достаточно свободного мышления — художественного и понятийного, — либеральная, демократическая литература, конечно, устремлялась в “Новый мир”. Не случайно все значительные произведения 50–60-х годов, за очень редким исключением, прошли через “Новый мир”. Поток был постоянным, конкуренция — очень большая, напечататься в журнале было почетно.

— *И чему при этом отдавалось предпочтение: идейной направленности, содержанию произведений или форме, высокому качеству литературы?*

— Естественно, что в этом общем широком потоке демократически ориентированной литературы предпочтение отдавалось художественным качествам. “Новый мир” всегда держал очень высокую планку. Напечататься в журнале было престижно и потому, что это означало не просто признание определенной порядочности автора, но и его художественной значимости. Поэтому нельзя сказать, что здесь было преобладающим. И то, и другое, хотя с какими-то исключениями. Скажем, “Новый мир” напечатал Катаева, человека достаточно официозного, — но именно тогда, когда он стал в своей прозе все-таки пытаться выйти за пределы официозности. И это, несомненно, была литература высокого качества. Поэтому я и говорю — и то, и другое. Не было такого, чтобы ради “идейных”, острых вещей поступались художественными требованиями. Какие-то границы, колебания были, литературный процесс не создает каждый год шедевр — они довольно редки. Но общий уровень литературы был достаточно высок.

Почему, скажем, литература официозная, казенная, секретарская и всякая прочая не проникала в журнал, а для авторов этого типа он был так ненавистен? Потому, что им никогда не “светило” появиться на страницах “Нового мира”. И не только по идейным соображениям: это была — почти без всяких исключений — и художественно достаточно низкопробная литература. Кочетов, скажем, к нам прийти не мог. Это совершенно понятно.

Я говорю в основном о прозе и поэзии, даже больше о прозе. С поэзией дело было сложнее, потому что Твардовский сам был поэт и, как всякий большой мастер, с достаточно субъективными представлениями о поэзии. Он был гораздо шире в

прозе, просто очень широк, а в поэзии больше ориентировался на литературу гражданской, некрасовской традиции. Поэтому поэзия у нас была представлена несколько “обуженно”. Хотя мы печатали и Пастернака, и Ахматову, но — всегда как бы чуть-чуть через силу...

Что же касается публицистики и критики, интеллектуальных отделов журнала, то тут ситуация была несколько иная, чем с художественной литературой. Авторы и этих разделов тоже шли к нам, естественно, сами, но гораздо бóльшую роль здесь играл уже непосредственно журнал. Тут мы имели возможность в какой-то мере формировать то, что хотели. Хотя, совершенно естественно, инициатива исходила и от того круга авторов, который мы знали, который был близок “Новому миру”. Здесь уже был не просто стихийный поток, откуда мы отбирали (как с литературой), а сформированный поток. Была определенная программа, позиция журнала, мы знали, о чем надо писать, что заказывать и так далее.

— *“Новый мир” тех лет действительно создавал вокруг себя особый, собственный мир идей и людей — авторов и читателей. Понятно, что он трудно вписывался в ту реальность и существование его не было легким. Но во имя чего, Игорь Иванович? К чему вы стремились, что хотели донести до читателя? Как представлялось новомировцам, и прежде всего Твардовскому, будущее нашего общества?*

— Если говорить о типовом характере позиций самой редакции, редколлегии, ведущего круга авторов, которые делали “Новый мир”, то это была ориентация, названная потом “социализмом с человеческим лицом”. Это совершенно очевидно. “Новый мир” как журнал правды в период оттепели, когда впервые родилась широкая общественная потребность и появилась возможность разобраться во всем том, что произошло в сталинские времена и так далее, когда общество проснулось от спячки или от искусственного сна, в который было погружено, — это был прежде всего журнал отчетливой критической настроенности по отношению не только к прошлому, но и к настоящему, которое хотя как будто бы и отгалкивало Сталина, но структурно, типологически было, в сущности, продолжением прежней системы. В этом смысле “Новый мир” почти никогда в течение всей оттепели не чувствовал себя в фарватере власти — даже когда Хрущев разрешил опубликовать “Один день Ивана Денисовича”. Казалось бы, Твардовский и на съезде партии выступал, и вообще был как бы приглублен — а между тем мы понимали

и он понимал, что на самом деле здесь есть внутренняя чужеродность, глубинное оппозиционное противостояние существующей власти, режиму.

Но во имя чего? В самой редколлегии были очень разные люди, представлявшие различные оттенки этого “социализма с человеческим лицом”. Одно дело, скажем, сам Твардовский, который был довольно убежденным коммунистом, или Дементьев, его первый заместитель в середине 60-х, — люди старой закалки, достаточно традиционной ориентации. Твардовский был человеком, постоянно развивающимся в своем критическом отношении к действительности, что сказалось, в частности, и в его взаимоотношениях с Солженицыным. Тем не менее он до конца оставался человеком, верующим и в идеалы социализма, и в возможность построения в рамках существующей советской системы такого демократического социалистического общества, где будет подлинное народовластие. Форма всегда была такая: “Я говорю здесь, в кабинете, все то, что могу сказать на Красной площади, в ЦК, в Кремле”. И это действительно было так, что, кстати, было и его слабостью, и его силой. Слабостью — потому что выхода за пределы этой утопии для него не существовало. А силой — потому что была возможность абсолютно искренне говорить с любой властью на языке, понятном и для нее, то есть на языке марксизма, социализма.

Ну, а что касается людей типа, скажем, Буртина, который практически вел отдел публицистики (хотя официально его возглавлял Марьямов), или меня самого, то мы были в смысле политических ориентаций более “продвинутые”. Я, например, воспринимал XX съезд, уже понимая, что начинается большая политическая игра, и не очень верил в подлинность каких-либо хрущевских демократических устремлений. Я понимал, что началась партийная борьба за власть, которая вовсе не приведет к кардинальной смене режима, и что время оттепели нужно поэтому использовать прежде всего для того, чтобы попытаться как можно больше сказать правды и о недавнем прошлом, и о настоящем, раздвинуть рамки гласности, расширить возможности для гражданской инициативы в обществе и так далее. Ни я, ни Буртин не верили в социалистические убеждения людей, которые были у власти (разговаривать с ними на одном языке мы не только не могли — для нас это было просто невозможно). Тем не менее мы тоже ориентировались на то, что в принципе возможно построение “социализма с человеческим ли-



цом”. Повторю, тут были очень разные градации, но в принципе мы стремились именно к этому.

— *Сознавалась ли тогда — хотя бы в виде сомнений — утопичность такой цели-мечты?*

— Думаю, очень немногими. Во всяком случае, таких прямых разговоров не было. Было критическое (в разной степени) отношение к прошлому — к революции, к Ленину. Одни еще оставались ленинцами. А, скажем, тот же Буртин, я и некоторые другие с этими иллюзиями покончили уже где-то к началу 60-х годов, понимая, что произошедшее при Сталине есть, в общем, прямое продолжение, порождение того, что делал Ленин. А Ленин — это Маркс и так далее. Социализм в нашем представлении уже не ассоциировался с марксизмом. Скорее, это была ориентация на социал-демократию западного типа. Но эта ориентация была, и была вера, что в принципе процветающее демократическое социалистическое общество можно построить. Если говорить обо мне, то на самом деле подлинное понимание принципиальной утопичности социалистической идеи пришло только с перестройкой. Ведь именно идеи 60-х годов начали, как известно, перестройку — и вот крах перестройки, очень быстрый крах (с гласностью многое открылось!), реально показал, где уязвимое место этой идеологии.

Тогда, в 60-е годы, мы не звали читателя к бунту, не выступали с какой-то революционной политической программой. Этого не было. Было что? Утверждение идеалов правды, справедливости, человечности — с попыткой показать, что всего этого в нашем обществе нет. Крестьяне — не хозяева своего труда, своей земли (об этом очень много писалось в так называемой деревенской прозе). Рабочий класс — тоже никакой не хозяин. И вот из констатации отрицательных реалий, то есть несоответствия официально провозглашенных идеалов действительности возникло представление о том, а что же нужно. Именно тогда на страницах “Нового мира” начали уже говорить и о рыночной экономике, и о частной собственности как одной из возможных форм собственности при общегосударственном регулировании. То есть складывалось понимание того, что в обществе — не говоря уже о политической структуре и так далее — можно вносить какие-то экономические либеральные начала. Это было утопично, потому что в общем-то социализм несовместим с либерализмом. Тут надо выбирать — либо то, либо другое. Но тогда это еще не понималось, тогда представлялось, что возможен путь их некоего соединения, гибридности.

Кстати, если говорить об эволюции взглядов, то Буртин, насколько я понимаю, в какой-то мере потом вернулся к утопиям того времени.

— Кажется, что не только он...

— Действительно, не только он, потому что мы в итоге имеем хищнический номенклатурно-мафиозный капитализм (иного, видимо, и не могло быть после семидесяти лет господства большевиков). И поэтому опять представляется, что нужно каким-то образом совместить жесткое государственное регулирование, элементы социалистического распределительного подхода к жизни и рыночное хозяйство, рыночную экономику. К тому-де подталкивает опыт последних лет. Но я лично считаю это абсолютно неверным. Наша беда — и беда неизбежная — в том, что у нас не было, в сущности, либеральных реформ. На деле то, что проводилось, и было как раз полусоциалистическим, псевдолиберальным реформированием. Действительно *либеральная* реформа, если бы только она оказалась возможна сегодня в нашей стране (почему невозможна — это другой вопрос), стала бы “русским экономическим чудом”, о котором, безусловно, заговорил бы весь мир. Но для этого нужна была политическая сила, слой людей, которые сумели бы ее провести хотя бы в качестве реформы сверху. И это требовало действительно сильной государственной власти (не социалистической), потому что либерализм и либеральная экономика немыслимы без очень жесткого соблюдения законов, очень большой ответственности государства за экономику — при невмешательстве его в экономику, но при очень строгом надзоре за правилами экономической игры, которые надо соблюдать. У нас же все совершенно наоборот. И вот людей, закваска которых происходила в 60-е годы, на идеях того времени, теперь эта нынешняя реальность в какой-то мере и возвращает к тем годам, к утопиям тех лет...

— *С точки зрения представлений (мечты, утопии) того времени интересно взглянуть на отношения Твардовского и Солженицына. Они ведь были весьма непростыми?*

— Я не думаю, что для них определяющим было расхождение по такой линии — или социализм, или капитализм. То есть, что Твардовский был убежденным социалистом, идеал которого — “социализм с человеческим лицом”, а вот Солженицын... Думаю, что это не так, и, кстати, я вовсе не уверен, что Солженицын в то время был таким уж ярким антисоциалистом. Хотя в своих формулах он был достаточно осторожен. Во вся-

ком случае, общения на эту тему — в тех пределах, что доступны были, в частности, мне — не происходило. Кстати, в “Раковом корпусе” эта тема у него затронута. Там герои спорят, и один из них выдвигает формулу *нравственного социализма*. Но все-таки — социализма. Так что взгляды их здесь в какой-то степени и смыкались, и мне кажется, вовсе не это было принципиальным моментом, из-за которого происходили трения. Солженицын — антимарксист, это безусловно. Человек, религиозно ориентированный уже в то время (хотя здесь у него тоже были сложности, я думаю). И, конечно, он понимал, откуда идет зараза, обескровившая Россию, в гораздо большей мере, чем Твардовский. Твардовский еще питался какими-то иллюзиями. Для него существовали идеалы — марксизма, ленинизма и так далее. Он видел перерождение власти и все прочее, но это не было еще столь категорическим неприятием реальности, какое было у Солженицына. Он не был готов на такую борьбу с режимом — бескомпромиссную, жесткую, настоящую войну. Ему казалось, еще можно что-то переделать, как-то повлиять. А Солженицын вел себя как человек, уже прошедший соответствующие университеты — и тюремный, и лагерный, каторжный. Поэтому он не был вполне откровенен, в том числе и с Твардовским (все это написано в его книге “Бодалес теленок с дубом”). Правда, Солженицын в какой-то мере переменил свое отношение, свое понимание тогдашней ситуации и позднее признал, что Твардовский был во многом более прав, чем ему казалось раньше.

Что же касается Твардовского — то для него “Новый мир” был настолько его жизнью, его детищем, он относился к журналу, к литературе с такой любовью и преданностью, что при этом уже как бы не существовало собственного “я”, существовала лишь отданность идее, делу, тому, что любишь. И это доходило до того, что к тем писателям, которых Твардовский открывал, приводил на страницы “Нового мира”, он относился чуть ли не как к своим детям. А это, в свою очередь, порождало и некое ожидание ответной реакции, ответной близости, открытости, единомыслия. Что было свойственно ему в силу определенной романтичности — в какой-то мере даже и прекраснодушия.

— *Он ведь был поэт...*

— Да, и поэт. Хотя тут все сложнее, конечно, но это так, несомненно. А люди-то разные, писатели разные, ориентации разные. Происходили разочарования, конфликты. Я просто сам

все это наблюдал, и работая в “Новом мире”, и раньше, пока был просто автором журнала. Так, и с Некрасовым был такой конфликт, и со многими другими — когда писатель вдруг почему-либо “взбрыкивал”, не желая ходить на том поводочке, на котором ненасильно, любовно, но все же как бы хотел водить его Твардовский. И конечно, когда Солженицын забрал рукопись своего романа “В круге первом” из сейфа “Нового мира”, когда произошел арест его архива, это очень расстроило Твардовского. Твардовский начал понимать, что Солженицын чего-то не говорит, что у него какие-то другие замыслы... Но все-таки это всегда были взаимоотношения очень крупных людей, крепкие и требовательные. И у меня было такое ощущение, что Твардовский где-то идет навстречу Солженицыну. Но вот смерть это прервала. Ведь Твардовский очень быстро сгорел — как только кончился его “Новый мир”.

*— Игорь Иванович, а не стоит ли за этими непростыми отношениями и такая проблема: что продуктивнее — компромисс и легальная возможность влиять на настроенность людей или бескомпромиссность, мешающая реализовать эту возможность?*

— Такая проблема в принципе существует, но она, как и все сложные проблемы, никогда не решается категорически и односторонне. Бывают ситуации, когда компромисс существен. Бывают ситуации, когда он невозможен, нужно выступать категорически и прямо. В 1968 году люди, которые вышли на Красную площадь, по-моему, были гораздо более правы, чем те, кто, идя на определенный компромисс, попытались “сохранить” журнал. С другой стороны, не будь компромисса, ориентации на легальное существование, на влияние на широкого читателя — не было бы и Солженицына как общественного явления. Как бы он стал известен читателю? Как бы приобрел тот авторитет, который он приобрел? Это все-таки заслуга Твардовского. “Новый мир” открыл “Ивана Денисовича”, “пробил” через Хрущева. Как угодно, но только благодаря тому, что существовал легальный журнал, существовала возможность компромисса, Солженицын приобрел имя, которое позволило ему, кстати, укрепиться в своей позиции уже и собственного гражданского, одиночного противостояния всему режиму, дало возможность бросить этому режиму вызов. Как бы он его бросил, если бы был никому не известен? А когда у него уже слава, тем более — Нобелевская премия и все прочее, — тогда попробуй с ним справиться. Тогда он мог себе позволить уже те акции, которые

действительно себе позволял. Так что это тоже взошло на тех же дрожжах — дрожжах легальности. Поэтому я не стал бы отвечать на такой вопрос решительно и прямолинейно.

— *Игорь Иванович, а насколько существенным было то влияние на читателей, о котором мы говорим? Как вы вообще могли бы охарактеризовать степень и масштаб влияния “Нового мира” тех лет на общественное сознание?*

— Я считаю, что они действительно были очень значительны. У Жореса Медведева есть книжка, которую он выпустил в Лондоне, — “Десять лет после Ивана Денисовича” (могу ошибиться в названии). Она как раз посвящена “Новому миру”, эпохе “Нового мира”. Так вот, очень многие тоже характеризовали этот период — с 1958 по 1969 годы — именно как эпоху “Нового мира”. Журнал действительно сформировал сознание интеллигенции, в широком смысле слова — оппозиционной. Поддержка с ее стороны была очень большой, писем шло огромное количество, “обратная связь” была постоянной — уже по этим вещам можно судить о степени влияния. Не просто потому, что нам так казалось или хотелось — были и реальные, так сказать, доказательства. То оппозиционное демократическое сознание, которое было свойственно советской интеллигенции и дало в 70-е годы “московские кухни”, — это продукт и результат существования “Нового мира”. И то, что потом, в 80–90-е годы, началась перестройка. Она началась, конечно, не потому, что существовал “Новый мир”. Но то, что она развивалась в русле именно тех идей, которые были для нее характерны, — это, безусловно, прямое следствие работы “Нового мира”. Кстати, и крах этих идей, обнаружение их утопичности в известной мере тоже можно считать поэтому обнаружением некой утопичности и того, за что боролся “Новый мир”.

Однако в том потоке идей, который ассоциируется у нас с понятием “социализм с человеческим лицом”, было ведь и рациональное зерно, было очень много важного. Поэтому, если говорить о нравственных и социальных идеалах, об исходных критериях, которые отстаивал “Новый мир”, то они-то остались как раз в очень большой мере непоколебленными. Другое дело, как их осуществлять. Ошибка была в конструировании практической программы, которая призвана была, думалось, осуществлять эти идеалы, реализовать эти критерии. Но ведь, как правило, так всегда и бывает — без заблуждений и ошибок не обходится ни одно общественное движение, даже если оно вдохновляется самыми возвышенными и безусловными целями.

Так что я думаю, если эпоха перестройки тоже осталась в нашем сознании не просто как некий крах, но и как эпоха в общем-то пробуждения широкого общественного энтузиазма, каких-то гражданских инициатив, надежд, устремлений — это тоже можно назвать теми всходами, теми ростками, что “пестовал” “Новый мир”. А то, что это оборвалось, — что ж, надо искать причины. Но это не значит, что сами по себе эти устремления, эта романтика — плохо. Наоборот, только на такой волне широкого демократического энтузиазма что-то и могло бы произойти.

Характерно, что ведь и Горбачев — тоже человек, в известной мере воспитанный на идеалах “Нового мира”. И парадокс заключается в том, что история выбрала для разрушения социалистической системы человека, убежденного, что социализм — это хорошо, что стоит только сделать ему прививку демократии, развить гласность, инициативу, как он проявит свою настоящую силу... На самом же деле — все это вещи, абсолютно противоположные социализму.

— *В 60-е годы особую роль в журнале, в его “идейной” работе, играли публицистика и критика, в свою очередь, поднимавшаяся до высокого публицистического уровня. Вы тогда ведь заведовали отделом критики?*

— Не сразу. Я пришел в “Новый мир” в качестве критика в 1958 году — со вторым приходом в журнал Твардовского (первый, как известно, был до 1954 года). А в 1965 году Твардовский пригласил меня в состав редколлегии, и в первый год я возглавлял отдел прозы. А отдел критики я вел следующие пять лет — до разгрома журнала.

— *И как бы вы охарактеризовали эту сферу деятельности журнала? Что было в ней традиционного (для российской литературы) и что нового, злободневного?*

— Критика и публицистика действительно играли в журнале особую роль, и критика действительно поднималась до высокого публицистического уровня. И это, пожалуй, можно рассматривать как закономерность.

Напомню в этой связи, что уже в перестроечные годы — но еще в старом “Литературном обозрении” — прошла любопытная дискуссия по поводу критики. И я тогда написал статью “Перед лицом неба и земли”, где позволил себе некоторую полемику со статьей Буртина (опубликованной, по-моему, в “Октябре”), в которой он утверждал, что нам необходима “реальная критика”. Беда-де в том, что в нашей критике нет Добро-

любова. Нужно возрождение традиций Добролюбова, “реальной критики”, которая как раз и является публицистической критикой, будучи основана на принципе: не так важно то, что хотел сказать автор, как то, что сказалось им, ибо наша задача судить на материале литературы о самой жизни.

Публицистика на литературном материале — этот жанр всегда становится господствующим именно тогда, когда действуют существенные цензурные ограничения, когда прямая публицистика, прямое свободное слово невозможны, когда свободная мысль ищет выхода в каких-то иных формах. Используя литературный материал, образы литературных героев, проще говорить о каких-то острых проблемах жизни, чем обращаясь непосредственно к самой реальности. Поэтому и в наши 60-е годы, когда возникла такая же ситуация, как в 60-е годы XIX века, — “реальная критика” была ведущим жанром. Во всяком случае, в “Новом мире” критика была в основном такая. Это была прежде всего “реальная критика” — в традициях Добролюбова. И это тогда было совершенно оправданно (хотя одновременно существовала и критика, так сказать, непосредственно эстетической ориентации).

Мой спор с Буртиным возник как раз потому, что он хотел как бы продолжить эту традицию и в перестроечные времена, тогда как, на мой взгляд, ситуация изменилась кардинально. Была введена гласность, появились действительно какие-то демократические свободы, и критика получила поэтому другие возможности своего развития. Правда, впоследствии они не реализовались, но это уже другой вопрос. Потребность же быть публицистикой у критики с тех пор пропала — и пропала закономерно.

Так вот — тогда, в 60-е, это была действительно публицистическая критика, и на очень высоком уровне. Ведущим критиком журнала был, конечно, Лакшин — он был наиболее близок к Твардовскому и наиболее точно выражал его ориентацию. Но в том же жанре “реальной критики” писали и другие. Буртин, Светов, Кардин, Турков, Золотусский, Игорь Дедков (первую его статью в “Новом мире” я напечатал как раз о “деревенской прозе”, о “Привычном деле” Белова). Все это ведущие критики того времени — и все они были у нас. Как и публицисты — Лацис, Черниченко, Лисичкин, Водолазов, Хорос и другие.

— *Тогда в этом качестве — критиков и публицистов — в “Новом мире” выступали и многие известные ученые, в частности социологи. Чья это была инициатива?*

— Думаю, что взаимная. Буртин, во всяком случае, безусловно испытывал к этому большой интерес, считал “привлечение науки” очень важным моментом. Мы же ведь стремились к тому, чтобы говорить правду. А правда всегда имеет некий исследовательский привкус, она всегда интересна для ученых, аналитиков. И наука на сухом языке цифр иногда говорила такие вещи, которые в жанре более эмоциональной публицистики не очень удается сказать.

— *И все это вы прямо связываете с личностью главного редактора?*

— В огромной степени. Ведь редактор подбирает себе команду. Всегда.

— *И у вас сложилась такая команда?*

— Безусловно. Была команда единомышленников в широком смысле этого слова — разумеется, при определенных внутренних расхождениях, которые, конечно, создавали свои сложности. И тем не менее — все-таки команда единомышленников. Понимаете, ведь иначе и быть не могло, потому что где проходила граница? У нас была общая демократическая ориентация, и мы противостояли тому, что нас окружало.

— *Вы, команда единомышленников, работали на своих же единомышленников, интеллигенцию, или на все население?*

— Мы, естественно, работали на то население, которое нас читало. Читала интеллигенция. Не в кастовом, социально-групповом смысле слова, потому что и рабочие читали, и крестьяне — то есть люди развитые, “читающая публика”. Это общество, общественное мнение. Это был наш читатель, наш “электорат”, и мы работали на них. В какой мере они были нашими единомышленниками? Одни больше, другие меньше, третьи, может быть, пошли даже и дальше нас. Но мы все время давали им какой-то материал для размышления, для раздумий.

— *Игорь Иванович, а вы считаете себя шестидесятником?*

— А как же! Почему же нет?

— *Очень уж по-разному сейчас это трактуется.*

— Почему я считаю себя шестидесятником? Года два назад “Континент” и Фонд Тарковского провели такие чтения — “Шестидесятые и шестидесятники”. Правда, материалы так и не удалось опубликовать, лежат до сих пор у меня, записанные на магнитофон. А жаль — там выступали многие очень интересные люди из бывших шестидесятников. Так вот — что считать принципиальным для этого понятия? В те годы все наше поко-



ление оказалось — ходом истории — поставлено перед определенными вопросами: вот кончилась сталинская эпоха, и теперь нужно разобраться, что же это такое было, как к этому относиться. Что такое социализм? Как быть с марксизмом? Что мы получили в результате революции 1917 года? И так далее и тому подобное. То есть проблемы, вставшие перед страной, были тогда общими для всех. В этом смысле и Кочетов — тоже шестидесятник, все люди, пытавшиеся найти ответы на вопросы 60-х годов — шестидесятники в некотором итоговом смысле слова. В том смысле, что люди действительно отвечали на одни и те же вопросы — хотя отвечали по-разному и развивались потом по-разному. Но то время на всех наложило свой отпечаток. Понимаете, другие эпохи — не переломные, не такие исторически рубежные и потому не так определяют состав поколения, хотя чисто возрастные рамки у нашего поколения были очень разные. Скажем, Нилин, замечательный писатель, знаменитый автор 60-х годов, был в достаточно зрелом возрасте, когда стал именно Нилиным. До 60-х он писал иначе. То же и с Дорощем.

— *Но если Кочетов — тоже шестидесятник, отчего тогда было столь резкое противостояние ваших журналов — “Нового мира” и “Октября”?*

— Все-таки, говоря о шестидесятниках, конечно, имеют в виду прежде всего тот слой демократически ориентированных, проснувшихся к гражданскому творчеству людей, который был связан с идеологией “социализма с человеческим лицом”, а не консерваторов. Так что я причисляю Кочетова к шестидесятникам просто в более широком проблемном плане. Поскольку он отвечал на те же вопросы, что и мы, — только отрицательно, со знаком “минус”. Так что он тоже всецело варился в этой каше “шестидесятничества”. Заметьте к тому же, что и Кочетов, и Кожевников, и другие реакционеры 60-х годов, хотя и состояли при власти, которая их лелеяла, все же были нередко действительно убежденными идеологами реакции. И в этом смысле они отличались от того же Брежнева и всей правящей камарильи, которые уже ни во что не верили, были просто барами — скажем так. А Кочетов был идейным защитником сталинщины. Поэтому с самого начала — во всяком случае, с приходом туда Кочетова — “Октябрь” и оказался главным органом тогдашней постсталинской идеологии.

— *И здесь — личность главного редактора? А вы у себя в журнале чувствовали, что у вас есть постоянный оппонент в лице “Октября”? Как это ощущалось?*

— Они же все время о нас писали. Все время нас поносили. На всех совещаниях, писательских союзах и так далее старались с “Новым миром” разделаться. Как мы могли этого не ощущать? Ощущали постоянно. Каждый раз, когда приходил новый номер “Октября”, мы заранее знали — что-нибудь там будет. Потом это знаменитое письмо, которое многие считают одной из причин, сигналом к роспуску “Нового мира” — там же значились и подписи работников “Октября”, его авторов. Это было серьезное противостояние именно партийно-номенклатурной литературы, идеологов этой литературы, идеологов режима, которые в литературной сфере сосредоточились прежде всего вокруг “Октября”. Травля “Нового мира” шла и через “Огонек”, и через “Знамя” (правда, в меньшей мере). Но через “Октябрь” и через “Огонек” — постоянно. До конца существования “Нового мира”.

— *Концом вы считаете 1970 год?*

— Да. Практически, конечно. Где-то в декабре 1969 года в ЦК партии было принято решение об изгнании, исключении четырех членов редколлегии. Это были Сац, Кондратович, Лакшин и я — из-за чего и начался кризис. Твардовский немедленно написал заявление об уходе, потому что согласиться с этим не мог. Ему навязывали новую редколлегию — бог знает кого...

— *Это было каким-то образом связано с чешскими событиями?*

— Нет. Это не было непосредственно связано. Ведь чехи — 1968 год, август. Полтора года прошло. Но, конечно, именно в августе 1968-го стало ясно, что все плохо кончится. У нас даже были разногласия по этому поводу. Твардовский и Леонов отказались подписывать какие бы то ни было тексты, связанные с поддержкой вторжения в Чехословакию. Но Твардовского в это время не было в редакции. А между тем журнал попал в очень сложную ситуацию. По всем редакциям проводили тогда собрания коллективов, которые должны были поддержать ввод войск. Я выступил на редколлегии и сказал, что, на мой взгляд, лучше погибать, но погибать с честью (потому что все равно “Новому миру” в общем-то конец). Нельзя вставать на колени. Тем не менее большинство со мной не согласилось, собрание было проведено, и “Новый мир” вошел в ряды коллективов, поддержавших ввод советских танков в Чехословакию. Ну, а через полтора года действительно все кончилось. Заявление Твардовского долго лежало на столе у Брежнева, написал он его в феврале 1970 года. И — все.

— *Игорь Иванович, а что вы могли бы сказать о “Новом мире” после Твардовского?*

— Я бы не стал давать какие-то однозначные оценки. Сложная была ситуация. Развернулась достаточно большая полемика среди бывших членов редколлегии, произошел даже определенный раскол. Скажем, Лакшин, Кондратович считали, что после разгрома “Нового мира” нужно всем авторам и сотрудникам отсюда уходить. А какие-то редакционные работники полагали, что это неправильно, нужно пытаться продолжать, оставаясь в журнале, дело “Нового мира”. Там были своя правда и своя неправда и с той, и с другой стороны. Тот самый вопрос — о компромиссе. Конечно, было бы замечательно, если бы все объявили как бы бойкот новому “Новому миру” и ушли оттуда. А писатели пишут. И если человек пишет что-то значительное, может быть, важно все-таки, чтобы это значительное появилось, продолжалось в литературе, чтобы уж не совсем все было плохо. Поэтому многие оставались в “Новом мире” — при всем сожалении о том, что произошло, при всем том, что это были люди, преданные идеалам, которые отстаивались “Новым миром” Твардовского. Журнал уже не мог иметь того влияния, но традиционно продолжал оставаться первым журналом страны — со своей историей, престижем, славой...

— *И с обложкой...*

— Да, и с обложкой. Люди как-то предпочитали печататься там. Уровень, конечно, упал, публиковалось много всякой ерунды. И конечно, это был уже абсолютно “просоветский” журнал. Тем не менее, повторю, уровнем немного повыше, чем остальные. Все 70-е годы там печатался Трифонов. Лучшая литература по-прежнему, традиционно, пыталась идти через “Новый мир”.

С началом перестройки журнал возглавил Залыгин. Он меня пригласил. Мы пришли вместе со Стреляным, а через год ушли. Было ощущение, что журнал делает крен в правую сторону, становясь “культурным” “Нашим современником”. Ну, и слишком уж некий “МХАТ” главный редактор хотел устроить из этого “Нового мира”, уводя его в сторону от проблем, которые были тогда остро актуальны. Тем не менее “Новый мир” эпохи Залыгина тоже что-то положительное, мне кажется, сделал. Хорошо, что напечатали Солженицына...

Что сейчас представляет из себя “Новый мир”, я не очень могу комментировать и даже не хочу.

— *Вы возглавляете сейчас журнал “Континент”. Это ваш выбор или так сложились обстоятельства?*

— Когда произошли все эти исторические события в России, Владимир Максимов понял, что издавать “Континент” в Париже потеряло смысл. Стало ясно, что журнал надо переводить сюда. Он попросил меня принять здесь редакторство. Я долго колебался, но потом решил, что журнал с такой традицией, такой известностью, с такими заслугами жалко потерять. Просто дать ему умереть. Вот мы и попытались уже в Москве что-то предпринять, чтобы он существовал. Мне кажется, в принципе это удалось, потому что какое-то свое лицо журнал приобрел. Выходит четыре раза в год, рассылается по российским библиотекам, продолжается достаточно значительная зарубежная подписка. Я занимаюсь журналом с 1992 года, знаю, что мне нужно делать, хотя это дается очень нелегко — может быть, труднее, чем раньше... Но ощущения потерянности у меня во всяком случае нет.

— *Как вам вспоминается период работы в “Новом мире”?*

— Хорошее, интересное было время. Но знаете, я всегда живу настоящим, для меня всякое время интересное. Многие сказали бы, что это было лучшее время в их жизни. Нет, лучшее время в моей жизни сейчас, всегда сейчас.

— *Игорь Иванович, а что вы могли бы сказать сейчас о том широком круге демократической ориентации, который сложился в свое время вокруг “Нового мира”?*

— С ним произошло то же, что с поколением 70–80-х годов. Пока все сидели на кухнях — все были братья и сестры, все были как бы едины. А как только появилась возможность свободного самоопределения, самоидентификации, все бывшие диссиденты, или оппозиционеры, или единомышленники распозлились и переругались. Что типично для интеллигенции. Но это типично и для ситуации, потому что в ситуации несвободы объединение происходит против общего врага, против этой несвободы; в условиях же свободы размежевание более четкое, мировоззренческое, более узкое и так далее. Оно, несомненно, произошло, и это хорошо. Но и плохо. Противостояние общему врагу было справедливым, благородным, ибо враг был действительно враг. Необходимость такого противостояния породила чувство ответственности, и потому было не так-то просто идти, например, на компромиссы с властью. Голос совести был значимо слышен. Были точки отсчета. А сейчас произошло смешение всех принципов, критериев, идеалов, и очень немногие нащупывают те ориентиры, при которых можно говорить о гражданской порядочности человека. Они в общем-то

ведь такие же, какими были в те же 60-е годы — это ориентиры, связанные с чувством ответственности перед страной, перед людьми, перед нацией. Но тогда их было достаточно легко найти. Было понятно, что интересы народа не там, где интересы власти. А где интересы народа сейчас? Тоже ведь не там, где у власти. Но где именно?

Я считаю, что путь гражданской самоорганизации общества (и интеллигенции в том числе) — единственный путь, на котором может произойти действительное становление новой демократической России. Но для нас такой путь, по сути, даже не начинался — как вообще не начиналось еще реальное становление гражданского общества. Это наша самая большая проблема. И я считаю, что роль интеллигенции в этом плане сейчас даже возрастает — как роль некоего духовного ядра нации. В ситуации разброда вступление на такой путь труднее, и пока слишком мало сил и людей, которые на это способны.

В этом ракурсе я вижу и будущее “толстых” журналов (если вернуться непосредственно к теме нашего разговора). Нас, думаю, ждут еще многие перепады, как и общество в целом. Но жизнь продолжается. А она не может продолжаться, если в ней нет каких-то живых потоков, одним из которых является поток интеллектуальной, нравственной, духовной жизни, осуществляемой прежде всего через интеллигенцию, через культуру. Культура же не может существовать только за счет глянцевого журналов. Значит, должны быть и серьезная литература, и серьезная печать. В этом смысле, я думаю, “толстые” журналы и есть тот самый канал общения читателя с культурой, который, будучи традиционен для России, никогда не будет ею отвергнут.

И.С. Кон

## “Каждая новая публикация поднимала планку возможного”

— *В годы, о которых мы сейчас говорим, вы, Игорь Семенович, были широко известны как автор книг и статей, связанных с проблемами личности, молодежи и так далее. Почему именно эта тема вышла тогда на первый план? И какую роль тут играла печать?*

— Моя важнейшая работа по теории личности и вообще, как я считаю, моя самая важная — с точки зрения ее социального воздействия — книга “Социология личности” была написана в 1967 году на основе факультативного курса лекций, прочитанных в Ленинградском университете. Первый раз я прочитал его в 1964 году на физическом факультете — просто чтобы проверить, могут ли высокомерные физики, интеллектуальная элита университета, заинтересоваться гуманитарными сюжетами. Не было никакой агитации — обычный листок-объявление с перечнем тем. Аудитория на двести человек была полна, контакт со слушателями был сказочным. В 1966 году, уже после снятия Хрущева, я рискнул повторить этот опыт, не меняя взятого тона, уже в общеуниверситетском масштабе. Опять тот же эффект: в огромную аудиторию вместо пятисот человек набивалось свыше тысячи, люди заранее (часа за два) занимали места, среди слушателей были не только студенты, но и профессора, стояла абсолютная тишина, так как зал не был радиофицирован — это одно из самых сильных впечатлений моей жизни.

Было ли это моей личной заслугой? Конечно, нет. Студенческая молодежь середины 60-х (и, несомненно, не только она) страстно жаждала информации о себе и о своем обществе. Для нее все было внове. Ассортимент духовной пищи в СССР был так же беден, как и пищи материальной. Если полистать “Социологию личности” сегодня, то, наверное, сложно понять, почему эта небольшая и в общем-то поверхностная книжка имела читательский успех и повлияла на профессиональный выбор и даже судьбу некоторых людей. Но суть в том, что личность,

которая в сталинские времена трактовалась как винтик государственной машины, вдруг представляла здесь как положительное, творческое начало. Прямо и жестко ставилась проблема конформизма и личной социальной ответственности. Индивидуальное самосознание, которое многие, даже хорошие, психологи считали сомнительным и опасным “ячеством” и “копанием в себе”, оказалось необходимым элементом самореализации. В книге позитивно излагались ролевая теория личности, фрейдовское учение о защитных механизмах и многие другие “западные” идеи — из тех, что считались запретными и “буржуазными”, или просто малоизвестные.

— *Это были, скорее, задачи просвещения?*

— Возможно, и так. В книге не было действительной социальной программы освобождения личности и преодоления отчуждения, которой люди ждали. Нет, эти вопросы были только обозначены. Развивая идеи “гуманного социализма”, я не знал, как их можно осуществить и реальны ли они вообще. Трагические социально-политические коллизии переводились в более гладкую и безопасную плоскость социальной психологии и этики. Моя книга, надеюсь, стимулировала критическое размышление, но в ней явно не говорилось о том, что делать. Я сам этого не знал. Да если бы и знал — наверное, побоялся бы сказать.

— *Вам не кажется, Игорь Семенович, что это было вообще характерно для печатных выступлений тех лет?*

— Да, социальные проблемы рассматривались преимущественно в нравственном ключе, в чем, конечно, была большая доза наивности и даже лицемерия. Это значило, повторю, что практического решения социальных проблем автор не знает или не смеет прямо о них сказать. По мере того как противоречия советского общества становились все более острыми и очевидными, такой подход стал вызывать раздражение и неудовлетворенность. В этом — один из источников популярности ранней советской социологии. Но на первом этапе в нем была сильная струя социального критицизма. Люди выражали таким образом свою неудовлетворенность жизнью и потребность в чем-то лучше. Личные проблемы становились сначала нравственными, а затем и социальными.

Каждая более или менее свежая газетная или журнальная статья стимулировала следующую. Это был постепенный, но закономерный процесс, где за одним шагом неизбежно следовал другой, а зигзаги в политике партии, пытавшейся затормозить его и взять назад сделанные однажды уступки, только уси-

ливали раздражение, подводя к мысли, что с этим режимом “каши все равно не сварить” и нужны более радикальные меры. Во всяком случае, так было со мной. Социально-политическая рефлексия пришла позже.

— *Вы серьезно занимались научными исследованиями. Отчего возникла потребность в публикациях для широкой аудитории? Что вам казалось важным до нее донести?*

— Надо сказать, что такая потребность возникла не вдруг. Я начал печататься в массовой прессе еще в 50-х годах. В 60-х это стало систематическим занятием. Писал в молодежные газеты, затем в “Литературную газету”, “Известия”. С публикации в двух номерах “Известий” (21 и 26 августа 1965 года) статьи “Что значит найти себя?”, в сущности, и началась моя широкая — и не только профессиональная — известность.

Пресса была тогда очень важна. Иностранная газета была нам недоступна, западное радио приходилось слушать через глушилки. Да и дело было не в информации, а в том, какие вопросы и с какой степенью откровенности можно было обсуждать публично. Газеты и журналы были связаны жесткими рамками официальной идеологии, но многие из них пытались расширять границы дозволенного. Каждая новая публикация поднимала планку возможного не только для автора, но и для читателей.

Иногда в газете или литературном журнале можно было сказать больше, чем в профессиональном издании. Бдительные коллеги были страшнее редакторов. Большинство доносов шло именно с их стороны.

Когда в конце 60-х годов я стал заниматься проблемами западного студенчества, я заранее (на основе личного опыта) рассчитывал, куда что нельзя давать. В “Вопросах философии” теоретические рассуждения о студенчестве как социальной группе пройдут беспрепятственно, зато сведения о том, что средний американец учится дольше своего советского ровесника, неизбежно вызовут скандал (“этого не может быть, автор идет на поводу у буржуазной пропаганды”). В журнале “США: экономика, политика, идеология” эти цифры не только не вызовут нареканий, но кто-то из членов редколлегии еще подскажет, что они устарели, разница стала больше. Зато там никто не поймет, что такое “маргинальная группа” (или, еще хуже, увяжет это понятие с “марджинальной теорией стоимости”). Массовые издания в эти тонкости не вникали, и иногда там удавалось опубликовать нечто такое, что в “научном” журнале от-



клонили бы уже на дальних подступах. Но там надо было писать по-человечески, чего большинство ученых-обществоведов не умело.

Степень либерализма разных печатных органов менялась в зависимости от общей идеологической обстановки и особенностей главного редактора. Какое-то время самым либеральным органом печати считалась “Литературка”. Роль ее была двойственной: во внешнеполитической пропаганде она должна была выступать как агрессивная “шавка”, за которую партия якобы не отвечала; за это во внутренних вопросах ей позволяли выступать более раскованно — поэтому ее и читала вся интеллигенция.

Однако степень риска всегда была высокой, и тут очень многое зависело от редактора. Я с благодарностью вспоминаю Валентину Филипповну Елисееву (позже она работала в “Новом мире”), опубликовавшую фрагмент из “Социологии личности”, статью “Свобода личности и конформизм” (“Литературная газета”, 1967, № 17), которая вызвала негодование некоторых наших психологов, боявшихся этой проблемы. Очень много сделал для пропаганды социологии Анатолий Захарович Рубинов. Все “старые” авторы “Литературки”, думаю, благодарны первому заместителю главного редактора Виталию Александровичу Сырокомскому, под прикрытием и при поддержке которого проходили все сколько-нибудь острые материалы. Его сила была не только в смелости, но и в понимании проблем. Когда, например, в 1970 году я начал большое эмпирическое исследование юношеской дружбы и негде было достать на него ничтожные по тем временам деньги (и ЦК ВЛКСМ, и министерство просвещения, к которым я обращался за помощью и которые, по идее, были заинтересованы в этой работе, мне отказали), выручил Сырокомский — за право газеты первой опубликовать результаты исследования, которые были достаточно интересными не только для профессионалов.

Для осмысления социологических данных о динамике брака и семьи много сделала в “Неделе” Елена Романовна Мушкина; позже туда перешел работать и Сырокомский.

Никакой особой политической “крамолы” ученые в газеты не протаскивали — это было невозможно. Но в подцензурной печати почти все было запретным, читатель был благодарен за малейшее живое слово, а для автора это была полезная школа если не литературного мастерства, то хотя бы элементарной вразумительности, в отличие от официального “канцелярита”. Отрешиться от “канцелярита” было трудно, но если это однаж-

ды удавалось, человек уже не мог писать по-старому, и от этого выигрывали все.

На мой взгляд, значение лучших газетных публикаций тех лет было не столько в их политическом подтексте, который больше напоминал “кукиш в кармане”, сколько в некотором “очеловечивании” официальной идеологии. Вместо всеподавляющей “коммунистической идейности” философы, социологи, писатели и журналисты стали писать о человеческих проблемах — любви, семье, дружбе, смысле жизни, нравственном поиске и тому подобном. “Человеческий фактор” не только завоевал право на существование, но и стал постепенно теснить политический, расчищая почву для новых раздумий и безответных вопросов. Потом, спустя годы, по поводу “человеческого фактора” много иронизировали и даже выражали возмущение, но в свое время это была важная ниша, относительно автономная от политики. Если угодно, это был один из аспектов перехода от тоталитаризма к авторитаризму.

— *В какой мере, Игорь Семенович, ваши собственные публикации инициировались редакциями или провоцировались статьями других авторов?*

— Как правило, я писал только по просьбе соответствующих редакций. Но тематика была продуктом моего внутреннего интеллектуального развития. Просто по заказу я писать не умею. При этом внутренняя взаимосвязь моих интересов часто оставалась мне непонятной и прояснялась лишь ретроспективно.

— *Вы много печатались в “Новом мире”. Видимо, ему вы отводили особую роль. Почему?*

— Я считаю, сотрудничество с “Новым миром” Твардовского имело для моего интеллектуального и нравственного развития решающее значение. Я очень любил этот журнал, читал его насквозь — сначала рецензии, потом публицистику, потом все остальное. Если что-то не нравилось или казалось неинтересным, все равно читал — уважение к журналу было настолько велико, что казалось невозможным, чтобы он что-то напечатал “просто так”. Такого чувства я никогда не испытывал ни к одному изданию.

Публикация в “Новом мире” неизбежно осложняла жизнь автора, власти автоматически зачисляли его в разряд если не реальных, то потенциальных диссидентов. Зато она чрезвычайно повышала самоуважение: ты сумел написать хорошую статью (а “Новый мир” — это как “знак качества”) и не побоялся ее напечатать! Переоценить это чувство просто невозможно.

То, что я писал до середины 60-х годов, было более или менее профессионально, но безлично. “Новый мир” позволил мне в какой-то степени преодолеть эту отчужденность, выйти на темы, которые были для меня не только социально, но и лично значимы.

В те годы в советском обществе уже отчетливо проступали тенденции, которые в дальнейшем неминуемо должны были привести его к краху, в частности, аппаратно-бюрократический антиинтеллектуализм и кризис в межнациональных отношениях. Не было речи о том, чтобы обсуждать эти вопросы напрямую, но это можно было сделать на зарубежном материале. Если я писал об американской интеллигенции, то действительно изучал (насколько это было возможно в Ленинграде) американскую ситуацию, а для статьи “Диалектика развития наций” пришлось перелопатить массу канадских, бельгийских, французских и иных источников. Однако меня интересовали не локальные, а общие, глобальные проблемы.

Мое сотрудничество с “Новым миром” началось со статьи “Психология предрассудка” (1966), где я попытался рассмотреть вопрос о природе, социальных истоках и психологических механизмах антисемитизма и вообще этнических предрассудков. Еврейский вопрос и проблема социальных корней антисемитизма волновали меня давно. Мое происхождение — смешанное, фифти-фифти, но и по паспорту, и по воспитанию я был стопроцентно русским, даже православным. Ничего еврейского в нашем доме не было. До самой войны я, в сущности, ничего не знал о евреях. Знал, например, что мой ближайший друг Борис Крайчик — еврей и что его бабушка разделяет “трефное” и “кошерное”, но все это не имело ни малейшего значения. В нашей школе такой “проблемы” не было. Впервые я столкнулся с антисемитизмом в эвакуации, во время войны, и с тех пор он сопровождал меня всю жизнь. Собственно говоря, именно антисемитизм сделал меня евреем, хотя, разумеется, неполноценным.

Очень долго я не хотел верить, что в СССР может быть государственный антисемитизм. Много раз сам сталкивался с дискриминацией, тем не менее пытался для себя ее как-то оправдать, найти “рациональные” основания. После оголтелой кампании против космополитизма (1949) и особенно “дела врачей” (1953) сомневаться уже не приходилось, но ни писать, ни говорить об этом вслух никто не смел.

Толчком к этому послужило для меня участие в подготовке несостоявшегося идеологического пленума ЦК в 1956 году.

Когда мы сдавали Константинову (тогда заведомо пропаганды) подготовленные материалы, Момджян вдруг спросил: “А с антисемитизмом мы будем бороться? Сколько может продолжаться это безобразие?” На что Константинов, сам не любивший антисемитов, ответил: “Конечно!” Воспользовавшись случаем, я предложил подготовить и прислать в ЦК свои соображения и получил согласие.

Поработав несколько недель, я написал десяти- или пятнадцатистраничные тезисы и послал их на имя Константинова. Тезисы были плохие, чисто ассимиляторские, к идее автономной еврейской культуры я относился скептически. Тем не менее я искренне пытался разобраться в том, что такое “еврейский вопрос” и как преодолеть антисемитизм. Никакого ответа из ЦК, разумеется, не было, при встрече Константинов сказал, что ставить эти вопросы “пока несвоевременно”.

Казалось бы, следовало на этом и закончить. Но у меня есть одна психологическая особенность: я никогда не бросаю надежды начатую работу. Заинтересовавшись еврейским вопросом теоретически, я стал читать специальную литературу, особенно социально-психологическую. Десять лет спустя после первого старта, когда, помня об успехе моей первой статьи, “Известия” попросили дать им что-то не менее интересное, я предложил прочитать для сотрудников редакции лекцию “Психология предрассудка. Социальная психология этнических предрассудков”, застенографировать ее и затем подготовить на этой основе статью. Редакция согласилась. Слушали меня очень хорошо и внимательно, возражений не высказывали, но к вопросу о публикации не возвращались.

Через некоторое время я повторил этот опыт, выступив с пленарным докладом на большой всесоюзной конференции в Алма-Ате. Результат тот же (было несколько антисемитских записок, но руководители конференции промолчали).

Тогда я предложил “Новому миру” прочитать выправленную известинскую стенограмму, чтобы затем подготовить на ее основе статью. Мне сразу же сказали “да”, сделали замечания, и я написал статью. Оказалось, что редакция сама хотела предложить мне сотрудничество, а проблема антисемитизма ее весьма волновала. Я хотел стилистически еще поработать над статьей, но Твардовский не стал откладывать.

После этого я стал печататься в “Новом мире” регулярно. В “Размышлениях об американской интеллигенции” (1968) шел разговор о взаимоотношениях интеллектуалов и аппарата

власти, а примыкающие к этой статье работы о западном студенчестве помогли становлению советской социологии молодежи, разработке проблемы поколений, возрастных категорий и так далее. В статье “Диалектика развития наций” (1970) ставился под сомнение популярный в те годы (и не только в марксистской литературе) тезис, что национальные движения — удел преимущественно “третьего мира”, прослеживалась закономерность роста национализма в индустриально-развитых странах, отмечались некоторые его особенности. Это имело прямое отношение к тому, что подспудно назревало и у нас. Статьи о национальном характере способствовали прояснению теоретико-методологических основ будущей отечественной этнопсихологии. “Люди и роли” (1970) на несколько лет предвосхищали мою дальнейшую работу по проблемам человеческого “я”.

Впервые в жизни я имел дело с редакцией, которая не смягчала острые места, а старалась довести статью до максимального уровня, как с точки зрения авторских возможностей, так и цензурных условий. Без купюр и подстраховки, разумеется, не обходилось, но обычной перестраховки не было. Я готов был рисковать неприятностями ради идеи, но был бы очень огорчен, если бы поводом для скандала послужила просто небрежная, непродуманная формулировка. Кстати, потом, уже в других изданиях, если какая-то статья проходила без купюр, я не радовался, а считал это доказательством того, что статья написана ниже возможного уровня.

Сотрудничество с “Новым миром” — самая важная часть моей научно-литературной деятельности. Не случайно в сборник своих избранных сочинений “Социологическая психология” я включил почти все новомировские статьи и ни одной — из научных журналов.

— *Вы печатались и в других “толстых” журналах?*

— Я регулярно печатался (с 1966 года) в “Иностранной литературе”. Разумеется, это был не “Новый мир”, но нечто серьезное и общеинтересное там можно было сказать. Именно там я опубликовал свою первую статью о национальном характере (1968), статью “Секс, общество, культура” (1970).

— *Читатели каким-то образом откликались на ваши выступления? Вы, например, получали от них письма — не просто с восклицаниями, а и с размышлениями о жизни?*

— Отклик был широкий и самый разный. Звонили по телефону, поздравляли при встречах — это, как правило, знакомые и коллеги. А во многих библиотеках “Психология предрассуд-

ка” и другие статьи из журналов были вырезаны (не цензурой — читателями). Самым лестным откликом на “Размышления об американской интеллигенции” было то, что статью дважды процитировал в своей первой политической книге Андрей Дмитриевич Сахаров. После этого в ЦК меня даже спрашивали, не общались ли мы по поводу “крамольных идей”, но на самом деле они знали, что мы с ним никогда не встречались.

Однажды в Ленинграде я получил письмо от молодого читателя по имени Алексей Пуртов, который писал, что за его критическое отношение к действительности КГБ приклеивает ему психиатрический диагноз, и просил о встрече. Это в равной мере могло быть как правдой, так и провокацией. Вопреки здравому смыслу я назначил юноше встречу на улице у Казанского собора. Он показался мне нормальным, но наивным. Он просил у меня адрес Сахарова, чтобы включиться в правозащитную деятельность. Допуская возможность звукозаписи, я не стал обсуждать с ним политические проблемы, а адреса Сахарова у меня и правда не было. Кроме того, я сказал парню, что он многим рискует. Если его уже предупреждали, то на следующем этапе он может оказаться в “психушке” или в лагере. Через несколько месяцев или через год я получил от него открытку, отправленную из какого-то казахстанского лагеря, с несколькими словами: “Игорь Семенович, вы были правы”. Больше я о нем ничего не слышал. По сегодняшним меркам мое поведение выглядит трусливым. Но тогда все было иначе. Имели место, конечно, соображения личной безопасности, но, помимо того, я никогда не считал возможным подвергать молодых людей риску, на который сам не отваживался.

А вообще писем было мало, отчасти потому, что люди боялись писать (если бы посторонний человек вдруг стал делиться со мной соображениями о переустройстве общества, я счел бы это кагэбэшной провокацией), но в особенности потому, что все мы предпочитаем писать ругательные, а не одобрительные письма. Иногда это даже становилось для журнала проблемой. Сотрудники “Нового мира” говорили с досадой, что в ЦК и другие инстанции поступают целые горы ругательных писем, а журналу нечего им противопоставить, хотя интеллигенция его поддерживает.

Оставляя в стороне содержательную сторону дела, нужно отметить, что сотрудничество ученых-обществоведов в прессе, в “толстых” журналах (этим занимались в те годы многие) означало рождение нового жанра — философско-социологичес-

кой публицистики. При этом подцензурная печать порождала свою особую стилистику и эстетику соотношения текста и подтекста. Расшифровка “эзопова языка” создавала у автора и читателя чувство особой общности, приобщенности к некоторой тайне. Хотя люди не надеялись на реальные социальные перемены, сама возможность подумать создавала принципиально иной стиль жизни. Правда, иногда эта общность была иллюзорной, многие читатели, как и цензура, толковали “неконтролируемый подтекст” (официальная формула цензурного ведомства) произвольно.

Для современного читателя, не знающего ни подтекста, ни контекста ушедшей эпохи, эти ассоциации безнадежно утрачены. Да и кому какое дело, что “на самом деле” хотел сказать автор и как его воспринимали современники? Хотя для истории это существенно. Например, “Размышления об американской интеллигенции” были написаны под влиянием западной студенческой революции, но пока статья готовилась и печаталась (в “Новом мире” это было очень долго из-за цензурных задержек), подоспела Пражская весна, и авторские вполне продуманные аллюзии стали звучать гораздо смелее и революционнее, чем замышлялось. В других случаях, наоборот, автор, в силу особенностей своей личной ситуации, рисковал значительно больше, чем казалось со стороны и тем более — ретроспективно.

— *Игорь Семенович, когда вы готовили статью для того же “Нового мира”, это было удовлетворением авторского самолюбия или вам нужна была “общественная трибуна”, как на тех лекциях с тысячной аудиторией?*

— На этот вопрос трудно ответить однозначно. Каждый автор, даже не сознавая этого, стремится к успеху и популярности. Но, насколько я могу вспомнить, социальное значение публикации — поднять планку дозволенного, сделать предметом обсуждения новую важную проблему — было для меня гораздо важнее. Если бы дело обстояло иначе, я нашел бы более дешевые и менее рискованные способы самоутверждения. Я никогда в жизни не писал о пустяках и не любил риска ради риска. Оригинальность также не была для меня самоцелью. Я всегда считал, что главное — сделать максимально хорошую работу, отвечающую какой-то общественной потребности, а насколько она оригинальна в мировом масштабе — не столь существенно.

— *Мы всегда как бы между прочим говорим о влиянии прессы на формирование, на сознание личности. На такой вопрос обычно отвечают, что это “само собой разумеется”. Это*

*действительно само собой разумеется? Вы изучали личность и были “своим человеком” в печати — как бы вы оценили степень, возможности и реальность такого влияния?*

— Мне кажется, что это влияние было большим. Практическая социальная жизнь от наших публикаций не зависела, ни одно конкретное предложение социологов партбюрократия не использовала (хотя могла бы). Но под влиянием наших публикаций люди начинали по-новому думать, и это подрывало идеологическую монополию КПСС и способствовало разрушению советской системы.

*— Игорь Семенович, а почему все же вы столь решительно переменили свои научные интересы и практически оставили ту самую “общественную трибуну”? Разочаровались? Сказали все, что могли сказать?*

— Нет, конечно. Я просто изменил ракурс своей работы. После разгрома “Нового мира”, в атмосфере усиливающейся реакции 70-х годов заниматься социологией молодежи становилось все труднее. Чтобы не лгать и вообще избежать обсуждения советских реалий, я сознательно пошел по пути психологизации своей тематики, сконцентрировав внимание на внутренних механизмах человеческого “я” и на том, как модифицируются процессы самосознания в сравнительно-исторической, кросс-культурной перспективе. Позднее это воплотилось в книгах “Открытие “Я”, “В поисках себя”.

Мой личный, чисто субъективный интерес все более концентрировался на психологии юношеского возраста. Надо сказать, что подростковый читатель — от пятнадцати и старше — появился у меня уже с “Социологии личности”, хотя она вовсе не была на него рассчитана. Так было и с последующими книгами. Даря их друзьям, у которых были дети-старшеклассники, я заранее знал, что сначала книгу прочтут дети, а уже потом — родители.

Наверное, что-то и терялось. Помню, как на первой Всесоюзной конференции по психологии общения (в 1970 году) кто-то прислал мне записку: “Я всегда с интересом читал ваши работы. Жаль, что вы так рано уходите из настоящей науки”. Но время менялось. После Пражской весны последние иллюзии относительно будущего плавного развития советского социализма, если таковые еще были, окончательно рассеялись.

Изменился и мой научный статус. В 1968 году я с радостью принял приглашение перейти на работу в только что организованный Институт конкретных социальных исследований



АН СССР, где были собраны едва ли не все ведущие социологи страны. Сначала я заведовал там сектором социологии личности, участвовал в выработке программы исследования “Личность и ценностные ориентации”, затем создал отдел истории социологии. Мы работали очень продуктивно. Но в 1972 году, с приходом нового руководства, институт практически был разгромлен, лучшие кадры ушли (или их “ушли”), работать в социологии стало невозможно. Я в конечном итоге нашел себе прибежище в Институте этнографии АН СССР. Дирекция его хотела, чтобы я занялся проблемами, поставленными в моих новомировских статьях, — актуальными проблемами национального характера и этнической психологии. Но я знал, что серьезная, честная работа по этой тематике в разлагающемся и “беспроблемном” советском обществе нереальна, и предпочел взять сугубо академическую тему — этнографию детства. Это было, конечно, осознанной внутренней эмиграцией.

— *И к чему она привела?*

— Я заложил основы нового, очень интересного и абсолютно не связанного с советской жизнью раздела науки. Сейчас эту работу возобновили другие люди. Что же касается современности, то занятия ею стали для меня факультативными: получается — хорошо, нет — Бог с вами. Одним из таких боковых сюжетов стала сексуальность. В начале 80-х годов я активно включился в разговор о необходимости сексуального образования молодежи, который поддерживала практически вся советская пресса. В годы перестройки эта тематика вышла на первые страницы газет, хотя не всегда в лучшем варианте (об этом подробно написано в моей книге “Сексуальная культура в России”). Я даже выступал на семинаре главных редакторов молодежных газет, которые все вдруг захотели писать о сексе. Советовал им избегать физиологизации и рассматривать эти вопросы в их естественном психологическом контексте, но сделать это они не сумели, печатать дешевую эротику и открывать соответствующие видеосалоны было проще и прибыльнее.

В конце 80-х годов мои статьи по этим вопросам печатались в “Неделе”, “Труде”, “Литературной газете”, “Комсомольской правде”, “Учительской газете”, “Аргументах и фактах”, “Огоньке”, “Советской культуре” и многих других изданиях (“поносили” меня в те годы только “Советская Россия”, “Молодая гвардия” и “Наш современник”). Особенно важными были, на мой взгляд, выступления, кстати, очень умеренные и осторожные, в

программе “Взгляд” и в “Аргументах и фактах” (в обоих случаях инициатива принадлежала журналистам), которые смотрела и читала вся страна. Однажды в Шереметьево пограничник сказал мне: “Я вас знаю, видел в программе “Взгляд”. — “Очень приятно”. — “А как вы относитесь к тому, что эту программу закрыли?” Резко отрицательно, говорю, это доказывает, что власти боятся гласности. “Я тоже так думаю”, — сказал солдатик, и этот разговор на государственной границе показал мне, что гласность необратима.

Потом все изменилось. Молодые журналисты, которые мало читают, считают меня не социологом, а сексологом, не совсем понимая, что это значит. Социальных вопросов они, как правило, не задают — видимо, не умеют. Напечатать в наших газетах что-либо серьезное практически невозможно. Изменилось и отношение к сексуальной культуре. За редкими исключениями наши журналисты, как и политики, не поняли или не захотели понять, что крестовый поход против сексуального просвещения — это попытка иным путем восстановить тоталитарный контроль над личностью. Я пытался обратить на это внимание журналистов, но меня не услышали ни в “Московских новостях”, ни в “Известиях”...

Некоторые друзья и коллеги думают, что провал проектов школьного сексуального просвещения меня очень расстроил и что теперь я веду героическую борьбу за их возрождение. Ничего подобного! К героизму я отношусь так же, как Евгений Шварц (“несчастлива та страна, которая нуждается в героях”). В возможность быстрого создания в России современной системы сексуального просвещения, как и в мгновенное превращение нашей страны из авторитарной в демократическую, я не верил ни одной минуты. Но в балансе истории ничто не пропадает.

Российские журналисты, развязавшие и уже ряд лет продолжающие “антизападную” кампанию против сексуального просвещения, несомненно, нанесли тяжелый ущерб здоровью и культуре россиян. Благодаря им десятки тысяч людей обречены на смерть от СПИДа и на многие другие неприятности. Программа планирования семьи была едва ли не единственной успешной президентской программой, а ее срыв — едва ли не единственная успешная социальная акция российской прессы (когда журналисты отстаивают правое дело, на них обычно не обращают внимания). Так что пресса может собой гордиться. Не говоря уже о том, что она углубила и без того большой разрыв между молодежью и старшими поколениями.

— *Игорь Семенович, а как вы вообще смотрите на настоящее и будущее нашей прессы? Играет ли она определенную роль в процессе самоопределения личности? Помогает ли людям лучше понимать окружающий социальный мир, стать более активными в его устройстве?*

— Тут, на мой взгляд, действуют три фактора: изменение отношения печатных и электронных средств массовой информации; ускорение темпов социокультурного обновления; наконец, специфические российские проблемы. Первые два процесса являются глобальными. Это не проблема, а одно из условий задачи. Печатное слово везде и всюду уступает визуальным материалам. Современная молодежь воспитана не на книгах и статьях, а на телевидении, которое сейчас дополняет и отчасти вытесняет Интернет. Как источник оперативной информации газеты уже практически никому не нужны, а чтобы сохранить свое значение аналитического источника (телевидение ведь скорее развлекает, чем просвещает), нужна гораздо более высокая журналистская культура. В нашей стране с этим особенно сложно.

В годы застоя стать на какое-то время властителем дум было сравнительно легко. Можно было ни за что пострадать, но и ни на чем заработать популярность. Смелость ценили выше глубины. Иногда достаточно было просто красиво намекнуть, что “король голый”. Поскольку хороших статей было мало, их помнили долго. Человек мог всю жизнь летать на воображаемых крыльях, друзья и знакомые охотно верили, что он не пишет ничего интересного только из-за цензуры.

Свобода слова это в корне изменила. В динамичном мире все быстро приедается и обесценивается. Когда всего много, то подчас уже ничего и не хочется, особенно если потребление мотивируется не внутренними потребностями, а соображениями престижа.

То, что пресса стала свободной, — наше величайшее достижение. Я совершенно согласен с А.Н. Яковлевым в том, что при всех недостатках наших СМИ без них вселилие и производ властей возросли бы еще больше. То, что все средства массовой информации стали кому-то принадлежать, меня не смущает — самый плохой “олигарх” лучше самого хорошего агитпропа (уже хотя бы потому, что у него есть конкуренты). Но когда ангажированность газеты просто бьет в глаза, читать ее становится неинтересно.

Мучительный процесс деидеологизации все еще продолжается, и это хорошо. Это естественная психологическая самоза-

щита против многолетней — и продолжающейся! — лжи. Многие российские СМИ не столько учат людей думать, сколько стараются манипулировать ими в корыстных целях. Это особенно наглядно показал косовский кризис, когда все было поставлено на службу обанкротившемуся имперскому сознанию. В этих условиях человек должен усвоить, что “все врут календари”, и верить только тому, что дважды два — четыре.

Я считаю, что в современных условиях нужно дистанцироваться от общества и обеспечить материальную и психологическую самостоятельность прежде всего себе и своей семье. За этим, естественно, последует осознание своих социально-групповых и, со временем, классовых интересов (чего у нас пока нет). Только после этого придет осознание общечеловеческих ценностей.

Мне очень грустно, что стране, народу приходится переживать этот процесс с нуля, платя огромную цену. Но другого пути нет. Коммунистическая идеология полностью отождествляла интересы общества с интересами государства. Прогресс состоял прежде всего в “разгосударствлении” общественного сознания. В советскую эпоху оно не было завершено, а в послеперестроечный период разговоры об “общечеловеческих ценностях” стали циничным прикрытием “бандитского” капитализма. Теперь многие люди снова ищут спасение в “державности”. Единственной реальной альтернативой этому является индивидуализм, хотя тупики его нам хорошо известны.

Новые социально-нравственные ценности появятся гораздо позже и отнюдь не в средствах массовой информации. Какими они будут — никто не знает. Лично мне кажется, что в долгосрочной перспективе, если страна, как я надеюсь, избежит коммунофашизма, общественное сознание россиян будет развиваться в идейной борьбе двух традиционных для России ценностных систем — социал-демократической (либеральный вариант) и социал-христианской (консервативный вариант). Радикальный либерализм и православный фундаментализм у нас не привьются, а национал-большевизм останется, как ему и положено, идеологией люмпенов.

— *А в какой мере сохранились ваши отношения с печатью? Существует ли своя, заинтересованная аудитория?*

— Мое имя и моя физиономия периодически мелькают на телеэкране и в прессе, создавая впечатление о моей якобы популярности. Но впечатление это ошибочно. Естественная смена научных поколений, усугубленная сменой общественного

стройка, усилила и углубила межпоколенные и возрастные различия. Прежний жизненный опыт стал ненужным, а то и дисфункциональным. Молодые люди лучше образованны, у них другие взгляды, читать старые книги и даже новые книги старых авторов им неинтересно. Лучше все придумывать самим. К тому же разрушены нормальные механизмы книжной торговли: издатели, выпускающие хорошие книги, и читатели, готовые их купить, не могут встретиться друг с другом.

Мое положение усугубляет междисциплинарность моих научных интересов. Я даже не знаю, к какому научному сообществу принадлежу. Ближе всего мне, конечно, социологи, но у меня также много общего с философами, психологами, этнографами, историками, педагогами, сексологами... Однако в каждом из этих сообществ я остаюсь человеком со стороны, ни на чью поддержку рассчитывать не приходится.

Политически я также никуда не вписываюсь. Я приветствовал крушение советского режима, но действия многих людей, называвших себя демократами, казались мне ошибочными, дающими эффект бумеранга. Между тем Россия — страна хорошего пения (хотя, в отличие от грузин, в русском застолье кто-то всегда фальшивит, — нам важен не результат, а участие). “Плохую песню они пели хором, раскладывая ответственность на всех участников”. Я же человек городской, необщинный и несоборный.

Моя “сексуальная” тематика многим кажется второстепенной и низменной. Советская сексофобия отомрет еще не скоро — люди не понимают, что такое профессионализм, с этим у нас всегда было плохо. Профессионального сексологического сообщества в России вообще нет, а я к тому же занимаюсь не столько сексологией, сколько социальной историей и социологией сексуальности. Обсуждать это не с кем.

Так что моей главной и единственной референтной группой являются западные коллеги. Но у них своих забот хватает, да и писать по-английски сверх необходимости мне не хочется. Мой потенциальный воображаемый читатель, как и я, живет в России, но я с ним не знаком. С 1998 года главным и практически единственным каналом общения с ним для меня стал Интернет. Если учитывать мое компьютерное невежество и неприязнь к технике, работа в Интернете — такой же анекдот моего странного бытия, как то, что подобный моралист и консерватор стал апостолом “сексуальной революции”, которого юродивые борцы с порнографией поносят на уличных ми-

тингах. Зачем я трачу время на Интернет, мне самому непонятно (не нуждающемуся в рекламе ученому заниматься заведомо бесплатной работой бессмысленно, никто из зарубежных коллег ничего похожего не делает).

Кроме ответов на вопросы, я размещаю в Интернете свои новые книги и статьи, откликаюсь на прочитанные книги, реферирую иностранные научные журналы. Кому это нужно и нужно ли вообще — не знаю, обратной связи нет. По идее, все это должны делать какие-то учреждения и организации. Но то ли они ленивы и нелюбопытны, то ли у них есть более важные дела, то ли они еще не поняли значения Интернета. В Интернете я свободен. А превращение труда из средства существования в способ существования — не что иное, как реализация светлого коммунистического будущего, в которое я почему-то не верил.

В.Н. Шубкин

“Стремление “изменить жизнь”  
было у меня почти марксистским”

— *Ваше имя, Владимир Николаевич, стало известно общественности — мы имеем в виду за пределами чисто научного круга — благодаря “Новому миру”. Почему вы пришли именно в этот журнал и с чем пришли?*

— Этот журнал я всегда получал, всегда читал, он меня всегда занимал, и вообще я считаю его уникальным изданием. А в том, что именно к нему возник интерес, сказались и общественные условия, тот фон, на котором протекала моя жизнь, и сами ее события, сама биография, я бы сказал, индивидуальные особенности, индивидуальный путь моего развития. То есть “новомировец” я стал не случайно, это связано с формированием моего мировоззрения и поиском сферы приложения сил, профессионального интереса.

Не буду говорить о том, какие радикальные изменения произошли после смерти Сталина, уже в 1953 году. Это всем известно из истории. Но если брать культурную составляющую этой эволюции, то на меня, например, произвело огромное впечатление, когда осенью 53-го ко мне домой прибежал Лев Вознесенский, который только недавно вышел из заключения (его арестовывали и судили по Ленинградскому делу, а до этого он учился со мной на одном курсе в МГУ), прибежал и сказал: “Слушай, я тебе принес совершенно великолепный текст, он тебя, возможно, заинтересует”. Это была рукопись поэмы Твардовского “Василий Тёркин на том свете”. Я прочитал ее сразу же, запоем и просто обомлел от глубины, тонкости и художественности этой вещи. Для меня там было множество открытий. Лёва предупредил, чтобы я прятал те страницы как следует, поскольку Твардовский за свою поэму уже снят с должности решением Секретариата ЦК, а номер журнала рассыпан, уничтожен. И я до сих пор храню эту рукопись. Потом, девять лет спустя, поэма была опубликована, да и то с большими купюрами — мы как-то беседовали об этом

с Марией Илларионовной Твардовской, уже после смерти Александра Трифоновича.

В том же “Новом мире”, когда редактором стал Симонов, появляется статья Померанца “Об искренности в литературе”, которая тоже произвела на меня большое впечатление: от литературы до общественных наук — один ведь шаг, и это не могло не заинтересовать, не растревожить меня. Затем публикуется роман Дудинцева “Не хлебом единым”, который, на мой взгляд, сыграл очень важную роль в созревании нашего общества. Я вообще считаю, что писатели, литераторы делали фундаментальные разработки, которыми в значительной мере питались газетчики-журналисты.

— *А не журналисты питают писателей? Они ведь первые реагируют на события, замечают общественно значимые проблемы.*

— Ну, тут, видимо, право каждого делать свой вывод. Развитие событий может быть и предугадано. Во всяком случае, те публикации создавали предпосылки для перемен в сознании, так сказать, активных членов нашего общества, читающих людей. А потом — XX съезд партии. Его роль, несомненно, велика, но я не склонен ее и преувеличивать (тут, видимо, сказываются особенности моего индивидуального пути). Я бы сказал об интеллектуальной отсталости некоторых наших людей, объявивших себя “детьми XX съезда” и тем самым признавших, что до того они ничего в России не видели — а нужно было очень хорошо закрывать глаза и уши, чтобы не замечать весь ужас ГУЛАГа, пронизавшего, как раковая опухоль, всю страну. Элементы тоталитарного режима проявлялись во всех сферах — не будем здесь говорить об этом подробно.

Теперь — об индивидуальном пути, собственной биографии, вернее, о ее узловых моментах, ставивших меня перед “проклятыми вопросами” или порождавших “навязчивые идеи”.

Первый “проклятый вопрос” — репрессии, обрушившиеся на мою семью. Отец был арестован в 1937 году; мать за “связь с врагом народа” уволили с работы — она была учительницей, у нее, кстати, учился Сергей Павлович Залыгин. Меня тоже исключили из седьмого класса как “сына врага народа” (правда, через полгода восстановили). Вся жизнь потом шла под этим знаком, сколько всего было передумано, переосмыслено, перемолото внутри себя. Это был самый тяжелый камень в фундаменте моего мировоззрения.



Второй “проклятый вопрос”, не оставляющий и сейчас в покое, — война. Я кончал среднюю школу в 1941 году, выпускной вечер был у нас 21 июня, а на следующий день началась война — впрочем, это уже в литературе неоднократно описывалось. Так вот я из этого поколения. Я был физически крепок, школу окончил с отличием, имел право поступать в любой вуз без вступительных экзаменов. Но у нас, молодежи того времени, было отчетливое осознание, что раз на нашу страну напали, раз ее нужно спасать, защищать, то кто же, кроме нас — молодых и здоровых — может это сделать. Никаких колебаний по этому поводу не было. Вместе с тем я был сын репрессированного, и даже при отборе в военное училище или действующую армию меня “выбраковывали”. Все же я попал на фронт в составе Сибирской дивизии, которая формировалась у меня на родине, в Барнауле. Участвовал в обороне Сталинграда, в тяжелейших боях, связанных с зимним наступлением под Сталинградом по направлению к Ростову. Затем первое ранение, потом второе, уже при освобождении Севастополя в 1944 году. И когда, наконец, я на костылях прискакал к себе в Барнаул, то встал перед выбором: вся моя семья основательно поголодала во время войны, был облазн устроиться на работу и получить льготную карточку (литер “А” или литер “Б”); и мне очень хотелось учиться. Второе пересилило, я поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, филиал которого находился в то время у нас в городе, и вместе с этим филиалом я эвакуировался в Ленинград в начале 1945 года.

Почему в вузах после войны было полно парней в шинелях и гимнастерках? Почему, пройдя через весь тот ужас, они рвались учиться? Над этим, наверное, мало кто задумывался и тогда, и тем более сейчас. А ведь это вопрос из тех, какой мы хотели видеть жизнь, как хотели ее построить, коли уж повезло и остались живы.

Все у меня шло нормально, я проучился два курса. И опять вопросы: ту ли профессию избрал, не случайный ли это выбор? Надо как-то всерьез разобраться, чем же мне заниматься на этом свете. В результате начал уже сознательно выбирать именно “свою” профессию. Я ходил на занятия в Ленинградский университет, познакомился со студентами, профессорами, чуть не пошел на философский факультет, но кто-то меня отговорил, объяснив, что учиться там интересно, но когда кончаешь факультет, ощущение такое, что никакой профессии у тебя нет. В результате этих и других размышлений я, наконец, избрал эко-

номический факультет Московского государственного университета, где и стал учиться. Окончил его, получил диплом с отличием, тем не менее в аспирантуру, где было полно мест, меня не взяли — опять же из-за репрессированного отца. Я преподавал года два политэкономии в заочном лесотехническом техникуме, подрабатывая лекциями по линии общества “Знание”, защитил-таки в МГУ кандидатскую диссертацию, получил звание кандидата экономических наук, но снова казалось, что занимаюсь не своим делом. Все больше задумывался о том, что экономика и политэкономия — слишком далекие от человека области знания, которые игнорируют огромные пласты человеческих проблем.

— *И вы пришли в социологию, которая как раз тогда начинала возрождаться?*

— Да, социология по своим возможностям, мне казалось, значительно ближе к человеку, хотя в то время само слово “социология” было официально запрещено, а сектор в Институте философии, где я стал работать, назывался “новых форм труда и быта”.

— *Владимир Николаевич, а это не было своего рода “модой”, как практически в то же время — на “физиков”?*

— Не думаю. Я, во всяком случае, заинтересовался социологией потому, что она изучает проблемы общества и человека. И это действительно так. Благодаря ее развитию по-новому открывалось советское общество.

Потом я получил приглашение от Сибирского отделения Академии наук, мы с семьей уехали в Академгородок, где я сразу возглавил группу, которая называлась социологической, но там были и юристы, и философы, и экономисты. Короче говоря, эта группа начала работать, было очень интересно, мы имели довольно большие возможности и провели массовые обследования молодежи Сибири.

— *По проблемам профессиональной ориентации?*

— Я не знаю, почему на первое место вышла “профессиональная ориентация”. По существу это было исследование социальной структуры и социальной мобильности — типично социологических проблем, весьма важных для общества. Что и привлекало.

Работа в социологии доставляла мне удовольствие, и материалы, которые мы подготовили, имели довольно большой резонанс еще тогда. Первые же публикации, особенно статья “Молодежь вступает в жизнь”, опубликованная в “Вопросах

философии” (1965), вызвали широкий отклик. Были перепечатки, переводы, дискуссии — в частности, по проблемам занятости молодежи, престижа профессий и так далее. Все это приносило нам определенную известность. Я уже заведовал сектором, потом возглавил социологический отдел в Институте филологии, философии и истории Сибирского отделения Академии наук, принимал участие в ряде международных конференций, конгрессов и так далее. Одновременно мы создали “подпольную” кафедру социологии в Новосибирском университете. Все это давало ощущение, что я довольно полно реализую свой потенциал — можно даже сказать, что это в какой-то степени продолжается и сейчас.

Но на определенном этапе мне показалось, что социология — по мере того как она институционализировалась — начинает сковывать меня. Я говорю об этом потому, что искал какие-то выходы. Их я видел в философии и в публицистике, которыми все больше интересовался. В философском плане я был довольно необразованным человеком, на уровне факультета МГУ, что, конечно, далеко не достаточно для профессионально работающего человека. И я “начитывался”. А в итоге пришел в публицистику — благодаря главным образом публикациям в “Новом мире”. Первые мои публикации были о французской школе, потом — по проблемам молодежи в наших условиях, потом — о возможностях различных исследовательских методов, и, в частности, качественных методов исследования социальных проблем (это довольно известная статья “Пределы”), потом прошла серия социально-философских эссе (уже в начале перестройки). Мои философские интересы все больше смыкались с интересом к проблемам религии, которыми у нас не было принято заниматься — да я думаю, и теперь значительная часть наших современных, так сказать, интеллектуалов сохранила в этом смысле боязнь и робость по отношению к религии.

Таким образом, мой индивидуальный путь, мой выбор — социология, затем или параллельно — публицистика, философия, отчасти религия.

Ну, и как итог взаимодействия индивидуального пути и общественной эволюции — стремление “изменить жизнь”. С 1953 года распад империи фактически начался, но, как пел наш знаменитый бард, “Римская империя времени упадка строго соблюдала видимость порядка”. Должно было пройти какое-то время, чтобы внутреннее ощущение переросло в отчетливое

убеждение, что наша действительность, наша жизнь в обязательном порядке должна быть изменена. Это стремление “изменить жизнь” было у меня почти марксистским, как в “Тезисах о Фейербахе”: философы до сих пор лишь объясняли мир, а задача в том, чтобы изменить его. Но если вы меня спросите, каким представлялся мне этот измененный мир, то я вряд ли скажу нечто определенное и цельное. Все мы тогда были полны иллюзий, все рассуждали о некоей возвышенной демократии, о “правильном” социализме. Но уж никак не думали о возвращении к капитализму...

Вместе со стремлением как-то повлиять на действительность нарастала потребность в публицистике. Хотелось высказаться не перед узкой группой профессионалов-коллег, а перед достаточно широкими слоями населения. Такую возможность тогда прежде всего предоставляли, если говорить о каких-то крупных материалах, “толстые” журналы, где можно было опубликовать солидную статью на 3–4 печатных листа, более или менее основательно разобрав вопрос. И дело не только в объеме. Главное, что отличало эти журналы от, так сказать, узкопрофессиональных, — они имели более высокую степень свободы мысли. Там для самовыражения открывались гораздо большие возможности. Из профессиональных изданий наиболее близким для нас был, конечно, журнал “Вопросы философии”. Но он подчинялся отделению философии и права, самому реакционному в Академии наук, где сидели в основном бывшие цеховские работники, получившие соответствующие академические “погоны” и тщательно следившие за тем, чтобы ни одной свежей мысли не проскочило. А в том же “Новом мире” сама редакция была заинтересована сказать свежие, честные слова. И хотя формально партийная критика осудила статью “Об искренности в литературе”, все знали, что журнал — при всех ограничениях — будет стараться публиковать правду о нашей жизни.

— Известно, что люди науки не очень жалуют журналистику, упрекая ее в поверхностности (что часто справедливо), тем не менее ученые с именами всегда появлялись в массовой печати, в том числе в 60-е годы. Как удавалось при том сочетать научный и публицистический подход? — у вас в этом смысле богатый опыт. Научная строгость и увлеченность публициста не всегда ведь легко соединяются...

— Насколько удавалось, не мне, наверное, судить. Но я прежде всего социолог и, конечно, привержен научному подхо-

ду. Схемы общественного развития, которые оседают в массовом сознании, обычно бедны и прямолинейны. И это к добру не ведет. Научный подход состоит именно в том, чтобы обеспечить систематическую проверку стереотипов, максимально возможно приблизиться непосредственно к явлению и тем самым минимизировать просчеты, в основе которых лежит устаревшая, односторонняя или частичная информация. “Степень научности” тем выше, чем точнее мы описываем в наших понятиях, концепциях, моделях, теориях то или иное явление, тот или иной процесс, чем решительнее отходим от односторонности и прямолинейности. Социология в этом случае выполняет одну из самых значительных своих функций, показывая связь личной жизни человека с историческим процессом. Я стремился этому следовать.

Но я хотел бы сказать еще вот о чем: в 60-е годы начинают понемногу проявляться и как-то осознаваться сложные взаимодействия между наукой и идеологией в нашем обществе. Когда я был во Франции в 1967 году, мне туда прислал свою книгу профессор Джордж Фишер из Америки — о науке и идеологии в Советском Союзе. Он вывел примерно такую формулу: успехи той или иной отрасли науки на мировом уровне обратно пропорциональны проникновению в нее идеологии. Мне эта мысль очень понравилась, поскольку я действительно наблюдал ее воплощение в том же Академгородке. Скажем, математика, физика были почти свободны от идеологии — потому что было понимание: здесь создается атомная бомба, и идеологам вмешиваться в этот процесс не надо. В биологию благодаря Лысенко вмешались — и ее развитие было резко заторможено. Как и кибернетики. А экономика, философия держались только на принципах марксизма-ленинизма. Социология в этом смысле имела преимущество, которое умные люди могли использовать: она была связана с проведением массовых эмпирических исследований. Социолог, таким образом, имел возможность сказать: “Да, я, конечно, понимаю, но вот население к этому вопросу относится так-то. Можно с этим не соглашаться, но вот его оценки такие”. Это давало социологии, с одной стороны, возможность как-то маневрировать, а с другой — она все время находилась под подозрением как “неблагонадежная” область знания. Не случайно публикация результатов социологических исследований в открытой печати всегда была проблемой. И вместе с тем, если их удавалось каким-то образом довести до населения (через ту же пуб-

лицистике, например) — это было, пожалуй, самой убедительной аргументацией.

— *Что показательного в этом смысле было в ваших исследованиях проблем молодежи? Какой отклик они получили, воплотились ли в какие-то конкретные дела?*

— Хочу отметить, что начали мы их в 60-е годы и продолжали три десятилетия, возвращаясь к тем же адресатам. Вот где можно было проследить сдвиги в сознании, кто как строит свой социальный мир. Мы об этом немало писали и в статьях, и в книгах. Исследования, как я уже говорил, в значительной степени были связаны с изучением социальной структуры и социальной мобильности, жизненных путей молодежи, вступающей в самостоятельную трудовую жизнь, и переменчивости этих путей, случайности выбора. Все это вызвало довольно большой резонанс в стране. Наши публикации получали отклики разного рода. Писали сами молодые люди, учителя — их мнение, конечно, было для нас особенно важным. Писали коллеги: первым откликнулся тогдашний руководитель ленинградской группы социологов Владимир Александрович Ядов; он прислал мне письмо, в котором очень интеллигентно и, я бы сказал, высококонравственно просил разрешить использовать нашу методику для проведения аналогичного обследования в Ленинграде и области. А потом исследования по нашей методике “расползлись” по всей стране — они проводились в десяти областях центра России, в Латвии, Эстонии, Армении, Азербайджане, в Средней Азии, среди малых народов Сибири и Дальнего Востока. Более того, после упомянутой уже статьи “Молодежь вступает в жизнь” выдержки из нее и некоторые материалы по поводу нашего исследования опубликовала “New York Times”, мне было предложено там выступить, и так далее и тому подобное.

Ну, и наконец были отклики, так сказать, официальные. Скажем, к нам в Академгородок приезжают три секретаря ЦК ВЛКСМ, для того чтобы (в отличие от традиционных представлений) просто поучиться, расспросить нас подробнее о том, что мы наработали. Попросили меня подготовить доклад о проблемах молодежи для руководства комсомола и выше, ЦК партии, я написал такой доклад — на три печатных листа, со всеми выкладками, графиками, с попыткой прогноза по ряду вопросов. Его передали потом “лично Хрущеву”, и он готов был поставить определенные вопросы на заседании Совета Министров. В каком-то преобразованном виде они вошли в соот-

ветствующее постановление высших инстанций, чуть ли не съездовских материалов... В общем, это я говорю к тому, что и власть проявила интерес к поднятым и изученным нами проблемам.

— *Владимир Николаевич, вас по-прежнему мучают “проклятые вопросы”, и хочется о них написать, растревожить общественное мнение?*

— Один из самых “проклятых вопросов” нашей жизни, на что мы без конца натываемся и почему не можем встать в ряд с другими цивилизованными странами, — это то, что мы не осудили, по сути, массовые репрессии сталинизма. Конечно, наша победа во второй мировой войне связывалась с именем Сталина, и это как бы мешало осудить сталинизм, осудить палачей из наших же сограждан. Фактически к ответственности были привлечены лишь единицы. В результате “болезнь” загнали внутрь, отсюда и гниение государства, потеря ориентиров у населения, прежде всего молодежи. Эту проблему по-настоящему глубоко понял, на мой взгляд, только Александр Исаевич Солженицын. В своем “Архипелаге” он приводил данные о том, что в Федеративной Республике Германии к 1966 году было осуждено 86 тысяч преступных нацистов, а у нас, по опубликованным данным, — около 30 человек. Мы должны осудить публично саму идею расправы одних людей над другими, писал он; не наказывая злодеев, мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости.

Я думаю, тут очень много до сих пор не понятого нашими людьми, и прежде всего публицистами, писателями.

Другой “проклятый” вопрос тоже связан с репрессиями. Понятно, что 1937 год для меня — не абстракция, а реальная трагедия, коснувшаяся всей моей семьи. У нас даже не было никакой “бумажки”, свидетельствующей о том, что Шубкин Николай Феоктистович репрессирован по статье 58 пункт 10 и приговорен к десяти годам без права переписки. В 1955 году, уже после смерти Сталина и множества писем, которые мы с мамой писали в различные органы, нам выдали свидетельство о смерти отца. Выходило, что он прожил после ареста еще семь лет и умер от сердечной недостаточности в 1944 году. Где он жил, почему не давал о себе знать, где умер? Было много вопросов и сомнений, они все больше росли. Я советовался по этому поводу еще в 1966 или 1967 годах с моим преподавателем, а потом оппонентом по докторской диссертации Борисом Цезаревичем Урланисом, видным советским демографом, который за-

нимался, в частности, проблемами войн и народонаселения Европы. Прямо он ничего не мог мне ответить, но сказал, что не исключена (во всяком случае, это заслуживает проверки), “переброска” дат смерти репрессированных в 30-х годах на военные годы. Потом я почти утвердился в этом мнении: чтобы обелить Сталина и его подручных, видимо, была проведена грандиозная операция по такой “переброске”. Дескать, война все спишет, и не столь устрашающей будет цифра погибших от репрессий. В конце концов я понял, что не могу не вмешаться в это дело, написал небольшую статью “Восстановить справедливость” и предложил ее в журнал “Огонек” (1988). И среди откликов на нее был один для меня крайне важный: прокурор Алтайского края поднял дело отца, опубликовал в “Алтайской правде” “открытое письмо профессору В.Н. Шубкину” с большими выдержками из протоколов допросов, проводившихся в барнаульском отделе НКВД в 1937 году, позвонил мне, пригласил приехать и ознакомиться с делом.

Не буду подробно здесь рассказывать, как я читал дело и что при этом испытывал. Скажу лишь, что мои предположения полностью подтвердились. Там было решение “тройки” Западно-Сибирского края о расстреле Шубкина Николая Феофостовича с конфискацией всего имущества, причем уже за “участие в повстанческой деятельности против Советской власти” — так это тогда формулировалось. И лежала аккуратно подшитая бумажка, которая называлась “Акт”. В этом акте совершенно четко утверждалось, что “постановление” приведено в исполнение 2 октября 1937 года. Вот и ответ на вопрос о свидетельстве о смерти. Все документы хранились, все знали, что расстреляны сотни тысяч или миллионы людей, и тем не менее выдавались фальсифицированные “бумажки”, которым и сейчас еще, видимо, многие верят и считают, что получили какой-то ответ от этой власти...

Я начал подготовку ряда статей, которые публиковались потом и в Барнауле, и в Москве. Неожиданно приехали представители австрийского телевидения, которые решили снять обо всей этой истории документальный фильм. Он затем прошел по телевидению Германии, Австрии, Венгрии, вызвал несомненный интерес. Но мне непонятно одно — позиция нашей творческой интеллигенции, обществоведов, публицистов. Мне кажется, многим не хватает какого-то гражданского чувства. Ведь произошла — помимо массового уничтожения людей в годы Большого Трора — фантастическая фальсифи-



фикация миллионов дел. Я не историк, могу ошибиться, но что-то не знаю подобного случая невиданной фальсификации, организованной государством, дабы замаскировать, смягчить, скрыть чудовишные преступления, тот геноцид, который проводили органы НКВД и ЦК против собственного народа. До сих пор ни разу не попалась мне статья или книга, где бы демографы, или историки, или юристы подробно проанализировали все эти факты. Мне трудно сказать, с чем это связано. То ли с благополучием людей, которых впрямую не заделали сталинские репрессии, то ли с их равнодушием; то ли люди просто не хотят касаться этих тем, не понимая, какое значение не только для истории, но и для возрождения нашей страны имеют такие исследования. Не слышно, к сожалению, и голоса публицистов. Невольно приходишь к довольно грустным выводам относительно реального состояния общественного сознания в нашей стране.

Ю.П. Сенокосов

“Были иллюзии, были надежды  
и была реальность...”

— Юрий Петрович, в годы, о которых идет речь, вы работали в журнале “Вопросы философии”. О нем говорили и говорят по-разному, мнения иногда просто полярные. Одни считают, что это было сухое, скучное издание, типичный орган ЦК КПСС, который и создан был для контроля над мыслью наших философов. Другие, напротив, ставят его едва ли не в один ряд с “Новым миром”: смелые оценки и идеи, критика косности и ортодоксии. Как вы могли бы прокомментировать эту противоречивость оценок? Каков ваш собственный взгляд на “Вопросы философии” того времени?

— Да, действительно, журнал заслуживает особого разговора. Но начну я, пожалуй, с другого — общей интеллектуальной атмосферы, в которой мы жили.

До работы в журнале, куда я пришел летом 1968 года, я был аспирантом в Институте философии и одновременно — сотрудником сектора исторического материализма у Владислава Келле, а до того работал в Фундаментальной библиотеке общественных наук (ФБОН). И хорошо помню, поскольку принимал в этом участие, как в середине 60-х годов в институте был организован семинар по методологии истории, которым руководил Арсений Гулыга, — мы бурно обсуждали проблему культа личности Сталина. Параллельно с этим молодые в то время Осипов, Здравомыслов, Грушин, Левада, Ядов создавали институт социологии, и помню, каких трудов это им стоило. В общем, тогда еще продолжался, если можно так выразиться, процесс созидания: появился Институт США, несколько раньше — Институт востоковедения, потом Африки, Институт международного рабочего движения. И одновременно Петр Николаевич Федосеев, тогдашний вице-президент Академии наук, придумал довольно хитрую вещь: решил создать на базе ФБОН институт информации. Сегодня об этом не вспоминают, а между тем это был настоящий информационный прорыв. Я имею в виду весь этот

процесс академической институционализации. Поскольку долгое время к нам ничего не доходило, то в аппарате ЦК решили, видимо, таким образом приблизить партийную бюрократию к реальности, особенно западной, европейской. Если мы вспомним, в это же время в Праге уже выходил журнал “Проблемы мира и социализма”. То есть после XX съезда в стране действительно шел весьма активный процесс интеллектуального обновления и развития международных контактов. Так что “перестроечные” настроения в 60-х тоже витали в воздухе, и на этой волне, на этом фоне, собственно, все и происходило.

Вот это поколение, те, кому сегодня уже под или за семьдесят, так называемые шестидесятники, действительно почувствовало тогда свою призванность. Ангажированность в политику и в происходящие события, что создавало благоприятный фон для эйфории, надежд, уверенности: можно что-то сделать, чтобы выйти в окружающий мир.

В частности, я лично (хотя и не отношусь непосредственно к шестидесятникам), еще работая в библиотеке общественных наук, прочитал в то время в спецхране практически все эмигрантские журналы и издания. Сплошь просмотрел дореволюционные журналы “Мир божий”, “Отечественные записки”, “Русскую мысль”, “Вопросы философии и психологии”, потом “Большевик” и “Коммунист” с начала и до конца. Примерно такой же процесс знакомства с тем, что происходило в нашей стране, особенно в 20–30-е годы, можно было наблюдать и за пределами Москвы. В столичных газетах и журналах стали появляться новые люди и новые авторы.

Что же касается “Вопросов философии”, то здесь это сопровождалось постепенным вытеснением старой гвардии (во главе со сталинскими философами-академиками Митиным и Константиновым) новым поколением, к которому принадлежали вернувшиеся из Праги Фролов, Грушин, Мамардашвили — люди, работавшие в “Проблемах мира и социализма” и общавшиеся там с западными коммунистами. И это общение, разумеется, не прошло для них бесследно. Можно вспомнить в этой связи, например, статью Карякина в “Проблемах” о Сталине или публикацию Фролова и Мамардашвили о науке и демократии. Это еще 1963–1964 годы. А когда я появился в “Вопросах философии” — там произошла как раз смена редколлегии. Во главе журнала был поставлен Фролов. И хотя среди членов редколлегии оставались еще академики, однако перевес сил был явно на стороне молодых. К тому же тогда обновился и редакторский

состав, то есть между рядовыми сотрудниками и редколлекцией журнала заметных противоречий во взглядах не было. Нам не надо было изощряться в том, чтобы обвести главного редактора или его заместителя, потому что они сами были нацелены на то, чтобы помочь процессу преобразований, реформ, которые еще продолжались. Уже, правда, по инерции, на закате — тем не менее... И все это окончательно подкосил 1968 год, оккупация Чехословакии.

Должен сказать, что многие в журнале были против оккупации. Естественно, на страницах журнала свои настроения открыто не выражали, да это и невозможно было, тем не менее пытались что-то сделать. Было подготовлено несколько статей из Чехословакии, связанных с интеллектуальной атмосферой того времени (помню, например, статью Попеловой), с тем, что переживали сами чехи. Но все эти замыслы рухнули.

Иван Фролов, наш главный редактор, имел тогда связи в международном отделе ЦК. Это был наиболее прогрессивный отдел, потому что у него были прямые контакты с западными компартиями, он первым был вынужден реагировать на позиции западных коммунистов по тем или иным острым проблемам, в том числе связанным и с оккупацией Чехословакии. Отдел в основном поддерживал Фролова, но все равно общую тенденцию уже невозможно было переломить.

И тогда — в поисках опоры или поддержки, а также новых авторов — журнал стал проводить “круглые столы” с привлечением известных ученых из разных институтов на темы, связанные с научно-технической революцией, с проблемами демографии, экологии, образования. Это — заслуга Фролова, благодаря ему на “Вопросы философии” стали обращать внимание. Он обладал организаторскими способностями, был автором ряда принципиальных публикаций, в том числе философского анализа работ Лысенко, и постепенно заслужил репутацию прогрессивного человека среди членов академии, таких людей, как Петр Леонидович Капица, Николай Николаевич Семенов, Андрей Николаевич Колмогоров и другие. На них, собственно, он и стал опираться.

А у меня в журнале был особый статус. Я занимался междисциплинарными предметами, на стыке наук, и непосредственно подчинялся Мерабу Мамардашвили. В мою задачу входил поиск новых авторов и новых тем. Впервые на страницах журнала тогда появились, например, статьи Анатолия Вишневского, Натальи Автономовой, Давида Зильбермана. Ну, и естественно, вста-

ла очень серьезная проблема публикации западных философов и ученых. К сожалению, даже статья, например, Альтюссера проходила с трудом. После 68-го года запрет на так называемых буржуазных философов мы не смогли преодолеть. Хотя по просьбе Мамардашвили я писал, в частности, письма Хайдеггеру, Леви-Строссу, у меня даже где-то хранятся копии этих писем. Правда, одна статья Леви-Стросса, кажется, была все же опубликована. Но это не типично. Так что были иллюзии, были желания, но одновременно были и границы. Причем весьма жесткие границы в той реальной жизни. Когда оглядываешься назад, то понимаешь: даже удивительно, что в тех условиях мы надеялись, будто каким-то образом можно было это сдвинуть. С помощью информации повернуть мозги партийного чиновника — в сторону его большей открытости к миру, к реальным проблемам.

— *А как вы представляли себе тогда свою читательскую аудиторию?*

— Аудитория, естественно, была главным образом академическая, поскольку и сам журнал академический. Он был изданием Института философии. И одновременно находился в подчинении ЦК КПСС. Попытка отделиться, получить независимость, самостоятельность в какой-то момент Фроловым предпринималась, но все зависело от того, кому непосредственно в ЦК он подчинялся. Если оттуда начинали давить, Фролов судорожно искал возможности это нейтрализовать и даже радикально решить вопрос — о подчинении только Академии. И поскольку в журнале стали печататься историки, экономисты, науковеды и так далее, то его действительно читали. Я проработал там пять лет и при встречах не только с друзьями, но и просто в разных компаниях слышал хорошие отклики. Могу с уверенностью сказать, что журнал пользовался определенной популярностью, но в основном в интеллигентской среде. Среди широкой читающей публики он, конечно, был мало известен, возможно, только в Москве или Ленинграде.

Были попытки расширить традиционную аудиторию. Помню, Фролов как-то говорил на редколлегии по поводу тиража “Вопросов философии”, что по нему мало о чем можно судить. Подписка на газеты и журналы зачастую была ведомственной, проводилась по лимиту, по приказу, и здесь многое было непредсказуемым. Скажем, Фролов завел связи в Министерстве обороны, и в какой-то момент чуть ли не во все армейские части пошел наш журнал. То есть в том числе предпринимались и такие усилия в поисках нового читателя. Было желание распространить

журнал, скажем так, и в необычной среде, включая военных или, например, сотрудников МИД. В частности, у нас печатался тогда заместитель министра иностранных дел Семенов — очень активный и, судя по всему, порядочный человек. Естественно, появление его статей, как и статей Дмитрия Волкогонова, вызывало соответствующий резонанс в мидовской и армейской среде. К тому же мы проводили выездные читательские конференции. Я, например, в поисках новых авторов ездил в Прибалтику, рассказывал о позиции журнала, его целях, встречался с Лотманом. Ездил к Бахтину — он жил в доме для престарелых под Москвой. Тогда же встречался с сыном Павла Флоренского, с Алексеем Федоровичем Лосевым. В Ленинграде общался с Дмитрием Лихачевым, после чего в “Вопросах философии” было напечатано мое интервью с ним. Пытался что-то искать в домашних архивах. Приносил в журнал много интересных вещей... Но, как я уже сказал, после пражских событий, в начале 70-х, начался откат, и наша эйфория стала спадать, над журналом даже нависла угроза. И потом действительно всех разогнали — это уже в конце 1974 года. А я перед тем уехал работать в Прагу, в “Проблемы мира и социализма”.

— *А почему все же разогнали?*

— Вспомните, кто занимался тогда наукой: в московском горкоме — Ягодкин, в аппарате ЦК — Трапезников, в Политбюро — Суслов. Еще знаменитый среди философов Гриша Квасов, который считал себя очень прогрессивным. И сейчас, видимо, считает. Они и вершили судьбы — людей, институтов, изданий...

Процесс понимания того, что на самом деле происходит в стране, развивался медленно. Еще многое нужно было почистить, увидеть, пощупать собственными руками, чтобы разобратся. И когда люди понимали, то, я знаю, порой не выдерживали. Некоторые становились диссидентами, радикальными. С ними я тоже общался, у меня много было таких знакомых и даже друзей. Я их понимал, но они, как правило, нас не понимали. Раскол в среде интеллигенции, который скрыто существовал, проявился именно в это время.

Уже в годы перестройки, я думаю, встретились как бы два потока, или два течения общественно-политической мысли России. С одной стороны, люди, которые прошли опыт Праги (скажем, тот же помощник Горбачева — Черняев, или тот же Фролов) и принесли с собой представления о неких либеральных ценностях, не могу сказать — социал-демократических, но что-то подобное. Для тех, кто работал в свое время в “Проблемах”,

общение с западными компартиями, как я уже говорил, в этом смысле не прошло бесследно. Я в этом уверен. А с другой стороны, параллельно в России развивался процесс, который кристаллизовался вокруг журнала “Новый мир”. Он уже выдвинул на арену российских демократов. У этих людей тоже сформировалось вполне определенное мировоззрение, связанное с желанием разобраться в собственной истории (когда шло раскулачивание, раскрестьянивание и так далее), чтобы познакомить читателя с реальными ценностями, существовавшими в самой России. Вот эти потоки и встретились в середине 80-х годов. Эффект перестройки, на мой взгляд, связан прежде всего с этим — когда появилась реальная социальная база. Она была небольшая, но Горбачев, видимо, почувствовал, что может что-то сделать.

— *В те годы, когда Фролов возглавлял журнал, он был все же ближе к академическим кругам или цеховским? Как вы оцениваете его роль?*

— Поскольку он прошел политическую школу в Праге, то, конечно, прекрасно понимал, что без поддержки в аппарате ЦК проводить линию журнала, в общем-то прогрессивную, было бы сложно. Но одновременно, как я уже говорил, искал поддержку и в академических кругах, прежде всего среди людей типа Капицы. И нашел ее.

— *Это благодаря его книге о генетике? Или просто благодаря связям?*

— Я думаю, в первую очередь благодаря связям, конечно. Он специализировался в области философии биологии и был, в частности, хорошо знаком с академиком Дубининым. Однако к тому времени заинтересованная публика уже прочитала Жореса Медведева, узнала о судьбе Вавилова. На этом фоне написанное Фроловым воспринималось уже не так, как в первый момент. Но репутация у него в академической и определенной партийной среде была высокой. Эти люди прекрасно понимали, что позиция, которая была зафиксирована Фроловым, как бы партийный взгляд на проблему, считалась очень важной. Или я бы сказал так: на фоне диссидентской литературы это проигрывало, а на фоне официально принятого пользовалось уважением.

— *Юрий Петрович, а что вы могли бы сказать о роли в журнале Мераба Мамардашвили, вашего непосредственного начальника, с которым потом вы многие годы дружили?*

— Приход Мераба в журнал (кстати, во многом благодаря Фролову), общение с ним, его выступления на заседаниях редколлегии — это отдельный разговор. Скажу лишь, что его по-

явление, на мой взгляд, сыграло очень важную роль в том смысле, что в нем не чувствовалось ангажированности, хотя он, конечно, был вовлечен в политику. Но при этом сохранял какую-то неуловимую самостоятельность — во всем. По-настоящему его интересовала только профессиональная философия, философская культура. И нас он “натаскивал” на это. Он не призывал, а просто демонстрировал своим поведением, манерой мышления, своими выступлениями именно эту присущую ему культуру. И мы, конечно, вместе с ним если не росли, то во всяком случае лучше понимали, что такое философия, что на самом деле происходит и так далее. И уже в зависимости от этого, если приходила интересная, но сырая статья, у нас были критерии, что с ней надо делать дальше.

Мераб, конечно, был человеком уникальным. В редколлегии в то время были Зиновьев, Грушин, Замошкин, Лекторский — люди все очень интересные, но каждый из них занимался все-таки не столько философией, сколько конкретными проблемами, с чем непосредственно была связана их жизнь. Скажем, Грушина — с социологией, Замошкина — с Америкой, Зиновьева — с логикой. А Мераб был ориентирован на философию, предан ей и придан журналу — не скажу, в глазах широкой общественности, а прежде всего в глазах знатоков, — ощущение того, что он действительно имеет отношение к философии. Раньше журнал, по сути, таковым не считался. “Вопросы философии” воспринимали как сугубо идеологическое, партийное издание. А появление всех этих людей, и прежде всего Мамардашвили, изменило имидж журнала, к нему стали относиться как к философскому изданию. И, конечно, в первую очередь благодаря статьям самого Мераба.

Его тексты сложны для восприятия. Писал он нечасто. Но я могу точно сказать, поскольку это происходило на моих глазах, что каждая его публикация резонировала и практически тут же перепечатывалась в Италии и во Франции (как, скажем, статья, посвященная Марксу). Иногда Мераб участвовал в написании редакционных статей. Помню, например, как они с Келле писали статью “Политика и философия”. Примерно полгода это продолжалось, потому что было желание сформулировать какие-то вещи по-новому и хотя бы немножко сдвинуть представление о политике, понимание политики...

То есть он пытался что-то сделать, но реальная ситуация была такова, система власти была настолько негибкой и контроль настолько плотным, что добиться реального эффекта



оказалось трудным. И где-то в начале 75-го редколлегию разогнали. Собственно, на этом все и кончилось. То, что было потом, уже нечто иное.

— Существует мнение, что журналу удавалось публиковать то, что не удавалось другим, благодаря сложному научному языку, это будто бы специально культивировалось. И в ЦК, и в цензуре либо не совсем понимали, о чем идет речь, либо кое-что допускали в уверенности, что читатель не поймет. Это действительно так?

— Нет. Я думаю, что нет. Во-первых, Фролов, хорошо зная политическую “кухню”, сам внимательно читал каждый номер журнала. А во-вторых, те статьи, которые проходили с трудом или специально готовились с той целью, чтобы дать почувствовать партийным чиновникам существование позиции, отличной от общепризнанной, он показывал в ЦК. Я говорю об этом не в порядке осуждения Фролова, просто время было такое. Если помните, Твардовский в те годы, когда каждый номер “Нового мира” лежал в цензуре чуть ли не по несколько месяцев, тоже ведь поступал подобным образом. Поэтому если что-то проходило, то уже не играло роли, какой там язык — простой или трудный. Мераб же писал сложно, потому что сама философская проблематика сложная. Во всяком случае, я не помню, чтобы в нашем журнале искали что-то “стоящее за”, “второе дно” и тому подобное. В литературе и публицистике это действительно происходило. А у нас над такими вещами никто специально не думал.

— Можно сказать, что Мамардашвили задавал вам в то время какой-то уровень, а вы задавали его своей аудитории. Был ли на это отклик?

— Отклики, разумеется, были, приходило немало писем. Но поскольку специальных исследований по такому поводу не проводилось, говорить об этом трудно. Грушин, правда, пытался что-то выяснить, изучая общественное мнение. Еще что-то делалось, кажется, Мирским. Но все это в общем-то было обречено с самого начала, поскольку непонятно: что надо было оценивать и что исследовать. Учитывая общий уровень сознания. Не знаю... Несвободными в той или иной степени были все. Как писал Вознесенский о своем поколении: “Довольно околичностей, довольно чушь молоть! Мы дети культа личности, мы плоть его и кровь!” Очень точно.

Кстати, и Вознесенский, и Евтушенко (популярнейшие в начале 60-х годов) часто выступали в клубе МГУ на Моховой.

Я бывал на этих встречах и хорошо помню: вместе они, как правило, не выступали, но если выступал один, то второй приходил, садился в зале и следил, как реагирует аудитория. Шло соревнование, вполне естественное. Эта роль устного, еще не напечатанного слова, была тогда высока, и они обкатывали свои стихи в студенческих аудиториях. Студенты на улицу не выходили, но в общем сознание их — как, в частности, и мое, — формировалось в том числе и на этих встречах, в клубе МГУ.

Короче говоря, можно по-разному оценивать то, что происходило в конце 60-х годов, но одно несомненно: желание раскрепощения в стране было велико и выражалось в самых разных формах — в туристических походах, авторских песнях, подпольных выставках, в “клубах интересных встреч”. И наша работа в журнале как бы накладывалась на этот фон. Потому трудно сейчас отделить, что именно больше влияло на сознание людей.

— *О том же Мерабе Мамардашвили иногда говорят как о социальном философе. У него была какая-то “программа”? Он хотел менять общество?*

— Нет. Конечно, нет. Будучи философом, он прекрасно понимал, что с помощью программы невозможно что-то изменить.

— *Но все-таки свои представления о развитии общества у него были?*

— Не мешать людям реализовывать свои способности. Философ ведь исходит из того, что нужно прежде всего принять мир таким, какой он есть, включая собственную смерть, болезни, социальные трагедии и так далее. Принять социальный мир таким, какой он есть, а дальше... Дальше ты его не хочешь менять. Ты знаешь, что он подвижен, переменчив, в нем все время что-то происходит. И если ты это понимаешь и ты — человек профессии, значит, должен заниматься собственным трудом. Так он считал.

К нему в полной мере относятся слова Джорджа Оруэлла, которыми тот характеризовал своего героя в романе “1984”: “Духовное наследие человечества передается дальше не потому, что вас кто-то услышал, а потому, что вы сами сохранили рассудок”. То есть я хочу сказать, что чисто внешне жизнь Мераба была в общем обычной, я не замечал в ней ничего экстраординарного. У него не было никаких странных, бросающихся в глаза привычек и комплексов. Никаких, в этом смысле, душевных мук. Не было одержимости идеями. Он никогда не жаловался, умел слушать других, не искал славы, не строил теорий, не терял достоинства. Короче, жил, как хотел, в согласии с самим собой, и сле-

довал своим убеждениям, не изменял им. Но у него была претензия, которую он действительно никогда не скрывал — преодолеть “мыслительную неграмотность страны”. И я думаю, то, что происходило и происходит сейчас — именно с точки зрения его представлений о развитии общества, — полностью оправдывает такую претензию. Учитывая, что семьдесят лет мы жили в стране, где все было перевернуто, искажено. Начиная от строя, который был незаконным, и кончая тем, что люди были лишены своих естественных прав: на собственность, свободу волеизъявления, свободный труд и так далее. А взамен этого навязано нечто совершенно иное, причем навязано террором. А он считал: форма человеческого общежития может складываться и развиваться только естественным путем. Что фактически мы и наблюдаем сегодня — как бы к этому ни относиться, — когда из людей вышло наружу все, что они носили в себе: зависть, агрессия, желание самоутверждения, доброты, скромность. Одним словом, все хорошее и плохое, поскольку до этого не было граждан, а были подданные, и мы не были индивидуально подготовлены к личным решениям. А теперь в нашу жизнь пришла реальность. И из зрителей, посещавших раньше лишь кинотеатры и стадионы, мы превращаемся в участников реальных процессов в публичном пространстве. Благодаря прессе, занимаясь бизнесом, участвуя в политике. Так можно ли вот эти миллионы человеческих состояний упорядочить какой-то программой, пусть даже продуманной заранее? Конечно, нет.

Есть такое известное понятие — “секуляризация”, к которому относятся обычно с подозрением. Что, мол, это нечто ужасное, подорвавшее когда-то религиозные основы европейской культуры. Что из культуры ушел дух христианства в результате научно-технического прогресса и социального развития — имеется в виду появление в западных странах института парламентаризма, политических партий, системы социального страхования и так далее. Но так ли это на самом деле? Допустим, если под наблюдением мастера я тренирую свое тело и занимаюсь этим десять лет, то я ведь наверняка овладею его навыками. Так и здесь, хотя, разумеется, это только аналогия. Секуляризация означает простую вещь: что духовная составляющая вошла в какой-то момент в европейскую культуру и институционализировалась. То есть люди научились практиковать сложность жизни, в том числе и с помощью прессы. И, безусловно, права, ибо право, если угодно, — это математика гражданской жизни. В то время как в России подобный процесс освоения

сложности жизни фактически не развивался. Поэтому неудивительно, что у нас отсутствует и соответствующий язык. И сам язык, если его не развивают, рано или поздно мстит за это.

Приведу лишь один характерный пример, связанный со словом “наука”. Если вы откроете “Словарь древнерусского языка X–XVII вв.”, то увидите, что слово “наука” образовалось от слова “ук” или “наук” — научение. Научение чему? Чтению и пониманию Библии. На Западе, как известно, тоже существовало сходное по смыслу слово “схоластика”, отсюда — “школа”. Однако в XVII веке появляется физический эксперимент, связанный с математикой, и рождается новое понятие “scientia”, то есть наука, но уже в совершенно ином смысле, вместо схоластики. Это знание, основанное на опыте и математическом анализе, а не просто вдалбливание каких-то истин. Я уже не говорю о появлении затем социологии и других социальных дисциплин. В России же мы продолжаем бездумно пользоваться прежним понятием, в силу чего у нас так легко приживаются “единственно правильные” учения. Поскольку “работает” внутренняя форма слова, позволяющая использовать науку в идеологических целях.

— *Не хотите ли вы сказать, Юрий Петрович, что Мераб Мамардашвили занимался наукой ради науки?*

— Нет, я хочу сказать, что, занимаясь философией, Мераб, естественно, размышлял и о метафизических основаниях научного знания. Или, как он иногда выражался, — о научности науки. Можно ли называть его социальным философом? И да, и нет. Да, потому что внесоциальной философии, на мой взгляд, не бывает. А нет, потому что его как философа интересовала в первую очередь культура рационального мышления. И поскольку этот аспект был важен для его позиции не только как философа, но и гражданина — поясню его.

Мераб считал: то, что существует вокруг, скажем, вас или меня, совсем неочевидно; не только по нравственным основаниям, а и потому, что внутри моего существования (после процедуры радикального сомнения) нет места “событию” другого целого. Он рассуждал примерно так: допустим, кто-то (чей-то ум) наблюдает за мной, и элемент этого ума, не известного мне, может выступать в мире моего сознания в виде какого-то события. Когда я вполне могу воспринимать его как событие, объективно случившееся в моем сознании, хотя на самом деле это просто элемент чужого ума, других людей, и они как бы что-то подсовывают мне из своего мира в мой мир. Вве-

дение же постулата рациональности как раз и означает устранение, недопущение того, что мой сознательный мир может быть организован подобным образом. Ибо из него следует, что мой мир рационален в той мере, в какой универсальное в нем и его элементы не являются элементами другого, не известного мне целого. То есть в этом смысле я самодостаточен и сам являюсь носителем социальной формы.

В сущности, в этом и должна выражаться позиция здравомыслящего интеллектуала и вообще любых реальных субъектов в гражданском обществе, занятых своей жизнью и обладающих нормальным социальным пафосом. В той мере, в какой мы строим свою гражданскую жизнь, мы неизбежно реализуем и свой индивидуальный пафос, но это вовсе не значит, что мы должны навязывать свою ученость или философию всему обществу. Принцип рационального отношения к жизни, включающий в себя действительное осознание того, что человек уже есть мера всех вещей, категорически запрещает это. Им вводится иная посылка. А именно: социальный порядок устанавливается в зависимости от конкретных усилий людей, а не достигается утопическим желанием, тем более со стороны государства, сделать всех умными и счастливыми.

Следовательно, то, что мы называем “социальной формой”, еще должно превратиться в институты, когда все зависит в конечном счете от людей, создающих эти институты. Неважно, будет ли это институт прессы, судебная система, парламент, местное самоуправление. И что Мераб сформулировал в виде проблемы “множественного индивида”.

— *То есть мы можем сказать, что все его философское творчество было обращено к человеку?*

— Только. Потому что философию в конечном счете интересуется только человек и его сознание.

Проблема мысли, или сознания, и социальной формы была для Мераба центральной, так как он стремился на опыте собственной жизни претворить пережитое Россией тотальное зло в новую реальность, поставив тем самым своеобразный бытийно-личностный эксперимент в культуре. Во всяком случае, для меня очевидно, что на основе именно этого эксперимента рождался его мир, который можно назвать сегодня миром Мераба Мамардашвили.

— *Потом, уйдя из “Вопросов философии”, вы имели возможность сравнивать, наблюдать, что происходило в других научных журналах, в печати вообще. Насколько извест-*

*но, вы работали в “Проблемах мира и социализма”, затем, вернувшись из Праги, — в “Общественных науках”. Каковы были ваши впечатления?*

— Да, пребывание в “Проблемах” кончилось для меня тем, что у меня отобрали паспорт и, как неблагонадежного, определили в журнал “Общественные науки” под надзор известного чекиста Григулевича, который через два примерно года сдал меня в органы. Кстати, в это же время на допрос в КГБ вызывали Мераба.

А что касается самого журнала, то он издавался на “зарубеж”, то есть переводился на иностранные языки и распространялся через посредников, дабы показать, будто у нас в стране что-то происходит, общественная мысль не угасла, что есть якобы разные точки зрения, выявляются какие-то тенденции и так далее. Содержание журнала формировалось на основе статей, которые печатались в академической периодике, в других изданиях — по всему спектру, включая экономику, историю, философию, филологию. И я вместе с другими сотрудниками журнала все это просматривал, читал и порой встречал интересные вещи. Хотя уже был полный застой, тем не менее что-то интересное происходило, например, в лингвистике, в исторической науке, этнографии. И я это рекомендовал для перевода. Хотя, опять же, все это контролировалось. У журнала была пропагандистская задача: каким-то образом достучаться до сознания левой интеллигенции на Западе, симпатизировавшей Союзу. Однако обратной связи не было никакой. Деньги на это тратили большие, а какова отдача — не знали. Приходили, правда, иногда письма — помню, из Индии, еще откуда-то... Чтение журналов удовлетворяло все-таки определенное любопытство. Мне лично это было интересно. Но не могу сказать, чтобы меня поразила в те годы хоть одна статья, из которой можно было бы понять, что нас ждет впереди.

Другое дело — перестройка. Примерно с конца 87-го года, когда, собственно, все и началось — критика, разоблачения, надежды, эйфория. Оценивая же новую прессу, которая вскоре появилась, могу сказать сразу: ее трудно сравнивать с той, что была в 60-е годы, во времена хрущевской оттепели. По одной причине: тогда прессы как самостоятельного института не было. Она выполняла чисто идеологическую функцию. Теперь же пресса обрела независимость. И хотя говорят, особенно в последнее время, что она вынуждена продаваться, можно посмотреть на это и по-другому. Без денег нельзя существовать в прин-

ципе, поэтому форма и степень продажи — она ведь бывает разная, многое зависит от самих журналистов, от того, насколько они способны самостоятельно и профессионально работать. И, по-моему, есть разные журналисты, как и разные издания. В целом же, конечно, для журналистского сообщества проблема сохранения независимости продолжает существовать.

Журналист, на мой взгляд, обязан быть профессионалом и в том смысле, что должен следовать определенной философии. Знать, из какого корня мы прорастаем — на уровне собственного опыта сознания. Учитывая общую низкую культуру рационального мышления. Да, у нас была великая литература, и Лев Толстой, например, в качестве публициста писал, что русскому человеку не нужно государство, не нужен парламент, потому что он ближе всех к Богу, в отличие от западных людей. А Достоевский, в свою очередь, говорил, что мы “самый страдающий народ в мире”, что мы особенные. Но можно ли с этим согласиться? Как преодолеть традицию собственной российской гениальности? Ведь гений языка продолжает жить в нас. Поэтому та форма философского рассуждения, которая была предложена Мерабом Мамардашвили и реализована им в русском языке, в русской культуре, я считаю, закладывает очень важные основы.

— *А как, по вашему мнению, Юрий Петрович, вы или мы не бесполезно тогда работали? Что-то осталось от нашей деятельности, или все опять началось с нуля?*

— Что значит “полезно-бесполезно”? Как можно отказаться от целого куска жизни? Я бы сравнил в таком случае человека или даже поколение с деревом. Можно представить дерево без корней? Мы прорастаем в собственную историю, в европейскую историю, вообще в человеческую культуру. Можно ли из этой истории изъять те шестидесятые? Как и любые, кстати, если мы действительно хотим жить и думать самостоятельно.

Про себя лично я точно могу сказать, что не начал с нуля. Просто раньше жизнь была невозможной, а сейчас она возможная, сейчас я могу больше, чем прежде. Я живу, мне интересно, и знаю, что это выросло в том числе и из моего собственного прошлого, не говоря уже о друзьях и, конечно, Лене — моей жене.

— *Вы создали школу — Московскую школу политических исследований. Не могли бы немного рассказать о ней?*

— Началось все это еще при жизни Мераба, когда мы общались с западными журналистами, встречались с нашими евро-

пейскими друзьями и стали думать, как жить дальше. Школа родилась — по инициативе Лены — из общения и разговоров с интересными людьми, из желания свести их с теми, кому нужны их знания. Практически она существует уже семь лет. Через школу прошло полторы тысячи молодых людей из разных регионов России, в основном от двадцати пяти до тридцати пяти лет: политики, парламентарии разных уровней, работники администраций, предприниматели, журналисты. Все, естественно, с высшим образованием, мы их собираем обычно на неделю, чтобы они общались между собой, а главное — с экспертами, российскими и зарубежными. Западные эксперты — тоже, как правило, члены парламентов, бывшие министры, менеджеры, журналисты, редакторы известных газет, руководители телевидения. Они выступают, после этого — дискуссии, комментарии, ответы на вопросы. А вечером — активные игры. Нужны хороший ритм, определенная напряженность, адекватные остроте обсуждаемых проблем.

— *Интересно, какое место среди них занимают проблемы журналистики?*

— Я считаю, вполне достойное. Им уделяется постоянное внимание. В одном из специальных выпусков наших публикаций ведущие зарубежные профессионалы рассматривают состояние современной журналистики — в мире и в России. Специальный семинар посвящается институту свободной прессы.

В течение года мы проводим обычно двенадцать-тринадцать семинаров (под Москвой, в Голицыно, и в российских регионах) и не меньше трех в странах Европы: в Великобритании, во Франции, Италии, Испании, Люксембурге, Швеции, Германии, Дании, Швейцарии. Кроме того, издаем первую в России библиотеку по политологии, а также Дневник школы и журнал.

Кстати, среди участников самого первого нашего семинара были депутаты Государственной Думы: Владимир Рыжков, Лариса Мишустина, Андрей Захаров и другие.

— *А их интерес в чем?*

— Вы знаете, сначала было не совсем понятно, чего они хотели, что их больше интересует — очевидно, это было связано с общей атмосферой неуверенности, которая царил в стране. Выделялись лишь единицы. Но начиная с 96-го года ситуация явно изменилась. Пришли люди, четко ориентированные и знающие, что им нужно. Мы вдруг почувствовали (я имею в виду в первую очередь российских экспертов), что свой прагматизм они не воспринимают без интеллектуального измерения,



без духовного начала. Или я сказал бы так: появился даже определенный интерес к философии политики. Одних технологий, видимо, недостаточно.

На самом деле в регионах идет весьма напряженный интеллектуальный процесс. Он незаметен из Москвы, но молодым людям из регионов явно не хватает широты интеллектуального общения. К тому же они менее циничны. Думаю, что журналистика, делающая ставку на голый прагматизм, игнорирующая интеллектуальный, квалифицированный анализ, часто ошибается. При этом замечу, что у нас школа открытая, внепартийная. Мы отбираем и принимаем в нее не только демократов разных оттенков, но и коммунистов, членов ЛДПР и так далее. Они учатся и цивилизованному общению, попадая, если угодно, в совсем непривычную для себя среду.

— *В последнее время много говорилось о необходимости национальной идеи, новой социальной доктрины, которая объединила бы россиян. Как вы к этому относитесь?*

— Я называю это социальной алхимией. На самом деле существует одна национальная идея — это просвещение и вхождение в мир цивилизации.

— *Но может ли такой специализированный журнал, как, например, “Вопросы философии”, способствовать если не рождению новых доктрин, то поиску лучших решений, тому, чтобы современный человек научился лучше устраивать социальный мир вокруг себя?*

— И да, и нет. Русская интеллигенция долгое время пыталась учиться у Запада. Но мысль, способную раздвинуть горизонт видения собственных проблем, на мой взгляд, заимствовать невозможно. Это всегда национальный труд и усилие личности, стремящейся к утверждению своего гражданского достоинства.

В истории, как вы знаете, нет гарантий. А то, что кажется таковым, не более чем иллюзия. История — это естественно-исторический процесс, а также факты и наше желание или нежелание считаться с ними. А фактом сегодняшней российской истории является продолжающийся мучительный процесс рождения новой социальной формы, ее экономических, гражданских и государственных институтов.

1972–1985

А.Б. Борин

“Нам удалось вытащить из тюрьмы

37 невиновных...”

— Александр Борисович, вы знали “Литературную газету”, так сказать, изнутри в разные времена. Нас в данном случае интересует время застоя, когда “Литературка” практически оставалась единственной заметной, смелой газетой. Чем отличалось тогда ее содержание, какие идеи она пыталась нести людям? А возможно, служила лишь “клапаном для выпуска пара”, что ей нередко приписывают?

— Если говорить о прессе времен застоя — во всяком случае, прогрессивной прессе того периода, — то главной задачей, мне кажется, было сказать вслух то, о чем и так все знали и тайно шептались на кухне. Можно было не сообщать ничего нового, но сказать вслух, публично, открыто всем известное — часто уже это становилось сенсацией: “Как, вы не читали?” Я помню, Григорий Горин рассказывал (правда, позже, когда уже наступила гласность), что ему позвонил один человек и спросил: “Ты читал сегодня газету?” — “А что?” — “Нет, это не телефонный разговор”... Шутка, но она очень достоверна. Действительно, вот все шепчутся, шепчутся, озираясь, — и вдруг об этом громко, в газете.

Считается, что “Литературной газете” многое разрешалось. Да, разрешалось больше, чем другим. Но сказать, что она действовала свободно и оставалась безнаказанной — было бы неправдой. Вот, например, такой случай. Заместителем главного редактора работал тогда Виталий Александрович Сырокомский — редактор от Бога. Газету, собственно, делал он, Чаковский, по сути, был “крышей”. Но Сырокомского сняли. За что? Мы поместили корреспонденцию о том, как в кооперативном доме МИД какие-то хваткие молодцы выгнали из квартиры старушку. Бесцеремонно, нагло отобрали. Сырокомскому позвонили из МИД и потребовали дать опровержение. Он, однако, не согласился, наоборот, напечатал ответ из прокуратуры, подтверждающий правоту газеты (к тому же эта публикация, как

говорят, появилась в день рождения Громыко). Ну, и в итоге в ЦК Виталию Александровичу сказали: “У нас нет к вам претензий, но вы переходите на другую работу”.

С одной стороны, многое вроде бы разрешалось “Литературной газете”, а с другой — вот такой эпизод. В ту пору говорили: не бывает смелых журналистов, есть смелые редактора. И в этих словах был свой резон. Но мало было быть только смелым — очень многое еще зависело от степени влияния главного редактора. Александр Борисович Чаковский — сложная фигура. Очень сложная. Но если бы его не было, то “Литгазеты” как некое рупора, ну, скажем, прогрессивных идей, такой “белой вороны” в отечественной печати, наверное, тоже не было бы. Суть в том, что Чаковский мог выходить на самый “верх”.

— Он ведь был членом ЦК?

— Да. Как-то, когда я сидел у него в кабинете, ему позвонил инструктор ЦК по поводу нашего выступления (уже не помню, о чем шла речь). Чаковский и разговаривать с ним не стал: “Я занят”. И положил трубку. Ему, я понимал, мог позвонить человек рангом не ниже секретаря ЦК. Вот секретаря ЦК он выслушает, инструктора — нет, не тот уровень. Именно уровень тогда определял чрезвычайно много.

— *Уровень в партийных структурах? Или авторитет в писательской среде? Ведь, казалось бы, “Литературная газета” — орган Союза писателей...*

— Что касается авторитета — не знаю, но степень независимости газеты в значительной степени определялась статусом Чаковского.

— *В этом смысле различались статус и поведение Чаковского и Симонова, который, как известно, в свое время тоже был главным редактором “Литературки”?*

— То есть, что мог себе позволить Симонов? Не знаю, как было в газете, он работал здесь до меня, но при нем я состоял членом правления Центрального Дома литераторов и наблюдал однажды такую картину: замдиректора ЦДЛ Михаил Минаевич Шапиро дрожащим голосом говорит: “Константин Михайлович! Звонили из райкома. Они требуют предоставить им помещение, а у нас календарь, все расписано”. Симонов отвечает: “Пусть позвонят мне”. — “И вы им разрешите?” — “Не тревожьтесь, мне они не позвонят”.

Это к вопросу о том, кто и что мог себе позволить. Помню, на редколлегии в “Литературке” обсуждался один очень острый материал. Член редколлегии Александр Иванович Смирнов-

Черкезов, замечательный журналист и прекрасный человек, предложил, обращаясь к Чаковскому: “Если у вас есть опасения, давайте я один подпишу статью в печать, возьму на себя всю ответственность”. Тот насмешливо посмотрел на него и сказал: “Ответственность выдаете у нас в закрытом распределителе, а вы, Александр Иванович, там не прикреплены”.

Он очень хорошо знал систему и достаточно цинично к ней относился. Как-то мы выступили, в ЦК опять были недовольны, оттуда пришло письмо, требовалось отвечать. Статья была моя, я подготовил ответ и принес Чаковскому. Он прочел. Спрашиваю: “Ну как, убедительно?” — “Что значит “убедительно”? — раздраженно ответил он. — Захотят убедиться — убедятся, не захотят — любые ваши старания напрасны”.

Однако огромные возможности главного редактора все равно не гарантировали нам, что газете всегда удастся сказать свое слово. Даже в этих привилегированных условиях мы работали будто в “смирительной рубашке”. Газета подписывалась поздно вечером в понедельник, но за час до ее выхода мог раздаться звонок из Главлита — и статью снимали. А бывало и так, что на страну она уже уходила — матрицы в разные города заблаговременно отправлялись самолетом, — а из московского номера статья снималась, так что, по сути, печатались разные газеты.

В феврале 1977 года, если помните, случился сильный пожар в московской гостинице “Россия”. Тут же пошли разговоры: “Поджог”. Я присутствовал на следствии, оно установило: никакого поджога. Просто был беспорядок, в радиоузле работал паяльник, что категорически запрещено, а дежурный — такая романтическая деталь — паял серьги своей любимой. И вот искра... Кроме того, здание гостиницы было построено с вопиющими нарушениями, противопожарные лестницы сделаны не так, как полагается, синтетические покрытия не обработаны огнестойким составом. При сдаче гостиницы несколько членов приемочной комиссии даже отказались подписать протокол, но “сверху” цыкнули, и гостиницу торжественно открыли. Однако написать правду нам не удалось, стеной встал тогдашний секретарь МГК партии Гришин. Он настаивал: “Поджог!” — ему нужны были враги, на которых можно было бы все свалить. И настойчивые попытки Чаковского и Сырокомского добиться публикации материала ни к чему не привели.

Не менее активно пробивали они и статью о взрыве на радиозаводе в Минске, где погибло сто десять человек. Я прочел

в Верховном суде дело. Причина беды та же самая: беспечность, грубейшие нарушения технологии. Чаковский сказал: “Напечатать это будет непросто. Надо бы заручиться поддержкой Машерова. Поезжайте в Минск”. С вокзала я отправился прямо в ЦК Белоруссии. Помощник Машерова был предупрежден о моем приезде. “Петр Миронович вас ждет, пожалуйста”. Машеров при мне прочел полосу и сказал, что ему кажется, статью целесообразно напечатать. “Могу я позвонить сейчас Чаковскому?” — “Да, пожалуйста, помощник вас соединит по ВЧ”. Однако и эту статью, при столь “высокой визе”, напечатать мы не смогли. Ее зарубил секретарь ЦК Устинов. Позже я увидел письмо, пришедшее из ЦК в редакцию. Ни одного факта, приведенного в статье, не опровергалось, ни одного довода не приводилось, но вывод делался категорический: “Борин написал антисоветчину”. Непробиваемый ярлык, который прекращал любые дискуссии.

— *А скажите, Александр Борисович, сама газета изменилась в это время по сравнению, скажем, с предыдущим периодом, примерно до 70-го года? Тогда было немало интересных, прогрессивных изданий. В пору застоя они нивелировались, исчезли выступления, на которых они держались и которые делали их репутацию, а “Литературка” по-прежнему их публиковала, вроде бы и не изменяя себе. Так “вроде бы” или на самом деле?*

— Понимаете, ну, а где та грань? Наверное, “Литературка” держалась. Была ли резкая смена с начала 70-х годов? Можно сказать так: это зависело от “тетрадки”. В газете были две “тетрадки” — первая (литература, политика, идеология) и вторая (“внутренняя жизнь”, право, экономика). Я лично публиковался во второй, и, как вспоминаю, нам краснеть в общем не за что. Ничего такого, что стыдно было бы сегодня читать, мы не давали. Но если во второй “тетрадке” печаталась некая крамола (по тем временам), то почти наверняка в том же номере шла какая-нибудь заказная статья, явно “черная”, махровая. И ребята, работавшие в первой “тетрадке”, нам говорили: “Вы чистенькие, но за наш счет”. И они, по сути, были правы. Не думаю, что в 70-е годы в газете что-то резко изменилось. Но, может быть, в первой “тетрадке” стало появляться больше вот таких — “нужных”, заказных статей.

— *А в смысле популярности, Александр Борисович?*

— Популярности газеты? Ну, что вы, популярность была огромная, и она не уменьшалась. Помню, я организовывал подпи-

ску моему другу Эльдару Рязанову. Его, конечно, подписывали на “Мосфильме”, но свою подписку он отдавал кому-то, не имеющему таких льгот, а сам обращался ко мне. Другие обращались. Я шел к директору издательства и говорил: “Мне надо 15 подписок”. Обычным путем подписаться было невозможно — и это уже после 70-го года. Но приходили и такие письма: “Нельзя ли у вас подписаться только на вторую “тетрадку”?” Почта была колоссальная. А тираж газеты (помню цифру к 88-му году) составлял шесть миллионов.

— *На ваш взгляд, правомерно было бы сказать, что “Литературная газета” в то время реально способствовала поддержанию демократических идей? Либо она вольно или невольно создавала иллюзию их жизни?*

— Мне кажется, что это немного сегодняшний словарь: “демократические идеи”. Тогда об этом не говорилось. Тогда все было конкретнее. Существовали земные, вполне реальные безобразия, с которыми газета пыталась бороться. Например, в работе судов и прокуратуры. Скажем, выносились, как правило, только обвинительные приговоры, почти не было оправдательных. Следствие стояло над судом. И вот была задача это как-то “расшатать”. Помню подготовленную к публикации беседу с Владимиром Ивановичем Терехиловым, председателем Верховного суда, которая называлась “Перевернуть пирамиду” (на вершине ее — следствие, внизу — суд, а надо суд поставить над следствием, что нормально). Вот по таким проблемам печаталось немало статей и бесед. И шла “война” — с прокуратурой, с другими следственными органами, а в основном, негласно, — с отделом ЦК, который курировал суды и прокуратуры. Причем напечатать что-либо острое можно было, нередко лишь опираясь на какую-нибудь подходящую цитату из Брежнева. И начинался тягучий разговор. Вызывает Сырокомский: “Вот у тебя статья, подкрепи ее цитатой”. — “Нет, не могу, не уговаривай”. — “Ну, ты пойми!”... В конце концов на полосе (но не в самом тексте статьи), где-то вверху давалась цитата Брежнева, вовсе не связанная со статьей, вроде того: “Законность, законность и еще раз законность”. А потом уже печатался сам материал — допустим, о произволе прокурора.

Еще велась борьба за то, чтобы адвокаты допускались в самом начале следствия. Мы не выступали в защиту диссидентов — просто никто бы не напечатал, это уже дело политическое. Но, скажем, мы могли опубликовать какую-то статью адвоката Калистратовой, а все знали, что Калистратова — ад-

вокатесса, которая защищала диссидентов. Имя ее было знаковым. И если мы публиковали это знаковое имя — наш читатель нас понимал. То был эзопов язык, даже не язык, а журналистика, эзоповы правила игры. И людям не надо было ничего объяснять. Калистратову напечатали! Газета “Правда” эту Калистратову смешивала с чем угодно именно потому, что она “не тех” защищает. А вот “Литгазета” ее публикует.

Или: хотим напечатать зарубежную, чрезвычайно интересную статью по науке, но просто так ее не дашь. Тогда печатаем эту статью на полосе слева, а справа даем статью-ответ имени того “официоза”. Полемика. Наш читатель знал, что ответ можно и не смотреть, это плата за ту публикацию, которая слева...

У Чаковского был еще термин — “острый позитив”. Он говорил: “Да, нам нужны острые материалы. Но нам особенно нужен острый позитив”. Это хорошо комментировал Анатолий Аграновский, лучший журналист того времени (он тогда работал не у нас, а в “Известиях”). Позитив, рассуждал он, это такая статья, где говорится, что в данном конкретном случае все замечательно и прекрасно, зато кругом — ой-ой-ой!

— Александр Борисович, вот вы говорите, что читатель вас понимал. Он приходил к вам уже подготовленным к такому чтению, или же своими публикациями вы готовили людей к восприятию реальности как она есть?

— Ну, разумеется, готовили. Причем, вы понимаете, что читатель был разный...

— Шесть миллионов, конечно, не могли быть единой, недифференцированной массой.

— И сами статьи были разные. У нас работал, например, известный публицист Евгений Богат. Его главная тема — нравственные искания. Кто-то даже иронически относился к этому. Помню, когда его принимали в Союз писателей, мне позвонил Георгий Радов (он был рецензентом): “Не могу я такое читать. Я человек земной, конкретный”. Но при этом тысячи людей Богата боготворили, ждали его публикаций. И очень многим он помогал.

— Как зачитывались статьями Татьяны Тэсс в “Известиях”?

— Не берусь их сравнивать. Но Аграновский как-то ехал в “Известия” на такси. Останавливается у подъезда. Таксист спрашивает: “А где вы работаете?” — “В “Известиях”. — “А как ваша фамилия?” Анатолий называет себя, ожидая реакции. “Нет, не знаю. Вот Тэсс у вас работает, ее знаю”. Он, смеясь, мне это



рассказывал. Так что при том, что газету читали миллионы, у каждого из нас был свой читатель. И свой стиль был у каждого, своя манера. В нашем отделе работали Ольга Чайковская, Евгений Богат, Аркадий Ваксберг... Отдел назывался — “коммунистического воспитания”.

— *Прекрасно!*

— Мотором его был Юрий Павлович Тимофеев — замечательный, редчайший человек. Кстати, сын попа. Однако его выгнали в свое время из “Детгиза” за... космополитизм. А формулировка увольнения заведующего отделом “Детгиза” была: “за связь с авторами”. Он пришел к нам тоже заведовать отделом. Сам писал мало, но был полон такого доброжелательства — о нем легенды ходили. Однажды какой-то цыганский табор, где посадили якобы конокрада, снялся и приехал в Москву к Тимофееву. В пятницу вечером, с детьми, женщинами (тогда еще не было никакой охраны на Цветном бульваре), вошли и рассыпались по редакции. Цыганята проникли в кабинет Чаковского. Пятница, помещения надо закрывать, а тут неизвестно, всех ли цыганят собрал, запрет, и они до понедельника будут сидеть... Табор! Живут в захолустье, но слышали, что Тимофеев Юрий Павлович освобождает невинных. И вот добирались откуда-то с Украины лично к нему. Такой факт, думаю, дорогого стоит.

Главная заслуга этого отдела коммунистического воспитания, на мой взгляд, была в том, что мы за несколько лет вытащили из тюрьмы 37 человек. В основном хозяйственников.

— *Да, помнится, например, история о “бескорыстном преступнике”, который из своего кармана дал взятку за дефицитный насос, чтобы только производство не остановилось.*

— Я ездил к нему в Куйбышев, в колонию. Причем даже охрана там ему сочувствовала. И удалось его вытащить. Ну, что это? Защита демократических идей? Прав человека? Наверное.

— *Только слов этих не произносилось.*

— Да. Причем, какие права? Ведь формально многие из них закон нарушали. В ту пору как раз шла очень интересная дискуссия, имеющая прямое отношение к правам человека: существует ли вообще понятие “неправовой закон”. Вроде бы: если закон — значит право. А вот некоторые ученые говорили — и я думаю, справедливо, — что есть законы неправовые. Ну, например, за те же “колоски” в свое время грозил чуть ли не расстрел. Это что — правовой закон? Вот этим мы тоже занимались. Помните историю со знаменитым Худенко, пытавшимся поставить эксперимент — работать на началах хозрасчета?

— *Эту историю, кажется, знают даже молодые.*

— Худенко тогда посадили, и наш Владимир Кокашинский встал на его защиту. Статья Володи называлась: “Эксперимент в Акчи”. На этом материале он даже защитил в Плехановском институте кандидатскую диссертацию, но ее зарубил ВАК: дескать, политическая незрелость, ревизионизм. А потом самого Кокашинского хотели привлечь к уголовной ответственности за пропаганду того эксперимента, неделями таскали в прокуратуру. Газета и Сырокомский его с трудом отстояли. А Худенко умер в тюрьме. После этой истории у Володи обнаружился рак. И через полгода он ушел, скончался. У него было такое нервное перенапряжение, особенно когда узнал о смерти Худенко, что перенести этого не смог.

— *Александр Борисович, что в таком случае есть прямые обязанности спецкора и что — просто его нравственные устои?*

— А как это можно разделить?

— *Что значило быть журналистом в вашем понимании? В частности, в “Литературной газете”?*

— Сейчас же совершенно другая журналистика. Я никогда не мог разделить, что входит в мои служебные обязанности, а что нет. Я жил этим. Это была моя работа, это была моя жизнь, это была моя страсть, это было мое хобби — все, что угодно. Я писал книжки, повести, выходили фильмы по моим сценариям, что-то еще. Но все это было не то. Меня иногда спрашивали: “Что из этих занятий у тебя жена, а что — любовница?” Ну, наверное, в этом смысле газета была и женой, и любовницей. И если передо мной возникал выбор, скажем, сидеть и делать сценарий или поехать куда-нибудь в Воркуту — я ехал в Воркуту.

Был момент, когда Воркуту собирались эвакуировать: там построили бракованные объекты теплоснабжения, и город зимой мог остаться без воды и тепла. Но его спасли “шабашники”. Их, конечно, арестовали, потому что, работая круглые сутки, они, естественно, получали больше, чем позволяли тогдашние мизерные расценки. А бракоделов не тронули: большое начальство. У нас сотрудничал такой изумительный человек, Илья Эммануилович Каплун, полковник юстиции в отставке, мы с ним очень часто вместе ездили в командировки: он бывший прокурор, имел крепкую хватку. Вместе мы ездили и в Воркуту. Об этой безобразной истории удалось рассказать Генеральному прокурору СССР А.М. Рекункову, и “шабашники”,

несколько человек, были спасены... Что это — страсть или должностная обязанность?

Я предпочитал отправиться в Воркуту не потому только, что надо было разобраться в деле, привлечь к нему внимание и так далее, — мне это было интересно, интереснее всего на свете. Понимаете?

— *Не думалось при этом о некой своей миссии, о том, что работа в газете — “общественно полезна”?*

— Ну, наверное, полезна. То есть это как бы априори. Но никто об этом не думал, даже мысль такая не приходила. Мы думали о том, как получить материал, как улыбнуться нашему цензору, чтобы он не снял статью, как убедить Сырокомского пойти на риск — хотя он и так всегда готов был идти на риск.

— *У вас, очевидно, была большая читательская почта?*

— Ну, разумеется. И толчком, поводом для публикаций в основном оказывались эти письма. “Литературку” вообще называли “всесоюзным бюро жалоб” (можно опять вспомнить случай с приездом в редакцию цыганского табора). Ситуация, конечно, ненормальная. Помню, я писал тогда, что это не от хорошей жизни, что необходимо предоставить людям право обжаловать действия чиновников в суде (кстати, то была наша сквозная тема). Но такого права люди не имели, и в редакцию приходили тысячи писем. Читать их было невозможно — слезы, горе. Но что могла сделать “Литературка”? Мы ездили, разбирались, ездили и наши внештатные сотрудники. Появлялись публикации. Но сколько мы могли охватить? Совсем немного. Значит остальные письма мы пересылали по инстанциям, “футболили”, короче говоря. Бессилие помочь всем, кто в том нуждался, нас очень терзало.

Одно могу сказать с уверенностью: у нас с читателями было взаимопонимание, был тесный контакт. На этом все и строилось. Иначе — откуда бы тираж в шесть миллионов?

— *Скажите, Александр Борисович, ваш читатель и читатель “Нового мира” — это один и тот же читатель?*

— Думаю, да.

— *Но если вы были столь близки по духу, по направленности выступлений, чем тогда можно объяснить продолжительную полемику “Литературной газеты” с “Новым миром”?*

— Можно говорить лишь о полемике нашей первой “тетрадки” — этой официозной части газеты (о ней я уже упоминал). Да, она выступала в том числе и против “Нового мира”. Но читатель второй “тетрадки” и читатель “Нового мира” — это был

один и тот же читатель. Более того, мы, сотрудники “Литературки”, часто печатались и в журнале Твардовского.

— *Александр Борисович, а вы отождествляли себя с шестидесятниками? Позднее, уже в годы застоя, стали говорить о семидесятниках, потом о восьмидесятниках. Что, по вашему мнению, стоит за этими понятиями? Правомерно ли их противопоставление шестидесятникам, особенно — применительно к журналистике?*

— Мне кажется, это несколько абстрактный разговор. Если вы спросите, мои ли соратники и единомышленники те, кого называют шестидесятниками, — я отвечу: да. И когда сейчас говорят, будто эти люди мало что сделали, что они ограничивались полуправдой — думаю, то лукавство. Нельзя с сегодняшними мерками подходить к тем временам. Тогда кто-то шел на площадь, кто-то на демонстрацию протеста, кто-то выступал против оккупации Чехословакии, а потом оказывался в тюрьмах и психушках. Мы относились к ним с огромным уважением и состраданием. Но вот, скажем, я не пошел бы на площадь. Да, наверное, не хватало смелости. На баррикаду я бы не пошел. Но ведь разговорами о полуправде некоторые и тогда оправдывали полную свою бездеятельность, свою пассивность, свое равнодушие. Мол, лучше вообще молчать, чем такое мычание сквозь цензурный кляп. Все или ничего! Но встань мы на эту удобную максималистскую позицию, сколько бы людей оставалось без помощи, сколько бы зла безнаказанно процветало. Так что употребляя сейчас термин “правозащитничество” (а его часто связывают с шестидесятниками), надо иметь в виду, что было оно разным. Стратегически те, кто выражал свой протест публично, сделали чрезвычайно много, роль их неопределима, но тактически, в смысле спасения конкретных людских судеб, думаю, журналистика “Литературки” тоже сыграла свою роль.

— *Александр Борисович, вопрос вам как журналисту, занимающемуся именно защитой прав человека. Сейчас, как известно, очень “модны” так называемые журналистские расследования. Авторы, кажется, как бы заново открывают для себя этот жанр. Отличается ли то, чем занимались вы, от того, что делается сейчас и как это делается?*

— Ну, во-первых, у нас было правило: мы не печатали досудебный очерк (может, сейчас я думаю, и зря). Мы могли выступить против прокуратуры, против кого угодно, но должны бы-

ли дожидаться, чтобы сперва был вынесен приговор. Пока нет судебного приговора — нет разговора. Мы считали: “Суд должен сказать свое слово”.

Далее: наше расследование исключало подглядывание, подслушивание, “заказуху”. Абсолютно. Вот мы узнали, что человека незаконно выселили из квартиры и эту квартиру захватила судья. В чем заключалось наше расследование? С тем же Каплуном мы поехали в тот город. Говорили на месте с судьей, с человеком, которого выселили, с соседями, с людьми, которые могли что-то про это знать, — со всеми, с кем только можно. Мы старались получить документацию. Легально. Какую-то в суде, какую-то у самих людей — все собиралось и сопоставлялось. Это было открытое расследование, ничего не делалось исподтишка. Подглядывание в замочную скважину исключалось напрочь.

И еще одно правило: если мы пишем о ком-то критический материал, то обязаны с этим человеком встретиться. В понедельник, когда подписывался номер, меня мучили две мысли. Во-первых — как отнесется к материалу цензура, не зарубят ли статью. А во-вторых — все ли возражения своего отрицательного героя я привел и как-то откомментировал, потому что читатель должен знать и его точку зрения.

Расследования — даже самые сложные — велись чрезвычайно скрупулезно. Для этого у нас были особые разработчики — одной из лучших, кстати, считалась не юрист, а журналист Людмила Ивановна Пугачева.

А что сейчас? В 50-й статье “Закона о средствах массовой информации” сказано, что вообще-то нельзя публиковать тайно подслушанное и тайно записанное, но если это в общественных интересах, то — можно. Но скажите: кто рассудит, в общественных интересах сделано или нет?

— *Это главный вопрос всегда.*

— Когда сегодня “расследователь” публикует тайно записанное, он что, думает об общественных интересах? Или все-таки заботится о собственных, строит собственную карьеру? А может, не исключаю, и получает за “заказуху” хороший куш. “Общественный интерес”! Поднять такую грязную шумиху вокруг генерального прокурора — это разве в общественных интересах? Не думаю. Кто-то делал на этом свою игру. Такая журналистика мне лично противопоказана. Может быть, потому что я стар — другое время, другое поколение. Я этого принять не могу. Готов допустить, что это тоже журналистика, но жур-

налистика, как вам сказать, — “пиратская”. А пиратство во всех аспектах мне лично не симпатично.

У меня был приятель — чех Олджек, редактор. Он приехал ко мне из Праги, и я водил его по Москве. Он смотрел и говорил: “Саша, это ненормально, но — естественно”. Так, может, это тоже — ненормально, но естественно?

— *Время меняет жанры и оценки?*

— Это даже не оценка, это скорее ощущение. Мне все это противновато.

— *Вам не кажется, что сильная прежде аналитика прессы как бы подменяется сенсационностью?*

— Анализ тоже может привести к сенсационным выводам. Но анализ предполагает поиск истины. А сегодня очень часто цель журналиста — не найти правду, а потрафить своему хозяину. Он, хозяин, заказчик, требует “замочить” своего противника, конкурента, не гнушаясь никакими средствами, и журналист уже как, юный пионер, на все готов. И мараться будет, и позориться. Худо только, что читатель сегодня ждет, требует таких публикаций, жадно их ловит. Причины я понимаю. Что с этим делать — не знаю.

Как-то мы поехали в Западную Германию — небольшая писательская группа, в том числе Александр Бек и, естественно, “сопровождающая” из КГБ, которая от него не отходила. Мы пришли в издательство, нам подарили книжки, после чего был ужин, на котором подали, наверное, тридцать пять сортов сосисок. Бек встал и сказал такой тост: “Господа, мне нравится капитализм”. Это был 1967 год. “Мне нравится капитализм”. Пауза. “Сопровождающая” в страхе посмотрела на него. “Одно меня смущает”. Пауза. “Власть денег”. Пауза. “А что с этим делать — не знаю”.

Так вот: что с этим делать — не знаю.

Если немного отвлечься от сегодняшних серьезных проблем и вернуться к началу нашей беседы, то я хотел бы сказать еще вот о чем — об атмосфере в редакции “Литературной газеты”. По-моему, она была особой. Всего один эпизод. Работал у нас Виктор Веселовский.

— *Редактор знаменитой тогда 16-й полосы...*

— И замечательный человек. Так вот, сидит у него молодой автор, впервые напечатался. Пришел с бутылкой коньяка по этому поводу. Они душевно беседуют. И Веселовский начинает что-то нелестное рассказывать о главном редакторе. Раздается звонок внутреннего телефона, и секретарша Тамара Моисеевна

говорит: “Александр Борисович просит вас лучше положить трубку селектора”. “Ну вот, — говорит Виктор, — трубка ему не нравится. Лежит трубка! Всегда ему что-нибудь не так...” Минут пять идет такой разговор, и вдруг на пороге появляется Чаковский, спрашивает: “Что у вас происходит?” Они поднимаются: “Работаем, Александр Борисович”. Автор говорит: “Я, наверное, мешаю?” — “Мешаете!” Автор выходит, а главный редактор несет к бессменному секретарю парторганизации Олегу Прудкову, и срочно созывается партбюро. Чаковский рассказывает: “Сижу, читаю полосу, а из селектора на весь кабинет голос Веселовского... Уж сколько раз он мою матушку склонял...” И начинает смеяться. И все начинают смеяться. И партбюро принимает решение: рекомендовать Веселовскому лучше класть трубку. Все.

Чаковский мог, например, когда к нему входили, сказать: “Учтите, я лечусь от раздражительности. Вы на меня не обижайтесь”. Или мне говорят: “Главный снял вашу статью”. — “Почему?” — “Не объясняет. Зол ужасно. Зайдите”. Захожу. Чаковский начинает кричать: “Если по поводу статьи, разговора не будет”. Ну, не будет, значит не будет, собираюсь уйти. “Я прочел одну гранку — черт знает что!” — “А как вы можете судить, — спрашиваю, — если прочли одну гранку? Там восемь”. “Резонно, — отвечает, — пусть мне дадут материал”. Я иду к себе. Через пятнадцать минут вызывает. “Хорошая статья”. — “Что же вы?” — “А кто так начинает материал? Надо вот с этого...” И он, кстати, был прав.

О нем очень разные мнения. Говорят, кому-то он испортил жизнь. Может быть, я не знаю. Но здесь была его “команда”. Он говорил: “Мы все пайщики”. И как-то — отмечали день его рождения или праздновали юбилей газеты, не помню — сказал: “У меня нет друзей, у меня есть редакция”. Наверное, так оно и было. Типичная картина: кто-то идет по коридору, несет полосу, и вот уже у этой полосы толпится несколько человек, и все начинают что-то говорить, обсуждать. Такая господствовала атмосфера. “Службы” в обычном понимании не было.

Но при всем при том случались у нас и резкие споры, даже вывешивались “дацзыбао”, что я и на себе испытал, когда выступал против Гдяна. Я писал, что все его “разоблачения” построены на песке, за душой у него ничего нет. А наши: ну как же, он ведь герой, выступает против мафии! Представляете, прихожу в редакцию, а там висят “дацзыбао” моих коллег: “Не здороваемся с Бориным”. И все это продолжалось достаточно

долго. Потом утихло — вместе с Гдяном и его дутыми “разоблачениями”.

— Кажется, в “Литературной газете” затем достаточно часто стали меняться главные редакторы? Чем это вызвано?

— Время, конечно, диктовало фигуру главного редактора. Как только ушел Чаковский, появился Юрий Воронов, человек неплохой, добрый, но в общем — сломленный. При нем газета еще держалась, а затем начался “черный период” — когда назначили Бурлацкого. Он был недолго, но успел поломать “Литгазету”.

— Он же до этого был вашим сотрудником, обозревателем?

— Да, причем, когда Воронов заболел и должен был уйти, ребята собрали подписи, чтобы главным утвердили Бурлацкого. Утвердили, а он газету погубил, потому что ему важнее всего было показать себя, стал попирать добрые традиции “Литературки”. И те же ребята снова начали собирать подписи — чтобы его сняли. После Бурлацкого главным редактором стал Удальцов. Он тоже до этого работал в “Литературке” (был заместителем главного), поддерживал все выступления в защиту людей, сам очень неплохо писал. Но на него уже давили новые проблемы. Возник главный вопрос: где взять деньги? Денег не было. Удальцов принялся затевать разные коммерческие проекты, но делал это не слишком удачно, и они, увы, лопались.

— И как вы оцениваете позицию нынешней “Литературной газеты”?

— Позиция, если речь идет об отстаивании демократических ценностей, мне близка. Но позиция позицией, а овес овсом. Тираж газеты где-то около пятидесяти тысяч. Материальное положение очень плохое. Но это уже касается если не всех, то многих сегодняшних изданий.



## Л.В. Степанов

### “Гнездо ревизионизма”

— *Насколько нам известно, Лев Васильевич, работа в печати поглотила чуть ли не полвека вашей жизни. Но, если не возражаете, мы хотели бы поговорить главным образом о тех двенадцати годах, которые вы провели в Праге, в редакции журнала “Проблемы мира и социализма”. И давайте сразу уточним, что это было время как раз между концом Пражской весны и началом нашей перестройки, не так ли?*

— В общем, да. А уж если быть точным, то я попал в Прагу через три года *после* появления там советских танков и отбыл домой, в Москву, за полтора года *до* прихода Горбачева к власти. Тем самым уточняется, в каком именно издании мне довелось работать. Ведь на разных отрезках пройденного журналом без малого тридцатилетнего пути под названием “Проблемы мира и социализма” выходили, по моим представлениям, по меньшей мере четыре разных издания — румянцевское, францевское, зародовское, послезародовское (по фамилиям шеф-редакторов) или, при почти точном совпадении по годам, хрущевское, раннебрежневское, позднебрежневское, послебрежневское.

По убеждению и по рассказам “пражан первой волны”, именно при них (1958–1964 годы), то есть при Румянцеве, то есть при Хрущеве, журнал достиг высшей точки развития и самого пышного расцвета. Склонен считать, что так оно и было, особенно если учесть, что “первым пражанам” выпало снимать сливки с основоосотрясательных решений XX съезда. И среди независимых, так сказать, отзывов о журнале наиболее для него лестные относятся, мне кажется, к “Проблемам” как раз того времени.

Под руководством Францева (1964–1968 годы) журнал притих и превратился в растерянного наблюдателя, а в какой-то мере и пособника обратного замораживания оттаявшей было при Хрущеве общественной мысли.

Волнения европейского студенчества и Пражская весна открыли (или пусть для начала только приоткрыли) новую стра-

ницу в современной истории, а заодно и в жизни “Проблем мира и социализма”. Москва еще лелеяла свой “полным гордого доверия покой”, но, хочешь-не хочешь, ее идеологам приходилось искать способы приспособления к миру, внезапно усложнившемуся и возымевшему склонность бунтовать. Для нового шеф-редактора журнала Зародова такое приспособление (“без сдачи принципиальных позиций”) было и серьезной личной потребностью, и важнейшей в его понимании задачей КПСС. Так что под его водительством (1968–1982 годы) “Проблемы” обрели второе дыхание и стали осторожно допускать на свои страницы то непривычные, то даже явно крамольные суждения.

Журнал послезародовского времени, на глазах тускнея, протянул до весны 1989 года. Он был обречен: в условиях разложения и распада коммунистического движения, при гласности и свободе печати такому изданию уже не было места. Потерпели крах и попытки превратить его из журнала международного “красного” в международный “розовый”.

Не могу не поделиться таким, по-своему забавным, наблюдением. Мои знакомые “пражане” разных очередях заезда, как правило, настаивают, что именно в их время журнал был наиболее интересным и работал всего плодотворнее. Воистину непобедимо преданное отношение всякого кулика к своему болоту. Моим временем было зародовское по пражским часам и позднебрежневское — по советским.

— *Для советской печати это было время унылого однообразия. Все современные издания были как бы одним мирром мазаны. Ушли в небытие четкие различия и противостояния, вроде тех, что разрывали читателей между “Октябрем” и “Новым миром”. Есть, однако, мнение, что “Проблемы” многие читали особенно внимательно и заинтересованно. Например, по словам известного правозащитника А. Гинзбурга, журнал пользовался успехом у попавших в заключение диссидентов. Каково ваше мнение: имел ли он собственное лицо, представлял ли особое, отличное от других направление?*

— И да, и нет. Это, думаю, самый близкий к истине ответ. Да — уже потому, что журнал даже не числился советским. Он считался международным — совместным изданием сначала, кажется, двадцати (при основании в 1958 году), потом многих десятков “братских партий”. А нет — потому, что журналом тем не менее всецело распоряжались ЦК КПСС (задававший “генеральную линию”) и советские работники редакции (ташившие на себе груз литературной текучки и организационно-технической су-

еты). Из Москвы, конечно, шли и деньги, хотя все партии-издатели, стоявшие в своих странах у власти, тоже были обложены данью, собирать которую с каждым годом становилось все труднее. И как всегда: кто этот журнал “ужинал”, тот его и “танцевал”.

В первые же дни работы в редакции я услышал из уст тогдашнего ответственного секретаря Г. Шахназарова: “Любые наши попытки улучшить журнал, поднять его качество останутся бесплодными. Журнал и должен, и будет соответствовать нынешнему состоянию коммунистического движения. А оно такое, какое есть”. Меня эти слова, признаться, покоробили. Ни на какие творческие усилия они не воодушевляли. Путь к примирению с правдой, высказанной вслух Георгием Хосроевичем, занял несколько лет. По ходу дела уяснилось, что же именно за этой правдой скрывается и как она (неизбежно!) отражается на содержании, на всем облике журнала. Самым существенным было то, что на страницы “Проблем” не мог не выплескиваться все более охватывавший коммунистическое движение идейный разброд — иначе сказать, идейное многоцветье.

Главной и всеопределяющей задачей для нас было “укрепление единства международного коммунистического движения”. На деле это означало прежде всего постоянный, из месяца в месяц, сбор подписей компартий мира под текстами, которые, каждый на свой лад, должны были звучать присягой на верность Москве. Часто это не составляло труда. На заре своей пражской жизни, в 1972 году, находясь еще во власти некоторых романтических, на школьной скамье усвоенных представлений, я был просто ошеломлен собственным производственным успехом — тем, с какой легкостью получил в Люксембурге подпись председателя тамошней компартии Доминика Урбани под “его” статьей, мною же написанной и в нашей редакции переведенной на французский. “Автор” назначил мне встречу в кабачке, где и подмахнул, не читая, это мое сочинение. То же самое, с ничтожными отклонениями от общего правила, повторялось у меня потом с главными коммунистами в Австрии, Дании, Норвегии.

Подобное, однако, не проходило с руководителями чуть более самостоятельных либо уж совсем отбившихся от рук партий. Например, нечего было и думать о подсовывании готовых бумаг испанцам, итальянцам, французам. Со временем все больше стала обнаруживаться заразительность “дурного примера”: в 1976 году я заявился в Лиссабон с тщательно отработанным “проектом статьи” Алваро Куньяла и неожиданно получил от ворот поворот. Правда, произведение, созданное им

самим и присланное в редакцию пару недель спустя, духом своим и содержанием несколько не отличалось от моего “проекта”. Сама наша роль “нового Коминтерна”, занятого борьбой за единство международного коммунистического движения, предполагала отсутствие такого единства или, во всяком случае, его зыбкость, непрочность. Действительно, если одни партии легко снабжали нас своими “подписями”, то другие настойчиво проталкивали в журнал и упорно отстаивали собственные, дорогие им (но не Москве!) “завоевания творческого марксизма”.

Единство партий, как и единство “Проблем”, с советскими печатными изданиями, было незыблемым главным образом перед лицом врага номер один — американского империализма. Ему от журнала всегда доставалось по первое число. Но далее срабатывала со средневековья известная истина: еретик опаснее безбожника и самого дьявола.

Зло страшнее страшного, с которым неустанно воевали “Проблемы”, находилось не где-то в цитаделях мирового капитала, а всегда в пределах передовой части человечества — либо в странах социализма, либо в рабочем и национально-освободительном движениях, либо среди партий, признававшихся коммунистическими, то есть в конце концов в собственных рядах хозяев журнала. Имя зла с течением времени менялось. Сначала это была “клика Тито — Ранковича”, с которой вела непримиримую борьбу предшественница “Проблем” — переместившаяся из Белграда в Бухарест газета “За прочный мир, за народную демократию”. Потом, уже из Праги, прямой наводкой поочередно хлестали по маоизму, чехословацким предателям-ревизионистам, польской “Солидарности”...

Более обходительное обращение требовалось для еврокоммунизма в разных его ипостасях и для не в меру самостоятельных идеологов, подававших голос из братских соцстран. В этих случаях негоже было громить; ошибкам и заблуждениям надлежало *противопоставлять* выверенные марксистско-ленинские взгляды. Соотношения выдерживались “правильные”: на одну страницу “заблуждений” страниц эдак тридцать идеологически безукоризненных текстов, разъясняющих и опровергающих.

Установочными, во всех отношениях главными были, конечно, статьи, которые печатались за подписями руководителей КПСС. Чистоту и точность поставлявшихся со Старой площади и распространявшихся “Проблемами” теоретических истин мы блюли с особым рвением. Если случалось чего-то недоглядеть, старшие товарищи нас поправляли.

Этот опыт “Проблем” и мой лично дает, между прочим, повод задуматься о цене идеологической чистоты, причем о цене в ее буквальном, самом обыденном понимании. То есть — почему (в денежном выражении) обходилось строго выверенное партийное слово? В 1977 году я как-то должен был срочно слетать в Москву и обратно, чтобы доставить в Прагу одно-единственное исправление, внесенное *самим* Сусловым в “его” статью, подготовленную у нас для очередного номера. В те времена аэрофлотовские тарифы устанавливались еще не на рыночной, а на “научной” основе, но все равно подобное путешествие влетало, конечно, в копеечку. Справившись сегодня о стоимости авиабилета на полет по маршруту Прага–Москва–Прага, каждый может узнать, что за вставку прилагательного “социалистический” в словосочетании “принцип социалистического распределения по труду” отвалить по 400 баксов нашей партии было ничуть не жалко. Стоит задуматься, почему она была такая щедрая.

Впрочем, и в глазах многих сотрудников журнала любые затраты сил и средств на статьи, подобные суловской, оправдывались тем, что таким путем строилась, как сейчас сказали бы, “крыша”, под которой позволительно было запускать на журнальные страницы и кое-какую ересь. Читателям предоставлялась возможность мужественно продирается сквозь частокोल забубенных пропагандистских заклинаний, чтобы впитаться в несколько абзацев, по московским меркам крамольных и пропущенных нами когда вынужденно (по настоянию партии-автора), а когда и сознательно. Мы сами с наслаждением печатали, а преданные наши читатели и почитатели с удовольствием воспринимали отчеты о “круглых столах”, за которыми их участники высказывали множество мыслей, советской властью не дозволенных.

Об этом вкладе “Проблем” в умственную жизнь нашего общества говорено-переговорено, написано-перенаписано. И все в одном ключе: журнал *“выглядел более прогрессивным, чем советские издания...* Здесь проходили более раскованные идеи, чем дома, здесь они в известной мере “легализовались”. Характерно, что в Москве поначалу кое-кто даже пытался ограничить распространение журнала в СССР”. Это — из совсем недавно (1998 год) вышедших воспоминаний К.Н. Брутенца, тоже бывшего “пражанина” и под конец партийной карьеры замзава международным отделом ЦК. К словам Карена Нерсеовича, как и к созвучным высказываниям иных “послепражских мемуаристов” (А.И. Волков, А.С. Черняев и другие) пол-

ностью присоединяюсь. Эта оценка, на мой взгляд, верна (хотя, может быть, и в разной степени) для “Проблем” как румянцевского, так и, безусловно, зародовского времени.

Журнал страдал врожденным пороком, который, однако, в определенном смысле оборачивался для него добродетелью. Он был обречен быть отменно скучным — уже потому, что на его страницы не допускались личные мнения и оценки, а лишь тщательно уравновешенные, по возможности для всех партий приемлемые суждения, то есть главным образом общие места. К тому же “Проблемы” под разными названиями выходили, как (с перебором!) сообщалось на обложке, на 34 языках и распространялись в 75 странах. Это означало, что обычная журналистская забота о сочности слова, об изяществе изложения заведомо теряла смысл, поскольку любые достижения в этой области все равно шли насмарку при переводе. Впрочем, и выглаженные до состояния телеграфного столба тексты “русского эталона” ставили переводчиков в тупик; они, например, годами бились над неразрешимой задачей — как перевести (на какой угодно язык) словосочетание “персональный пенсионер союзного значения”?

— *Достоят ли чуть ли не всего нашего читательского общества были, как известно, навыки чтения между строк. Для “Проблем” тоже были характерны “подтексты”?*

— Могу поручиться, что эзопов язык, прозрачные или хотя бы скрытые намеки, косвенные наводки для читательской мысли — все эти приемы политической тайнописи, неплохо освоенные и испытанные в некоторых советских изданиях, у нас совершенно не были в ходу.

Все сколько-нибудь значительные статьи попадали на страницы журнала после их обсуждения и утверждения на заседаниях редакционного совета либо с учетом замечаний, сделанных представителями партий в рабочем порядке. Предварительно подготовленные тексты переводились и размножались на ротаторе, у которого долгие годы стоял пожилой технический работник, чех. Пришел ему срок уходить на пенсию, и на своих проводах он — тихий, скромный человек — заявил, что хотел бы на прощание разрешить мучившую его все это время загадку: что такое “струггле”<sup>1</sup>? “Если у меня шла статья на английском, — пояснил он, — я заранее знал, что на каждой странице это слово встретится раз десять. Так что же это такое?”

<sup>1</sup> Struggle (англ.) — борьба.

Так незначай была, на мой взгляд, дана независимая сводная оценка одновременно и языкового убожества журнала, и смысловой ограниченности его содержания, переперченного революционной риторикой.

В итоге журналу, строго говоря, не удавалось преодолеть свое исконное предназначение существовать в качестве политического документа. Не могу вообразить, чтобы кто-нибудь брал его в руки с целью *почитать*, полистать на досуге из интереса и в удовольствие. Для чтения он просто не годился — только *для работы*. Я и сам из напечатанного в “Проблемах” за все свои двенадцать лет не прочитал ни строчки за пределами тех текстов, с которыми либо обязан был возиться в силу служебного долга, либо знакомился по прямым просьбам шеф-редактора или близких товарищей по работе. Да и эти-то тексты приходилось осваивать на рубежах машинописи, до отправки в набор, так что из напечатанного в журнале я за все это время действительно прочитал едва ли сотую долю. “Чукча не читатель, чукча — писатель”.

Так вот, мне кажется, что, ощущая навязанную обстоятельствами внешнюю непривлекательность и занудность своего детища, сотрудники журнала даже и по этой причине, то есть подсознательно, стремились поправить дело и снискать благорасположение читателя, используя любую возможность подсунуть ему какую-нибудь “свежатину”, подать ее под видом осуждаемой “не нашей” точки зрения. Хотелось все-таки как-нибудь поприличней выглядеть, причем в глазах именно своего, советского читателя. Работали главным образом, если не исключительно, на него.

— *И добивались читательской признательности?*

— Ответ может быть утвердительным со ссылкой на то, что в СССР журнал расходился почти без остатка. Но кто скажет, какую роль при этом играло то обстоятельство, что из года в год от членов КПСС требовали подписываться хотя бы на одно партийное издание, и они останавливали свой выбор на “Проблемах”, которые были дешевле большинства подобных журналов и партийных (вроде “Правды”) газет? Я все-таки склонен думать, что в условиях свободной конкуренции на рынке печатных изданий в стране не разошлась бы и сотая доля 250-тысячного русскоязычного тиража “Проблем”.

Сколько в действительности было у журнала советских читателей — полторы тысячи, две, тридцать, пятьдесят? Никто не знает и никогда не узнает. Да это и несущественно. В любом

случае “Проблемам” выпало обрести то, что именуется широкой известностью в узком кругу, и в пределах этого круга журнал поддерживал шевеления ищущей мысли, подпитывал умы свежими соками и помогал им освобождаться от косных, отставших от века представлений.

Едва ли можно сбрасывать со счетов и вот какое обстоятельство. Со сталинских времен и до крушения советской власти народное сознание было у нас устроено таким образом, что любые сведения о международных делах всегда вызывали у людей гораздо больший интерес, чем повествования о внутренней жизни страны. Статьи, лекции, передачи о том, что происходит за границей, давали любознательным умам пищу много вкусней, чем набивавшие оскомину сообщения и рассуждения о новых трудовых успехах, о выполненных планах и наполненных закромах родины. В этом смысле “Проблемы” делили повышенную читательскую благосклонность с “Новым временем”, “За рубежом”, “МЭиМО” (“Мировая экономика и международные отношения”) и прочими изданиями с сугубо иностранной начинкой.

Для многих они приоткрывали окно в запретный мир, и одни только фактические сведения, появлявшиеся на их страницах, при соответствующем настрое ума воспринимались как всплески свободной мысли. До Праги я работал в редакции “МЭиМО”. Одним из моих начинаний, когда я пришел туда в 1967 году замом главного, было введение обязательного раздела статистики. Имелось в виду давать из номера в номер чисто статистическую картину социально-экономического состояния зарубежной части мира — отдельных стран и отраслей производства. Главный редактор Я.С. Хавинсон в целом меня поддерживал, но предостерегающе рассказывал, что ему уже пришлось давать объяснения после того, как киевский правозащитник Валерий Марченко показал на допросе, что ему хотелось бы перебраться из СССР туда, где уровень зарплаты многократно выше, чем у нас, а спрошенный, откуда ему это известно, ответил: “Из “МЭиМО”, номер такой-то”.

Слепцам журнал глаз не раскрывал; до них он попросту не добирался. Но прозревавшие находили в нем опору и поддержку.

Мне известно упомянутое вами мнение-воспоминание Александра Гинзбурга, который добавлял, что журнал даже повергал наших инакомыслящих в сомнения насчет правильности избранной ими линии общественного поведения, заставлял задумываться: что лучше — открыто отстаивать свои взгляды, расплачиваясь за это обрывом всех связей с обществом, либо



все-таки использовать доступные возможности влиять на умы, ради чего, мол, не грех и наступить иной раз на горло собственной песне?

Находил добрые слова для “Проблем” и А.И. Солженицын — это в связи с появлением в журнале статьи Юрия Карякина (1963), которая представила только-только громко заявившего о себе писателя ценнейшим идеологическим союзником международного коммунистического движения.

Стоит обратить внимание на сходство и различия в восприятии “Проблем” вольнодумцами, с одной стороны, и охранителями устоев, с другой. Если первые выискивали на наших страницах ростки независимой мысли и за это нас любили, то вторые, ссылаясь на те же признаки нашего вероотступничества, поносили журнал самыми грозными словами. От наезжавших в Прагу или в Карловы Вары партийных и государственных чинов среднего звена мне не раз приходилось выслушивать высокомерно осуждающие отзывы о нашей редакции как “гнезде ревизионизма”.

— *Распространено мнение, что из тех, кто делал журнал, из людей, прошедших “пражскую школу”, сколачивался затем особый, самый, так сказать, передовой отряд советской политической журналистики. Вы разделяете это мнение?*

— Во всяком случае, “пражская школа” давала очень много — основательно учила и переучивала, здорово воспитывала.

Для начала, однако, не мешает взглянуть на вещи шире. Система — однопартийная, но многоподъездная — создавала вполне достойное оруэлловской оценки причудливое положение, при котором все стоявшие над печатью начальники были заодно, но некоторые выступали заодно больше, чем другие. В ЦК отношения отделов пропаганды и международного были подпорчены взаимной подозрительностью и неприязнью, что не обнаруживалось прилюдно, но сплошь и рядом прорывалось в частных разговорах, среди своих, когда стороны обзывали друг друга соответственно “отъявленными ревизионистами” и “невежественными долдонами”. Говорить об идейной вражде в данном случае было бы нелепо. Но и не стоит упускать из виду проявлявшееся тут противостояние различных мироощущений, различных профессиональных опытов и в целом, можно сказать, различных культур.

“Проблемы” “ходили” под международным отделом, да еще над ними не было ни Главлита, ни выездной комиссии. Печатать — не печатать, отправляться — не отправляться в загран-

командировку — такие, обычно мучительные в московских условиях, вопросы решались у нас просто и мгновенно, по итогам одной встречи с шеф-редактором.

Разумеется, московских чиновников это сильно раздражало, как и ни с какими привычными правилами не сообразуемое положение редакции, изъятой из-под власти посольства СССР. Все советские граждане и учреждения за границей находились под строгим посольским присмотром, а тут, видите ли, полная самостоятельность и прямой выход на Москву, да еще на ЦК КПСС, к тому же на его пропитанный *чуждым духом* международный отдел.

Всего этого было достаточно, чтобы носители косных московских взглядов и привычек смотрели на сотрудников нашей редакции как на скрытых идейно-политических противников. Многие были, например, убеждены в причастности советских работников журнала к развязыванию “антисоциалистических тенденций”, которые привели к “преступной вылазке” Дубчека, Смирковского и прочих “врагов” Советского Союза и чехословацкого народа. К услугам такой точки зрения имелись и факты: в роковые дни 68-го несколько советских сотрудников журнала (среди них В.П. Лукин, впоследствии посол в США, влиятельный депутат Думы от “Яблока”) были в срочном порядке отозваны в Москву в наказание за “неправильный” прием, оказанный ими советским танкам в Праге. Ясно, что подобные люди никак не могли выпускать журнал, нужный партии и достойно проводящий ее линию.

Действительность в таких представлениях ставилась с ног на голову. Не работники “Проблем” подняли на бунт Прагу, а восставшая и раздавленная Прага прочищала и освобождала от догм головы советских журналистов, учила гибкости их мозги и перья.

О “пражанах” румянцевского призыва А.С. Черняев говорит, что “эти люди, а их десятки, прошедших школу журнала, стали черенками свободы в дряхлеющем древе советского марксизма-ленинизма...” В существе своем, полагаю, эта оценка будет верна и в отношении значительной части сотрудников зародовских “Проблем”. Но не мешает отметить вот какое немаловажное различие в судьбах “пражан” этих разных поколений. При первом заезде в “пражскую школу” поступали люди, только начинавшие искать свое место в профессиональной, общественной и политической жизни. Иных через пять лет после смерти Сталина и взять-то было негде. Мы же, усаживавшиеся за пар-

ты этой школы спустя пятнадцать-двадцать лет, в большинстве своем успели уже до прибытия в Прагу обзавестись и опытом, и положением, так что сравнительно с нашими предшественниками могли выглядеть переростками, второгодниками (некоторые действительно, после перерыва в несколько лет, приезжали при нас на второй срок). Тем не менее воспитательно-преобразующая сила “пражской школы” была настолько велика, что помешать ее благотворному воздействию не могли никакие наши возрастные особенности.

Среди источников этой силы, помимо уже отмеченных, заслуживают упоминания по крайней мере еще два.

Прежде всего — сама Прага, примолкшая, ушедшая в себя, но так или иначе не дававшая забывать о трагедии 68-го года. Конечно, и в кругах московской интеллигенции было тогда обычным делом потихоньку наслаждаться пленительными запахами увядших цветов пражского свободомыслия и мучиться горьким стыдом за свою, пусть и косвенную, принадлежность к тем, кто вытоптал эти многообещающие ростки обновления. Но в самой Праге жизнь с кукишем в кармане требовала куда большей внутренней напряженности и изворотливости, особенно от тех, чьей первой и главной обязанностью было оберегать чистоту казенной идеологии и, более того, добиваться, чтобы эта идеология не теряла наступательного заряда и набирала влияние во всем мире. В этих условиях судьба ужей на сковородке была уготована и для меня, и для многих моих товарищей по советской части редакции, и в ощутимой мере даже для К.И. Зародова, а равным образом и едва ли не для большинства представителей “братских” партий в журнале.

Другим источником мощного влияния на наши умы и души было тесное повседневное общение с “представителями” (так обобщенно, без дальнейших уточнений именовались постоянно жившие в Праге либо время от времени туда наезжавшие люди, которые работали в журнале по поручению сотрудничавших с ним компартий). Отношения у нас с ними, за редчайшими исключениями, были самые хорошие, взаимно уважительные, часто сердечно дружественные. И в основе их лежали не “классовая солидарность”, не “международное братство единомышленников-коммунистов”, а чисто человеческие чувства и здравым смыслом привитые представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Преобладали среди представителей люди порядочные, чистые. Многие отличались обширными познаниями и разнооб-

разными, порой самыми неожиданными способностями. У одних за спиной были годы работы в подполье, жизнь, полная приключений, другие и в Праге-то чувствовали себя не совсем уютно, поскольку не могли забыть, что над ними висит вынесенный на родине смертный приговор.

В начале 77-го я был отправлен в Швейцарию с заданием, среди прочего, посетить “ленинские места” и на основе собранных впечатлений сочинить некий злободневный очерк или эссе во славу международного коммунистического движения и его создателя. В Цюрихе у меня была встреча с руководителем тамошних коммунистов Фрицем Лехляйтером. По ходу беседы из его уст я услышал: “Сегодня любое западное общество — это стадион с командами правых и левых на поле и их болельщиками на трибунах... Страсти кипят и делят стадион надвое. Но помимо очевидной линии раскола на правых и левых, есть и другая, часто не замечаемая, хотя она и не менее важна. Это — пропасть, пролегающая между болельщиками и игроками. Вот нас, коммунистов, среди зрителей не бывает, мы всегда игроки на поле”.

Первая мысль, подсказанная этими словами, была о том, как хорошо будет использовать предложенную Лехляйтером картинку, чтобы осовременить и разукрасить исторический спор Ленина с Мартовым вокруг первого пункта устава РСДРП. Побродив же по сонному богатому городу и погрузившись в тишину чрезвычайно уютной и не менее дешевой гостиницы, я предался, помнится, размышлениям о природе той великой силы, которая даже жителей этой сверхблагополучной страны способна выталкивать “с трибун на поле”. И потом, в Праге, общаясь с представителями, особенно западных компартий, часто склонялся к заключению, что дело тут не в давлении внешних обстоятельств, а в особенностях душевного устройства и склада ума каждой отдельной личности. В коммунистические ряды их приводил *собственный* свободный выбор, и одно это придавало им определенное превосходство над нами, поступавшими в комдвижение прямо из роддома.

По изначальному образованию я — индолог. Наверное, это сыграло определенную роль в нашем быстром сближении с умным, обаятельнейшим Сарадой Митрой, представителем компартии Индии. Сарада обладал неиссякаемым запасом юмора, пленял всегдашней готовностью подтрунивать над самим собой. Бок о бок, душа в душу прожили мы с ним все мои и его пражские годы. (Он скончался через месяц после моего возвращения в Москву.)

На заре нашего знакомства я как-то попросил рассказать, что привело его в политику. Ожидал услышать что-нибудь насчет праведного гнева, разгоревшегося в душе индийского юноши, оскорбленного черствостью и жестокостью хозяйничавших в его стране колонизаторов. Поведал же Сарада следующее: “В мои школьные годы в нашем городке, да и по всей Бенгалии, время от времени в лавках исчезал керосин. Конечно, это вызывало всеобщее недовольство. Взрослые ругались, жаловались, но не знали, что делать. Зато мы, школьники, знали. Однажды сговорились и гурьбой отправились к дому окружного комиссара. Подошли, расшумелись. Он появился на крыльце — стройный, подтянутый, красивый англичанин. Спрашивает: “Чего вы хотите?” По уговору предъявлять наши требования должен был я. И вдруг меня осенило, что с таким божественно прекрасным человеком, да еще и высоким начальником, говорить о керосине мелко, смешно, просто стыдно. Я выступил вперед и выкрикнул: “Свободы!” Он по-доброму улыбнулся, широко развел руки и сказал: “Свободы? Натэ. Пожалуйста”. Ну, а если детской голове пришлось задуматься, что же важнее — керосин или свобода? — потом ее от политики не оттащишь. Так все и началось”.

Журнал считался *теоретическим*, и, как проповедники марксистских истин, мы, советские работники редакции, могли действовать очень уверенно, оправданно сознавая и чувствуя свою более основательную книжную подготовку по сравнению с представителями партий, университетов, как правило, не кончавшими. Но помимо общих рассуждений о базисе и надстройке, об антагонистических и неантагонистических противоречиях, о мирных и немирных формах борьбы за диктатуру пролетариата и прочая и прочая — помимо всего этого, мы должны были еще заниматься воспеванием всякого рода земных достижений нашего родного общества.

Здесь нас постоянно подстерегали ловушки, расставленные посконными советскими представлениями. И на выручку приходили иностранные друзья, разъяснявшие, как это делала, например, Родни Эман, представительница “Левой партии — коммунисты Швеции”, что предлагаемые автором такой-то статьи хвастливые ссылки на достигнутые в СССР успехи в охране материнства и детства выглядят по меньшей мере смешно в сравнении с тем, что достигнуто в этой области в Скандинавии.

“Что вы тут расписываете, как ваши трудящиеся проводят отпуск в санаториях? — кипятился Жорж Квиатовски, пред-

ставитель Германской компартии. — В ФРГ отпуск есть отпуск. А в санаторий люди отправляются само собой, по предписанию врача, не *во время* отпуска, а *помимо* отпуска”.

Так чужеземные “братья по классу” приучали нас критически относиться к опорным догмам советской пропаганды. Заодно они отваживали и от чисто советских подходов к выпуску национальных изданий журнала, к его распространению. Отбиваясь от нашего начальства, требовавшего расширить распространение “Проблем” в Сенегале, посланец тамошних борцов за народное счастье Амаду Дансоко гремел на редакционном совете: “Поймите, наконец, что африканская культура отличается от европейской. Она устная, а не письменная!”

Еще, среди прочего, учили нас не переживать за судьбу датского издания журнала и спокойно относиться к тому, что кучка выпускавших его коммунистов время от времени в полном составе увольняется и вливается в ряды безработных. Еще бы! Им же надо было на что-то жить, и полученных за два-три месяца пособий по безработице этим подвижникам-бессребреникам хватало, чтобы потом целый год отдаваться переводу и изданию журнала, не заботясь о куске хлеба.

Кстати, эти самые датчане потрясли нас и находчивостью, проявленной ими в поисках дороги к сердцу читателя. В редакции вдруг появилась малоформатная книжица в глянцевой обложке, на которой в вызывающей (суперавангардистской!) художественной манере, но вполне внятно был изображен акт любви. Оказалось, это свежий номер наших глубокоуважаемых “Проблем”, вышедший в Копенгагене — столице сексуальной революции. Зародов ухмыльнулся, но в ряд национальных изданий журнала, выстроенных в его кабинете, датскую новинку не поставил.

Такие вот разные, полезные и важные уроки давала “пражская школа”.

— *В 68-м, как вы сказали, некоторые работники “Проблем” были высланы (на родину!), поскольку не сумели правильно воспринять появление советских танков в Чехословакии. Не означает ли двенадцатилетний срок вашей работы в журнале, что присутствие советских войск у стен Праги вас нисколько не смущало и относились вы к нему “правильно”?*

— Отвечать придется, начав издавека. С середины 50-х (оттепель!) неприятие глупостей и мерзостей, которые советская власть навязывала своему и чужим народам, неуклонно рас-

пространялось в интеллигентской среде вглубь и вширь. Родилось и стало набирать силу диссидентское движение. В книге “Просуществует ли СССР до 1984 года?” Андрей Амальрик поделил диссидентов на “политиков” и “моралистов”. Политики, отмечал он, принимали крушение советской власти за неизбежность и потому считали необходимым разрабатывать программы устройства жизни в стране, которая освободится от коммунистов. Моралисты же исходили из незыблемости, вечности нашего социализма и потому полагали для себя обязательным лишь личное неучастие в делах государства. Они ставили себе сугубо нравственную задачу: терпеть, мириться с тем, что есть, но самим оставаться чистыми, не мараться участием в грязных затеях власти, слушать, но не распространять исходящую от нее ложь. Нетрудно заметить, что споры, которые, по словам А. Гинзбурга, разжигали “Проблемы” среди “инакомыслящих в законе”, — это именно споры “политиков” и “моралистов”.

Амальриковские понятия можно, на мой взгляд, приложить не только к диссидентам как таковым, но и к значительной части нашей интеллигенции вообще. Во времена, о которых идет речь, я даже уверенно сказал бы: к *преобладающей* части интеллигенции. Ошибочность такого впечатления выяснилась для меня лишь к концу 80-х годов, а до того я жил в убеждении, что образованных людей, искренне разделяющих казенные взгляды на мир, у нас кот наплакал, а подавляющее большинство составляют те самые “моралисты”, которые вынужденно помалкивают, раз уж обстоятельства крайне неблагоприятны для громких высказываний.

Незавидную судьбу, подстерегавшую иных “моралистов”, веселыми стихами описал мой покойный друг Алексей Козлов (в 70-е годы консультант международного отдела ЦК):

Хотел я стать плечистой,  
 Да сник под глыбой книг.  
 Под гнетом вечных истин,  
 Пустых, но вечных истин,  
 Сутулиться привык.

Меня пророки брали  
 В порочное кольцо,  
 Сжимали-зажимали,  
 Учили-научали,  
 Как потерять лицо.

Как трудно дать отпор им,  
Как трудно дать ответ  
Воинственным, матерым,  
Натасканным, которым  
Числа и счета нет.

Я бился-отбивался,  
Потом душой затих.  
Но я им в плен не сдался.  
Нет, я им в плен не сдался,  
Я стал одним из них.

Потом-потом, с исчезновением идеологической принудилки, обнаружилось (в ряде случаев к несказанному моему изумлению), что огромное множество наших образованных сограждан никогда и не тяготились вбитыми в их головы заскорзлыми представлениями и как не хотели, так и не хотят выходить из состояния, описываемого грибоедовскими словами: к свободной жизни их вражда непримирима.

Понятно, что свойственный “моралисту” настрой ума совершенно не располагал к сколько-нибудь положительному или хотя бы равнодушному восприятию советского вторжения в Чехословакию, и переживания по этому поводу не оставляли меня ни в Москве, ни потом в Праге. А первое душевное потрясение по этому поводу случилось испытать еще до 21 августа 68-го. Партийные верхи имели полезнейшую для государственных руководителей политическую привычку: неизменно и своевременно заботились об “идеологическом обеспечении” любой своей затеи. И вот в московских верхах было решено, что грохоту танков должен предшествовать грохот печатного слова. В июне в отдел пропаганды ЦК для накачки стали одного за другим вызывать главных редакторов журналов. Поступило приглашение и в “МЭиМО”. Хавинсон был в отпуске, на Старую площадь пришлось идти мне. Там суровый представитель вида *apparatchik vulgaris* в весьма крутых выражениях потребовал, чтобы восьмой, то есть августовский номер нашего академического журнала вышел со статьей, вскрывающей полную научную несостоятельность “псевдотеоретических” писаний чешского экономиста-ревизиониста О. Шика.

Я обмер. Сколько-нибудь основательным знакомством с работами Шика похвастаться не мог, но и то, что мне было известно по выдержкам, появлявшимся в тассовских бюллетенях, располагало больше к одобрению, чем к разоблачению этого



экономического певца Пражской весны. Судьба подвергала меня самому серьезному для “моралиста” испытанию: покажи, как ты выкрутишься, не замараешься. Спасительный выход нашлся в моем встречном требовании, предъявленном в паре с видимым согласием: “Хорошо. Только позвоните, пожалуйста, в “Правду”, пусть остановят машины. Тираж восьмого номера уже крутится и должен быть готов то ли сегодня, то ли завтра. К тому же просьба: скажите, чтобы не выставляли нам никаких штрафов за срыв графика”.

Привирал я самую малость. Действительно, полностью подготовленный поднаборный текст восьмого номера был отправлен в типографию издательства “Правда” пару недель назад. Там он находился “в работе”, и любые попытки редакции как-либо переиначить его содержание были бы с негодованием отвергнуты на корню. Но технически-то задача была выполнимой. Не мы, так верхи агитпропа, всерьез взявшись за дело, вполне могли с ней справиться.

Однако если бы даже цеховские начальники сняли с меня трудности переговоров с типографией, все равно именно на мои плечи легли бы мерзкие заботы по подготовке заведомо постыдной статьи. Поэтому, не жалея страшных слов, я расписывал своему собеседнику всю грандиозность производственных срывов и финансовых издержек, за которые он должен будет взять на себя полную ответственности. Удалось. Шика журнал “МЭиМО”, конечно, разоблачил, но уже в сентябрьском номере и в статье, которая в утешение мне, “моралисту”, не моими руками была добыта.

Прага, уже придавленная советскими танками, снова всплыла на моих жизненных горизонтах год или около того спустя. Опять я был приглашен в ЦК, на сей раз в международный отдел, опять со мной разговаривали очень круто, хотя и несколько игриво. Грант Акопов, на которого я при этом первом знакомстве крайне обозлился и с которым впоследствии установились вполне дружеские отношения, достал из ящика стола авиабилет и, сверля меня глазами, заявил: “Либо вы берете этот билет, вылет в Прагу послезавтра, либо придется положить на стол другой билет”. Ошеломленный, я залепетал в ответ что-то невразумительное. Он пояснил: “Это не я придумал. Есть решение ЦК о кадровом укреплении редакции “Проблем мира и социализма”. Вот передо мной целый список тех, кто туда поедет”.

Такой поворот событий никак меня не устраивал. Сейчас уж и не вспомню, почему именно. Конечно, очень свежи еще бы-

ли раны 68-го, и выданное мне предписание воспринималось как приказ влиться в безнравственное полчище оккупантов. Но подозреваю, что меня не столько отталкивала Прага, сколько удерживала Москва: работа в “МЭиМО” вполне устраивала, и к тому же были виды на некую научную деятельность в одном из институтов при ООН, так что я как бы оказывался перед выбором — Прага или Нью-Йорк. Короче, сломя голову я поехал в редакцию и попросил Хавинсона немедленно вмешаться. У него были странно близкие, из глубин их биографий проистекавшие, отношения с Б.Н. Пономаревым, так что одного телефонного звонка хватило, чтобы на сей раз меня насчет Праги оставили в покое.

К 71-му году из “МЭиМО” я ушел, в Москве стало скучно, Америка отпала. Между тем друзья из пражской редакции тепло и завлекательно рассказывали о тамошней жизни, толковали, что, мол, мириться с пребыванием наших танков в Праге — испытание не более тяжкое, чем мириться с пребыванием Брежнева в Кремле. Уговорили, и об этом я ни разу не пожалел.

Там, в Праге, мы острили: “живем в довольно-таки средней Европе”. В действительности же нас окружала прочно усвоенная чешским народом вполне европейская культура, в том числе политическая, которая и простым обывателям позволяла не путать рядовых советских граждан с государственными держимордами, наславшими танки на мирную Чехословакию. За московское безумие 1968 года с нас ответа, как правило, не требовали. Если кто-то из наших соотечественников жаловался на неприязнь со стороны чехов, то при ближайшем рассмотрении сплошь и рядом оказывалось, что сам и виноват — нахамил, нагрубил, пренебрег святыми местными обычаями (притащил, скажем, воблу в пивную, и значит, согласно здешним вкусам и понятиям, испоганил кружки). Косые взгляды чехов по справедливости доставались и тем, кто так и не дал себе труда научиться общению с окружающими на языке страны пребывания. (Спустя несколько лет последуют причитания по поводу судьбы русскоязычного населения Прибалтики!)

Впрочем, стычки на почве пережитого в 1968 году все-таки случались. У меня лично одна-единственная за все двенадцать лет. Изрядно подвыпивший молодой человек обозвал меня оккупантом и засыпал требованиями вернуть ему отобранную национальную свободу. Отвязался встречным нападением: “А ты почему живой? Почему в 68-м не отдал жизнь в борьбе за эту свободу? Вот когда к нам в 41-м пожаловали оккупанты...” и

так далее. Поле битвы осталось за мной, но на душе осело что-то неприятное.

Вообще-то вопрос о том, как вести себя в подобных случаях, многих из нас никогда, естественно, не оставлял. Он нередко обсуждался “в своем кругу”, где защищать правомерность советского вторжения признавалось заведомо недопустимым. А что тогда? Лия крокодиловы слезы, сострадать потерпевшим? Не поймут. Уклоняться от всякого разговора? Стыдно.

Ныне ушедший из жизни Николай Федотович Прошунин часто расцветчивал подобные прения запоминавшимися художественными вымыслами. Однажды он без тени улыбки сообщил: “Вчера у меня в пивной вот что было. Надоели мне их недружественные выпады, и решил я речь сказать. Встал, поднял кружку. Мужики! — говорю. — Недавно, говорю, я был в Париже. Зашел там в кабачок. Взял стакан вина и вдруг вижу, приносят мне еще один. Я говорю, что, мол, не заказывал. Тут подходит хозяин и объясняет: это, дескать, от дома, притом с дальним расчетом. Вы, говорит, все равно придете и захватите Париж, и когда это произойдет, мне будет спокойней жить, сознавая, что у меня есть надежный русский друг. Вот, мужики, и рассудите. На Париж мы пойдем через Чехословакию. Другой дороги нет. И весь вопрос в том, вы дома останетесь или пойдете вместе с нами? Представьте, сразу все меня полюбили, заставали кружками и дружно загалдели: на Париж, на Париж!”

Потом, уже в Москве, когда Николай издал книжку “Что такое полемика”, стало ясно, что в Праге он ее обдумывал, складывал в копилку мысли, примеры. Недаром на тамошних посиделках он много рассуждал об умении вести спор, о том, например, что старания переубедить убежденного ни к чему не ведут. Гораздо, дескать, плодотворнее сразу согласиться с точкой зрения оппонента и тут же показать, что сам он отстаивать ее не умеет, а вот ты как раз знаешь наиболее сильные доводы в ее пользу. А дальше надо только выявить внутреннюю логику этих доводов, которая неумолимо затягивает в трясины нелепостей.

О достойном выборе слов и поведения приходилось думать применительно к спорам, возникавшим не только на улицах, но и на страницах журнала. В статьях, проходивших через наши руки, старались на ругань не срывать, вопиющих натяжек избегать, а отклонения от истины удерживать в пределах нравственно допустимого. Помню, в 71-м, в разгар ожесточенной борьбы против маоизма, Г. Шахназаров решительно пресек намерение одного нашего сотрудника обвинить КНР и в том, будто она не

поддерживает героический вьетнамский народ в его войне с американским агрессором. Так успокаивали свою совесть. Так приспособливались к “пребыванию Брежнева в Кремле”.

— В 1983 году в “Коммунисте”, а потом огромными тиражами отдельной брошюрой была напечатана статья Ю. Андропова “Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР”. Сначала она готовилась для “Проблем”. Вы были как-то причастны к ее появлению?

— Дело было так. Как и все партийные издания, “Проблемы” отличались сердечной привязанностью к юбилейным датам. За календарем тщательно следили и заранее собирались с силами, старательно готовились, чтобы достойно выступить в связи с какой-нибудь очередной знаменательной годовщиной. На исходе 82-го началась суeta по поводу надвигавшегося столетия со дня смерти Маркса. Ни в редакции, ни в ЦК не было сомнений, что автором может быть только некто из числа виднейших деятелей международного коммунистического движения. В конце концов на Старой площади решили, что это должен быть самый главный из наличествующих вождей мирового пролетариата, каковым, естественно, являлся Леонид Ильич Брежнев.

В октябре для создания его статьи была сколочена и отправлена в Горки-10 (на “дачу Горького”) рабочая группа в семь-восемь человек. По принятой в той среде терминологии, применительно к развернутому производству Брежнев числился “заказчиком”, а “Проблемы” “субподрядчиком”. Представителем субподрядчика из Праги послали меня. На “рабочую дачу” я прибыл 30 октября, и в первую же ноябрьскую неделю на свет божий появились начальные абзацы статьи, которые, несмотря на все последовавшие злоключения, достались в конечном счете читательскому вниманию.

Неисповедимы, однако, пути господни. Едва мы раскатались, договорились о внутреннем строении статьи, нащупали тон и стиль изложения, как наш автор скончался. Наверно, нигде в стране и мире не было того смятения, той растерянности, какие эта смерть патриарха вызвала за зеленым забором в Горках-10. Что нам было делать? Заказчика не стало, но субподрядчик-то оставался на месте, и его нужды подлежали удовлетворению. Не сомневаюсь, что будь жив Зародов, покинувший этот мир весной 82-го, он тут же примчался бы в Москву в ЦК искать выход из создавшегося положения. Но Ю. Складов, сме-

нивший его на посту шеф-редактора “Проблем”, наблюдал за происходящим из пражского далека и воздерживался от каких бы то ни было указаний своему посланцу в рабочей группе, то есть мне. Несколько позже он объявился в Подмоскovie, но не в Горках, а в Барвихе — в отпуск и подлечиться. Тем временем мы сами решили, что имеет смысл продолжать работу над статьей, не особенно, правда, напрягаясь.

Так ни шатко, ни валко и подвигалось дело. И наступил день, когда статья с неплохо приспособленным для “Проблем” содержанием начала приобретать законченный вид. И тут опять потрясение! В ЦК определили: автором быть новому генеральному секретарю. Это бы ладно. Но главной новостью стало то, что права “Проблем” на создаваемое нами произведение были начисто отвергнуты. Теперь оно предназначалось для внутреннего употребления, и с сотой годовщиной со дня смерти Маркса надлежало увязать не заботы международного коммунистического движения, а злободневные задачи общественного развития собственной страны. Нам явно поручалось создать программное заявление нового генсека. Работа закипела.

Поистине время лечит. Лечит, среди прочего, от ложных оценок, от представлений, уводящих в сторону от поднимаемых жизнью вопросов. Статья Андропова наделала много шума. Но читая ее сегодняшними глазами, трудно обнаружить в ней что-либо, способное взволновать, разбудить воображение. И совсем невозможно воспринять ее так, как она была воспринята общественностью тогда — “свежее слово”. Любой человек, не шибко приобщенный к извивам и ужимкам партийной мысли, имел все основания спросить (и спрашивали!): а чем это, собственно, отличается от обычной агитпроповской тарабарщины?

— *А чем же действительно новым, необычным отличалась та статья Андропова?*

— Юрий Владимирович сообщал и “доказательно” разъяснял, какой интеллектуальной мощью, каким несравненным даром научного предвидения обладали Карл Маркс, а заодно и Энгельс, Ленин. Следуя их теоретическим заветам и революционному примеру, трудящиеся Советского Союза и братских стран социализма добиваются под руководством коммунистических партий все новых и новых успехов в деле социалистического преобразования мира. Мы на верном пути, на нас хорошо работают законы истории, и только самим надо бы работать все лучше и лучше. Строго говоря, это все, что сообщала статья читателю, свободному от порочной страсти искать скры-

тый смысл широковещательных партийных заявлений и разбираться в предлагаемых ими намеках. Тем не менее изощренный ум мог почерпнуть из статьи немало важного и любопытного.

То, о чем в статье говорилось, было не столь существенно, как то, о чем она, вопреки обыкновению, умалчивала. Даже не поминались, например, “непосредственно общественный труд”, “стирание граней между городом и деревней”, “разумные потребности” и прочие благоглупости, без которых прежде не обходился никакой разговор о целях и идеалах развития страны. Из описания текущих забот общества начисто исчезло, разумеется, и само “развернутое коммунистическое строительство”. И это, конечно, было главное.

Правда, честь первооткрывателя Андропову не принадлежала. Уже при Брежневе (XXVI съезд) коммунизм как цель, достижению которой следует посвящать и подчинять все текущие дела, был отправлен в отставку. На его тихие проводы был приглашен “развитой социализм”.

Первосоздателем идеи “развитого социализма” или, во всяком случае, одним из начальных ее задумщиков был Вадим Алексеевич Печенев — тоже “пражский человек” и тоже участник, точнее, даже глава рабочей группы, трудившейся над статьей Андропова. Вадим, которому теоретические упражнения приносили едва ли не высшее из всех мыслимых удовольствий, многократно делился со мной своими замыслами, рассказывал, что подвигло его на разработку и внедрение в партийный оборот идеи “развитого социализма”. Честный взгляд на действительность, считал он, требует признать, что уровень социально-экономического развития советского общества сильно преувеличивается и что к строительству коммунизма оно подготовлено даже меньше, чем к переселению на Нептун. В основе, таким образом, лежало простое желание — покончить с враньем. Но одно дело — по-солженицынски предложить людям жить не по лжи, и совсем другое — от имени все-сильной партии пригласить их к отречению от коммунизма, который, как вчера еще утверждалось, уже торчит из всех щелей своими “зримыми ростками”.

Идея “развитого социализма” породила разброд в умах, едва была предъявлена для всенародного усвоения. Разногласица возникла даже на уровне грамматики: какой же он все-таки, этот наш социализм — развитой или развитый? Вплоть до его, социализма, кончины договориться так и не удалось. Но это мелочь. А действительно серьезный и весьма глубокий раскол

произошел между теми, кто учуял в новой “концепции” призыв к отрезвлению и поиску правды, и теми, кто воспринял ее лишь как очередную из постоянных потуг начальства “теоретически” расцветить свои мнимые достижения (был, мол, у нас социализм “победивший окончательно”, был “построенный в основном”, а теперь вот “развитой” — все как бы из одного ряда: “живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей”).

Радостные восклицания: “Ура! Наконец-то мы учимся смотреть правде в глаза” звучали жиденько, едва слышно. Их подавлял могучий хор недовольных: “Ну вот, оставили народ без мечты, без будущего!” Лишнее напоминание о том, что в насквозь идеологизированном обществе покушаться на сколько-нибудь существенное обновление идеологии — дело опасное, не допускающее чересчур резких, безоглядных движений. Поэтому работа над укоренением идеи “развитого социализма” в народных умах продолжалась осторожно, с откатами назад и в стороны.

Свой вклад в осмотрительную, но целенаправленную обработку общественного сознания внесли и “Проблемы”. В сентябре 1977 года В. Печенев пригласил меня в напарники, и на “16-й даче” в Серебряном бору, там, где в соседних комнатах доклеивалась новая конституция и готовился основной доклад к надвигавшемуся очередному пленуму ЦК, мы с ним соорудили статью, вскоре появившуюся в пражском журнале за подписью “Леонид Брежнев” и с выразительным названием “Исторический рубеж на пути к коммунизму”. Статья поднимала на щит “концепцию развитого социализма”, но при этом должна была успокоить правоверных прихожан московской коммунистической церкви, рассеяв их подозрения насчет отречения КПСС от идеалов коммунизма.

В сочинениях, появлявшихся под его собственным именем, В. Печенев много и замысловато рассуждал о соотношении идеала и действительности, призывал не разлучать, но и не путать одно с другим. В партийных бумагах он пересказывал те же мысли попроще, да еще и в увязке с привычными марксистскими рассуждениями насчет низшей и высшей ступеней (“фаз”) становления коммунистической формации. В итоге появлялся “развитой социализм” как высшая полуфаза низшей фазы коммунизма. Разберись, кто может!

Андропов разобрался. Именно сам Андропов, а не мы, сооружавшие его статью подмастерья. Он своей рукой написал (и прислал нам с указанием найти место и вставить) следующий текст: “Важнейшие черты современного советского общества

нашли отражение в концепции развитого социализма. В ней убедительно показано диалектическое единство и реальных успехов в социалистическом строительстве, в осуществлении многих экономических, социальных и культурных задач первой фазы коммунизма, и крепнущих ростков коммунистического будущего, и еще не решенных проблем, оставшихся нам от вчерашнего дня. А это означает, что понадобится определенное время, чтобы подтянуть отставшие тылы и двинуться дальше. Нам надо трезво представлять, где мы находимся...”.

Для посвященных в великий замысел “концепции развитого социализма” эти несколько строк не заключали в себе ничего нового. Но встречены они были поистине с восторгом — просто потому, что были не *подписаны*, а *написаны* самим генсеком. Идея, овладевшая начальством, становилась, наконец, материальной силой. Упоение таким успехом, как всегда бывает, мешало разобраться, чего он на деле стоит и какова, собственно, ценность самой идеи “развитого социализма”, если иметь в виду не “вопросы теории”, а подлинные жизненные заботы тогдашнего советского общества. “Видеть наше общество в реальной динамике, со всеми его возможностями и нуждами — вот что сейчас требуется”, — обнадеживающе писал своей рукой Андропов. Рукопись еще не попала к наборщику, а милицейские отловы нерадивых трудящихся в банях и забегаловках уже показывали, в чем именно, по представлениям генсека, состоят “реальная динамика, возможности и нужды” общества.

Никакой серьезной, продуманной программы действий у Андропова, конечно, не было, но некая воля к действию от его личности исходила. Именно это придавало вес его слову, подписанному им тексту. Впоследствии у меня была возможность на протяжении целого года соучаствовать в насыщении “ценными мыслями” устных и печатных выступлений К. Черненко. Если сравнить сегодня речения предпоследнего генсека и его предшественника, вполне оправданно может сложиться впечатление, что в стремлении обновить советское общество, пробудить его жизненные силы Константин Устинович выказывал себя более смелым, более решительным, чем Юрий Владимирович. Он явно шел дальше Андропова, выдавая от своего имени установки на такие, например, преобразования, что о них, как он говорил, нечего было и думать вне связи “с перестройкой самого экономического мышления”. Горбачеву понадобилось потом полгода, чтобы добраться от “ускорения” до “перестройки”, хотя уже в текстах за подписью Черненко именно это словечко удачно ис-



пользовалось при описании того, что надо делать, двигаясь “по пути совершенствования развитого социализма”.

Интеллигенция всегда склонна преувеличивать значение и силу слова. Вообще-то, поскольку пишущая и читающая братия по определению живет в мире слов, это понятно и простиительно. Но тем составителям “текстов слов”, что крутились в непосредственной близости от рычагов и кнопок власти, вроде бы не подобало заблуждаться насчет ценности своего творчества. Между тем заблуждались, да еще как! Медленно и трудно доходило до сознания писателей-невидимок, что все их старания, все словесные находки и ухищрения не несут в себе равным счетом никакого содержания, помимо того, какое вкладывается в них самим “заказчиком”, его пониманием собственных целей, его политической волей.

В начале 1999 года попались на глаза очаровательные, на мой вкус, строки одного из нынешних мудрейших, по-моему, литературных критиков Михаила Новикова: “Сесть и написать нечто! Всякий, кто по каким угодно причинам решается на это, выламывает себя из рутинного жизненного контекста. Взор его туманится, он бредит, он уносится в метафизическую даль... Даже, я думаю, партийный мудила, сочиняющий отчетный доклад Брежнева какому-нибудь длинными римскими обозначенному съезду КПСС — и тот не был вовсе свободен от особого вдохновения”. Точно! Это про меня, про многих моих сотоварищей, самоотверженно корпевших и над статьей Андропова, и над несчетным множеством других руководящих текстов.

Надо только отдавать себе отчет в изменчивости природы того вдохновения, которое двигало сочинителями главных политических произведений “римской империи времени упадка”. Когда до ума доходило, наконец, что биться за высокое качество партийного слова — дело по большому счету безнадежное и неблагодарное, употреблять не до дна вычерпанные творческие способности оставалось только на изобретение хохм с последующим их затверждением высочайшей подписью.

С какого-то времени меня захватило страстное желание придумать такой звонкий призыв, чтобы его высекли на камне, начертали на кумаче. В конце концов своего добился: вставленные мною в статью Черненко слова “чтобы лучше работать, надо лучше жить” красочным плакатом повисли над Аминьевским шоссе. В другой раз, создавая доклад того же Черненко перед юбилейным пленумом правления Союза писателей, мы с А.Н. Ермонским обогатили речь генсека “народным” присло-

вьем: куда ни кинь — умом раскинь. В. Печенев, ставший к этому времени помощником генсека и отвечавший за подготовку доклада, учаял неладное и запросил у нас письменный источник “народной мудрости”. Еле отбились. А через пару дней от души потешались над “откликами” провинциальных писателей, дружно повествовавших, как много дал им доклад генсека вообще и в смысле приобщения к красотах народного языка в частности.

— *Какова же в свете всего сказанного ваша итоговая оценка того воздействия, которое журнал “Проблемы мира и социализма” оказал на наше общественное сознание?*

— Боюсь, придется последовать всеобщее осуждаемой одесской привычке и, отвечая на поставленный вопрос, нагородить уйму встречных вопросов.

Вполне справедливым считаю мнение насчет осязаемого вклада “Проблем” в очищение мозгов советского общества, по крайней мере какой-то его части. Справедливо, по-видимому, выпятить и заслуги редакции как “кузницы просвещенных кадров”, которые потом, дома, не только в печати, но многие и на довольно высоких ступенях управленческой лестницы пускали в дело пражскую закалку и становились деятельными проповедниками и проводниками *нового*.

“Светлые дни моей жизни”, — отзываются о работе в журнале многие бывшие его отрудники, даже подавляющее большинство. Исключения есть, но их очень мало. Мне лично годы, проведенные в Праге, вспоминаются украшенными и согретыми, среди прочего, чувством своей принадлежности к кругу неравнодушных, творческих людей, жаждавших и добивавшихся раскрепощения и обновления нашего общественного сознания.

Но вот какие встают вопросы: не есть ли это разговор о частном, второстепенном, не уводит ли он от главного? Какой меркой надлежит мерить содеянное “Проблемами” и их работниками? Числом читателей, приобщенных к достижениям “ревизионистской” мысли? Не вернее ли будет повнимательнее присмотреться к содержанию самой этой мысли и оценить ее в свете последующего общественного опыта?

Ведь руководившая нами мудрость держалась на уверенности, что многое в нашем социализме подлежит переделке, улучшению. Соответственно мы упивались победами, одержанными в словесных битвах за “утверждение ленинских норм партийной жизни”, радовались каждому пробитому на страницы журнала тексту в защиту товарно-денежных отношений, хозрасче-

та и прочих “прогрессивных форм социалистического хозяйствования”. Отсюда для многих, для меня тоже, позднее пролегла дорога к увлеченной разработке широкого набора идей совершенствования социализма — идей благородных, многообещавших, но, как это предстояло еще осознать, безнадежно несостоятельных.

О “пражанах” своего времени А.Черняев говорит, что, работая в журнале, они превращались “из коммунистов в гуманистов” и им “суждено было годы спустя участвовать в демонтаже самой коммунистической структуры мышления и поведения”. Мне эти суждения представляются чуть-чуть неточными — чуть-чуть, но достаточно, чтобы сбить с толку. В гуманистов выпускники “пражской школы” превращались, оставаясь коммунистами. Одно ведь другому не мешает, когда прельщаются “социализмом с человеческим лицом”. И насчет участия в “демонтаже самой коммунистической структуры” тоже: почти никто из бывших “пражан” не замечен среди участников демонтажа структуры, выросшей из *самой* коммунистической идеи. В чем они действительно были деятельными, так это в начинаниях горбачевской перестройки, то есть опять-таки в совершенствовании социализма.

Горбачев-Фонд, лужковское “Отечество”, “Яблоко” — вот где главным образом ощутимо сегодня физическое и/либо духовное присутствие бывших “пражан”. Но их почти или совсем нет справа, там, где отброшены всякие заигрывания с социалистической идеей и на щит, как высшая ценность, поднята свобода — политическая и экономическая. И это естественно. Ведь мы, сотрудники “Проблем”, ходили в заложниках своего времени и, согласно амальриковской раскладке, были “моралистами”, а не “политиками”. Мы сами верили и других убеждали, что мир не существует вне противоборства между капитализмом и социализмом, причем социализм — вершина общественного устройства человечества и его будущее.

Не могу поэтому чувствовать себя свободным от греха участия в недобром деле: все средства партийной пропаганды, и в том числе “Проблемы”, знаменосец “ревизионизма”, хорошо поработали над тем, чтобы не выпустить народные умы за пределы коммунистической идеологии. Сегодня при виде стройных рядов зюгановских дедов и бабушек с плакатами, нежно поминающими социализм, советскую власть и товарища Сталина, я со вздохом отмечаю: нет, жизнь не прошла зря. Смех сквозь слезы.

Мои ближайшие друзья по Праге, вроде бы полные единомышленники, смеха не слышат, а для слез, настаивают, нет ни малейших оснований. Упрекнуть нам, дескать, себя не в чем, и для покаяния, тем более самобичевания, причин — никаких. Согласен. Но я-то о другом.

Я об Афганистане, например. Ребят, прошедших афганскую войну, тоже не попрекнешь, не осудишь, и к покаянию их звать было бы кощунственно. Они-то, вне всяких сомнений, были честными, мужественными людьми. И сейчас, наверное, достойны больших почестей, чем им воздаются. Но позволительно ли, как это сделал в дни своего премьерства Е. Примаков, незадачливо утверждать, будто там, в Афганистане, они “защищали свою семью, свой дом, свою родину”? Можно ли и стоит ли обходить молчанием преступную природу и сущность самой афганской войны?

Говорят, что оценивая “Проблемы”, да и прочие издания советских времен, надо читать их тогдашними, а не сегодняшними глазами. Задаюсь вопросом: а возможно ли это? Возможны ли оценки прошлого, полностью очищенные от позднейшего опыта, свободные от сегодняшних знаний и пристрастий? Откуда же нынешние расхождения во взглядах, например, на декабристов, Чаадаева, Победоносцева? Одни восхищаются, другие клянут. Что, открылись новые данные? Нет, открылись возможности выражать собственную точку зрения — ту именно, которая определяется личным выбором в сегодняшней раскладке общественно-политических сил и настроений.

А имея такую возможность, допустимо ли освобождать себя лично или “свое” издание от лежащей на нашей интеллигенции в целом ответственности за то, что общество оказалось совершенно не готовым к жизни в условиях свободы? Да и за то, что сами интеллигенты предстали в этих условиях “разочарованными странниками”?

Отсюда и моя общая, противоречивая (в таких случаях говорят: как сама жизнь) оценка журнала “Проблемы мира и социализма”: *заслуживает всяческого одобрения* за многолетние старания расковать общественное сознание; *повинен* в насаждении искаженного видения мира и порочных представлений о ценностях.

## А.Т. Гладилин “Все делалось скорее для самоочищения”

— Анатолий Тихонович, вы не понаслышке знаете о “самиздате”, “тамиздате”, об изданиях андеграунда, как теперь говорят. Причем говорят разное и весьма противоречивое. Хотелось бы узнать ваше мнение об этом явлении<sup>1</sup>.

— Буду рад, если смогу ответить на ваши вопросы.

— Тогда такой вопрос. В годы застоя легальная печать, как известно, утратила даже те небольшие свободы, которые начала обретать в период оттепели. Но, как сказал кто-то из аналитиков, это были годы активного бурления “грунтовых вод”. Набирает силу андеграунд — “Континент”, “Метрополь”, “Хроника текущих событий”, “Грани”, “Третья волна” и другие издания. Как бы вы охарактеризовали их роль?

— Хочу сразу отметить, что все перечисленное, кроме “Метрополя”, — это периодика. “Метрополь” же — при всей моей любви к его организатору Василию Аксёнову и прекрасным авторам, принявшим участие в этом издании, — явление единичное. Это — сборник. Вот он вышел — и все, его больше не было. Он не мог широко распространяться, потому что имелось всего несколько экземпляров, один из которых (теперь это можно сказать) был переправлен мне в Париж. Поэтому, как только началась, так сказать, “антиметропольская” кампания, я, работая на радио “Свобода”, сел к микрофону и стал освещать эту кампанию. То есть придал ей гласность, чтобы с создателями сборника втихомолку, не дай Бог, что-нибудь не сделали. Думаю, сам факт, что на “Метрополь” обратили внимание “радиоголоса”, был очень важен: если дело приобретало такую огласку, то обычно в Союзе старались не очень “зверствовать”. Потому, в общем-то, ни с кем из авторов жестоко не поступили. Правда, ни Ерофеев, ни Попов так и не вошли в Союз пи-

---

<sup>1</sup> Беседу с А.Т. Гладилиным провел в Париже, по нашей просьбе, журналист В.Н. Дымарский. — *Прим. ред.*

сателей (до этого формально их не успели принять, там три инстанции прохождения, — а потом просто не утвердили).

А что касается “Континента”, то он выходил регулярно, четыре раза в год. Постоянно выпускались “Грани”. “Третья волна” выходила под настроение редактора — когда у него были настроение и деньги, она появлялась, когда не было — значит, и журнала не было. Но все-таки наблюдалась какая-то периодичность.

— *Альманахи или журналы, но все это были издания, запрещенные в тогдашнем Советском Союзе. Ради чего они появлялись? Ради самоутешения авторов, или все-таки в этом виделась возможность каким-то образом воздействовать на ситуацию в стране, на настроения, умы советских людей?*

— Одно я выделил бы совершенно отчетливо: это был выход для литературы, потому что при всем булгаковском “рукописи не горят” они еще как горят, еще как теряются. Когда вещь опубликована в одном из таких журналов — она уже не потеряется, сохранится где-то в библиотеках, ее уже не арестуют. Это очень важно для писателя. А что он хотел сказать в своей прозе или стихах? Думаю, то, из-за чего его и не печатали дома. По-разному, конечно, складывалось. Но узнавали об этих изданиях все же благодаря “радиоголосам”, которые использовали не только их материалы, но буквально занимались пропагандой — извините за такие советские слова. Откровенно говоря, я не очень верил, что сами журналы как-то доходят до Москвы или Ленинграда. Они, конечно, туда попадали, но единично, потому что мало кто соглашался везти их отсюда в Союз. Брала совершенно отважные люди. Всегда какую-то литературу и обязательно журнал “Континент” брал Окуджава, брал Аксёнов, когда он еще был советским писателем, может быть, еще несколько человек. А как правило — боялись. Некоторые честно мне признавались, что, допустим, взяли какой-то журнал, довели до Польши, а потом, зная, что приходят обыскивать (тогда в первую очередь искали — вы уже забыли — литературу, а затем уже наркотики, золото, атомные бомбы и все, что угодно), просто выбрасывали тот журнал из окна поезда. И людей можно понять.

Совсем другое дело — “Грани”. Это был партийный журнал — издание НТС. Может, я не прав, но к этой организации отношусь плохо. Они существовали, в общем, на американские деньги, хотя говорили, что совершенно независимы. Тут я хочу внести уточнение: работая на американской радиостанции, я был официально аккредитован в Париже как американский журналист. Я этого нисколько не скрывал, это была моя офици-

альная работа. Но когда начинают говорить: “Мы такие независимые, мы такие свободные” — а на самом деле всем ясно, на чьи деньги они живут, — мне это не нравится. Ни то, с чем приходилось сталкиваться на Западе, ни то, что сейчас происходит в России, когда журнал или газета бравировать своей независимостью и бесстрашием, в действительности же очевидно, на кого они не могут даже косо взглянуть. “Грани” тоже докладывали американскому начальству, как идет их распространение, рассказывали, что дают журналы морякам, их охотно берут. А из других источников я знал: те, кто берет, связаны с ГБ, и этим самым ГБ снимает урожай изданий, которые могли бы пройти. Почему я и говорю, что на самом деле доходили единичные экземпляры.

“Хроника текущих событий” — уже нечто совсем другое. Это была самая запрещенная информация. И люди, которые делали “Хронику” (а это правозащитники) — героические люди. С ними как раз расправлялись чудовищно или, в лучшем случае, честно предупреждали: если сию секунду не уедете из Советского Союза — вас посадят.

— *Мы говорили как-то об этом с Аликом Гинзбургом, который, как известно, был одним из авторов “Хроники текущих событий” и играл там очень активную роль. Так вот, несмотря на такую прямую причастность, он скептически отнесся к тому, что “Хроника”, как и другие издания, серьезно повлияла на разрушение системы. Они служили скорее нравственному самоочищению их авторов, а тот режим, считает Гинзбург, сломать можно было только изнутри. Вы с ним согласны?*

— Думаю, он абсолютно прав. Алик Гинзбург в этом отношении очень здравомыслящий человек. Все делалось действительно для самоочищения. Мы — не запачканы. Это во-первых. А во-вторых, была и еще одна вещь, очень важная: когда что-то из этих журналов, издававшихся только на русском, переводилось на другие языки (я это сам знаю, потому что несколько моих публикаций в “Континенте” в конце концов были изданы на немецком и английском, то есть в Америке и Германии), это уже становилось каким-то, ну, маленьким, но аргументом. То есть их начинала читать та самая западная общественность, с мнением которой приходилось считаться. А до советской общественности, по сути, и дела не было, и если кто-то из товарищеских диссидентов говорит, что вот мы, дескать, победили, то я с этим не могу согласиться. При этом мне вспоминается, что в руководстве НТС (а при нем, напомним, состоял журнал “Грани”) были

распределены все посты, назначены все правители: если вдруг падет советская власть — их тут же пригласят.

— *Теневой кабинет?*

— Да, дескать, уже готов теневой кабинет. Было и такое. У меня ощущение — может, я не прав, — что соборим тихих дураков управлял очень ловкий товарищ, который под это дело получал деньги от американцев. Вот и все. Не исключаю и какую-то причастность КГБ — ведь партия была “сделана” давно и открыто провозглашала вроде бы как свержение советской власти... Кстати, ни одно из других упомянутых изданий этого не провозглашало. Никто. Все боролись с режимом, но не ставили целью свержение советской власти.

— *То есть стояли на позициях совершенствования социализма?*

— Не то чтобы... Хватало ума, как мне кажется, понимать, что процессы, которые будут происходить в России, будут происходить только в России, и никакое давление извне ничего не даст. Все, конечно, хотели брать пример с герценовского “Колокола”. Может, и состоялся бы “Колокол”, если бы не было “Голоса Америки”, той же Би-би-си. “Вражеские голоса” работали активно, их слушали, несмотря на все “заглушки”, и они, конечно, играли большую роль. Информация проникала, и с ней власти должны были считаться — вот ведь в чем дело. Но не более того.

Я тут успел сказать немало ругательных слов в адрес “Граней”, но был период, когда журнал редактировал Георгий Владимов. Он отбросил, так сказать, партийную линию и начал публиковать хорошую литературу. Она была самым главным для журнала. Однако после этого НТС выбросило Владимова из журнала...

Здесь не упомянут еще журнал “Синтаксис”, который, кстати, больше проникал в страну — он был чисто литературным, его не так страшно было провозить. Я это хорошо знаю. Мой дом всегда был открытой библиотекой, все, кто хотел, брали книги. Не потому, что я был такой богатый, а потому что я приходил в американское агентство, где печатали русские книги, и просто их брал. И там знали, что это не только для меня, а что из моего дома книги пойдут в Союз. Так вот, с большой охотой и уж чем дальше, тем с меньшей опаской люди брали с собой литературу — чистую литературу, особенно поэтические сборники.

— *Несмотря на запрещенные имена?*



— Несмотря на запрещенные имена. Ведь было известно, допустим, что даже тогда, когда Мандельштама еще не совсем разрешили, у одного из главных столпов идеологии, товарища Лапина, руководителя Гостелерадио, дома стоял весь Мандельштам, изданный в Нью-Йорке (товарища Лапина, естественно, не проверяли на таможне). Вот в этом своем качестве — сохранения литературы — журналы тогда могли что-то делать. Достаточно сказать, что некоторые очень интересные критические статьи, появившиеся в московской прессе, сначала были опубликованы здесь.

— *А не случилось так, что сам факт публикации в “диссидентских изданиях” закрывал материалу и его автору дорогу в легальную советскую печать?*

— Такое бывало. Хотя, как правило, публиковались вещи, которые по тем или иным причинам никак неприемлемы были для советской печати. А иногда публикация была невозможна по чьей-либо тупости. Например, Максимов в свое время напечатал в “Континенте” хорошие, на мой взгляд, воспоминания Полонской о Маяковском; я еще говорил ему: “Что ты делаешь, зачем даешь в двух номерах? Кому в Союзе попадут два номера “Континента” подряд?” Но он по каким-то соображениям решил так. Потом, когда “дверь открылась”, воспоминания напечатали, вернее, перепечатали и в России. Какая крамола не позволила опубликовать их еще тогда?

Я, повторю, не верил в то, что здешняя печатная продукция широко распространялась в Союзе, хотя “Грани” этим и хвастались — чисто советская показуха. Не знаю, что говорил Максимов Шпрингеру (а “Континент” тогда издавался на деньги Шпрингера), но, думаю, сам Володя полагал: если в конечном итоге попадет в Советский Союз и застрянет там хотя бы пять экземпляров номера — это уже хорошо. Да, пять экземпляров номера. Тем не менее у каждого из них уже была своя жизнь. Каким-то образом они становились достоянием не только пятерых. Одни люди имели доступ в спецхран, там знакомились с этой литературой. Другие передавали журнал “по цепочке”, на одну ночь.

— *На сколько можно умножить эти пять экземпляров?*

— На сто, на пятьсот — это самое большее. Кому-то те пятьсот еще устно что-то передадут. Ну, и все. Это, конечно, не то, что решало судьбы, даже если и было каплей, которая камень точит. Но я совершенно убежден: Советский Союз простоял бы еще сто пятьдесят лет, если бы Горбачев не решил ус-

троить перестройку (у меня на этот счет есть своя теория). Рванул, а оказалось — иллюзия. У нас у всех еще в 60-х годах тоже была иллюзия. Молодые, еще мальчишки, мы искренне полагали, что если в журналах будет сидеть не Софронов и Грибачев, а, допустим, тот же Евтушенко, или Аксёнов, или я, ваш покорный слуга, то — у-у-у! — какие мы сделаем журналы, все будет совсем по-другому. Выяснилось, что прав был товарищ Сталин: Советский Союз мог существовать только как такой вот коммунизм, по-другому существовать не мог.

Те, кому удавалось выезжать из страны по своим или служебным надобностям, стремились здесь как бы досыта начитаться — впрок. Очень много читали. Но это опять-таки единицы. Помню, пришел Юра Нагибин, взял стопку книг, стопку журналов. Прочел, но сказал: “Знаешь, Толя, они в таких списках, что вывезти я их не могу. Меня обязательно будут “шмонать”.

— А как же Окуджава? Его не досматривали?

— Окуджава был Окуджава. Хотя один раз и у него случились неприятности.

Это я все говорю к тому, что не удалось благодаря журналам андеграунда что-то реально изменить в Советском Союзе. Не будем выдавать желаемое за действительное. Хотя, бесспорно, пресса андеграунда входила в систему параллельной, точнее — противостоящей официальной информации, и вместе с другими альтернативными ее источниками сыграла определенную роль.

— Анатолий Тихонович, а вы сами охотно публиковались в этих изданиях? По каким сигналам можно было судить, что ваши публикации прочитаны? Вспоминалось ли при этом, какой отклик имели ваши произведения до отъезда из страны?

— Ну, в “Метрополе” я не мог участвовать сразу, хотя всю информацию о нем знал напрямую, от Аксёнова, причем заранее. А в “Континенте”, пока мы с Максимовым дружили, у меня были публикации. Естественно, на русском языке. Но только тогда, когда что-то перевели на немецкий и английский (о чем я уже упоминал), — только тогда, я считаю, был отклик. Я не обольщался тем, что сам факт публикации в “Континенте” — это выход на русского, на советского читателя. Это выход на читателя здесь, на Западе. И особенно в Америке. Там действительно была большая аудитория. Мы забываем о том, что существовали еще и газеты, с несравнимо большим тиражом. Еженедельник “Панорама” тогда набирал силу в Лос-Анджелесе. Основательно работала газета “Новое русское слово”, когда там еще был Андрей Седых, которого, думаю, не надо представлять. В общем, она

стремилась печатать серьезные вещи. Мою повесть “Французская Советская Социалистическая Республика” печатали с продолжением именно в “Новом русском слове”. Целиком. Седых мне рассказывал, что в редакцию звонили, спрашивали, когда будет следующий номер (хотя газета ежедневная), сколько предстоит напечатать, дабы что-то не пропустить. Такого, он говорил, еще не было. Я тоже — первый раз в эмиграции — почувствовал отклик читателя. Это был успех, но в Нью-Йорке, у тамошнего русскоязычного читателя. Все.

— *То есть отклик на произведение эмигранта в эмигрантской же среде...*

— Да. Хотя помню и такой, например, эпизод. Приехал в Париж мой товарищ, который официально был выездным, а значит, мягко говоря, был далек от диссидентов. И, среди прочего, рассказал, как один из секретарей московского отделения Союза писателей отозвал его в сторону и, ухмыляясь, начал цитировать наизусть “Французскую Советскую Социалистическую Республику”. То есть до какого-то начальства, в каких-то послужных списках для информации вся эта литература, вероятно, доходила. Но и об их “отклике” я узнавал только таким вот образом.

— *Вашу первую книжку — “Хронику времен Виктора Подгурского” — люди читали в метро. Наверное, приятно было это видеть?*

— Не только ее — все мои публикации в “Юности” читались, в том числе и в метро. Тираж “Хроники...” был сто тысяч, “Истории одной компании” — уже шестьсот тысяч экземпляров. Конечно, в Союзе был колоссальный отклик, причем на вещи, я считаю, стоящие, интересные для читателя — во всяком случае тогда. Несравнимый отклик. Поэтому я говорю во всех своих интервью, всегда говорил моим товарищам-литераторам, которые остались или потом уже уехали: “Пока у вас есть возможность сидеть в Союзе и издавать книги в Союзе, сидите и издавайте, потому что там совсем другой отклик, совсем другая амплитуда, так сказать, расхождения вашей книги”. Я, кстати, до отъезда из страны следовал этому правилу и опубликовал все возможное. Одну мою книгу, которая так никогда и не была издана в Советском Союзе — “Прогноз на завтра”, — опубликовал “Посев”. Вернее, издательство при НТС — там работал один приятный человек, любитель литературы, который, кроме всяких партийных брошюр, стремился печатать и хорошие вещи. В частности, именно здесь издавали сборники Окуджавы.

— Но ведь *“тамиздат”*, как это называлось, фактически ставил клеймо на авторе. Это не коснулось Окуджавы? Его уже нельзя было запретить?

— Да, наверно. Потом, считалось: тут невозможно что-либо доказать. Это ведь были песни, которые пел весь Союз, магнитофонные ленты ходили по кругу. Автор всегда мог развести руками и сказать: *“А при чем здесь я?”*

Осталось у нас в памяти, как, в конечном итоге, меня за *“Прогноз на завтра”* и Булата Окуджаву за поэтический сборник, изданный в *“Посеве”*, начали вызывать в ЦК и требовать, чтобы мы отказались от этих книг. Нас уверяли, что в политическом плане они используются против советской власти.

— Ну, *“Прогноз на завтра”* — это не песни. Как действительно рукопись попала на Запад?

— Я и тогда объяснял: *“У меня масса экземпляров, рукопись бродит по издательствам. У меня договор на эту книжку с издательством Союза писателей. Не знаю, как она оказалась на Западе. Я отвечаю за книгу, а вот в политику — не влезаю. Если речь идет о политике, то я — против”*. Булат тоже написал объяснение примерно в таком же плане. Мы обсуждали это с ним и решили отправить письма в *“Литературную газету”*. Как правило, писатели, которых заставляли отказаться от своих книг, говорить, что это слабые, несовершенные вещи, объяснялись примерно так: *“Я сожалею, что книга опубликована”*... А мы (впервые) решили ни в коем случае не отказываться от своих произведений. Ведь завоевание свобод шло тогда по ступеням. Мы считали, что это важный шаг — не отречься. Я написал: *“Эта вещь была написана для советского читателя и планировалась к публикации в Советском Союзе”*. Булат писал, что это его песни, которые поются в Советском Союзе. Я повез, по просьбе Булата, наши объяснения в *“Литгазету”* и положил их на стол Чаковскому. Он понимал, какое на нас идет давление. Давление, между прочим, было и такое: *“Хотите, чтобы книги и дальше издавались в Советском Союзе”*...

— *Откажитесь*.

— Да. Нам важно было сказать, что в политику мы не играем, мы не хотим, чтобы книги использовались в антисоветских целях. Пожалуйста, читайте их, а вот использовать в политике... Я попросил Чаковского напечатать наши письма без какой-либо правки, не убирая ни единой запятой — иначе может возникнуть скандал. Он заверил: *“Ну, что вы, за кого вы меня принимаете! Да мы никогда, ни одной запятой!”* Все. Сдержал

слово. Оба письма напечатали в одном номере, мое было первым, Булата — вторым. Ни слова, ни фразы не было изменено, все запятые и точки на месте. Но под нашими письмами стояла большая редакционная статья, где все, что они хотели, они сказали: вот, мол, пример, как наши советские писатели не ведают даже, как их используют... Нас обыграли в конечном итоге. Но кто это мог предвидеть?

— Скажите, Анатолий Тихонович, а в годы эмиграции, когда вы писали, по сути (как и сами признаете), уже для западного читателя, у вас не было ощущения некоей замкнутости эмигрантской культуры? Есть точка зрения, согласно которой русская культура — в широком ее понимании — разделяется как бы на “континентальную” и “островную” — эмигрантскую. Вы согласны с таким утверждением?

— Может быть, это скорее имеет отношение к первой волне эмиграции. Какая там была великая литература, какие авторы! Они, действительно, находились в отрыве, им трудно, наверное, было следить за тем, что происходит в советской литературе. Возможно, они признавали только тех людей, которых помнили, друзей их молодости. Это понятно, отсюда и минимальная информированность. Мы же знали, что происходит в Советском Союзе. У меня на столе лежали все советские литературные журналы, все советские газеты...

— Как у одного из руководителей парижского бюро “Свободы”?

— Да. И все наши авторы, все живущие здесь писатели, в первую очередь Виктор Некрасов, приходили, интересовались: что почитать? Я им показывал. Очень хорошо знали, как складывается ситуация — и в политике, и в литературе. Во всяком случае те, кто хотел знать. А ощущение было единственное: что мы, конечно, никогда не доживем до того момента, когда наши книги придут в Советский Союз или в страну, которая будет на месте Советского Союза. Что они в итоге придут — вот в это мы верили.

— Отсюда и задача — “сохранения литературы”?

— В общем, да... Если говорить о процессе какого-то взаимодействия, взаимопроникновения, хотя бы информационного, мне тут легче судить о “голосах”, потому что я все время, даже в самые мрачные годы вещал по “голосам”. Но ведь и чтение было, обратите внимание. “Архипелаг ГУЛАГ” — вот тот самый факт, когда литература перевернула сознание. Только после “ГУЛАГа” левая интеллигенция Запада вдруг схватилась,

так сказать, за все свои места и сказала: ой-ой-ой, действительно, нельзя дружить с Советским Союзом. Это стало стыдно. Для этого нужна была книга Солженицына. А что, они прежде ничего не знали? Знали. Но знать не хотели. И прежде выходили книги, были свидетели, шли знаменитые процессы. Но вот это было явление Солженицына.

— *Насколько, на ваш взгляд, правомерно сегодня говорить, что две ветви культуры, литературы — “континент” и “остров” — с определенного момента развивались параллельно, и вот теперь их пытаются как бы свести воедино?*

— Я думаю, что литература одна — русская. Книга написана на одном языке, проблемы, в общем, примерно одни, потому что настоящая литература всегда жила какой-то своей внутренней жизнью, а не внешними сюжетами. Я, скажем, никогда не чувствовал себя деятелем некой западной культуры, западно-русской литературы. Не было такой. При нас не было. Мы считали себя, так сказать, зарубежным издательством, ну, не филиалом “Советского писателя”, но какого-то русского. И если несколько из тех книг, которые выходили у меня тут, на Западе, на русском языке попадали все-таки в Россию, обратно в Москву, я был очень этому рад. Хоть знают обо мне, что я не лежу под забором, а продолжаю писать.

Будем говорить так: те вещи, которые потом, когда тиражи российских журналов прыгнули за миллион, публиковались в этих журналах — они откуда? Это же было из писательских столов или из того, что уже опубликовано на Западе. Тех же самых авторов, или уже умерших, или живущих в Союзе, но не публиковавшихся там. Опубликоваться на Западе хотели очень разные люди, теперь это можно сказать. Благополучный Жванецкий, тем не менее, переслал по разным каналам мне на “Свободу” свои рассказы, потому что считал: в Советском Союзе их нельзя было опубликовать. Я понимал, что и по “Свободе” их невозможно пустить. Это с удовольствием бы схватили, но и Жванецкого тогда, извините, схватили бы. Я передал те рассказы в американское издательство. Многим казалось, что главное — опубликоваться на Западе. Будет всемирная слава, а уж дальше... Всемирной славы не было, а неприятности могли быть. Так что приходилось думать, кого и где печатать, кого и где рекомендовать.

— *Как-то пришлось услышать от одного из чинов КГБ: мы-то спасали Солженицына, его ведь хотели чуть ли не в Сибирь сослать, но мы настояли, чтобы на Запад...*

— Я не очень верю в благие намерения КГБ. Хотя, возражая кому-то, могли сказать: вешать, дескать, не надо, это вызовет шум, а лучше его послать на Запад, он там сдохнет от голода. Была ведь знаменитая история, определенный круг в Москве ее помнит, — как Наум Коржавин, поэт, решил уехать из Советского Союза. Тогда собрались прогрессивные поэты, цвет нашей поэзии, и пошли к секретарю Союза писателей с нижайшей просьбой: не выпускать его из Советского Союза. Он же там погибнет, он же ничего не умеет, куда его выпускать... И что интересно — через неделю Коржавин получил разрешение. Были такие рекорды оперативности.

— Анатолий Тихонович, вы давно живете в Париже и, видимо, сталкивались с нашей эмиграцией в разных ее проявлениях. По мере того как она открывается сейчас уже и России, обнаруживается, что это весьма разнородное сообщество. В критике советской власти, тоталитарного строя все, наверное, были едины. Но интересы и цели все же различались?

— Безусловно. Сильной фигурой еще в Москве был Максимов. Не принимал ничего советского, хотя он, так сказать, происхождения вроде бы не дворянского, из самых “рабочих и крестьян” — беспризорник (в его жизни было и такое). Он ничего не боялся, вел совершенно яростный спор, причем не только с “идейными врагами”, но, скажем, и с Евтушенко. Я их мирил, что было бесполезно, и как-то договорился с Максимовым и с Евтушенко: “Когда вы встречаетесь в ЦДЛ, просто смотрите в разные стороны, не доставляйте другим удовольствия своим, мягко говоря, разногласием”. Здесь, в эмиграции, объединялись под давлением пресса, если бы не объединялись, не подставляли свои хилые плечи — он бы раздавил. И это было самое главное.

В остальном же мы были как маленькая лаборатория: здесь происходило все то же самое, что потом, только в больших масштабах, происходило в России. Я думал, наш опыт пригодится. Нет, не пригодился. Там, где мы спотыкались, спотыкались потом российское общество, пресса времен перестройки, деятели культуры. Тогда как все уже, казалось, было пройдено — это расслоение, полемика либералов-западников и почвенников, патриотов. Все эти вопросы здесь, в эмиграции, не только обсуждались, но как бы вытекали из самой ее жизни. Ведь первым вопросом для эмигранта был вопрос трудоустройства. Людям надо было находить работу и в общем как-то обустроиваться. И, конечно, очень многое определяло, где человек устроился.

— То есть не до идейных разногласий?

— Идеиные проявились потом. Не идеиные, а, скажем так — эстетические. Просто я полагаю, что Жора Владимов никогда не влезал бы в ту партию, НТС, по сути, они его обманули. Когда я прилетел в аэропорт, у меня в кармане было приглашение для него на радио “Свобода”, на хорошую должность. Никто бы его не трогал, делал бы все, что хотел. Но было престижным, как ему казалось, стать главным редактором журнала. Стал, однако в конечном итоге увидел, что за люди крутятся вокруг НТС и “Посева”, начал с ними ругаться...

Те, кто устраивался в университетах, в основном уходили в науку. У меня тоже была другая специальность, вернее, пришлось вернуться к первой: я, побыв дома писателем, здесь стал журналистом, как и начинал когда-то. Причем мне это очень нравилось, я действительно в Союзе не занимался политикой, а здесь занялся.

— *Была и внутренняя полемика между представителями разных течений, тех же почвенников и либералов?*

— Была. Александр Янов очень нападал на Солженицына, и эти его нападки явно не нравились. В то же время обожествления Солженицына не было. Все признавали величину этой фигуры в истории, но обожествления не было. И я помню, как Виктор Некрасов, просто в ужасе подчеркивая страницы из “Красного колеса”, говорил: “Исаич с ума сошел, что ли?” Здесь не склонны были однозначно оценивать его как писателя и публициста. “Архипелаг ГУЛАГ”, скажем, — не литературное произведение, это совсем другое — особая вещь. А “Матрёнин двор” и тот же “Один день Ивана Денисовича” — очень высокая литература. Признавали ли его как духовного лидера старой, новой России? Нет, тут вообще авторитетов не было. Были типы вроде Лимонова — ну, это другое дело. Надо сказать, когда началась перестройка, в Россию в первую очередь хлынули из эмиграции те, кто ничего не смог тут сделать. А хлынули туда, бия себя в грудь: “Мы самые великие, мы самые знаменитые на Западе”. Обратим внимание, что нобелевские лауреаты вернулись последними. А Бродский вообще не вернулся. Он не спешил.

Определенный авторитет имел Максимов, потому что он помогал тем, кто приезжал, и у него был “Континент” — единственный журнал, где платили гонорар. К Максиму прислушивались.

— *На “Континенте” не отражалась позиция, которую занимал Максимов в последние годы своей жизни?*

— Вы имеете в виду его выступления в газете “Правда” и прочее? Не тянул ли он свой журнал в эту идейную сторону?



Это очень серьезный вопрос, потому что Максимов — сложная фигура. Не самый, будем так говорить, здоровый человек. Человек настроения. По-разному мог себя вести. Когда Максимов хотел нравиться, он нравился всем, когда Максимов впадал в ярость, он готов был наделать дикие глупости, и делал их, если его не останавливали за руку. Мне трудно о нем говорить. Я очень хорошо знал Максимова и всячески старался ему помогать. А потом уже не было рядом с ним человека, который мог бы его остановить.

Что касается вечной полемики в русском обществе — между почвенниками и либералами, — то она здесь шла, как ни странно, скорее на волнах “Свободы”. Не могу сказать, что на очень высоком уровне, тем не менее в ней принимали участие такие фигуры, которые тогда мне казались, может быть, и незначительными, но сейчас к ним относятся с очень большим уважением. Например, Парамонов из Нью-Йорка — я смотрю, теперь его всюду цитируют, профессор Пятигорский из Лондона. Я же, скорее, следил за литературным процессом. Мне интереснее были любопытный рассказ, хорошее стихотворение, умная книга или статья. А уж кто там кого...

Приехав сюда, мы увидели, что в западном обществе то же самое: все друг на друга нападают, у всех своя “тусовка”, и никто никого не пытается переубедить. Все знают, что переубедить невозможно. Иногда кто-то просто перебегает.

— Анатолий Тихонович, а не пропадает сейчас тот самый интерес к хорошей книге, умной статье? Читают же очень мало. Чем бы вы это объяснили?

— Сейчас просто нет хорошей литературы. Хорошая литература не создается по заказу. Раньше книги писались в течение десятилетий, откладывались, переписывались. И еще — все писали в стол. И это было настоящее.

Не хочу сказать, что я такой умный (кроме меня многие, наверное, говорили то же самое), но еще на заре своей туманной юности, еще в Союзе писателей я выступал на творческих собраниях и говорил: “Вы думаете, так вот и будут нас читать?” Хотя тогда я был в числе самых популярных авторов, я считал, что нам надо думать о форме, у нас появляется очень серьезный соперник, который, если мы будем писать по-старому, нас сомнет: кино, телевидение. “Вы что, думаете, так и будет продолжаться мирное сосуществование? Легче смотреть на экран, чем читать книжку. Мы должны начинать писать по-другому”. Но тогда все боролись с советской властью...

О.Н. Яницкий

## “Пресса соединяла людей в “гражданских инициативах”

— Олег Николаевич, начало 80-х годов — это период формирования гражданских инициатив, феномена, о котором именно вы достаточно много писали. Чем, на ваш взгляд, объяснялась эта активность — и граждан и прессы — в столь, казалось бы, “глухое” время?

— Застой тоже ведь проявляется по-разному — где-то больше, а где-то меньше. Я не люблю этих шапочных понятий, которые накрывают все разнообразие происходящего. Как раз к началу 80-х годов стало появляться — сначала робко, а потом все мощнее — то, что мы теперь называем гражданскими инициативами. Тогда это называлось кружками, клубами, поисковыми группами, дружинами, экспедициями. То есть формы, естественно, брались советские, что вполне понятно. Опыт 20–30-х годов практически был утерян, те, кто им владел, боялись его использовать. А вот опыт инициатив и починов советского времени оставался, и сбрасывать его со счетов было бы неразумно.

На рубеже 70–80-х годов сложилась такая ситуация (какой я вижу ее сейчас и как пытался осмыслить тогда): власть, верхушка общества и партии строго следили, чтобы базовые клише коммунистической идеологии не подвергались сомнению — вот строим (или построили) развитой социализм, вот у нас равенство, справедливость и так далее; ну, а вне этих стратегических, как им казалось, идеологических областей контроль и режим, включая санкции, быстро слабел, и люди стали все больше заниматься тем, чем они в общем-то хотели заниматься.

В обществе — и прежде всего в провинции — накопился огромный человеческий потенциал. Мы были “самой читающей нацией”. Немалый опыт (профессиональный, отраслевой) трансформировался в жизненный опыт. Люди, особенно во всевозможных “ящиках”, закрытых структурах, монофункциональных индустриальных центрах, в малых городах россий-

ской глубинки, где круг общения ограничен, стали искать выход из этой замкнутости, поначалу находя его в каких-то любительских занятиях. Скажем, первые инициативы пришли из глубинки Ярославской области, из знаменитого города Мышкин, где журналист, общественник создал местный клуб-музей, который, кстати, существует и до сих пор. Постепенно при поддержке прессы сформировалась сфера деятельности, которая, с одной стороны, была вполне советской, а с другой — открывала большие возможности как для самих людей, так и для прессы. Наступил момент, когда печать, не выходя за рамки официальной идеологии, стала поддерживать эти местные начинания. Постепенно такая поддержка переросла в генерирование — пресса стала порождающей средой для инициатив.

Оказалось, что достаточно затертое в советской действительности слово “самодетельность” имеет глубокий смысл. Собственно говоря, вот три кита этих начинаний: самовыражение, самоорганизация и самоидентификация. Самовыражение — как возможность заниматься тем, что “душа просит”; самоорганизация — самостоятельное конструирование форм публичной деятельности, что тогда казалось очень заманчивым; наконец, самоидентификация — отыскание собственных корней в окружающем тебя мире, а потом, как выяснилось, и в российской истории, и так далее. Замечу, что, в отличие от нашего времени, тогда, в 80-х годах, гражданский и познавательный обертоны этой общественной деятельности были ведущими.

Ситуация тогда, на мой взгляд, была взаимовыгодной. Журналисты открыли для себя “золотую жилу”, а местные активисты, поддержанные прессой, постепенно укрепляли свои позиции и расширяли поле своей деятельности. Боюсь сказать, каким изданиям принадлежит здесь ведущая роль, скорее всего “Советской России” и “Известиям”. При такой поддержке из инициативы какой-то маленькой группы, а чаще всего — одного человека, со временем складывалась некая организация, которая позже нередко превращалась в инициативную группу газеты или журнала.

Эти годы межвременья — не подберу другого слова — были чрезвычайно благоприятными для развития такой формы социальной деятельности. С одной стороны, повторю, публично обсуждать кардинальные проблемы общественного устройства простому человеку, как и раньше, не дозволялось (тут инициатива была наказуема жестоко), а с другой — местная самодея-

тельность, творчество в конкретных областях повседневной жизни приветствовались. Постепенно старые, распространенные, можно сказать, даже избитые журналистские сюжеты о “самодельности” приобрели социальное звучание, стали вызывать все больший общественный резонанс.

В 1982 году Верховный Совет РСФСР одобрил инициативу активистов Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей по сохранению малых рек. Так родилось движение “Малым рекам — большую жизнь”. С 1983 года “Советская Россия” стала раз в месяц отводить уже целую полосу “Общественному комитету спасения Волги”. Журналисты приоткрыли дверь, дали возможность этим людям публично заявить о своих планах и делах. И начался встречный процесс: люди с мест стали настойчиво расширять рамки своей активности. Если говорить о той же Волге, то начиналось все очень конкретно, “адресно”: вот эта речка обмелела, а эту загубил свиноводческий комплекс; там и тут лес по берегам вырубил и так далее (на Западе такие инициативы называются “движениями одного пункта”).

Однако очень скоро общественность устами прессы заговорила об ином. О том, что в результате строительства на Волге каскада гидроэлектростанций ушла под воду часть российской истории, о том, что тысячи семей были согнаны с мест, а ландшафт стал совершенно не приспособлен для жизни. Фактически впервые, хотя и безадресно, была подвергнута публичной критике вся послевоенная политика социалистической индустриализации. В итоге союз прессы и общественности породил радикальное патриотическое движение, возглавляемое Фадеем Шипуновым.

Косвенный результат такого взаимодействия был не менее важен. Люди, читавшие прессу, увидели, насколько общество, в котором они живут, разнообразно. Разнообразно культурно, социально, по своим интересам. Причем это разнообразие не статичное, не “этнографическое”, а это разнообразие действий, ориентированных на социальные перемены снизу. А журналистика, печать сделали то, чего не могла сделать социология. Они сделали гражданские инициативы публичными и тем самым их легитимизировали. Здесь, если позволите, я немного подробнее коснусь этой темы — соотношения позиций социологии и журналистики. Скажу о том, что думаю.

У меня такое ощущение, что социологи в значительной своей части не любят людей, хотя это и наука о человеке. Ска-

жем мягче: конкретные индивиды их не очень интересуют. Их интересуют типология, идеальные типы, таксономии, репрезентативные выборки, кластеры и другие ментальные конструкции. Есть множество высококлассных специалистов, но большинство из них занимается “социальными фактами”, будь то структура общественного мнения или социальная структура. Журналисты же — лучшие из них, я вот выписал себе, кого читал в те годы: А. Плутник, В. Выжутович, А. Васинский, Ю. Рост, Э. Максимова, Э. Поляновский, В. Яков, А. Рубинов, А. Фадин и многие другие — все они интересовались именно судьбами конкретных людей. Социолог “изучает”, тогда как журналист — “ведет расследование”. А это всегда и для читателя и для самого человека гораздо важнее и интереснее. Социолог очищает предмет свой от частных, а журналист, как детектив, копается в деталях, подробностях, в “грязи”. Мало кто сейчас помнит, что в формировании американской социологии не последнюю роль сыграли именно журналисты, так называемые маккрейкеры, то есть дословно “разгребатели грязи”. И выдающийся американский социолог Роберт Парк, хотя и имел специальное образование, в то же время был профессиональным журналистом... Социолог всегда выбирает для своего исследования общезначимую проблему, а потом, когда проблема определена, уже смотрит, какие индивиды попадают в его поле зрения. Как у нас пишут: главное — это *central research question*, центральный вопрос исследования. А журналист (я не идеализирую их, но все-таки) изучает конкретный случай, критическую ситуацию, и всегда — через призму человеческих судеб и характеров. Не зря социология в последние пять-десять лет все больше тяготеет к качественным методам. Особенно плодотворным является метод “изучения случая”, потому что через него можно увидеть и ситуацию, и проблему, а построив хронологию событий, — и ее динамику, но прежде всего — увидеть конкретных людей. Не так давно стал утверждаться еще один качественный метод изучения действительности “через человека” — биографический.

Гражданские инициативы претерпели очень интересную трансформацию. Их участники начали со среды своего непосредственного обитания, с борьбы с процессами ее обеднения и деградации. Но очень скоро возник (совершенно необычный для тех лет) еще один предмет их пристального внимания. Они стали интересоваться собственной биографией, историей своей семьи, кругом ее друзей и знакомых. В своих интервью

(80–90-е годы), которые я объединил в книге “Социальные движения: сто интервью с лидерами”, мои респонденты не раз говорили: “Вот я занимался своим микрорайоном, историко-культурным центром своего города. А потом стал думать, а где же, собственно говоря, в этой истории я сам. И стал искать свои корни”. И такой поворот был в общем-то неизбежен, потому что как только личность начинает ощущать себя самостоятельной, самоорганизующейся, в ней непременно пробуждается интерес к собственной судьбе, к истории своей семьи, ее окружения и так далее.

— *А это не было отказом от целей движения, “уходом в себя”?*

— Я бы сказал: “Дай Бог!” — потому что никакое социальное движение невозможно без корней, культурных и личностных. Кто-то ушел в политики (это уже следующий этап), в публичную деятельность, а кто-то остался копаться в архивах, в семейных генеалогиях. Ну и что? Это же прекрасно, что не все пошли стройными рядами в депутаты местных советов. На то они и инициативы, что не обязаны существовать вечно. Человек поставил перед собой какую-то задачу, решил ее. Он больше действовал, чем думал, что-то пробивал, организовывал, он чего-то добивался. Потом совершенно естественно, как и в научной работе, наступает этап осмысления: хорошо, эта задача решена, но что дальше? Для одних гражданская инициатива сыграла роль стартовой площадки для политической карьеры, другие вернулись к прежним делам, в семью, в свой дом. Да, если хотите, некоторые действительно уходили. Но это было не бегство, не эскаре, а уход в иную сферу самореализации — в спасатели, группы самопомощи, в комитеты солдатских матерей, то есть туда, где личный интерес нельзя отделить от гражданского долга, общественного интереса.

— *К вопросу об общественном интересе, Олег Николаевич. Мы говорим: печаталась подготовкой перестройки, ее многие ждали, рождались некие идеи совершенствования общества, побуждавшие к размышлениям, и так далее. Причастны ли к этому в какой-то степени гражданские инициативы? Или они были сугубо локальными, замкнутыми на интересы города, общины?*

— Во-первых, пресса всегда питалась мыслями, идущими “от низов”. Вы не хуже меня знаете, что “письма трудящихся” не только обрабатывались для начальства, но были ежедневной пищей для журналистов. В те времена элита, научная и журна-

листская, была гораздо ближе к массе. Идеи перестройки просто не родились бы без такой связи.

Другое дело, что до перестройки активисты мыслили предметными категориями: спасали Аральское море, Волгу или Катунь. Никто из них не задавался целью перестройки существовавшей социальной системы. Но даже если они сами об этом не задумывались, фактически они ставили перед собой масштабные политические проблемы. В регионе Волги, скажем, живет около 90 миллионов человек. Здесь сосредоточена треть промышленного производства России. Разве это локальная проблема? Или техническая? Конечно же, экономическая и политическая. То же и гражданские инициативы в городах. По форме они могли быть локальными, но через прессу, через личное общение обретали общесоциальное значение. Поэтому я бы не сказал, что гражданские инициативы — только локально ориентированные. Эпоха перестройки — это эпоха формирования в нашем обществе “неполитической политики”.

— *Перестройка была для гражданских инициатив чем-то “инородным”?*

— Напротив, перестройка, а точнее — гласность, создала для них дополнительные стимулы, расширила “коридор” возможностей для социального действия.

— *Которым воспользовались социально активные личности?*

— Я бы сказал, что это был один из основных коридоров, хотя оставались диссиденты и внутренняя эмиграция. Я говорю о социально активных людях в прямом смысле. Людях конкретного действия. И в ту пору они были везде — в экологическом движении, обществах охраны памятников культуры и истории, в жилищном и самоуправленческом движениях. Их участники мыслили одинаково: “Ну, хорошо, пусть общество такое. Но давайте мы ему поможем и сделаем вот это, потом вот это, это”...

— *Теория малых дел?*

— Я бы сказал сильнее — это философия. Абсолютно необходимая философия, фактически противопоставившая себя идеологии “принудительного коллективизма” и практике обезличенной форсированной модернизации “по-советски”. Я могу достаточно определенно судить о влиянии этой философии, потому что был в те годы непосредственно включен в процесс. Хотя для меня лично эта включенность постоянно создавала сложности: с одной стороны, инициативы и их философия бы-

ли предметом моего изучения, с другой — я был экспертом, а иногда и прямым участником подобных начинаний, старался популяризировать инициативы в печати. Ведь тогда, если помните, “Правда” и другие издания ополчались на неформалов, выставляя их в весьма нелестном свете.

— *Неформальные организации, как их называли, включали гражданские инициативы?*

— Уничжительное словечко “неформалы” придумали ортодоксальные партийные журналисты, за что и поплатились — симпатии общества были на стороне первых. По сути же, это было одно явление — легальной гражданской оппозиции режиму. Единственное, что многие (неформальные) дискуссионные клубы больше работали как бы на себя, на накопление и развитие идейно-теоретического потенциала. А гражданские инициативы, повторю, в большинстве случаев были ориентированы на разрешение конкретной проблемы, острого конфликта. Порой неформалами становились те, кто откалывался от диссидентов и “шел в народ”, дабы диссидентские идеи распространялись в более широком кругу.

— *На ваш взгляд, Олег Николаевич, это были все-таки зачатки гражданского общества или просто локальные инициативы — и только?*

— Инициативы, о которых идет речь, неважно — в форме слова или дела — есть часть гражданского общества. Более того, убежден — основа гражданского общества. Что значило тогда “просто” заниматься природоохранной деятельностью? Это значило реализовывать свои жизненные приоритеты вопреки инерции системы или произволу местного начальства. Люди хотели, наконец, есть здоровую пищу, пить чистую воду, общаться, знать свою историю и культуру. Потом пришло время политических клубов. Потом — политических партий. Но все это части гражданского общества. Как кооперативы и малый бизнес. Как жилищные объединения. Как народные фронты и так далее.

Была очень хорошая работа А.Д. Степанского об общественных движениях — две маленькие ротапринтные книжечки. Он писал об общественных движениях XIX — начала XX веков. Как считать, при монархии могло быть гражданское общество? Оказывается, были и там его зачатки, несмотря на имперскую структуру. Скажем, Вольное экономическое общество, созданное еще при Екатерине (а “закрыв” его, кстати, Николай II). Люди, входившие в него — тот же Андрей Боло-



тов, знаменитый российский селекционер, — создавали общество и работали в нем по собственной инициативе. Я очень боюсь жестких дефиниций: вот это — гражданское, а это — нет. Если исходить из того, что гражданское общество не существует вне устоявшихся демократических институтов, то тогда оно есть только в Америке и частично в Европе. У нас его нет. Но если понимать под гражданским обществом базовые самодеятельные структуры, возникающие снизу, тогда процесс его интенсивного формирования приходится именно на годы перестройки.

— *Олег Николаевич, а как случилось, что вы, архитектор по образованию, практически стали одним из “архитекторов” гражданских инициатив?*

— В социологии есть хорошее понятие “prior activism” — предшествующая социальная активность. Она всегда вылезает, куда бы ее люди ни прятали. Только, может быть, в другой форме. Это относится и к участникам гражданских инициатив, и в данном случае — к вашему респонденту. Когда я в 1957 году окончил Архитектурный институт и пошел работать в проектную мастерскую, то очень скоро возникло стойкое ощущение, что я теряю время. Но моя работа заключалась не только в сидении в “конторе”, но и в многочисленных командировках (в той профессиональной среде это называлось “обследование”). В течение почти десяти лет я ездил по городам. Могу сказать, изучал. Вроде как журналист — только непишущий — набирал материал. Сначала мне это было интересно. Я приезжал в какой-то город — Ярославль, Касимов, Александров, Иркутск, Новосибирск, — и поскольку всегда в архитектурной среде речь шла о городе, значит, заходил разговор о людях, которые там будут жить, чего они хотят и как в реальности будет организован их быт. Постепенно выяснилось, что через этот канал (через архитектурные отделы малых и средних городов и особенно через главных архитекторов) можно было получить такую информацию, о которой в ту пору не мог мечтать ни один социолог. Я имел возможность детально изучить социальную механику городской жизни тех лет изнутри. В итоге у меня накопился уникальный материал.

Всякий архитектор и всякий урбанист вынужден иметь дело с личностными и групповыми потребностями. Они не могут работать, не располагая такого рода информацией.

Наконец, были некоторые семейные корни. Отец по образованию был историк, много лет возглавлял Всесоюзную книж-

ную палату, поэтому накопление всякого рода архивных материалов считалось в семье серьезным делом. С другой стороны, мать и многие друзья семьи были врачами, и дома велись бесконечные разговоры о том, что человек из себя представляет. Из истории советской социологии известно, что первые ее исследования 20-х годов как раз были по социальной гигиене и санитарии городов. Так что был и какой-то личный интерес, который, слава Богу, реализовался.

— *В частности, и в ваших печатных выступлениях?*

— Да, накопив такой материал, я написал в 1962 году свою первую статью в “Литературную газету”, потом еще... Но дело не в этом. Если бы не существовало прессы, гражданские инициативы так и остались бы на локальном уровне. То есть печать выступила в нормальной для себя роли коллективного организатора, сыграв гигантскую мобилизующую роль в развитии гражданских инициатив. Проще говоря, она соединила единомышленников.

Надо сказать, движение этих инициатив имело серьезную моральную поддержку со стороны писателей, чей нравственный авторитет в обществе был чрезвычайно высок. Активисты чувствовали одобрение своих референтных фигур — Распутина, Белова; Солженицын появился, может быть, позже. Распутин выступил, помню, с серией статей, в частности в “Известиях”; он обращался к какому-то министру: “Где ваша совесть, господин министр?” Ну, и потом сам нравственный тон его произведений — “Прощание с Матёрой”, “Пожар” (я упоминаю то, что было наиболее популярно) — тоже играл далеко не последнюю роль.

Тогда, как вы знаете, еще не было ни Интернета, ни электронной почты. А вот письма писались, и у меня есть часть такой переписки. Люди пытались встречаться, общаться, оказывать поддержку друг другу. Появилась неформальная пресса — анархистская “зеленая”, стали издаваться журнал “Община”, потом газета с аналогичным названием и многие другие. Начался процесс легализации и институционализации этой неформальной прессы.

— *В 1991 году в печати появился ваш перевод из книги французского социолога А. Турена “Возвращение актора. Социальная теория в постиндустриальном обществе”. Это не было неким уходом от темы?*

— Мое обращение к работам Турена было совершенно естественным, потому что они давали необходимую теоретичес-

кую основу для изучения процессов становления гражданского общества в России и гражданских инициатив в частности, чем я занимался уже несколько лет. Нужен был некоторый концептуальный подход, которого тогда по понятным причинам не было в отечественной социологии. Турен — один из немногих на Западе — считал, что социальные движения в своем высшем развитии могут изменять не только жизнь локальных сообществ, экономическую жизнь, но и то, что называется культурными кодами. То есть менять ценностные приоритеты в обществе. Этот подход (и разработанный на его основе социологический инструментарий) оказался созвучен моим интересам. Ибо более всего меня интересовали процессы социального производства и воспроизводства, то есть что же они производят, эти инициативы, что в конечном счете изменят в нашем обществе? Поэтому для меня это был совершенно естественный стык, я искал теоретического обоснования.

И когда под руководством Турена в 1991 году я принял участие в исследовании по новым социальным движениям в России, то для меня это было не просто счастливое совпадение. Я ведь “западник”. С конца 60-х годов я всегда стремился освоить и применить все то, что было достигнуто западной социологической мыслью. Атмосфера в Институте международного рабочего движения, куда я перешел в 1967 году, чрезвычайно этому способствовала. В ту пору там работали Ю.Н. Давыдов, Ю.А. Замошкин, М.К. Мамардашвили, Н.В. Новиков, П.П. Гайденко, выступал с докладами Т. Парсонс — в общем, было у кого поучиться. Позже почти десять лет я работал по программам ЮНЕСКО. Совместно с голландским социологом Т. Деелстра мы провели крупное международное исследование “Города Европы. Участие населения в реабилитации городской среды”, в котором приняли участие социологи из шестнадцати стран Европы. Так что связи с европейскими социологами не прерывались.

Что же касается работы именно А.Турена, то она интересовала меня с точки зрения интерпретации связи трех уровней социального действия: микро, мезо и макро. Микро — это гражданские инициативы, мезо — социальные движения, макро — изменения в обществе в целом. Генеральная мысль: гражданские инициативы — необходимая ступень к макросоциальным изменениям в обществе. Все мои лекции и доклады, с которыми я тогда выступал, — об этом.

— Так Турен “пошел в массы”?

— Да, явочным порядком. Коллеги-социологи заинтересовались моим переводом (а я перевел тогда только две главы), ко мне беспрерывно приходили, ксерокопировали, и эти два перевода долго ходили по рукам, прежде чем были напечатаны в журнале “Коммунист” — уже перестроечной поры.

— *Тогда же, с концом застоя и началом перестройки, наступил и тот новый этап в развитии гражданских инициатив, о котором вы упоминали? Кто-то ушел в политику, кто-то вернулся домой?*

— Перелом произошел в 1989–1991 годах: наступил этап публичной политики. Начнем с того, что максимальный период жизни местной инициативы — полтора, максимум два года, потом она должна во что-то трансформироваться или, во всяком случае, все время развиваться. Были, конечно, исключения, например московский клуб “Левша”, который создали педагоги и воспитатели в четвертом поколении, к тому же эта инициатива была одновременно клубом для ученых и местных жителей и педагогической лабораторией. Но другие инициативы требовали движения. И если его не было — начинали не то чтобы буксовать, а обращаться к внутренним проблемам, выяснять отношения, что всегда опасно. Слава Богу, подоспели демократические выборы, и значительная часть лидеров этих инициатив пошла в публичную политику. (Нельзя сказать: хорошо это или плохо; по мне — так очень жаль, а для страны, может быть, это было и хорошо.) Сначала активисты выступали в качестве доверенных лиц кандидатов в депутаты, потом — в качестве самих кандидатов в депутаты местных органов власти, а часть лидеров инициатив прорвалась в Верховный Совет или Съезд народных депутатов.

И вот в этой политической ситуации гражданские инициативы распались на три части. Одна часть, думаю, наиболее удачливая, вполне заслуженно ушла в политику. И очень скоро забыла о своих корнях. Публичная политика — это особая среда, где свои правила игры. В это же время стали создаваться народные фронты — массовые социально-политические движения (кстати, их историей всерьез еще никто не интересовался — удивительное дело!). Это был короткий, но чрезвычайно важный период. Получилось двоякое движение: с одной стороны, народные фронты (опять же *prior activity* — предшествующая деятельность) опирались на гражданские инициативы, просто втягивали их в себя, а с другой стороны, когда эти фронты немного организовались и институционализировались, они

сами стали порождать эти инициативы. В частности, ряд экологических неправительственных организаций, существующих в России до сих пор, были созданы именно по инициативе народных фронтов. Вскоре после следующей политической волны народные фронты распались (за немногим исключением), а ячейки-то эти остались. И наконец, третья часть — наиболее стойкие, верившие в свое предназначение, в то, что общество, по Солженицыну, надо обустривать снизу и только снизу, — оказалась в самом трудном положении, лишившись перспективы, моральной поддержки и необходимых ресурсов. Многие лидеры, да и рядовые активисты, были на грани срыва. Ведь из их идеи — самоорганизации, самоуправления, — ради которой они и объединялись и потратили столько сил, к сожалению, ничего не получилось. Начался период массовой трансформации гражданских инициатив в неправительственные организации (НПО). В дальнейшем, по сути, они перешли на содержание западных спонсоров, а Запад как раз меньше всего был заинтересован, чтобы эти группы действовали в прежнем направлении, то есть развивали самостоятельность населения.

Главная цель западных доноров заключалась в реструктурировании сложившихся организационных структур и одновременно мозгов. Чего они, надо сказать, и добились. Запад заказывает работу — наши исполняют. Да, НПО научились работать по западным стандартам, знают, как написать “проходную” заявку на грант, как правильно оформить отчет и так далее. Но фактически НПО отделились от общества, утратили корни. Тот, кто выпадает из этой системы, попадает в тяжелую ситуацию — Запад не платит всем. Поэтому совершенно закономерно, что, с одной стороны, произошло укрупнение и бюрократизация этих неправительственных организаций. Их сегодня справедливо называют не “неправительственными организациями”, а “третьим сектором”. С другой стороны — на местах остались люди, которые подавлены морально и физически, потому что контекст, общая атмосфера для них становятся все более враждебными. То есть пришел такой критический момент, когда практически никто — ни газеты, ни телевидение, ни партии — или их не поддерживает, или ими просто не интересуется.

— Скажите, Олег Николаевич, а почему, на ваш взгляд, утратила интерес к инициативам пресса, при том, что они были в какой-то мере и ее детищем? Пресса другая, время другое?

— Пресса стала терять интерес к местным инициативам тогда, когда они подошли к этапу трансформации, о котором я говорил выше. Произошел спад гражданской активности, журналисты посчитали, что тема исчерпана. Вместе с тем журналистам, возможно, трудно было переключиться на новый масштаб явлений, перейти от рассказа об отдельных делах и судьбах к анализу макросоциальных проблем. С другой стороны, на первый план вышла новая тематика — распад Союза, приватизация, национализм. Кстати, часть гражданских инициатив стала позже ячейками национальных движений. Трудно стало писать и об экологии: сейчас здесь завязаны слишком большие интересы. Когда природные ресурсы страны стали основным капиталом, все перешло на очень серьезную ноту. Местные ячейки уже никак не могли повлиять на их охрану или процесс приватизации. Произошла некая “капитализация” проблемы — в том смысле, что она стала коренной, и в том смысле, что на ней стали наживать огромные деньги.

— *Олег Николаевич, а вам не хочется “тряхнуть стариной” и вернуться к этой тематике — на новом витке?*

— А я от нее и не отходил. С начала 90-х годов я написал несколько книг о гражданских инициативах и движениях в сфере экологии. Мне хотелось зафиксировать по горячим следам их динамику, дать социальные портреты их лидеров. Сначала этими книгами интересовались в основном социологи, сегодня — все больше историки. Но поскольку я писал о ныне здравствующих действующих лицах, я нажил много недоброжелателей. Нажил потому, что выступил именно как журналист, ведущий внутреннее расследование (я-то знал эти организации, повторю, изнутри). Вопрос вопросов: почему гражданские инициативы самоизолировались, почему оказались вне движения за гражданские права, вне других социальных движений? Легче всего ответить на него, проследив эволюцию экологического движения.

С самого начала это было движение профессионалов, поскольку основу его составляли биологи, экологи, почвоведы, географы, все люди с университетскими значками, организовавшие еще в 60-х годах студенческие дружины охраны природы. Это были нормальные ростки гражданского общества, но в его профессиональном секторе эко-активисты делали свое конкретное дело, не имея при том никакой социальной базы. Они были сами себе социальной базой. Я даже ввел такое понятие — “порождающая среда”. Сначала “порождающей сре-

дой” этих профессиональных инициатив были университеты, газеты, комсомольские организации. Потом, когда сменилось два-три поколения, у студенческого природоохранного движения сформировалась своя “порождающая среда” из его бывших членов, ставших профессорами, доцентами, чиновниками Госкомэкологии, председателями разных советов — экспертных, попечительских, общественных. Таким образом, экологическое движение получило собственную воспроизводственную среду. Но — не социальную базу, поскольку оно не опиралось на население.

И это была позиция: “Мы — профессионалы. Сами мы все сделаем быстрее и лучше”. По своим каналам. И действительно, по своим каналам — через “своих людей” в ведомствах и многочисленных общественных советах — они много сделали. Но отрыв от основной массы “электората”, скажем так, произошел абсолютный. И вот сейчас, когда этих профессионалов уже не только не воспринимают, но даже обвиняют в шпионаже, то есть когда им самим нужна общественная поддержка, ее нет, потому что нет у них социальной базы. Такова цена утра ты социальных корней и профессионального корпоратизма.

— Хотелось бы задать вам, Олег Николаевич, и вопрос более общего плана: должна ли наука действительно выявить некую “национальную идею” или создать “новую социальную доктрину”, способную мобилизовать людей? Может ли наука в союзе с прессой влиять на выбор Россией лучшего варианта социального устройства?

— Ответ должен быть конкретным. В конце 80-х годов, когда общество было достаточно консолидированным, а импульс к социальным переменам, к самоорганизации снизу был исключительно высок, — да, такая доктрина могла появиться. И важно, называлась бы она “социализм с человеческим лицом” или как-то еще. В обществе был накоплен потенциал к переменам, и он требовал выхода — вот почва для объединяющей идеи. К тому же у социологии (я имею в виду науку, а не современный социологический сервизизм) тогда был авторитет, вес в обществе.

Сегодня — вряд ли. Власть сделала все, чтобы запустить процессы дезинтеграции, тотального недоверия и взаимного отчуждения. Какая может быть объединяющая национальная идея в обществе, состоящем из враждующих кланово-корпоративных структур, в том числе и в прессе, во всей сфере массовых коммуникаций? Мобилизующие национальные идеи

могут возникать лишь в относительно консолидированном обществе. Вместе с тем мир, которому мы открылись, имеет свои виды на Россию. Я, например, видел развернутую программу “реабилитации” Балтийского региона на одной из последних конференций, которую проводил Римский клуб. Что значит теперь Балтийский регион? Это, оказывается, не только Швеция, Финляндия, все прибалтийские страны Европы, но и Калининградская область, Белоруссия (которая не имеет выхода к Балтийскому морю), а также Ленинградская, Новгородская, Псковская области и Карелия! Так вот. Программа имеет своей целью “оторвать”, не затрагивая политических границ, этот кусок бывшего СССР и вернуть его в свое “историческое лоно”. Каким образом? Мягкими средствами — путем целенаправленного воспитания и образования, обучения менеджменту, путем обмена информацией, людьми и ресурсами и так далее. Если эта программа будет реализована, то весь Северо-Запад страны будет иметь к России весьма косвенное отношение.

Насколько тут возможно сотрудничество прессы и науки? Пока у нас не сложился сектор прессы, который занимался бы макросоциальной динамикой. Есть интересные сценарии, прогнозы, есть региональная аналитика. Но чтобы сложился клуб пишущих именно на эти темы... Вот, например, о динамике современной России сделал прекрасный доклад наш социолог Ю. Давыдов. Но я не видел подобных публикаций в массовой прессе. Ведь что всегда интересно? Не просто сказать, но и получить резонанс. А.С. Ахиезер последние два-три года вел серьезный теоретический семинар, причем периодически готовились обзоры выступлений. Раньше их публиковали в “Рубежах”, сейчас нет. Я с жадностью всегда открываю разделы науки в “Независимой газете”, но вижу, что там про все пишут один-два человека, так что и там не нахожу такую нишу.

Корни этой ситуации очень глубоки. Посмотрите, чему учат, например, молодых социологов. Сплошь западные концепции и методики. Так откуда же быть интересу к макросоциальным сдвигам в России, на всем постсоветском пространстве? Недавно была у нас в институте Марью Лауристин — социолог, журналист, общественный деятель. Тема ее доклада — эволюция эстонского общества за десять лет. Было невероятно интересно. А кто пришел слушать — опять шестидесятники: Кон, Ядов, Шкаратан, Яницкий... И всего один аспирант, и то по моему настоятельному приглашению. Ни в обществе, ни в



профессиональном сообществе социологов нет систематической рефлексии по поводу собственного развития. Так что насчет связи науки с массовой прессой — не знаю. Не вижу ученых, не вижу и фигур, которые могли бы быть посредником между общественной наукой и массовым читателем, типа О. Писаржевского. Но главное, конечно, — нет в обществе потребности в макросоциальном анализе. Это совершенно очевидно: все последние выборы показывают, что никто не интересуется программами — только лицами. Отсюда отсутствие интереса к фундаментальной науке и у журналистов, и у большинства социологов.

А я сам — характера, видно, уже не изменить — по-прежнему постоянно режу прессу. Каждый день. Прорабатываю ее, собираю досье. Но потом, когда думаю, куда писать, все-таки пишу в социологический журнал. По крайней мере, есть надежда на резонанс в профессиональном сообществе.

1985–1993

## Е.В. Яковлев “Пресса равна общественному состоянию”

— Егор Владимирович, всем, видимо, памятен (не такая уж это давняя история) всплеск популярности еженедельника “Московские новости” в пору перестройки. Незаметная прежде газета для “интуристов”, а для наших читателей — скорее “пособие” по иностранному языку, которая только в 1980 году начала выходить на русском языке, стала вдруг популярнейшим изданием, как бы олицетворявшим рождение новой, демократической прессы. Почему это произошло? В какой мере связано с вами как главным редактором?

— У каждого времени своя газета. В отечественной истории с 87-го года ею стали “Московские новости”. И это определили не талант и отвага тех, кто собрался тогда под одной крышей, а то, что надежды и усилия, которым было отдано не одно десятилетие, сошлись со временем. Уже в 60-е годы мы работали на это время. Кто-то топчет тот период, отрекается от него, но мы должны были его пройти, чтобы эмпирическим путем постичь — на что ушла самая плодотворная и самая обширная часть жизни моего поколения — ту глубочайшую ошибку, которую, думаю, умозрительно понять было нельзя: веру в то, что это государство, этот строй можно исправить, улучшить. Я считаю, что только Солженицын — первый и единственный из авторитетных людей в стране — с самого начала говорил, что его надо уничтожить.

Я был знаком с Александром Трифоновичем Твардовским, не могу сказать, что заходил к нему каждый вечер, но мы не раз разговаривали. Он был абсолютно предан идее улучшения существовавшей системы. Помню, как-то в Переделкино, на даче у Дементьева, собрались дамы и стали охать, что вот мальчик сбежал из армии, дезертировал, и теперь его судят. И вдруг Александр Трифонович стукнул кулаком: да как вы смеете, человек предал армию, предал страну! Это Александр Трифонович, который более, чем кто-либо, больше, чем все мы вместе

взятые, способствовал “раскачиванию” лодки. А вот при том неколебимые патриотические точки зрения абсолютно разделял. Правда, помнится и такой эпизод. Мы сидим на совещании в ЦК. Выступает один из руководителей отдела пропаганды. Александр Трифонович слушает его и вдруг тихо-тихо говорит: “Неужели он правда так думает? Неужели он правда так думает?” То есть он еще воспринимает его как нормального человека, который может говорить то, что думает...

Те же гуманистические идеи “Нового мира”, та же ненависть к цензуре, та же реформистская энергия, которой мы были полны и которая к 85-му году уже выплескивалась, — это и определило успех “Московских новостей”. Мои представления о “правильном” издании, моя глубокая уверенность, что нет ничего, о чем написать нельзя, надо только уметь это сделать (я так считал и в “черные годы” и сейчас так считаю), совпали с настроением общества. И настроением людей, которые вместе со мной пришли в газету.

— *Что вы считали своей основной задачей, Егор Владимирович? Когда в августе 1999 года “Московские новости” отмечали выход своего тысячного номера, уже другой главный редактор вспоминал: “Все мы вместе были рядовыми Армии отрицания прошлого”. А одна из сотрудниц приводила ваши слова: “Мы должны быть той самой единственной неправительственной силой, которая может контролировать правительство”. Именно в этом вы видели свое назначение?*

— Мы, с одной стороны, подгоняли М.С. Горбачева, обвиняя его в медлительности, а с другой — понимали, что забежали в своих надеждах далеко вперед. Не случайно на всех дискуссиях той поры звучал вопрос: “Обратима ли перестройка?” Успеть сделать и закрепить все, что необходимо, — вот задача.

Одно из самых дорогих мне выступлений “Московских новостей” — это статья Лена Карпинского “Нелепо мяться у открытой двери”. Я позвонил ему и попросил написать о том, что он перестал быть диссидентом. Лен обиделся, даже разозлился: “Я никогда диссидентом не был”. Помню, когда его исключили из партии, мы с ним пошли на Новодевичье кладбище, где похоронены его и мои родители. Потом пешком шли с Новодевичьего к нему на Зубовский бульвар и проговорили эту долгую дорогу. “Понимаешь, жизнь складывается так, что ты оказываешься в полянье. Или надо уезжать за границу, или строить свою жизнь здесь, чтобы эти из КГБ не ходили за тобой по пя-

там”. И то, что я сказал “или уезжать, или...”, он мне вспоминал до самой своей смерти. Как упрек: “Ты хотел, чтобы я уехал за границу”.

Да, “я диссидентом никогда не был”, сказал теперь Лен. Мы встретились, долго, очень долго работали — это была безумная работа, Лен никогда не мог писать коротко. И появилась та статья. Мне пришлось возить ее в отделы ЦК.

— *Даже тогда?*

— Да, даже тогда. “Нелепо мяться у открытой двери”. Это он писал о себе. С этого началась его легализация — он стал у нас работать, его восстановили в партии. Карпинский писал, что сегодня мы не можем быть равнодушными к тому, о чем прежде мечтали, за что страдали и так далее, давайте теперь активно это делать, максимально используя новые условия. Практически это была программа “Московских новостей”: нелепо мяться у открытой двери.

— *И вам легко удавалось привлекать авторов-единомышленников, готовых и способных реализовать такую программу?*

— Газета играла заметную роль в формировании демократических устремлений в обществе и, по сути, способствовала объединению единомышленников. Мне и моим коллегам — Лену Карпинскому и Юрию Карякину, Алесю Адамовичу и Александру Гельману, Николаю Шмелеву и Евгению Амбарцумову, Тимуру Гайдару и Юрию Рыжову (всех, к сожалению, не перечислишь) — необходимо было как бы распрямить в себе пружину, до предела сжатую временем тоталитаризма. Нам охотно тогда писали многие “известинцы” — Анатолий Друзенко, Альберт Плутник, Юрий Феофанов, Станислав Кондрашов, — ибо то, что печатали в “Московских новостях”, не всегда решался опубликовать у себя тогдашний главный редактор “Известий” Иван Лаптев.

Мы все очень торопились. Меня часто упрекали, в том числе Александр Николаевич Яковлев: “Ты выпускаешь каждый номер, как последний”. Примерно так, кстати, и было, потому что мы кожей чувствовали ограниченность отведенного нам времени.

— *Как складывались ваши отношения с читателями, видно было по их реакции: долгие очереди у киосков, которые образовывали своеобразные “комитеты гласности”; переписанные или ксерокопированные статьи, которые зачитывались до дыр; известен случай, когда годовую подшивку “Москов-*

*ских новостей” везли в подарок в Финляндию... А как складывались отношения редакции с тогдашними властями?*

— По-разному. Когда ушел из жизни Виктор Платонович Некрасов, мне позвонили фронтовики, позвонил Владимир Лакшин: “Не поставите ли некролог?” И позвонили из ведомства Александра Николаевича: “Не надо печатать некролог, будут неприятности”. Я его, естественно, поставил. И на завтра — заседание у Лигачева. Сидят все главные редактора. Лигачев начинает говорить о том, что это прямой саботаж, зачитывает справку КГБ по Некрасову (у него там такие-то связи, он до смерти в Париже вел себя так-то и так далее). Я встал и сказал то, что можно сказать о Некрасове. Все это проходило не просто. Но больше всего запомнилось гробовое молчание главных редакторов. И никто не решался встретиться со мной взглядом: выразить сочувствие — бояться, выразить несочувствие — стыдно. Все смотрят в пространство...

Могу продолжить этот ряд. Совершенно ни за что, за какую-то анкету Горбачев обрушился на совещании на главного редактора “Аргументов и фактов”, просто его “разнес”. Мы выходим из зала, я подхожу к Старкову, обнимаю его: “Наплывай на это, ничего не будет”. И ровно через час звонок Александра Николаевича: “Зачем ты при всех целовался со Старковым?” А это уже 1989 год.

Постоянно шли разговоры, что “Московские новости” вот-вот разгонят, а смену главного редактора предрекали чаще, чем в последние годы — смену премьера. И это были не только разговоры. У меня в архиве есть проект решения секретариата ЦК “О газете “Московские новости”, где под пунктом вторым значится: “... в двухнедельный срок внести в ЦК КПСС предложение по кандидатуре главного редактора”. 22 августа 1989 года эту бумагу пустили для “визирования” по начальственным кабинетам, однако в итоге там оказалось лишь две “визы” (свое согласие зафиксировал Лигачев и еще кто-то, я не смог разобрать). Ну, и проект пошел в архив. Не думаю, что пожалели меня, — боялись ответной реакции читателей, ведь тогда общественная активность была крайне высокой.

*— В 1991 году вы ушли из газеты по своей воле. Потеряли интерес или общественное настроение уже не совпадало с вашим?*

— Все произошло буднично. Взял отпуск, чтобы обдумать, как должна развиваться газета дальше. И ничего нового придумать не мог. Но понял, что время, которое было отведено

“Московским новостям”, кончилось. Пресса равна общественному состоянию и общественному строению. Они как сообщающиеся сосуды: если идет падение гражданских желаний и реформистских стремлений из-за не оправдавшихся надежд, это один к одному сказывается на прессе. Она теряет свою задачу.

— *Вместе с тем в вашей же биографии, Егор Владимирович, есть другой пример, схожий по сюжету, но противоположный по сути, когда серый, безликий журнал “Советская печать” приобрел вдруг “второе дыхание” в атмосфере крайне неблагоприятной и уже под названием “Журналист” стал едва ли не общественным явлением. Какую задачу ставили вы тогда как его главный редактор?*

— Сказать правду, которую разделят мои единомышленники. Все, что касается “Журналиста”, отмечено надеждой на улучшение строя, о чем я уже говорил, и в общем практически выражало то, что обсуждалось на тех же московских кухнях. Отсюда попытка создать (именно создать, построить!) издание, которое говорит правду о том, что не все благополучно в нашем доме и какими путями можно это улучшить. Ну, и было еще потрясающее ощущение, что если завтра меня назначат туда, “наверх”, я тут же наведу порядок.

— *Но почему именно “Журналист”?*

— Во многом случайно. Я работал в “Советской России” — по тем временам газете достаточно прогрессивной в силу прежде всего своего главного редактора Зародова и появления информационной полосы, что тогда было заметным явлением в журналистике. Зародова перевели в “Правду”, к нам прислали генерала Московского, и я, как крепостной, будучи замом у Зародова, в том же качестве “отошел” к генералу. Едва ли не в первый же день говорю ему: “Надо бы посидеть, подумать о программе газеты”. — “Вы что, какая программа газеты? Есть же программа партии”. Вот так, с партийной прямоотой. И я понял, что все, разговор закончен, мне здесь делать нечего, надо искать работу. Помогли мне, как ни странно, в ЦК (бывали и там живые души). Видя, что ничем хорошим наши отношения с генералом не кончатся, предложили пойти главным редактором журнала “Советская печать”. Ну, я легкомысленно согласился.

— *Но это же по определению “цеховой” журнал, с весьма ограниченными возможностями?*

— Думаю, так и замышлялось — спустить меня с “небес” в это цеховое болото, все будет меньше неприятностей. Хотели, чтобы вместе со мной в журнал пришел Алексей Иванович Ад-

жубей. Это сейчас мы оценили, как велика его роль в эволюции советской печати, именно советской. Я готов ему поклониться до земли, потому что это он сделал первый шаг. Несомненно. А тогда еще я воспринимал его как зятя, перед которым многие раболепствовали, и он это, на мой взгляд, только приветствовал. Как мы могли бы вместе работать, я не представлял. А потом сошлись с ним буквально через два месяца, когда умер муж Юлии Хрущевой. Сидели, разговаривали, и я увидел: как только человек покидает правительственную вышку, с которой смотрит окрест, он становится совершенно другим...

Так я стал главным в “Советской печати”. Средний возраст сотрудников — лет 65–70. Один из них вел интересную кривую: поскольку каждый год журнал терял энное количество подписчиков, кривая должна была показать, в каком году он потеряет последнего. Естественно, работать в таком коллективе и делать такой журнал желания быть не могло. Я нашел там опору в лице одного-двух достаточно молодых сотрудников. Меня очень поддержал Дмитрий Горюнов, возглавлявший как генеральный директор ТАСС Союз журналистов (журнал был изданием Союза журналистов и “Правды”).

Надо сказать, что тогда начались уже какие-то подвижки. Некий Войтехов стал делать журнал типа газеты — “РТ”, где содержания практически не было, но был невероятный для того времени дизайн. Вроде бы не так важно. Но появилось нечто новое, неожиданное, отличающееся, появился художник, который себя выражает. Разговоров, споров вокруг этого “РТ” было невероятное количество. Пока его не закрыли. Все нормально. Но сам факт был очень важен: даже изменение дизайна в той монастырской келье под названием “советская печать” могло означать революцию в журналистике.

И вот мы стали думать о создании своего новаторского издания. На заре советской власти существовал журнал, а практически бюллетень, о жизни журналистского сообщества — “Журналист”. Так получилось, что я опередил своего сына, взяв старое название для нашего издания, правда, не решился сохранить твердый знак. А он спустя двадцать-тридцать лет этот твердый знак в названии “Коммерсант” уже не отбросил. И началась работа над постановлением ЦК о закрытии “Советской печати” и создании “Журналиста”. Длилась она, не ошибусь, если скажу, где-то в районе полугода, и я нервничал, конечно. Астрономическое число раз я его переписывал, что-то



вставлял, что-то убирал. И когда оно было принято и стало действовать, я в общем-то разделил то мнение, что провести решение ЦК безумно трудно, ибо сила его была настолько велика, что если бы его еще легко было и проводить... Там содержались две или три фразы, которые меня закрывали потом как щит. Одна из них, помню — “повышение коэффициента полезного действия партийной журналистики”. Что это значило? Естественно, передовая “Правды”, написанная дубовым языком, ни к кому не обращенная, основанная на трех-четырех столпах нашей пропаганды, воздействовать ни на кого не могла. Журнал занялся тем, что стал доказывать: вот такие статьи, такая журналистика идут только во вред. Мы анализировали с этой точки зрения выступления “Сельской жизни”, “Советской России”, рассказывали о том, как на местах ломают печать. Я, помню, поехал в командировку на Брянщину, где секретарь одного из райкомов партии выворачивал руки главному редактору районной газеты, всячески издевался над ним, топтал его, как мог. Когда я пришел к этому секретарю, он отказался со мной разговаривать. Но поскольку в постановлении о журнале значилось, что главный редактор одновременно является членом редколлегии газеты “Правда” (это опять же было сделано Горюновым, чтобы придать вес новому изданию), у меня было удостоверение ЦК, я им потряс, как это и полагается. И знаете — “эскимо растаяло”. Ну, совершенно. Даже противно об этом вспоминать. Тогда появилась статья в защиту районного газетчика. Она была точно из обоймы “Журналиста”, явно отражала его направленность. Но мне-то хотелось большего, в нашу задачу входило писать и о другом.

— *То есть из журнала разряда “цеховых” вы хотели превратить его в общественно-политический?*

— И то самое постановление позволяло это сделать. Опять же там имелась фраза, которая оправдывала меня по целому ряду такого рода публикаций. Ну, а если задуматься: что значит анализ проблем печати или анализ общественных проблем? Это ведь вещи неразделимые. Нельзя же писать приличную рецензию на театральный спектакль, не входя в те социальные проблемы, которые он поднимает. Я что же, буду обращать внимание только на то, как она вышла на сцену и какие на ней были наряды? Тут то же самое. Все время были выходы “на общество”. С нами сотрудничали очень интересные авторы — кого удавалось привлечь. Ну, допустим, мне хотелось бы привлечь того же Лена Карпинского, но я не мог — к этому времени он

был изгнан из “Правды”. У нас в журнале появился серьезный исторический раздел, мы много обращались к неизвестным страницам истории общества, революции. Много писали о проблемах права, экономики. Кстати, свой известный очерк “Мо-локо или веревка” Геннадий Лисичкин и Юрий Черниченко опубликовали именно в “Журналисте”.

Все мы в те годы (я имею в виду людей моего окружения) преклонялись перед “Новым миром”, можно сказать, жили “под “Новый мир”. Его “антипод”, журнал “Октябрь”, располагался на первом этаже моего дома на улице Правды, и я мог с восьмого этажа “плевать” на него...

Так казалось. Но уже прозвенел первый “звонок”. У нас идет партсобрание, я докладчик. Звонит “вертушка”: “Вас срочно приглашают к Александру Николаевичу Яковлеву” (а он в то время — замзав отделом пропаганды). Я объясняю ситуацию — не действует. Закрываю собрание, еду туда, сижу в приемной час или два. Уже заведенный, вхожу. Сидит Александр Николаевич, весь отдел пропаганды — он, видимо, решил провести некую публичную экзекуцию, дабы показать, в назидание другим, как надо приводить в нормальное состояние главных редакторов. Берет журнал, листает его, сопровождающая это уничтожающими замечаниями. Я слушал-слушал и говорю: “Делать то, что вы мне предлагаете, безумно просто. Но смысла в этом нет никакого”. Гробовая тишина. “Вы считаете, что я хочу журнал ухудшить?” — “Да, несомненно”. — “Тогда нам не о чем разговаривать. До свидания”. Я и ушел. Прошло недели две, звонит Зародов, который как бы курировал журнал от “Правды” (все по тому же постановлению ЦК): “Пойдем, походим”. Когда ему нужно было вести такие вот разговоры, он всегда предлагал пройтись. “Понимаешь, Александр Николаевич очень переживает вашу ссору. Но он же не может сам перед тобой извиниться. Приезжай по любому делу, и все кончится”. Ну, я поехал (кстати, это говорит и об отличии Александра Николаевича от обычной цеховской фигуры, которой бы и в голову не пришло переживать).

А факты между тем накапливались. Поскольку мы действительно пытались анализировать “коэффициент полезного действия печати”, то затрагивали и центральные, “цеховские” газеты; волна раздражения их главных редакторов нарастала, уже образовалась как бы группа противников журнала, который их задевал, выбивал из-под них почву. Нас требовали “призвать к ответу”, возглавил это “движение” тот же генерал Московский,

что ничего доброго не предвещало. К тому же сменилось и руководство отделом пропаганды — не в лучшую сторону. Это было, так сказать, первое направление нашего крушения.

Второе: мы все тогда приветствовали Пражскую весну, сами много писали того, что не полагалось писать, но главное — журнал опубликовал Закон о печати, принятый в Чехословакии на волне 1968 года. И это вызвало дикую озлобленность. Пожалуй, более всех негодовал Устинов (он тогда уже начал приобретать большой вес как министр обороны и как член Политбюро). Откровенно говорилось, что если не разогнать сейчас этот “Журналист”, то очень скоро у нас будет то же самое, что происходит сегодня у чехов. Он-де имеет “подрывное значение”, нужно обезопасить себя от такой “свободы мысли” и так далее.

Ну а третье, что и стало реальным поводом для “разноса” в ЦК, — дизайн, как ни странно. Мы делали не ах что (это не сегодняшние журналы), тем не менее очень много занимались иллюстрациями, обложкой, что выглядело непривычно. Был такой рижский мастер фотографии Бинде, мы опубликовали его работу (потом она повторялась много раз): силуэт обнаженной женщины, абсолютно черный, как тень, неразличимы какие-то подробности. Потрясающе художественная фотография. И еще мы дали репродукцию картины Герасимова “Деревенская баня” из запасников Третьяковки. Классика. На одном из секретариатов ЦК кто-то развернул эти иллюстрации: “Что за безобразия!” И было решено, что надо заслушать журнал на следующем заседании секретариата. Я в это время был в командировке в Африке, возвращаюсь ночью, а жена говорит, что наутро мне надо быть в ЦК. Секретариат вел Суслов, он наверняка жуткая фигура, но надо сказать, в данном случае я этого не ощутил. Те, кто сидел за столом, уже трижды предлагали снять меня с работы, а он повторял: “Давайте подумаем, поговорим” (просто, видимо, десятилетия руководя печатью, понимал ее несколько больше). Когда я слушал выступавших, их мнения о журнале, то понял, что наши точки зрения не имеют ничего общего. И доказывать им что-то нет смысла. Я главный редактор, они — издатели, и если между нами нет ничего общего, я просто не могу руководить *их* журналом. И когда, наконец, вспомнили и обо мне, потребовали объясниться, я отказался (возможно, это было и неправильно).

Если и говорить, в чем я был виноват, то, конечно, в том, что меня не очень занимала районная печать. Она заслуживала

большого внимания и доброты. Воспитание и жизнь в районе “Садового кольца” здесь, несомненно, сказались. Но была и другая сторона. Тираж “Журналиста” стремительно пошел вверх. Когда я уходил, он достиг, по-моему, 250 тысяч экземпляров. Мы совершенно реально были на грани самоокупаемости. А наш неперменный подписчик — это именно местный газетчик. Он оценил новый журнал и его подходы, увидел новые возможности — и для себя в том числе. Ну, казалось бы, нужен ли был ему в его профессиональном журнале тот очерк о “молоке и веревке”? А ведь нужен был. У него по-иному поворачивались мозги, он как бы приподнимался над своим “местным уровнем”. А наша (по тем временам) смелость и ему придавала смелости. Авторитет журнала — и не только в профессиональном сообществе — работал и на наших районных коллег.

Так что, думаю, путь мы избрали правильный. Но и крушение “Журналиста” было закономерным, потому что в любом случае — плюс, минус, взбрыкнул “Журналист”, взбрыкнул “Новый мир” — все шло в жестком русле тоталитарного режима. Шаг влево, шаг вправо — это “расстрел”, как и произошло со мной. Уже просто попытка сказать нормальное слово вызвала всплеск популярности журнала при максимальном противодействии окружающей среды. “Московские новости” пошли практически тем же путем, но вся политическая обстановка, общественная атмосфера максимально способствовали тому, что делала газета. Тут было проще.

— *Вы потом работали в “Известиях”?*

— Да, и работалось хорошо, я благодарен Льву Николаевичу Толкунову, главному редактору, что он решился взять меня в “Известия”. На редколлегии один человек тогда возражал: “Из нас сделали ссыльную контору. Сперва сослали к нам Карпинского, а теперь ссылают Яковлева”... Та история очень долго за мной тянулась. Но чему-то я научился, наверное. Например, тому, что надо уметь отстаивать свои взгляды.

— *И вот появилась “Общая газета”, где вы, Егор Владимирович, ее учредитель и главный редактор. Вы ее создавали, улавливая, как прежде, общественное настроение? Следя ему или вопреки ему? Какую задачу вы ставили перед собой теперь как главный редактор?*

— Когда мы в 1992 году начинали “Общую газету” (мне помогал сын), у меня было большое желание написать подзаголовок — “Центральный орган здравого смысла”. Я ставил перед собой три задачи, выдвигал как бы три лозунга. Первый — ни

одного умного человека за бортом. Именно с этого года пошло резкое понижение интеллектуального уровня реформ. Демократия вбросила, подняла наверх целую группу молодых людей, которые, в общем, не имели никакого отношения к реформаторству. Один из них, на протяжении последних лет занимающий крупные должностные посты, рассказывал, что никогда не участвовал в общественной жизни, ехал мимо Моссовета, увидел там митинг, остановился, стал слушать, все пошло в Моссовет, он тоже... Если все-таки при Горбачеве, в период перестройки был “задействован” первый круг реформистской интеллигенции с огромным неиспользованным потенциалом, то потом уже уровень неизменно снижался. Давайте сравним потенциал избранных на первый Съезд народных депутатов СССР, в Верховный Совет России, затем в Думу. Даже заниматься этим не хочется, правда? Отсюда и наш первый лозунг.

— *Вы сейчас продолжаете ориентироваться на интеллигенцию?*

— Ну, конечно. Я определяю это так: мы делаем газету для тех, кто ничего не получил от перестройки — не стал бизнесменом, не открыл платную лечебницу, а остался тем же врачом в городской больнице, тем же учителем в школе. И нас, полагаю, читают. Тираж — 180 тысяч.

Второй наш лозунг: понять себя и время — в каком обществе мы живем, чего же хотим. Когда мы “раскачивали лодку”, то не представляли себе, что идем к уничтожению Советского Союза, к капитализму. А хотим ли мы прийти к капитализму? Демократия нам представлялась как одно удовольствие, одна радость. И никаких сложностей быть не могло. Мне стыдно об этом говорить (все-таки я историк по первоначальному образованию), но для меня разницы между либерализмом и демократией практически не было. Я очень хорошо помню, как к нам в “Московские новости” пришел какой-то западный политолог и я излагал ему нашу программу. Он говорит: “Это же не демократия, это абсолютный либерализм”. А я не понимаю, почему он их разделяет... Необходимость некоего социального контрапункта ко всем реформам, учет социальных возможностей, процесса разворывания, который происходит, — все это постигается эмпирическим путем. Резервуар реформистской энергии был растратан Горбачевым и окончательно опустошен уже Ельциным. Осталась на дне грязная лужа, поэтому ни у кого нет серьезных гражданских задач — пускай даже на уровне тех, что были у интеллигенции в 70-е годы (прежние ис-

черпаны или не осуществились, новые не появились либо не сформулированы).

Но я верю, что этот резервуар все равно наполнится реформистской энергией. Я разделяю взгляды нашего историка Натаана Эйдельмана, который когда-то доказывал (я был на его лекции), что в России за пятью годами реформ следуют двадцать лет реакции (он взял хронологию от 1861 до 1917 года и уложил в свою схему, получилось). Так что вопрос реформ, конечно, встанет. Надо только осмыслить то, чего мы нахлебались сегодня. Правда, общественное сознание уже меняется, черно-белое мышление корректируется. Произошли большие подвижки в этом отношении.

Наконец, третий наш лозунг: создавать, не разрушая.

— *А это возможно?*

— Ну, наверное, возможно, если быть осторожным. Конечно, перестройка связана с огромными разрушениями, никто, пожалуй, не возьмется сейчас положить на весы приобретенное и разрушенное. С этим связаны и какие-то ностальгические настроения. Все-таки были и положительные вещи, о которых мы забыли и сейчас к ним возвращаемся.

— *А как вы вообще относитесь к современной печати, Егор Владимирович? Какие тенденции в ее развитии отмечаете? Каким видите ее будущее?*

— Она, на мой взгляд, прошла несколько этапов. Первый — это гласность (которая, конечно, не имеет ничего общего со свободой слова). Этап, когда банкиры еще стоят в коридоре, их еще на порог не пускают. Потом наступает 1992 год, когда падают все цензурные ограждения и начинается период любви с банкирами, которые, наконец, перешагивают порог, дают деньги, готовы дружить и так далее. До 1996 года. Наступает время выборов президента, и банкиры уже говорят: “А теперь давайте танцуйте за то, что мы вам платим”. И пресса затанцевала. Я не могу тут оправдывать, так сказать, безнравственность моего “цеха”, я потерял в общем любовь к нему, хотя был очень “цеховым” человеком. Но я обвиняю в этом не журналистов, и не банкиров, естественно, которые иногда разумно, а иногда неразумно, но тратят средства, — а, конечно, государство. Оно распродало журналистику, как крепостной театр, поодиночке. Нас бросили в руки частного капитала.

— *А как вы относитесь к понятию “независимая газета”?*

— Я никогда к этому хорошо не относился. Я вообще человек, который отрицает возможность независимой газеты. Даже

если бы у меня были деньги на оплату дефицита “Общей газеты” и я ни у кого бы их не брал (“Общая газета” существует за счет постоянных инвесторов — правительство Москвы, Волжский автозавод, Мост-медиа, Национальный резервный банк и пятый я), — она все равно не была бы независимой. Она сто процентов зависела бы от меня. Говорить о независимости прессы — то же самое, что говорить о коммунизме: это как черта горизонта, к которой чем ближе подходишь, тем дальше она отходит.

Что касается новых тенденций, то одна из них пробивается в борьбе и представляется важной. Есть решающий момент в отличии зарубежной печати и нашей, российской. В зарубежной факт имеет самоценность, ради него можно выпускать газету. А все-таки отечественная журналистика характерна тем, что факт является поводом для тех или иных мыслительных построений. На определенном этапе самоценность факта (при участии моего сына “Коммерсант” в этом смысле во многом преуспел) стала очень сильно проглядывать и в российских СМИ. С одной стороны, это, несомненно, положительный момент, потому что от “нулевой” информационности нашей печати мы пришли, ну, к какому-то уровню. И это, кстати, просто залог выживания, другого залога нет. Но с другой стороны, у нас не может не быть мировоззренческой печати, и я уверен, что в дальнейшем она станет укрепляться. Поэтому я бы говорил о тенденции усиления информационного потенциала и все-таки сохранения мировоззренческого направления.

— *А не идет ли у нас сейчас вытеснение прессы телевидением? Создается впечатление (хотя бы по тиражам), что газетная аудитория ушла к экрану. Вы одно время возглавляли “Останкино”, и у вас, видимо, есть свой взгляд на эту проблему.*

— Вообще-то мне глубоко неинтересны эти споры насчет того, кто кого погубит, и так далее. Сегодняшняя позиция работников телевидения, к сожалению, даже очень талантливых, приложивших немало усилий для его улучшения, сводится, по сути, к тому, что зритель — это дурачок с пальцем во рту, которому надо давать прожеванную кашу. Но общество, сколько ты его не зомбируй, стопроцентным дурачком с пальцем во рту не станет. Все равно газеты будут нужны. Сегодня у меня пачки писем о том, что “вы остались единственной газетой” без желтизны, без мата, готовой размышлять и так далее. Все равно спрос на это будет.

Телевидение оказалось — то есть и было, поскольку это все-таки жанр устный, а не письменный — наиболее примитивной формой общения с людьми. Не будешь ведь читать по телевизору лекцию, которая вполне возможна в печати. Так что телевидение, на мой взгляд, — флагман примитивизма общественного мышления. Во-вторых, в силу того, что развитие телевидения совпало со становлением рынка, оно оказалось флагманом коррумпированности. Когда я пришел в Останкино, у меня было такое ощущение: если в “Известиях” кто-то просто сказал бы, что Егор Яковлев получил за статью деньги, то даже без доказательств никто бы мне не подал руки; а на телевидении если кто-то скажет, что не получает “левые” деньги, ему руки не подадут. То есть он дурак в глазах всех. Коррумпированность огромна, это вошло в плоть, выросло в такое чудовище, которое непреодолимо сегодня. И третье: телевидение — это флагман влияния. Никакая газета со своими тиражами (какими бы они ни были) не сравнится, скажем, с его “рейтинговой” программой. Правильно говорят: “Все ругают и все смотрят”. Но повторюсь — газеты всегда будут нужны.

— *Вы сейчас работаете с удовольствием?*

— Нет, и очень тяжело это переживаю. Прежде всего нет гражданской задачи. Я не знаю, чего хочу от этого общества, а если не знаю — то зачем выпускаю газету? Не для того же только, чтобы было что сварить на обед. В нынешнем виде газета меня не устраивает, а сделать ее, как хочется... Для меня это действительно тяжелый момент. Все свои прежние издания — тот же “Журналист” или “Московские новости” — я начинал со своими единомышленниками и сверстниками. Была команда, с которой мне приятно было работать. Все меньше остается людей, с кем хочется поговорить. Вот Лен Карпинский — один из последних.

— *Нового всплеска не получилось, Егор Владимирович?*

— А его и не могло быть. Если у нас период некоего идеологического провала, значит, и печать соответствует этому. Я очень люблю еврейскую поговорку: “Нельзя, чтобы на улице был четверг, а у тебя в пролетке — среда”.



О.Р. Лацис

## “Мы должны были развернуть эту пушку в другую сторону”

— После того, как вы, *Отто Рудольфович*, написали книгу о трагических событиях “года великого перелома”, о Сталине и Бухарине, и книга была изъята сотрудниками КГБ, вас лишили возможности работать в печати, объявили ваши взгляды антипартийными<sup>1</sup>. И вдруг вы — первый заместитель главного редактора журнала “Коммунист”. Что произошло?

— Прежде всего уточним, что это был 1986 год, что главным редактором “Коммуниста” стал Иван Фролов, и журнал уже отличался от прежнего, времен Ричарда Косолапова. Причем отличался всем. Иван Тимофеевич озадачил меня как раз тем, что делал все наоборот, как я понимаю, в сравнении с прежним “Коммунистом”, — в пределах, конечно, коммунистической идеи, социалистического строя и так далее. Но Косолапов — сталинист, как известно, а Фролов — почти что “ревизионист”. И соответственно он подбирал людей, новые кадры. Он же из восемнадцати человек косолаповской редколлегии сменил пятнадцать.

Когда он меня пригласил, я сильно колебался. По многим причинам. Я понимал, что это будет другой “Коммунист”, но не известно — какой. К тому же я всегда ощущал себя газетчиком, хотя и поработал уже к тому времени в “Проблемах мира и социализма”. Просто не думал о журнале, тем более о таком журнале. И вообще колебался — возвращаться в печать или оставаться при науке, где отработал одиннадцать лет, хотя пошел туда не по своей воле. К тому времени стал доктором экономических наук, заведующим отделом. Академический отпуск в два месяца уже был солидным стимулом, чтобы оставаться в институте. И вообще — свободный режим (у меня было два непрерывных дня в неделю), сам себе хозяин, пла-

---

<sup>1</sup> Эта история неоднократно упоминается в ходе беседы. О сути ее см. в разделе “Документы”, с. 558–576. — *Прим. ред.*

тили тогда еще вполне прилично. Писал много. Но по газете скучал. Ну, а все сомнения, в конце концов, разрешило то обстоятельство, что происходили совершенно невероятные изменения в жизни, до которых я и не надеялся дожить. Началась перестройка, был невероятный энтузиазм, и я как ярый сторонник именно таких реформ чувствовал бы себя неудобно, если бы оставался в стороне. Потому вернулся в печать. Не именно в “Коммунист” — это было, скорее, препятствием. Я все-таки мечтал вернуться сразу в “Известия”, но это не получалось, и я решил, что надо принять предложение о журнале.

Потом там оказалось гораздо интереснее, чем я предполагал. Обнаружилось много возможностей действительно самостоятельно работать, поскольку я оказался первым замом — чего тоже с самого начала не хотел. Фролов предложил мне быть обозревателем или заместителем. Я сказал, что, конечно, обозревателем. Но потом обстоятельства так сложились...

Был какой-то момент, когда я уже работал обозревателем, а Фролов отлучился буквально на несколько дней. И как раз проходила моя статья. Ее просто измордовали под руководством двух прежних замов. Науменко, который вел редколлегию, так измолотил статью, что я понял: держусь в роли обозревателя только на воле и власти Ивана Тимофеевича. Стоит ему отвернуться, и мне будет плохо. Появилась такая мысль: или они меня, или я их. Как ни претило мне чем-то руководить... Но главной оказалась все же другая история.

Фролов представил меня на утверждение членом редколлегии, но отдел партработы ЦК “зарубил” — явно по наущению Лигачева. Я за двадцать лет до того в “Новом мире” обругал его книгу (он тогда только-только стал первым секретарем Томского обкома партии). Лигачев это помнил. Мы с ним потом беседовали по поводу этой рецензии. И вот теперь его отдел меня “зарубил”. Неслыханное дело! Кадровые представления “Коммуниста” проходили в ЦК всегда за две-три недели и без возражений. А тут... Очень грубо все было сделано. Сказали, что в документах не упомянуто о партийном выговоре. Но выговор был за одиннадцать лет до того вынесен и за восемь лет до того снят. Формулировка, правда, ужасная, с которой в свое время сажали: “антипартийные взгляды”. Но все-таки — снятый и есть снятый. Я специально проверял, надо ли в таких случаях упоминать о нем в анкете. Оказалось — нет. Фролов это им объяснял. Они говорят: “В анкете — ладно, а в автобиографии? Пусть напишет”. Ради бога, что за проблема? Сейчас напишет. “Нет. Все вхожде-

ние с исправлением повторить сначала”. И вместо обычных трех недель меня утверждали три месяца. А когда утвердили, Фролов позвал меня, дал прочитать выписку из документа и сказал: “Ну вот, идите и садитесь в кабинет Науменко”, — то есть будьте заместителем. Я было стал возражать, он свое: “Вы думаете, легко было вас пробить?” То есть он дал мне понять, что при возражениях Лигачева не так просто меня утвердили и со второго раза. Пришлось говорить не то с Яковлевым, не то даже с Горбачевым. “И что же? Сказать, что пришел ради обозревателя? Я сказал, что это будет первый зам”. И все. Путь отступления не было. И я решил делать этот журнал так, чтобы у меня самого было ощущение, будто я в стане противника захватил большую, главного калибра пушку и могу развернуть ее в нужную сторону.

— *В какую? Это, собственно, наш второй вопрос: с какими идеями вы пришли туда? Как менялись ваши представления об экономике в сравнении с 60-ми годами? Как это отражалось в журнале?*

— В какую сторону? Конечно, в сторону реформ, о которых мы все говорили уже двадцать лет. Особенно — со времен поражения Пражской весны. А представления об экономике развивались под влиянием практики. Можно, конечно, надо мной и кем-то еще издеваться: “Ха-ха-ха! Они в рыночный социализм верили!” Да, в какой-то период верили, другое поначалу и не было реальным.

Я пришел в журнал в октябре 1986 года. Мы же при Горбачеве прошли огромный путь. Именно при Горбачеве. Август 91-го был уже завершением идеологического изменения. В начале перестройки Горбачев на закрытых встречах и Рыжков еще поносили рынок. Слово это оставалось ругательным. Я хорошо помню, откуда взялось понятие “перестройка”, поскольку в широкий оборот я его и запустил. Придумал не я. Придумал, скорее всего, Аганбегян, во всяком случае, от него я это слово услышал. Он в то время сидел на цеховских дачах, готовился несостоявшийся Пленум ЦК, который в итоге превратился во Всесоюзное совещание по научно-техническому прогрессу. Там идеология перестройки и была впервые озвучена — в июле 1985 года. Рассуждали так: к слову “реформа” неизвестно как еще отнесутся, и вообще оно скомпрометировано неудачей 1965 года. Хотелось произнести слово “реформа”, не “рыночная”, а просто “реформа”. Социалистическая реформа, реформа социалистического планового хозяйства — но пройдет ли оно? Косолаповским словом было “совершенствование”. За этой борьбой слов стояло

многое. “Совершенствование” означало, что ничего не меняется, просто новым лаком покрывается та же госплановская машина. “Реформа” — значит, все-таки что-то надо менять. Еще была “система хозрасчета” — смешные по нынешним представлениям слова. Аганбегян говорил, что “совершенствование” нас не устраивает, а “реформа” может не пройти. Ну, и придумали — “перестройка”. Очень хорошее слово. Когда Игорь Голембиовский заказал мне для “Известий” статью к тому совещанию, я сразу решил: она будет называться именно так. Большая статья “Перестройка” начиналась на первой полосе. На очередном совещании в ЦК Рыжков ее обругал, а Горбачеву она понравилась (Николай Иванович об этом не знал). И слово пошло в ход.

Но я не потому, что боялся, пошел на этот мягкий вариант: я искренне не был уверен, что единственным вариантом для страны является обычная капиталистическая рыночная экономика. Остро чувствовалось, что большинство населения не готово к этому. Потому я и стоял за рыночный социализм, за систему типа нэповской. Убедиться, что этого недостаточно, что это не получится, можно было, только попробовав. Горбачев попробовал — не получилось, кончилось августом. Тогда уже стало ясно: другого пути, кроме рыночной экономики, у нас нет. Я шел, таким образом, от жизни, а не от каких-то книжных представлений. Не считаясь — модно, не модно.

Тогда я совершил один очень не модный поступок, прекрасно понимая, что он так и будет воспринят. В журнале “Новый мир” появилось письмо за подписью Попковой “Где пышнее пироги”, обратившее на себя внимание читателей. Корреспондентка была очень смелой, но сказала заведующему отделом публицистики Анатолию Стреляному, моему старому приятелю: “Настоящую фамилию не ставьте — директор меня заругает”. Был только один директор в этой отрасли науки, которого боялись, так что стало очевидным: автор — из института Тимофеева. Оказалось — Пияшева. Письмо было написано очень хорошо, ярко, как обычно пишут не для печати. В этом все и дело: она и писала не для печати, а лично Стреляному, будучи в восторге от его статьи “Купцы и кавалеристы”, опубликованной в “Знамени”. Толе письмо понравилось, и, убрав обращение к себе, он его напечатал. Все там вроде было и правильно, но как-то очень неуместно, не ко времени и создавало жуткие неудобства для Горбачева, который далеко еще не был готов к такому обороту дел. Кстати, хлесткая фраза, что “нельзя быть наполовину беременной”, была чуть ли не единственным аргу-

ментом письма; шутить тут можно бесконечно, но это не аргумент, когда речь идет о науке, политике, экономике. Обо всем этом я и сказал Стреляному. А через два дня он звонит: “Паника в редакции. От Горбачева звонили”. Залыгин в ужасе, требует дать как бы ответное читательское письмо. Специально задерживается номер. Оставлено две страницы, чтобы срочно опубликовать “письмо на письмо”, потому что, оправдываясь перед начальством, ссылались на читательскую инициативу — мол, это не мнение журнала, просто люди разное пишут... Позвонил мне Стреляный вечером, часов в десять, а к утру попросил прислать такое письмо. Что делать? Я согласился (ну, кто ему еще за ночь напишет). А потом шум поднялся: “Лацис из “Коммуниста” обидел Пияшеву!” Да она имя сразу приобрела с этого эпизода.

Я пришел в “Коммунист”, конечно, с зарядом невысказанного за двадцать лет. И это было главное. Прежде всего — выдать все, что накоплено. Пришел сразу со статьей. Статья была по экономике, но у меня в голове сидела история. Когда Фролов перешел в помощники к Горбачеву (весной 1987 года), Михаил Сергеевич поручил ему набрать бригаду, чтобы готовить проект доклада к 70-летию Октябрьской революции. И вся команда “писателей” оказалась из журнала, включая Игоря Дедкова, Сергея Колесникова и меня. Я, сидя на цеховской даче, решил, что пропишу всю реабилитацию Бухарина. Я понимал, что Горбачев просто не знает его истории. Это же была запрещенная тема, белое пятно. А я-то влез в это, переворошил кучу литературы, готовя свою “антипартийную” книгу. Я просто использовал материалы этой книги для того, чтобы описать историю провала первой пятилетки.

Рассчитал так, что напишу статью о первой пятилетке сейчас и сдам в журнал. Рукопись будет лежать там до ноября. Пройдет юбилейный доклад, и к 60-летию Директив XV съезда 1927 года по первому пятилетнему плану статья выйдет, но рукопись я использую раньше. Она называлась “Проблема темпов в социалистическом строительстве”. Хотя много было напечатано, десятка два, наверное, моих статей в “Коммунисте”, из того, что лично я сделал, самое интересное для меня — вот эта статья. Дал ее тогда Фролову, а он — Яковлеву. Цель была достигнута: близкий к Горбачеву человек был заранее вооружен научной и фактической аргументацией. Госкомстат нам даже кое-что добавил, проверил цифры в моей таблице о провале пятилетки. Никогда факт досрочного выполнения, вообще вы-

полнения этой пятилетки не подтверждался советской статистикой официально. Просто Сталин сказал, что она выполнена досрочно, и считали, что выполнена. Статистические же данные показывали, что не выполнена вообще, но об этом сорок лет никто не смел сказать.

А проблема первой пятилетки прямо связана с реабилитацией Бухарина — ведь вокруг нее шел спор. Бухарин был сторонником “отправного” варианта плана, объявленного “оппортунистическим”, а Сталин — сторонником “оптимального” варианта (из-за этого “оптимального” с последующими исправлениями в сторону еще большего ускорения пятилетка и была провалена). Статья получила широкий отклик, повлияла на официальную позицию по отношению к Бухарину. За эту статью я получил потом премию от Бухаринского фонда. А из зарубежных авторов был отмечен премией Стивен Коэн.

— *Потом как-то быстро интерес к Бухарину был потеряян, его перестали считать прогрессивным деятелем.*

— Не так быстро. Когда гласность сменилась свободой слова, рыночный социализм — рыночным капитализмом, а перестройка — ельцинскими реформами, тогда просто отбросили всех, кто по существу-то был предтечей трансформаций нашего времени. Любые либералы с партбилетами стали “нехорошими людьми”. Некоторые авторы даже говорили, что их правильно расстреляли в 1937 году. Они виноваты — они тоже стреляли (будто с другой стороны не стреляли, а все исключительно были в белых перчатках). Не только Бухарин — вообще эта часть истории и культуры была отброшена. Произошло это на фоне несколько судорожного сначала, даже истеричного интереса к советской истории. А потом и сам интерес к истории был отброшен. И XX съезд, и Сталин никого теперь не волнуют, этим занимается только наука — а она не считает Бухарина “не прогрессивным”. Просто сейчас сей вопрос не для миллионов людей, а для сотен.

Мой личный интерес был удовлетворен, когда вышла книга “Перелом”: 1988 год — журнальный вариант, 1990 — книга в Политиздате. Дальше пошел уже новый исторический материал, архивный, который был прежде закрыт. Уже не то, что мы написали “в стол”, а то, чего мы и не знали. Кстати, по истории самое значимое в журнале сделал наш сотрудник Олег Хлевнюк. Это были публикации документов. Очень интересная вещь, принципиально важная, мало кем замеченная даже в то время. Вот у меня стоят некоторые его книжки. Например, ма-

ло кем оцененная публикация переписки Молотова и Сталина. В предисловии к ней было опубликовано письмо Сталина Менжинскому, интересное вот в каком смысле: как ни наивны и глупы были все разговоры, будто Сталин не знал, что в стране творилось, мол, Ежов и Берия его обманывали, виноваты и сами подследственные (зачем, дескать, они под пытками признавались) — требовалось документальное опровержение этого. И вот письмо Менжинскому по процессу Промпартии, за семь лет до Большого Террора, написанное собственной рукой Сталина. Для процесса требовался лидер среди обвиняемых, собственно, тот, кто ведет за собой стадо на убой. Двое из этой группы специалистов отказались от такой роли, были уничтожены. Согласился третий — профессор Рамзин, и вот Сталин собственноручно пишет Менжинскому, какие показания следует получить от Рамзина... Была опубликована подборка докладов Берии Сталину о высылке народов — чеченцев, немцев, кабардинцев, татар. С моим комментарием дали подборку документов Дзержинского. Предсмертные записки. Так что документальные материалы у нас в журнале были интересные.

Наши возможности были, правда, ограничены и по объему и по статусу, потому что тогда появился журнал “Известия ЦК КПСС”. Им руководил Болдин, а он сидел на архивах и все любопытное отдавал в это издание. Когда я у него специально попросил один интересный документ, то почувствовал очень холодное отношение. Он сделал вид, что не понял меня, и сунул нам что-то совсем другое. Речь же шла вот о чем. Году в 82-м Фирсов, помощник премьеров начиная с Косыгина, которому я помогал писать речи для сессии СЭВа, выгнал из сейфа и показал мне секретное письмо Брежнева 1980-го, насколько сейчас помню, года в Политбюро. Там всего полстранички, но письмо поразительное. Брежнев писал, что у нас нефть кончается, зато нам от природы достался прекрасный подарок — газ тюменский, и его очень много. Мы сейчас строим газопровод, но нам надо построить тридцать таких газопроводов в Европу. Построим и будем качать газ, как шейхи. Как шейхи будем сидеть на этой трубе — и все, больше ничего не надо. Подход интересен: какая там реформа, какая эффективность! А потом — представление о рынке. Мы только одну нитку протянули, и она оказалась, во-первых, убыточной, потому что, производя труб больше всех в мире, тех, которые нужны, мы не имели. Помните проект “газ — трубы?” Немцам — газ, нам — трубы. Трубы оказались дороже, чем газ. Да и одна эта труба много лет

наполнялась только наполовину. Европейский рынок и одну трубу не принимал, а Брежнев хотел тридцать. Непонимание того, что произвести — одно, а ведь продать еще надо! Мне было страшно интересно найти это письмо, но Болдин сказал, что не нашел. До сих пор его никто так и не раскопал. Но все-таки мы по документальной части много интересного сделали.

— *Насколько помнится, не менее интересным был собственно экономический раздел “Коммуниста”. Это вам пришла мысль пригласить в редколлегию Егора Гайдара?*

— Да, но можно сказать — случайно. Я никак не мог найти человека на отдел экономики. Оказалось, это очень трудно, потому что все-таки журнал теоретический. Я понимал, что и профессора и академики могут принести порой чушь, и если там будет сидеть журналист без экономических научных регалий, как он им скажет, что это чушь? Вместе с тем он должен быть журналистом. И работа достаточно тяжелая, а по оплате и по статусу номенклатурному в тот момент не такая уж привлекательная. Я с разными людьми делился: вот такая проблема, не могу найти... Институтский коллега Рубен Евстигнеев в ответ на мои сетования и предложил: “Возьми Гайдара”. Какого Гайдара?

Я был знаком с Тимуром. Однажды мы с Леном Карпинским были у него на нелегальной сходке — затевали подпольный журнал в знак протеста против вторжения в Чехословакию. Собственно, из этого и родилась моя “крамольная” рукопись. Когда мы поняли, что журнал сделать не сможем, у меня уже появился какой-то запал, и я написал свою книгу. И так же по инерции КГБ вышло на эту рукопись: они прознали про журнал, ждали, когда он появится, выследили, как Лен передал толстую папку машинистке в метро, и решили, что это — то самое и есть. Хвать — а там оказалось совсем не то. Четыре года они за Леном наблюдали! Такое трудолюбие! Сколько денег уходило на все это! Жуть... Так вот, когда мы встречались у Тимура на даче, подошел улыбочивый мальчик четырнадцати лет. В шортах. Потом Руцкой кричал про “мальчиков в розовых штанишках”, и я вспомнил, что штанишки были короткие, но не розовые. Тимур познакомил: “Вот — Егорка”. С тех пор я его не видел почти двадцать лет. И он на тот момент работал в отделе у Шаталина.

В отношении его экономической подготовки у меня вопросы отпали сразу. Направление это было известно всему миру. Понятно: если работает в отделе у Шаталина, то это уже знак ка-



чества в смысле экономической подготовки. Но Егор никогда не работал в печати. Ни одного дня. Газета “Правда”, кстати, ставит ему в вину, что он журналист. Мол, из журналистов-то в министры! Это коллеги так мало уважают свою профессию! Но он не журналист “по происхождению”, а научный работник. Он девять лет уже работал в институте, при всей своей молодости, был кандидатом, а докторскую защищал вскоре по приходе в “Коммунист”. Интересно, что на защиту приехал поддерживать его академик Петраков. Выступал и восхвалял всячески (не то что потом). Шаталин мне сказал при встрече: “Ты — бандит: забрал у меня лучшего сотрудника. Но поскольку это святое дело, такой журнал, такая командная вышка, то ладно, я тебя прощаю”. Я понадеялся на что? На семью. Литературная среда — два деда, отец. Думаю: парень не работал в журналистике, но должен быть у него вкус, ведь атмосфера — это важнее, чем образование и диплом. И в этом смысле я не прогадал.

— Скажите, Отто Рудольфович, какие направления в работе журнала вам представлялись наиболее значимыми именно в тот период — период перестройки общества?

— История, экономика и социальные проблемы — вот три главных направления. Конечно, мы активно участвовали во внутрипартийной борьбе. В КПСС тогда было два секретаря по идеологии: Лигачев и Яковлев. Нас курировал Яковлев. Лигачев вел себя строго по правилам. Мы знали, до нас доходили слухи о большом его недовольстве, но он ни разу не позвонил Фролову, чтобы выразить это недовольство. Формально любой член Политбюро и секретарь ЦК КПСС мог это сделать, но Лигачев знал, что вмешательство в предмет чужого ведения не приветствуется. Не лез. Вернее, влез один раз, когда мы выступили в поддержку старательской артели Туманова — вокруг этого дела у нас была жесткая полемика. Но и тогда он подстраховался, на себя ответственность не взял. Инспирировал письмо шести отделов ЦК — редкий случай! И довел как-то до Горбачева, что мы “неправильного” человека поддерживаем, осужденного за антисоветчину и не реабилитированного. Туманов и правда успокоился когда-то по молодости тем, что был амнистирован, и реабилитации добиваться не стал (а сидел он за пластинки Вертинского, найденные у него, и за любовь к Есенину). Но Лигачев не знал, что я, как только мы занялись этим делом, послал запрос в прокуратуру, и Туманов был реабилитирован с опозданием на тридцать лет. Однако Горбачев позвонил Наилу Биккенину, сменившему Фролова в журнале.

Как спорить с Генеральным? Вторую статью в поддержку Туманова “Коммунист” уже не смог дать. Она вышла в “Известиях”.

Еще, конечно, интереснейшее было направление, кроме всего, что я сказал. Это Игорь Дедков — известный литературный критик. Дедкова мы вытащили из Костромы, чего нам костромичи не простили. Они очень обижались. Хотя инициатива, надо сказать, была не наша. Пригласил его Залыгин, первым замом в “Новом мире”. И он согласился. Но Залыгин взять его не сумел. Дедков в это время дал рецензию, где обругал роман Бондарева “Игра”. Дедков целую хвалебную книгу написал когда-то про Бондарева, но он был критик принципиальный: “Горячий снег”, “Тишина” — это хорошо, “Игра” — плохо. А Бондарев критики не прощал. Он был секретарем правления Союза писателей и воспротивился назначению Дедкова в “Новый мир”. Залыгин мог его все равно назначить, но должен был поспорить с Бондаревым. Не захотел. И он стал тянуть — ни “да”, ни “нет”. Время идет, человек уже подготовился к переезду, к возвращению в Москву, где и жил прежде. Как-то он мне сказал, что жена болеет и ей нужно в Москву, что и сам он хочет в Москву. Я предложил: давай к нам. Бондарев нам не помеха. Это очень быстро и устроилось.

— *Ведь именно тогда в “Коммунисте” вдруг появилась статья по поводу доклада Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”?*

— Да, ее написал Игорь. Сейчас это даже смешно и трудно понять, но партийные постановления были вечны — в отличие от законов государства, которые считаются утратившими силу с введением новых законов. Постановления никогда не отменялись. И никто не имел права их критиковать, сколько бы времени ни прошло. И Дедков избрал такую форму: он критиковал не постановление ЦК о журналах “Звезда” и “Ленинград”, а доклад Жданова. Доклад критиковать можно. Формально секретаря ЦК критиковать можно, хотя на практике его мог критиковать только Сталин. В стране уже печатали Ахматову, печатали Зощенко, восхваляли, а в школах все еще “проходили” те злобные постановления, в учебниках писали и обязаны были о них писать, потому что они оставались действующими. Оказалось, что постановлений такого рода было принято полтора десятка. Во время оттепели подсуетился только Союз композиторов. Тихон Хренников пришел к Хрущеву, и поношение Шостаковича, Мурадели, других композиторов было официально отменено на соответствующем уровне. То есть состоялось По-

становление ЦК об отмене Постановления ЦК об опере “Великая дружба”. А Союз писателей ничего этого не захотел сделать. Ахматова, Зощенко их совершенно не интересовали.

И тут вышла статья Дедкова. Причем он ее не подписывал, она появилась как редакционная. В идеологическом отделе пришли в восторг. Во-первых, Горбачеву очень понравилось. Во-вторых, в этом увидели выход из глупого положения. Из идеологического отдела позвонили и сказали: “Это же блестящий выход! У нас висит еще пятнадцать таких же дурацких постановлений, и мы не знали, что с ними делать. Что же, мы по всей этой чепухе будем входить в ЦК? Давайте срочно еще одну редакционную статью и там закройте все эти пятнадцать, обругайте их все. И мы будем говорить, что вот есть редакционная статья органа ЦК, и все это дело официально закрыто”.

Дедков написал такую статью, тем самым решив проблему. Кстати, еще одна любопытная черточка эпохи: тут же решился и его “квартирный вопрос”, который все тянулся со времени переезда. Игорь получил, наконец, нормальное жилье, где смог разместить (а это была проблема!) и свою обширную библиотеку. Он был настоящим писателем, у него были тысячи книг... Он хорошо писал. Конечно, как литературный критик в таком журнале развернуться не мог, но писал просто как публицист. Чаще по поводу книг, но и без такого повода. Действительно хорошая публицистика.

— *Вы были близкими людьми, еще с университетских времен, но кажется, под конец вашей работы в журнале не совсем могли найти общий язык?*

— С Дедковым? В какой-то мере, возможно, и так. Мы были одного мировоззрения до августовского путча. А дальше надо было сделать следующий шаг — надо было признать реальность, признать, что мы потерпели поражение, не оправдались надежды на переделку “реального социализма”. Игорь, мне кажется, не принял поворота от перестройки к реформам...

Кстати, сейчас, задним числом, зная, что создать “социализм с человеческим лицом” не удалось, я не считаю ошибочной попытку Горбачева это сделать и не считаю ошибочной нашу поддержку этой попытки. Крах плановой экономики, крах КПСС и руководимого ею государства, распад СССР очень дорого обошлись народу. Может быть, и нельзя было обойтись меньшей ценой при переделке неестественного строя, культивировавшегося семьдесят лет. А может быть, реально было — кто знал заранее? Мы были обязаны испробовать сначала путь наимень-

ших издержек, не все сразу ломать, а перестраивать, используя все годное в старой постройке, включая и аппарат правящей партии, потому что никакого другого аппарата не было. Но когда это не получилось — как же не признать факт неудачи?

По-человечески я не осуждаю тех, кто остановился на том месте и не хотел сдвинуться. Я вообще этим людям сочувствую и очень хотел бы, чтобы жизнь позволила и мне остаться в прежней роли. Нет никакого удовольствия уходить от представлений, которые были у тебя с детства. Однако надо признать реальность. Может быть, это очень тяжело, неприятно, очень не хочется — но нельзя же не признать.

— *В сущности, Фролов довольно недолгое время был главным редактором “Коммуниста”. Что, на ваш взгляд, он успел сделать полезного для журнала?*

— Все, все, что сделал, было полезным. Он создал новый “Коммунист”.

— *Иногда говорят, что он, придя в “Коммунист”, выполнил роль бульдозера.*

— Конечно. Но он не только расчищал и ломал. Он оставил в наследство Биккенину совсем иной, чем прежде, журнал. Он оставил ему и новую редколлегию. Биккенин пришел и сел в кресло как спокойный и очень симпатичный редактор. Он, конечно, полностью был человеком Горбачева. И до, и после августа. И в этом смысле с ним было очень хорошо работать, мы без всяких трудов находили общий язык. В той же мере, что и с Фроловым, только без издержек характера, которые у Ивана Тимофеевича имелись.

С Фроловым последний раз я работал на XXVIII съезде КПСС. Кроме ЦК, там была избрана редакционная комиссия новой Программы, я в нее входил.

— *Когда вы шли в ЦК, чего от этого хотели? Или на что надеялись?*

— Во-первых, я не шел в ЦК, в том смысле, что не добивался этого. Меня выдвинули делегатом на XXVIII съезд партийные избиратели Хорошевского района, они же выдвинули и в ЦК. Вообще же это было продолжением того, чем я занимался в “Коммунисте”, для чего туда пошел. Вопрос состоял в том, удастся ли партии повернуть на новый путь. Не удалось.

Биккенин, надо сказать, полностью меня поддерживал, даже во время XXVIII съезда, когда я резко стал выступать. И в других случаях, когда, например, была стрельба в Риге. Я в этот день, 20 января 1991 года, был там, с Горбуновым разговаривал,

тогдашним руководителем республики. Поговорил — и ничего не собирался писать, поскольку ездил туда на уикэнд по личным делам, к родным. Но в поезде по радио услышал о стрельбе и в ту же ночь написал большую статью “Рикошет”. Написал, что главный виновник происшедшего — коммунистическая партия Латвии, ее лидер Рубикс. Я считал это очень важным. В принципе это был момент, когда Горбачев дальше всего отошел от реформаторов, подвинулся от Яковлева к Лигачеву и Полозкову. Казалось, вот-вот, еще немного — и реакционеры его дождут. А с другой стороны, уже вплотную подошли ельцинские люди, его поносили, отождествляя со всем происходившим. Я, однако, чувствовал, что он оставляет себе отдушину. Горбачев вообще никогда не говорил ничего на 100 процентов, максимум — на 95. Всегда оставлял дверь приоткрытой, предусматривал возможность отступления, отхода в другую сторону. Я чувствовал, что он еще может вернуться. И написал тогда, что коммунистическая партия Латвии использует рижский ОМОН как своих опричников. Это соответствовало истине. Я решил опубликовать статью в первом же номере “Известий”, и для того, чтобы это было весомее, подписаться: член ЦК КПСС, первый заместитель главного редактора “Коммуниста”. По-иному прозвучит. Перед публикацией позвонил Биккенину, спросил, разрешает ли он так в “Известиях” подписаться. Не задумываясь, он сказал: “Да, конечно”. Так я и напечатался, что вызвало ярость Рубикса, а также Полозкова и Зюганова. Я получил свое и от “Советской Латвии”, и от “Советской России”. И потом на обоих съездах — на учредительном съезде КП РСФСР и на XXVIII съезде КПСС — была схватка из-за меня небольшая, в стенограмме она отражена.

Чем больше нарастало все это безобразие, вот эта стрельба, тем более критическим было отношение к Горбачеву. За рамки совершенствования социализма я в мыслях не выходил, но к Горбачеву уже начинал относиться реалистичнее. Вместе с тем считал, что если начну нападать на Горбачева, на ЦК, то должен уйти из журнала. То есть меня бы не выгнали, но я просто считал, что это нечестно, неправильно, так вести себя недопустимо. Сам должен уйти. А уходить не хотел. Я считал, что есть еще достаточно возможностей действовать в рамках борьбы, которая происходила внутри партии. То, что ассоциировалось с противостоянием Яковлева и Лигачева. Я считал это вполне достойной задачей, и выходить в ельцинскую оппозицию, бороться против самой партии для себя не видел смысла. Там хва-

тало борцов без меня. Поэтому до 19 августа я был на стороне Горбачева — поскольку политика всегда отождествляется с какими-то личностями, — полагая, что делу реформ наиболее способствует его власть. А 19 августа я с большим неудовольствием пришел к выводу, что Горбачев с этого момента имеет силу нулевую. После ГКЧП стало ясно: вот человек на танке, Ельцин, и вот банда сталинистов — других сил нет. Хотя Ельцин мне по многим мотивам не нравился, надо было выбирать: или с ГКЧП, или с ним. Больше никаких возможностей не оставалось.

Мне очень не понравилось заседание Верховного Совета, где Ельцин издевался над Горбачевым. Он заставлял его отречься от коммунизма и социализма. Верховный Совет, где коммунисты на тот момент составляли большинство, молчал. Все до единого перетрусили. А тот куражился. Почему Горбачев должен был отречься от своих идей? Он должен отвечать за свою деятельность в качестве президента и генерального секретаря. Но отречься от социализма? Идея-то все равно вечная. Она была, есть и будет.

После этого заседания Верховного Совета я опубликовал в “Известиях” статью под названием “Дело было на Рочдельской...”. Ирония судьбы в том, что здание, где все это происходило, Белый Дом, находится на Рочдельской улице. А что такое Рочдельская улица в Москве?

— *Там ткацкая фабрика, “Трехгорка”.*

— Да, и наименование дано в 20-е годы в память о движении ткачих “Трехгорки”. Почему Рочдельская? Рочдейл — пригород Манчестера, 150 лет назад по инициативе Роберта Оуэна рочдельские ткачи создали первый кооператив, который назывался “Справедливые рочдельские пионеры”, и он был первым организованным носителем социалистической идеи. В 20-е годы все это, от французских якобинцев до “рочдельских пионеров”, было очень популярно. Я написал, что, между прочим, идея существовала еще 150 лет назад и, даст Бог, проживет еще долго. Это было единственное выступление такого рода. Ни один из депутатов-коммунистов не высказался в защиту своего социализма.

— *Отто Рудольфович, в чем, по вашему мнению, была тогда сила журнала и в чем заключалась его ограниченность?*

— Сила состояла в том, что он как бы отражал или фиксировал официальную линию. А может, правильнее сказать — в какой-то мере и формировал. Когда “Коммунист” написал, что

первая пятилетка была провалена, а Бухарин был прав, и Горбачев то же самое сказал с трибуны, это развязывало руки всем, за этим шли книги, школьные программы, публикации. Совершенно же иное, чем, скажем, выступления “Огонька” на ту же тему. Аудитория наша была не только партийная, но важно, что она была партийная прежде всего, что слово “Коммуниста” воспринималось как слово официальное. Мы это вовсю использовали. Скажем, тот же Дедков: ну, написал бы он об Ахматовой в “Огоньке”, а в школьных программах все равно оставалось бы, что она “уличная девка” или как там ее назвал Жданов, и Зощенко такой-сякой.

В этом же заключалась и наша ограниченность, потому что использовать такую силу можно было, только оставаясь в рамках партийной линии, в рамках совершенствования социализма, КПСС. Мы хотели действовать в рамках новой Программы. За пределы не выходили, хотя уже частенько хотелось. Но в таком случае надо было, как я уже говорил, уходить их журнала.

— Скажите, а как читатели реагировали на перемены в “Коммунисте”, на его нетрадиционные выступления?

— Самую замечательную оценку дал нам Марк Захаров. Он прислал в редакцию письмо, где высказался так: “Я много лет был подписчиком вашего журнала. Теперь я стал его читателем”. Но получали и ругательные письма. Мы быстро меняли читателя и быстро наращивали тираж — уже при Фролове он превысил миллион. Но надо сказать, нас очень волновала возникавшая односторонность. Мы всячески выискивали материалы, представлявшие другую точку зрения, особенно по экономике. Однако элементарно логичного, состоятельного выражения антиреформаторской точки зрения в письмах найти не могли. Нашли статью одной женщины, ее материал как-то тянул на полемику. Напечатали. Потом кто-то из знакомых мне позвонил: “Да вы что? Не знаете, что она больна? Она на учете состоит”.

Вообще-то как средство массовой информации со своей аудиторией “Коммунист”, конечно, интересовал далеко не всех. Многие и тогда его не читали и не знали о его обьявившейся прогрессивности. Так и не узнали, как изменился журнал. И сейчас не знают. Этим пользуются “Правда”, “Советская Россия”, когда пишут: “Ха-ха-ха, Гайдар-то в “Коммунисте” работал...” Он в новом журнале работал, сам его во многом и формировал. Не объяснишь же каждому.

— Примерно в той же тональности в своей книжке про “Огонек” В. Готов пишет о вас: когда, мол, я оказался без-

*работным, Лацис уже был первым замом в “Коммунисте” — “высоко взлетел”.*

— С Глотовым и Клямкиным мы, кстати, проходили по одному делу (которое здесь не раз поминалось) и умудрились не познакомиться. С Клямкиным потом мне случалось много встречаться, у меня с ним дружеские отношения. Нашлись какие-то общие интересы. С Глотовым не нашлись. А с чего нужно, не сойдясь, меня за что-то осудить? Я не понял — за что, собственно говоря? Он был безработным? Да я одиннадцать лет не имел возможности работать в печати. И с худшими шансами, чем у него, потому что в том деле мы с Леном Карпинским были главными обвиняемыми. А они с Клямкиным оказались виноваты в “недоносительстве”. За это им записали выговор и уволили с работы. Ни за что пострадал и Торсуев, директор издательства “Прогресс”, где Лен работал. Торсуеву дали выговор и выгнали из директоров. Он потерял в должностном отношении больше всех. А мне не позволили из Праги вернуться в “Известия”. В сорок один год я стал “молодым ученым”. И Тамару (жену) несколько месяцев не брали на работу. В институте Богомолова мне дали ставку 250 рублей — это на четверых членов семьи. Но если б не Богомолов, пришлось бы хлебнуть более горького. Богомолов, конечно, блестяще тогда вел себя: Лисичкина поддержал, Амбарцумова, Шмелева.

*— Все же вернувшись в свое время в “Известия”, вы и сейчас остаетесь в газете, правда, в “Новых Известиях”. Как вы относитесь к современной прессе? Не деградировала ли она, по вашему мнению?*

— Я не считаю, что современная пресса деградировала. Ее в этих категориях вообще нельзя оценивать. Так же, как всю экономическую и социально-политическую жизнь. Она не стала хуже и не стала лучше. Она просто другая. Анатолию Аграновскому, который, на мой взгляд, был и остается самой яркой и значительной, важной и полезной величиной в прессе 60-х годов, в современной прессе делать нечего. Его талант тратился на то, чтобы, обложив ватой одну фразу или несколько фраз, обойти цензуру и вызвать у читателей бурю мыслей и чувств. А сейчас это не требуется. Можно писать прямо, нет цензуры и нет монополии, в чем великое счастье. Жена Аграновского, Галина, как-то мне сказала, что сейчас Толя не писал бы. Я думаю — писал бы, но как-то иначе.

Нынешние условия работы несопоставимы с тем, что было. Даже при Горбачеве. А вот хорошо ли работают журналисты?



На это можно ответить: большинство плохо. И рыночная экономика здесь ни при чем. И журналисты не деградировали — они просто никогда ими не были. Я как-то использовал такой образ: спортсмены много тренировались в прыжках в высоту в спортивном зале, где высота потолка два метра. Они говорили тренеру: “Если бы не потолок, мы бы сейчас показали!” А потом их выпустили на улицу. Потолка нет, а прыгнуть выше они не могут.

Наука, экономическая и историческая, имела некоторые заделы. Журналисты тоже имели. Сначала наблюдался расцвет публицистики за счет того, что лежало в столах. Затем — всплеск мыслей, которые накопились в умах, но даже не были изложены на бумаге. Это был подъем. Подъем “Огонька”, “Московских новостей”. Но это были старые мысли о старой жизни. А выработать новые мысли о новой жизни сложнее, это требовало прежде всего знаний, и работы, и честности. Оказалось, мы вообще мало что знаем. И отсутствие знаний возмещается крикливостью.

Я сейчас не беру то, что появилось в рыночной атмосфере. Заказные статьи всегда были. Тогда кто-то под псевдонимом писал для КГБ всякие гадости про Солженицына, которого никогда не читал. Сейчас за заказ платят, сейчас конкуренция. Один нечто заказывает в одной газете, а конкурент — в другой. Читатель по крайней мере может выбрать и в итоге — получить правду, зная направление газеты, видя, где чьи уши торчат, и так далее. Материалы стали в тысячу раз хуже, но в смысле возможностей найти что-то в прессе, выбрать, положение читателя стало неизмеримо лучше. Никто уже не глушит “вражеские голоса”, потому что в собственных наших изданиях все говорится так же откровенно и часто полнее, лучше. Появилось поколение деловых журналистов — неплохая линия. А на потребности того читателя, который просто хочет узнать, что происходит в экономике, политике, в культуре на уровне новых требований, отвечают очень немногие. И это слабость профессии.

А вообще: какое общество, какая интеллигенция — такая и пресса. Какой спрос у населения — такое и предложение.

— *Вы нередко выступаете на телевидении. Какой интерес вами движет?*

— Мой интерес прежде всего в аудитории. Это не десятки и сотни тысяч читателей — на три порядка выше. Движет реклама своей газеты, которая в этом нуждается. И, конечно, оперативность. Газета и телевидение для автора, для журналиста вза-

имодополняются. В газете можно высказаться точно, хорошо сформулировать мысль. То есть здесь не будет оговорки, ошибки, неверного восприятия. Читатель имеет возможность перечитать материал, вдуматься, даже вырезать статью. А на телевидении — широкая аудитория, оперативность, живая дискуссия, ведущий, который очень помогает, если это хороший ведущий. Не так это было важно, когда “Известия” имели тираж одиннадцать миллионов. А когда стало триста-четырееста тысяч, а в “Новых Известиях” сто тысяч — совсем другое дело. Журналиста даже забывают.

— *Отто Рудольфович, при столь непростой трудовой биографии кем вы сами себя считаете в смысле профессии: журналистом, политиком, экономистом?*

— Журналистом. У меня есть вторая профессия — научный работник, экономист. Но вторая. Первая профессия — журналист. Никогда я не переставал чувствовать себя “известинцем”. Я все время считал, что это мой дом. Где бы ни работал, всегда хотел вернуться в “Известия”. И я вернулся, уйдя из “Коммуниста” тогда, когда, во-первых, для этого представилась возможность, а во-вторых, потребовалось оперативно реагировать на события, участвовать в политических схватках, что возможно только в газете и невозможно в журнале с его длительным циклом. Знаю, что в журнале на меня обиделись, но я не мог противостоять собственной природе оперативного публициста и тем требованиям, которые предъявило мне само развитие общественной ситуации, стремительное и острое.

Е.Т. Гайдар

## “Перемены в сознании неизбежно запаздывают”

— Егор Тимурович, до сих пор можно услышать упреки в ваш адрес: вот, мол, либерал, демократ, а сам в “Коммунисте” работал. Не могли бы вы рассказать именно об этой странице вашей биографии? Почему все же вы, человек науки, решили обратиться к журналистике? Как оказались в “Коммунисте”, а потом и в “Правде”? Возможно, тут сказалось влияние вашего отца, Тимура Гайдара, много лет отдавшего печати?

— Нет, отец никогда не агитировал. Больше того, я видел, что работа эта нервная и скорее неприятная. И он уж точно знал: чем я совершенно не хочу заниматься, так это журналистикой.

Решение для меня было абсолютно неожиданным. Работал я в то время в Институте экономики и народнохозяйственного прогнозирования Академии наук, был ведущим научным сотрудником, занимался изысканиями, связанными с анализом экономической политики и экономических реформ в социалистических странах, в первую очередь — восточноевропейских, ну, и в России, Советском Союзе, конечно. Начал писать большую монографию, которую потом опубликовал (1989). И совершенно не собирался как-то ломать свою жизнь. Все началось с того, что мне позвонил Отто Рудольфович Лацис и пригласил зайти к нему в редакцию журнала “Коммунист”. А Лациса я знал давно, он приезжал к нам, к отцу, я знал, что это один из его близких друзей, к которому он всегда относился с огромным уважением. Потом, когда я уже учился в университете, в аспирантуре, с большим интересом читал его экономическую публицистику, а в дальнейшем и чисто профессиональные работы. Видел его первую публикацию перестроечного периода, как раз в “Коммунисте”, в 1986 году. Для меня он был человеком очень авторитетным, не только как известный журналист, но и как исследователь советской социалистической экономики.

Когда Лацис позвонил, я подумал, что он хочет заказать мне статью. Это было крайне интересно и крайне приятно, потому что в то время “Коммунист” становился важнейшим рупором перестройки.

— *Было заметно, что он меняется?*

— Конечно — пошли совсем другие публикации. Понимаете, что такое традиционный “Коммунист”, нам не надо было объяснять. Это важнейший элемент политической системы, такая дубинка идеологическая, которой полагается бить. Вместе с тем если там что-то проходит, то это легализовано стопроцентно. Ссылка на “Коммунист” была достаточным основанием, чтобы закрыть или открыть научное направление, институт, термин и так далее. Это был мощнейший идеологический бульдозер. И мы, конечно, как люди, которые занимались и активно интересовались экономической политикой, регулярно уже к тому времени писали записки в ЦК, то есть были причастны к тому, что делается, — мы сразу отметили: начался разворот этого идеологического рупора в прямо противоположном направлении, он становился одним из инструментов идеологической либерализации. Это было видно сначала по публикации статьи академика Заславской, той самой первой статьи Лациса, о которой я упоминал, по назначению Лациса (с известной его “ревизионистской” репутацией, с его строгим партийным выговором и так далее) первым заместителем главного редактора “Коммуниста”.

Многие прекрасно поняли: происходят революционные изменения в важнейшем идеологическом бастионе. К тому же в это время разворачивалась борьба вокруг направлений экономической политики. Правительство Рыжкова делало одну ошибку за другой, было ясно, что за этими ошибками идет радикальная экономическая дестабилизация. Просто потом все ее увидели воочию, а нам она была видна по прогнозу развития событий, по тому, что реально делалось, — начиная с попытки ускорения до антиалкогольной кампании и так далее. Мы писали записки Горбачеву, которые не оказывали видимого влияния на принятие решений, и для меня возможность обсуждения вопросов текущей экономической политики не где-то у себя, в журнале “Системные исследования” или в “Известиях Академии наук. Серия экономическая”, и даже не в брошюре издательства “Экономика”, а в “Коммунисте” была заманчивой. Мало того, что у него был тогда миллионный тираж — так еще ориентированный на людей, принимающих решения. Возможность участ-

водить в обсуждении вопросов, донести до тех людей свою озабоченность и свое видение перспектив развертывания финансового кризиса, в который мы тогда вползали и природу которого руководство страны не понимало, — было предельно важно.

Я в этой связи с удовольствием воспринял звонок Отто Рудольфовича и соответственно с удовольствием собирался написать статью. Он действительно меня пригласил и действительно статью заказал. Потом она была опубликована в “Коммунисте”, причем после довольно тяжелой работы. Я переписывал ее дважды, довольно радикально. Из первого моего варианта Лацис вынул одну страничку: “Вот здесь есть интересная тема, которую можно развернуть”... Я ее развернул, потом переделал еще раз. Второй вариант уже был похож на то, что можно назвать приемлемым. Затем мы ее просмотрели уже совместно. И тогда только статья была напечатана. Посвящалась она на самом деле завуалированной, но вполне явной критике концепции ускорения, воплощаемой на практике. Параллельно, к совершенно полному моему изумлению, Лацис предложил мне возглавить экономического отдел в журнале.

— *Любопытно, что незадолго до перестройки этот отдел в “Коммунисте” возглавил молодой человек (что было тогда сенсацией), представленный как блестящий выпускник экономического факультета МГУ, весьма перспективный... Из вашего же “гнезда”?*

— Да, моим предшественником был мой ровесник Алексей Мелентьев, молодой и талантливый представитель идеологии старого режима. Дело в том, что он — элитный выпускник элитного идеологического учреждения ЦК КПСС (уж экономический-то факультет МГУ не оставался без опеки ЦК). Он был в этом смысле таким его классическим продуктом. Я был контрпродуктом, продуктом протеста против той системы образования. Я имел все свои красные дипломы и тоже умел жонглировать цитатами, доказывать, что белое — это черное, а черное — белое, серо-буро-малиновое, любое. Но только мне все это было глубоко отвратительно. Я понимал, что никакой науки тут нет — есть схоластика. Реальная экономика — другая, поэтому ее надо изучать отдельно от того, чему тебя учат. А он в полном объеме овладел тем искусством делать из черного белое, серо-буро-малиновое, какое завтра изволите, с тем чтобы всегда любое решение партии можно было объяснить прекрасно выстроенным, интеллектуально сложным набором ссылок на Маркса–Энгельса и так далее.

— *Различия в подходах, мировоззрениях обычно принято объяснять различиями поколенческими...*

— От того же поколения, что и я, выпускник того же самого университета, мы с ним входили в круг наиболее признанных выпускников факультета за некий набор лет — а дальше все было, конечно, по-разному. Я знал Мелентьева, знал его позицию, знал возможности “Коммуниста” — и с точки зрения деструктивных действий, и с точки зрения конструктивных. И когда мне предложили в руки такой мощнейший идеологический инструмент...

Как человек, работавший в науке гуманитарной, я знал массу терминов, которые нельзя употреблять и которые можно легализовать через “Коммунист”; массу областей исследования, которые закрыты и которые можно легализовать через “Коммунист”. На самом деле — реальный поворот настоящей экономической науки, который можно легализовать через “Коммунист”. Конечно, тяжело полностью и совершенно неожиданно поменять свою жизнь, тем более, когда все, казалось, определилось, когда больше всего любишь сидеть в библиотеке и за своим письменным столом, когда есть исследовательские планы. Что еще надо? Но отказаться от такого предложения, особенно в условиях явно нарастающей политической борьбы, очень обидно. Это было одно из самых тяжелых решений в моей жизни. Когда я потом переходил на работу в “Правду”, все уже, в общем, шло по накатанному. Это была некая попытка сделать в “Правде” то, что сделали в “Коммунисте”, только негодными к тому времени средствами. Но я это быстро понял и оттуда быстро ушел. А вот переход в “Коммунист” был для меня сопоставим по тяжести принятия решения с последующим назначением в правительство в 1991 году. Легче, конечно, но сопоставим. Я несколько дней думал, посоветовался с отцом и после этого решил принять предложение Отто Рудольфовича.

— *Не пожалели?*

— Нет. Никогда.

— *И не напрасно все это было?*

— Я считаю, что не напрасно. Ведь ясно было, что осуществление либеральных реформ, построение демократии, рыночной экономики в России — дело тяжелое. Никто не выписал нам гарантии того, что оно заведомо будет легким, приятным, успешным, что нас будут носить на руках, любить и так далее. Ну, что ж поделаешь. Надо было участвовать в тяжелой

борьбе, и мы участвовали. На том этапе, я думаю, участвовали нормально, прилично, отстаивали разумные, правильные позиции, которые были потом подтверждены жизнью в полном объеме. Ни за один материал из напечатанных мною в “Коммунисте” сегодня не стыдно. Те журнальные работы постоянно публиковали и потом, в последующие годы. Мои идеологические противники, особенно в то время, когда я был в правительстве, прошерстили все, что я написал, начиная с курсовой работы за второй курс Московского государственного университета, и если что-то могли бы вытащить, так вытащили бы, дабы продемонстрировать: тогда-то он писал одно, а теперь вот — другое. Пытались, но ничего не нашли, в том числе и за время моей работы в “Коммунисте”. Что показывало: и в это время, в этом издании, в этой ситуации, когда еще не все табу были сняты, тем не менее можно было пользоваться кантовским принципом, в соответствии с которым ты не обязан говорить всю правду, но все, что ты говоришь, должно быть правдой.

Мы восстановили тогда традицию нормального экономического анализа текущей конъюнктуры, что реально существовало в России в 20-е годы, но потом было полностью уничтожено. Такой анализ исчез как жанр серьезных научных исследований (уже не говоря об экономической публицистике). Мы тогда первыми увидели объяснение развертывания финансового кризиса, публично и широко представили механизм, который потом стал важнейшим механизмом развала Советского Союза. Мы тогда же предложили свой набор мер, направленных на остановку кризиса, эти меры были обсуждены на Политбюро, поддержаны Горбачевым, но потом тихо-тихо умерли в силу отсутствия уже у элиты способности принимать какие-либо масштабные решения. Я очень горд тем, что удалось тогда остановить несколько особенно авантюрных проектов (вроде поворота сибирских рек), результатом осуществления которых было бы то, что нам оставили бы не 100 миллиардов долларов долга, а 150 миллиардов. На мой взгляд, журнал был в то время очень интересный. Как и его коллектив. Было много людей деятельных, пишущих и явно пришедших в “Коммунист” по тем же мотивам, что и я: использовать эту идеологическую дубинку против ее традиционных хозяев.

— *Вы пришли в журнал один или сразу со своей “командой”?* Кого из авторов вы стремились привлечь к работе вашего отдела, чьи статьи считали особенно необходимым опубликовать?

— Пришел я один, а из прежних сотрудников остался со мной работать только Владимир Ильич Алексеев, который, надо сказать, очень мне помогал. Он тоже был выпускником экономического факультета МГУ, но воевавшего поколения. Тем не менее мы прекрасно понимали друг друга и сходились во взглядах. Помимо того, что он взял на себя всю ту массу работы, которая предполагает знание внутренней технологии, “кухни”, процедуры, и не заставлял меня этим активно заниматься, он был незаменим как редактор. Я всегда давал ему свои материалы на просмотр и правку, и если у него были замечания, то дельные. Потом я взял в штат трех человек, причем очень, так сказать, разноплановых.

Виктор Ярошенко проработал в журнале, пожалуй, меньше других — полтора года. Мы раньше не знали друг друга — был комплекс разных пересечений, имелось множество общих знакомых (как потом выяснилось), мы были задействованы на одних и тех же участках борьбы, в том числе и по поводу сибирских рек и так далее. Уже в “Коммунисте” познакомились лично. Талантливый журналист, он квалифицированно писал об экологических проблемах, энергетике. За время работы в “Коммунисте” заинтересовался общеэкономическими проблемами. Мы вместе опубликовали несколько материалов. Потом по приглашению Залыгина он перешел в “Новый мир”.

Другого своего сотрудника, Николая Головнина, я прежде тоже не знал, но он был близко связан с Александром Николаевичем Шохиним, они вместе учились. С Шохиним мы сейчас общаемся мало. Я считаю, что это одна из серьезных личных потерь и разочарований периода реформ. Но тогда мы были друзьями, работали в тесном взаимодействии, он сильный, квалифицированный специалист. Шохин мне и порекомендовал Головнина, и я потом был весьма доволен его работой.

Наконец, я считаю большой “находкой” и для себя, и для журнала Алексея Улюкаева, с которым мы и сегодня работаем вместе. А познакомились с ним таким образом: один молодой экономист, считавшийся человеком, который подает большие надежды, принес мне на просмотр свой текст (я еще работал в институте) — “Монополизм и ведомственность”; соответственно там было две части, одну написал сам этот экономист, другую — доцент, преподаватель политэкономии какого-то технического вуза. И в том тексте была неплохая, но ordinaria часть о монополизме и неожиданно для меня очень интересная часть о ведомственности. Я деликатно начал расспрашивать, а



кто из них что писал, и понял, что понравившийся мне текст писал совершенно никому не известный доцент Улюкаев. И когда я уже был назначен в “Коммунист”, я позвал Алексея Валентиновича, который действительно оказался журналистом божьей милостью.

С авторами все оказалось гораздо проще, потому что в основном это были люди мне известные — либо по книгам, особенно в академической среде, либо как молодые экономисты из тех, кто уже был вовлечен в работу так называемого питерско-московского семинара — Мау, Кагаловский, Авен и многие другие. Обидно, что я так и не опубликовал в “Коммунисте” статью Анатолия Чубайса. Три раза он ее переписывал, перерабатывал, и три раза она как-то не получалась. Статья была, конечно, слишком техническая, посвящалась проблеме, которой он тогда занимался. А был он тогда доцентом кафедры экономики и организации науки Ленинградского инженерно-экономического института и занимался оплатой труда инженерно-технических работников. В Ленинграде проводился эксперимент по этому поводу, вокруг него все и строилось. Статья была скорее для “Вопросов экономики”, для “Коммуниста” она у нас никак не складывалась, а опубликовать ее я считал важным со всех точек зрения. Во всяком случае, с точки зрения отношений, складывавшихся в Питере, — там режим был более жесткий, чем в Москве, на молодых экономистов смотрели с большим подозрением. Статья была бы некоей индульгенцией... Нашим активным автором был, конечно, и Евгений Григорьевич Ясин, его материалы появлялись в журнале постоянно. Неудивительно, что со многими этими людьми мы потом вместе работали и в правительстве.

— *Егор Тимурович, а с какими идеями вы шли в “Коммунист”? Ограничивались ли тогда задачами совершенствования социализма или уже созрел тот тост — “за строительство капитализма!”*, — который был произнесен позднее?

— К тому времени я хорошо понимал внутреннюю глубокую неэффективность традиционного социализма — в том его виде, в котором он существовал у нас, с плановыми заданиями, системой административного распределения и так далее. За несколько лет до этого я еще был горячим сторонником концепции рыночного социализма. Но на базе накопления опыта, знакомства со свежими изысканиями, с работами венгерского экономиста Корнаи и других у меня во все большей степени рождались со-

мнения в работоспособности этой концепции, по крайней мере, для высокоиндустриальной, развитой страны. Возникал набор вопросов, на которые не было очевидных ответов в рамках науки. То есть то, что было политически мыслимо, трудно увязывалось экономически. То, что было экономически увязываемо, оставалось как-то очень далеко за границами политически возможного. И мои представления к этому времени были следующие: надо пытаться создать предпосылки для максимально мягкого, организованного и упорядоченного запуска рыночных механизмов, отключенных в условиях подавленной инфляции от практической экономики, сохраняя макроэкономическую стабильность как важнейшую предпосылку упорядоченного перехода к рынку. В этом отношении я был убежденным сторонником градуализма, постепенного перехода к рынку на базе упорядоченных реформ, осуществляемых реформаторской властью. Как мне тогда казалось, — наиболее безболезненных и в наилучшей степени дающих надежды на успех. Мне было понятно, что развитие событий по этому сценарию раньше или позже поставит ряд вопросов, сугубо экономических, которые в каждый данный момент будут казаться находящимися за пределами политических реалий (частная собственность в полном объеме и так далее). Но я был убежден, что это все равно надо делать постепенно и поэтапно, то есть ни в коей мере не считал тогда мыслимым катастрофический слом социалистической экономики и политической системы, который радикально меняет весь ландшафт преобразований и выдвигает совершенно другие проблемы. В этой связи все наши усилия и потуги, мои и Лациса, в те годы состояли как раз в борьбе за градуалистский путь реформ, за то, чтобы они проводились упорядоченно и последовательно существующей, относительно реформаторской, коммунистической властью.

Другое дело, что реальное развитие событий, к сожалению, пошло совершенно по иному сценарию: утраты контроля за основными макроэкономическими пропорциями, нарастающего финансового кризиса, начинающегося развала всей властной пирамиды, которая придавала экономическому кризису катастрофический характер, полностью и радикально меняла ландшафт. Но мы сами в начале перестройки и вплоть до 1988–1990 годов считали, что нужно сделать все возможное для того, чтобы придать развитию событий управляемый характер. И только, пожалуй, в 90-м году, после отказа Горбачева поддержать программу “500 дней” (к которой у меня свое

отношение как к популистскому документу, но который, тем не менее, давал хоть какую-то надежду на упорядочение преобразований), мне стало ясно, что развитие событий все же идет по сценарию катастрофического краха режима. И в этой связи все надо передумать, готовясь к тому, что начинать реформы придется в условиях политического и институционального хаоса. И сами реформы будут совершенно другие, не те упорядоченные, мягкие, о которых мы говорили и спорили в 84–86-м годах.

— *А как теперь вы относитесь к самим понятиям “социализм” и “капитализм” применительно к российскому обществу?*

— Они в некотором смысле устоялись. Корнаи написал солидную книгу об экономике социализма, где дает свое определение примерно той модели социализма, которая реально существовала в двух с лишним десятках стран и имела свои внутренние закономерности. Капитализм? Да, как антипод социализма, как рыночная экономика с частной собственностью. Можно употреблять и этот термин, как мне кажется. Но они несколько приблизительны. Капитализм сегодняшний радикально отличен от того общества, исходя из реалий которого и было придумано само это слово. Отличен существенно, по многим принципиально важным вопросам. И социализмы были разные. Но в общем, если мы не навешиваем на это понятие каких-то очень серьезных ценностных характеристик, а просто используем его для того, чтобы обозначить простым, привычным словом ту масштабную аномалию в экономическом развитии, которую демонстрировала собой иерархическая экономика, существовавшая десятилетия, — вполне можно использовать привычный термин “социализм”, а не придумывать что-то другое.

— *Изменилось, видимо, за годы реформ и понимание либерализма как такового. Вот считается: Егор Гайдар — либерал. И что это значит?*

— Это значит, что для Егора Гайдара свобода есть важнейшая ценность, стоящая выше, чем государственные интересы. Это значит, что я убежден: свободная инициатива экономических агентов является абсолютно необходимой предпосылкой социально-экономического прогресса, результаты которого только и могут быть предметом государственного внимания. Это значит, что в политической области я убежденный сторонник примата интересов личности над интересами государства.

Это значит, что для меня либеральные политические свободы и ценности предельно важны, и я не готов ими поступиться во имя любых, как угодно сформулированных политических интересов. Это значит, что в экономической жизни я крайне скептически отношусь к идеям масштабного вовлечения государства в экономику, за исключением тех сфер, которые абсолютно естественны и жизненно необходимы в любом цивилизованном обществе, начиная от обеспечения правопорядка и кончая заботой о бедных. Это значит, что в области финансовой политики я сторонник ограничения налогового бремени...

— *И почему же, на ваш взгляд, столь характерно для общества резкое неприятие этих положений?*

— А потому, что есть два ключевых тезиса: минимизация права чиновника распределять деньги по своему усмотрению и соответственно — максимальное использование универсальных правил и процедур. Ну, прошу прощения, это же прямо против интересов многомиллионной армии реально управляющих страной людей. Они десять раз вам расскажут, как нужно усиливать государственное управление (чтобы не потерять свои права брать взятки). Попробуйте провести через нашу Государственную Думу нормальный закон о лицензировании, резко ограничивающий возможности выбивания доходов с предпринимателей. Попробуйте провести через Думу любые законы, которые делают процедуру прозрачной, резко ограничивают права чиновников. Дико тяжело.

На самом деле все, что я сказал — отнюдь не тривиально. Здесь есть такая известная проблема, в свое время описанная американским экономистом, профессором Олсоном. Она связана с ценой защиты интересов. С одной стороны, — да, все перечисленное строго соответствует массовым интересам. Но, с другой стороны, массовые интересы труднее всего организовать. Казалось бы, все, в принципе, должны быть заинтересованы в том, чтобы жизнь строилась таким вот образом. Но надо много усилий, чтобы нас объединить. Прирост же потом будет не бесконечно большой. Мне, вам, каждому выпадет по чуть-чуть. А теперь представьте интересы, завязанные на определенную группу, — скажем, добиться того, чтобы были введены льготы на импорт спирта и табака для Церкви. Компактная группа, очень серьезные и очень конкретные интересы. И здесь выясняется, что да, в целом-то все будет лучше, если подобного рода решение не будет принято. Но политически ситуация не симметрична. Очень трудно отстаивать общие интересы,

очень легко — частные, корпоративные. И отсюда мы получаем реальный процесс принятия решений, сильно сдвинутый в сторону частных и корпоративных интересов.

— *Егор Тимурович, что реально вам удалось тогда сделать в журнале и что не удалось?*

— Всегда хотелось бы сделать большее. Что удалось, как мне казалось, сделать? Удалось добиться очень многого в либерализации научного режима, реализации возможностей восстановления экономической науки. Она стала работать с цифрами просто, когда тема бюджетного дефицита не запретна, военные расходы обсуждаются, когда, короче, введен тот набор минимально необходимой фактуры, аппарата, без которых экономическая наука — это какая-то глупость, связанная с состязанием на лучшее знание цитат Маркса–Энгельса. Вот вовлечение в оборот и статистического, и научно-понятийного аппарата, на мой взгляд, было одной из важнейших заслуг “Коммуниста”, и с каждым номером он утверждал это все в большей и большей степени. Ну, скажем, само понятие бюджетного дефицита как легального термина применительно к обсуждению проблем советской экономики было введено в статье К. Кагаловского “По карману ли траты?” (1988). Первые официальные оценки военных расходов были сформулированы там же. В других статьях впервые открыто анализировалась проблема доходного неравенства при социализме, и так далее и тому подобное.

Второе: заметный рост уровня экономической грамотности — у элиты, по крайней мере. Какие-то вещи, которые до 1986–1988 годов абсолютно ею не принимались, были ей чужды, постепенно становились более или менее понятными. Даже сам этот язык. Здесь, я думаю, большую роль сыграли наши ежегодные экономические обзоры. По сути они выполняли — я здесь могу быть несколько самонадеянным — и роль подстрочника для многих тогдашних экономических публицистов. Обзор давал массу фактуры, которая потом употреблялась бесконечное количество раз. Ну, скажем, когда подсчитали, сколько лет потребовалось бы американской экономике, чтобы произвести все те комбайны, которые в Советском Союзе стоят неисправными. Я эту нашу цифру встречал в дальнейшем десятки раз, в разных источниках. Такого рода цифры становились как бы элементом жизни, дискуссии уже безотносительно к тому, кто их ввел в оборот. В выступлениях “Коммуниста”, связанных, например, с нефтегазохимическим комплексом, приводился довольно широкий набор аргументов —

почему не надо реализовывать тот же Тенгизский проект. Так потом те расчеты, суммы, которые мы предлагали сэкономить, бесконечно фигурировали в выступлениях на I Съезде народных депутатов: перечисляли, куда эти деньги надо направить — те деньги, которые мы просто предложили не разбазаривать... В общем, публиковали массу того, что потом действительно становилось общедоступным и всем понятным. Вот это мне казалось очень важным.

Что не удалось? Главное — не удалось убедить политическую элиту в пагубности взятого курса. Мы тогда много работали не только в журнале, но и на так называемых дачах, участвовали в написании всякого рода записок, докладов. Неплохую программу подготовили весной 90-го года для Горбачева. Но вот убедить — не удавалось.

И второе. С течением времени стало ясно: именно потому, что ситуация либерализуется, становится гораздо менее идеологически управляемой, роль журнала начинает снижаться. Когда идеологическая дубина вдруг оказывается в других руках — это весьма значимый, важнейший факт. Но потом, когда ты использовал ту дубину, чтобы раскроить каркас идеологически жестко выстроенной системы, дальше она не столь и нужна. Значит, теряется возможность активного участия в собственно политическом процессе. А где-то к 90-му году уже было понятно, что он идет довольно опасно. Именно поэтому я тогда принял предложение Ивана Тимофеевича Фролова перейти в “Правду” (ну, где еще такая мощная машина с благими намерениями!). В двух номерах газеты были опубликованы подробный анализ экономической политики периода перестройки и сценарий дальнейшего развития кризиса, и это для меня, по сути, окупило все неприятности, связанные с работой в “Правде”.

— *Вы там чувствовали себя чужаком, белой вороной? А в “Коммунисте”?*

— В “Коммунисте” работал нормальный коллектив, органичной частью которого был наш отдел и я в том числе. А в “Правде” я почувствовал себя, конечно, абсолютной белой вороной. И некоторое время готов был смириться с этим положением, до того момента, пока не стало ясно, что газета просто меняет свою ориентацию. Уже в октябре 90-го года я ушел из “Правды”.

— *Вы пошли работать в так называемую партийную печать, чтобы расширить круг единомышленников, приобрести новых сторонников. Было ощущение, что вы их приобрели?*

— Да. Конечно, было такое ощущение. Главное — было понимание того, что видение внутренних механизмов развертывавшегося кризиса перестает быть уделом десятка специалистов, начинается, наконец, распространяться в политической и экономической элите.

— *Егор Тимурович, а как вы относились к прессе вообще в пору вашей деятельности в правительстве? Как оцениваете ее участие в продвижении реформ, что вам помогало и что мешало?*

— Нормально относился. Цензуру вводить мы не пытались. Разносов за то, что телеканалы неправильно показывают или комментируют события, не устраивали. На самом деле это был период максимально либеральных отношений, как мне кажется, прессы и власти. В некотором смысле, я думаю, в 92-м году мы получили уникально свободную прессу. Она была свободней, чем в любых стационарных условиях, потому что уже освободилась от идеологического начальства, партии и государства. И была *еще* свободна от экономического давления, жесткого влияния собственников и так далее. Это был период, повторю, поразительно свободной, но, надо сказать, в какой-то степени безответственной прессы, потому что свобода, особенно молодая, всегда имеет последствия. Пресса в это время по вполне понятным причинам очень хотела остаться популярной, сохранить сторонников. Ясно было, что любые преобразования тяжелы, и в этой связи число недовольных будет расти. Ясно было, что оппозиция к власти — особенно власти непререпрессивной, которая не применяет разные формы давления на прессу, — заведомо рентабельное дело с точки зрения сохранения читателя. Отсюда мы получили забавнейшее сочетание реформ, проводимых в очень тяжелой ситуации при жесткой оппозиции коммунистической части общества, Верховного Совета, хорошо организованных, обладающих своей выстроенной прессой, и плюс к тому — при естественной оппозиции со стороны некоммунистической прессы. В результате почти единый фронт прессы против проводимой политики — отнюдь не лучший фон для эффективного разъяснения сути начатых преобразований.

Часто говорят, что мы не разъясняли в достаточной мере то, что делали. Разъясняли, но это вещи скорее формальные, чем по существу. Ведь я же помню, что объяснял. Очень хорошо помню первое интервью в правительстве журналу “Новое время”, где достаточно подробно говорилось, что будет, как, поче-

му. Могут сказать, что избрал не ту аудиторию. Но аудитория у “Нового времени” была прекрасная. Велись прямые трансляции с заседаний Верховного Совета, где я выступал часами, отвечал на вопросы. Действительно все проговаривалось бесконечное количество раз. Другое дело, что число людей, готовых слушать и понимать, было довольно ограничено — тут как бы действует инерция сознания. Я, надо сказать честно, предлагал Ельцину попытаться противопоставить этому серьезную организационную, информационную работу, в частности, создать собственную пропагандистскую структуру, которая занималась бы систематическим разъяснением политики, ее пропагандой. Он не поддержал идею, сказал, что ему агитпропа в коммунистические времена хватало. Хотя, я думаю, это была ошибка.

— *Вы считаете, что инерция сознания все еще в силе или произошли некие сдвиги?*

— Как вам сказать? Я считаю, что это как большой танкер: его нельзя повернуть сразу. Сознание людей меняется быстро, сравните его сегодня и десять лет назад — совершенно другое видение мира, себя, роли государства, собственной ответственности. Огромная разница. Другое дело, что оно меняется медленнее, чем хотелось бы. Медленнее, чем меняется жизнь. Перемены в сознании все равно неизбежно запаздывают.

— *Ну вот, казалось бы, людей убедили, уже такой-то процент населения — за реформы. Как заклинание повторяли: процесс необратим, необратим... Можем ли мы сегодня уверенно говорить о том, что необратимо и что обратимо?*

— В какой степени обратимо? Общество привыкло жить, пользуясь преимуществами рыночных отношений, рыночной экономики. Вы вспомните, когда в 1998 году, в сентябре месяце, в правительственных документах всерьез зашла речь о запрете на хождение доллара — какая была реакция? Было видно, что если вокруг чего в России возможна революция, так это под лозунгом: “Руки прочь от нашего доллара!”. Все правильно. Это значит, в частности, что в сознании населения утвердились такие вещи, как конвертируемая валюта. Пока у людей нет ощущения, что их этого лишат, они могут оставаться пассивными. Когда и если возникает ощущение, что все всерьез — снова на карточки, к “деревянному” рублю и так далее, — люди, естественно, воспротивятся. Я думаю, политически это очень трудно будет осуществить. Любой режим, пойдя он на такой шаг, окажется весьма непрочным.



— Почему, на ваш взгляд, Егор Тимурович, рыночные реформы столь негативно сказались на газетах и журналах? Насколько естественен процесс их перестройки, падения тиражей и тому подобного, и насколько повинны в этом сами журналисты?

— Думаю, что часть проблем существовала объективно. Социализм — действительно целостная система, где пресса играла свою роль, заданную в этом наборе институтов. Она была встроена в ткань той жизни: так финансировалась, так принимались решения, так назначались главные редакторы, так осуществлялась цензура. Рыночная экономика и пресса, основанная на рыночной экономике, — это другая целостная система. Она по-другому строится, там другие механизмы обеспечивают большую или меньшую степень свободы печати: качество издания, полифония, серьезность или несерьезность... Другой механизм. И вот здесь, между этими двумя реалиями, я думаю, нет такого легко выстраиваемого хорошего мостика, по которому мы идем только от хорошего к лучшему. Боюсь, тут возникают некие внутренние разломы, когда выясняется: то, что обеспечивало свободу печати на закате социализма, не является достаточной гарантией в условиях рыночной экономики; а то, что в какой-то степени является таковой, работает еще плохо. Смотрите: да, в некотором смысле, конечно, в 97-м году пресса была весьма подконтрольна (олигархи и так далее), но внутренние механизмы, потенциально обеспечивающие свободу прессы, в то время существовали (такие, скажем, как доходы от рекламы). Постепенно идет процесс накопления того потенциала, который позволяет перейти от прессы, живущей на государственные подачки и в этой связи всегда и органично, за исключением крайних обстоятельств, зависимой от власти, к прессе, которая живет на доходы от рекламы, от реализации тиража, подписки и на такой экономической основе может быть независима. В этом смысле “август 98-го”, крах рекламного рынка явился сильнейшим ударом по начавшемуся, как мне кажется, формированию новой базы свободной прессы.

— А как вы относитесь к трансформации самой прессы, ее содержательной, аналитической стороне?

— Другое время — другие запросы — другого уровня журналистика. Я думаю, что объективно исчезла роль прессы как дополнительного сигнального элемента при власти, который в рамках дозволенного указывает на ее слабые места и разъясняет позицию власти обществу. Вот это исчезло. И в этой связи как бы

частично исчезла аналитическая функция печати, органично встроенная в систему такой либерально-авторитарной власти позднесоветского периода. Сейчас возникают запросы на качественные аналитические материалы, такие запросы на самом деле ведь очень велики. Люди читают “Коммерсант-Власть”, “Коммерсант-Деньги”, журнал “Эксперт”. К ним можно по-разному относиться — вопрос, какое качество аналитики, — но спрос на аналитику есть.

— *Как известно, ваша партия выпускает свою газету — “Демократический выбор России”. Какое значение вы ей придаете, на какую помощь с ее стороны рассчитываете?*

— Газета “Демократический выбор России” в первую голову нужна для политической самоорганизации. Это прежде всего — коллективный организатор.

В.А. Коротич

“Быть соизмеримым со временем...”

— *Виталий Алексеевич, не могли бы вы рассказать, с какими замыслами, с какими идеями пришли в свое время в “Огонек”? Ставилась ли задача каким-то образом вмешаться в ход событий в стране, воздействовать на сознание людей, на общественное мнение, что-то изменить в окружающем мире?*

— Я не могу сказать, что пришел привести в сознание самый реакционный журнал страны. У меня вообще вся жизнь складывалась особенным образом, — возможно, потому, что я вырос в нормальной интеллигентской семье, где были нормальные беспартийные ученые родители, где были какие-то правила, где садились обедать за общий стол. Мама — из старого дворянского рода, это создавало какую-то ауру, свою атмосферу. Идея порядочности казалась мне весьма важной и в журнале, тем более, что в стране на эту тему вообще почти не высказывались. В стране был полный провал с информацией, не было нормальной системы ее распространения; государство подавляло попытки создать такую систему. Я, например, твердо убежден, что у нас не существовало диссидентского движения — было просто распространение неприятной для властей информации. То есть у нас не было подполья, каких-то там террористических групп, настоящей партийной оппозиции; не было даже того, что появилось в свое время в Польше — комитетов по связи интеллигенции с рабочими и крестьянами. У нас была некая группа хороших людей, которые что-то рассказывали друг другу и распространяли это за пределами своего круга. Иногда свои сочинения передавали за границу. Но настоящего серьезного идеологического подполья не существовало. И когда я пришел в “Огонек”, прежде всего стал вопрос о нормальном распространении информации.

...Позже, уже в Америке, я не только преподавал, но и сам что-то узнавал; я ставил студентам “неуды”, если они в курсовых работах увлекались изложением своих мнений по поводу

того или иного события. Воспитывая там журналиста, я должен был научить его культуре изложения факта — не больше. У нас же основой публикаций были комментарии. Чтобы выковырять факт, мы читали между строк, пытались понять, что стоит за рассуждениями комментатора. Во всем мире существовала школа информации. Существовали и странички колумнистов, где излагались мнения — но отдельно от сообщения о событии. Когда я пришел в “Огонек”, для меня и было очень важно обрушить на людей не призывы к бунту или к чему-то еще, а комплекс информации.

— *Именно через журнал? Казалось бы, это скорее назначение газеты?*

— Информация ведь различна. Через газету — ну, скажем: “вчера упал метеорит”. А есть стратегическая информация. Вот раскопали около Донского монастыря яму с пеплом расстрелянных... То есть мы, конечно, старались давать комментарий, но сам отбор информации уже был и ее оценкой, своего рода расширением поля зрения.

— *Но информация — во имя чего? Не просто же “обрушить комплекс информации”...*

— Понимаете, так получилось, что с детства я часто общался с учеными, артистами, мыслящими независимо. Я знал языки, что-то читал, переводил, выезжал за рубеж (лет десять меня не пускали, но потом пустили), начал преподавать, пусть неподолгу, но в учебных заведениях разных стран; меня много издавали за рубежом. Я все время где-то с кем-то общался, причем на разных уровнях. И всегда я и мои собеседники были совершенно по-разному информированы об одних и тех же событиях. Порой не могли свести к общему знаменателю наши представления о мире. Мне это казалось катастрофой. Позже я встретился с людьми, которые многое о нас написали (прежде, чем это сделали мы). Для меня, например, “Архипелаг ГУЛАГ” Александра Солженицына не был, так сказать, самым главным произведением, потому что там преобладали рассуждения на эту тему, преобладали комментарий. Книга англичанина, ученого Роберта Конквеста о Большом Терроре сказала мне больше: в ней содержалось очень много фактов и документов — тогда-то, на таком-то пленуме такое-то приняли решение, столько-то было расстреляно, протокол такой-то, дело номер...

Я пытался уходить от комментариев к фактам; вдруг (это был, конечно, отчаянный поступок по нашей тогдашней ментальности) позвонил председателю КГБ Чебрикову и попро-

сил дело Берии. Позднее пошел с тем же к Крючкову. Мы столько были наслышаны о Берии, но дайте мне факты. Вот это и это он сделал, то-то сказал. Мне ответили отказом: “Дела членов Политбюро хранятся не у нас. Они хранятся в Политбюро”. Я пошел к Горбачеву и к Яковлеву, который был руководителем комиссии по реабилитации. Яковлев сказал: “Дурят они тебя. Нет у нас этого!” Всякий раз, когда я хотел получить настоящие факты, упирался в барьер. Позже, кстати, уже в 2000 году, Александр Яковлев все-таки опубликовал “дело Берии”.

В “Огоньке” я начал работать с мая 1986 года, до этого редактировал в Киеве журнал иностранной литературы, был секретарем Союза писателей СССР. К приходу в “Огонек” многое в нашей жизни стало понятнее, стало меньше болтунов. То есть до сих пор ко мне приходили писатели и первые часа полтора говорили о тех, кто “наверху”: “Старик, ну ты — гений. То, что ты написал — это с ума сойти. Но вот эти идиоты там, ты понимаешь”. И вдруг эта схема отношений рухнула. Как только сопротивление “идиотов” стало ослабевать, одновременно начало катастрофически уменьшаться число либералов, тех, кто вроде бы “хотел высказать” какие-то революционные мысли, поскольку эти мысли стало можно высказывать. Можно, но сказать-то нечего. У нас же многие разговоры все время шли без персонификации — на уровне “мы и они”. И вдруг оказалось, что “они” не так уж и страшны. Цензура утихла. Больше того, у меня был цензор Владимир Алексеевич Солодин, заместитель руководителя Главлита СССР, который оказался большим либералом. Он мне звонит и говорит: “В будущем месяце “Молодая гвардия” готовит большой на вас наскок. Вы зайдите, я вам дам почитать”. У нас образовалась уже инфраструктура и в этой среде. Там были враги и были поддерживающие нас. Я прекрасно знал, к кому пойти в ЦК, чтобы мне то-то разрешили или то-то запретили.

Тогда я понял одну интересную вещь: в нашей стране всегда правило чиновничество и никогда не было сильной идейной градации. Чиновники были совершенно бездейными. Они перетекают из формации в формацию без особых потерь. Демократическую страну возглавили бывшие члены Политбюро, секретари обкомов и райкомов, ничего при этом не потеряв. Идеолог ЦК КПСС Яковлев стал идеологом антикоммунистических перемен, а первый секретарь МГК, перед тем в Свердловске велевший взорвать Ипатьевский дом, пошел на похороны расстре-

лянного в этом доме императора. Все оказалось для меня освещено вот именно этим аргументом.

Будучи в “Огоньке”, я хотел видеть какой-то круг понятных людей — в журнале и во власти. Больше всего стал бояться людей загадочных, которые говорили: “Ладно, старик”. Мне стали важны “да” и “нет”. Поэтому, как ни враждебен мне был Лигачев (он во всех книгах пишет про меня гадости), я ощутил в нем гораздо больше понятности и надежности, чем во многих “вертихвостках” либерального крыла. Мне с ним было проще. Он меня к себе не пускал, он меня ругал, в чем-то мешал, но он был понятен. Поэтому первым упором в “Огоньке” была ставка на личность в изложении темы. Вот я пришел к Евтушенко и сказал: “Женя, сделай Антологию русской поэзии со своей точки зрения”. Это я собезьянничал на Западе. У нас все антологии составлялись Институтом литературы Академии наук, и антология приобретала неоспоримость. Это была точка зрения какой-то сверхструктуры, классика. А в Америке выходила, например, антология англоязычной поэзии с точки зрения Эллиота, с точки зрения Лоуэлла. Это было очень интересно. Я приставил к Евтушенко человека, который подбирал тексты, биографические справки. И Женя это сделал, и появилась какая-то персональность. Я нашел знатоков живописи, чтобы они вели в журнале искусствоведение, но с личных, четких позиций. Нужны были люди, которые обладают персоналией. И вот это оказалось труднее всего. Люди любили высказываться от имени организации, от имени прогрессивной общест-венности, но от своего имени высказываться не привыкли.

Почему я пристал к Александру Николаевичу Яковлеву? Он прошел чистилище, формировался в нем очень циничным человеком (там другим и нельзя быть). Я знал, что он меня из пожара не выгасит. Но это был умный человек, с которым можно было говорить. Я точно знал, за что он и против чего. Иногда он даже выходил за свои привычные рамки, говорил: “Знаешь, сейчас исчезни куда-нибудь на месяц, я уйду в отпуск, и сейчас будет атака Лигачева. Исчезни”. Это был максимум того, что можно было получить. По крайней мере, в этом была определенность.

Я обнаружил у себя несколько блокнотов, в которые записывал указания, получаемые от Горбачева и его ближайших соратников. Примерно раз в две недели я такие указания получал, и они катастрофическим образом расходились с тем, что говорилось с высоких трибун. Скажем, 1988 год, мы разыскали

Ганзелку и Зикмунда, подготовили публикацию “Двадцать лет” (в смысле — после ввода войск в Чехословакию). Горбачев собирает редакторов: “Чтобы ни одной строчки об этом не было”. А в газетах проходит пара очень взвешенных материалчиков, кисло-сладких, нивелирующих трагизм подавленной нами Пражской весны.

Появляется в “Советской России” знаменитая статья Нины Андреевой “Не могу поступиться принципами”. Я тут же собираю “круглый стол”, Юрий Карякин издает какие-то воинственные звуки по этому поводу и готов дать мощный отпор. Звонок от Яковлева: “Я вас прошу не вмешиваться. Ответ должен быть с уровня Политбюро и желателен анонимный”.

Это было очень интересно — вот такая борьба против персонификации, желание двигаться и считать все большими массами. Нас все время загоняли в толпу. Одной из задач воспитания в том обществе было сделать нас атомами чего-то.

— *И все-таки, Виталий Алексеевич, чего вы сами хотели для общества, как представляли его желаемое устройство?*

— Ну, конечно, хотелось демократии, социал-демократического, западного типа. Я не желал какого-то людоедского капитализма. Но вообще я очень рано отошел от борьбы с терминами. Считаю, что коммунизм как идея не несет в себе ничего плохого, другое дело, что она неосуществима. Мне кажется, бороться с идеей, с термином, говорить, что вот там капитализм, там коммунизм — это бессмысленно. Капитализм, в конце концов, и в Буркина-Фасо, и в Колумбии, и в Швейцарии, и в Швеции. Но когда у нас говорят “капитализм”, считают, что завтра в России все будет, как в Норвегии. Нет. Поэтому очень важны были разъяснения каких-то терминов, детализация по понятиям. При этом иногда приходилось изощряться в демагогии. Я даже начал находить единомышленников в родимом ЦК на уровне этой игры. Но важно было найти резон, по которому мы что-то делаем. Ну, например, снимаем Орден Ленина с обложки журнала. Старые большевики пишут письма, меня вызывают в Секретариат ЦК, и я говорю: “Понимаете, товарищи, вы же не носите ордена на пальто. Так же неуместен орден на современной обложке журнала, где изображается девочка какая-нибудь... А тут дорогой Ильич”. Они прекрасно понимают, что я говорю ерунду. Но этого достаточно для объяснения факта, это может быть занесено в протокол. Все. Потом таким же образом мы снимаем лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”. Ну, чего им всем со-

единяться на обложках тех книжек, брошюр библиотечки “Огонька”, которые мы издаем? Опять чистая демагогия, и такая игра продолжалась долго. Мне в этом отношении был интересен Яковлев, с которым можно было решать такого рода вопросы. Он говорил: “Меня это не трогает”. Предупреждал: “Делайте, что хотите, но не задевайте Горбачева”.

Я попал в ЦК в тот период, когда там были в начальниках уже люди самого разного склада. Там же Лигачев, о котором я говорил, железный такой коммунист и по-своему очень честный. Когда я в первый раз пришел к нему в кабинет, он показал на полку над дверью, раздвинул ее и достал выклеенный из газетных и журнальных вырезок томик Гумилева. Вот, говорит, собрал, сам склеил, сам переплел. И я подумал: “Русский империалист Гумилев очень совпадал по типу мышления с таким могучим державником, как Лигачев. И совершенно нормально, что член Политбюро подпольно издает себе расстрелянного Лениным поэта”. Потом он развертывает изданный где-то в “Гранях” альбом разваленных соборов и начинает показывать на спичках, как собор строится, как кладутся бревна, венцы. Очень интересно. И тут же говорит: “Понимаете, чтобы у нас все было так, как надо, я вас прошу: поезжайте в Китай...” И он меня отправляет в Китай на месяц для ознакомления с их социализмом и с вопросом, как его можно сохранить в процессе реформ. Я приехал оттуда в полном ужасе, потому что не хочу жить так, как в Китае. Мы попали там в казарменный социализм 30-х годов. Нам показывали Пекин, где только 15 процентов домов имели деревянные полы, и то лишь там, где жили большие начальники. Остальные жили на бетонных полах. В Шанхае не было отопления, хотя никто уже не жил на джонках. Все было нормировано, всех держали в узде, никто не открывал рот там, где не надо. Интеллигенты меня шепотом отзывали в сторону, но они могли общаться только через переводчика — а кто знал английский? Бормотали что-то ужасное. Я увидел тот страшный вариант, который, в принципе, мог быть и у нас. Это 1988 год. Егору Кузьмичу это нравилось, мне — нет. Когда вышла статья Нины Андреевой и я соответственно реагировал, он на меня рассердился и больше никогда не приглашал — ни на совещания, никуда.

— *А гуманитарные, гуманистические идеи волновали вас?*

— Понимаете, я, например, терпеть не могу рок-музыку, но ко мне пришли и сказали: “Давайте сделаем фестиваль: “Рок



против наркотиков”. Я связался с Нэнси Рейган (она в Америке патронировала этот план), она пообещала приехать. Майкл Джексон в это время отправлялся на гастроли в Италию, сказал, что заедет на наш концерт. То есть созревало какое-то огромное мероприятие. Мы внесли задаток за Дворец спорта “Олимпийский”, и все было готово. Вдруг мне звонит Юрий Воронов, который в тот момент заведовал отделом культуры ЦК КПСС: “Скажи, с кем-то согласовывал?” — “Ни с кем”. А перед этим мне позвонил Яковлев, спросил: “Вы что, рок-музыку любите?” Я говорю: “Нет”. — “Вот и я ее не люблю. Но нам ведь туда ходить не обязательно? А идея хорошая. Давай, пусть будет”. Но Воронов сообщил, что было Политбюро, и Лигачев сказал: “Бороться роком против наркотиков — все равно что бороться проституцией против венерических болезней”. Я запомнил эту формулу, такую странную для Лигачева. И концерт запретили. Слава Богу, к этому времени я перевел финансовую часть на Госконцерт, и они заплатили чуть ли не до полумиллиона долларов Майклу Джексону (его автомобили уже стояли на границе и у него сорвался какой-то концерт). Такой запрет был совершенно нелепым.

Иногда подобное сопротивление возникало совсем в иных кругах, по иным причинам. Я напечатал рассказ Солженицына “Случай на станции Кречетовка”. Меня дергали: зачем вы это сделали, как вы смели, Солженицын такой-сякой, его еще у нас не печатают... Ну, это тогда было естественно. Но вдруг приходит огромная телеграмма от самого Солженицына с таким примерно содержанием: “Я заявил, что до тех пор, пока “Архипелаг ГУЛАГ” не будет опубликован, ни одно мое произведение не может быть издано. Как вы смели...”. Но я напечатал то, что вышло до 1975 года, и по юридическим нормам имел право на это. Ничего я классику не ответил... Понимаете, вот эта постоянная путаница, сплетение амбиций, влияний со всех сторон и побуждали изощряться в демагогии. Иногда это было совсем смешно.

1987 год. Горбачев готовит свою историческую речь по поводу юбилея Октября. Пленум ЦК, где Ельцин “взбрыкивает”. И в это время ко мне обращается журнал “US News and World Report” с просьбой послать их корреспондента, американского, и нашего по транссибирской магистрали. Они напишут статьи к 70-летию Октябрьской революции. Выйдет это одновременно и в Америке и у нас. Я посылаю Диму Бирюкова, они с американским корреспондентом журнала Джеффом Тримблом

написали, как там все хорошо. И в этом тексте была одна фраза социолога Заславской, что 60 процентов жителей Сибири поддерживают перестройку. Ну, мы напечатали. Наутро звонит Яковлев: “Меня ночью поднял Горбачев, он в своей юбилейной речи говорит, что весь советский народ как один человек поддерживает перестройку. А у вас только 60 процентов. Значит, в Сибири 40 процентов в оппозиции? Мы посылаем комиссию ЦК КПСС в Сибирь проверять, каким образом там сформировалась такая мощная оппозиция перестройке”. Полный бред! Но если бы этим все кончилось. Яковлев потребовал, чтобы Бирюков был уволен с “волчьим билетом” и чтобы я немедленно доложил об этом... В итоге пришлось глубоко погружать Бирюкова в какой-то отдел, он печатался под псевдонимом. И вот такой нажим присутствовал постоянно, иногда тупой, как породившая его власть.

Когда меня сегодня спрашивают, что такое национальная идеология для России (никак не придумают), я говорю: здравый смысл. Лучшей быть не может. Просто здравый смысл. Белое — белое, черное — черное. Надо работать, не надо грязными руками брать еду. Здравый смысл, ничего больше.

— *“Огонек” в то время вел активную полемику с такими изданиями, как “Молодая гвардия”, “Наши современник”, “Москва”, “Роман-газета”. В чем состояли ее суть и смысл? Было ли это действительно поиском истины или просто столкновением различных интересов, позиций, амбиций?*

— Конечно, это было столкновение целых систем взглядов. Если раньше у нас враги были идейными, капиталистическими, то теперь они стали национальными, жидо-масонскими. Даже Ельцин объявляется евреем Эльциным, и тому подобное. В это же время усилился миф о моем “еврейском происхождении”. Мама у меня, как я говорил, русская дворянка, папа из старых украинских крестьян. Но я не стал ничего опровергать, потому что меня зло взяло. Оказывается, бороться за какие-то, не то чтобы даже общечеловеческие, идеи, но за здравый смысл, без истерики в национальную либо в коммунистически-интернационалистскую сторону, мог только еврей. Отстаиваешь это — значит, еврей. Хорошо сказал Черчилль: в Британии не может быть антисемитизма, потому что ни один англичанин не поверит, будто еврей умнее англичанина. У нас же все исходит из противоположной позиции.

Полемика, которая тогда велась, привлекала к нам людей различного толка. Среди них были писатели Евтушенко или

Рождественский, многие художники — от формалистов до Ильи Глазунова. Но вот ко мне пришел Олег Калугин, генерал КГБ, принес присланный их агентом из Канады донос (подписано — “источник”), — надо сказать, тоже был смелый поступок в то время. Сообщалось о том, что именно я говорил, пребывая в Канаде. “Вот так вот: осторожнее говорите!”, — сказал Калугин. И начал меня убеждать, какое КГБ гадкое учреждение. Я соглашался, но сказал, что меня интересует всегда личный аспект. “Пожалуйста, — попросил я, — расскажите, как в сорок лет можно стать генералом КГБ, что для этого нужно сделать. Про себя расскажите”. Мы с ним поссорились, он ушел, хлопнув дверью. И говорил, что я совершенно не такой, каким он меня представлял.

Мне хотелось как-то прояснять такие вот вещи, позиции людей, мотивы их действий. И я совершенно не желал, чтобы люди вышли на улицы и орущая толпа свергла правительство. Я не прыгал от радости, наблюдая, как толпа валила памятник Дзержинскому. Его надо было, конечно, снять, но по-другому: спокойно, на основании постановления. Я очень боюсь массового политического гуляния на площадях, которое почти всегда направляется людьми безответственными, оголтелыми. Когда демократия, власть народа, подменяется охлократией, властью толпы, начинается Бог знает что. Своим студентам я позже объяснял аристотелевскую классификацию обществ: монархия, аристократия, демократия. У нас же монархия всегда подменяется тиранией, аристократия — олигархией, а демократия — охлократией.

— *Как вы оцениваете небывало возросшее в те годы влияние “Огонька”, бурную реакцию на его выступления? Помнится, у вас был такой раздел писем, что многие начинали читать номер именно с него. Это было результатом особого внимания к читателям? Вы видели в них единомышленников?*

— Мы получали тысячу писем в день. У нас сидели двадцать шесть умных и симпатичных девочек, которые ворочали эту огромную почту. Валя Юмашев руководил отделом очень хорошо. И мы все время компоновали подборки, которые действительно читались. Ездили в командировки для подготовки материалов по письмам. Недавно я прочитал, что администрация Московской области в течение года получила около двух тысяч писем. Они восприняли это как большую популярность власти. А мы получали до тысячи писем в день. Такие письма,

которые мы получали, могли быть только в стране, где люди не уважают свое правительство. Люди писали в газеты, журналы, добиваясь того, чтобы власть работала как следует, люди знали: на власть рассчитывать нечего. Однако содержание почты о чем-то говорило. Во-первых, это было изъятие страха из людей. Они писали о том, о чем раньше боялись даже разговаривать вслух. Люди получили возможность выговориться. Когда-то давно, когда я еще учился в мединституте, а затем был врачом, ко мне очень хорошо относился знаменитый терапевт академик Иванов. Он говорил: “Всегда выслушай больного до конца. Трагедия наших людей в том, что их никто никогда не выслушивал. Ты еще ничего в медицине не понимаешь, но сиди и слушай. Пусть человек выговорится, ему уже и полегчает”. Вот наши люди начали выговариваться, и уже от этого им было легче. Так что мы выполнили функцию, скажем так, социальной санитарии. В старое время монастыри выполняли такую функцию, туда шли инвалиды, калеки и там оседали. Позавчера это были мы. И люди поверили в нас. Ведь то, что меня выдвинули сразу в пятнадцать мест в Верховный Совет СССР, не говорит о том, какой я умный. Просто люди верили, что какие-то изменения придут от нас. Мы четко знали, на кого работаем. На планерках я всегда просил отмечать, на кого рассчитан материал.

Нарастал огромный слой активной интеллигенции, вообще людей, жаждущих быстрых перемен. Горбачев спровоцировал этот вал, мы его подстегивали и сами крутились в нем. Я был, если можно так сказать, одновременно и повар, и цыпленок, из которого варили бульон. Еще у меня была такая формула: “Делать журнал для себя”. Я говорил сотрудникам: “Никогда не предлагайте того, что не интересно вам лично. Никогда не предлагайте материал, который вы не обсуждали дома и с друзьями”. Контакт с читателями был, можно сказать, завидным.

— *Виталий Алексеевич, а почему все-таки вы ушли из журнала? Сказались ли здесь некие внутриредакционные отношения, или главную роль сыграло изменение ситуации в стране? А может быть, просто захотелось более благополучной, уютной, интересной жизни в Соединенных Штатах?*

— Сказалось все это, тесно сплелось. Быть может, главной была исчерпанность возможностей, даже смысла той деятельности и жизни, которые я в то время вел.

В “Огоньке” стали происходить странные вещи. Когда я был в Нью-Йорке, там в это время находился генерал Филатов

(он был редактором “Военно-исторического журнала”, прославился тем, что первым напечатал “Майн кампф”, а потом стал пресс-секретарем Жириновского). Короче — этакий говорливый экстремист. Но многие из экстремистов, попадая в Америку, начинают “стучать хвостами”, стараются понравиться денежной части человечества. Он там на радио дал интервью, в котором сказал, что война в Афганистане имела своей целью отрезать мусульманский мир от Ближнего Востока, пресечь те каналы, по которым мусульмане могли ворваться в Израиль, и так далее. Мол, мы делали это, перекрывая Афганистан, а вы не поняли нас и не поддержали. Мой знакомый с нью-йоркского радио дал мне кассету с этим выступлением. Я сделал две копии и с оказией послал в Москву: одну копию — Гушину, которого сделал своим замом, а вторую — Юмашеву. Внезапно прилетев в Москву, спросил: “Ну как, расшифровали?” Оба говорят: “Вы знаете, ночью кассеты исчезли из сейфа”.

Прежде уже случалось, что пропадали какие-то острые материалы. Я старался разузнать, как это произошло, чаще и узнавал. А тут понял, что дело совсем плохо. И сделал, наверное, самую большую ошибку: вызвал в “Огонек” аудиторов — проверить все финансовое хозяйство, его состояние. Дело в том, что сам я — редактор старомодный, пишущий. А теперь требовался менеджер. И я взял в заместители Гушина, а он привел с собой Юмашева из “Комсомолки”. Моментально вокруг “Огонька” начали формироваться какие-то бизнес-структуры: фонд “АНТИСПИД”, что-то, связанное с видео... Я, как всякий перепуганный интеллигент, стал интересоваться, куда идут деньги. Вдруг я узнал, что за какую-то рекламную полосу заплатили наличными в обувной коробке. Что-то стало происходить непонятное мне, скользкое, грязноватое. Я этого боялся и начал закрывать финансовые придатки “Огонька”, то есть действовал вопреки духу времени. Это было неправильно, такой стиль жизни в открытую гулял по стране.

Становилось все неудобнее, срочно полагалось куда-нибудь примкнуть. Юмашев писал воспоминания Ельцину, принес их мне, а я не напечатал; Ельцин потом это неоднократно отмечал. Но мы и не “разнесли” Ельцина, не прислушавшись тем самым к настоящей рекомендации Горбачева. Я пытался выкручиваться прежними способами, быть тем хитрым хохлом, который, когда надо, строит из себя идиота. Но это удавалось все хуже. Я понял, что меня прижимают, тем более что Горба-

чев явно уже уплывал из власти. Я продолжал бороться по прежним правилам, стал депутатом, но, попав в Верховный Совет, не выступил ни разу...

— *А как же та история, когда вы передавали Горбачеву публично гдлянские материалы?*

— Это был съезд партии. Но что произошло? Мне после этого Горбачев сказал по телефону: “Не раскачивай лодку. Уймись”. Никого из жуликов не тронули. Вскоре мне передали неопровержимые документы, связанные со строительством генеральских дач, из которых следовало, что ребята в лампасах воровали почем зря. Мы напечатали документы — и никакой реакции! Потом Гдлян с Ивановым стали говорить, что Лигачев и Горбачев тоже берут взятки. Я подумал: “Теперь те или другие должны сесть; или следователи, или политики. Не может быть, чтобы ничего не произошло”. Но ничего не случилось. Гдлян и Иванов говорили, что Горбачев и Лигачев взяточники, а те в ответ называли их врунами. Но власть бездействовала, как парализованная. Я стал осознавать: можно что угодно писать, говорить, но за этим ничего не следует. Мы продолжили делать все, что и делали, но этот вал был отсоединен уже от движущейся части машины. Мы крутились вхолостую. Как говорят в Америке, производили только горячий воздух. Все поплыло, не говоря уж о том, что стало неинтересным. Действие превращалось в трамвайную ругань, не более...

— *Были же все же свои причины. Какие, на ваш взгляд?*

— Причин много. Но я думаю, дело во многом в самой фигуре Горбачева. Он был по-своему честен и вместе с тем неимоверно провинциален. У нас всегда говорили, что нужно быть созвучным времени, соизмеримым со временем. Горбачев был несоизмерим. На его месте должен был быть человек ранга Черчилля или де Голля. Сталина со знаком плюс. Я тогда сказал Горбачеву: “Вы хотите быть одновременно Сахаровым и Пиночетом. Этого не получится”. Любимой его поговоркой стало: “Не раскачивай лодку”. Или: “Ты только его не трогай”. Делай, что хочешь, но не трогай.

Потом вот что еще начало происходить. Горбачев любил окружать себя людьми заведомо более мелкими — хотел, видимо, иметь фон, на котором можно блистать. И это окружение его губило. Еще одно: у нас считают, что президент, приходя на работу, берет газету... Ничего подобного! Он получает папочку, где лежат три странички: что вчера было в газетах, по телевидению, по радио. И потом 15 минут докладывает МИД и

15 минут — КГБ. Люди, которые те три странички составляют, самые влиятельные в стране. Я имел возможность в этом убедиться... Скажем, мы с Евтушенко выступаем в Ленинграде, я, как всегда, получаю вопрос о генералах, которые меня ругают (как раз разгулялся Язов). Отвечаю уклончиво: “Думаю, что начнется разоружение и самые большие ракеты и самых больших идиотов уберут в первую очередь”. Назавтра приезжаю в Москву — звонок от Михаила Сергеевича: “Немедленно ко мне”. Прибежал к нему. Такого мата я прежде не слышал никогда, при этом присутствуют Яковлев и Фролов. Вопросы вроде: “Кто лидер перестройки, ты или я? Ты меня будешь учить, с кем мне работать? Кто у меня идиот?” В заключение: “Иди и с Александром советуйся!” Яковлев выходит со мной и говорит: “Вы понимаете, что он вас сейчас спас? Было Политбюро, Язов и председатель КГБ требовали вас уволить. Он сказал, что с вами побеседует”. То есть я понял, что Горбачев орал для микрофонов в своем кабинете, а не на меня! Это был для меня такой удар. Понимаете, Горбачев рапортовал, что он меня ставит на место. Но трогать меня добрый и честный Михаил Сергеевич не хотел в то же самое время. Вот такие пошли фортели.

11 июля 1990 года (перебирал блокноты и нашел эту запись) мне позвонил Яковлев: “Мы сегодня собирались встретиться. Не встретимся. Съезд партии, мне надо пойти сегодня”. Я говорю нахально: “Делать вам нечего...” — “Понимаете, сегодня выборы. Я не хочу, чтобы меня занесли даже в списки для голосования. Я не хочу больше попасть ни в ЦК, ни в Политбюро”. Это вот 11 июля 1990 года. Горбачев уже терял власть.

— *А вы не хотите сказать, что это началось еще в 87-м году с известного пленума, личной конфронтации с Ельциным?*

— Горбачев все делал до половины. Если бы это был Андропов или еще кто-то из “крутых вождей” — Ельцин не поднялся бы никогда. Горбачев его снял, но сделал замминистра, оставил здесь, в Москве, оставил в живых политически, и сам себе подписал приговор. Думаю, для него какие-то вещи сейчас понятнее, он стал немного другим. Сейчас, наверное, он был бы лучшим руководителем, потому что многое “пропустил через себя”, начал думать иначе. Я был у него и убедился в этом. Он мне симпатичен — но как политик, государственный деятель, он просто оказался несоизмеримым с масштабом той катастро-

фы, которая случилась. Он, честно говоря, сам не был к этому готов, и никто по-настоящему не был готов.

В 90-е годы я все отчетливее понимаю, что наш “захлёбный” период уходит. Я все больше понимаю, что не вписываюсь в новый удалой раздраз. У меня всю жизнь было волчьё умение видеть себя со стороны, обостренное чувство опасности, почему я и выжил. Я понимал, когда нужно уйти. И вот я вдруг начал сознавать, что меня обкладывают в журнале, начинают подставлять. Звонит Юрий Владимирович Никулин, с которым мы очень дружили, говорит, как портят, рассыпают, теряют его анекдоты (я ему тогда рубрику анекдотов в журнале придумал). Кобзон вдруг звонит обиженный, что вписали в статью о нем пару глумливых фраз. Я понимаю, что журнал от меня уходит, да и в стране уже сменяется власть. В это же время отовсюду пошли предложения попреподавать. К этому времени я очень четко выяснил для себя самого: у нас отождествляют три разные вещи — страну, родину и государство. А родина и государство ничего общего между собой не имеют. Родина — вечное понятие, комплекс культурных и других ценностей; государство — политическая структура, временно существующая на родине. Написанное на знамени “За нашу советскую Родину” — чепуха, потому что Родина не бывает ни советской, ни антисоветской, она просто Родина. Я все больше понимал, что со складывающимся государством у меня отношения не получаются.

Лорд Челфонт, первый британский представитель в ООН, сказал гениальную фразу: “Любой идиот может начать две вещи: политическую кампанию и любовное приключение. Но признак настоящего уровня — умение не начать, а выйти из того и другого”.

Короче говоря, я показал Гушину и Юмашеву акты проверки. Сотрудники писали, что не хотят с ними работать (я собирал все это в папочку, уже научился). Шесть человек ушли, ушел весь отдел культуры, журнал становился другим, ельцинским. Договорились, что разойдемся по-человечески. Я принял стипендию от Колумбийского университета на год. Год летал между Нью-Йорком и Москвой: три недели был там, на неделю прилетал в “Огонек”.

У меня не было ощущения, что я предаю дело. Я понимал, что оно уходит независимо от меня. Если бы я теперь начинал журнал, то сделал бы его другим. Это цинично звучит, но я бы стремился к изданию американского типа (скажем, “New Yorker”). Может быть, начал выпускать газету “Копейка”, что-



бы охватить беднейшую интеллигенцию — ведь пресса стала делаться для богатых. У нас можно было бы делать хороший журнал типа “Playboy” (не тот, что сейчас выходит) для таких стареющих пятидесятилетних интеллигентов. Там было бы две девочки на развороте, но кроме того — рассказы Апдайка, интервью с Фиделем Кастро, пара игривеньких анекдотиков (не дай Бог, не пошлятина). Я бы сделал тогда такой журнал, но я уже не хотел ничего.

К этому времени мне поступило несколько предложений от американских университетов. Я выбрал Бостон, только не мог придумать, как “оборвать пуповину”. Хотел сделать это красиво — и судьба помогла. Меня как раз пригласили на Тайвань, гарантировали встречу с президентом (это был 91-й год). Я зашел в МИД, и там попадали в обморок: никто еще с Тайванем не общался. Мне сказали: “Будет скандал!” И я подумал: “Это то, что мне надо”. Находясь в Нью-Йорке, я взял билет на 19 августа, на семь утра (на 20 августа была назначена та встреча с президентом Тайваня). В двенадцать часов ночи мне позвонили с радио “Свобода”: “У вас переворот”. А через три часа я должен ехать в аэропорт. Я понимал так: лететь в Москву, если переворот настоящий — что, я с ума сошел, меня тут же “возьмут”; если не настоящий, — тем более не надо лететь. В Америке в это время находились Старовойтова, Каспаров, где-то в Германии был Афанасьев. Я сдал билет (это был огромный скандал, я отменил интервью с президентом Тайваня), потому что боялся: вдруг что-то серьезное произошло. Прилечу на Тайвань, а у меня обратной американской визы нет. Короче, в Америку не поустя, а в Москву опасно. И остался в Нью-Йорке.

Хорошо помню этот момент. Я начал выступать в программе новостей Макнила-Лерера (очень популярная программа), а из Вашингтона в это время вещал какой-то наш беглый кагэбэшник, в парике, черных очках. Я говорил общие слова о хунте, бандитах, путче. А он сказал: “Это не путч. Путчи делаются только в пятницу или в субботу. В понедельник путчи не бывают. Если в пятницу, то к понедельнику, когда люди выйдут на работу, везде уже будут сидеть представители армии и все будет в порядке. Путч, сделанный в понедельник, — не профессионален”. Я ничего не мог возразить. Действительно, через два дня путч кончился. Позже в “Аргументах и фактах” написали, что был ордер на мой арест номер пятьдесят четыре (у Ельцина — шестьдесят какой-то). Я очень гордился. Так или иначе — я получил все основания подписать договор на работу в Бостоне.

Надо сказать, что Гуцин поступил очень благородно. В “Огоньке” провели собрание, в номере напечатали гигантское благодарственное письмо. Я приехал через неделю в Москву, и мне устроили прощальный бал.

Была и еще одна причина. Дело в том, что младший сын кончил школу, и я понимал, что без меня он никуда здесь не поступит. А старший сын учился на факультете журналистики, на третьем курсе, но это оказалось совсем не его дело. В контракте Бостонского университета был пункт, что моих детей будут учить бесплатно, пока я преподаю. Я забрал обоих сыновей и увез туда. Жена осталась ухаживать за моей и своей мамами: им было уже за восемьдесят. Детей я определил на “Бизнес и менеджмент”. Они учились год, но весь год ныли: “Звоним в Москву, а у Пети уже фирма, у Васи машина, Коля уже женился”. Они совершенно не вписывались в ту атмосферу. “Тут нельзя нигде устроиться, если нет связей в бизнес-мире. Студенты мечтают быть менеджерами аптеки как вершине карьеры. Хотим домой”. И я перевел их на экономический сюда. Этот наш очаровательный провинциализм: их взяли с распростертыми объятиями. Из самого Бостона! Мой младший ни за что в жизни не поступил бы на экономику здесь. А поскольку он переводился из Бостона, то, естественно, его зачислили. Они доучились в Москве, получили дипломы, сейчас работают. Пока что (тьфу-тьфу!) нормальные бизнесмены, ездят на джипах, носят двубортные костюмы. Это все другая жизнь, подчас поперек того, чему я их учил. Но, слава Богу, читают книжки. Нормальные ребята, работают хорошо, занимаются торговлей металлом. Женаты. В общем, жизнь как жизнь.

— *Естественный вопрос, Виталий Алексеевич: а почему и вы не возвратились с ними в Москву?*

— Думал возвращаться и я, но мне сообщили, что после первых же гайдаровских реформ все мои сбережения превратились в труху, денег нет. Я подписал контракт еще на два года.

— *Вы лучше сыновей вписывались в американскую жизнь?*

— Я попал в систему, резко отличающуюся от той, в которой жил до сих пор. Это была система, переполненная определенностью. Я вдруг это полюбил. Понимаете, я прежде жил в системе, в которой все было неясно: дадут — не дадут, выпустят — не выпустят, уволят — наградят. А потом попал в систему, где все было совершенно ясно: вот у меня контракт, в нем прописано, что если даже я разобьюсь на самолете во вре-

мя работы здесь, университет выплачивает моей семье мою двухгодичную зарплату; прописано, от чего они меня лечат, что можно, что нельзя. Каждый семестр мои студенты писали свое мнение обо мне и сдавали в деканат (не подписываясь). Называлось это “evaluation”: секретарь декана приходит в класс за полчаса до конца занятий, я должен уйти, она остается и раздает всем специальные бланки. Рекомендовали бы они друзьям этот курс? Как моя эрудиция? Как мой язык? А я заполняю анкету — что в этом семестре сделал, где напечатался, где выступил, куда меня приглашали, куда избрали. После этого меня вызывает декан и говорит, продлевают они или не продлевают контракт, повышают или понижают зарплату. Слава Богу, мне повышали. Через три года предложили долгий контракт и дали вид на жительство в Америке. Это тоже интересно. Пять деканов факультетов журналистики из разных штатов написали характеристики на меня. И надо отдать должное американцам (я это берегу как награду), они написали, что в Соединенных Штатах сейчас нет специалиста такого уровня, поэтому имеет смысл предложить мне — как выдающемуся специалисту, которого нельзя заменить американскими специалистами, — вид на жительство.

Казалось бы, я осуществил мечту многих наших людей. Написал даже пособие для студентов, которое издал в Бостонском университете. Постепенно мои два курса стали очень популярными. Один курс — “Пресса и власть”, каким образом они взаимодействуют в разных социальных системах, в Африке, в Азии (в основном я говорил о тоталитарных системах, как строится двустороннее влияние). Второй курс — “Запад и все остальные”. Это о различии стандартов в разных системах. Женщина, любовь, смерть, мир, еда — как это отражается в прессе. Например, самоубийство и смерть у нас и в Японии. Там иногда только таким образом можно сохранить свое лицо. Это был очень популярный курс.

Первый год я за все хватался: преподавал в Бостоне и одновременно в университете штата Нью-Джерси, два лета подряд преподавал в Австралии. То есть когда в Штатах были летние каникулы, в Австралии был зимний семестр, я улетал и преподавал там. Короче, разгулялся, а потом подумал: стоп, зачем мне это нужно? И начал сужать свои круги. Меня избрали в Американскую академию журналистики, я получил контракт, был избран в университетскую комиссию по предоставлению пожизненных контрактов.

В Нью-Йорке я встретил хоккеиста Фетисова, который помогал мне отсюда уехать, и он, как мне кажется, очень удачно сформулировал одну вещь. Он сказал: “Вы знаете, для меня не деньги самое главное. Играя здесь, я совершенно четко понял, где я. Вот эти лучше меня, вот эти — хуже меня. На мировой хоккейной площадке я стою вот в этой точке. Здесь абсолютно точно понимаешь свое место. Тебя калибруют, определяют всякими контрактами. Я понял, в чем я силен, в чем я слаб. И никого не интересовали моя партийность, моя национальность, все прочее”. Так и в моем случае: просто я делаю курс, он распродается, все хорошо — “ты нам нужен”.

— *Тогда возникает другой вопрос: почему вы вернулись?*

— Затосковал. Постепенно я выяснил, что я абсолютно самодостаточная машина. Работал, читал, пользовался Интернетом, электронной почтой. И оказалось — мне ничего не нужно. Я работал полных два дня в университете, а в остальные дни гулял, делал, что хотел. У меня маленький ноутбук на даче, он переполнен конспектами всего, что я туда заносил. Я писал книгу, недавно ее совместно выпустили издательства “Фоллио” и АСТ. А дома, в Москве, постепенно старела мама. Умерла моя любимая собака. Все без меня происходило. Я понимал, что от меня уходит моя жизнь. Подсчитал: в Америке уже заработал достаточно для пусть не очень долгого, но автономного плавания. Купил домик под Москвой и решил, что пора возвращаться. Последней каплей стал обед с корреспондентом из Китая. Мы сели с ним, выпили, и вдруг я понял, что разговаривать нам не о чем. Мы женились по-разному, у нас иначе дети росли, мы иначе получили квартиры, иначе живем. В Америке я жил среди американцев (среди эмигрантов оказывался только случайно). Я был интегральной частью их мира. Нормальный американский профессор. Но я не принадлежал к этому миру.

Мне говорят: “Но сейчас же в России хуже, чем в 91-м, когда вы уехали. Что ж вы вернулись?” Сейчас лучше в том смысле, что я подстелил себе соломки, какие-то деньги насобирали (хотя неделю назад меня ограбили). А все-таки есть квартира в Москве и домик под Москвой. Целую неделю живу там, в пятницу-субботу-воскресенье — в Москве. Нью-йоркскому “Public Radio” полчаса в неделю говорю про нашу жизнь. Остальное время совсем мое. Часто меня зовут для лекций и консультаций за рубеж. Я люблю закрыться и читать, молчать, на меня даже обижаются жена и мать. Американцы, которые не понимают на-

шего юмора, поверили, что у меня такая болезнь — клаустрофилия (это я придумал название для них), и я должен сидеть в закрытом помещении. Целый день читаю, что-то на компьютере делаю. Потом сижу, смотрю, как японец, на дерево, как птичка прыгает...

— Или как болгарин. Вы знаете их шутку? “Сижу и мыслю. И вдруг замечаю, что просто сижу”.

— Примерно так. Долгое время у меня стояли книги, которые я покупал и говорил: это прочту летом в отпуске, это — тогда-то. И понимал, что не прочту никогда. И вдруг понял, что прочту. Сижу на даче и читаю книги, которые собирался прочитать десять лет назад. И пишу свою книгу. Иногда выступаю по радио или ТВ, все это легко и “в охотку”.

— В американских университетах вы преподавали журналистику и, видимо, сравнивали положение прессы, ее характер у нас и у них. Не могли бы поделиться своими впечатлениями на этот счет? Может быть, в связи с этим — и о перспективах нашей печати.

— Свободной печати, свободной системы взглядов нет нигде. Да, в Америке я это преподавал. Их страна закрыта от посторонних воззрений железной стеной. Языковой барьер гигантский. Это мы знаем по-английски, а они ни по какому, кроме английского. Ну, кто-то по-испански немного. У них нет коротковолновых приемников. У них кабельное телевидение, по которому смотрятся только американские каналы, которые вы себе купите. У них не модно вылавливать даже европейские новости. На кафедре журналистики преподавался курс дезинформации, официально (люди очень легко манипулируемы). И вот теперь мы, когда шла война в Косово, не могли понять, почему половина американцев была согласна с ней. Я могу сказать, почему, я преподавал теорию и практику современной пропаганды.

Первый американский президент, который пустил телевидение к себе, был Эйзенхауэр, в 1956 году. Президент Джонсон разрешил телевизионщикам поехать во Вьетнам. После этого Джонсон был кончен. Впервые американцы на экране увидели убитых американцев, и Джонсон на второй срок себя уже не выдвинул. С тех пор ни один телевизионщик не был на поле боя, не был в воинских частях, не был в американской армии. Все они получают только отфильтрованные пленки. Сербы поступили неразумно, выставив от себя всех корреспондентов, кроме российских. Пока американцы не увидят убитого амери-

канца... Правда, они увидели пленных и еще людей с побитыми мордами. Это уже нечто. Еще пара таких эпизодов — и Америка поголовно восстала бы. А пока ни одному американцу лично война не вредит, так хоть бы все там горело огнем, никто не вмешается.

Сейчас мы вошли в эпоху пропагандистских войн. Я действительно знаю, как это делается. Я изучал, как манипулировать общественным мнением, каким образом его строить. Ну, скажем, каким образом провести опросы общественного мнения по поводу того, чего сейчас люди боятся больше всего, а затем трансполлировать эти страхи на политического противника. Затем начать повторять это (у них считается — от 10 до 15 раз должен быть повторен каждый тезис, чтобы массы его усвоили). После этого можно обещать все, что угодно, но три-четыре вещи надо и сделать... Целая наука, по которой все это делается, включая “раскручивание” кандидата в президенты страны, хорошо отрепетированная...

У нас это сейчас осваивается, манипуляция общественным сознанием в ходе выборных кампаний уже довольно эффективна. Но ведь важно еще, в чьих интересах манипуляция и за чей счет. Мы разрушали советскую власть за ее деньги. Мы получали свои зарплаты в издательстве “Правда” и печатали гадости про ту самую партию, которой издательство “Правда” принадлежало. Это удавалось, и это было прогрессивным делом. Но сегодня люди дают деньги из своего кармана, и они требуют четкой реализации своих интересов, частных, групповых. Характерна история с “Независимой газетой” — символом того, что произошло у нас. Я встречал ее главного редактора Третьякова в Бостоне, он хорохорился: “Мы нейтральные!” Какое там “нейтральные”! А вскоре я прочел интервью с Березовским, где тот по-хозяйски говорит об “НГ”... Каждое утро покупаю до десяти газет. В Москве выходит более двух десятков ежедневных газет (в Соединенных Штатах только в шести городах больше чем по одной газете); обилие московской периодики не может существовать иначе, как на деньги тех, кто “заказывает музыку”.

Как-то я прочитал, что сегодня 100 долларов в месяц — желанная зарплата для многих наших журналистов. Но нищий человек не может быть свободным. Я всегда был в этом твердо убежден. Думаю, самое страшное наступит тогда, когда олигархи потеряют интерес к прессе и начнут перерезать кислородные шланги газетам, открытым специально для выборных кампаний.

По-моему, в течение ближайших лет произойдет настоящая трансформация прессы. В итоге мы придем к изданиям американского типа: большая газета, где одна секция — местная жизнь (“Московская правда”), потом секции вроде нынешних газет “Коммерсант”, “Спорт-экспресс”, “Культура”, секция из “Литературки”. В воскресенье какие-то приложения — два-три. То есть монополизация произойдет неизбежно. И это будет еще малое зло, потому что такие большие газетные концерны живучи.

— *А если говорить о перспективах прессы на фоне бурного роста влияния телевидения, Интернета?*

— Понимаете, как показал американский опыт, они совершенно независимо существуют и не мешают друг другу. Телевидение, конечно, самый агрессивный вид СМИ. Оно сразу дает вам и картинку и звуковой ряд. И оно подавляет вас. Однако американская интеллигенция уже устоялась, и интеллигентские газеты выжили. Но в США в этом выживании важна одна вещь: американцев мало что интересует за пределами их населенного пункта. У них нет общенациональных газет — есть только “US Today”, не самая удачная, а остальные газеты даже имеют заголовки “местные”: “New York Times”, “Los Angeles Times” и так далее. Есть издания Восточного побережья и Западного побережья, но это уже выбор читателя. Есть интеллигентские авторитетные газеты. И — Америка перешла на еженедельники. Вот что действительно общенациональное — это еженедельники “Times”, “Newsweek”...

Телевидение — все-таки развлечение для нетребовательных обывателей и прогноз погоды. Ну, еще новости и футбол. Когда я приходил на работу, то неизменно видел профессоров, читающих “New York Times” или “Boston Globe”. Интеллигенция и у нас будет читать такого рода издания, как она и читала. Наиболее умная интеллигенция будет слушать радио. Вот куда ушли самые яйцеголовые на Западе: в радио — у них там ток-шоу самые интеллигентские, там все эстетствующие говоруны. Радио — это для самых-самых. Газеты — для “чуть пониже”. А телевидение даже зовется “Idiot box” — “ящик для идиотов”. Вам дают такой вот список кабельных каналов — и выбирайте. У меня было около ста каналов, за что я платил около тридцати долларов в месяц. Среди каналов были и специальные. Например, я выбрал себе кино и спорт не позже 70-х годов и набрал всю киноклассику, самые знаменитые бои боксеров и так далее. То, чего мы прежде не видели. Сидел, эстетствовал. У нас будет то же самое.

Сейчас американцы говорят, что вскоре у них появится до пятисот каналов и начнется подавление универмагов. Торговля будет идти по телевидению, не надо платить за торговые площади, продавщицам, потому и продавать телевизионщики будут гораздо дешевле, чем в универмаге. Начинается революция в телевидении, оно заменяет все — прогулки по городу (экскурсии кинопутешествий), поход за покупками, на стадионы... Сейчас все градуируется. Есть сейчас газеты типа “New York Times” с миллионными тиражами, есть полуприличные издания, есть пошлятина, есть “порнуха”, которая продается только в запечатанных пакетах, совершеннолетним, распечатать можно только дома. Если хочешь — бери и иди.

— *Виталий Алексеевич, у прессы, по вашему мнению, останутся только информационные функции или все-таки и аналитические?*

— Вы знаете, мы попали на пересменку. Вот, например, сейчас все их аналитики пишут о том, что телевидение и Интернет подавят книги. Я плохо в это верю, я люблю держать этот “кусочек” в руках... Но у детей моих нет библиотек, зато видеотеки огромные. У них есть всякие дискеты. Боюсь, что мы переходим в это измерение. Я представляю себе: Москва сто лет назад, привозят картину Иванова “Явление Христа народу”; люди идут, смотрят. А как еще ее увидишь? Моя молодость: по радио я все оперы слушал, и Лемешева и Козловского — это была легенда. А сегодня у меня на столе Паваротти во весь рост, хочу — выключу. Совершенно изменились отношения с объектами культуры. Она стала доступнее и в то же время в чем-то пошлее — в моей способности ее купить-продать.

Я думаю, мы просто входим в другую жизнь. Например, традиционная русская литература не переживет того, что она должна стать “литературой”. Знаете, когда я был самый счастливый и сильный? Когда не был ни “журналистикой”, ни “литературой”. Я был “министерством внутренних дел”, я был “министерством иностранных дел”, я помогал людям получать телефоны, квартиры, спасал их, разводил, объединял, а тут оказалось — надо писать книжку, берedit читателя. В Америке мне дадут за книжку тысяч десять, самое большее. А если автор пишет детективы, то он и здесь уже получает те же деньги. Мой знакомый получил пятьдесят тысяч долларов за переизданное собрание детективных сочинений. Уже идет классификация. А я никогда здесь хороших денег не получу за умную книгу. Вот из Америки Дуглас Стар, мой коллега по универси-



тету, прислал книгу, которую я помогал ему писать. Книга о крови — все, что о ней есть: кровь как ритуал, кровь как лечение... Он спрашивал: может, кого из издателей и у вас это интересует? Да никого! Кого может интересовать у нас энциклопедия крови? Короче говоря, мы идем в “человечество”, но это несет с собой не только плюсы. Мы читали, потому что не могли путешествовать. Получив возможность путешествовать, перестаем читать, и так далее.

Помню, как я приехал в Эдинбург, гордый тем, что мы издали полное собрание сочинений Вальтера Скотта. “Да, это любопытно! У вас это читают, да? Как интересно!” Я рассказывал американским студентам о том, что встречался с Джоном Стейнбеком. Они не знали, кто это такой. Я считал, что я их потрясу тем, что знал писателя. Оказалось, прежде я им должен рассказывать, кто такой Стейнбек.

Мы входим в этот мир — мир материальный, со своими критериями, мы получим какое-то огромное количество плюсов, может, меньше всякой швали у нас будет. Может, будут профессора, которые станут четче делать свое дело. Многие мои коллеги по литературе “горят” в Америке именно потому, что приезжают и начинают, как у нас в бывшем бюро пропаганды литературы, рассказывать, какой ногой кто-то бил по мячу. А я подсчитал, что одно занятие со мной стоит студенту примерно сто долларов. Он приходит, открывает тетрадку и смотрит на меня. Я ему начинаю рассказывать анекдоты, он закрывает тетрадку и снимается с моего курса. Совершенно другой подход к образованию. Образование покупается. Покупается курс, определенный комплекс знаний. Вот у меня студентка, я спрашиваю: “Ну что, в будущем семестре придешь?” Она говорит: “Нет, я на будущий семестр взяла себе курс в Мадридском университете, потому что нашла место в хранилище пропагандистской литературы, я хочу понять тоталитарную пропаганду”. Вот все, что ее интересует. Я встречал там людей, которые знали про Ахматову все, но они не имели толкового понятия, например, о Цветаевой. Очень узкие, хорошо подготовленные специалисты. Мы же учили про все, про лягушку, про змею, про что хочешь. Я получил медицинское образование, сделал кандидатскую по медицине, ну и что? В Америке я бы заплатил за это такие деньги, что долго бы думал, уйти ли с такой работы. А тут с отличием кончил, потом экстерном сдал за ияз, ну и что? Понимаете, у них совсем другой подход, более прагматичный.

Разрушаются связи внутри семьи. Почему я держу своих детей по воскресеньям вокруг общего обеденного стола? Я всегда в конце весеннего семестра спрашивал студентов: “Ну что, по мамам-папам теперь?” Они говорили: “Нет. Мы уже нашли работу. Может, на недельку заедем к родителям, но вряд ли...” Семьи разваливаются очень рано. Молодые стремятся быстрее заработать и стать самостоятельными. Родители тоже независимы, поскольку обеспечены за счет социального контракта с государством. Американцы относятся к своим бедным, как к рэкетирам: надо “отстегнуть”. И тогда не будет ни Ленина, ни Сталина, ни Анпилова. Эти наши несчастные старики, бегающие с портретами Иосифа Виссарионовича, в Америке невозможны. Человек, если он покажет, что у него нет счета в банке, нет автомобиля дороже трех тысяч долларов, нет собственного дома — получает четыреста двадцать долларов в месяц, субсидированную квартиру, бесплатные лекарства, бесплатную медицину. Это дешевле, чем ждать, пока такие люди соберутся и устроят революцию. У них совершенно циничные подсчеты, они мне их много раз показывали.

Только боюсь, что Россия не выйдет из своих “придурей” никогда. Если бы я сейчас сошел с ума и захотел попасть в парламент, я бы объявил лозунг: “Заплатите чиновникам зарплату!” В России сейчас шестьсот тысяч служебных автомобилей. Содержание водителей и ремонт этих автомобилей обходится в один миллиард долларов в год. Это не считая бензина, гаражей и прочего. Это я взял официальную справку. Автомобили надо менять раз в пять лет. Вот здесь рядом строится дом роскошный, называется “Дом строит Администрация Президента”. Четырехкомнатная квартира стоит около пятисот тысяч долларов, но чиновник почему-то получает ее задаром. Закройте эти дома, закройте эти гаражи. Если бы в Америке существовала кунцевская ЦКБ — была бы революция. Только президент и вице-президент имеют право лечиться в госпитале Военно-морских сил. Остальные идут, покупают страховки... В Америке конгрессмен получает несколько тысяч долларов в месяц. И все — дальше он может ночевать на вокзале или снимать квартиру, может ездить на метро, на велосипеде. Это его личное дело. Заплатите нашим депутатам пять тысяч долларов, но закройте ЦКБ, гаражи и прочее — вот тогда будут нормальные депутаты. Пока Россия этого не сделает, пока она и здесь не войдет в сферу здравого смысла, ничего хорошего не будет. Пока на содержание служебных

автомобилей Россия будет расходовать миллиард долларов в год — бедность не кончится.

Я уже говорил, что по мне лучшая национальная идеология — здравый смысл. Нельзя бить старших, нельзя ругаться, нельзя плевать на пол. Как-то я был в дурацком настроении, а в интервью у меня спросили: “Чего вы боитесь больше всего? Что вам кажется явным признаком ужасных перемен?” Я сказал, что больше всего боюсь, что к власти придут люди, которые паркуют автомобили на тротуарах и гадят в подъездах. Это “жлобство”. На Востоке есть “час быка” — между тьмой и рассветом, а у нас сейчас час “жлоба”, торжествующего, ликующего. Торжествующий хам, по Мережковскому.

Элементарные вещи: просто здороваться в лифте, не прихлопывать старушку дверями в метро. Пока человек сигаретную пачку бросает на лестнице, я понимаю, что в стране не будет ничего хорошего. С другой стороны, он так жил, его папа и мама так жили, они так воспитаны. Нашим девочкам, может быть, негде было обучиться тому, как одеваться по-другому, идти по-другому. Это страшная традиция. И вот мы тащим за собой свое прошлое. Мы говорим о капитализме, но капитализм — это и Бразилия, и Нигерия. Это огороженный высокой стеной район, где живут богатые люди, и зрелища, всякого рода карнавалы для бедных. Мы можем построить и такую страну. Ведь нелегко построить Швецию или Швейцарию, а такую — проще.

Я вычитал у Набокова обидную немножко, но очень верную мысль: в советской России очень гордятся своими политическими анекдотами. Похоже на то, как дворовые судачили о барине на конюшне, а потом барин звал, и они мчались со всех ног. Это примерно наш уровень бунтарства. Наше диссидентство на уровне пересказа друг другу передач радио “Свобода”. Поэтому у нас никогда не было закона, который один для всех и который правит. И у нас в церкви не было реформации. Нам еще идти и идти.

Одна из самых важных вещей, которые есть в мире, — это стратификация общества. В Америке я никогда не знал, как живут люди, которые богаче меня. Они жили где-то. У них был свой мир, свое разделение, свое все. Но я не знал и то, как живут люди беднее меня. Они тоже жили отдельно. У меня был свой слой, свой ресторан, свой круг общения. А у нас пока общество перемешано, слои еще не отстоялись. Богатые на шестисотых мерседесах, внезапнорывающиеся в нищенскую

жизнь, раздражают. В Америке никогда никакие “рокфеллеры” не влезут в Гарлем. А у нас пока все вот так. Со временем, видимо, отфильтруется.

— *И что это будет за общество? Когда вы пришли в “Огонек”, у вас были социал-демократические взгляды. А сейчас?*

— Сейчас такие же. Но я не спокоен за Россию. Не уверен, что в нынешнем виде она может существовать как единое государство. Какие-нибудь Швеция или Норвегия, у которых, кроме фьордов и обмерзших камней, ничего нет, нам хлеб продают, потому что они вписались в “человечество”. Мы никак не можем вписаться, и это трагедия. Все, что у нас говорится, направлено на доказательство нашей самости, отдельности, непохожести. В общем-то почему и нет? Австрийцы, если вы скажете, что они немцы, вам голову расшибут. Они разговаривают по-немецки — и все. Даже шутки есть про баварцев, что это неудачная попытка сделать австрийца из пруссака. Надеюсь, мы будем говорить по-русски, но постепенно и понимать какие-то правила современной жизни, понимать человечество. Тогда у нас появятся перспективы.

— *Если вернуться к временам вашего “Огонька”, какие его выступления теперь представляются вам наиболее значимыми, принципиальными?*

— Пожалуй, первое, что вспоминается, — это узбекское дело и то, что было связано с реабилитацией людей. Публикация о яме с прахом расстрелянных, Куропаты, белорусские истории. Права человека. И пожалуй — сама борьба за право говорить то, за что я сам отвечаю. То есть за “послецензуру”, за то, чтобы был закон, который меня накажет, если я проврался или что-то сделал не так, но чтобы никто не вмешивался в процесс работы. Думаю, это была главная стратегическая линия. Но, слава Богу, никакого обслуживания никакой политической группировки не присутствовало. В этом смысле у меня было трудное положение, особенно в 1990–1991 годах, между Ельциным и Горбачевым.

— *Вы не считаете, что все было напрасно?*

— Нет. Ни в коем случае! Мы уже никогда не вернемся туда, где были. Моих сыновей уже никто не загонит ни на какие демонстрации и собрания. Психологически, конечно, страна надломилась: она уже ушла оттуда, где была, но не пришла никуда. Тот массовый декаданс, в который мы впали, не может быть постоянным состоянием. Эта подвешенность должна быть чем-то зафиксирована. Дело в том, что болезнями голодных

людей всегда были коммунизм и фашизм. Если мы побольше побудем в этом подвешенном состоянии, неизбежно придем или туда, или сюда. В коммунизм или в фашизм, или в то и другое. В конце концов, это близко: один — это социальный апартеид, второй — национальный апартеид. Но есть надежда на лучшее будущее. Способы выхода из положения, подобного нашему, известны из мировой практики.

— *Современная пресса, по вашему мнению, способна оказывать на общественное сознание такое же влияние, как, скажем, “Огонек” и другие перестроечные издания?*

— Сейчас у нас только формируется то, чего не было многие десятилетия: общественное мнение. Газеты в какой-то мере в этом участвуют. Но они поразительно неэффективны. Больше половины жителей Москвы и Московской области, насколько я знаю, не выписывают ни одной газеты, 80 процентов получают информацию только по телевидению. Поэтому сложно говорить о влиянии прессы. И еще: прессе перестали верить. Она неэффективна также из-за слабости судебной системы, исполнительной системы. Это ведь все должно быть целым, взаимосвязанным. Скажем, перед либеральной западной прессой ставятся совершенно четкие задачи, формулирующиеся в законе. То inform — информируй, to entertain — развлекай, to check on government — контролируй власть, to advertise — рекламируй. И — переводить конфликты в дискуссии. Это совершенно четкие обязанности. У нас пока — кто во что горазд. Некоторые (ну, скажем, “Новая газета”, в редакции которой много работавших прежде в “Огоньке”) пытаются делать то, что мы делали пятнадцать лет назад. Но жизнь-то другая. Впрочем, может быть, пресса и не должна быть эффективной в том же смысле, что прежде. Эффективными должны быть суд, исполнительная власть.

— *Когда вы вернулись и окунулись в сегодняшнюю реальность, что из “огоньковских” идей, по вашему мнению, оказалось живо в общественном сознании и что обернулось иллюзией?*

— Существует сознание того, что можно преобразовать жизнь на демократических основах. Сознание того, что Коммунистическая партия уязвима и ее идеи подлежат обсуждению, как и всякие другие, — то есть масса демократических принципов внедрилась в общество. Но в то же самое время умерла вера в чудо, с которой мы жили всегда. Люди продолжают считать, что все произойдет внезапно, каким-то чудес-

ным образом и без их участия. Общество предельно виктимизировано, то есть ощущает себя жертвой. Нам все кажется, что причина наших несчастий находится вне нас. Это то ли жида, то ли масоны, то ли кавказцы, то ли азиаты. И это Америка. Мы виктимизированы до предела, что, на мой взгляд, — один из самых страшных барьеров на нашем пути к светлому будущему.

Если мы похожи на американцев, то на чернокожих. У меня одна студентка написала курсовую работу “Советские люди как афроамериканцы”. У нас огромный опыт рабского сознания; затем мы попали на социальное пособие, как большинство американских негров; и в итоге, выйдя из этого состояния социального иждивенчества, выйдя из рабской психологии, мы не можем перестроиться на психологию предприимчивых, свободных, законом вдохновленных людей. Это очень трудный психологический перелом. Я очень плохо представляю, как он произойдет. Вскипятили аквариум, получила уха. Теперь мы хотим опять из этой ухи сделать аквариум. Не получается.

Т.И. Заславская

“Мы не знали того общества,  
в котором жили”

— Татьяна Ивановна, ваше имя было известно и до перестройки, причем с ним связывались едва ли не ревизионистские идеи (как тогда говорилось). Что вы предлагали? Чего ждали от перестройки? Помогала ли вам печать донести до людей эти мысли и предложения?

— Я принадлежала к довольно большой группе ученых, которые выступали с конструктивной критикой существовавшей системы, искали пути ее совершенствования. В 1983 году мы провели в Новосибирске довольно шумевший семинар, посвященный социальным механизмам развития экономики. На него были приглашены высокого уровня специалисты — экономисты, социологи, юристы, философы, демографы (сто двадцать человек, сугубо персональные приглашения). Семинар нам разрешили провести только как закрытый, “для служебного пользования”. Но именно благодаря этому ученые получили возможность в течение трех дней говорить открыто то, что действительно думали. Несмотря на немалые противоречия во взглядах, в целом это было собрание единомышленников, убежденных, что сложившаяся система неэффективна. Намечались две основные линии, два направления ее совершенствования, которые потом, в ходе перестройки обозначились и практически. Это, во-первых, значительное расширение сферы рыночных отношений — а оно мыслилось в форме последовательного хозяйственного расчета, экономической ответственности предприятий за результаты, значительно большей свободы в выборе форм и способов оплаты труда, а также большей свободы ценообразования — но только большей, а не полностью свободного рынка. Это была одна ось. И другая — конечно, политическая демократизация общества, уход от единой идеологии, свобода научного поиска, выступлений, свобода печати. Обе линии серьезно и конкретно прорабатывались, но, откровенно говоря, как-то не очень верилось в их реалистич-

ность. Советская система представлялась нам (кстати, как и западным социологам) монолитом, который сохранится, по крайней мере, еще десятилетия. И вот мы как бы стучались в его стену без особой надежды, что это чему-то поможет.

А между тем экономика уже совершенно очевидно шла под уклон. С 1975 года абсолютный размер валового национального продукта стал ежегодно сокращаться. Как-то, будучи в Барнауле, я познакомилась с “Паспортом Алтайского края” — документом с очень большим, на много-много страниц, “подлежащим” в виде таблиц и кратким “сказуемым”, в качестве которого шли “годы”, примерно двадцать лет. Можно было проследить динамику массы показателей по Алтайскому краю за целое двадцатилетие. Такая статистика тогда не публиковалась, но в общем было известно, что от пятилетки к пятилетке темпы прироста падают. И вот я смотрю длинный перечень товаров, которые производились в Алтайском крае, прослеживаю динамику их выпуска строчку за строчкой, и везде уровень производства снижается. Что-то одно вдруг выросло. Что же это? Оказывается, специфический класс товаров: например, общий выпуск тканей стал меньше, но в том числе шелковых — больше; угля меньше, но в том числе коксующегося — больше (я условно говорю). Только “в том числе”. Все остальное — спад. И вот тотальность такого спада практически по всем номинациям товаров для меня явилась не просто открытием, но, честно говоря, и шоком. Стало страшно: идет распад экономики, а народу об этом не говорят, и даже большинство экономистов правды не знает.

Конечно, для Госплана это открытием не было. Власти понимали: что-то надо делать, потому что просто сползаем в пропасть. В такой ситуации уже нельзя было игнорировать науку. К ней стали прислушиваться. А мы полагали, что если поднапрячься и улучшить хозяйственный механизм, то положение можно поправить. Говорили и писали: выньте пробки, устраните препятствия на пути хорошей работы (75–80 процентов занятых признавали, что трудятся не в полную силу, — нет стимулов работать лучше). Предложения наши были не очень-то радикальны, скорее умеренны. Умеренность, я думаю, диктовалась, с одной стороны, полным неверием в возможность неумеренности, то есть радикальности, а с другой, тем, что мы сами, так называемые ученые-реформаторы, идеологически, идейно не были готовы к радикальным переменам социального строя. На семинаре 1983 года речь шла о принципиальном совершенствовании производственных отношений социализма. О том, что та форма



социализма, которая сложилась в стране, стала оковами для развития экономики. Производительные силы вышли на новый уровень, потребовались новые люди, гораздо более образованные, свободные, ответственные, с иными ценностями. И управлять их поведением надо было иначе. Новые требования выдвигали и идущие глобальные процессы. Очевидна была необходимость менять общественные отношения и институты, совершенствовать их уже в новых рамках. Вот чего мы хотели.

Я не могу вспомнить ни одного выступления на том семинаре, в котором говорилось бы: “Что вы обсуждаете? Как можно эту систему совершенствовать? Ее же нужно просто ломать и на ее месте строить новую”. Но если бы кто-нибудь и заговорил в таком духе, то, думаю, не нашел бы поддержки. Напротив, встретил бы множество возражений, касающихся социального механизма ломки и, конечно, социальных последствий. Ведь крутая ломка сложившейся системы в предельном случае может вызвать гражданскую войну. Кроме того, успешная революция предполагает наличие определенных социальных сил, а таких сил на самом деле не было (я имею в виду революционно настроенные силы, которые готовы были бы идти на Кремль ради перехода “от социализма к капитализму”, об этом было просто смешно говорить!). Наши надежды в значительной степени связывались с тем, что во всех слоях общества было широко распространено ощущение “тупика”, в который зашла страна. И в самом Центральном Комитете партии были люди (и не так мало), которые прекрасно понимали ситуацию и стремились найти выход. Поэтому казалось, что все-таки можно улучшить систему изнутри, сделать ее более эффективной и одновременно — демократичной, обращенной к человеку. Реальное соотношение социально-политических сил — при той идеологии, при тех ограничениях, при той цензуре — конечно, не было нам известно, а открыто обсуждать вопрос о политических альтернативах монопольной власти КПСС вообще было невозможно. Все приходилось делать с завязанными глазами и наполювину заткнутым ртом.

К сожалению, мы, ученые-обществоведы, по-настоящему не знали своего общества, не знали его действительного устройства, движущих сил и социальных механизмов развития. Наше сознание находилось под сильным влиянием мифов. И власть не знала, каким обществом она управляет. Помню, такое признание прозвучало в докладе Андропова на пленуме ЦК в мае 1983 года. Нас к этому времени как раз начали “тягать” по раз-

ным инстанциям за апрельский семинар, за мой доклад. И эта фраза — “мы не знаем того общества, в котором живем” — стала для нас в каком-то смысле опорной: если сами признаетесь, что не знаете, так дайте же нам возможность его изучать, что же вы нас-то держите...

— *В те времена был весьма распространен такой жанр, как “записки” в высокие инстанции, направляемые отдельными учеными или целыми институтами. Вы как-то рассказывали, что и сами писали множество таких записок. Приносили они какую-нибудь пользу?*

— Вопрос не такой простой: и да, и нет. Как-то в начале 80-х годов иностранный корреспондент после долгого интервью спросил меня, были ли предложения, которые мы регулярно вносили в правительство, в какой-то мере реализованы. Подумав, я ответила: “В какой-то мере — да. Пожалуй, процентов на 60–70”. Я вижу сейчас, как вы удивляетесь. Точно так же удивился и он: “Не может быть, вы, наверное, шутите!” — “Нет, — говорю, — не шучу. Весь вопрос заключается в лаге между временем внесения предложений и временем их реализации. Он составлял 20–25 и больше лет. А нередко — и всю жизнь”.

Посмотрите мои работы 60–70-х годов — ведь многое действительно реализовалось. Дело в том, что разработки и предложения нашего коллектива в целом соответствовали вектору развития общества, только шло оно крайне медленно. Мне трудно оценить, реализовались ли наши предложения в конечном счете потому, что власть к ним немного прислушивалась, или потому, что мы просто предвидели объективную логику развития общества, то есть и без наших усилий все было бы так же. В какой-то мере и то, и другое. Конечно, кто-то в ЦК наши записки читал и, возможно, что-то “продавливал”, но в целом эффективность этой деятельности была очень низкой. Власть как таковая нас не слышала. А если слышала — не понимала. Мы говорили на разных языках, исходили из разных целей и ценностей.

Вот, скажем, вызывают меня однажды в отдел сельского хозяйства ЦК и говорят: “У нас готовится совещание по специалистам сельского хозяйства. Вы проводите социологические исследования. Есть у вас что-нибудь по специалистам?” Кое-что у нас было, и я решила воспользоваться ситуацией, чтобы довести до партийного руководства общие итоги наших исследований социальных проблем села. Тем более, что сектор колхозов и совхозов, куда меня пригласили, ведал как раз проблемами эконо-

мического и социального развития. Минут пятнадцать я рассказывала заведующему сектором о наших выводах, он слушал-слушал и, наконец, подытожил: “Это все очень интересно, но сейчас мы готовим записку по специалистам”... Я поставила крест на подобных беседах, поняла, что существо дела чиновникам совершенно не интересно.

И еще о записках. Когда Горбачев стал секретарем ЦК по сельскому хозяйству (1982), он пригласил небольшую группу ученых побеседовать по аграрным проблемам. При этом он рассказал, что, заняв эту должность, первым делом поручил своим помощникам разложить все поступившие от ученых записки по темам. Потом уехал, а когда вернулся, то увидел, что его кабинет был заполнен стопками бумаг, лежавшими не только на столах, шкафах и полках, но и на полу. “Целый склад устроили из моего кабинета! Я только взглянул и сразу понял, что весь этот материал уже пропал. Надо было армию посадить, чтобы просто его разобрать, а отобрать можно было, наверное, какую-то сотую часть...” Вот так большинство записок и пылилось, люди писали их, обдумывая каждое слово, чтобы выразить мысль как можно точнее, но их мысли были никому не нужны, одна добука.

— *С перестройкой для вас многое изменилось. Вы получили трибуну депутата, широкую читательскую аудиторию. Удалось использовать эти возможности? Чего было больше — успехов или разочарований?*

— В доперестроечный период у меня не было внутренней установки на то, чтобы довести свои идеи до широкой аудитории. Этого и не требовалось, так как они были ориентированы в первую очередь на ученых и управленцев. Сильно популистских идей у меня не было. Широкие круги интеллигенции — это да! На волне перестройки я действительно в каком-то смысле чувствовала себя человеком, говорящим от лица демократической интеллигенции. И, конечно, мне было важно, читают ли люди мои статьи, смотрят ли выступления по телевидению, как реагируют, с чем согласны, с чем нет. А когда стала народным депутатом — тем более, осознание своей общественной функции еще усилилось. Вместе с тем я очень быстро почувствовала себя не на своем месте, уже на I Съезде народных депутатов. Поняла, что попытка непосредственно включиться в политическую жизнь и борьбу была с моей стороны ошибкой. Для меня это совершенно чуждый и неприятный вид деятельности.

— *Известно, какой широкий резонанс имела ваша статья, опубликованная не в разгар, а, можно сказать, на заре*

*перестройки в журнале “Коммунист”, который и самой этой публикацией как бы оповещал, что тоже перестраивается? Как вы сами оцениваете тот успех?*

— Дело в том, что это была не просто статья, а результат довольно долгого диалога с представителями разных общественных групп. В то время я, как и большинство социологов, много думала о причинах нашего отставания, о том, что можно и нужно делать. И очень много выступала с докладами в разных аудиториях — студенческих, академических, производственных, управленческих. Выступления вызвали массу вопросов, обычно я получала десятки записок, где были и солидарность, и критика, и практические соображения. Поэтому когда меня пригласили опубликоваться в “Коммунисте” — мне уже было что сказать. Идеи были не только выношены, но и многократно обсуждены. И все-таки тот шквал, та буря читательского интереса, которая разразилась по поводу статьи, была для меня неожиданной. Вот небольшая деталь: один из моих аспирантов, живший в Барнауле, услышал, что в “Коммунисте” № 13 (это был 1986 год) опубликована моя статья, и пошел купить этот номер. Но куда он ни обращался, везде 12 и 14 номера были, а 13-го не было. Когда же он спросил киоскера, в чем дело (может, номер не поступил или поступил в меньшем числе экземпляров?), тот ответил: “Я и сам не пойму, в чем дело. Число журналов обычное, но все почему-то спрашивают 13-й номер. Наверное, там что-то нужно людям”.

Я думаю, это и есть ответ. Статья в то время была нужна обществу, людям. Главная ведь ее идея — необходимость изменить отношение власти к человеку, увидеть в нем не объект, который кем-то “производится, распределяется и используется”, а субъект, самостоятельно действующее лицо, которое исходит из собственных интересов и оказывает огромное влияние на развитие общества. А вторая идея — социальная справедливость как необходимое условие успешного и гармоничного взаимодействия людей и социальных общностей — от трудовых коллективов до жителей регионов, городов и так далее.

Отношение к человеку как к чисто производственному (или военному) ресурсу, столь характерное для нашей страны, для меня непереносимо. Недавно, к примеру, спрашиваю одного рабочего, откуда он. Отвечает: из города Марганец. По-моему, такое наименование города — оскорбление для тех, кто в нем живет. Конечно, это — отзвук советского времени, его квази-производственной идеологии. “Квази” потому, что как раз на

базе этой идеологии производство и не могло уже развиваться, а зашло в совершенный тупик. Статья в “Коммунисте” возражала этой идеологии, причем аргументированно и резко. Возможно, поэтому каждый прочитавший ее готов был сказать: да, да, да, я согласен. Хотя некоторые упрекали меня за то, что я сама писала лишь о “человеческом факторе”, а не о человеке вообще. Наверное, в этой критике был определенный резон, но мне казалось разумным продвигаться шагами: “трудовые ресурсы” — “человеческий фактор” экономики — сам человек. Человек — это уже понятие скорее философское, а я обращалась к практикам и задачи ставила сугубо практические, в том числе связанные с усилением социальной справедливости.

— В “Коммунист” потом шла огромная почта, значительную часть которой составляли статьи обществоведов. Все хотели опубликоваться в журнале, причем точки зрения авторов были полярные. Возможно, само ваше имя стало неким “знаком” к такому прорыву?

— Действительно, это был идеологический прорыв, я почувствовала это вот из чего. Статья уже была отредактирована, обсуждена на редколлегии, и главному редактору оставалось подписать ее в печать. Он пригласил меня к себе, чтобы прояснить несколько вопросов, возникших на редколлегии. При этом выяснилось, что слово “группа” (одно из ключевых понятий социологии, часто использовавшееся в статье) было понято в духе 30–50-х годов — как “групповщина”. Антипартийная группа или какая-то еще... Между тем в статье говорилось, что группы играют важную социальную роль. Пришлось сделать специальное примечание. Видимо, многое из того, что в то время уже широко обсуждалось, в “Коммунисте” появлялось впервые. Для партработников и идеологов все это было внове, чем, видимо, можно объяснить и разноречивость откликов.

Что касается “знаковости” имени, то человеку трудно судить об этом самому. Это ведь означает наличие у него некоторого внешнего имиджа. Наверное, что-то в таком роде было, если где-то в конце 70-х годов всемогущий в то время завотделом науки ЦК С.П. Трапезников — один из самых реакционных партийных идеологов — захотел, чтобы именно я написала рецензию на его двухтомный труд об аграрной политике КПСС. Видимо, похвалы его прихлебал недорого стоили (приказал бы — и написали). Моя же рецензия имела бы “знаковый” характер, но, разумеется, этого “знака” он не дождался. И все же, если говорить о статье в “Коммунисте”, главную роль

сыграли, по-моему, во-первых, болевые проблемы, во-вторых, простой, доступный язык.

— *Спустя пять лет журнал попросил вас вернуться к этой статье, посмотреть, как выглядят те же проблемы на фоне перестройки, вошли ли высказанные вами идеи в общественный оборот. К каким выводам вы тогда пришли? Много ли изменилось?*

— Пожалуй, труднее всего было с формулированием самого понятия “социальная справедливость” на том этапе. Недавно я читала студенческое эссе, где подводятся некоторые итоги того, как сейчас обсуждается эта проблема в литературе. В общем она уже не вызывает больших вопросов. Тогда же обсуждалось три понимания социальной справедливости: 1) как относительного социального равенства всех слоев и групп, отсутствия слишком глубоких социальных различий; 2) как равенства возможностей, конечно, тоже относительного и 3) как “рыночной” справедливости, сводящейся к честному характеру конкуренции. Сейчас последнее понимание большинством явно отвергается, а два других продолжают бороться, со все большим перевесом в пользу “равных возможностей”. То есть и в силу демографических перемен, постепенного ухода старшего поколения, и в силу того, что молодежь формируется в иной ситуации, — чисто уравнительное представление о справедливости вытесняется принципом равенства возможностей. Два-три года назад было проведено международное исследование по этой тематике с участием наших специалистов. Вырисовывается та же тенденция. Теперь все меньше людей считают, что все надо поровну поделить.

— *То есть мы через это уже прошли, общественное мнение здесь устоялось?*

— Современные представления о социальной справедливости порождены уже нашей действительностью. Требование “равенства возможностей” чаще всего распространяется на блок первичных социальных потребностей. Например, возможности получения медицинской помощи (пусть даже элементарной), коммунальные услуги, жилье. По данным международных исследований, в относительно благополучных странах “равенство возможностей” включает в первую очередь условия для развития личности, ее самореализации, а у нас речь идет пока о возможностях как бы бытового уровня и даже, сколь ни печально, — возможности физически и социально выжить.

— *Татьяна Ивановна, а как в целом вы оцениваете собственный опыт сотрудничества с прессой?*

— Я не склонна преувеличивать значимость собственных выступлений в печати. А в целом, мне кажется, в конце 80-х — начале 90-х годов пресса сыграла очень большую роль. Она работала на то, чтобы развить общественно-политическое сознание — все-таки советское общество, громадное его большинство было невероятно инфантильно; люди верили в навязываемые им мифы, сами же были чрезвычайно пассивны. Трудно себе представить, каким бы было наше общество сегодня без свободной прессы. Даже идейное противостояние различных СМИ как-то развивало людей, заставляло их думать. Роль прессы безусловно позитивна. В период радикальных реформ это была притягательная, мощная социальная сила, что, конечно, связано и с общим подъемом, с верой людей — все впереди...

В личном же плане пресса и вознесла меня на вершины известности — и нанесла тяжелейший удар, от которого я до сих пор не вполне оправилась. Меня поразило, что клеветническая кампания, развязанная в пору моего “депутатства” (видимо, чтобы не очень “высовывалась”) и пытавшаяся перечеркнуть всю мою работу, связанную с проблемами села, так никем и не была остановлена. Это тоже — сила печати, только другая ее сторона. В общей сложности было опубликовано семь или восемь “разоблачивших” меня статей, каждая — на газетный разворот. В них я представлялась как главный враг советской деревни, виновник всех ее несчастий. Статьи публиковались с интервалом в один-полтора месяца, чтобы пламя “народного негодования” не угасло, и каждый раз — в другой газете, чтобы создать впечатление “хора”. Правда, автором всех этих статей был один человек — Анатолий Салуцкий (однажды он выступил в соавторстве с В.И. Староверовым, на монографию которого я когда-то дала отрицательный отзыв). Так что вместо хора вышел в лучшем случае дуэт — но кто это отслеживал, кому это было важно? Против меня ополчилась и аграрная часть депутатского корпуса Съезда, и многие руководители сельского хозяйства, которым требовался “образ врага”. Многие ученые в то время писали статьи в мою защиту, но ни одна газета их не публиковала, так же, как и мои ответы Салуцкому. Лишь через полтора года после начала кампании, когда специальное заседание научного общества “Энциклопедии российской деревни” под председательством академика А.А. Никонова однозначно отвергло обвинения в мой адрес, на последней странице газеты “Известия” был опубликован небольшой материал об этом. Думаю, заметили его немногие, клевета же распространялась мил-

лионными тиражами и как-то оседала, конечно. Знаете при-слолье: “То ли он шубу украл, то ли у него украли, но что-то было...” Вот сила прессы — обоюдоострая. А у меня к тому же натура совсем не борцовская, противостоять этому не могла. Написала, к примеру, ответ в “Правду” на очередную статью Салуцкого, а мне ответили, что общесоюзная коммунистическая газета частными вопросами не занимается...

Это к вопросу об успехах и разочарованиях. Частный вопрос. В данном случае пресса, конечно, была чьим-то орудием, причем “та” еще пресса, официальная, коммунистическая.

— *Вы поставили точку на своих публичных выступлениях?*

— Скорее да, чем нет. Ко мне нередко обращаются незнакомые люди с вопросом: куда я “девалась”, почему не выступаю, что думаю о происходящем? Говорят: “Мы доверяли вам, ждали ваших выступлений, вы были нам нужны!” Такие слова побуждают меня, по крайней мере, не отказываться от интервью корреспондентам крупных газет и журналов. А то даже Коротич в передаче “Старый телевизор”, посвященной I Съезду народных депутатов СССР, сказал, что вот была такая Заславская, а сейчас “растворилась где-то в космосе”. На самом деле я просто вернулась к своему главному делу — науке. Пишу книгу, читаю курс лекций “Трансформационный процесс в России: сущность, субъекты и механизмы”. Вот в этой области выступления в печати очень нужны. Хочется, чтобы коллеги знали, над чем ты думаешь, что делаешь, важен их содержательный отклик. В общественной науке, как и в прессе, нельзя работать, не имея обратной связи. Но профессиональные статьи и выступления в массовой прессе — это, конечно, разные вещи.

— *Татьяна Ивановна, почему, по вашему мнению, перестройка все же не состоялась? Почему при свободной прессе, раскрепощенности ученых, народном воодушевлении и подъеме общество не нашло наилучших решений своих проблем?*

— Одной из главных (если не самой главной) причин постигшей нас неудачи была, как мне кажется, атрофия научно-общественной мысли. Она не может развиваться без постоянного свободного, не ограниченного никакими табу, обсуждения возникающих сложных проблем, возможных методов и подходов к их решению. Таких условий в СССР не было с начала 30-х годов или даже с середины 20-х, то есть не меньше шестидесяти лет. За это время сменилось несколько поколений ученых, политиков, журналистов. Те, кто встретил перестройку, родились и выросли в обстановке идеологической монопо-



лии, преследований любых нетривиальных идей. В идейном плане научно-политическое сообщество, к которому я причисляю и себя, было “заморожено”, ограничено массой запретов, даже на размышления в определенных направлениях. Мы и сами себя ограничивали, сами себе не позволяли сильно отклоняться от Маркса. Поэтому потенциальный субъект перестройки — прогрессивная или реформаторская часть номенклатуры во главе с Горбачевым, опиравшаяся в идейном плане на реформаторское крыло ученых, — не смог справиться со стоявшей перед ним сложнейшей задачей. Требовалось глубокое реформирование всех базовых институтов советского общества: власти, собственности, аллокации ресурсов, гражданских организаций, прав и свобод человека. Но чтобы успешно осуществить эту “мирную революцию”, необходимо было глубокое знание реальной социальной структуры общества, расстановки социальных сил, заинтересованных в разных вариантах развития, имевшихся у каждой из них ресурсов, механизмов взаимодействия и борьбы этих сил. Ничего этого, как я уже говорила, не знали ни ученые, ни политики. Поэтому как реформаторские, так и противоположно направленные действия осуществлялись во многом “вслепую” и вели к непредвиденным результатам. Одним из них стала, например, глубокая криминализация экономики и общества. Кто из нас предвидел этот эффект? В лучшем случае — единицы. А ведь к началу перестройки дельцы теневой экономики представляли уже достаточно мощную силу. Не говоря о собственно криминальном мире.

Сейчас, на мой взгляд, мы переживаем не реформирование общества и не переходный период, а стихийную трансформацию, субъектом которой является не элита, как это чаще всего утверждают, а все общество со всеми его элементами, включая даже социальное дно. И то, что мы имеем — результат взаимодействия этих чрезвычайно разнородных субъектов. Что я конкретно имею в виду? Деятельность правящих групп (как формальных субъектов реформ) является лишь первым толчком к переменам. Допустим, вы толкнули паровоз, но нужно еще знать, куда он поедет и какой там склон. Вы, однако, его толкнули, а не толкнули бы — ничего бы и не было. Дальше дело начинает раскручиваться, в него включаются новые силы (я считаю, что в первую очередь — средние слои общества, располагающие большими экономическими, интеллектуальными и деятельностными ресурсами). Функция этих слоев в трансформационном процессе состоит в массовой социально-инноваци-

онной деятельности, именно массовой. Ни Егор Гайдар, ни Владимир Путин, какими бы реформаторами они ни были, не могут самостоятельно преобразовать Россию. Для этого требуются верно направленная энергия и заинтересованность достаточно массовых общественных групп, представленных во всех частях страны и во всех сферах экономики. Конечно, общие правила игры задаются правящим слоем сверху, но представители названных групп не только действуют в рамках правил. В действительности они их в чем-то преобразуют, приспособливают к местным условиям, а если это не получается — через них перешагивают, обходят всякие ловушки. В результате возникает новая система институтов, к которой приходится адаптироваться каждому человеку, не имеющему никаких управленческих или предпринимательских функций. И опять-таки: от того, какие пути адаптации выбирает большинство таких людей, также зависит конечный результат трансформации.

В функционировании всей этой пирамиды уровень зрелости правящих слоев и интеллектуалов, на которых они неизбежно опираются, является одной из важнейших предпосылок успеха. В нашем же случае этот социальный субъект был абсолютно не готов. Мы должны это признать. Не только в нижних, но и в верхних слоях общества преобладало мифологизированное сознание. Мифы очень прочно встраиваются в сознание. Это ведь не то, что пришла домой, костюм сняла, халат надела. Многие люди так и умрут с убеждениями, которые новыми поколениями оцениваются как мифологические (преимущества “реального социализма” над капитализмом, несокрушимая дружба народов СССР и прочее). Это сейчас, через десять лет можно мобилизовать команду, которая работала бы еще несколько лет и создала серьезную программу реформ с учетом действующих социальных сил. Но стартовые условия были другие.

Второй момент, существенно помешавший осуществлению реформ, — это практически сразу возникшее противостояние демократической интеллигенции и квазиреформаторского крыла номенклатуры, державшей рычаги власти в своих руках. Скажем, если бы Горбачев отнесся к демократически ориентированной “Московской группе” депутатов Съезда с пониманием и уважением, она работала бы в полную силу и могла сделать очень много. Но классовый интерес оказался сильнее, и с первого момента, до начала Съезда, Горбачев определил членов группы как ревизионистов и дал клич: “ату их!”. Мол, кто они такие, чтобы иметь свое мнение, выступать против Генсека,

КПСС? Какие-то выскочки, один (Г.Х. Попов) вообще без галстука, в свитере, а что себе позволяют? К сожалению, эта расстановка сил была predetermined объективно. Мы, представители демократической интеллигенции, не понимали всей мощи партийной бюрократии и слишком верили в искренность намерений радикально модернизировать систему, качественно поднять ее эффективность, преодолеть разрыв между властью и народом. Что касается лично Горбачева, то он, возможно, и хотел это сделать, но не мог. Во-первых, потому, что правящая номенклатура никогда ему этого не позволила бы. Во-вторых, он сам был ее представителем, что накладывало неизбежные ограничения. Отсюда — его двойственная, “виляющая” политика, которая в конце концов привела и к краху перестройки, и к его личному поражению. И это при том, что Горбачев как генсек был единственным человеком, который вообще мог начать реформирование системы. Боюсь, что реальной альтернативы здесь не было, и если бы он “обнял” Сахарова и Афанасьева и стал действовать согласно их взглядам — его либо пристрелили бы, либо немедленно собрали Политбюро и сняли с поста. Один человек вообще мало что может, не говоря уже о том, что его собственные убеждения были не очень радикальны. Он хотел не перестроить, а чуть-чуть улучшить систему.

Следующий момент — отсутствие команды реформаторов, дозревшей до решения конкретных задач. Возьмем хотя бы того же Г. Попова — одного из лидеров демократов. Он стал не более и не менее как мэром Москвы, это же гигантские возможности преобразований. А Москва при нем буквально разваливалась. И это характерный пример. Большинство демократов, в отличие от бюрократов, умели говорить, но не умели делать. И именно осознание этого факта побудило меня в конце концов уйти из политики. Политик должен знать “как”, а я не знала. Включили меня в комиссию Верховного Совета и Съезда “по ценам, труду и социальным вопросам”, казалось бы, строго по специальности. В комиссии было сорок человек, в том числе пять докторов экономических наук, которые более или менее понимали и поддерживали друг друга, но были в меньшинстве. Остальные же члены комиссии были чистыми практиками — учительница, председатель колхоза, врач, шофер. И как только возникла задача коллективной законодательной деятельности, я поняла, что не могу принимать в ней участие. Во-первых, потому, что не имею нужной квалификации и, во-вторых, — другие знают намного меньше меня, у меня же один голос из

сорока. Максимум того, на что я была способна, — сказать, к каким негативным последствиям приведет наше законодательное решение, а вот как надо было бы написать более “правильный” закон — не знала: не имела юридического образования, не знала всей системы законов, которые уже действовали в этой сфере. Осознав эту ситуацию, я и попросила исключить меня из комиссии в первую же ротацию.

То же самое происходило и на уровне “Московской”, а затем “Межрегиональной” группы депутатов. Люди там собрались замечательные, головы ясные, но не профессионалы в области госуправления. Резолюции готовились на столь дилетантском уровне, что во многих случаях я просто не могла за них голосовать. Мне предлагали написать лучше, но я тоже не знала — как.

В целом все мои рассуждения, по существу, клонятся к одному: отсутствию социального субъекта, глубоко знающего советское общество, понимающего расстановку общественных сил, действие социальных механизмов, имеющего продуманную программу реформ, требуемый статус и политическую волю. Ничего этого во второй половине 80-х годов в России не было. Я знала только один пример глубоко продуманного замысла реформы и ссылалась на него в докладе 1983 года. Это работа ныне покойного Б.П. Курашвили, сотрудника Института государства и права, “Реформа государственного механизма”. Помимо развернутого обоснования содержания самой реформы, документ содержал не меньший раздел, посвященный анализу вероятных последствий предлагаемых перемен для разных сфер общества (кажется, из четырнадцати глав). Я была поражена тщательностью этой работы, автор которой сознавал, что если повернуть такие-то рычаги механизма госуправления, то очень многое начнет меняться, и надо заранее понять, в какую сторону. Вот для этой сферы последствия будут позитивные — замечательно, а вот для той — негативные, значит, надо продумать, как этому противостоять, как избежать катастрофы. А для этого как раз и надо понимать социальные механизмы, встроенные в общественную жизнь.

— *Как вы полагаете, Татьяна Ивановна: сейчас такого знания об обществе больше или меньше?*

— Я думаю, что значительно больше. Правда, и само общество стало на порядок сложнее. Иногда пишут: “Тоталитарное, идеологически целостное советское общество распалось...” В действительности, оно, конечно, не было целостным,

смешно говорить. Но его можно было сравнить с крепкой бочкой, спаянной железными обручами, — дощечки разные, а обручи жесткие. Сейчас же практически все скрепы распались, и получился своего рода цыганский табор: один вещает о Руси Киевской и о Византии, а другой убеждает, что Россия почти наполовину находится в постиндустриальной эре. Бесконечное разнообразие взглядов, концепций, подходов, и никаких скреп, очень не хватает целостности. Однако мне кажется, что общественные науки развиваются достаточно быстро. Лично я не успеваю читать все то, что выходит и явно заслуживает прочтения. Стопки новых книг и журналов растут быстрее, чем я могу с ними справиться. Обсуждаемая проблематика сильно расширилась, нет уже недоступных тем. Возрос методологический уровень исследований, стала нормой совместная работа с зарубежными коллегами, заметна организующая деятельность научных фондов, ведутся мониторинговые и сравнительные исследования.

Конечно, велико влияние западной литературы. В начале 90-х годов, с установлением свободы слова, на нас обрушилась гигантская волна западных идей и теорий, как бы накрывшая российскую социологию с головой. Потом эта волна схлынула, и восстановилось разумное отношение между собственным научным наследством и теориями, построенными в расчете на другие типы обществ, тем не менее, содержащие ценные общие идеи и подходы. После отлива осталась масса прежде не знакомых нам идей, которые способствуют обогащению нашей науки, если ими разумно пользоваться. В наших знаниях о своем обществе и сегодня остается масса пустот, даже своего рода пустынь, которые постепенно заполняются с опорой на современную западную мысль, но преимущественно, конечно, силами российских ученых. Зарубежные исследователи постсоветской России сегодня знают о ней значительно меньше, чем мы, но все равно очень много места для повседневной работы, конкретных и теоретических исследований. И они ведутся. Творчески работают не только в Москве или Петербурге, но и в Новосибирске, Саратове, Нижнем Новгороде, Пскове, Сыктывкаре. Так что в целом у меня скорее оптимистический взгляд, несмотря на действительно огромные трудности, связанные прежде всего с финансированием науки и, следовательно, возможностью проведения крупных системных социологических исследований.

Для меня одним из важных критериев оценки состояния науки являются симпозиумы “Куда идет Россия?”, которые еже-

годно проводят Интерцентр и Московская школа социальных и экономических наук. Примерно треть их участников постоянна, часть бывает не всегда, а часть вообще сменяется (кто-то особо интересный появляется на горизонте, по-другому обозначается тема, смещаются акценты). Обычно бывает 150–160 участников, вот уже семь симпозиумов прошло. Так что это довольно репрезентативная группа ученых — сколько же интересного приходится слышать, какая свободная, раскрепощенная мысль! Мы этого не имели на протяжении всей жизни. Сталкиваются и противоположные точки зрения, масса вопросов так и не находит ответа, но люди работают, ищут эти ответы. Много людей. А главным материальным обеспечением большинства интересных исследований сегодня являются не государственные ассигнования, а гранты.

Однако надо сказать, что какой-то общей спасительной, перспективной идеи, за которую можно было бы ухватиться, пока не видно. Самое главное, конечно, чего недостает — это общей теории посткоммунистических трансформационных процессов. Именно на ней должна была бы базироваться стратегия возрождения общества. Сейчас вся стратегия исчерпывается тем, какой тип кризиса мы переживаем. Ну, а дальше что? Есть, конечно, позиция естественного развития общества, мол, оно так или иначе найдет правильную дорогу. Не знаю, годится ли она для нынешнего времени с его ускоренными темпами. Пока будем “естественно развиваться”, превратимся в дикарей на окраине мира...

Общая теория нам крайне нужна. Конечно, не в том смысле, чтобы все ее исповедовали и она была обязательна. Главная задача — убедительно обобщить уже накопленные результаты. Многие из них внешне противоречат друг другу — но, возможно, за этим стоят лишь две стороны одного вопроса? Необходимо сформировать какую-то целостную картину происходящих процессов. Быстро это, конечно, не делается. Коллективными усилиями можно выстроить лишь основание некой пирамиды, может быть, и довольно высокое. Однако дальше, наверное, должен появиться гений, который один только сможет увидеть всю пиг амиду, в целом. В лучшем случае это дело огромного таланта. Попытаться увидеть целое может любой талантливый человек, многие и пытаются. А вот описать это целое таким образом, чтобы все остальные поняли и хотя бы в основном согласились, приняли как что-то свое (“как же мы этого раньше не разглядели?”) — это не каждому дано. Поэтому и остаются

такими гигантами Вебер, Маркс, Парсонс. Но тот же Маркс не зря годами сидел в Лондонской библиотеке, его теория базировалась на огромном эмпирическом материале, составившем ее основание. Основа пирамиды уже была, и на ней он воздвиг обобщающую картину.

Сейчас большинство российских ученых изучает разного уровня частности. Реально функционирующая наука иерархизирована по уровню обобщения (даже если исходить лишь из объекта исследований). То есть один человек изучает предприятие, другой — город, третий — республику, четвертый — мир... Я где-то читала, что академик Ландау создал собственную иерархию ученых в зависимости от того, картину какой части или сферы мироздания им удалось изменить. Те, кто стал родоначальником каких-то новых частных наук, относились к 5–6 уровням, Маркс и Фрейд — к 3-му или 4-му. Остальные лишь “унавоживали для них почву”. В общей сложности ученых набралось за всю историю человечества несколько сотен. С этой точки зрения задача представить социологическую модель современного российского общества слишком узка, чтобы считаться наукой. Во-первых, одна страна, во-вторых, одна дисциплина. Но для развития науки равно необходимы все уровни обобщения, и верхний невозможен без нижних. И та задача, о которой я говорю, осознана многими учеными, молодыми и старыми. Я тоже пытаюсь что-то сделать.

— Скажите, Татьяна Ивановна, а пресса, на ваш взгляд, сейчас вообще не участвует в этом аналитическом процессе? И кто тогда исполняет ту роль, которую она играла в свое время, скажем, в ходе перестройки?

— Значение прессы сейчас резко упало в силу известного ряда обстоятельств. Когда-то газета “Московские новости” была, по существу, общесоюзной демократической газетой, ее читали в каждом уголке. Я не знаю, кто выполняет теперь такую роль, думаю, что никто. Иначе обязательно доходили бы какие-то отзвуки об этой работе. Вот, к примеру, недавно в Новосибирске была проведена международная конференция по проблемам независимых негосударственных организаций — это как бы ростки гражданского общества. Количество их весьма велико — далеко за триста тысяч. Но ведь их не видно и не слышно. Где они? Что делают? Какие вопросы решают? В основном — только планы, отдельные шаги. Да ведь и денег нет для работы. Не знаю, кто способен заменить свободную демократическую прессу. Сама же она, наверное, рада была бы и дальше серьезно ра-

ботать, но мешает какая-то глубокая усталость общества. Просто устали люди. Бежали-бежали, хотели бабочку поймать, но бабочка улетела, ночь опустилась, ничего не видно. Надо отоспаться, а потом посмотреть, что там днем будет...

Сама я не связана с ежедневной прессой. С другой стороны, должна по статье чуть ли не каждому социологическому журналу и, в общем, пишу. Трудность в том, что пытаюсь все-таки построить целостную концепцию, а из целого сложно вырывать отдельные куски. В концепции связи между элементами, быть может, важнее самих элементов. Кроме того, чем выше хочешь подняться в уровне обобщения, чем на более сложную задачу замахиваешься, тем значительно (в разы) возрастает объем источников, которые ты должен знать. Поэтому чем больше я работаю, тем сильнее ощущаю недостаток знаний, а с таким ощущением писать статьи очень трудно. Иногда мне кажется, что я ни в чем не убеждена, потому что любой точке зрения могу противопоставить противоположную, а выбор остается за мной (как и за любым другим ученым).

— *А вас не смущает, что если вы и ваши коллеги отступаете от печати, то ваше место (условно говоря) занимают дилетанты? Вопросы, которыми занимаетесь вы, они запросто разбирают публично, выдвигают свои теории либо начинают с нуля, как бы перечеркивая уже накопленное?*

— Ну, они и воспринимаются как дилетанты. Когда-то мы много работали с Жанной Манучаровой, в основном для “Известий”. Она была очень талантливым журналистом, я храню о ней добрую, хорошую память. Но у меня было такое ощущение, что все-таки из моей научной работы, из всей области убеждений для прессы надо отбирать нечто “призывное”, как бы обращенное к широким массам. А мне это чуждо. Я не люблю и даже боюсь толпы, в которой люди часто теряют лицо. Предпочитаю сотрудничество с научной печатью. Высоко ценю сборники “Куда идет Россия?”, которые мы выпускаем регулярно, после каждого симпозиума. Они пользуются все большим спросом — среди ученых, естественно. Обычный тираж — тысяча экземпляров. Как-то выпустили полторы — не разошелся. От нашей неумелости, конечно. Ведь когда привозишь несколько экземпляров в Новосибирск или какой-то другой город, то люди смотрят жалобными глазами — достанется ли? Но сколько я могу привезти с собой? Торговля же научными изданиями не поставлена совершенно, большинство книг можно купить только в Москве...



— *Так не целесообразно ли использовать и возможности широкой печати — журналов, газет? Ведь мало кто, кроме непосредственных ваших коллег, просто знает об этих симпозиумах, не говоря уже об их содержательной стороне. А жаль?*

— Что-то мы меняем в своих правилах. Раньше, например, пытались проводить принцип: участники симпозиума печатаются только в сборнике его трудов. Не хотелось публиковать то, что уже опубликовано, скажем, в журнале или как часть монографии. Сейчас от этого отказались. При нынешних тиражах журналов каждую статью прочитывает весьма узкий круг специалистов, междисциплинарного же обмена идеями почти не происходит. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы в сборнике были представлены все материалы, нужные для отражения целостности. Мы видим свою специфику именно в том, чтобы собрать воедино мнения и дискуссии компетентных специалистов по обсуждаемой теме, причем разного профиля. Журнальные и газетные публикации в своем роде неоченимы. Но все же рассчитываешь на близкую тебе аудиторию.

А общее впечатление такое, что сегодня понять Россию умом мы все-таки еще не умеем. Похоже, нашего коллективного ума недостаточно, чтобы осознать всю сложность общества, его нынешнее состояние, действующие в нем механизмы. Мнения о том, “Куда идет Россия?”, слишком разноречивы, причем внимание ученых приковано прежде всего к исследованию того, что уже происходит, будущее же продолжает оставаться неопределенным. Сохраняется состояние бифуркации, когда в зависимости от случайных причин процесс может пойти в самых разных направлениях. В этих условиях предсказывать будущее крайне сложно. Но как оптимист, я считаю, что в Россию можно и нужно верить. И сама я в Россию верю, вижу, что, несмотря на тяжесть болезни (а сейчас она больна глубоко), запас внутренних сил у нее сохраняется. Это кризис, а не катастрофа. Но кроме веры, пока мне нечего положить на эту чашу весов.

1993–2000

Ю.А. Левада

## “В мире аудиовизуальной коммуникации нужен новый тип газеты”

— Юрий Александрович, опросы руководимого вами Всероссийского центра изучения общественного мнения выявляют немало сдвигов и в интересующих нас сферах: пресса — сознание — социальный мир. Каковы эти сдвиги в последние годы, о чем они говорят? Не могли бы вы поделиться своими соображениями?

— Все-таки очень трудно прессу отделить от средств массовой информации вообще. Ведь сейчас примерно четыре пятых людей “потребляют” электронные СМИ, газеты — лишь одна пятая, причем большей частью местные. Они выступают на первый план (местные интересы людям ближе). А вот центральные газеты резко потеряли влияние, они играют самостоятельную роль разве что в специальных средах. Ну, это вроде предварительного замечания.

Какие же сдвиги произошли здесь за последние десять лет? Прежде всего мы пережили бум гласности, он же и бум свободы слова, поначалу — в большой степени печатного. В прессе нашли отражение либеральные течения, появились либеральные издания как таковые. “Метка” — это “Московские новости” с 1987 года, когда туда пришел Егор Яковлев. Конечно, изменение лица газеты — не только его инициатива, это связано и с другим Яковлевым, Александром Николаевичем, и с общей перестроечной линией: “Московские новости” и некоторые другие издания использовались как рупор перестройки. Еще существовали цензура, партия, ее монополия на печатное слово, но в данном случае поводок решено было отпустить подлиннее. Потом стали рождаться издания совершенно нового типа — для начала “Коммерсант-weekly”, затем он же “daily”, “Независимая газета”, “Сегодня” и другие, хотя общероссийских было немного. Наконец, одно из событий, которое мы тогда отмечали, — завоевание свободы подписки. Это был 1988 год (до конца 87-го у нас была лимитированная подписка). Покончили со всякого рода “спис-

ками”, распределительными нормами, очередями на почтах. Все это было одним из моментов горбачевской политики гласности, связанных и с цензурно-политическими, и чисто финансовыми соображениями. И тогда сразу подпрыгнули тиражи. “Известия” стали выходить, если не ошибаюсь, тиражом в десять с лишним миллионов, “Новый мир” — почти в два миллиона, и так далее. Лимит на “Московские новости” сняли позже, когда тираж уже не мог прыгать.

Бум продолжался примерно два года (1988–1989). Потом все тиражи пошли вниз, ибо первоначальный заряд интереса исчерпался. Издания стали немного дороже, но вряд ли экономика играла тут главную роль (все-таки подписка была тогда совсем дешевой). Читатели немного “объелись”, а газеты и журналы сказать что-нибудь новое уже не могли, ибо весь смысл гласности состоял в том, что из кармана вынули “кукиш”, а из столов — накопившиеся рукописи. Журналы стали печатать то, что уже все знали. Есть такое шуточное определение перестроечной печати: “Это когда мы читаем в открытую то, что раньше читали подпольно” (“самиздат”, “тамиздат” и так далее). Социологи тогда отслеживали этот процесс, выявляли определенные закономерности, у нас были данные по подписке, тиражам, кто читал, что читал... Сейчас подобные исследования возможны только применительно к “Аргументам и фактам”, “СПИД-инфо” и такого же рода изданиям.

— *“Московский комсомолец” вы в этот ряд не включаете?*

— Он все-таки по стране не всюду идет, по центральным районам — и то не везде. Его во многом читают из-за его бульварности, лихости... Но это особые качества — сначала тоже совершенно новые, невероятный стиль для советской прессы в сочетании с лимитируемой свободой мнения.

Где-то к 1990 году этот период кончается, начинается другой, связанный с нарастающим разочарованием в обществе и обострением политической ситуации. И в это время уже работает конкуренция с телевидением. Сфера-то, на самом деле, одна — масс-медиа, просто разные способы организации и выражения. Но это явный фактор изменения места прессы: поле-то одно, а на нем другой “зверь” живет и имеет свои основания жить, сколько на него ни ворчи, даже будет захватывать большее пространство. Туда же вторгается Интернет. Теоретически пресса должна находить свое место на поле СМИ, более специальную аналитическую плоскость. Именно в газете настоящая аналитика и может быть. Только газета способна давать обос-

нованную, аргументированную точку зрения — телевидение для этого не приспособлено. А пока такой ниши у нее нет. И происходит спад, который где-то ко второй половине 90-х годов превращается в борьбу за выживание. Пресса становится невыгодной, существует на дотации, наполовину заполняется рекламой, которая ее тоже, как правило, не спасает. Требуются дополнительные дотации, спонсоры... Все это приводит к тому, что газеты имеют тиражи, близкие к европейским (не больше, чем сотни тысяч). Это означает, что газету выписывает очень малый процент населения, потом, после всех экономических передряг, подписка становится тяжелой проблемой. Большинство населения вообще ничего не выписывает. Остальные выписывают одну газету (в то время как в 1989 году — четыре, пять, шесть). Некоторые читают лишь то, что им бесплатно бросают в почтовые ящики (издания типа “Экстра-М”).

Что произошло за то же время с обществом, как им оцениваются изменения в СМИ? Один из главных выигрышей, который люди называют, — возможность читать, слушать, смотреть то, что им хочется (это отмечает примерно каждый пятый). Если первый по частоте признак изменений, выявляемый в опросах, — возможность покупать разные товары, то есть ликвидация дефицита, то второй — ликвидация дефицита и в типах информации. Это совершенно реальный выигрыш, интересный, новый. Еще любопытное явление: именно печать у нас сегодня многопартийна, в отличие от телевидения, которое “полупартийно” в лучшем случае. Пресса дает разнообразные точки зрения — есть из чего выбрать. Соответственно потерялся всякий интерес к зарубежным печати и телевидению, потому что ничего сверх того, что пишут и говорят у нас, они сказать не могут.

Завоевание некоторой степени плюрализма, многообразия — совершенно реальный факт. Но возникает вопрос: что серьезные люди получили, кроме такой вот возможности выбора? Пользоваться правом выбора общество не умеет, потому что оно по-прежнему мало организовано и мало политически воспитанно, с плохим представлением о том, что такое разные направления. Говорить по-разному — ладно, а что реально делать? Все оказываются в одном коридоре, и разнообразие позиций здесь свертывается, нивелируется, утрачивает практическое значение и пока получается не слишком интересным. Ну, возможно, это когда-нибудь пригодится. Хочу сказать, что люди ценят плюрализм. Не только считают достижением, но и на провокационные вопросы,

которые мы время от времени задаем — “Не следует ли нам для порядка, спасения, в виду всяких чрезвычайных положений ограничить свободу слова, прикрыть эти никуда не годные партии?” — говорят: “Нет, не надо”. Не дают идти вспять. Парламент не любит, но отказаться от него не хотят. Выборы считают вздорными, но полагают, что проводить их надо.

— *Скажите, Юрий Александрович, а не смущает наших граждан то, что пресса, стремясь к сенсации, к эпатажу публики, нередко игнорирует моральные нормы, прибегает к непозволительным способам ведения полемики, допускает оскорбительные для людей высказывания?*

— Видите ли, когда-то, помимо официальной цензуры, у нас за всем следил и редакторский глаз. Предполагалось, что и за соблюдением норм нравственности тоже. Потому все было очень строго, чинно, мирно, правильно (кроме раздела какой-нибудь милицейской хроники или специально раздуваемых скандалов). Потом эти функции отпали, и понемногу вся пресса повернулась к нам не лучшей стороной. Она старается удержаться за счет развязности, которую считают признаком смелости и критичности. Теряются критерии того, о чем надо и о чем не надо писать, некоторые издания просто скатываются к бульварщине. А это предполагает не только интерес к весьма определенной тематике, но и соответствующий стиль. У нас такой стиль (“стёб”) существует где-то с 1992 года — этакая псевдоирония, полупохабщина, скрытая и явная развязность. Не знаю, как его определить, но это очень высокая волна, которая захлестывает практически все издания. Не вижу ни одного, которое умело бы ей противостоять, вплоть до “Известий”.

— *Не кажется ли вам, что в данном случае газета хотела заполучить более молодого подписчика (традиционный то подписчик — люди пожилые), а в итоге и молодого не приобрела, и старого потеряла?*

— “Известия” многое потеряли: четкую общественно-политическую ориентацию, авторов. Их раскол — вредоносная вещь, потеря опыта. Сейчас они, казалось бы, уходят от “стёба”, стремясь сохранить солидность, но нет-нет какая-нибудь шуковина и режет глаз.

Вероятно, сказывается и смена поколений в журналистике. Одни выросли, заняли позиции, остальные стали им подражать, потому что нельзя же писать так, как писала когда-то партпечать. Но нет нормального языка. Кто-то ёрничает на интеллектуальном уровне, чем очень затрудняет понимание. Кто-то пи-

шет “под Шендеровича”, иногда остроумно и умно, иногда, к сожалению, наоборот. Но обязательно надо не просто и серьезно, а с выкрутасами, с претензией на интеллектуальность либо на пошлость, на что угодно. Это означает дезориентацию пишущих людей и связано с тем, что происходит, по-моему, некоторая депрофессионализация прессы. У нас потерялись крупные имена и ориентация на эти крупные имена. Для аналитики, которая по определению должна отличать прессу, необходимо серьезное перо, нужны люди, умеющие думать и писать. А их у нас практически нет. Это связано, конечно, не только с печатью — с самим характером общества, политическим сознанием в нем. Нет у нас трибунов, мыслителей, публицистов.

Совершенно неудачными оказались попытки создать радикальные органы печати (скажем, литературный “Апрель” или газеты новых партий). Самый грустный пример — гайдаровский “Выбор России” — некий “внутренний листок”, газета для партийных функционеров, не более.

Таким образом, коротко можно сказать: период перестроечной прессы — это массовая мобилизация публики, а массовая мобилизация — значит, некоторое пробуждение или возбуждение демократических надежд и чаяний, туманных, но благородных. Хотя в значительной мере это делалось руками людей “примазавшихся”, переделавшихся, перекрасившихся (что в общем тоже нормальное явление). Потом все это вместе с политическими судьбами страны изменяет свой цвет и запах, опускается, и мы получаем печать довольно растерянную, слабо ориентированную, мало просвещающую публику. И публика поэтому не очень ею и интересуется. Местная же пресса, сейчас весьма влиятельная, отражает интересы своих кланов, их борьбы, чаще всего не связанной с политикой в привычном ее понимании.

Конечно, идут какие-то процессы и во внутреннем, так сказать, мире печати. Но я его не знаю и не рассматриваю. Я социолог и могу сказать о печати лишь то, что связано с происходящим в обществе.

— *Сейчас, когда меняются место и роль прессы, когда она повернулась, как вы говорите, не лучшей своей стороной, — как выглядит ее читатель? Что вообще, на ваш взгляд, можно сказать о нынешней читающей публике?*

— Тот бум гласности, о котором мы говорили вначале, зря не прошел. Люди в массе своей стали интересоваться печатным словом — только уже другим. Они перестали читать газеты, больше смотрят телевизор (что неизбежно) и больше читают

“массолит”. Но это не те, кто раньше в метро читал графа Толстого — это те, кто не читал ничего. Прошедший бум воспитал читателя, живущего полубульварной литературой, и это нормальное явление — не самое приятное, но и не самое страшное. Наиболее популярное в массах чтение — “дамский роман” и детективы, которые открылись у нас лет пятнадцать назад. Раньше, правда, выходила переводная серия, всех старались воспитывать на пост-Шерлоке Холмсе, отчасти на самом Шерлоке или Сименоне. И все это разом где-то в 90-е годы вдруг надоело, стали нужны наша родная жизнь, родные злодеи, следователи, приключения, жертвы. Существует по-прежнему и переводной детектив, но он теперь на заднем плане. Появились свои школы, авторы, авторские фабрики, где пишут и выпускают всякую всячину. И люди читают. А ежели посмотреть, что они читают в метро, то в массе своей — “Московский комсомолец”. И еще решают кроссворды.

— *Читают, скажем, и Пелевина. Много молодежи — с его книжками.*

— Просто так его читать, по-моему, нельзя — только для аналитических целей. Пелевина читает публика, которая считает себя элитарной, которая умеет выдержать такое чтение. Ну, это отдельный разговор — пижонское чтение, пижонское поведение. Оно есть, оно интересно, важно, но это своя игра... Массовый читатель потребляет массовую литературу. У нас была видимость того, будто в советские времена мы воспитали людей, читающих Николая Островского, Максима Горького и так далее. На самом деле это проходили в школе. Школа, конечно, впервые была массовой, это своего рода достижение, но и “оболванивание”. В одно и то же время было и так, и так. И она подала образцы литературы таким образом, что потом люди никогда уже к ним не возвращались и вообще ничего не держали в руках. А сейчас держат такой вот “массолит”. Будут ли держать что-нибудь другое — не знаю.

— *Юрий Александрович, а вы не интересовались в ходе опросов, как оценивает само население качество того, что оно читает? В данном случае нас, конечно, прежде всего интересует оценка качества прессы.*

— Строго говоря, такого вопроса у нас не было. Трудно сравнивать с чем-нибудь. Это надо брать, например, аудиторию тех же “Известий” сегодня и пять, десять лет назад. И потом: кто ставит оценку и на каком основании? Но вот выявляется такой феномен нашей жизни, очень странный — высокое дове-



рие к прессе и телевидению (до 70 процентов). Пожалуй, самое высокое по сравнению с другими социальными институтами. Выше или около того — только доверие к церкви. Дальше идет армия. Это многократно подтверждено.

— *И во всех возрастных группах?*

— Практически, да. Правда, образованные группы доверяют печати меньше, они более критичны. Но это давно известно: одни читают или смотрят, открыв рот, как дети; другие все-таки смотрят, прищулив глаз, они в той или иной степени способны к анализу. Но таких мало, в основном же СМИ человека поглощают, не дают ему возможности оценить, что, к чему и как — да он и не умеет это делать. И из этого неумения возникает факт высокого доверия. Причем больше доверяют “картинке” ТВ. Очень сильно действует. Картинка — это “на самом деле”, к ней отношение не критическое. Неважно, что завоеванное разнообразие позиций отражается отнюдь не полно, не глубоко. Люди будто рады обманываться, считая, что им показывают все стороны события, явления — другого-то источника ведь нет.

Раньше было немного иначе, потому что общие знания давали учебники и пропаганда. Они были стабильны, надо было лишь подогнать факты под действующие рамки. Интересно, что для многих они действуют и сейчас. Получается так: у нас агитпропа официально нет, школа ничего специально установочного почти не дает — все заменяет текущий поток информации, из которого люди выбирают более им понятное и привычное. Фактически действуют те же старые шаблоны, только масштабы иные. То, что проникает в это единственное окошко в мир, на самом деле не может отчетливо отложиться в сознании. Другое дело, что общество должно бы способствовать тому, чтобы выбор был более критичным, разумным и так далее. Но мы до этого не доходим. У нас происходит то, что в другом виде происходит где-нибудь в Африке: люди сначала покупают телевизор, а уж потом штаны, грубо говоря; или сначала берут в руки автомат, а потом перо и карандаш. У нас идет построение цивилизации, и никто этому помешать не может. Так оно происходит, и так оно будет. Мы получаем технические верхушки современной прессы и телевидения — общедоступность, быстрота, оперативность, цветные картинки — значительно раньше (на десятки лет раньше), чем учимся понимать, в какие внутренние, общественно-политические рамки все это можно вкладывать. Но иначе быть не может, потому что мы не можем отгородиться от мира. Уже китайцы не в силах отгородиться от всего све-

та и созреть до того времени, когда все и всё начнут понимать. Значит приходится иметь дело с такой вот странноватой ситуацией, когда люди, втянутые в информационный поток, пытаются вкладывать новую информацию в старые рамки.

Мне пришлось недавно участвовать в дискуссии об отношении к Америке, причем по радио, когда отвечаешь на звонки публики. И вот одна женщина позвонила и стала кричать: “Америка чем-то хороша, но она угнетает индейцев, мы знаем, что коренное население она угнетает и истребляет”. Нас где-то когда-то научили смотреть на мир через какую-то трубу. В этом смысле к такому вопросу никто не был готов. Много чего можно сказать — так, сяк. А тут был вытащен давний и складный шаблон — и дальше уже можно говорить все: поэтому она, Америка, и югославов бомбит, и нам денег не дает, и так далее. Раз обижает индейцев, то все остальное становится простым, понятным и не требует никаких доказательств.

Новый тип массовизации дискредитирует, по-моему, элитарный фильтр, который был в советское время. Нас стремились воспитать в том духе, что воспринимать литературу, как и внешний мир, надо через призму того, что дает элита (культурная или политическая — они мало отличаются друг от друга). Кто герой, кто злодей, хороша или плоха эпоха... Был очень “смешной” для анализа переходный период — примерно 1987–1990 годы, когда на телеэкране появились “Взгляд” и некоторые другие передачи, а группы, которые их создавали, считались лидирующими, элитарными. Вы помните, что все они вдруг попали в большую политику, стали депутатами. А дальше — и рот не сумели открыть. Это очень странное явление — превращение телеведущих, артистов в политиков. Михаил Ульянов, Олег Басилашвили, Кирилл Лавров, Ролан Быков — все вдруг стали политическими вождями. Правда, Рейгана ни из кого не вышло. Происходило некое смешение политического театра с обычным театром, причем, как правило, через телевидение, потому что масса и знала этих людей благодаря телевидению, и что-то они там произносили. Все они через два года из политики бесследно исчезли, некоторые — отплевываясь, другие как-то незаметно. Потому что им там делать нечего, они там места не нашли и политиками не стали.

Весь тот период, связанный с пробуждением-возбуждением, казался очень любопытным. Многим и сейчас кажется таким. Но он закономерно должен был пройти. Люди сошли, эпоха прошла. Эти формы игры через масс-медиа, через печать в том чис-

ле, тоже должны были сойти. Актеры-политики перестали играть, их перестали ждать. Мне кажется, что сейчас у читателей и телевизионной аудитории нет запроса на подобные функции. Иногда прежние кумиры показываются, что-то вспоминают, обсуждают, но это вряд ли кого возбуждает. Уже все не интересно. Какой лозунг можно бросить, кого обругать, куда призвать, чтобы это людей поколебало? И какой человек это может сделать?

— *А что в этом смысле может пресса? И может ли?*

— Раньше у нас думали, что может. Печать была чем-то околовластным. К ней прислушивались. Ее побаивались. По нашей советской привычке, поскольку до власти не докричишься, все писали в газету. Негодовали, требовали, просили — кто из прежних журналистов не помнит огромные бумажные мешки с редакционной почтой! Сейчас отношения печати с властью довольно запутанны. В газеты уже не пишут, — ну, разве немного откликов на статьи. Их иногда публикуют, бывает что-то и интересное. Все газеты это делают, “Times”, в частности, тоже. Но это так, частная сторона. Широкого же явления, которое вызвано местными, личными интересами, нет.

— *Если учесть, что большую часть писем все-таки составляют жалобы, видимо, хорошо, что такая почта ушла?*

— Я не говорю, хорошо или плохо. Это изменение характера интересов, изменение характера ожиданий. Никто не ждет, что газета такая-то починит ему крышу. В крайнем случае, она может обратить внимание на положение в городе, области, и то — все равно ничего не сделает. Потому люди и не ждут, и не пишут, в чем есть свой плюс, ибо обращались в газеты от полной беспомощности. Беспомощности, может быть, теперь не меньше, но хотя бы нет такой обманки, самообмана: напишут — починят. Надо делать что-то иначе, так как происходит переход от общества распределительного (каковым был социализм) к обществу массового потребления, рыночному. Возможно, когда-нибудь научатся... Распределительное общество делало ставку на “разумные потребности”, наши идеологи, мудрецы разрабатывали оптимальные нормы потребления — сколько кому надо дать хлеба, мяса, газет, курортов. Все остальное следует к этим нормам привязать, а потом — только осуществить. Столько-то метров жилья на человека, столько-то килограммов мяса, а там, в промежутке, — ручки, вагоны, километры, тонны. Все в среднем поделить... Это был предел суперпланового хозяйства социализма. Массовое же общество ориентируется на потребителя. Что ему надо — то он и покупает, а что покупает — то и производят. От-

сюда все прочее. То же происходит и с интеллектуальными, информационными товарами (литература, публицистика). Уровень рассчитан на массы, поэтому теряются установленные критерии не только в смысле вкуса, допуска к печати (той же порнографии), но вообще критерии добра, зла и тому подобное. В литературе нет грани между дозволенным и недозволенным, русским языком и матом; можно все это намешать-намешать, и раз какой-нибудь читатель открыл рот — тут ему в рот и пихай. Это вот новое явление. Цензуры нет, власти сверх редакторской нет, никто не осудит, наоборот — все берут бестселлер как критерий.

Все это внове для нас. Наверное, есть какие-то критерии, какие-то этажи, которых мы “не проходили”. Я пытался об этом писать лет двадцать пять назад в “Иностранной литературе” — о загадке массовой культуры. Речь шла о том, что, с одной стороны, ее очень легко осудить (низко, пошло, вздорно), с другой стороны, понятно, что это на потребу публике. А публика вот такая, и она “все съест”. Вместе с тем мы очень хорошо знаем, что на том же трижды проклятом Западе это лишь один из этажей культуры, который существует рядом с другими и их не уничтожает. Тогда меня совершенно потрясал тот факт, что, при разлуке всего массового (всякой попсы и тому подобного), в США была тысяча симфонических оркестров. У нас в стране их всегда насчитывалось двадцать с чем-то, не больше, потому что это очень дорогое удовольствие, рассчитанное на высокий вкус, который не везде и найдешь. Кроме Москвы и Питера, было еще несколько центров, где существовали оркестры, в других местах они иногда гастролировали. Наверное, нормальное развитие — в каком-то “этажировании” культурных форм, в том числе и печати, телевидения. Ну, у нас опять до этого осталось семь верст с половиной...

— Юрий Александрович, по вашим наблюдениям, действительно ли пресса так уж успешно манипулирует общественным сознанием или, напротив, только отражает те или иные его аспекты?

— Манипулирование происходит, но главным образом через зрение, и лишь частично — через чтение. Телевидение тут, конечно, опережает прессу. Приведу лишь два примера из практики последних лет. Первый — выборы 1996 года, когда был “сделан” президент. В большой степени благодаря массированному воздействию на публику через телевидение и печать, дабы создать впечатление, что все-таки наименьшее зло — это привычное зло. И тут применялись разные формы воздействия —

для кого-то поумнее, для кого-то попроще. Но я не думаю, что все целиком было “сделано”, потому что, с другой стороны, была и готовность людей это воспринимать. Ее и использовали — мы это даже количественно проверяли (я об этом много писал). В начале 1996 года, когда на Ельцина уже “рукой махнули”, у него было 30 процентов потенциального доверия. Потенциального, то есть при определенных условиях его могли поддержать люди, которые раньше (в 90-м, а пик был в 89-м году) по тем или иным причинам за него держались. Потенциал остался, и его раскрутили. Очень трудно выделить, какую роль здесь играли специальные кампании. Некоторые, по-моему, были очень вздорные, барабанные, некоторые, может быть, серьезнее. Какую-то роль играло собственное понимание людей, что другого зла не надо искать, лучше держаться за то, что есть. Но все это в целом дало 36 процентов поддержки — чуть больше, чем мы полагали, но в ожидаемом диапазоне. И тут, несомненно, присутствовал элемент манипуляции.

Второй пример — югославский кризис 1999 года, ситуация с марта по май. Причем здесь тоже имел значение не только тон прессы. Была дана массовая заготовка, состоявшая в том, что Запад для нас — скорее враг, чем друг. Она утверждалась в общественном мнении несколько лет, примерно с 1994 года: Запад и США нам не помогли, они, если и помогают, то преследуют свои цели, хотят нас поработить и прочее, и прочее. Это действовало, потому что все другое, связанное с Горбачевым, — новый подход, новый мир, новое мышление, мировые ценности — заглохло, не получилось. А если у нас свои интересы, а у них, понятно, другие, — они с нами хотят соперничать, и так далее. А дальше на это сваливается — тоже через несколько месяцев подготовки — история с бомбардировками в Югославии, вызывающая в народе совершенно неподдельный отрицательный взрыв, который подогревается каждый день. Идет информация только с одной стороны. Мало кто у нас к марту 1999 года знал, как живут албанцы, что за отношения у них с сербами, зачем и кому они нужны или не нужны. Но для потребителей этой информации суть проста: Запад “хотел напасть”. Зачем? А очень просто, отвечали люди, — причем две трети так отвечало — им надо поработить, им нужно получить зону своего влияния. И целый месяц, с конца марта до конца апреля, шло это очень сильное, массивное и одностороннее воздействие. Ко второй половине апреля стало ясно, что сложившееся настроение должно иметь какой-то выход. Либо надо действовать, то есть воевать, либо надо куда-нибудь “отпол-

зать”. Воевать никто не хотел — против этого были и разгневанное общественное мнение, и наша печать, и наша оппозиция (всегда находятся, правда, крайние сумасброды, готовые идти в наемники, но это единицы). В целом власти испугались взятого тона и со второй половины апреля начали закручивать в другую сторону. На экранах стали все больше и больше показывать беженцев, албанцев, в газетах — ругать Милошевича. Но на людей это действует плохо, мало, потому что рамка, заданная изначально, остается преобладающей. В июне, когда тон СМИ вообще меняется на 180 градусов и на самом деле уже показывается освободительная война при нашем мудром участии, люди по-прежнему говорят о другом, повторяя все те же слова — бомбежка, агрессия и так далее. Наше участие по-разному оценивается, но представление о том, что мы встроились “в хвост победителя”, даже если о нем говорят и пишут, не доходит до людей: действует все та же заданная рамка, и она еще долго будет определять все. При том, что стремление не отделяться от мира, от тех же американцев, тоже существует.

— У тех же людей?

— У тех же людей. Иногда дело представляется так, что произошел полный разрыв, загублены навеки добрые представления о Западе и об Америке в глазах общества. Только не навеки... Слишком вязкая ситуация, чтобы она ломалась. Там перелив бывает несколько другой. Вот это действие не нравится — неразумное, не рассчитанное, не продуманное. Все так. Но есть другие каналы связи и другие каналы воздействия. Мы слишком тесно связаны в этом мире. Не только экономически, но и лично. И эти другие каналы действуют. С самого начала, когда мы спрашивали людей о том, что же дальше будет — опять “холодная война”? — большая часть считала, что все вернется к спокойному состоянию. А сейчас две трети говорят, что нам нужно вести общую политику с Западом; считающих, что надо “противостоять” — 18 процентов. Это я к тому, что мы имели дело с фактом манипуляции. Он остается в виде битых стереотипов и долго будет оставаться. Но он не всегда действует на реальное поведение.

— Юрий Александрович, что можно сегодня сказать о различении воздействия печати на разные слои населения, о воздействии нынешней дифференцированной прессы на дифференцированное сознание читателей?

— Пока, по-моему, рано говорить о таком явном различении. Существует некое хаотическое облако — как в массовом созна-

нии, так и в самой прессе — с очень неясно выявленными разграничениями. Рыночная ориентация прессы — на то, что ждут, что требуют — рождает ее “стёбность”, бульварность и прочее, о чем мы уже говорили, и сильно противоречит ее остаточной тенденции быть учителем, аналитиком и так далее. Такое впечатление, что учительская функция не только прессы, но и интеллигенции, вообще культурной части истеблишмента в значительной мере утрачена, и весь этот слой очень сильно растерялся. Запросы другого типа и другого типа удовлетворение. От той же газеты, кажется, уже не ждут, что она хотя бы сориентирует людей, объяснит им события. Их ориентиры сегодня — что есть истина, куда идти — являются результатом старой привычки, какой-то доли собственного опыта и разных влияний, как правило, случайных, негативного типа. Это то, что называется “всеобщая растерянность и дезориентация”, из которой когда-нибудь можно вылезти, упорядочив разные уровни влияния. Вернуться к типу советской мобилизации? Показали — “туда”, все бежим; приказали — “вставай”, все встаем; “ложиться всем в могилу” — тоже все как будто ложимся (на самом деле — лукавили). Так или иначе, другого мобилизационного типа нет и не будет. И невозможно к нему вернуться. А к какому типу двигаться? Ну, дифференцированного, разложенного по “этажам”, с профессиональной ролью культурной элиты, в то же время совершенно иной, чем она была. Все это не прописано, не задано и ощупью будет налаживаться, пока не найдутся какие-то жизнеспособные формы. Никто их не выдумает, никто их не навяжет — что уже хорошо.

— *Это напоминает высказывание Грушина на одном из социологических собраний — о “мутном бульоне”, который у нас варится, булькает и никак не может отстояться. И как долго, на ваш взгляд, он будет булькать и оставаться мутным?*

— Прежде чем люди стали ходить на двух ногах, сколько этот мировой бульон варился? Вы считаете, что он будет вариться быстрее? Нужно много времени, чтобы из него вышли какие-то приемлемые образования. Ну, потому что масса большая, влияния разные, ситуация вот такая. Нет учителей, нет лидеров — никто не формирует этот самый “бульон”. В него то воду подольют, то кость бросят, то булыжник попадет или еще что-нибудь погаже. Чтоб он “отбулькался” и чтобы люди научились “отцеживать”, если продолжать эту “бульонную” тему, нужно не только время. На самом деле наше общество крайне мало расслоилось. Оно продолжает быть слабо дифференциро-

ванным. Каждый может поднять флажок любого цвета или крикнуть любое ругательство кому угодно — влево, вправо, вверх, вниз. Ну, и что с того? Отчасти потому и может, что это никого не колышет. Отчасти потому все и допустимо, что ни для кого не опасно. Вот когда все молчали, один крикнет — это страшно. Когда все кричат — не опасно. Это такой переход.

— Ну, а что касается поколений, Юрий Александрович? Новое, по вашим данным, сильно отличается от предыдущих?

— Оно мало знает советскую жизнь и не хочет ее. Не хочет возвращаться назад. Оно хочет рынка и какой-нибудь демократии. Но... Есть иллюзия, что если людям не делать каких-то пакостей и как бы пустить их на свободу, то они становятся разумными. Однако их надо на протяжении многих поколений еще выращивать для этого. А иначе они отпущенные, в некотором смысле сорвавшиеся с цепи. Кроме разных чисто молодежных тусовок и группировок, которые более или менее “пена” (более или менее, потому что это все-таки большие города, малые группы, и на всех влияния не оказывает), существует ведь и другое, что меня, во всяком случае, очень поражает и возмущает в последнее время. Если рассматривать политические симпатии разных групп, то становится очевидным, что у самой молодой публики стал задираться “хвостик” нацизма, коммунизма. Я имею в виду конкретные вещи: привлекают коммунистические, антисемитские, “жириновские” идеи. Вот пришли результаты нашего общероссийского опроса, где мы спрашивали о симпатиях к разным партиям и направлениям. Там Жириновский получает 5–6 процентов, что для него более или менее нормально. Но 5–6 процентов — это в целом. А у молодежи до 24 лет — 12 процентов. Это уже выражение настроения. Дальше, в группах тридцати-сорокалетних, этого нет, процент падает. Из молодых людей заявляют, что хотят участвовать в выборах, порядка 33 процентов, из групп “старше 55 лет” — порядка 60, чем определяется “перекос” электората в сторону пожилых людей. В настоящее время это, к сожалению, так.

Если говорить о прессе, адресованной специально молодым, то сейчас есть группа изданий такого типа, которых еще десяток лет назад не было совершенно. “Старый”, но теперь бульварный “Московский комсомолец” и подражающая ему среда задают тон, который я уже, например, выдержать не могу. Хотя публика читает, и коллеги меня ругают: “Если изучаешь общественное мнение, должен знать, чем оно кормится. Оно же кормится этим”. Но “Московский комсомолец” — все-таки по-



литиканский, а есть издания чисто молодежные, “полустебковые”, которые увлекают людей (скажем, “Птюч”). И сколько там ни будет телевизоров, в том числе с текстом по специальной программе, с Интернетом по доступным ценам и так далее, наверное, будут и “бумажные” СМИ, которые можно подержать в руках, полистать. Как это будет сочетаться, трудно сказать. Сейчас все газеты и журналы заводят интернет-версии. Пользователей немного. У нас и процента не наберется. Это расчет на самое-самое. А кроме того, между прочим, смехотворны опросы, которые делаются у нас сейчас по Интернету и публикуются там (“Московские новости”, “Сегодня”). Опрашивают небольшую группу двадцатилетних технарей. Может, там их четыре тысячи, а, может, сорок тысяч, но они не представляют всех остальных. Это очень специфическая группа, очень хорошая, наверное, в среднем. Но это не общество — общество совсем не такое. Зачем же играть в эту игру?

— *На определенную часть общества, в какой-то мере и на молодежь, явно рассчитаны и газеты типа “Коммерсант”, “Сегодня”, “Независимая газета”, возникшие в последнее десятилетие. Какова, на ваш взгляд, их судьба?*

— Они в общем занимают какую-то часть населения. Если не ошибаюсь, около 10 процентов. Хотя это при прямом складывании, а тут сложить непросто. Если исключить повторение, то, видимо, они охватывают 3–5 процентов читательской аудитории в целом. В этом же кругу — журнал “Итоги”, “Коммерсант-власть”, “Новое время”. У них, думаю, есть свое будущее, ибо есть и своя среда. А среда эта пока недовольна тем, что они несерьезны, неинтеллектуальны, неаналитичны. Может, они вырастут в этом смысле, а может быть — никогда и не вырастут. Но это опять-таки проблема не массы, не массового читателя, а нашей недоразвившейся новой культурной, политической элиты. Это то, о чем мы уже упоминали: у нас ее “всерьез” нет, она не играет роль “властителя дум”, не формирует стандарты мышления, восприятия, оценки культуры. Она должна это делать — кто-либо другой не может. А она не умеет. Это и есть главный признак общественного кризиса, который мы переживаем. Именно здесь, по-моему, основной узел, если говорить про общество. И я не вижу на горизонте ничего нового. Люди, которые у власти (в том числе в СМИ), порождены еще той, первой волной перестройки. В печати действительно новым показался журнал “Столица” с попыткой создать некий свой угол. Думаю, именно угол, даже не слой. Журнал был интересен (его, как вы

знаете, уже нет), но отражал чисто московские переживания, вернее, высокостолничные. Тусовочность такая — то, что интересно для данных трех людей, то, что их смешит, злит, а остальные просто не понимают, о чем идет разговор. Надо же вариться в этом, надо каждый вечер с ними пить пиво или что-то еще и знать, кто кого за что дразнит, щипает, намекает. Все это их собственная внутренняя жизнь. Но, видимо, тут есть смешение “газеты на публику” и издания “для внутреннего пользования”.

— *Многотиражка?*

— Многотиражка, стенгазета. Хорошая, может быть, умная, какая угодно. Но она имеет другую задачу — она обращена внутрь, а не наружу. Такого разделения тоже нет, потому что круг этих революционеров, или контрреволюционеров, все равно узок.

Конечно, все эти издания не играют общеинформационную роль, и либеральная публика ничего другого не читает. Ну, не “Правду” же читать? Кстати, “Правда” (вернее, три “Правды”), “Советская Россия” тоже рассчитаны на определенные слои, если уж говорить о дифференциации. И слои эти, видимо, разные.

— *Юрий Александрович, вы ведь издаете и свой журнал (информационный бюллетень) — “Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения”. Какую задачу вы при этом ставите, на какого читателя рассчитываете?*

— Хотим, чтобы заинтересованным людям было на чем строить представление о нашем обществе. А мы имеем возможность предложить как бы свои толкования — нам это достаточно интересно, хотя, конечно, вещи бывают разные. Кто они, наши читатели? Мы пытались их анкетировать, это было не очень само по себе любопытно. У нас есть подписка, и мы знаем, кто именно журнал выписывает. Есть и покупатели, люди примерно того же круга — те, кто работает в социологии, экономике, в университетах, те, кто преподает за границей и в основном знает русский язык. Тираж — больше тысячи экземпляров — практически весь расходуется.

— *Фактически это тоже групповой журнал?*

— Да, его делает небольшая группа людей, порядка двадцати человек. Причем они же и проводят исследования, и дают свое толкование. Ни внешних тем, ни сторонних авторов почти не бывает, — только случайно, может быть. Уже стиль такой. Тем, видимо, и отличаемся в этом “углу” от остальных, которые заняты всем и вся.

— *Напрашивается такой вопрос, Юрий Александрович. При явном дефиците “интеллектуальной журналистики”, отсутствии “учителей”, “мыслителей”, “крупных имен”, как вы говорите, те самые мыслители замыкаются в своем узком кругу, не выходя на общественную, массовую печать. Если вспомнить о русской традиции газетно-журнальной публицистики, то это явно вопреки ей. Не потому ли, в частности, при широчайшей гласности, постоянных дискуссиях общество не только не нашло наилучших решений своих проблем, но, скорее, во многих сферах жизни выбирало самые неудачные пути? Идет поиск “национальной идеи” — при том, что вызывает сомнения сам этот поиск, и так далее. Возможен ли сегодня союз науки и прессы, рост их влияния на выбор обществом лучшего варианта социального устройства?*

— Начнем с того, есть ли у нас (и были ли?) научные представления об обществе. Были шаблоны, которыми полагалось руководствоваться. Люди, настроенные критически, оппозиционно, занимались тем, что эти шаблоны выворачивали наизнанку, новых не придумывали. Большая часть нашего или не нашего критического анализа “советчины” (что называлось “антисоветчина”) — то же самое, только перелицованное.

— А “социализм с человеческим лицом”?

— Ну, это тоже попытка что-то переменить. Серьезных представлений об обществе у нас не было, и сейчас есть только разрозненные куски. Возможно, я мало знаю, но, по-моему, нет у нас серьезной научной картины. Вот вы говорите: “При широчайшей гласности общество не нашло решений”. Как будто общество — это путник в лесу. Общество — это множество людей и институтов, которые живут по своим принципам. А решение — ну, ищется методом “тыка”. Ткнем сюда — укусит, ткнем туда — воняет, ткнем еще куда-нибудь — авось получится. Темно. И способ нашего развития — это шараканье, болтанье. Но коридор неширокий, поэтому рано или поздно, может быть, что-нибудь найдется.

А насчет идей, которые можно придумать и реализовать (в том числе в союзе науки и прессы), это вариант утопизма, представления, что все социальные проблемы решаются путем некой конструкции, которую кто-то выдумает, а кто-то осуществит. Вы знаете, что все утописты обращались с просьбами — Сен-Симон к папе римскому, Конт к Николаю I, — считая, что они могут взять и все перестроить. А у нас просто навывпускали много колючей проволоки, и мы стали полностью реализован-

ной конструкцией — самой хорошей, самой продуманной, но из другого материала ее строить нельзя, фигурально выражаясь. Сейчас не строят, и слава Богу.

Над нами смеются многие западные интеллектуалы: “Чего это ваша интеллигенция возомнила, будто она должна вершить политику? Всюду в мире она занимается своим делом — научными открытиями, исследованиями, книжками. А у вас считает, что должна спасти человечество. Когда вы перестанете этим заниматься — будет нормальная жизнь”. Я передаю суть их слов. Здесь, конечно, присутствует некое пижонство, но есть и своя правда.

— *Ведь отчего идет этот вопрос, Юрий Александрович. Сейчас засилье дилеттантизма, кажется, во всем, и прежде всего в печати. Читаешь иногда какой-то материал и думаешь: “Ну, есть же люди, которые занимаются этим профессионально. Почему же пишут не они, а некий Петя, Ваня, который возомнил, что сейчас может все?”*

— Это как раз проявление того, что массовый человек ворвался в зону, которая была “зоной для допущенных”. И хотя там были всякие пакости с этими допусками, но в том числе было требование профессиональности, грамотности, точности. В той же печати, в любом отделе или издании, скажем, непременно проверяли факты. Элементарное требование. Но возьмите сейчас любую газету — там вдруг едва ли не в каждой статье, про все что угодно. Позиции излагаются сбивчиво, неразборчиво, даже в наиболее квалифицированных изданиях. И это идет не оттого, что в самой редакции и вокруг существуют очень разные точки зрения — просто они невнятные и поддаются давлению ветра.

До сих пор мы в принципе не произвели (мы — в смысле общество или медиа-публика и так называемые ньюсмейкеры) разделения своих функций на аналитическую и информационную. И аналитическая оказывается сбоку припека. А аналитика, повторюсь, должна быть в газете, если она вообще существует. Не для десяти миллионов, конечно, а для полумиллиона людей. В этом мире, мире аудиовизуальной коммуникации, требуется новый тип газеты, чего нет сейчас, и это место у нас, мне кажется, пока не прояснено.

## Р.С. Шакиров “Так “Коммерсантъ” стал газетой влияния”

— Раф Салихович, вы довольно долгое время были главным редактором газеты “Коммерсант”, более того — вы один из создателей той “газетной империи”, которая, можно сказать, положила начало новой журналистике в России. Чем эта новая журналистика отличается от старой, доперестроечной? Какие главные черты той и другой вы выделили бы?

— Знаете старую английскую шутку, что такое журналистика? Это рассказ о конце жизненного пути лорда Доу читателям, которые не знали, что лорд Доу жил. Впрочем, это определение может быть отнесено и к нынешней журналистике.

Что отличало “Коммерсант”? В свое время Пулитцер произвел революцию в журналистике, отделив факты от комментария. Вот такая революция с большим опозданием произошла и в России благодаря “Коммерсанту”. Эта школа, на мой взгляд, гораздо больше уважает читателя, его мнение, позволяя ему составить собственную картину того, что происходит. Когда вы читаете “Коммерсант”, вы прежде всего получаете ответы на шесть главных вопросов, которые должны содержаться в любой новости: кто, что, где, когда, почему, при каких обстоятельствах? Это не означает, что, подавая заметку таким образом, вы делаете какой-то справочник. Ничего подобного. Вы можете написать об этом изящно, у вас может быть свой стиль. Но если вы не ответили на те шесть вопросов, значит, вы пренебрегли фактами, не уважаете читателя и вольно или невольно навязываете ему взгляд, основанный на неполной картине происходящего. Эти правила, разработанные в англо-американской журналистике лет сто назад, не только не отменяют, а ставят на новую высоту и публицистику. Публицистика “Коммерсанта” всегда жила, если хотите, по законам следствия: нет доказательств — нет версии. Все остальное от лукавого и блестяще описано Салтыковым-Щедриным в его работе “О красноречии в России”.

— Нельзя не отметить, Раф Салихович, что к 10-летию “Коммерсанта” в прессе появлялись довольно лестные отзывы о его деятельности. Более того, его называли “одной из системообразующих российских газет”, “защитником частных интересов”, “знаменем среднего класса”. Определения любопытные. Но хочется спросить: а как, собственно, ваш читатель, средний класс, узнавал, что вы — его “знамя”, защитник его интересов? Памятуя о том, что ваш идол — факт.

— Мы не делаем из факта фетиш, но не забывайте, что “Коммерсант” возник на волне кооперативного движения (на мой взгляд, это были зачатки всего дальнейшего реформирования) и, соответственно, нес новую идеологию, идеологию либерализма в экономике и, конечно, в общественной жизни. Люди, которые пошли тогда в предпринимательство, бизнес, формировали новое поколение. Это было поколение 90-х годов:

В пятидесятых рождены,  
В шестидесятых влюблены,  
В семидесятых болтуны,  
В восьмидесятых не нужны...  
Не мы ли будем в девяностых  
Отчизны верные сыны?

Все мы возникли в такой полудиссидентской экономической среде, и нужно было показать людям, которые росли вместе с нами, вместе с “Коммерсантом”, как выживать в этих условиях. А для выживания “взгляд и нечто” не годились совершенно. Уже не нужны были пространные дискуссии о том, что страна может двинуться не по тому пути или вообще не двинуться (помните коммерсантовский заголовок “Ну не встает страна огромная!”?). Мы не сочиняли “манифестов среднего класса” и не объявляли о кооперативных собраниях, просто мы первыми или просто единственными рассказывали о таких вещах, от которых зависело само существование зарождавшегося тогда бизнеса и, конечно, за “Ъ” хватались по утрам даже раньше, чем за чашечку кофе (тиражи “Коммерсанта” превышали тогда семьсот тысяч). Сейчас об этом стали забывать, но только по “Коммерсанту” в то время можно было узнать, например, курс доллара. Знаете, как мы сами тогда шутили относительно этой нашей сверхпрагматичности? Вопрос: “Как “Коммерсант” напишет о конце света?” Ответ: “Заголовок: “Конец света”. Подзаголовок: “Отключат также газ и воду”.

— *Что все же из прошлого опыта, на ваш взгляд, можно использовать, а что вы категорически отвергаете?*

— Категорически не переношу только непрофессионализм. Если интеллигентность — это знание фамилий, то профессионализм в журналистике — это знание правил ремесла. А помимо уже упомянутого золотого правила шести вопросов есть и правило, как овладеть вниманием читательской аудитории. И это второе существенное отличие коммерсантовской школы. Вы не просто сообщаете новость — вы должны совершенно точно знать, для какой аудитории пишете и чего хотите добиться. Для этого вы должны говорить на одном языке со своей аудиторией. “Коммерсант” стал своим для поколения 90-х. Тогда, на первом этапе, нас читали кооператоры, значительная часть интеллигенции — ее привлекал такой ёрнический коммерсантовский стиль, очень соответствовавший началу 90-х. Это было забавно. Совершенно новая и незнакомая тогдашней журналистике стилистика.

— *Не принимаемая шестидесятниками.*

— Не принимаемая шестидесятниками. Прекрасно понимаю. Но ведь мы и писали для поколения 90-х. Никогда не забуду, как очень любимый мною Булат Шалвович Окуджава искренне не мог понять, как можно назвать журнал “Деньги”: тогда это казалось стыдным.

Но вернемся к этому второму правилу, которое условно можно назвать правилом “психологического зацепа”. То есть новость должна обязательно вас зацепить, не оставить равнодушным. Правило “зацепа” достаточно разработано. Например, можно, как говорят американцы, ударить читателя по самой болевой точке — “заднему карману”, затронуть то, что касается его личных денег. Такой болевой точкой может стать все, что связано с угрозой его здоровью, дому, городу, стране (правило “наших бьют”) и так далее. Читателя обязательно надо тормозить этими угрозами, памятуя о том, что для информанщика плохие новости — хорошие новости.

А зацепить внимание читателя нужно так, чтобы удерживать его до последней точки. И здесь “Коммерсант” внес свой вклад в само построение газетных материалов. Если раньше редакторы сваливали статьи на газетную полосу, а художники и верстальщики разгребали их по своему усмотрению, не очень заботясь о читательском восприятии, то мы в “Коммерсанте” поступили совершенно иначе. Все элементы полосы — фотография, подпись под ней, заголовок и так далее — были подчи-

нены одной цели: зацепить внимание, заставить прочитать материал. Собственно, до 90-х годов мы легко глотали огромные газетные “кирпичи”, а вот человеку, занятому конкретным делом, некогда смотреть весь “кирпич”, и у “Коммерсанта” появляется фирменный стиль — определенное построение текста, лиды (короткие вводки), игра с заголовками. Он активно использует фотографии (будучи уже ежедневной газетой). На это сейчас меньше обращают внимание — привыкли, но я горжусь тем, что фотография заняла такое место. В газетах десятилетней давности вы увидите что-то одно маленькое черненькое в углу — если это только не Политбюро, оно всегда было большое, на первой полосе. А тут использование фотографий с совершенно новым взглядом, не парадная паркетная съемка, впервые появились необычные ракурсы. Как правило, фотография становилась символом события, что требовало кропотливой работы. Сейчас это стало привычным во многих газетах (посмотрите “Известия”, “Сегодня”). Фотографий много, как их используют — другой вопрос. Но это уже определенная, сложившаяся школа, начало которой положил “Коммерсант”.

— *Раф Салихович, а что для вас газета? Добросовестный поставщик информации для читателя, его деловой партнер или “собеседник”, как рассматривал газету Аджубей? Может быть, даже “собеседник”, который стремится обратить читателя в свою веру, создать круг единомышленников?*

— А почему одно должно исключать другое? Все, о чем вы говорите, относится, пожалуй, к самому главному отличию “Коммерсанта”, новой журналистики. Это не просто проблема интерактивности, а проблема влияния.

Замечу, кстати: когда мы составляли первую концепцию нового “Коммерсанта” (он уже был ежедневной деловой газетой), потом перечитывали ее с Володией Яковлевым, я подумал: “Ну, какая же наглость! Создать газету влияния. Сравняться с “Известиями”. Чистый идеализм!”

Но все получилось. И не потому, что мы были такие хорошие. А потому, что мы правильно уловили тенденцию. Бизнес активно стал проникать в политику. И “Коммерсант” вместе с ним постепенно перестал воспринимать государство как неизбежное зло, действия которого нельзя изменить, а можно только учитывать. Когда мы что-либо писали, мы не просто информировали или возбуждали какие-то там настроения. Если мы за что-то брались, то хотели довести это до конца. Не просто за-



вершали “цикл публикаций” — мы считали своим долгом добиться результата. И многие законопроекты благодаря публикациям в “Коммерсанте” изменились. Это касалось сначала кооперативного движения, затем мы изменили налоговое законодательство, гражданский кодекс. Крупные специалисты, которые в свое время готовили эти законопроекты в институтах, теперь, работая в газете, знали, как здесь расставить нужные акценты. Это были не просто факты, не просто публицистика, но еще и воздействие, креативное воздействие.

Действовало и правило персонификации: не бывает зла вообще, не бывает институтов, которые препятствуют чему-то. Это удар мимо, это пафос, который всех нас возбуждал в 70-е годы и ничем не кончался, к сожалению. Да, он формировал поколение, его мировоззрение, но не приводил к тому, чтобы кого-то сняли, закон изменили. Редкие исключения лишь подтверждали правило (как с поворотом северных рек). Мы спускались с этих огромных высот на самую что ни на есть землю, и если было какое-то препятствие, то оно носило для нас конкретную фамилию, и мы били по нему со страшной силой — не для того чтобы просто нагадить, а чтобы изменить нашу жизнь. У нас законопроект (в отличие от Запада) не имеет фамилий, все в тени, а ведь кто-то его предложил. Вот с такими авторами мы и боролись, и достаточно эффективно. Главная задача была: довести то, что ты делаешь, ради чего пишешь, будоражишь общественное мнение, до самого конца — изменить закон. А дальше — следить за его выполнением.

Все поняли, что жизнь можно менять, и не только свою, но и жизнь страны. Так “Коммерсант” стал газетой влияния, в интересах всего сообщества, а не каких-то отдельных кланов или олигархов.

Вот это важнейшая черта “Коммерсанта”. Важнейшая. Но для того периода. Ведь те десять лет, слава Богу, были периодом романтизма. Мы на редколлегиях определяли, что для страны важно, а что нет, куда нам двигаться. Это, может быть, звучит самонадеянно, но на редколлегиях у нас сидели хорошие спецы, и в итоге из просто деловой газеты “Коммерсант” превратился в системообразующую (если выразаться языком коллег). Счастливое было время. Спасибо Владимиру Яковлеву. Никто в этот процесс не вмешивался. Звучали разные аргументы. Мы приходили к какому-то единому знаменателю, а потом начинали работать. И вот этот период, который можно назвать романтическим, прошел. К нему уже возврата нет.

— *Интересно, что то же самое говорят обществоведы. Уже пожилые. Те самые шестидесятники.*

— Это было действительно счастливое время. Ведь когда начинался “Коммерсант”, никто не думал, что журналистский бизнес будет давать такой доход, что он станет столь интересен. Потом все поняли. Вы помните первый поход по завоеванию газет? Многие относят это к моде, к анекдотам о новых русских. Ничего подобного. Именно потому, что новый класс стал иметь интересы в политике, он и начал приобретать газеты. Для начала этого было достаточно, чтобы использовать их в конкурентной борьбе — вы помните банковские войны. Вот там журналистика проявила себя как оружие. И впервые мы были расколоты. Если раньше нас разделяла просто конкуренция — творческая, если хотите, какая угодно, — то здесь журналистское сообщество, если оно и было когда-то единым, дало серьезную трещину. Все разбилось на команды, и началась война. Сначала с нарушением правил, а потом и вовсе без них. “Коммерсант”, слава Богу, тогда еще держался.

Потом возникла другая система, подошла пора выборов (я имею в виду 1995–96 годы). Когда появилась альтернатива — пусть она и искусственно была создана — коммунисты или демократия, вот тогда всю мощь прессы использовали именно с политической целью. Но тогда нам эти цели казались святыми, все делалось не из-за денег, мы были против коммунистов — я имею в виду демократическую прессу. И стало ясно, какой это действенный и мощный инструмент. Начался новый этап, когда стали покупать не просто средства массовой информации для каких-то утечек, уколов, слива компромата, а занялись этим системно. И первым — Борис Абрамович Березовский. Я снимаю шляпу перед его прозорливостью, серьезно говорю, без всякой иронии, потому что он как раз понял: монополист, тот, кто задает тон на этом рынке, может добиться очень многого. Вот тогда окончательно был взят контроль над ОРТ, ТВ-6, был куплен “Коммерсант” и так далее. Заняты ключевые позиции, достаточно значимые и эффективные. Теперь за эти позиции стали бороться чиновники.

Вот таким образом началось разделение на “ваших” и “наших”. Собственно, в этой связи романтический период и закончился. Мы жили, слава Богу, в период быстрых перемен, когда главными редакторами становились двадцатипятилетние ребята, когда можно было быстро сделать карьеру. Мне даже жаль в этом смысле нынешних молодых, потому что им придется

ся жить при новом застое и, как в советское время, долго и долго пробиваться, до пенсии. С точки зрения творческой, учитывая ситуацию на медийном рынке, совсем другие способности нужны. Газетный рынок стагнирует, ничего нового не происходит, все спокойно. Сидят такие заведующие информационными складами и выдают готовую продукцию. Газета не станет сейчас “знаменем” каких-то реформ.

Я хочу сказать, что ведь законы, по которым живет современная журналистика, неразрывны с тем, что вообще происходит в стране. Журналистику нельзя рассматривать как какой-то самоопределяющийся процесс. Я хорошо помню свою публикацию 91-го года, когда закончился путч. Тогда мы еще баловались эпитафиями: “Ах, русское тиранство — дилетантство, я бы учил тиранов ремеслу”. Накаркали. Научились. Тогдашний прогноз как наиболее вероятный сводился к тому, что Россия пойдет по индонезийскому пути, когда коррумпированный госаппарат срашивается с бизнесом и возникает то, что впоследствии Сорос назвал *crowny capitalism*.

У нас же была чрезвычайно сильна президентская власть, большая часть реформ была проведена указами президента. Соответственно доступ к администрации, реально принимавшей решения, был ключевым. Сначала это было размыто, на этом можно было играть, потом, если хотите, возникла система сдержек, противовесов и фаворитизма. И реальный бизнес, реальная конкуренция стали происходить именно в этой области (об эффективности управления не было речи).

И вот с этого момента начинается совсем другое использование прессы. Пресса готовит вас, как рекламный продукт, к потреблению того, что произойдет. Вот вы не верите, например, в политические рейтинги, но если вам полгода вбивают в голову определенную информацию, то вы — хотя стопроцентно знаете, что она не соответствует действительности — психологически уже готовы к любому исходу голосования, правильно? Для вас это уже общее место, не возникает ни чувства протеста, ни желания как-то действовать... Вот это важнейший инструмент. Я привел только один пример, а можно привести массу других. То есть классический *brainwashing*, промывка мозгов, и не только в политической, но и в бизнес-сфере. Так что в этом смысле впереди у прессы “большое будущее”.

К сожалению, русский капитал инфантилен. В политическом смысле. Я знаю многих бизнесменов, которые готовы рассуждать о судьбах страны, они понимают их, но не имеют ни-

какого политического представительства, не имеют органа, который выражал бы их взгляды. Тот же “Коммерсант” принадлежит сегодня определенной группе, а другого органа сейчас нет. Однако природа не терпит пустоты, и когда-нибудь возникнет, обязательно возникнет некий противовес, если хотите, орган оппозиции. Каким он будет? Сейчас правила игры определены. Сложился совершенно определенный капитализм, он может нравиться или не нравиться, но если вы занимаетесь бизнесом серьезно, то должны играть по этим правилам. Если кто-то играет в жесткий кикбоксинг, то игра в шахматы здесь явно не подходит.

А пока что последние атаки на СМИ убеждают в бессмертности салтыковских сентенций: “У меня был знакомый, который мог бы быть образцовым помещиком, если бы... если бы не та же чувствительность... Бывало, неделю-другую приятель мой только и делает, что благодетельствует, а потом вдруг ни с того, ни с сего взгрустнет: и пошел все в рыло да в рыло”.

— *Вот вы говорите: “Мы такие наглые, взяли на себя роль...” А не лукавите при этом? Не потому ли “Коммерсант” и выдвинулся на роль лидера, что основу коллектива составляли специалисты высокого класса, прежде “варившиеся” в атмосфере академических институтов (вы и сами это подчеркиваете — “спецы!”)? Они и принесли идеи, которые где-то уже бродили, обкатывались, профессионально обсуждались. Но согласитесь, это не характерно для газеты. Где еще есть такое ядро?*

— Да, пожалуй, нигде. Хотя очень многие наши ребята теперь работают в разных редакциях и даже составляют их костяк. Но самое важное в “Коммерсанте” — это самовоспроизводящаяся система, основанная на школе новой журналистики. Многие издания качались и падали оттого, что какая-то группа снималась и уходила. У нас тоже уходили. Сначала группа талантливых ребят ушла из “Коммерсанта” (тогда еженедельника) и создала журнал “Эксперт”. И ничего: существуют оба. Когда я был главным редактором журнала “Деньги”, значительная часть редакции отпочковалась и стала выпускать “Профиль”. А журнал “Деньги” не только не упал, а даже укрепился на рынке.

Сейчас журналистика — это бизнес, конечно, прежде всего. И вы должны отстроить систему таким образом, чтобы она работала вне зависимости от того, есть вы там или нет. Я ушел, а “Коммерсант” работает. Это менеджерский стиль, со мной либо без меня действуют законы управления. Чем бы вы ни зани-

мались. Вы можете быть семи пядей во лбу, но мало чего добьетесь, если не доверяете каким-то ключевым людям, которые воспроизводят школу. Ведь человека после журфака или прошедшего со стороны надо учить. А учиться лучше в процессе работы. Овладевать ремеслом. И на это поставлены мудрые руководители отделов — не какие-то церберы, а люди пишущие. Отдел — это микроредакция, он воспроизводит процесс. Если вы работаете как махновцы — все гоп до кучи, никакого управления, — то когда вы ушли, отвинтили, как говорил знаменитый Ли Якокка, нужную гайку, все и развалилось. А мне, наоборот, приятно, когда и без меня все работает. Журнал “Деньги” живет? Живет. Я его создавал. Не только я, конечно, — команда. “Коммерсант” такой? Такой. Слава Богу. Он может нравиться или нет, но он живет. И где бы я ни работал дальше, я буду этот принцип исповедовать. При всех политических и прочих неприятностях главное, что тот же “Коммерсант” создан и работает, и уже имеет свою историю.

— *Личность человека, личность журналиста, личность главного редактора — насколько это значимо для современной журналистики? В “Коммерсанте” работала технологичная, очень профессиональная, очень подготовленная команда. Но не безлика?*

— Не просто не безлика, а яркая команда со своими звездами, такими как сам Владимир Яковлев, Максим Соколов, Игорь Свиноаренко, Андрей Колесников, Дарья Цивина, Катя Деготь и многие другие (не хотелось бы никого обижать, но здесь просто всех не перечислишь).

Когда мы начинали, я хотел, чтобы “Коммерсант” стал таким, как в свое время аджубеевские “Известия”. Все смеялись тогда, это была наглая задача. Аджубеевские “Известия” — это подъем определенных ожиданий в стране, расцвет журналистики. Мы тоже переживали такой романтический период. Тут многое решали и имена и дух команды. Люди должны гореть, должны гордиться, что они работают именно в этой газете, а не в какой другой.

— *Сейчас на Западе много говорят о “деонтологизации” журналистики, у нас проще — о ее “продажности”. Что здесь, по вашему мнению, от нравственных начал и что — от вынужденного подчинения прессы логике рынка, его законам?*

— Это вопрос не к прессе. Он касается воспитания и порядочности того или иного человека, а не его профессии. Тут уж — как вас папа с мамой воспитали. Вот и все. Никаких других про-

блем не вижу. На какие-то компромиссы люди должны идти — но до какой степени? Знаете поговорку: есть люди способные, очень способные и способные на все. Каждый для себя решает, до какой степени он может приспособливаться к обстоятельствам.

— *Вы не считаете, Раф Салихович, что и новая журналистика, которую представляете вы, тоже меняется? Не диктует ли жесткая конкуренция свои правила и принципы?*

— Мы всегда должны были думать о конкуренции на информационном поле, все время чувствовали, что нам дышат в затылок. И я всегда говорил ребятам: “Вот вы работаете над темой. Вы не одни, эта тема будет и у ваших конкурентов. Вы придумали пять ходов? Если они пришли вам в голову сразу, знайте, что конкуренту они пришли в голову тоже. Придумайте еще пять — оригинальных, может быть, совершенно экстравагантных, неожиданных, — которые ему в голову не придут. И тогда вы будете в конкурентном поле”.

— *Это стиль Аджубея.*

— Спасибо, это высшая похвала. В данном случае все решает профессионализм и, думаю, будет решать и после нас. А журналистика действительно меняется, причем permanently. Посмотрите английские газеты XVIII века: огромные простыни, автор что-то рассказывает, растекается мыслью по древу — что вижу, то пою. И вот в современной англосаксонской журналистике, которую я упоминал здесь уже как пример лапидарности, умелой подачи факта, в последнее время проявляется тенденция к синтетическим жанрам (она набирает силу и у нас). Автор сообщает: “Ну, значит, реформы в России, кажется, зашли в тупик. Я тут встречался с Чубайсом, вот его слова. А мои впечатления от поездки в Челябинск сводятся к тому-то и тому-то...” Читаешь, читаешь, вроде бы легко, непринужденно написано, если хотите, хлестаковщина такая — ну что, брат Пушкин? Нет фактов, есть этакая торговля впечатлениями. Импрессионизм — если только перо автора достойно этого слова. А чаще просто выходит дядя, или тетя, или мальчик сопливый: “Знаете, что я думаю о судьбах России?...”

— *Для многих было неожиданным, что вы ушли из газеты на телевидение. Почему?*

— Потому, что мне было интересно. Новое средство выразительности. На “Euronews” есть материалы без комментариев, где ощущение присутствия — базовый принцип. Представьте, что так снимается, например, политический репор-

таж. Вы ничего не говорите, но показываете таким образом, что всем все ясно.

Помните: силовики приезжали к Ельцину разговаривать о Чечне и так далее. В стране напряженная ситуация, а они идут и весело болтают, у Ельцина скучное лицо, и вдруг один из министров спрашивает: “Как с рыбалкой, Борис Николаевич?” Тут Ельцин преображается, оживляется. Ничего не надо комментировать, картинка живет сама — я почему всегда и завидовал телевизионщикам. Лапидарность, доведенная до бабелевской точки. В газете этого очень трудно достичь. Возможно, получится в Интернете — я сейчас просто этим болею. Интернет в сфере печати — пока совершенно не отрегулированная зона. Сейчас что делают: берут газету, как она выходила, и переносят в Интернет. Я листаю страницы, но там нет самой природы Интернета. А мне хотелось бы, чтобы это был совершенно новый информационный продукт, который может оживать. “Кликнул” по фотографии — и пошел телевизионный репортаж. В телевизионном наговоре многое не сообщишь, поэтому телевидение так поверхностно: сюжеты короткие, психологически вы отвлекаетесь. А я хотел бы, чтобы существовало и то, и другое — чтобы жила картинка и чтобы вы имели тот самый анализ, который делает самая толковая газета. А это возможно. Совершенно новая вещь, доводящая до логического конца раскрытие факта. Хотите — смотрите этот сюжет с комментарием, хотите — без. Можете углубляться до бесконечности, и там будут другие пласты. Телевидение надо в определенный час включить, чтобы увидеть новости, газету надо купить, а Интернет — в любое время подошли, включились и имеете всю картину. Многие пытаются перенести телевидение в Интернет, многие пытаются перенести газету в Интернет — и никто не делает синтез. Только недавно я прочитал, что такой проект начинает “Chicago Tribune”.

— *За Интернетом будущее, вы считаете?*

— Если да, то пока не у нас в России.

— *А что станет с нашими печатными изданиями?*

— Это все тоже будет, не исчезло же кино с изобретением телевидения. Правда, ходят в кинотеатры редко.

— *Чем все-таки газета будет интересна людям, увлекающимся Интернетом?*

— Газета — это часть нашей уже устоявшейся жизни.

— *А тем, кому сейчас двадцать лет?*

— Не думаю, что они совсем не будут читать газеты. Возможно, станут меньше читать, но читать. Модули социального

поведения все-таки воспроизводятся. И если какой-то молодой человек, пусть даже продвинутый интернетчик, видит, что его босс просматривает газету — то он тоже возьмет ее в руки (это как у детей). Вы можете не носить галстук, но, достигнув определенного возраста, наденете этот галстук и будете его носить. Эта тема — одна из любимейших в американской журналистике. Фоторепортаж: вот битломан в патлах, вот стриженный студент, а вот клерк в галстуке. Жизнь так и идет. Мы можем сходиться с ума от Интернета, и только тинейджеры могут полагать, что Интернет завоюет мир, все будет по-другому и топ-менеджеры будут ходить в майках, украшать себя наклочками и так далее. Все это ерунда. Полная. Проходит как болезнь.

Сейчас в России, насколько мне известно, около пяти тысяч газет. Такого не бывает, ни в одной стране мира. Так что новых, думаю, появляться не будет. Региональные газеты, безусловно, останутся, но как на рынке центральных СМИ, так и в регионах — три-четыре основных издания. А перспективы могут быть связаны только с крупными инвестициями. Вы прекрасно знаете, что мир поделен между крупнейшими медийными корпорациями, полагаю, что этот капитал стремится и на наш рынок. Но это уже скорее бизнес. Каких-то творческих взлетов, подобных аджубеевскому, можно ожидать не тогда, когда есть инвестиции, есть команда, а когда есть определенная эпоха. Эпоха вызывает аджубеев.

— *И она наступит?*

— Когда-то обязательно. Но не сейчас.



## С.Б. Пархоменко

### “Журналистика прошлого и настоящего — две разные профессии”

— *Сергей Борисович, вы как представитель современной журналистики разделяете для себя поколение тех, кто работал в основном в партийных органах печати и собственное? Что вы примете из прошлого опыта и что категорически отрицаете?*

— Да, конечно, я различаю два поколения. Мало того, я считаю, что это не два поколения одной профессии, а две разные профессии.

— *Две журналистики?*

— Я бы выразился сильнее: это не две журналистики, а две разные профессии. Одна из них журналистика, другая — нет. И прошу не видеть в этом никаких оценочных моментов, что одна “хорошая”, а другая — “плохая”. Это два абсолютно разных вида деятельности.

— *Может быть, вы немного скажете о своей биографии, чтобы было понятнее, как вырвался этот ваш вывод?*

— Окончил факультет журналистики Московского университета в 1986 году. Отделение — “телевидение”. На телевидении, однако, отказался работать, хотя у меня было несколько предложений. Свой диплом я сделал в виде телевизионной передачи. Живой, пошедшей в эфир по первому каналу. Все было прекрасно, но, можно сказать, попробовал телевидение, и мне показалось, что я не хочу этим заниматься. По двум причинам. Одна конъюнктурная, связанная с тем, что это было чрезвычайно неприятное время. В 1986 году особенных изменений, связанных с перестройкой, на телевидении еще не чувствовалось. Это была совершенно тоталитарная, злая, тупая и грубая машина. А вторая причина — моя общая претензия к отечественному телевидению, которая остается до сих пор. На мой взгляд, это излишне коллективный вид творчества. Слишком много народу участвует в изготовлении конечного продукта. А поскольку, к сожалению, уровень профессионализма многих оставляет сильно желать лучшего, поскольку часто вы имеете дело с опе-

раторами, которые не умеют снимать, с режиссерами, которые не умеют монтировать, администраторами, которые не умеют администрировать, референтами, которые не умеют реферировать, — все это выливается в некий не удовлетворяющий вас конечный продукт, и управлять этим совершенно невозможно. Сделав несколько попыток, я решил, что не хочу в этом участвовать. Предпочитаю те виды журналистики, которые более персонализированы, где я могу с большей отчетливостью отвечать за результаты своего труда. Вот это я написал, вот стоит моя подпись. Все, что есть здесь хорошего, — мое, и все, что есть плохого — мое, все неприятности — мои, вся слава — моя. И более или менее я независим от других. По этим двум мотивам я отказался от телевидения и стал работать в журнале “Театр”. С ним начал сотрудничать, еще учась на 1–2 курсе, и к моменту окончания университета было ясно, что они хотят видеть меня своим сотрудником. Проработал в журнале “Театр” пять лет, до 1990 года, сначала редактором, а в конечном итоге ведущим отделом публицистики, как это там называлось. На самом деле это был отдел, который занимался всем, кроме театра. Разного рода пограничными проблемами: театр и другие виды искусства, театр и политика, театр и язык, театр и история и так далее. Кроме того, там же готовились публикации прозы, которой тогда журнал печатал довольно много. Мы стали печатать и довольно рискованную литературу типа В. Буковского. “И возвращается ветер” напечатали.

В самом конце 1990 года я вошел в компанию, которая начала “Независимую газету”. К этому моменту стало ясно, что я вполне переквалифицировался с пограничных околотеатральных проблем на политику. Параллельно начал работать в московском бюро агентства “France Presse” в качестве консультанта. Я никогда не написал там ни строчки, обязанности мои были связаны с тем, что 24 часа в сутки любой журналист агентства мог позвонить мне, вытащить даже из постели и задать любой вопрос типа: что это значит? откуда это взялось? кто это такой? что это за ерунда? к чему бы это? И так далее. Я их консультировал по всяким политическим поводам. Это продолжалось пять лет, и, по-моему, было обоюдно полезным.

Тем временем в “Независимой газете” я оказался в числе небольшой группы “диссидентов” (по отношению к руководству редакции), которые ушли и организовали газету “Сегодня”. И я работал в этой газете до 1995 года, когда получил предложение заняться подготовкой журнала.

“Итоги” — издание, которое принадлежит компании “Медиа-МОСТ”, так же, как НТВ, радио “Эхо Москвы”, газета “Сегодня”. Дитя той же компании. Но административных связей нет никаких. Скажем, с “Итогами” Киселева нас ничто не связывает, кроме названия. Но Киселев — человек достаточно корпоративный, я бы даже сказал, семейственный в лучшем смысле этого слова. И он по собственной инициативе посчитал нужным помочь родственному изданию. Столько времени помогал, сколько было нужно. Это был его, так сказать, мне подарок. Я ему чрезвычайно благодарен. В 1995 году я готовил журнал, с весны 1996 года он начал выходить.

— *Какой тираж?*

— 85 тысяч экземпляров на сегодня. И весь тираж продается, буквально считанное число экземпляров расходуется по каким-то специальным рассылкам. На обложке у нас — список городов и стран, куда журнал регулярно приходит. Иногда там один киоск, чаще на вокзале, тем не менее кто-то может купить наше издание.

Почему я говорю даже не о двух журналистках, а о двух разных профессиях? Я считаю, в журналистике как таковой присутствует несколько базовых понятий, во многом технологического характера, которые, собственно, и отличают эту профессию от других смежных или схожих с ней видов человеческой деятельности. Эти понятия — источник, цитата. Вот, собственно, два главных. Проблема состоит в том, что журналистика до определенного момента (на мой взгляд, до 1990 года) работала без источников. Основным источником был мозг автора. В редких случаях существовала некая симуляция источника, как-то: “письмо читателя”, ТАСС или что-нибудь подобное. Но основным содержанием текста были мысли автора.

— *Все-таки это шло от жизни.*

— От общего представления. Так вот, это общее представление о жизни и вообще жизнь не являются источником. Источник имеет имя, источник имеет занимаемый пост и положение или некую позицию относительно описываемого вопроса. Он участник события, свидетель события или человек, анализирующий событие, располагающий какой-то информацией, дополнительной или специальной, по этому поводу. В любом случае источник — понятие конкретное. Общее представление о жизни источником быть не может. Я убежден также, что до конца 1990 года в отечественной журналистике не существовало проблемы скорости, проблемы темпа. Не существовало представле-

ний типа “я первый, ты второй”, “я успел, ты нет”. В отсутствие какой-либо конкуренции и в отсутствие представления о том, что информация исходит из источника, некая гонка, которая присутствовала, носила абстрактный, абсолютно не ясный для читателя и потребителя этой информации характер. Наиболее отчетливо это видно на проблеме агентств. Понятие “информационное агентство” в том виде, в каком оно существует сегодня, прежде тоже отсутствовало. Ни ТАСС, ни АПН нельзя считать информационным агентством в полном смысле слова. Среди достоинств журналиста, среди доблести журналистского труда отсутствовали такие качества, как скорость получения информации и точность ее представления. Напротив, абсолютно гипертрофированным было качество анализа информации, оценки информации, подачи информации и так далее.

— *Прежде различали репортера и журналиста.*

— Давайте мы с вами договоримся, что никаких репортеров в отсутствие информационных агентств быть не может. Репортер внутри газеты, не озабоченный скоростью, точностью и непосредственностью своего доступа к информации — а именно такова знаменитая репортерская школа “Комсомольской правды”, “Литературной газеты” и так далее, — это не репортер в современном смысле слова. То, что раньше называли репортажем, таковым на самом деле не являлось. Это были очерки, а то, что считалось очерком, на самом деле — новелла. Жанровое деление, существовавшее в дореформенной (чтобы не называть ее советской) журналистике, было сдвинуто на один шаг. То, что называлось репортажем, было следующим жанром, то, что считали очерком, было следующим жанром, то, что называлось новеллой, было следующим жанром. Все было смещено на один ход.

На собственном опыте к 1990 году я убедился, что обстоятельства моего труда и требования к моему труду, ожидания относительно того, что я делаю, существенным образом изменились. От меня требуется теперь нечто новое. Главное — это непосредственный доступ к информации, которого раньше от меня не требовалось. Раньше я мог без этого обойтись, а теперь понял, что не могу. Больше не могу пользоваться посредниками, тем более столь мало квалифицированными, как ТАСС. Доказательство того — что именно в этот момент возникла социальная потребность в рождении агентства Интерфакс. Возник спрос на товар, возник и продавец этого товара — продавец информации. Ровно в то же время произошел взрыв интереса к западным информационным агентствам, работающим в России: Reuters,

France Presse, UPI (которое впоследствии скончалось). То есть, как обычно происходит в рыночных условиях, возникший спрос был немедленно удовлетворен. И газеты, которые стали появляться в то время, были совсем иными, чем прежде. Их отличие, прежде всего “Независимой газеты”, состояло именно в этом: абсолютно ином отношении к информации, к источнику информации, к темпу поступления информации, к точности передачи информации, к жесткости разделения информации и комментария. Это была некая наша доблесть.

Так что это две профессии. Люди, работающие над информацией, и люди, работающие над собой. Ольга Чайковская работала над собой. Лучший, так скажем, обозреватель и аналитик в сфере юридических проблем Ваксберг работал над собой, пользуясь материалом, который попадал ему в руки. Он никуда не торопился, он ничего не сообщал. “Литературка” и есть некое средоточие и наиболее яркое воплощение того, что называлось журналистикой, тогда как в то время ее в стране еще не было. Таким образом, на вопрос, готов ли я что-то взять из той журналистики, я отвечаю: нет, потому что неоткуда брать.

— *Вы отрицаете вообще аналитическую функцию газеты?*

— Вы знаете, языком кафедры партийно-советской печати я разговаривать не могу. Все эти “функции журналистики” — жженаука, шарлатанство. Давайте забудем навсегда эту терминологию и будем разговаривать о существовании дела, а не о функциях.

Я считаю, что разница между журналистикой и литературой существует. Что если литература выходит почему-то на газетной бумаге большим форматом, она остается литературой. От того, что это называется “Роман-газетой”, это не становится газетой, а остается романом. От того, что “Литературная газета” называлась газетой, она таковой не стала. От того, что ТАСС назывался информационным агентством, он информационным агентством не стал.

— *Вы считаете, что Анатолий Аграновский — не журналист?*

— Нет. Он — писатель. Он литератор, назовем это так, работающий в странном издании, выходящем форматом А-2 на газетной бумаге. Я не совсем понимаю, почему книги надо издавать в таком странном полиграфическом исполнении, такими маленькими кусочками, в день по куску. Мне это странно. Я считаю, что это насилие над литературной профессией. Никакой информации не извлечь из материалов Аграновского, никакой повседневной ежедневной информации, ее точного анализа...

— *А мысль?*

— Мысль — это не журналистика в данном случае. Я разделяю два разных, случайным образом похожих друг на друга вида человеческой деятельности: литературу и журналистику. Я считаю, что до того момента, когда категория источника и категория темпа стали главенствующими в журналистике, этой профессии не существовало. Я подчеркиваю: это не отрицает ни аналитичности, ни синтеза, ни прогноза — ничего. Тем не менее либо понятие скорости и понятие прямого доступа к информации есть, либо его нет. Аграновскому не нужно было никогда, ни для одного текста непосредственного доступа к информации. Ему был нужен доступ к людям, характерам, судьбам, обстоятельствам и к чему угодно еще. Вся информация, которая содержится в его текстах, опосредованная. Никогда он не выяснил в своей жизни ничего. Он ничего в своей жизни не установил. Он вел блестящие разговоры с чрезвычайно интересными людьми и великолепно их описывал. Это — другая профессия. Вот и вся история. Таким образом, взять из этого наследия мне нечего, потому что этого наследия как журналистского не существует.

— *А в чем вы видите плюсы и минусы современной журналистики?*

— Плюсы я вижу ровно в этом. Я считаю, что некая иерархия профессиональных ценностей в отечественной журналистике восстановлена. Она полностью соответствует магистральному мировому пути развития нашей профессии и циркуляции информации. Ценности современной отечественной журналистики правильные, они соответствуют принятой в мире и отточенной временем, теперь мы можем сказать веками (потому что этих веков, по меньшей мере, полтора), практике.

Что касается минусов, то здесь проблемы моральные. Дело в том, что журналистика как сфера деятельности практически первая испытала на себе действие рынка. Она хотела рынка, она пропагандировала рынок, она получила этот рынок первой. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, начиная от рынка рабочей силы, который впервые в свободном виде начал существовать именно в сфере журналистики. Первыми специалистами в нашей стране, первыми из служащих, скажем так, которые начали в свободном режиме распоряжаться своим трудом (вслед за представителями творческих профессий), были журналисты. Они оказались на открытой бирже труда, где можно было их покупать, продавать, обменивать и так далее. Правила таких отношений установились только через некоторое

время, и был довольно длительный и сложный период “дикого” рынка труда в журналистской сфере. Он элементами сохраняется и сегодня, но в какой-то степени порядок наведен. Так вот, эта самая рыночная стихия, вторгшаяся естественным образом в журналистскую среду и в журналистскую сферу деятельности, породила довольно много проблем.

Прежде всего проблему опять-таки взаимоотношений между журналистом и источником, только в данном случае уже на материально-деловом уровне. Информация продается и покупается, трактовка информации продается и покупается, это естественно, но у такой продажи должны быть правила. Они должны быть едиными для всех, в том смысле, что должны быть признаны всеми, они должны быть прозрачными, открытыми и так далее. Наиболее яркий пример — взаимоотношения между рекламой и нерекламными публикациями. Есть простой принцип, принятый и устоявшийся в западной журналистике на протяжении последних пятидесяти, может быть, семидесяти лет: всякая рекламная публикация самой своей формой должна отчетливо и однозначно демонстрировать свой, именно рекламный характер. Абсолютно невозможно, чтобы рекламную и нерекламную публикацию можно было бы перепутать. У нас, наоборот, достаточно часто предпринимаются специальные усилия, чтобы выдать одно за другое. Чаще всего, конечно, — рекламную публикацию за нерекламную. Иногда это делается тонко и профессионально, иногда грубо, бездарно и нагло, но суть, к сожалению, от этого не меняется. Два вида информации — рекламного характера и нерекламного характера — текут в одном русле, переплетаясь между собой. Это большая проблема и это, что называется, “взяточопасное” направление, почва и повод для коррупции, которая чрезвычайно развита в журналистской среде именно поэтому.

Здесь есть связь с тем, что, к сожалению, до сих пор не родилось и не набрало силы и мускулов никакое профессиональное журналистское объединение. Союз журналистов является фикцией. Он никому ничем не помогает, никого ни от чего не защищает и ничего ни в чем не организует. Некого самостоятельного журналистского объединения до сих пор не образовалось. Во многом это отражает общую ситуацию глубокой недоразвитости профсоюзного движения в современной России. Есть и объяснения — в частности, одно из них состоит в том, что там, где работают наиболее профессиональные, наиболее активные и наиболее мобильные в профессии люди, то есть в частной печат-

ти, профсоюзы фактически запрещены. Тут я нахожусь в двойственной позиции: с одной стороны, говорю о том, что это чрезвычайно печально, — отсутствие в журналистской среде удачных примеров профессиональных объединений, — с другой стороны, как руководитель редакции я сделаю все от меня зависящее, чтобы в моей редакции никаких профсоюзов не родилось. Как только кто-то попытается их создать, я буду душить это в зародыше. Так что тут я одной ногой стою на позиции работодателя, а другой ногой — на позиции потенциального участника и клиента профессионального объединения. Такого, которое могло бы (и это чрезвычайно важная его роль) установить некую моральную конвенцию, способную, в частности, снизить напряженность ситуации, чреватой коррупцией, установить некие правила обращения с информацией рекламного и нерекламного характера. Это сердцевина всего. Все, что мы называем “косухой”, “боковухой”, “джинсухой”, “черным пиаром” и чем угодно, — на самом деле не вполне изящные обозначения одного и того же явления: скрытой, закамуфлированной рекламы. И это важная внутренняя проблема журналистского цеха. Самая серьезная на сегодня из всех существующих.

— *На ваш взгляд, Сергей Борисович, газеты и журналы должны быть в какой-то степени идейно и мировоззренчески определенными или скорее объективистскими, ориентирующимися максимум на общегуманистические ценности? Менялись ли ваши представления такого рода на протяжении работы в печати? От чего и к чему вы шли?*

— Я думаю, что ответ на этот вопрос во многом зависит от того, насколько точно редактор и вместе с ним редакция представляют себе свою аудиторию. И насколько узко и жестко они ограничивают ту социальную группу, на которую работают. Если это узкая социальная группа, определенная чем угодно — полом, вероисповеданием, уровнем доходов, профессиональными интересами, — тогда у нас появляется обязанность следить за тем, что здесь названо “определенным мировоззрением”. Допустим, мы работаем на женщин-милиционеронок. Вот у нас такая аудитория. Мы — женский милицкий журнал, и больше никто нас не интересуется. Или мы работаем только на болельщиков футбольной команды “Динамо”. Тогда мы должны быть им понятными, в какой-то степени приятными и удобными. Мы вообще должны быть одними из них.

Вот журнал “COOL Girl”, рассчитанный на девочек-подростков. Залог его успеха, как я понимаю, — перевоплощение



людей, которые его делают, в девочек-подростков. Я примерно себе представляю, какого возраста, пола и вида люди там работают, это не девочки-подростки. Но им блестящим образом удается имитировать мировоззрение девочек-подростков, которое очень определенно, понятно. И журналисты абсолютно правы. Они поставили перед собой такую задачу, и они ее выполняют, вероятно, единственно возможным образом. Как только группа (ну, назовем ее научно-целевая группа) становится более широкой, разнообразной, подразумевающей внутри себя некую стратификацию, некое вторичное, третичное, четвертичное разделение на группы и подгруппы, — так более общими должны становиться мировоззренческие основы журнала. Если речь идет о широкой аудитории, действительно широкой, тогда надо думать об общегуманистических ценностях, объединяющих очень многих. Тогда выясняется, что просто есть набор вещей, которые абсолютно запрещены. Начиная от неких форм существования языка и кончая политическими течениями экстремистского, скажем, толка. Они заведомо маргинальны и на маргиналиях им и место. На краю. А все, что представляет из себя центральную, генеральную сферу человеческого существования, и есть журнал (в данном случае), его суть.

Я думаю, что мы находимся именно в такой позиции, поскольку представляем себе свою аудиторию довольно точно и знаем, что эта аудитория достаточно разнообразна. Я в свое время предложил социологам, которые изучают нашу аудиторию, воспользоваться несколько забавным, по-моему, приемом. Невозможно ведь выяснить впрямую уровень доходов тех же читателей: никто не хочет об этом говорить. Кроме того, оценка материального положения — вещь очень субъективная: достаточно людей чрезвычайно бедных, которые абсолютно искренне считают себя вполне обеспеченными, и достаточно людей, получающих чудовищные деньги, которые считают, что им не хватает на жизнь, тоже абсолютно искренне. Я предложил тогда (и сейчас вроде этот метод получил даже некоторое распространение) выяснить процент семейного дохода, уходящего на еду. Это вещь объективная. Если человек 80 процентов того, что зарабатывает, проедает, значит он бедный. Если человек проедает 10 процентов того, что зарабатывает, значит он богатый. Есть, конечно, экзотические случаи, когда, скажем, человек помешан на своей библиотеке, получает копейки, но все тратит на книги. Оставим эту экзотику в стороне. Наша аудитория начинается на 65–70 процентах семейного дохода, уходяще-

го на еду (это люди малообеспеченные), кончается на 10–15 процентах (это люди высокообеспеченные). Очень широкий диапазон. Поэтому, конечно, мы ближе к некоему общегуманитарному и общегуманистическому настроению.

Нужно отдавать себе отчет, что, конечно, качество тех инструментов, которые мы используем для анализа своей аудитории, ее настроений, для получения обратной связи, измерения того, что происходит с нашим читателем, — это качество чрезвычайно низкое. К сожалению, надежных методов, надежной системы постоянного слежения за тем, что думает наш читатель по поводу каждой публикации или нашего отношения к той или иной проблеме, у нас нет. Мы пытаемся их найти, тратим на это много денег и усилий, но все равно, объективно говоря, у нас складывается довольно смутная картина действительности. Поэтому мы вынуждены пользоваться некорректными и антинаучными методами ориентации на узкую группу просто лично знакомых людей. На вопрос, для кого я работаю, могу ответить: “Для двадцати человек, имена которых сейчас могу написать в столбик”. Я понимаю, что это неправильно, но это единственный выход. Я знаю этих людей, представляю их реакцию на все вокруг и примерно соотношу то, что мы делаем, с тем, как они на это отреагируют. Я пытаюсь понять: им такое вот понравится или нет? Они руку мне подадут при встрече после такой публикации или нет? Что они противопоставят написанному нами на сей счет? Когда у меня будут более надежные инструменты, я брошу этот метод и буду пользоваться чем-то более серьезным и более научным.

— Скажите, Сергей Борисович, а как вы нащупывали эту свою аудиторию, когда только создавали журнал?

— Нащупывал я ее известным вам фокус-групповым методом. Мы провели большую серию фокус-групп, я сидел за стеклом, и на это ушла уйма денег и времени. Какие-то представления у нас появились еще до рождения журнала, когда в качестве темы для разговора предлагались другие издания, которые существовали в стране и за границей. Как только появился журнал, все это немедленно было продолжено уже с живыми номерами в руках, и происходила какая-то корректировка. Дальше пошел автоматический отклик. Не письма, конечно. Письма в этом смысле абсолютно ничего нам не принесли, ничего не добавили и не убавили, увы. Чуть-чуть ситуация изменилась сейчас, когда появилась электронная почта и зарождается манера общаться таким образом с незнакомыми людьми,

даже у тех, кто никогда в жизни не писал писем в редакцию (им это в голову не пришло бы). Новые поколения начинают искать обратную связь с нами. Все это, конечно, в зародыше. Пройдет время, может быть, это будет мощным каналом обратной связи. Я бы сказал, что содержательно электронная почта во много-много раз богаче почты бумажной. Уже сейчас. И если взять то, что мы публикуем время от времени, — на 80 процентов это письма, пришедшие в компьютер, а не по обычной почте.

— *Ваша аудитория с момента создания журнала до сего дня менялась? Она консолидировалась или ее границы становились более размытыми?*

— Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Но аудитория объективно физически расширяется. У нас в стране становится больше людей, которые могут и должны читать такого рода журнал. Есть знаменитое правило: реформы в России распространяются от Центрального телеграфа концентрическими кругами наружу со скоростью сто километров в год. Это правда, и мы это хорошо чувствуем. И вместе с реформами концентрическими кругами со скоростью сто километров в год распространяется ареал обитания нашего читателя. Потому что мы издаем еженедельный журнал, не представляющий собой ничего нового и экзотического, являющийся классическим воплощением классического канона, существующего пятьдесят лет. Он просто первый раз сделан на русском языке по всем этим правилам. Он является (что важно для него) не просто чтением, а частью образа жизни. И один из моих коллег был совершенно прав, сказав, что будущее журнала напрямую зависит от темпа развития и усовершенствования сети железных дорог в России. Этот журнал должен покупаться на вокзале и читаться в поезде. Но только не в общем вагоне. Главное, что этот журнал по определению читают те, кто много передвигается, читает в дороге. Может быть, преувеличена жесткость такой связи, но действительно это — образ жизни.

Вот изобретенный мною “критерий воды”. Население Российской Федерации делится на людей, пьющих воду из лужи, пьющих воду из колодца, пьющих воду из-под крана, пьющих воду “Святой источник”, пьющих воду “Сан Пелегрино”, пьющих чай из “Сан Пелегрино” и принимающих ванну из “Сан Пелегрино”. Это часть образа жизни. Вода “Святой источник” — это наиболее точно — наш читатель. Нужен не просто уровень доходов, а нечто большее. Чтобы человеку в какой-то момент перестала казаться идиотизмом покупка воды в бутылке. Не кока-

колы, не сока, не кефира, а воды. Чего ее покупать в бутылке? Она из крана течет. Как только человек покупает первый раз воду в бутылке, причем не из соображений престижа, не ориентируясь при этом на цвет бутылки, ее форму или буквы, которые на ней написаны, а покупает в бутылке чистую воду — пить, его образ жизни уже изменился. Он начал заботиться о себе, он относится к себе с уважением. Не то чтобы он расточительствует, но он может позволить себе маленькие обыденные удовольствия, например, чистую воду. Не дорого же, ничего особенного.

Частью таких традиций и привычек становится журнал. И совершенно не случайно, что у “Newsweek”, который является нашим партнером, 95 процентов тиража распространяется по подписке. У нас 5 процентов. Потому что они воспитывали эту традицию шестьдесят лет. Такой журнал представляет из себя, как говорят нам социологи, с которыми мы имеем дело, “снегоуборочную машину”. Он за год пропускает через себя невероятное количество разных людей: он их спереди загребает, а сзади они вываливаются. Колоссальное число людей читают один номер в год, два номера в год, три номера... И не потому, что им не нравится — прочел и все, больше не буду покупать. Нет привычки, традиции. Это должно стать привычкой, должно сделаться частью долгого субботнего завтрака. Вот в субботу, когда завтрак продолжается не 20 минут, а полтора часа, вот тогда.... Я условно говорю, потому что журнал выходит не в субботу, а в понедельник. Важно, что он должен стать частью еженедельной традиции. Должен читаться одним и тем же человеком в одно и то же время в одних и тех же обстоятельствах, снова и снова, неделя за неделей, год за годом. И детьми его, и внуками, и правнуками.

— *Человек должен быть уверен, что в номере на определенном месте он найдет нечто его интересующее?*

— Ровно так мы и работаем, поддерживая постоянное горение нескольких, так сказать, “лучин”. Одних и тех же, непрерывно и постоянно. Пока, к сожалению, в таком постоянстве мало смысла, потому что чрезвычайно мало людей читают два номера подряд. Но это работа на десятилетия. Процедура потребления такого рода продукта весьма специфична. Она сильно отличается от чтения газет или традиционного “толстого” журнала. Как человек покупает журнал, как он приходит домой, кидает его на кухне на подоконник, забывает об этом, как его подбирает жена, и читает жена, и приносит ему опять... Это не я придумал, это отслежено десятки лет тому назад — некий ритуал потребления.

— *А какие газеты читают ваши читатели?*

— “Коммерсант” читают. Кто-то читает “Московские новости”, кто-то “Сегодня”, кто-то по-прежнему “Известия”. Журнал не может ставить перед собой ту задачу, которую обязана ставить газета: быть единственным изданием в руках у читателя. Газеты же во многом однотипны. Одни чуть лучше, другие чуть хуже, но они делают примерно одно и то же дело, крутятся в одной тематической корзине, в одном информационном потоке. Любой из них, всем им одновременно и ни одной в отдельности мы можем быть дополнением. Но совершенно очевидно, что человек должен читать газеты и смотреть по телевизору по меньшей мере два выпуска новостей в день. Это социальная характеристика, которая нас интересует. Это наш человек.

— *У вас есть конкуренты?*

— Прямых — нет. Я совершенно в этом уверен. Пересекающихся много. Каким-то углом мы до сих пор пересекаемся с “Огоньком”. Каким-то — с “Деньгами”, “Коммерсант-Властью”, “Geo”, “Playboy”, “Vogue” — многими. Спектр журнального прилавка не сформировался полностью. Я отдаю себе отчет, что тот самый канон, о котором говорил, я время от времени нарушаю. Берусь не за свое дело. Могу себе это позволить, пока нет прямого конкурента. Пока нет рядом “Paris Match” — то есть журнала, который был бы реальным русским “Paris Match”. Пока “Geo” мало распространен и не адаптирован к отечественному читателю. Когда я у какого-нибудь хорошего западного агентства покупаю фоторепортаж, продавец иногда говорит мне: “Слушай, ты не боишься? Это ведь не твое дело. Это не твой кусок”. Когда мы делаем восьмистраничный репортаж о том, как между Чадом и Сомали до сих пор ходят соляные караваны, как процветает работорговля, такая сочная средневековая жизнь — это красиво, но это не мое дело. Есть другие издания, которые должны этим заниматься, или пустые ниши. Если образуется пустота, если издания, претендующие на занятие этих ниш, плохи — тогда этим занимаюсь я. Когда мы печатаем шестистраничный репортаж о самом большом в мире ежегодном бале в Вене, мы понимаем, что это тоже не наше дело. Но мы этим занимаемся, потому что, повторю, наш конкурент, который отнимет у нас эту тематику, еще не родился. Так что, я думаю, наша аудитория растет.

Чрезвычайно интересно, что аудитория растет и изменяется в возрастном смысле: она молодеет. Об этом говорит электронная почта. Есть отчетливые указания на это, часто приносимые нам рекламодателями, которые проводят свои исследования.

Производителю сигарет, штанов, мебели гораздо даже важнее, чем нам, установить, где его потребители. Он приходит к нам с рекламой и говорит: “Вы будете смеяться, но покупатель наших штанов читает ваш журнал. Вот реклама”. Там живые деньги, так что в это можно верить.

— *Фактически вы начали отвечать на вопрос, который хотелось задать — о векторах дифференциации средств массовой информации по содержанию. Как вообще вам видятся перспективы существования газет и журналов, их взаимодействие с телевидением, Интернетом? Сможет ли пресса обрести надежную финансовую базу?*

— Что важно, по-моему, для нынешней ситуации, так это, я бы сказал, неточность расположения журналов в этих самых секторах информации или нишах. Вот есть несколько ямок, и огромное число изданий как бы сидит на краю каждой ямки, свесив ножки, вместо того чтобы стоять в ее центре. Или пытаются сидеть в двух ямках одновременно. Очень много пограничного, получается такая нерезкая картина, смазанная. Возьмем хороший журнал “Деньги”. Он пытается одной ногой стоять в сфере семейно-практической тематики, чрезвычайно важной и полезной — руководство в правильной трате денег, куда их вложить, как накопить, как не дать себя обмануть, стоит ли использовать новые кредитные карточки, как лучше покупать квартиру, в рассрочку или сразу... Одновременно журнал пытается заниматься анализом экономической ситуации. Это уже другая ниша. Частично предлагается развлекательное чтение на около-экономические и околоденежные темы: вот биография известного финансиста, как он с одним долларом пришел в Нью-Йорк, чистил сапоги, а теперь владеет всей Калифорнией.

Все это разные вещи, и я думаю, что в ближайшее время будет происходить процесс не только появления новых изданий и отмирания старых, но еще и такой “центровки”: каждое издание в своей сфере будет пытаться занять точное положение, отказываясь от чужого, лишнего, усиливая свое. Журналу “Деньги” предстоит что-то выбрать из того спектра тем, которые он сейчас держит в поле зрения. Он хочет быть экономическим изданием или он хочет быть инструкцией по применению денег в семье? Рано или поздно он этот выбор сделает. “Огонек” тоже перестанет быть общественно-политическим изданием, делается, видимо, таким аннотированным фотоальбомом. Не хочу сказать, что бывают дворянские и не дворянские профессии, благородные и неблагородные миссии. Разные задачи возника-

ют перед изданиями. Конечно же, и нам, то есть “Итогам”, со временем предстоит занять свою нишу более точно.

— *Какую? Сейчас вы — нечто среднее между семейным чтением и общественно-политическим журналом.*

— Есть некая задача: попытаться объяснить человеку, “что происходит” или “как это делается на самом деле”. Миссия разъяснительная. Есть у журнала такой лозунг: “Вы понимаете, что происходит”, то есть вы уже знаете, что происходит, и в общем-то мы почти ничего нового вам не сообщаем, мы пытаемся организовать имеющуюся у вас информацию, дополнив ее некими разъяснениями. Мы пытаемся синтезировать сведения, которые у вас есть, привести их в некую систему, показать вам связь между вещами, что отдельное сведение А и отдельное сведение Б на самом деле свидетельствуют об одном и том же, хотя они из двух разных сфер жизни. Вот это, наверное, наша задача. Это — журнал, организующий информацию для информированного человека. Дальше начинается тематический спектр: что мы считаем нашими темами. Ну, понятно, политику, экономику... Спорт — считаем или нет? Кухню — считаем или нет? Я намеренно беру, казалось бы, заведомо маргинальные вещи. Путешествия — считаем или нет? Наверное — да, дело в подходе к теме. Выясняется, что в общем-то тематически нет ничего, о чем мы могли бы сказать: это — не наше. Мы можем писать о развитии порноиндустрии, и от этого журнал не перестанет быть семейным, родители не будут прятать его от детей. Тема возможна любая, вопрос — в подходе к этой теме.

Вот что я сказал бы о той самой дифференциации. С одной стороны, назревает такое вот центрирование, с другой, я думаю, будет происходить постепенное осознание и инвентаризация дыр, которые в этом спектре есть. Часть этих дыр хорошо видна. Вот “Paris Match”. Должен быть журнал, который не “7 дней”, с одной стороны, и не журнал “Лица” — с другой. Это будет именно “Paris Match” — высококачественный фотожурнал с несомненным преобладанием визуальной информации над текстовой. На таком языке он будет описывать нам окружающую жизнь. Он появится потому, что здесь очевидна пустующая ниша. Но есть масса ложно занятых ниш. Имеется, например, колоссальное число журналов о путешествиях — “Вояж”, “Путешественник”, “Отдых” такой, “Отдых” сякой. Это — одна из просторнейших и важнейших ниш на журнальном рынке. И нет ни одного издания, реально удовлетворяющего потребности много путешествующего, любящего путешествовать, с удовольствием путешествующего

читателя полной, разнообразной, адекватной, практически применимой информацией. Ни один из существующих журналов не заполняет эту нишу. Там, конечно, большая проблема — мы возвращаемся к началу нашего разговора — с информацией рекламного и нерекламного характера. Это не вопрос о честности, добросовестности людей и чего-либо еще в таком духе. Это вопрос о том, как они понимают свой труд и задачу своего журнала. Скажем, информация очень мало ориентирована на специфику спроса русского путешественника. И в этом смысле названные журналы так же бессмысленны, как попытки переводить западные путеводители. Наш путешественник ищет другие гостиницы, не те, что описаны в путеводителе. Он ищет другие рестораны, другие впечатления, ищет уединения там, где ему предлагают шумную компанию, и наоборот, многолюдия там, где ему хвастаются возможностью уединения.

Я думаю, что вдруг должно произойти, вдруг обнаружиться, что эти журналы (я только для примера привел именно “путешественательные” издания) — мертвые имитации, муляжи. Они должны исчезнуть, и на их месте появится один или несколько других журналов, реально заполняющих собой эту сферу. Та же история, предположим, с разнообразной журнальной литературой, посвященной дому, интерьеру. С помощью журнала “Мезонин” можно сделать все, что угодно, но только не обставить квартиру. У нас в стране много строится, у нас активный оборот недвижимости, масса квартир продается, покупается и меняется. Муниципальное строительство развивается семимильными шагами. У нас нарождается отечественная мебельная промышленность и так далее, и так далее. За всем этим валом должна идти специализированная пресса. Ее нет, есть только муляжи. Так во многих сферах.

— Скажите, Сергей Борисович, журнальная дифференциация, по вашему мнению, отражает дифференциацию социальную? И что первично?

— Думаю, что первично разделение по потребностям, по неким тематическим нишам. Ниша “Путешествия”, ниша “Дом и интерьер”, ниша “Здоровье”, ниша “Политика и экономика”, ниша “Искусство” и так далее. Внутри этого происходит разделение на дальнейшие клетушки по разным критериям. По критериям доходов, несомненно. Вот уже после того, как появится журнал о доме и интерьере, должно появиться такое издание для бедных и такое издание для богатых. Ни то, ни другое не должно быть похоже на нынешний “Мезонин”. Когда появится



журнал о путешествиях, должен появиться журнал для бедного путешественника и для богатого. Может быть, они станут действовать в какой-то мере крест-накрест: в журнале для богатого путешественника появится небольшой раздел для бедного путешественника. Впрочем, не наоборот, в журнале “бедном” раздела “богатого” быть не должно, это будет раздражать. Здесь все имеет практическую сторону. Вот есть журнал для родителей, а там раздел для детей, которые, будучи студентами, в первый раз едут на каникулы в Прагу. У них денег в кармане мало, хотя они и дети богатых родителей. Им надо знать, как они могут дешево доехать, где они могут дешево поесть, переночевать своей веселой компанией и так далее.

Несомненно, внутри обозначившихся ниш должна происходить дальнейшая специализация. После того, как родился журнал, посвященный дому и интерьеру, появится журнал, посвященный отдельно дому, отдельно саду и отдельно мебели. Только потом. Смешно, что эта ситуация переворачивается. “Сад” у нас появился в первую очередь, что не вполне логично. Но в наших условиях, в жизни то, что называется “сад”, было дополнением к бедному летнему столу, а не ландшафтной архитектурой. “Сад”, а скорее огород, появился раньше дома, даже раньше убогой времянки, называвшейся “садовым домиком”.

Разумеется, я должен как бы присоединиться к сонму тех, кто говорит банальности, и указать, что Интернет внесет изменения в нашу профессию. Я думаю, что он, конечно, серьезно угрожает рынку ежедневных газет. Это для них большая проблема. Другое дело, что ежедневная газета легче всего и удобнее всего переводится в электронную форму. И лучший способ защиты ежедневной газеты от Интернета — просто ее перевоплощение в интернетовскую форму. Если хочешь победить дракона, нужно стать драконом. Что, в общем, газеты и делают достаточно эффективно и реактивно. Электронные версии существующих бумажных газет постепенно превращаются из случайного дополнения к основному бумажному выпуску в нечто существенное для компании, которая издает газету. И вообще уже не известно, что для чего является версией: то ли электронная газета почему-то еще небольшим тиражом выходит на бумаге, то ли бумажная газета имеет электронное приложение. Все больше первого варианта.

Вопрос не только в скорости издания и распространения, а и в том, что электронная газета может выходить несколько раз в день. Возможна региональная специфика: гораздо проще сде-

лать в Интернете страницу курских известий, страницу орловских известий, страницу томских известий, чем выпускать региональные вкладыши на бумаге. Легко организовать навигацию по этим приложениям. Чрезвычайно важна обратная связь. То, что неудачно, но традиционно в Интернете называется “гостевой книгой”, предоставляет возможность читателю немедленно отозваться на прочтенное — это важнейшая часть любого интернетовского проекта. Я думаю, что перевоплощение ежедневной печати в электронную форму будет происходить быстро, необратимо и неотвратно.

С журналами другая картина — кстати, и с телевидением, потому что Интернет, во всяком случае пока, по своим техническим характеристикам не заменяет телевидение. Сколько бы ни говорили о том, что Олимпийские игры 24 часа в сутки в режиме реального времени можно было смотреть по Интернету, все это чепуха. Можно было видеть лишь разрозненные кадры ужасного качества, и то при наличии идеальных условий связи. Пока условий для конкуренции между Интернетом и телевидением нет, хотя, конечно, все развивается. Но телевидение еще много лет может не бояться Интернета, а вот ежедневные газеты — да.

— *Значит, на ваш взгляд, будущего у бумажной газеты нет?*

— Я думаю, что у бумажной газеты — нет. За исключением тех редких и счастливых случаев, когда газета является таким странным ежедневным журналом и тем в большей степени выступает в качестве предмета ритуала и образа жизни. За исключением таких случаев, когда это “Times”. Абсолютно не важно, что в ней написано, а важно, чтобы она утром пришла.

— *А местная газета?*

— Про местную печать я мало знаю. Но думаю, что в наших условиях и с нашей связью Интернет во многие регионы долго не заглянет. И, наверное, будет проще издавать газету, чем пытаться налаживать связи и искать там на месте потребителей электронной информации. Но в общенациональном масштабе, конечно, доступ к Интернету будет стремительно расширяться, аудитория будет стремительно разрастаться, и, что важно в данном случае, туда будет двигаться рекламный рынок. В общем, мы вполне отдаем себе отчет в том, что реклама — основной, а может быть, и единственный источник дохода в сфере печати. А не продажа. Несколько утрированно можно было бы сказать, что распространение — полагаю, для большинства изданий — могло бы быть и бесплатным. “Washington Post” стоит 25 центов, аб-

солютно символическая цена. Просто для того, чтобы не обижать самих себя бесплатной раздачей, что, кстати, меняет и отношение читателя к газете. Люди хоть какую-то денежку должны положить. Это психологически верно. Но владельцы газеты легко без тех 25 центов могли бы обойтись. Та же ситуация и у нас. Мы пытаемся извлекать какие-то небольшие деньги еще и из продажи, но совершенно очевидно, что это не только нас не прокормит, но даже не компенсирует полиграфические расходы.

— *Сергей Борисович, можно вам задать еще такой личный вопрос: как в современных условиях можно создать новый журнал? Вот ни с того ни с сего вы подумали и решили...*

— Примерно за два года до того, как возник журнал, я, работая в газете “Сегодня”, предложил МОСТу проект такого издания. Принес полторы страницы, где была написана некая концепция. Она не вызвала никакого энтузиазма. Абсолютно. Я даже не получил никакого ответа. Но когда перед МОСТом встал вопрос, продолжают ли они заниматься бизнесом в сфере информации, более того, является ли для них этот бизнес главным и готовы ли они продолжать развитие своей медиа-группы, тогда — для себя ответив на все эти вопросы положительно — они пришли к выводу, что медиа-группы без журнала не бывает. Кто-то вспомнил, что я приходил и предлагал концепцию журнала. Мне и было предложено его сделать, я был на это нанят. А дальше можно было год его придумывать. В подробностях. Создавать макет. Выстраивать систему взаимоотношений с “Newsweek”, поскольку частью первоначальной идеи было наличие западного партнера. Общение с западным партнером, использование его опыта и целого ряда его услуг строится на платной основе. Мы им платим за то, что они разрешают нам использовать свой логотип на обложке, предоставляют возможность перепечатывать в определенном объеме их материалы, готовы направлять нам консультантов тогда, когда это нужно (что было особенно важно на начальном этапе). Мы можем пользоваться в какой-то степени их архивом и, кроме того, получаем разного рода услуги в сфере рекламы, поскольку “Newsweek” представляет собой гигантское рекламное агентство.

Год уходит на то, чтобы придумать журнал и собрать людей.

В редакции сейчас работает семьдесят пять человек. Понятно, что какой-то процент материалов написан посторонними авторами (процентов 30). Подготовительный год мы работали вдвоем с Машей Липман, которая теперь мой заместитель. Она отвечала за людей. Оглядывалась по сторонам, читала разные

статьи, пыталась прикинуть: можно ли того или иного человека конвертировать в журнального журналиста, поскольку эта профессия — совершенно особая. Это очень определенный навык, определенный стиль, определенный подход к делу. Таких людей раньше взять было неоткуда. В ряде случаев она учитывала верно, в ряде случаев ошибалась, во всяком случае, мы перепробовали довольно много людей, пока сложилась какая-то группа. Поскольку журнальной школы не существует, профессии нет, традиции нет, династии нет, все “по-новому”, все на голом месте — эффекты происходили чрезвычайно странные. Выяснилось, что легко конвертируются в журнальную журналистику работники радио. Почему-то, как оказалась, газетному журналисту тяжело переквалифицироваться, а радиожурналисту — проще. Почему — не знаю. Кроме того, в какой-то момент показалось интересным поискать некий резервуар, то есть не отдельного человека, а места, где присутствуют пригодные нам люди. Таким местом оказалось сообщество людей, работающих в Москве в корпоративных западных средств массовой информации на служебных ролях. Часто они считаются переводчиками, референтами, служат почти на технических должностях. На самом деле они и есть корпункт. А журналисты — приезжает один, его сменяет другой, через год третий... Они приезжают на все готовое. Корпункт “Washington Post” в Москве — это и была Маша Липман, корпункт газеты “Repubblica” — это Сергей Авдеенко, теперь наш заводделом политики. Таких людей довольно много. Я стал по ним ходить и кого-то перекупил. Это довольно специфическая задача, потому что это люди, которые много лет находились в тени, их никто не знал, они были во многом лишены ответственности и инициативы, они знали, что есть “широкая спина” западного хозяина, который укажет, защитит, направит, объяснит, поставит задачу и так далее. Но в то же время они страдали от того, что часто должны были втолковывать той самой “широкой спине”, что вот это интересно, это важно, этим надо заняться, а вот этим заниматься не стоит. Многие были очень привязаны к своему месту, где провели немало времени, им не хотелось это место оставлять. Им казалось, как той крысе Чучундре, что нельзя выходить из тени, нельзя идти через середину комнаты. Но я тащил их на середину комнаты, кого-то вытащил, и эти люди сыграли важную роль в журнале, играют до сих пор.

— У вас в основном молодые сотрудники?

— Нет. Здесь, что мне тоже показалось важным, возник довольно интересный “компот” из поколений. Арт-директору

журнала — 62 года, фотодиректору — 60, завотделом политики — 52.

— *Как же так получается: они же из старой журналистики?*

— Ну и что? А я зачем? Я их выучил. Нет, я кого-то из них выучил, а кто-то выучил меня. Ну, скажем, арт-директор, кто для журнала чрезвычайно важен. В журнале работает патриарх и старейшина российского и советского графического дизайна Аркадий Троянкер, бывший главный художник издательства “Книга”. Он стал учиться в свои 62 года и освоил специфику журнальной работы. Но пригодилась профессиональная база, которая у него была, не имеющая отношения к журналистике. Он не владеет компьютером, но у него есть шесть дизайнеров, мальчиков и девочек. Бога ради: разделение труда. Над ними стоит человек, который никогда не садится за клавиатуру, но который говорит: “Переставьте местами эти две фотографии — будет совсем другое впечатление”. Так и получается, почему — неизвестно. Ну, и так далее.

Достаточно интересный выходит “компот” из поколений. Особенно важно для журнала было все, что связано с фотослужбой. Профессии фоторедактора в стране нет. Худо и с фоторепортерами. Сложно оказалось найти фоторедакторов, потому что это целая большая служба. Тогда мы взяли людей очень опытных, в возрасте, но настолько живых, что они готовы были переучиваться. И они стали переучиваться. Фотодиректору журнала — за 60. И лучшему, на мой взгляд, фоторедактору журнала Алисе Петровой тоже около того. Но они сказали: “Да, мы отдаем себе отчет, что наша профессия только зарождается. То, чем мы занимались, — другая профессия. Сейчас будем учиться новой профессии, используя опыт и навыки, которые у нас были раньше”. У кого-то это получилось. А кто-то сказал: “Это отвратительно. Как вы смеете нас учить! Вы все сопляки тут”.

Ну, и работают у нас те люди, которые не посчитали зазорным переучиваться. Думаю, это сегодня закономерно.

## И.Е. Петровская

### “Думать — тоже работа”

*— Ирина Евгеньевна, вы журналист, пишущий о телевидении, ваше имя хорошо знают и читатели, и зрители, и руководители телеканалов. Нам поэтому особенно интересна ваша сравнительная оценка общественной функции прессы и телевидения, их влияния на сознание людей. Тут интересны и ретроспектива, и прогноз. Но начнем, пожалуй, с достаточно личного вопроса: почему вы выбрали “телевидение” в качестве основной темы и предмета исследования?*

— Можно сказать, случайно. Окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ (в 1982 году) и предполагала работать на телевидении. Но, честно говоря, в то время мы слабо представляли себе его специфику, и тогда как-то сложно было попасть в эту организацию без связей и звонков. Была там внештатником, делала какие-то сюжетики, передачи. Так сложилось, что несколько раз газеты и журналы заказали рецензии, стала этим заниматься. Вот с 90-х годов и начался активный период такой работы. Выяснилось, что телевидение — это своего рода индикатор, по которому можно очень о многом судить. Как мне кажется, я все-таки пишу не об искусстве телевидения (наверное, кто-то должен и об этом писать), а пытаюсь анализировать различные общественные явления через телевидение. Оказался востребованным такой вот жанр, им мало кто занимался. Не в чистом виде анализ программ, а жизнь, отраженная в телепрограммах, которая для многих — первая, для кого-то — вторая жизнь, виртуальная реальность или реальность. Просто такой угол зрения.

Я работала в разных изданиях — журналах “Журналист” и “Огонек”, в “Независимой газете”; работая в “Общей газете”, стала на год главным редактором еженедельника “7 дней”, а потом ушла в “Известия”. Здесь “осела” на довольно значительное время — практически половину последнего десятилетия была сотрудником, обозревателем “Известий”. По моему

душевному складу газета мне ближе. На телевидении меня раздражало коллективное творчество. Ведь это по сути своей — именно коллективное творчество. Ты можешь придумать что-нибудь сколь угодно гениальное, но у тебя ничего не получится, если плохо сработает оператор или не сложатся с ним отношения. Вот это мне не нравилось. И потом, я люблю, чтобы был быстрый результат. “Известия” в этом смысле идеальны: я сдаю свою дискету в пятницу утром, а вечером уже напечатано. Написал и опубликовал — замечательно. Я и планировать не умею. Когда в “Общей газете” у меня была своя полоса и меня заранее спрашивали (все-таки еженедельник), что я буду давать в эту полосу — я не могла твердо сказать до момента, пока не села за машинку или компьютер. Но напишу обязательно. Если доверяете мне, взяли меня — пожалуйста. Если идут какие-нибудь скандальные материалы — так я сама тысячу раз посоветуюсь. Ведь я там не только обзорами занималась. Этот жанр придумался и родился как постоянный уже именно в “Известиях”.

— *Как-то на месте вашего обзора появилось обращение редакции к читателям: не волнуйтесь, не звоните — Петровскую не уволили, она не прекратила писать, а, к сожалению, лежит в больнице со сломанной ногой... Чем вы сами объясняете такое внимание к вашим выступлениям?*

— Не знаю, но думаю, что просто существует еще достаточное число нормальных людей, хочется считать, что ты нормальный человек, и, наверное, происходит какое-то попадание. Да, это возможно. Если человек находит автора, которому доверяет, он вступает с ним в общение как с собеседником (с телевизором это не получается, во всяком случае — в меньшей степени). Человеку важно свои мысли сверить с кем-то. У кого-то нет такой возможности. Кто-то с домашними поговорил, а они сказали: да ну, неинтересно. Или не совпало мнение. А он ищет возможности сверить то, что думает, что в голову ему пришло. И если это находит, то и происходит попадание. Человек звонит или пишет и радостно сообщает, что его взгляд на такие-то вещи либо неприятие этих вещей совпадает с тем, что он прочитал; ему хотелось и самому написать, и вдруг он получает газету, а там уже все это сказано, да еще так, как он и сам намеревался выразить... Сложно сказать, почему, но возникает такое взаимопонимание. Нормальные люди должны объединяться. А на самом деле я бываю очень рада, когда мнения и не совпадают.

— *Вы говорите, что пытаетесь анализировать общественные явления через телевидение. А как складывались ваши собственные взгляды на идущие в стране процессы, на ее общественное устройство? Привержены ли вы неким социальным идеалам?*

— Опять же, как у очень многих людей, взгляды складывались стихийно демократично в своей основе, когда казалось (примерно десять лет назад), что демократия России необходима, что демократия — единственный способ устройства, который как бы ее спасет; когда казалось, что демократические идеи очень легко приживутся, поскольку измученные тоталитаризмом и коммунистическим игом люди должны воспринять их однозначно положительно — на сто процентов. Поначалу так и было, я думаю. А потом мы — в том числе средства массовой информации — упустили момент, когда почва была замечательно для демократии, что называется, унавожена. Представлялось — все придет само собой, а выяснилось — ничего подобного: демократическое просветительство — вещь совершенно необходимая и абсолютно упущенная. В первую очередь телевидением, потому что газеты все-таки несопоставимы с ним по уровню влияния на людей. Так что, в общем, я была крайне наивна.

Все происходило очень быстро. Для нас (я имею в виду людей моего поколения) уже не существовало разных социализмов: ту стадию, которую мучительно переживали шестидесятники — от социализма с “безумным лицом” к социализму с “человеческим лицом”, — мы как бы просто миновали. Когда началось какое-то движение по пути реформ, очень быстро выяснилось, что социализм невозможен в принципе, с каким угодно лицом. Мне лично это было понятно. Наивность же моя и многих других состояла в том, что мы несколько переоценили возможность восприятия населением совсем других идей, совершенно новой системы. В 91-м году, после путча, казалось — судя по репортажам, по эйфорическому состоянию населения, — что демократия плавно и закономерно ляжет на освободившееся место. Ну, просто по тому, как сметали памятники, абсолютно не признавали коммунистическую идею и коммунистов как таковых. А потом прошло два года, и стало ясно: когда ничего не делается, ничего не объясняется, то огромное число людей не в состоянии понять, что происходит с ними, с их жизнью, что происходит вокруг, и они обращаются к прежним идеалам, даже на время отринутым. Огромное количество писем — в част-



ности, и у меня, — в которых читатели пишут: вот я защищал демократию в 91-м году, стоял в живом кольце, искренне приветствовал перемены, а сейчас я — за коммунистов... Значит, что-то такое мы не сделали или, наоборот, сделали крайне топорно, если люди так вот меняют свои убеждения и взгляды.

Ну, а что касается социальных идеалов, то, кажется, Черчилль говорил, что ненавидит демократию, но ничего другого, к сожалению, не придумано.

— *Если вернуться непосредственно к журналистской деятельности, то что здесь вы считаете более важным достоинством — определенную позицию или объективизм?*

— Я думаю, журналистская деятельность настолько многообразна, что в определенных жанрах все-таки нужен объективизм. Если мы возьмем информацию, она должна быть объективной и объективистской. В аналитических жанрах необходима позиция, потому что люди подписываются на ту или иную газету либо выбирают те или иные программы именно потому, что принимают либо не принимают определенную позицию, личность человека, через которого она выражается. Возможно, это помогает им самоопределиваться, найти “своих” в меняющемся обществе. В каком-то смысле возникают и новые солидарности.

— *Кажется, телевидение здесь пытается помочь прессе: ближе к ночи дает обзоры наиболее интересных публикаций, которые появятся в завтрашних газетах. Выбор для читателя-покупателя становится как бы целенаправленным.*

— Да, но при том очень важно, чтобы это было а) не на коммерческой основе, потому что часто здесь действует именно коммерческий интерес, и б) все-таки лишено некой предвзятости по отношению к конкретным газетам. Я, к сожалению, знаю, как это делается. Спешка, идет номер, а тут звонят: “Что у вас там сегодня?” Человек, ответственный за public relations, говорит: “Я отошлю их к тебе, расскажи”. А ты в ответ: “Ни в коем случае, я занята, сижу вычитываю”... Ну, и в результате берется план номера, вытаскивается какой-то материал, который можно более или менее вразумительно проанонсировать соответственно на телевидении или на радио. К сожалению, полноценной программы о прессе на телевидении до сих пор нет.

— *Вы разделяете ту точку зрения, согласно которой телевидение предоставляет большие возможности для манипулирования сознанием? Хотя бы в силу более эмоционального, чем рационально аргументированного, воздействия на умы.*

— Да, пожалуй, я эту точку зрения разделяю, потому что здесь очень много значит и “картинка”, которая часто может совершенно другим образом воздействовать на человека, нежели сам текст, словесный ряд. Бывали же смешные примеры, когда зарубежные собкоры старого телевидения стояли где-нибудь в Париже и говорили о тяжелой жизни французских безработных, а в этот момент картинка демонстрировала совершенно других людей, одетых так, как и не снилось в “стране победившего социализма”. Таким образом, человек получал совершенно другой визуальный ряд — и все остальное приобретало иной смысл. Поэтому корреспонденты стали выбирать совершенно другие объекты — какую-нибудь помойку, облезлый дом, везде можно это найти, — дабы картинка и слова не приходили в очевидное противоречие.

— *В одном из своих выступлений вы упоминали о современной теории социальной ответственности прессы. Не могли бы вы сказать об этом подробнее?*

— Действительно, есть такая теория, но у нас о ней знает лишь узкий круг специалистов. Она не рассматривает человека как существо, разумно пользующееся неограниченной свободой. Человек, утверждает эта теория, по своей природе апатичен. Он способен прибегать к разуму, но не любит этого делать. В результате он становится легкой добычей демагогов и всех тех, кто пытается им манипулировать. Я понимаю, что многие сочтут подобные утверждения оскорбительными, но это трезвый научный взгляд на природу человека. А коли так, необходимо защищать не только право прессы на свободу выражения мнений, но и право личности на достоверную, объективную информацию.

— *Сейчас довольно очевидно разделение на новую и старую журналистику, на прежнее и нынешнее поколения журналистов. Проводите ли вы для себя такую границу? И какую журналистику, на собственный взгляд, представляете?*

— Если исходить из того, что новое — это хорошо забытое старое, то да, в каком-то смысле я себя отношу к старой школе. В каком-то смысле. Но я глубоко убеждена — исходя опять же из вышесказанного, — что старая школа сегодня востребована, и это направление журналистики будет успешным. Возьмем Владимира Яковлева, газетного магната, основателя “Коммерсанта” (мы, кстати, учились в университете и пришли в журналистику в одно время), он-то уж точно исповедовал новую журналистику. Какая была ориентация? Строгая журнали-

стика факта. Серьезность информации в сочетании с такими “прикольно-стёбовыми” заголовками. Всякие стилевые “финтифлюшки” убирались. Никакого авторского отношения. Но прошло время, достаточно много времени, и Яковлев взял к себе Кабакова, Геворкян, создал журнал “Столица”, очевидно, предчувствуя (как человек опытный на этом рынке) потребность в том, что раньше называлось очерком, в авторском осмыслении того же факта, в авторском стиле. И начал постепенно это у себя внедрять. Я думаю, если бы не “август 98-го”, появились бы еще какие-нибудь новинки в этом издательском доме. Скажем, “Коммерсант-Власть” уже в значительной степени уделяет внимание авторскому стилю конкретных людей. Почувствовали вкус. Все это не навеки ушло. Может быть, это вообще особенность российской журналистики — именно вкус к слову, некогда впитанный, возможно, на каком-то генном уровне, чтобы можно было читать, получая при том удовольствие. Я, например, люблю читать Юлию Калинину в “Московском комсомольце”. Это приятно, интересно, это “вкусно” читать. Ты читаешь и думаешь: “Ах, ну как же она хорошо сказала!” Не только остроумно, но и иронично, тонко, сами фразочки как построены...

Вот из этого из всего для меня состоит именно газетная журналистика. Мне важен стиль, важно слово, я даже иногда потом, когда перечитываю свой материал, думаю: Боже, как же я могла так неловко сказать такую-то фразу! Читать должно быть приятно. Не в том смысле, чтобы “маслом по сердцу”, а просто чтобы это было чтение полноценное, а не те суррогаты, составленные из сухих информаций с огромными вкраплениями мало кому понятных слов (над этим издеваются и сами газетчики), особенно если пишется о компьютерах, экономике. Тут уже точно — без словаря не поймешь.

Поэтому старая школа мне ближе. Я точно знаю, что в новых изданиях, на потоке, я работать не смогла бы. (Вот еще принцип: в какой газете в случае чего ты мог бы работать; скажем, в “Московские новости”, я понимаю, вписалась бы, а в газету “Ведомости” — нет). Мне важно, что все-таки это процесс творчества — ты должен подумать, чтобы “сварить” тот же обзор, почти неделю думаешь, в голове рождается несколько вариантов заголовков, несколько вариантов начала, ты думаешь, как бы его “закольцевать”, какими должны быть стержень и переход... Потому что некие разрозненные впечатления — кому они интересны? Это сложно, бывает, что-то и недодумаешь,

ведь раз в неделю — все равно конвейер. Но, с другой стороны, сами творческие муки и делают журналистику журналистикой.

Когда в “Известия” пришел новый главный редактор Михаил Михайлович Кожокин, он был очень изумлен, что здесь существует несколько человек, работа которых заключается в том, что они думают. Он считал, что это не работа. А работа — держать в зубах дискету или листочек и сломя голову бежать и сдать пять текстов в номер. Никто не запомнит ни единого слова из тех текстов, но считается, что человек напряженно работал. И с огромным трудом старой известинской гвардии удалось, по-моему, убедить молодого редактора, что думать — тоже работа, это и есть то, что называется “известинской школой”. Конечно, его не убедили, мне кажется, что Аграновский мог раз в полгода выдать материал, но о нем потом говорили еще три года. Поэтому у журналистов есть задание, определен- ный план. Но в любом случае он понял, что старая школа имеет право на существование и более того — необходима, если мы хотим сохранить эту газету, а не кидаться куда-то в другую нишу (как он говорил в свое время в одном интервью: “Элитарная, но общенациональная газета”, и его пытались убедить, что такого не может быть в принципе — элитарная, общенациональная, да еще с уклоном в бизнес).

Сейчас в “Известиях” какое-то равновесие восстановилось, а ведь здесь, что называется, на одной и той же территории произошла форменная сшибка новой и старой школ. Это случилось, когда уже появились “Новые Известия”, а в “старые” влились “телеграфисты”, сотрудники закрывшейся газеты “Русский телеграф”. И оказалось, что одно и другое практически не соединяется. Никак. Потому что если старая школа, ну, еще более или менее толерантна по отношению к новой, то новая — абсолютно нетерпима к старой. “Литературщиной” называлось все, что больше, чем просто изложение факта. Поскольку старая гвардия, во-первых, не очень многочисленна, а во-вторых, интеллигентна и нетороплива, что ли, был период, когда все эти мальчики и девочки полностью закрыли собой газету и просто элементарно не оставалось места для тех, кто привык писать вдумчивые материалы.

Они определили свой круг — средний класс, к которому уже сами стали принадлежать, и дальше — не только о проблемах среднего класса (что логично), но просто о “себе любимых”, во всех проявлениях (гастрономические пристрастия, манера одеваться, кто куда ездит отдыхать и так далее). Помню,

когда одна из них, Катя Метелица, написала в разгар кризиса, как она ужинала в ресторане и этот ужин ей стоил небольшого бального французского платица — что было с читателями, трудно передать. Попытки внедрить идеалы, установки среднего класса в газету, где разночинная интеллигенция — основной читатель, привели к тому, что люди просто чувствовали себя униженными. Мы это понимали. И говорили. У газеты тогда была большая потеря в подписке. Были бесконечные звонки и письма: подписывались, мол, на одну газету, а нам дали другую.

Тем не менее уцелели. Думаю, здесь определенную мудрость проявил Кожокин, поддерживая старых известинцев и стараясь внушать новым, что те люди и составляют “Известия”. На самом деле это была попытка сменить аудиторию, потому что у газеты (судя по письмам и звонкам) очень мало молодых читателей — огромная для нее проблема. Попытка изменить адрес аудитории, но совершенно неудавшаяся: те, на кого вроде бы хотели ориентироваться (средний класс), уже читают “Коммерсант” или “Московский комсомолец”. Кто повыше — “Коммерсант”, кто пониже, попроще — “Комсомолец”. Может быть, и пересекаются аудитории. А почему вдруг люди станут читателями “Известий” — недодумали. Но начали внедрять такие вот установки: Метелица и прочие. Не удалось. Они ушли.

По идее, конечно, нужно ставить на молодежь, но не так же резко. Есть одна надежда, что за 50–60-летними просто по инерции придут их дети. Как часто в письмах признаются — “В нашей семье все читают...”. Меня в свое время порадовало письмо от тринадцатилетней девочки: вся семья читает “Известия”, и она, прочитав как-то мои заметки, избрала меня кумиром (вообще — не сотвори себе кумира, но здесь сотворила). И я подумала, что вот это — реальный путь. Чтобы их родители, дедушки и бабушки не разочаровывались в газете, а заинтересовывали следующее поколение своей семьей. Чтобы это стало традицией.

— Скажите, Ирина Евгеньевна, почему все же, на ваш взгляд, “Известия” раскололись, что было довольно болезненно воспринято в обществе?

— Могу только сказать, что коллектив решительно никакого отношения к этому не имел. Весь коллектив. Не буду вдаваться в детали, в перипетии смены хозяев. По сути, это был раздел собственности, в котором принимали активное участие тогдашний главный редактор Игорь Несторович Голембиовский и еще несколько человек. А потом, когда выяснилось, что новым хозяевам они не нужны, то и ушли на другую территорию. Но к

коллективу это никакого отношения не имело. Его никто ни о чем не спрашивал. Не спрашивали, когда выбирали в качестве акционеров “Лукойл” или когда выбирали “Онэксим”. Коллектив был настолько отстранен от всякого участия в судьбе газеты, что совершенно не удивительно, почему очень мало известинцев ушло вместе с Голембиовским. Я тогда осталась. У меня не было связей, близких профессиональных, товарищеских и каких угодно отношений с этой командой. Более того, лишь единожды я услышала добрые слова в свой адрес, а так — есть ты, нет тебя... Точно так же, извините, и по зарплате (новое руководство, кстати, считало нужным выразить свое отношение в денежном эквиваленте). А “Известия” остались “Известиями”. Это такая махина, знак, символ чего-то стабильного, постоянного. Пусть совсем все будет плохо, но это будут “Известия”. Я не знаю, каков здесь инерционный путь, когда все совсем остановится, но по инерции все равно — “Известия”. Вот эта магия имени, магия марки — она присутствует. Журналисты пережили много неприятного, но, думаю, самый тяжелый период прошли. Наступил как бы период стабилизации.

— *И коллектив стабильный?*

— Коллектива как такового в общем-то нет. Есть все же старая гвардия и есть молодые. И те и другие — как бы сами по себе. У этих какая-то своя ниша в газете, у тех — своя. Может быть, это уже потом, в самой газете выглядит неорганично, но во всяком случае в редакции нет того достаточно агрессивного противостояния.

В самом утрированном виде, мне кажется, новую журналистику представляют все же совсем молодые, лет двадцати — многие ведь начинают сейчас работать, еще учась в университете. Те, которые пока не имеют мастерства и жизненного опыта. Но в принципе, я думаю, — до какой же степени должно надоест человеку писать бесконечные информации! Он же должен проходить какие-то этапы. Так же и с телевизионными репортерами. Олег Добродеев говорил, что огромная проблема: его корреспонденты приходят совсем молодыми, начинают работать и к тридцати годам практически исчерпывают свой ресурс; а поскольку они все время на потоке, то интеллектуально не растут. И что дальше делать? В газетной журналистике, мне кажется, все-таки больше возможностей развиваться — разные формы. Вернемся к тому же “Коммерсанту” Владимира Яковлева: рано или поздно он пришел к пониманию, что нужно грамотное, органичное сочетание нового и старого. Новых и старых подходов.

— Тут есть и другая сторона. Вы как-то написали, что выросло целое поколение журналистов, готовых за хорошую мзду “выполнить любое задание партии”. Вы безнадежный пессимист во взглядах на “продажность” журналистов? И в связи с этим: где грань между нормальным служением частному интересу и “продажностью”?

— Поколение, к сожалению, выросло, но я — совершенно не безнадежный пессимист во взглядах на “продажность”. Я думаю, что это было неизбежное явление при переходе журналистики из одного в другое качество. Ну, как при переходе одного строя в другой — тоже, наверное, много всяких извращений появляется. И ложно понятое слово “свобода” и “служение частным интересам” — но при всем при том это исправимо, потому что уже сегодня в самом профессиональном сообществе зреет, как мне кажется, понимание того, что есть вещи, которые делать неприлично, не принято в цивилизованной журналистике. И уже сегодня формируется определенное профессиональное мнение, которое должно повлиять в том числе и на приходящих в журналистику людей, считающих, что в общем-то нет ничего зазорного в той откровенной “продажности”, которую демонстрируют многие коллеги. Когда это сформируется окончательно? Не думаю, что в ближайшие год-два. Но в целом это все-таки поправимо.

— А в смысле совместимости коммерциализации и нравственности?

— Я думаю, что все это совместимо. Возьмем лучшие, солидные газеты той же Америки. Все они принадлежат определенным коммерческим, частным кругам, но при этом никто никогда не осмелится упрекнуть, скажем, “New York Times” или “Washington Post” в безнравственности, откровенной ангажированности или “продажности”. Это тоже проблема мастерства: даже если служить частному интересу, то по возможности так, чтобы это не бросалось в глаза, чтобы “уши” хозяина не вылезали. И вторая проблема — в самом хозяине. Должны прийти, возникнуть (да есть уже и сейчас) такие хозяева, которые понимали бы, что репутация издания — это и есть их капитал. Иначе со временем рекламодатели в ту газету или на тот канал не пойдут, это будет неприлично — такое мнение будет сформировано в профессиональном кругу.

Я думаю, это дело времени, так же как и вообще формирование класса частников, владельцев. Вначале приходят наглые и самые пробивные, самые беспринципные люди. Но потом-то

постепенно число владельцев увеличивается, и, наверное, выгодно руководствоваться все-таки цивилизованными нормами. В том числе в отношении к своим изданиям. Опять же — если речь идет о вложении капитала. А это в большей степени умножит капитал, нежели “дубина народной войны” в руках некоторых сегодняшних владельцев телеканалов или газет.

— *И как при этом частный интерес может сочетаться с общественным?*

— Когда создавалось Общественное российское телевидение, то для мотивации самого названия “общественное”, я помню, была придумана очень элегантная формулировка: “пока у общества нет денег, чтобы платить за свое телевидение, но есть уже целая группа богатых людей, которая в настоящий момент от имени общества оплачивает это телевидение”... Это натяжка, и тем не менее. Должны же появиться люди, которые на самом деле будут действовать от имени общества, в том числе в интересах общества. Частный интерес, скажем, владельца того или иного издания сопрягается с общественным в том смысле, что этот человек заинтересован, чтобы развитие общества шло так, а не иначе, чтобы создавались условия для расширения, укрепления его бизнеса. А медиа-бизнес должен быть именно бизнесом, а не орудием влияния, что возможно, мне кажется, лишь в случае, если хозяева будут использовать свои издания не только для себя и для сведения счетов. Может быть, это пока утопия. Но по идее представляется реальным. Так или иначе, они все-таки ориентируются на тот же самый цивилизованный мир. Общество не всегда осознает, что именно ему необходимо, важно, полезно, без чего оно не может развиваться. Но этот интерес должны формулировать “лучшие люди страны” и та же пресса, потому что задача прессы — быть посредником между властью и обществом. Быть посредником и выступать, конечно, от имени общества. Но это — в идеале. Это трудно объяснить, но я так чувствую.

— *А как вам видится будущее самой прессы? Разделяете ли вы тот почти апокалиптический прогноз, согласно которому телевидение и Интернет вытеснят прессу, шансы выжить имеют лишь электронные версии газет?*

— Да нет, не вытеснят. Тиражи, возможно, станут еще меньше. Но пресса сохранится — для думающей части населения. Пока, во всяком случае, сохраняются группы людей, для которых традиция читать газету по утрам, свеженькую и шуршащую. Это на уровне потребности выпить чашку кофе. Хотя бы.



Помимо всего прочего, я помню, когда, например, происходили какие-то существенные события в субботу-воскресенье, а в понедельник большинство газет не выходит, но есть телевидение, и казалось бы, потребности человека в информации должны быть удовлетворены, — утром во вторник очереди у киосков. Значит, есть потребность узнать не только *что, как и где*, а еще и попытаться понять вместе с газетными аналитиками — *почему*. Как принято сейчас в еженедельниках. Они ведь не цепляются за факты (разве только если что-то произошло непосредственно перед выходом номера). А все-таки стараются найти подоплеку, ведут расследование, то есть занимаются уже именно анализом событий или ситуаций. И это интересно, привлекательно.

— *Вы считаете, все-таки аналитическая функция выходит на первый план?*

— Аналитическая, несомненно, она в большей степени присутствует печати. Но не только. Поскольку слово “пропаганда” — это уже неприличное слово, заменим его на более приличное и более широкое: просветительская, наверное, функция. Экономическое, политическое, культурное — какое угодно просвещение. И потом, возрождается же на самом деле то, о чем мы уже говорили, — вкус к слову, стилю, авторской манере текста. Это же, наверное, привлекает в газетах и интересует людей, у которых сформировано определенное отношение к чтению. Ведь открывая газету, человек в первую очередь (я во всяком случае) ищет фамилии, а потом уже смотрит на заголовки. И подписывается, безусловно, на конкретные имена.

— *У вас большая читательская почта?*

— Огромная. Помню, когда вернулась из больницы, стол был завален. Еле-еле смогла как-то сложить. И это не только письма. Там и рукописи, и книжки, и поэзия. А как-то пришла нотная тетрадь с песнями. Такая, причем, самодельная. Пропеть, правда, не пробовала...

— *Временами вы пишете довольно зло, в том числе и в отношении власти, а власть вас награждает (многие, видимо, наблюдали в свое время, как президент вручал вам премию). Как получается, что человек вроде бы выступает нестандартно, неофициозно — а мил официальной власти?*

— Да не мил, официальная власть тогда впервые меня в глаза увидела. Это была премия Академии свободной прессы, присуждается она голосованием главных редакторов, и голосуют они трижды, пока не выберут из всех претендентов одного.

К президенту это имело только то отношение, что ему принесли что полагается и сказали: “Борис Николаевич, в этом году лауреат такой-то”. Мне потом задавали вопрос: “Вам не кажется, что вас подставили?” Я сказала: “Вы знаете, если бы это была государственная, чисто президентская премия, я бы сейчас мучительно размышляла, что не так сделала в своей жизни, если награждена”. Еще спросили: “Теперь ведь вам будет трудно как-то задеть президента?” Да почему же? Было не трудно, и будет не трудно. Тут никак у меня не связано одно с другим. То, что он мне ее вручил — ну, и хорошо, спасибо.

— *А отношение телевизионщиков?*

— Разное. Со временем сформировалось уважительное. Раньше были подозрения, что кто-то “заказал” кого-то разгромить, переставали разговаривать. Ну, если люди неумные, то пусть и не разговаривают. А большинство — на уровне руководителей каналов, ведущих — относятся вполне уважительно, даже после достаточно острых выпадов. Просто уже некая репутация завоевана, они прекрасно знают, что заданности никакой нет, даже самые обидчивые это поняли. Я вот лежала в больнице, так просто была тронута: и звонили, и приходили, и цветы присылали, и “какая помощь вам нужна”... Должны были бы радоваться, что я выведена на некоторое время из строя, но не радовались. Это очень приятно.

— *Можно сказать, что нужна еще “именная” журналистика?*

— Видимо, да. Хотя телевизионщики совершенно убеждены, что любой газетчик страдает “комплексом неузнанности” и мечтает попасть на телевидение, испытывая какую-то ревность. Во-первых, эта узнанность и не нужна — не дай Бог, чтобы на тебя налетали благодарные читатели где-нибудь на улице или в другом месте. Наверное, нужен особый склад, чтобы к этому стремиться. А во-вторых, все равно есть определенный ряд журналистов, которых знают. И в лицо и по имени.

А.К. Симонов

## “Мы проскочили момент личной ответственности”

— Алексей Кириллович, вы возглавляете “Фонд защиты гласности”, хорошо знаете современную печать. Хотелось бы услышать ваше мнение: что произошло с нашей прессой за годы ее постепенного становления как самостоятельного института гражданского общества?

— Я, увы, не убежден, что пресса стала или постепенно становится самостоятельным институтом гражданского общества. Уже потому не убежден, что мы не можем говорить о сегодняшней ситуации в нашей общественной жизни как о ситуации существующего гражданского общества. А одна из главных бед нашей прессы — то, что она не стала инструментом “выращивания” этого гражданского общества, более того, вообще не считает себя в какой-то степени ответственной за его становление.

Пресса охотно заняла нишу “четвертой власти”, совершенно забыв, а, может быть, и не подозревая, что четвертой властью в нормальной демократической стране является власть общественного мнения, а пресса — лишь важный, возможно, даже важнейший, но один из инструментов осуществления этой власти. И формируя, выражая это общественное мнение, она выполняет главную свою функцию, а вот подменяя собой это мнение, она становится узурпатором — как взбесившийся робот в старых научно-фантастических романах.

Я не могу сказать, что хорошо знал советскую прессу, хотя писал и печатался начиная с 1958 года. Публиковался в газете “Московский комсомолец”, в журнале “Юность”, в журналах АПН. Появлялось немало моих предисловий в книгах и солидных рецензий (вообще-то я специалист по индонезийскому языку и литературе). Потом двадцать лет занимался кинематографом. Так что судить о тенденциях развития советской печати я могу, скажем, отраженно, как читатель, в крайнем случае, как включенный наблюдатель. А вот уже с 1991 года, когда появился наш фонд, я стал заниматься прессой постоянно, с ре-

альным интересом, и действительно накопились какие-то наблюдения и заключения.

Так что же произошло с нашей прессой в эти девять лет? Сначала ее охватила высокая эйфория, связанная с тем, что исчезла (так казалось, во всяком случае) самоцензура. Затем исчезла и цензура, то есть на самом деле исчезновение цензуры было не источником, а скорее, результатом ослабления самоцензуры. Помню, в разгар путча, 19 или 20 августа, мы сидели в “Московских новостях”, испытывая чувство причастности к великим битвам. Как последняя битва Великой Отечественной войны, когда ясно: враг впереди, друзья в одном окопе с тобой, и, так сказать, каждый готов подняться на бруствер. И мы вдруг реально представили, что всего двумя годами раньше колоссальным общественным событием была публикация в “Московских новостях” некролога по поводу смерти Виктора Платоновича Некрасова. В 1991 году вся та возня и запреты уже казались дикими — рывок, конечно, был очень заметный. Однако в самом этом рывке было нечто, присущее нашему мышлению и мировоззрению: мы проскочили момент личной ответственности. Пресса его легко проскочила. То есть, грубо говоря, проповедовать стали все сразу; исповедаться перед тем, как приступить к проповедованию, не считал нужным практически никто. Более того: чем дальше мы живем, тем больше я лично ощущаю вот этот жуткий пробел. Мы крайне недооценили собственную вину в том, что с нами происходило до начала нынешних перестроек. А недооценив ее, ошиблись и в оценках происходившего. Мы значительно больше были готовы писать между строк, чем открытым текстом.

— Ну, это скорее касается шестидесятников, более молодые не знали таких проблем.

— Не знали? Приведу вам пример из собственной практики. Когда мой старший сын, которому сейчас за тридцать (он более молодой?), начал мне задавать, скажем так, рискованные вопросы, у меня было два выхода. Я должен был либо сообщать ему общеупотребительные истины, либо каким-то образом предупредить его о том, что пользоваться теми, так сказать, постулатами, которые я ему сейчас преподнесу, нужно с большой осторожностью. Ему было двенадцать лет, я вывел его в узкий проулочек, разделявший наш дом и школу, и популярно объяснил, что хочу говорить ему правду, но это значит, что он будет жить с двойной моралью. То есть одни ответы он будет знать, а другие — сможет употреблять, и если их перепутает, то это может плохо обернуться для него, для его учителей и для его собственного родителя.

Так что молодые тоже многое знали, а те, кто был тогда в колбыбели — еще не подошли. Кто относительно молод и сегодня, тот проходил через комсомол, через массу тех же самых испытаний, которые как раз для нас были в меньшей степени испытанием, потому что действовал некий автомат: человек, не прошедший комсомол, был почти уникам, на него можно было полюбоваться. Когда кто-либо сейчас говорит, что “даже в комсомоле не был” — я смотрю на него с удовольствием и восторгом, потому что сам, например, прошел полный искус комсомолом. Я в него вступал, я им руководил, я выходил из комсомола по идейным соображениям и возвращался в него по идейным соображениям — первое было в 1956 году, второе — в 1958-м. И только в 1963–1964 годах я, наконец, понял, что все бесполезно. Вот когда я это понял — ни в какую партию меня уже загнать было нельзя. Но рядом со мной существовал мой коллега, с которым я вместе делал диплом на Высших режиссерских курсах и который в один прекрасный день пришел ко мне и сказал, что вступил в партию: “Я отдаю себе отчет в том, что это не очень, наверное, хорошо при моих взглядах, но у меня сейчас нет другого выбора, я должен выживать. Я хочу, чтобы ты это просто знал”. Ну, вступил в партию. Ему нужно было каким-то образом кормить семью, он боялся, что “наличие еврейства” и отсутствие партийного билета в сумме, как говорится, может бедственно сказаться на его дальнейшей творческой биографии. Слава Богу, обошлось, он сейчас известный режиссер, делает многосерийные фильмы, дай Бог ему здоровья, все у него в порядке. Он достойный человек — тем не менее это было так. А его дочка, которая не хотела такой двойственности, неожиданно пошла в синагогу, освоила иудаизм, уехала в Америку, хорошо работает, недавно родила ему внука. И его русская жена ездит туда, ходит с дочкой в синагогу — как говорится, нарочно не придумаешь.

Так что все всё знали. То есть мы думали, что раз не знаем каких-то фактов, то и прибегаем к некой фигуре умолчания. А когда стало можно — начали “лупить” общество этими фактами, что явилось основой нового проповедования. Но на самом деле мы были значительно менее готовы к восприятию демократических ценностей, чем сами предполагали.

— *Когда вы говорите “мы”, то имеете в виду...*

— Интеллигенцию прежде всего. Я по-прежнему считаю, что это выдающееся явление русской истории, и глубоко убежден, что она по сию пору существует, какой бы растоптанной сейчас ни была. Для меня интеллигенция и совесть — почти идентичные

понятия. Как раз в середине 60-х годов я задумался: что же такое интеллигенция? Обратившись к словарям, не обнаружил ничего другого, кроме “образованщины”, как ее потом назвал Александр Исаевич. “Лица с высшим образованием”. Для меня это было неприемлемым, потому что я точно знал, что у дедушки моего никогда не было не только высшего, но даже среднего образования, а он был одним из самых интеллигентных людей, которых я в своей жизни знал. Я попытался для себя хотя бы найти рабочее определение и пришел к такой формуле: интеллигент — человек, гуманизм которого шире, чем его собственные убеждения. То есть обозначил ту формулу толерантности, к которой мы все пытаемся себя приучать нынче. И она прекрасно “работала” применительно и к историческим персонажам, и к моим соседям. Выяснилось, например, что политик не может быть интеллигентом, он не способен выйти за рамки собственных убеждений. Когда то я даже про это писал. Статья называлась “Не проповедь, а исповедь”, ее опубликовала газета “Советская культура” (1988).

Мы думали, что проповедниками обязательно станут диссиденты. Нет, они могли быть героями, удивительно достойными людьми, но проповедовать им было нечего. Их дела и поступки строились в первую очередь на противопоставлении, а не на соиздании. Позитивных основ почти не было.

— *Они и сами в этом признаются.*

— Да, конечно. Я был у Владимира Буковского в Кембридже, проговорили с ним чуть ли не целую ночь. И я подумал: замечательный человек, но не приведи Бог отдаться, так сказать, ему на управление, потому что в смысле своих убеждений он такой же нетолерантный, как, скажем, Анпилов. Только убеждения другие. Что такое, столь нам мешающее, мы выгнали из нашего прошлого? Ведь на самом деле “коммунизм” десятки тысяч, миллионы людей сняли с себя, как змея кожу, совершенно просто. А что в нас осталось? И тут я понял, что коммунизм — это именно “кожа”. А вот большевизм — “кости”. И костяк наш — большевистский — не затронут. В чем главный принцип большевизма? В том, что существуют только две точки зрения: моя и неправильная. Все. И это установка, с которой мы по сию пору живем. Она по-прежнему, если обратите внимание, действует. Когда я ее в себе обнаруживаю, то возвращаюсь к формуле Антона Павловича Чехова, перефразируя ее очень незначительно: “большевизм как рабство — нужно выжимать из себя по капле”.

Я человек неверующий, и когда говорю о покаянии, искуплении и так далее, то имею в виду не религиозный, а нормаль-

ный нравственный смысл этих терминов. Мне как-то пришлось выступать в центре “Стратегия”, где собралось интересное, очень достойное сообщество — так сказать, наша демократическая элита. Речь шла о будущем России, и много чего говорилось, но ни один человек не употребил слово “совесть”. А как можно быть понятыми, как можно формулировать стратегию, не прибегая к этой главной для России категории? Я когда-то обнаружил, что авторы брежневских мемуаров с большим пиететом к самим себе описали, как они в этом участвовали и сколько пользы принесли, правильно и тонко обойдя некоторые рифы и внося какие-то важные (в тот момент казавшиеся им важными) положения. А вся чудовищная лживость самого этого действия осталась как бы “за кадром”. Другой пример. Сколько было у нас лауреатов сталинских, ленинских премий — вы слышали, чтобы кто-то от них отказался? Я говорю о моральном состоянии многих из тех людей, которые составляли костяк перестроечной прессы. Позднее те, кто был “отлучен” от демократического процесса, спокойно получили отступного и затихли. Если мы говорим о письменном слове — в этом все и дело. Сегодня такое количество “героев сопротивления”, что совершенно непонятно, почему эта система не рухнула сто лет назад. Точно как в анекдоте: “Если бы у Наполеона было столько войск, сколько в фильме Бондарчука, то он наверняка победил бы на Бородинском поле”. У нас все сопротивлялись системе — Ленин, Бухарин, военачальники, которые судили, сажали, расстреливали друг друга и шли на расстрел со смелым лозунгом: “Да здравствует Иосиф Виссарионович!” Все сопротивлялись — а кто же тогда утверждал эту систему, если не они и не мы?

— Кажется, сейчас все чаще звучит: “это мы сами, все в нас самих”. Не наступает ли время трезвых оценок?

— Конечно, процесс осознания понемногу идет. Другой разговор — что сейчас можно сделать? Десять лет назад возможности были совсем другие. Это как подход к болезни: если бы понимали, насколько глубоко в нас сидит болезнь, то не лечились бы от насморка в момент обострения бронхиальной астмы и не считали бы, что выздоровели, раз из носа не капает... Все значительно глубже и значительно сложнее. Мы это как-то “за-терли”. И я глубоко сомневаюсь, что все сегодняшние признания — не от растерянности, а за привычным “мы” звучит искреннее “я”. Думаю, именно то, о чем мы сейчас говорим, лежит в основе всех сегодняшних проблем прессы.

— Скажите, Алексей Кириллович, а что, на ваш взгляд, особенно изменилось с появлением рынка и приватизацией средств массовой информации?

— С появлением рынка облегчился по крайней мере один чрезвычайно сложный в советские времена процесс: рождение средств массовой информации. Эту часть рыночных отношений все СМИ приняли на “ура” при том, что вторую часть — не только о свободном рождении, но и свободном умирании — не принял практически никто. И вот лет эдак шесть назад сижу я в кабинете министра печати и информации Сергея Грызунова (он просил меня и еще одного нашего коллегу быть как бы его неофициальными советниками), к нему входит известный литератор, кладет на стол журнал и говорит: “Вот. Я сделал журнал. Посмотрите”. Сергей смотрит, дает мне — все замечательно. “Ну, теперь давайте деньги, я его буду выпускать”. — “В каком смысле: давайте деньги?” — “Ну, видите, что я могу”. — “Вижу. А кто его будет читать?” — “Это уже ваше дело. Я свое дело сделал”. Таким вот образом, в частности, была воспринята свобода рынка.

Огромное количество газет возникло из-за внутриредакционных конфликтов двоякого рода. Первый — недовольство части коллектива политикой газеты. Выделялись целыми группами (так образовалась, скажем, “Новая газета”). Другой — конфликт, возникавший в связи с амбициями заместителей главных редакторов, которые считали, что могут делать газету несколько не хуже, чем нынешний главный. Характерны итоги исследования, проводившегося некоторое время назад в Брянской области. Там было две газеты — молодежная и партийная, сейчас девять; тираж их составлял 420 тысяч, ныне — 400 тысяч. Вот и ответ на вопрос, что произошло. Сначала невероятный взлет, рынок прессы бурно разрастается. Мы уже попадаем в книгу рекордов Гиннеса с тиражом “Аргументов и фактов” — 17 миллионов, самый подписной еженедельник мира, и так далее и тому подобное. Все замечательно, пока экономику не поставили, что называется, на рыночные рельсы. Реальные они или не реальные — я не берусь судить, во всяком случае, возможность искусственного наполнения закровов исчезла. Наш фонд образовался на то, что “скинулись” газеты и творческие союзы. Ровно через год уже никаких источников поддержки среди этих средств массовой информации я не имел. Более того, те, кто обещал перевести деньги (например журнал “Огонек”), уже через четыре месяца стали от меня прятаться. И публично обещанное так никогда и не перевели. Огромный рост числа изданий никоим образом не соот-



ветствовал умению найти свою нишу, реальному пониманию, кто есть твой читатель, налаживанию непосредственных контактов с ним. Обратите внимание: наибольшей популярностью и выживаемостью отличались те издания, которые заняли и по сию пору занимают пустовавшие тогда ниши — рекламные, эротические, “желтые” газеты. Вот то, чего прежде не было. Этот спектр рынка сегодня крайне наполнен, и я могу сказать (при всей моей не любви к “желтым” газетам), что с точки зрения маркетинга и умения себя подать, раскрутить, они работают довольно профессионально. Другой разговор — каков уровень этого профессионализма, как он сочетается с тем, что мы привыкли считать журналистской этикой, и так далее. Но рынок они щупают постоянно, они ищут (достаточно сослаться на опыт создания империи газет “Из рук в руки”). Но абсолютное большинство журналистов, так сказать, традиционного склада делали то, что называлось общественно-политическими газетами, с амбициями “победить конкурентов”. За счет чего?

Рынок — это соревновательность. Если нет состязательности — он не существует. Это говорю я, десять лет назад уговаривавший Леонида Петровича Кравченко (тогдашнего руководителя телевидения) ввести две дирекции на двух государственных каналах, чтобы они хоть как-то соперничали, “отнимали” друг у друга зрителя. Это был высший, так сказать, уровень демократии, который я в ту минуту мог себе вообразить. Наши средства массовой информации не привыкли к серьезной соревновательности. Им это было не нужно. Существовали обязательные подписки на партийные газеты и журналы, множество всяких привлекательных обстоятельств, которые как бы исключали соперничество. Если оно и было — то разве моральное. Тут шло своего рода состязание — борьба за читателя, но оно было крайне закамуфлировано, потому что существовали лимиты бумаги, на что-то можно было подписаться, на что-то нет... Вспомните всю эту механику. На самом деле механизм в чистом виде не работал. А сейчас возникла серьезная проблема, которая и определяет основные отношения между средствами массовой информации (во всяком случае, печатными) и читающей аудиторией: зависимость от читателя. Ее становится все меньше. Связь с читателем у советских газет, несомненно, была лучше, чем у нынешних: “По следам наших выступлений”, “Из редакционной почты”...

— *“Направляем ваше письмо в исполком с просьбой принять меры”...*

— Да, и так далее и тому подобное. Традиционные “игрища”. Но у каждой газеты была своя читательская ниша, они существовали как бы параллельно. Потом, как “беззаконная комета в кругу расчисленного светил”, кто-то “рванул” — скажем, “Аргументы и факты”, новый еженедельник, и быстро-быстро начал набирать за счет чистой, как нам тогда казалось, информационности, лаконичности, хлесткости. Тем не менее я, например, и в том времени не прослеживаю прямой зависимости средств массовой информации от читателя, скажем так. Не было такого механизма — были традиции (мы, кстати, все время принимаем традиции за механизмы). А беда современных газет — это то, что проявилось в ходе упомянутого исследования в Брянске: получается, что при всех недостатках прежняя единственная газета все-таки была определенным полем для диалога; большая часть нынешних газет — это монологи самих сотрудников, обращенные отнюдь не к читателю, или только к тому читателю, который с ними заведомо согласен. То есть попросту говоря, газеты, вместо того чтобы заставлять людей думать, в сущности, отучают их от этого, занимаются в значительной мере пропагандой тех идей, которые присущи редакционному коллективу, либо тем, кто в конечном счете определяет их позицию. Можно провести контент-анализ любой газеты и в принципе представить себе, на какой круг читателей или на отстаивание какого круга интересов она направлена и для чего создана. Или для чего она перекуплена, или для чего она переориентирована. А это происходит с газетами достаточно заметно, просто на глазах.

— *Почему, на ваш взгляд, именно сейчас рухнули традиционные “Известия”, видевшие много чего на протяжении своей 80-летней истории? Не сумели освоить законы рынка? Сгубили внутренние конфликты?*

— Как бы я ни винил прежнего главного редактора Игоря Голембиовского (в значительной мере он виноват в том, что произошло с “Известиями”), тем не менее, он был последним профессиональным редактором высокопрофессиональной газеты. У нее было некое чувство своего газетного достоинства. А потом она стала газетой достоинством в “рупь сорок” — в ту самую минуту, когда стало понятно, что ее купили. Более того, я убежден, что “честь издания” — то, что было довольно популярно и в советские и, уж конечно, в перестроечные годы, — практически разорена. То есть понятие чести и достоинства “спустилось” на уровень отдельного журналиста. В малодостойной газете могут существовать несколько весьма достойных

журналистов, которых за то и держат, дабы они, что называется, создавали лицо издания, были бы некоей ширмой и доказательством плюрализма, свободы словоизъявления и так далее.

Некоторое время назад мне в руки попали (они у меня до сих пор есть) сочинения студентов второго-третьего курсов факультета журналистики Уральского университета. Их попросили написать, с чем они столкнулись в смысле профессиональной этики, придя на первую производственную практику в газеты, на радио, на телевидение. Это страшно читать. Где-то им говорили сразу: “Значит, у нашего издания есть такой-то круг запретных тем, такой-то круг запретных имен. Есть круг тем и имен, которые являются прерогативой старших. Вот из остального можете себе выбирать”. С этим сталкивался каждый третий как минимум. Другим по сути то же самое преподносили по-иному. Чьи-то материалы не просто правили (что нормально), а бесцеремонно переписывали, и так далее. Я когда-то опубликовал статью, которая называлась “Лики цензуры”, где и описал все то, что на самом деле заменило Главлит<sup>1</sup>. С одной стороны, если нам “попадает вожжа под хвост”, то удержу мы не знаем, с другой — не можем жить без сопротивления. Казалось бы, достаточно сопротивления материала, сопротивления окружающей действительности, невозможности зачастую получить серьезную информацию — тут масса всякого. Нет, мы должны обязательно с кем-нибудь воевать. И это отнюдь не качество только расследовательской журналистики.

Кстати, сейчас приходится практически возрождать (и мы этим занимаемся) независимое журналистское расследование, потому что на сегодняшний день абсолютное большинство расследований представляет собой просто “слив компромата” одной из воюющих сторон против другой — не более того. Соучастие журналиста в лучшем случае сводится к грамотному оформлению этого компромата и публикации. Он просто несет его от ворот того дома или подворотни, где получил, а чаще и не несет — к нему приходят в редакцию и, что называется, предлагают, а то и продают. Более того, те журналисты, которые хотят создать независимую расследовательскую группу, как бы выработали свою технологию — откуда брать деньги на расследование. Ты отдаешь себе отчет в том, кто с кем соперничает; ты идешь к нужным людям и, если ты достойный человек, то не ведешь речь о компромате, а просто говоришь: “Вот

<sup>1</sup> Симонов А. Лики цензуры: Монолог председателя правления Фонда защиты гласности // Журналист. 1993. № 5. С. 2–5.

меня интересует эта проблема, я хочу “покопать”. Дайте денег, чтобы я мог месяц с этим поработать. Или купить какие-то материалы, которые так просто не получишь”. И все: конкуренты эти деньги дают. Таким вот образом создаются репутации.

— *Алексей Кириллович, на фоне этого негатива хотелось бы отметить новые позитивные черты современной журналистики. Не могли бы вы их назвать?*

— Я считаю, что при всех бедах, которые происходили и происходят в журналистике, все-таки есть определенное благо в том, что она потихоньку становится информационной. Советская традиция — это эмоциональная журналистика.

— *Не аналитическая?*

— Эмоциональная в первую очередь. Аналитики было крайне немного. Уже четыре факта, как правило, в линию не выстраивались. По четырем фактам нужно либо действительно уже строить, как вы говорите, серьезную аналитику, либо два из них опускать, потому что они противоречили двум другим. Наша журналистика вставала на эти два факта и, как лафонтеновская лягушка, начинала эмоционально надуваться. И не рассказывайте мне, что это не так. Это то, что делал я сам и более того — получал при том удовольствие. При абсолютной несущественности повода надо было заполнить данные тебе в газете 80 строк. А чем их было заполнить, если информационный повод нулевой? Но “надо” — и все. Иные примеры редки. Помню, в “Литературной газете” Аркадий Ваксберг опубликовал свой знаменитейший очерк о “делах” мэра города Сочи Воронцова, с намеком на тогдашнего секретаря крайкома партии Медунова. Но про Медунова он все опустил — прошу обратить внимание. Я на следующий день ему позвонил и говорю: “Тебе звонили из сборной по слалому?” — “А почему мне должны были звонить?” — “Как, я тебя им рекомендовал в качестве тренера”. — “Да я не умею кататься на лыжах!” — “Но ты так умеешь объезжать красные флажки...” Мы с ним до сих пор это вспоминаем.

Речь все-таки идет не об отдельных “протуберанцах” — вот если мы с вами сейчас сядем, возьмем голову в руки, то фамилий десять вдвоем насчитаем. Их, к сожалению, не объявишь “лицом советской журналистики”. А советская журналистика как таковая была эмоциональной, потому что не любила иметь дело с фактами, которые становились возможными и допустимыми только с разрешения вышестоящих инстанций. И это воспитало в ней определенную леность, которой она больна и поныне, так как “эмоционально надуется” на сто строк значи-

тельно легче, чем найти восемь фактов, связанных с темой. Именно в силу своей эмоциональности она была, кроме того, и авторской журналистикой.

— А это плохо?

— Да, очень плохо. Авторами могут быть только очень сильные журналисты, они должны завоевать на это право. Недавно ко мне обращается молодой человек: “Мне поручили написать про ваш фонд, расскажите про него”. Я говорю: “Это все существует в книжках, в Интернете. Поинтересуйтесь, зайдите в библиотеку, хотите — я вам дам книжки”. — “Да нет, чего уж, я уже пришел, вы мне расскажите!”

Ленивая журналистика. И вот то, что она становится информационной — очень хороший знак. Другой разговор: информация бывает о хорошем и о плохом, мы ее выбираем; она может быть подана хорошо и плохо. Тем не менее — хватит, невозможно все время кормить своих читателей эмоциями. Давайте выжимать эмоции путем сопоставления фактов, поверив в способность читателя к мыслительному процессу. Вы мне сообщите факты, это ваша обязанность как журналиста, условно говоря. А почему вы считаете нужным за меня анализировать — я сам себе аналитик! Возможно, ваша аналитика покажется мне интересной, но только в том случае, если вы мне дадите зазор — самому оценить степень правильности ваших выводов, доводов и так далее, если вы не будете при этом эмоционально загонять меня в угол, заведомо заставляя с собой соглашаться. А так — что же читатель будет анализировать, если, извините, факт уже “упакован” в ваше мнение?

Я не говорю, повторяюсь, что современная журналистика уже стала информационной — только становится. И чтобы вычленить факты, надо еще продраться через стиль “стёба”, в который это облечено. Я, кстати, не склонен тут ужасаться. В сегодняшних условиях можно выжить, если относиться к себе с должной долей иронии. А “стёб” — это все-таки в какой-то степени самоирония.

— Хорошо, Алексей Кириллович, но читатель ведь смотрит и телепрограммы. Вечером он узнает все новости, а наутро получает газету, где те же новости подаются как подобранные “восемь фактов”, на первой полосе. Будет он их читать? От силы посмотрит заголовки.

— А это опять та же история, отсюда ироничность изложения, дабы “стёбом” придать уже пресной новости некоторую пикантность. Но на самом деле, я думаю, вы говорите сейчас о несущест-

ственном секторе информационного рынка, потому что федеральные газеты и федеральные каналы, естественно, дают одни и те же новости. Но попробуйте-ка сказать, много ли узнает читатель о том, что происходит в городе Самаре, если полистает федеральные газеты. А если посмотрит федеральные каналы? Ничего он не узнает — если, правда, не произошел пожар в здании местной милиции. Во всех остальных случаях — ничего. Именно это, кстати говоря, одна из тех причин, по которым региональная пресса увеличивает свое значение по сравнению с прессой федеральной. Хотя у нее есть достаточно сильные конкуренты в лице местных телевизионных компаний. Но сегодня уже во многих местах образуются информационные холдинги — то, что всех пугает, а на самом деле означает концентрацию в одних руках, скажем, двух телевизионных каналов, двух радиоканалов, двух газет, и руководитель холдинга очень четко распределяет информационные ниши, которые будет занимать каждое из его средств массовой информации, каждое из его изданий, каждая из его компаний, потому что они не должны отнимать друг у друга зрителя и читателя. Должны лишь усиливать, подкреплять друг друга, выстраивая некую единую информационную политику своего холдинга. Я не мог бы сказать, что это плохо.

И это делают совсем не глупые ребята, смею вас заверить. Я довольно хорошо знаю этот сектор, хотя бы потому, что наиболее сильные телекомпании родились буквально на моих глазах. Осенью 1991 года мы провели первый Съезд независимых вещателей Советского Союза. Туда приехали мальчики и девочки со всех концов родной Отчизны, которые были хозяевами, точнее сказать, начинающими вещателями в крохотных, по сути дела, пиратских телерадиостанциях и компаниях. Те самые, которые сегодня, в общем, стоят у руля этой индустрии, такие, скажем, как Игорь Мишин (Екатеринбург), у которого как раз — два телеканала, две радиостанции и две газеты. И все это в развитии, все это возникает не потому, что ему хочется иметь две газеты и есть возможность купить еще одну — отнюдь нет. А потому, что он хочет закрывать максимально возможное информационное пространство, вступая в соперничество со своими конкурентами за читателя, зрителя, слушателя. И это хорошо, ибо втайне мы все еще считаем, что вообще-то “отнимать” читателя — нехорошо.

— *Мы остановились пока на одной из новых черт современной журналистики.*

— Да, той, что она становится информационной. Во-вторых, мне кажется, — и это на самом деле достижение — для прессы

в целом почти не осталось закрытых тем. Другой разговор, что с каждой отдельно взятой газетой происходит та же история, о которой сказал господин Доренко: “У меня есть сектор обстрела 320 градусов, 40 градусов находится за моей спиной — туда я не могу стрелять”. Вот такой сектор (320, 280 и так далее), в принципе, есть у каждой газеты, и они в конечном счете не совпадают. На самом деле это было бы реальным благом, если бы мы имели аудиторию, которой доступно чтение всех газет всех направлений. К сожалению, мы ее не имеем. Правда, даже расхождения в позициях телевизионных каналов в определенной степени дают такое представление. Мало того, мы, например, сталкиваемся с тем, что одни и те же сообщения, трансформированные в двух разных средствах массовой информации, дают два совершенно разных результата, потому что все зависит от соуса, под которым это подано, от контекста, в который это помещено, и тому подобное. Очень много всяких нюансов, тем не менее это, повторяю, безусловное достижение в нынешней ситуации.

Хотел бы отметить и то, что постепенно формируется — пока еще крайне не установившееся, шаткое — понятие “профессионал”, “профессия”. Не в смысле профессионального владения журналистикой, а в смысле утверждения контрактной системы, организационных норм. Пока мы все работали в государственных учреждениях, все-таки наша, ну, скажем так, свобода воли была в достаточной степени ограничена КЗоТом. Сегодня в принципе ведущий журналист заключает со средством массовой информации личный контракт. И он уже имеет возможность не только регулировать “сумму прописью”, но и оговаривать какие-то профессиональные вещи. Конечно, существуют законы, конечно, в законе все это вроде как черным по белому прописано. Но поскольку закон в России всегда был некой абстракцией, не имеющей за собой реальных воплощений, то вот такого рода переход на определенную форму контрактных отношений представляется важным.

Вот пример несколько иного рода. Союз журналистов (на территории которого мы сейчас с вами беседуем) всегда был, по сути дела, партхозактивом, и дух партхозактива выветривается из него с большим трудом. Тем не менее он дозрел до осмысления целого ряда чрезвычайно важных процессов, которыми стал заниматься. В недрах его создан профсоюз. И он работает. В недрах его рождены две-три ассоциации, условно говоря, по интересам. В принципе должно бы произойти то, на что он, конечно, не пойдет: он должен бы развалиться, потому

что на самом деле нет творческого союза — есть профессиональный союз и есть ассоциация или комитет издателей и главных редакторов; существуют две антагонистические структуры, представители которых каждый год садятся и заключают между собой некое профессиональное соглашение, связанное с зарплатой, отпусками, предоставлением компьютеров и так далее. Сейчас все это делает Союз журналистов. В нем, кстати, родились и зачатки тиражной службы — объединения газет, готовых подвергнуться аудиту, доказывающему, что публикуемые ими выходные данные являются достоверными. Сейчас союз объединил несколько организаций (в том числе и наш фонд), и мы проводим общественную экспертизу. Это целая программа, попытка измерить температуру свободы слова в 80 регионах России (там масса всяких показателей). Другой разговор, что это безумно трудно идет, неизвестно, какой степени достоверности будут данные. И тем не менее безумно интересно. Я к тому это говорю, что деятельность в данной области переходит все-таки от управляемого сверху мессианства, какой она была в советское время, к профессиональной помощи в зарабатывании денег, какой она в принципе должна быть (наша застенчивость относительно такого зарабатывания — разговор особый).

Я называю это определенной профессионализацией, потому что другого слова нет. Одновременно с этим происходит депрофессионализация качества работы. Понимаете, вот когда говоришь: “Вот это — хорошо, хорошо, хорошо, а вот это — плохо, плохо, плохо”, — то иногда вынужден перечислять одни и те же явления, потому что, с одной стороны, они дают позитивный эффект, а с другой — означают нечто негативное. Абсолютная независимость от читателя в конечном счете привела прессу к тому, что повсеместно, даже в районах, властью она интересуется больше, чем обществом. И это одна из самых больших бед. Почему я и начал с того, что не растит пресса гражданское общество, ибо сегодня она — искаженное зеркало действительности. Это зеркало из комнаты смеха, где мой огромный живот выглядит крохотным, а моя сравнительно небольшая голова — огромной. Голова — это власть, общество — тело. В принципе у них нормальное соотношение величин, в газете — равным счетом наоборот. Перевернутый масштаб. Посмотрите, с какой энергией пресса занимается отслеживанием различных проявлений власти, считая это главным в существовании общества. То есть это иная реализация того же внутреннего нашего большевизма: государство — важнее граждан, власть — важнее читателя. По-



нимаете, это сидит и в журналистах тоже, это такая органика, к сожалению.

Хотя сразу после кризиса 17 августа 1998 года наметился очень интересный перелом. Сами испугавшись, все вдруг оглянулись по сторонам, посмотрели, а кому еще плохо. Оказалось — плохо всем. И стали отслеживать, какие беды кризис реально принес обществу, не только средствам массовой информации. Про власть в тот момент писать было нечего, потому что она-то серьезного ущерба не понесла. Это длилось примерно три месяца. Я в то время писал антикризисную программу по просьбе одного из западных фондов и как раз отметил, что есть положительные результаты кризиса, и это один из них. К сожалению, средства массовой информации очень быстро опомнились. Они вернулись к той же песне.

— *Алексей Кириллович, а в какой мере отвечает сегодня своему основному назначению Фонд защиты гласности? Меняются ли со временем его роль и задачи?*

— Однозначно — да. До 93-го года (а нам исполнилось девять лет) мы практически осознавали свою нишу. Пытались действовать традиционными методами, то есть ставить какие-то благотворительные спектакли, организовывать благотворительные акции, искать денег в одном месте, чтобы передать их в другое, и так далее и тому подобное. Мы были просто “хорошие ребята” и никакого отношения к профессии, которой сейчас владеем, не имели. У нас в фонде, скажем, не было ни одного юриста. Но, правда, осознав, что в средствах массовой информации, вообще во всей информационной сфере юристов-специалистов практически нет, мы в 1992 году открыли первую в России школу, называвшуюся “Школа права МассМедиа”. Преподавал в ней Юрий Батурин, у него было четыре студента, которым фонд платил что-то вроде стипендии, давался дополнительный английский, чтобы в дальнейшем послать их на стажировку (и мы их послали потом на стажировку в Соединенные Штаты). Вот первых юристов-специалистов в этой области мы начали воспитывать тогда.

В октябре 1993 года мы обнаружили, что колоссальное количество журналистов страдает от противостояния президента и Верховного Совета, и стали вести мониторинг того, как этот конфликт сказывается на работе журналистов. Я считаю началом некой профессионализации фонда именно 1993 год. Ведя мониторинг, обнаружили, что мы единственные, кто знает, сколько было убито журналистов в Москве, сколько ранено, у скольких журналистов отобрали пленки, разбиты фотокамеры и так да-

лее. Мы стали обладателями серьезного материала, который при первой же встрече выложили тогдашнему министру МВД Ерину, потому что, по нашим сведениям, виновниками в 90 процентах случаев были милиция и ОМОН. Об этом стали писать. И тут мы, наконец, прозрели. С 1994 года, базируясь на этом опыте, начали программу “Мониторинг”. Это основа нашей работы, потому что прежде чем действовать, надо знать, иначе будешь реагировать на каждое движение воздуха и создавать в ответ тоже движение воздуха. Мы стали издавать сборники. Сначала они назывались “Преступления”, потом “Нарушения прав”, сейчас называются “Конфликты”. Мы издаем книжки и раздаем их — почти все бесплатно. Конечно, и рассылаем соответственно в университеты, журналистские школы и так далее.

Первое, что мы за последние шесть лет создали, — это довольно надежная корреспондентская сеть, которая и сообщает нам о конфликтах. Потом мы пришли к выводу, что просто “накопления” конфликтов мало; чтобы улавливать определенные тенденции, нужно их юридическое осмысление. А дальше возникла юридическая служба, то есть она уже как бы вписалась в эту идеологию, и сегодня ни один конфликт не помещается в базу данных до тех пор, пока не прошел юридическую оценку. В 1999 году Фондом защиты гласности в пределах его сети, которая надежно покрывает до 40 процентов российской территории, зафиксировано около 1400 конфликтов, все они юридически осмыслены, и я могу сегодня сделать из этого три десятка далеко идущих выводов по самым разнообразным аспектам жизни средств массовой информации. У нас в десяти городах России есть центры, они уже самостоятельны, еще в четырех есть региональные корпункты, примерно в тридцати работают наши волонтеры. Благодаря этому мы можем анализировать то, что происходит, можем выявлять болевые точки. Например, я могу сказать, что главная болевая точка сегодняшней ситуации со средствами массовой информации заключается в том, что, подменяя даже криминальное насилие, вырвалась на свободу лавина исков “по защите чести и достоинства”. Зачем посылать кого-то обливать бензином двери редактора, когда можно с помощью послушного суда привлечь его к ответственности? Еще и получишь удовольствие. Это становится просто бичом. В 1998 году впервые количество исков к прессе превысило количество тех конфликтов, в которых пресса является потерпевшей. Динамика развития такова: 1995-й год — 15 процентов, 1996 — 35, 1997 — 44, 1998 — 56. Это же серьезная тенденция.

Огромно количество неправомерных судебных решений по таким искам. Мы провели исследование “Честь, достоинство, клевета и оскорбление в текстах права и средств массовой информации”, то есть решили посмотреть на законодательную базу, на которой сегодня стоим. Выяснилось, что в законодательстве еще очень много дыр, противоречий, много непонятного объяснено через неизвестное, а неизвестного — через непонятное. Затем мы собрали конференцию с участием судей и передали им материалы этого исследования. Кроме всего прочего, мы обнаружили, что в судах возникает и проявляется совершенно отчетливый антагонизм между судьями и журналистами. Мы поняли, что нам надо изучить его природу, и провели еще одно исследование, которое называлось “Судебная власть и средства массовой информации: проблемы взаимодействия”. В результате и социологический анализ с анкетированием 300 судей, 300 журналистов, изучением общественного мнения, и контент-анализ полутора тысяч публикаций о суде и судьях, и прочее мы заставили прочитать судебское сообщество; в итоге готовится пленум Верховного суда по уточнению законодательства, связанного с исками “по защите чести и достоинства”. Вот на это я убил два с половиной года.

— *И при том говорите, что у нас нет зачатков гражданского общества.*

— Почему, вот я — зачаток, наш фонд создает зачатки. Мы знаем болевые точки. Сегодня Министерство юстиции пытается не регистрировать правозащитные организации, которые ставят себе в уставе задачу: “защита прав человека”. Оно требует, чтобы было записано “содействие государству в защите прав человека”, объявляя публично, в том числе в суде, что по статьям Конституции защита гражданских прав есть прерогатива государства. А кто же будет защищать права гражданина от государства, что есть наиболее важное правозащитное дело в нашей стране? Сейчас мы с этим сталкиваемся лоб в лоб. Мы вышли на диалог с прокуратурой, с министерством внутренних дел. К нам обращаются с просьбами о сотрудничестве. Из того, что мы знаем, мы сделали еще два вывода: во-первых, по возможности надо всех учить и, во-вторых — учить вместе. Поэтому выработали методики проведения совместных семинаров, например, для прокуроров и журналистов, провели их уже около двадцати по всем регионам. Люди общаются и вместе с тем осознают, что существуют проблемы вне зависимости от того, по какую сторону баррикады ты якобы находишь-

ся; что возможна единая, понятная всем трактовка некоего информационного законодательства.

Сейчас мы готовим такого рода семинар с судьями. Это еще трудней. Мы провели довольно большое количество семинаров “СМИ и правозащитники” — чтобы они научились взаимодействовать. Обнаружилась еще болевая точка: один из наиболее опасных для прессы секторов ее существования сегодня (это мы тоже знаем из мониторинга) — абсолютная нерегламентированность работы пресс-служб и пресс-центров. Нет никакого закона, который определял бы их деятельность. Они имеют в лучшем случае должностные инструкции, связанные исключительно с интересами ведомств, и не несут никакой гражданской ответственности за то, что сообщают.

Многое мы не можем сделать за кого-то — наша организация очень небольшая. Но что-то с места сдвигается. Когда я вкратце изложил председателю Верховного суда результаты нашего исследования, он сказал: “Быть не может”. Как не может? — и я положил ему на стол 360 страниц исследования. Потом, выступая перед судьями других стран (было какое-то совещание), он отмечал, что работает вместе с общественными организациями, вместе с Фондом защиты гласности провел такое-то исследование, вот результаты...

*— И снова хочется вспомнить о вашем неверии в гражданское общество...*

— Так замечательно! Но понимаете: это все безумно хрупко. Все базируется на личной энергии, постоянном стремлении это пробивать, на том, что я нещадно эксплуатирую своих сотрудников — дай Бог им здоровья. Правда, все-таки удается хоть что-то от себя отодвигать. Вот учредили в свое время “Школу права МассМедиа”. А сейчас она уже самостоятельно работает у Андрея Рихтера в университете — Центр права и СМИ. Он ведет образовательную деятельность в этой области, замечательно справляется. Мы ему все передали, что могли.

Наш фонд пытается сейчас — и это осознанно — превратиться как бы в инкубатор. Нам бы хотелось “выращивать” новые организации, новые идеи — и отдавать. Выращивать и отдавать. Мы считаем, что почва уже в достаточной степени взрыхлена, во всяком случае, в масштабах своей организации мы способны ее засеять качественными семенами. Я не могу обещать, что увижу этот лес выросшим. И более того — даже не надеюсь его увидеть. Но очень хотел бы, чтобы семена были качественными. И этим стараюсь заниматься.

В.А. Ядов

“Ищем “других”, чтобы найти себя”

— Владимир Александрович, вы профессионально занимаетесь проблемой социальной идентификации личности, ведете специальный проект в Институте социологии Российской академии наук. Возросла ли актуальность этой проблемы в последние годы? Как выглядит ее взаимосвязь с развитием прессы — если иметь в виду воздействие прессы на сознание личности? О чем говорят наметившиеся здесь тенденции? Хотелось бы услышать ваше мнение.

— Проблема социальной идентификации личности — одна из ключевых в социологии. В значительной степени она причастна к проблематике психологии. И можно уверенно сказать, что она основательно разработана — не думаю, что наше исследование обещает какие-то серьезные научные открытия. Все дело в том, чтобы понять, как именно строятся единые идентификационные модели, что происходит с точки зрения социальной идентификации в сегодняшней России. Вот это будет, конечно, ново.

Чувствовать себя причастным к некоей общности — одна из фундаментальных, если не фундаментальнейшая потребность человека, существа социального. Это базисная потребность. Не случайно одно из тяжелейших существующих наказаний — камера-одиночка. Многие из приговоренных к пожизненному заключению считают, что лучше быть расстрелянным или гильотинированным, чем всю жизнь просидеть в одиночке. “Жить — не умереть” — одна из потребностей, которая реализуется путем социальной идентификации, потому что ты рассчитываешь на поддержку, на помощь, на сочувствие и так далее, но должен знать, кто эти “наши”, “мои”, которые будут мне помогать, сочувствовать, ухаживать за мной, если я заболею, к примеру. Другая базисная потребность (я по Маслоу рассуждаю) — быть принятым в группе. Да, действительно, нужно найти такую общность, в которой ты будешь принят.

Даже потребность в самооценке, самовыражении, оценке и уважении со стороны других не может быть реализована вне такой группы, потому что если я надену свои советские или российские ордена и появлюсь в какой-нибудь африканской табанке — там никто этого не оценит. Значит, я могу этим гордиться только среди тех, кто понимает ценность этих наград, званий и талантов. Буквально вся палитра человеческих потребностей практически реализуется в каком-то социуме, в какой-то группе, общности. Вот по этой причине люди действительно стремятся определить “своих”.

Но определение “своих” (это классические вещи, которые можно найти у Зиммеля, у Дюркгейма) означает и неременное определение “чужих”, “других” (по-английски *outgroup*; *ingroup* — моя группа, *outgroup* — другая, не моя группа). Вот отношение между моими группами и не моими во все времена, особенно в периоды, подобные переживаемому нами сейчас, когда ломаются все социальное пространство, — это самостоятельная проблема. Мы более или менее представляем, что люди полагают своей группой (до конца ничего, разумеется, знать не можем). А теперь хотим понять, что такое “другая группа”. Как правило, свою группу оценивают очень высоко, ей приписывают иногда больше положительных качеств, чем — со стороны кажется — имеет место на самом деле. В то время как не свою группу наделяют качествами менее положительными либо даже отрицательными — просто потому, что она не своя и может быть чем-то опасна, в чем-то не понятна.

Одна из проблем, которая нас сейчас интересует и не имеет в науке какого-либо однозначного решения (есть аргументы “за” и есть “против”), заключается в следующем: люди формируют свою социальную идентичность на основе высоких оценок той группы, к которой принадлежат (например семья), или на основе низких оценок тех, к которым не принадлежат? Что больше детерминирует: чужие род-племя-семья мою высокую оценку своих близких или же наоборот — моя высокая оценка своих близких определяет, стимулирует менее положительную либо даже негативную оценку других? Особенно в национальных отношениях. Есть данные, утверждающие: “пятьдесят на пятьдесят”. В одних исследованиях получается, что детерминация идет от позитивной или очень высокой оценки “своих” — отсюда негативная оценка “не своих”. В других исследованиях негативная оценка “не своих” начинает влиять на положительную оценку “своих”. Что происходит в критических ситуациях?

Мое глубокое убеждение, гипотеза, подкрепленная эмоционально (хотя и рационально тоже обоснованная), заключается в том, что мы ищем “других”, чтобы найти себя. В условиях реформации, всякого рода перестроек, социальных изменений нам легче определить чужих, потому что физиологически чувство опасности у человека более обострено, оно более древнее. Реакция на возможную опасность более глубинная, чем реакция на благополучие. То есть “все семьи счастливы одинаково, несчастливы по-своему” — это то самое свойство. Наша зона эмоций и чувств, связанных с возможной опасностью, более развита, более чувствительна. И вот в условиях, когда мы тяжело переживаем события на Кавказе, а приехавшие с Кавказа, “чужие”, тут же рядом, на рынках (об этом часто пишут), непонятные, опасные люди, мы-то другие, — и я начинаю больше чувствовать себя русским или россиянином. Да и в ситуации развала Советского Союза — когда мы начали говорить, что мы — россияне? Это можно проследить по опросам, да и по собственному опыту. Только тогда, когда вместо единого Союза появилась масса государств, а вместо единого советского народа — казахи, эстонцы, молдаване и так далее — и мы, русские, на них не похожие. Особые. Теперь начинаем искать, в чем же наша особость-то. Может, в национальной идее? Начинаем искать ту идею.

Повторю: для нас в исследовании немаловажно понять, что является более существенным фактором, определяющим чувство принадлежности к своей группе и поиск этих “своих”. Вот реальная проблема. Если же говорить в этой связи о прессе — значит прежде всего заинтересоваться процессом восприятия того, что передается по каналам информации. Проследить это в рамках теории массовой коммуникации, рассматривающей проблему взаимоотношения между тем, кто передает информацию, занимается пропагандой, что-то целенаправленно внушает, распространяет, навязывает какие-то идеи, образы, конструкции мира, — и тем, кто все это воспринимает. Американский социопсихолог Лассуэлл назвал этот процесс трехступенчатым. Как правило, мы начинаем активно, позитивно и заинтересованно воспринимать информацию из какого-то источника в том случае, если о нем положительно говорят в моем окружении. Значит, на самом деле ту или иную статью — пусть это будет статья перестроечная, пусть это будет статья Лациса — я начинаю воспринимать потому, что многие в моем кругу говорят: “А ты читал Лациса? Последнюю его статью?”

— Или наоборот, звонят и говорят: “Ну, этот ваш *Лацис!*”...

— И вообще его не читают. Значит, моя социальная идентичность ведет к тому, что я начинаю оценивать окружающих меня людей и источники информации сквозь призму восприятия моей группы. У нас возникают свои образы социального мира, формируются свои оценки и нормы. Отсюда и непосредственное отношение тематики данной книги к проблемам социальной идентификации, потому что пресса, телевидение, обращаясь к публике, стараются формировать аудиторию своей газеты, своего журнала, своего канала, своей программы. И делают это сознательно. Конечно, бывают издания и авторы, которые не очень разбираются, что есть их аудитория. Но все-таки профессиональные журналисты имеют о ней представление и работают именно на нее. Это несомненный факт. Но как на самом деле воспринимается их стремление апеллировать к этой аудитории, повлиять на нее, утвердить некие идеи, концепции, представления о добром, о желательном состоянии мира или ситуации в нашей стране?

Мы пока говорили об одном: как человек самоопределяется благодаря оценкам, мнениям и образам социальной реальности, существующим в своей группе. Но если бы мы думали только так, то это, конечно, было бы неверно. Абстрактные модели нельзя перенести на каждого отдельного человека. Никогда общетеоретические модели, схемы не работают буквально. Не то что бывают исключения, а они есть постоянно, потому что каждый из нас воспринимает социальную реальность, в том числе и информацию, из разных источников, сквозь призму собственного жизненного опыта, множества предрасположенностей к определенным оценкам, взглядам, определенному поведению (я их называю диспозициями). В каждый данный момент в нас уже масса заготовок воспринимать так или иначе новую информацию. Она ложится не на чистую бумагу. Наше сознание не есть *tabula rasa*. Оно уже предрасположено что-то взять, отжать, а что-то отбросить или отправить на периферию. Это проблематика диспозиционной саморегуляции поведения личности (в свое время я ею очень интересовался, да и сейчас интересуюсь). То есть поведение человека регулируется всем предшествующим опытом, системой ценностей, его взглядов на мир, — тем, что можно назвать социальными установками, которые есть продукт его длительной биографии (там есть и еще какие-то вещи, их мы уловить не можем).



Мне очень нравится, как это определил в свое время, в середине 60-х годов, известный грузинский психолог Шота Надирашвили, ученик Узнадзе. Что такое социальная установка? Это такая воронка, в нее вливается множество, а выливается одна капля. Одна капля — это моя готовность воспринять или не воспринять какую-то информацию или совершить какой-то поступок. Что тут больше влияет — история моей жизни, система моих ценностей, особенности моего внимания или оценка разных людей, например, тех, от кого исходит сейчас эта информация? Бог его знает! Мы толком не можем знать и сосчитать пропорции всякого рода влияний. И чтобы проиллюстрировать это обстоятельство, он провел такой натурный эксперимент. Мы сидели за столом, и там было вино, разумеется. Он попросил свою дочь принести воронку и каких-то еще вин, других. Потом попросил меня зажать воронку пальцем, а всех сидящих за столом — влить в нее вина из своих бокалов. Все туда что-то слили, получился непонятный коктейль из разных сухих вин. А теперь, говорит, отожми палец, выпей из этой воронки и скажи, можешь ты оценить, в каких пропорциях эти чудесные вина создали букет, который ты сейчас почувствовал? Вот то же самое и с установками...

Журналист, который пытается формировать образы социального пространства у своего читателя или зрителя, рассчитывает на то, что работает на определенную аудиторию, а на самом деле эта аудитория — казалось бы, однородная, однородная в своем восприятии мира — в действительности таковой не является. Иначе не было бы никакого развития. Всегда есть некие субъекты, которые находятся или на краю в системе ценностей, принимаемых данной группой, или в самом центре, или вообще — полудиссиденты по отношению к особенностям мировосприятия группы, то есть несогласные (хотя они еще в этой группе). Но только так и происходят развитие, изменения. Шестидесятники (к которым я себя отношу) верили в идеалы социализма, полагая: что-то не так в стране происходит, надо иметь “правильный” социализм, а не тот, который у нас — бюрократический, агрессивный, репрессивный. Этот взгляд постепенно формируется, начинаются более активные, более открытые выступления, а потом что-то меняется в нашей среде: некоторые вообще разочаровываются в идее социализма, может быть, в самой концепции, уже не воспринимают ее как реализуемую. Очень быстро ведь произошло такое разочарование в идеалах — и в ходе самой перестройки, и в постперестроечный период тем более. Почему?

Если мы будем исходить из первого тезиса — что да, люди воспринимают информацию, образы мира, которые им навязывают или хотя бы предлагают авторы разных книг, статей и выступлений на телевидении — и будем считать, что данная группа однородна, то ошибемся. В ней множество разных состояний, и это тоже надо принимать во внимание, когда мы обсуждаем, что же происходило в истории нашей печати или в истории общественной мысли в России. Надо понимать, что присутствует и этот механизм; в группах появляются более чувствительные индивиды, которые начинают лучше чувствовать изменения общей ситуации, по-другому реагировать на тот же самый источник информации и по-другому воспринимать те же самые идеи.

Наверное, так я могу ответить на вопрос об актуальности проблемы идентификации. В условиях перемен мы постоянно ищем — кто наши, кто не наши, постоянно оцениваем отношения между ними, пытаемся осмыслить, как они должны строиться. И от этого зависит вообще вся направленность социальных изменений в обществе.

*— Принято утверждать, что в советские времена идеология была единой, печать — монолитной, информация — однородной. Тем не менее уже тогда были крайне различные читательские аудитории, скажем, у “Нового мира” и “Октября” (что действительно отличало “своих” и “чужих”). Кто-то читал исключительно “Правду”, а кто-то вообще ее в руки не брал. Отличалась ли прежняя дифференциация от той, что отмечается сейчас? И в этой связи: печать отражает дифференциацию, возникшую в обществе, или, напротив, сама в какой-то мере способствует такого рода дифференциации?*

— Что касается последнего, то на этот вопрос нельзя дать уверенного ответа. Это все равно что решать проблему, о которой я уже говорил: отчего зависит негативная оценка “других”. Сказать, что печать влияет на дифференциацию взглядов, идей, разнообразие мнений и даже противоположность позиций, или, наоборот, — противоположность реальных политических, моральных и идейных позиций формирует разные позиции печати? По-моему, это взаимообразный процесс, одно усиливает другое. Разумеется, не может появиться фашистская газета, если в обществе нет к тому каких-то интенций. Появление же фашистской газеты начинает такие интенции усиливать, формировать дополнительные когорты персонажей, которые включа-

ются в это, можно сказать, движение, присоединяются к людям, мыслящим таким же образом.

Значит, процесс взаимообразный. А вот когда вы говорите о монолитной пропаганде и различных читательских аудиториях (у нас в Питере, кстати, была аудитория своих журналов, ленинградских), так в этом смысле — при большом обобщении — ситуация тогда и сегодня очень схожи, как ни странно. Прежде чем делить аудитории тех же “Нового мира” и “Октября”, давайте скажем по-другому: это касалось интеллигенции, это деление внутри интеллигенции. А если говорить о народе в целом (я активно занимался этой проблематикой, прессой и масскоммуникацией), так первое, что было установлено: есть люди, которые ничего, кроме местной газеты, не читают. Они локальны абсолютно, интересуются только тем, что происходит буквально рядом — в моем городке, моем районе. А уж что там в Москве, мире — совершенно неинтересно. И есть люди, которые, наоборот, не читают местную прессу. Не скажу, хорошо это или плохо (английский аналог: *peripheral*, замкнутый на себя, и *metropolitan* — глобальный). Вот я, например, постоянно бесплатно получаю газету о нашем округе. И никогда ее не читаю. Мне не интересно, что там делается на соседней улице. Не хочу тратить на это время. Круг моих интересов другой, может, специальность такая или склад характера — не знаю. Это было тогда и есть сейчас — тип мировосприятия никогда не был однородным. В советские времена в идеологическом смысле — благодаря тому, что не только навязывалось через прессу, но и вдалбливалось с детского садика до глубокой старости через бесконечные собрания, демонстрации, агитки, — предположительно формировалось одинаковое мировосприятие, которое мы называем сегодня мировосприятием советского простого человека. На самом же деле этот советский человек, если судить по данным исследований тех лет, не был столь прост и единообразен. Отнюдь. Это мы, в том числе и сами социологи, “по большому счету” изображали его таким. Тут помогали не только цензор, который тебя редактировал, но и внутренняя цензура. Не буквально врать, а описывать одно и не описывать другое, умалчивать. “Сырые” данные можно прочитать и по-другому, их можно восстановить, чем и занимается сейчас Борис Грушин. И он не находит в тех данных, интерпретированных в свое время в печати в каком-то одном свете, большую монолитность, единообразие взглядов и оценок. Напротив.

— По вашим наблюдениям, Владимир Александрович, люди становятся большими индивидуалистами, чем раньше? Или такой вывод делается исходя из посылки: раз либерализм, то и люди — индивидуалисты? В какой мере это сказывается в том поиске “своих” и “чужих”? И на кого ориентируется печать — на “индивидуалиста” или “коллективиста”?

— Вы знаете, судя по тому, что находят мои коллеги, мы сами, многочисленные исследования по особенностям личности, системе ценностей, поведенческим установкам, все-таки в значительной степени сохраняют свою силу базисные коллективистские установки и ценности. Я приведу такой пример. Одна из наших коллег довольно длительное время ведет исследование на частной текстильной фабрике, где высокие заработки, очень интенсивный труд и высокая текучесть. Казалось бы, в нынешних условиях всякий лишний рубль ценен. Но текучесть объясняется не только и не столько интенсивностью труда: люди, по ее мнению, утратили то, что было привычным на “старых” предприятиях — общие собрания, отчет администрации, профсоюз, наконец. Причем профсоюзы, как правило, ругают, плохо к ним относятся, но когда утрачивается сама возможность защиты интересов коллектива, то есть когда люди узнают, что здесь профсоюз просто запрещен — это переживается очень остро, как несправедливость. Я не говорю, что там работают лишь пожилые, прошедшие советскую школу. Там женщины разного возраста, в том числе и те, для кого это первое место работы, они и пришли сюда уже в постсоветское время. Второй пример: безработные. Когда социологи, изучая проблему и проводя интервью, спрашивают: “Вот вы потеряли работу, какие у вас самые тяжелые ощущения? В чем трагедия этого?” — люди, конечно, говорят, что потеряли источник существования, но говорят и другое: “Меня выгнали, меня не защитил коллектив”; и подводят грустный итог — теперь вообще потеряна связь со своим коллективом. Это, если хотите, есть потребность социальной идентификации — поддержка группы. Может быть, это черта российская, а не обязательно советская.

Наш коллективизм особого рода, разумеется. Он все-таки отличался тем, что давил, подавлял отдельного человека. Он требовал подчиниться даже тогда, когда это вообще было несправедливо по всем критериям. Но надо было подчиниться, ибо существовал лозунг: “Все для государства, все во имя общества, во имя коллектива” — и так далее. А уже твои личные, частные

интересы — дело второе. Коллективизм, который формируется сейчас, вообще-то нормальный для человеческого существования, приемлемый для любого, если, конечно, ты сам не теряешься в этом коллективе, если здесь тебя как-то оценивают и ты можешь достаточно свободно высказать собственное мнение. А высоко развитый индивидуализм, как я полагаю, становится как бы препятствием для коллективистских отношений. Люди, связанные совместными интересами, совместной деятельностью (не важно, идет ли речь о трудовом коллективе или спортивной команде), волей-неволей должны быть, так сказать, коллективистами. А там, где жестокая конкуренция, какие могут быть коллективисты? В любом обществе, я полагаю, в рыночном в том числе, будут тенденции, связанные с коллективистскими наклонностями, и такие среды, такие социальные группы, где индивидуалистическая доминанта должна быть выражена жестко.

— *Когда вы говорите о поиске себя, “своих”, “чужих”, какой вы при том видите роль прессы?*

— Говоря современным языком, — мобилизационную. Пресса хочет мобилизовать какие-то группы на утверждение такого вот образа мира, такого вот определения социального пространства. Мобилизуя как можно большую аудиторию.

— *А не разъясняя, не беря на себя роль аналитика, так сказать, путеводителя в лабиринтах общества?*

— Конечно, пресса должна помочь людям анализировать мир. Но я в это не верю. Я думаю, каждый журналист пытается это делать, а дальше — намерен утвердить, что его анализ есть самый правильный, потому примите, пожалуйста, то, что я вам предлагаю.

— *Нетрудно предположить, что ваш интерес к проблеме идентификации личности логично связан с научным интересом к проблеме формирования новых солидарностей. Это так?*

— Конечно. Изучение социальной идентификации личности и формирования новых солидарностей для меня как исследователя неразрывно связаны, ибо невозможно представить себе солидарность, если нет идентификации с группой. Но идентификация есть только первичная стадия солидаризационного процесса, потому что его конечная стадия — это совместные действия, а не просто поиск группы, на которую я ориентируюсь в собственных моральных или других оценках, нормах, представлениях. В активном смысле я жду поддержки для ут-

верждения моих интересов. Если так рассуждать с точки зрения рационального выбора, то человек, когда мы говорим о солидарности, как бы отчуждает от себя часть суверенных прав в пользу своей группы, в расчете, что эта группа будет защищать его интересы. Мы как бы заключаем некий мысленный контракт. Поэтому важно понять, в какой степени социальная идентификация уже переходит в стадию более активную — совместное коллективное солидарное действие.

Типов солидарностей очень много. Мы изучаем их прежде всего в рабочей среде, на разных предприятиях. Очевидно, например, что нельзя говорить о какой-то унифицированной модели формирования солидарностей работников наемного труда против работодателей, как это следовало бы из марксистской концепции. А формируются самые разные солидарности, преимущественно корпоративные (один из наиболее интересных примеров — воркутинские шахтеры). Типы солидаризации, мотивация, если хотите, надежды на ответную реакцию совершенно различны у разных групп населения и в разных профессиях. Мы анализируем эти солидаристические тенденции в обществе. И самый главный вопрос: какие все-таки формируются субъекты коллективного социального действия? От того, как мы это поймем, как мы это опишем, зависит возможный прогноз развития нашего общества.

— *Имеет ли это отношение к формированию гражданского общества?*

— В каком-то смысле, конечно, потому что солидаристические отношения не вертикальны, а горизонтальны, они, по сути, действительный элемент гражданского общества, не связанного с государством, или связанного опосредованно. Это есть одновременно и проблематика изучения гражданских структур.

— *Владимир Александрович, а не возникает в этой связи необходимость обратиться не только к узкой научной аудитории, но и к массовой? Нужно ли такое обращение?*

— Нужно. Говоря так от лица общества, потребителя, я думаю, что это очень важно и совершенно необходимо. Для чего вообще нужны социальные науки? В советское время они нужны были для того, чтобы давать разумные рекомендации властям, а уж власти посмотрят, как распорядиться этой информацией. А в демократическом обществе это нужно, чтобы оно лучше понимало себя, чтобы повышалась саморефлексия гражданских структур. Мы же должны обращаться не к властным структурам, а как раз к гражданским. К разным группам насе-

ления, которые не читают наши толстые монографии. В современных условиях, в демократическом обществе обращение общественников к массовой прессе, кажется, становится более целесообразным и необходимым. Ну, просто для развития самого демократического процесса, так я полагаю. Другое дело, что одни люди более склонны к этому, другие — менее, одни умеют писать доступно, понятно, другие — не имеют такой жилки.

Готов согласиться, что среди авторов газет и журналов ученых сейчас немного. Раньше, надо сказать, их выступления в массовой печати были заметным явлением. Мое объяснение (не спонтанное, сей момент рожденное, я и сам задумывался, да и как-то это обсуждается в нашей среде): просто мы, шестидесятники, разуверились в возможности разумно повлиять на ход вещей; чувствуем, что никто из причастных к государственным решениям серьезно это не воспринимает. Бесплезно писать и говорить.

— *Не к властям же обращаемся, как сами вы говорите.*

— Но нет и такой общественной силы, которая солидаризировалась бы, мобилизовала себя и попыталась что-то сделать. Нет такой общественной силы. Я ее не вижу. Есть еще одно объяснение для меня самого: мало сюжетов для публикации в массовой печати, которые не имели бы остро политического характера. А мне хотелось формировать имидж Института социологии как не связанного с политикой. Поэтому если директор начинает появляться на страницах печати с какими-то суждениями по текущим политическим проблемам — это плохо. Я себя так настраивал. Плохо и потому, что мы академический институт — это уже такая рационализация постфактум, когнитивная атрибуция. Истинный же мотив, конечно, в том, что потерялась уверенность в возможности как-то повлиять на ход вещей.

Когда начинаются серьезные перемены и есть какая-то сила, общественная группа, которая является инициатором этих перемен, она, конечно, мобилизуется максимально. Есть внутригрупповое, даже уже нормативное давление: ты обязан выступить перед лицом своих товарищей. Это наше общее дело. Есть внутренняя мобилизация, мощная волна. Но нельзя же постоянно жить на одном дыхании, на таком революционном порыве — потому он и называется “порыв”. Люди замолчали не потому, что им нечего сказать. Исчерпала себя, если хотите, и историческая необходимость (культурная, социальная) активно влиять на изменения в положении вещей в стране. То есть

надо было развиваться в сторону демократии, надо было создавать новые социальные институты и так далее. А теперь они появились. Не те, которые хотелось, но они есть (есть избиратели, есть депутаты и — да, есть подкупы; ни одна революция — это мы знаем из истории — не заканчивалась тем, чтобы ее идеалы осуществились в том виде, в каком были сформулированы). Прошел тот период активного солидарного выступления в защиту какой-то идеи, которая нам представлялась и до сих пор представляется вполне разумной.

— *В то время вы сами нередко обращались к массовой печати. В каких случаях?*

— Тогда люди мало были знакомы с социологией, а практически — совсем с ней не знакомы. Поэтому одним из главных мотивов у меня и, полагаю, у моих коллег было утвердить статус самой области знания, которой мы занимаемся. Доказать, что социолог, помимо экономиста или юриста, может сказать что-то полезное. Когда начался бум всякого рода опросов, я писал, что к ним надо относиться аккуратно. Это, кстати, имело очень сильный резонанс. Больше того, была серия обсуждений с участием социологов, журналистов, юристов. Центральная исполнительная комиссия России образовала некое постоянно действующее совещание, где мы разбирали практику опросов, рейтингов и так далее. Мы считали, что надо учить демократическое общество грамотному восприятию сведений об общественном мнении — это потребность гражданского общества. Помню и выступление в “Известиях”, к которому побудили уже не профессиональные, а чисто гражданские чувства. Непосредственно оно было направлено против статьи моего коллеги, где можно было усмотреть все то, что мы сейчас наблюдаем в газетах жестко националистических. В той публикации содержались основы “коричневой” идеологии — как можно было на это не реагировать? Это уже гражданская позиция.

Сейчас вроде бы тоже есть что сказать — например, про те же солидарности. Но я не вижу массового читателя, которому это интересно. Нет аудитории, которой это нужно, и потому у меня нет такой потребности. Если Заславская пишет сегодня о срединных слоях, то она знает, к кому обращается: это Ядов и другие социологи. Мы это будем читать в наших журналах — зачем я буду читать это в газете? А интеллигенция особенно уже и не интересуется, потому что занята выживанием. Может быть, просто трудный период жизни. Люди не планируют, как перестроить общество — люди планируют, как вообще себя устроить



сегодня. Это наша главная мотивация. Потеряли читателя, который строит какие-то планы общесоциумного характера — касательно страны, народа, государства.

— *Так, может, правы те, кто призывает сегодня к поиску общенациональной идеи? И именно наука должна ее выявить, создать новую социальную доктрину, способную концентрировать общественные усилия?*

— Ну, я очень скептически отношусь к тому, что какая-то наука может сформулировать национальную идею. Мы должны обнаруживать, как она складывается. Идеолог в конце концов формулирует те взгляды, настроения, мысли, которые в обществе уже обозначаются. Он не производит теорию, которая потом внедряется в сознание масс. В лучшем случае — пытается обобщить и нагляднее изложить то, что уже складывается в умах людей, настроениях масс. Если рассуждать так, то приходится согласиться, что национальная идея уже “на подходе”. Это что-то похожее на национал-социалистическую идею, к сожалению. Не фашизм, который связан с уничтожением народов, с геноцидом, а такой, если хотите, “итальянский вариант”, который как бы не предусматривал гонения на другие нации и народы, но предусматривал создание социалистического общества в Италии для итальянцев. И вот я чувствую, что выявляемая у нас сегодня идея — примерно такова. Но чтобы я эту идею стал формулировать и внедрять? Конечно, нет. А формулировать обратное, например, “права человека” — бесполезно, потому что не будет воспринято, как я вижу. Чего же тут кричать на эту тему?

— *А вам не кажется, Владимир Александрович, что тот же “национал-социализм” в какой-то мере внушается, внедряется в умы, а потом вы как социолог, изучая народ, проводя опросы, получаете от него эти мнения, настроения обратно?*

— И да, и нет. Потому что сейчас не существует — вы не можете не согласиться с этим — единой системы пропаганды. Есть множество разных газет, которые предлагают разные концепции, разные идеи — либеральные, социалистические, коммунистические, социал-демократические, национал-социалистические, — всякие. Почему национал-социалистические начинают приобретать большой вес? Здесь же выбор немалый, как в магазине, где есть сотни галстуков. А я почему-то выбираю вот эту расцветку, в синеватых тонах. К коричневатому даже не подхожу. Или наоборот, коричневатые выбираю, а синеватые в упор

не вижу. Значит есть что-то такое в психологии масс. И можно понять — что. С одной стороны, самая тяжелая утрата, которая переживается большинством, будь то интеллигент или крестьянин, — утрата величия страны. А что предлагает вот эта национальная идея? “Мы должны возродить величие державы”. Вторая потеря, тяжело переживаемая людьми, — хотя бы провозглашаемые идеалы справедливости (каждому по труду и так дальше). Ведь у нас народ не признает справедливым богатство, полученное даже без воровства, без убийства, но за счет того, что капитал пущен в рост. Это не называется “своим трудом”. Честные деньги, но, так сказать, не одобряемые — мы прекрасно это знаем по данным опросов. Люди сейчас уже принимают сам факт социального неравенства — богатые и бедные, ну, что сделаешь. Но одновременно они считают, что богатство не может быть нажито лишь своим трудом, своим умом. Всегда так было в России. “От трудов праведных не наживешь палат каменных” — это не буквально о воровстве. Это — “не своим трудом”. Пустил деньги в рост, играешь на бирже — это недостойно. Потеря “справедливости по труду” переживается многими, и призывы восстановить справедливость доходов по труду находят поддержку.

Ученые должны, наверное, отражать и формулировать тот тип мировосприятия или тот образ, ту социальную психологию, которые могут выкристаллизоваться, — так Плеханов говорил. В социальной психологии, в массовой психологии формируются какие-то взгляды, ощущения, образы будущего, хорошего, желательного будущего, которые надо аккуратно кристаллизовать. Это и будет идеология. Она вырастает из более глубинного... Вот бы оставить еще на 20–30 лет суждение о том, как видится устройство России, чтобы потом обнаружить, что ты ничего не понимаешь.

— *Владимир Александрович, вы видите в прессе коллегу, союзника?*

— Хотелось бы видеть. Пока, правда, какого-либо союза нет. Есть личное отношение к “своей” газете, как, наверное, у многих людей моей среды. Утром, перед тем как взяться за чашку кофе, беру из ящика газету, кладу ее перед собой — это уже привычка. Мне надо посмотреть заголовки, что там происходит в мире, взглянуть на публикации по социальной тематике. Мне интересно посмотреть интерпретацию тех, кому я доверяю. Когда Лацис работал в “Известиях”, я начинал с Лациса, теперь — с какого-нибудь другого автора. Аналитику я

смотрю всегда — по той же схеме: что полагает моя группа или те, кто специализируется на анализе ситуации в рамках группы, к которой я себя отношу. И, думаю, чем дальше в информационный век, тем больше будет такая потребность.

Вообще же я думаю о нашем обществе, России как стране, в которой иерархические структуры властного типа существенно доминируют над гражданскими (то есть горизонтальными взаимосвязями общностей, объединенных особым интересом). Эта конфигурация всех социальных институтов, видимо, надолго останется нашей социокультурной спецификой. Поэтому огромное значение приобретают любые властные структуры: от высших до первичных производственных и сервисных в экономике, но то же и в непроизводственной сфере, в “третьем” секторе.

Очень многое будет зависеть от нового поколения россиян, не знавших не только ГУЛАГа, но и комсомола. Эти молодые люди со временем становятся родителями, учителями, журналистами, политиками и бизнесменами. Они более открыты внешнему миру, не утрачивая своего российского патриотизма. Я верую в будущие поколения, которые преобразуют страну, и через 15–20 лет это будет существенно иная Россия. И, даст Бог, иная журналистика — более независимая и целеориентированная на служение гражданскому долгу журналиста: не обслуживать “хозяина”, но служить самому обществу.

# Документы



## Предисловие к документам

Вторая часть книги состоит из архивных документов. Цель данного раздела — не просто проиллюстрировать сказанное в интервью журналистами и социологами, но и дополнить фактами, в какой-то мере, даже выступить арбитром в спорах. То, что в современном источниковедении получило название “oral history”, обретает более крепкий фундамент. Официальные документы в основном из партийных архивов помогают увидеть механизм принятия решений, точно установить круг участников того или иного события, продемонстрировать риторику и аргументацию сторон. Эти материалы воссоздают атмосферу своего времени в обществе, характер взаимоотношений прессы и власти. Мнения читателей (то есть аудитории прессы) отражены в публикуемых нами письмах, а также данных социологических опросов.

Документы сгруппированы по нескольким темам или сюжетам, которые в определенной мере соотносятся с периодами, выделенными в предисловии к книге в целом. Внутри подборок материалы расположены, как правило, в хронологическом порядке. Исключения допущены в случаях, когда этого потребовала логика развития событий. В примечания вынесена информация о наличии документов, проливающих дополнительный свет на публикуемые материалы.

Нами выявлены и подготовлены к публикации документы из следующих государственных, ведомственных и личных архивов: Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ) — бывший архив аппарата ЦК КПСС, Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), Архив Российской Академии наук (РАН), Архив Института “Открытое общество” в г. Будапеште, личные архивы Карпинского Л.В., Волкова А.И., Ярмолюк С.Ф. и Наумовой Н.Ф. Данные социологических опросов предоставлены банком данных Фонда “Общественное мнение” (ФОМ).

Большая часть документов обнаружена в *РГАНИ*. Это следующие фонды:

**Фонд № 5** — отделы ЦК, в частности, Отдел пропаганды и агитации по союзным республикам (который курировал центральную прессу) и Отдел культуры (курировавший художественные журналы).

**Фонд № 89** — Коллекция-фонд *РГАНИ*. Документы извлечены из архивов Секретариата и Политбюро (ныне Архив Президента РФ) ЦК КПСС. [К сожалению, **Фонд № 4**, содержащий постановления Секретариата и материалы к нему в последнее время вновь закрыт для исследователей, поэтому многие документы, которые мы хотели бы опубликовать, так и останутся неизвестными читателю.]

В *РГАСПИ* нам была предоставлена возможность ознакомиться с персональными партийными делами Л.В. Карпинского и О.Р. Лациса, хранящимися в фонде Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

В *РГАЛИ* в фонде № 1702 (журнал “Новый мир”) были выявлены и опубликованы письма читателей этого журнала.

В *АРАН* выявленные документы находятся в личном фонде академика Румянцева А.М. Его **фонд № 2052** до сегодняшнего дня не описан, поэтому нет указаний на номер дела и листы.

Большой интерес представляют документы коллекции русского самиздата, хранящиеся в *Архиве Института “Открытое общество”* в Будапеште (Венгрия). Поскольку это зарубежный архив, то ссылки отличаются от традиционных российских.

При публикации документов соблюдались следующие археографические правила описания.

Документы публикуются не всегда в полном объеме, сокращению подвергались слишком большие тексты, части документа, не имеющие прямого отношения к теме, повторы из публикуемых рядом документов; по морально-этическим соображениям изъяты упоминания некоторых фамилий. Сокращения обозначены значком [...], в текстуальных примечаниях оговариваются лишь особые случаи сокращения.

При публикации нами опущены некоторые делопроизводственные пометы, не несущие в себе смысловой нагрузки, как то: штамп при регистрации документа в Общем отделе ЦК КПСС, список рассылки документа, пометы “в архив” и так далее. Датировка документа дается по дате подписания, если таковая от-

сутствует, то по дате регистрации или резолюции, если нет и ее, то предположительная дата дается в квадратных скобках [...].

Практически все публикуемые нами документы — машинопись. В случаях, когда текст написан от руки, это оговаривается как “Автограф”. Представляющие интерес визы и пометы отмечены как “Помета” и далее ее текст.

Поскольку все публикуемые документы принадлежат к современной эпохе, исправлялись незначительные орфографические и синтаксические ошибки, написание фамилий, имен, отчеств было сохранено без каких-либо изменений, если в них была допущена ошибка, это оговаривается в примечаниях. Транскрипции иностранных фамилий и имен также даются без изменений, современное написание дается в примечаниях.

Большинство документов публикуется впервые.

Компьютерный дизайн и представление данных социологических опросов осуществлено научным сотрудником Института социологии РАН *Епихиной Ю.Б.*

Особую признательность мы выражаем Л.Ф. Чеботкевич за помощь в ознакомлении с персональным делом Л.В. Карпинского в фондах РГАСПИ и публикации документов из его личного архива.

*М. Пугачева*



# І. Пресса и цензура

**Письмо начальника Горьковского обллита Ф. Боронина  
Н.С. Хрущеву**

[10 августа 1956 г.]<sup>1</sup>

Никита Сергеевич!

Хочу перед Вами поставить вопрос о цензуре: он назрел и требует разрешения.

Насколько я знаю историю, цензура всегда была ненавистна народу и печати. Правительства прибегали к ней, чтобы подавлять свободную мысль и подчинять печать, а через нее общественное мнение, в своих интересах.

В частности, русская, дореволюционная цензура охраняла “неприкосновенность Верховной самодержавной власти, уважение к императорскому дому”, оберегала, чтобы “в печать не проникло что-либо противное коренным государственным постановлениям” (см. Устав о цензуре и печати изд. 1893 г.).

[...] Нечего таить, и мы грешим: в делах Главлита СССР, к сожалению, тоже можно найти немало цензурных анекдотов. И в наше время есть цензоры, которые запрещают называть траву “суданкой”, мотивируя свое вмешательство тем, что эта трава иностранного происхождения и для опубликования требуется разрешение чуть ли не Министра иностранных дел...

А сколько мы изъяли литературы только потому, что авторы когда-то чем-то себя скомпрометировали. Сейчас выясняется, что многие авторы ни в чем не повинны, и их книги изъяты напрасно. Изъятия производились не по содержанию, не по вредности книги, а из-за автора. В.М. Молотов, критикуя цензуру, указывал, что порой мы усиленно охраняем то, что давно опубликовано в Америке, за границей. Н.А. Булганин убедительно говорил об излишних ограничениях в печати, а А.И. Микоян о том, что статистические сведения заперты на семь замков от ученых и научных работников. Принося пользу, мы вольно или невольно, нет-нет, да и нанесем вред, ставим и себя и правительству в смешное положение.

---

<sup>1</sup> Датируется по штемпелю ЦК КПСС. — *Прим. ред.*

Безусловно, нельзя проводить знак равенства между нашей цензурой и цензурой царской России. И цель и задачи их противоположно разные. Мы стоим на страже народа и действуем в интересах народа, не допуская в открытую печать сведения, которыми могут воспользоваться враги наши, во вред СССР и Коммунистической партии Советского Союза, во вред интересам трудящихся. Эту роль наша цензура добросовестно выполняла и выполняет. [...]². Но ведь это, надеюсь, понятно не только нам — цензорам, но и редакторам и руководителям издательств, учреждений и организаций. Нам это вменено как служебная обязанность, но она не хуже, если не лучше может быть выполнена редакторами, нач. спецотделами предприятий и учреждений, директорами полиграфпредприятий. С осени прошлого года был упразднен институт цензоров-совместителей в сельских районах. Сейчас уже можно определенно сказать, что это мероприятие вполне оправдало себя: количество нарушений значительно уменьшилось, а в большинстве случаев ликвидировано совсем. Редакторы, став собственными цензорами, почувствовав личную ответственность за охрану военных и государственных тайн в печати, стали на эту очень важную сторону своих обязанностей обращать должное и необходимое внимание.

Мы сейчас опекаем редакторов городских, заводских многотиражных газет, областных газет, а в Москве даже центральных. Надо подумать о целесообразности предварительного просмотра цензорами этих газет. Не ребяческая ли это игра, которая, кстати сказать, стоит очень дорого?

Нет покамест у нас цензоров, которые были бы выше, грамотнее, умнее, что ли, редакторов. Профессия журналистов складывалась веками. Подбором кадров редакторов, ведущих журналистов занимаются партийные органы, в т.ч. и ЦК КПСС. Имеются учебные заведения, которые готовят и переподготавливают эти кадры. Сюда отбираются, пожалуй, без преувеличения можно сказать, лучшие проверенные пропагандисты и агитаторы печатного слова. Для них не составит большого труда усвоить, что можно и что нельзя печатать в своих изданиях. И это редакторы газет очень хорошо понимают и, надо думать, их глубоко обижает, что их проверяют, что им, прямо скажу, не совсем доверяют. Цензорский “Перечень” со всеми изменениями и добавлениями к нему у редакторов областных газет есть, и они обязаны знать ограничения, но зачем это им, когда есть цензор, с которым можно поспорить, а если удастся, то при случае и обмануть его. Получается для нашего времени не понятное: редактор и цензор — две противоположные фигуры, редактор толкает, а цензор не пускает. Цензура выглядит, как зажимщик, как чирей под пазухой, мешающий редакторам размахнуться во всю силушку, проявить все таланты.

Скажу больше — наша опека редакций двойная — мы предварительно читаем газету, журнал, книгу, перед тем как разрешить к печа-

² Опушен текст об истории цензуры за рубежом. — *Прим. ред.*

ти, и просматриваем, чаще всего формально, перед тем как выпустить в свет.

Боюсь, что опять навлеку на себя нарекание со стороны Главлита СССР, как за письмо о цензорах-совместителях, но ей-ей, не могу молчать! Хотя убейте, но я не вижу пользы от предварительной цензуры, наоборот, она наносит двойной вред. Предварительной цензурой сняли ответственность с ответственных редакторов и издателей, этим высказано недоверие к ним; и самое главное — даем повод капиталистам, их прислужникам клеветать на нас, кричать на всех перекрестках об отсутствии якобы у нас свободы печати. Наличие же в СССР предварительной цензуры — для них прекрасный повод для злобной критики. Я считаю, что ликвидация предварительной цензуры газет, всей мелкопечатной продукции, литературных журналов повысит ответственность редакторов и партийных органов за сохранение военных и государственных тайн в печати.

Оставив за цензурой преимущественно последующий контроль, партийные органы, используя цензуру, смогут более полно и всесторонне руководить печатью. А повышение уровня партийного руководства, при отсутствии предварительной цензуры, неизбежно и крайне необходимо.

В первое время в газетах, освобожденных от цензуры, могут встречаться нарушения, могут выявляться случаи и факты недобросовестного отношения к этой стороне дела некоторой части редакторов. Таких придется призывать к порядку. А кто это должен делать? Ясно, не цензура (она вообще бесправна), а партийные органы, которым редакторы подчинены.

В государственном аппарате дореволюционной России нельзя сказать, что все было негодно. Если взять цензуру, то она складывалась столетиями и из многолетнего опыта, в интересах дела, кое-что не мешало бы и нам занять. Как была построена царская цензура, хотя бы девятисотых годов?

В центре — Главное Управление по делам печати при Министерстве Внутренних Дел; оно объединяло все цензуры, и духовную, военную и т.д.

У нас — Главное Управление по охране военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР и Главные Управления при Советах Министров ССР.

До революции на местах — в крупных центрах и краях цензурные комитеты (Варшава, Одесса, Прибалтика и т. д.). Комитет возглавлял вице-губернатор, в Варшаве — специальное лицо. При комитете штат цензоров по печати, инспекторов по типографиям, по библиотекам, по драматургии и искусству и технические служащие. Но при любых обстоятельствах главные вопросы печати решали губернатор или вице-губернатор, и они несли полную ответственность за состояние печати в своих губерниях.

В менее значительных губерниях существовали цензурные округа,

в частности до 1893 г. Н.Новгород входил в Казанский округ. В 1893 г. в Н.Новгород и ряд др. губерний были выделены специальные цензоры, подчиненные губернатору. В остальных губерниях цензура поручалась губернаторам или вице-губернаторам, которые этим делом руководили через старших чиновников особых поручений. При каждой подцензурной газете выделялся цензор, работающий по совместительству.

У нас на местах — Управления по охране военных и государственных тайн в печати при облисполкомах и т.д. Но это “при” часто формальное, т.к. облисполкомы по этой части не имеют никаких указаний, никаких положений и за состояние цензуры фактически не несут никакой ответственности. Начальник, наоборот, несет ответственность, но он не наделен никакими правами, кроме общегражданских и общепартийных идти в советские или партийные органы и ставить вопросы. Подконтрольные организации и учреждения Управлению цензуры ни с какой стороны не подчинены. Наши разъяснения и жалобы в соответствующие организации, в т.ч. и партийные, не всегда достигают цели. Цензура последующая должна по своему существу влиять оперативно, а в случае неподчинения располагать правами обзывать и, в крайних случаях, наказывать.

В этом пункте могут быть серьезные возражения, т.к. наделение цензуры какими-то административными правами попахивает т.н. карательной цензурой, что явно противоречит Конституции. Как же быть?

Анализируя построение цензуры до революции и теперь, я пришел к такому выводу, что наша цензура нуждается в некотором организационном изменении, как теперь говорят, в перестройке.

Главные Управления так и остаются, как и были: мне трудно о них что-либо сказать. Меня, признаться, больше волнует местная цензура. В отношении местной цензуры может быть такой вариант.

Вместо Управлений (какие мы управления и кем мы управляем, когда в подчинении большинства Обллитов 7–10 цензоров) — создать при Облисполкомах комитеты по делам печати<sup>3</sup>. Состав комитета должен состоять из 5–9 членов, подбираемых и утверждаемых Облисполкомом. Председателем комитета целесообразно назначить зам. председателя облисполкома по вопросам культуры и здравоохранения, заместителем — главного цензора, который должен быть освобожденным работником, фактическим руководителем комитета; секретарем — зам. главного цензора или старший цензор, который будет замещать в отсутствие главного цензора. Члены комитета — представитель отдела пропаганды и агитации обкома партии, желательно зам. заведующего, который ведает вопросами печати, культурно-просветительных учреждений. Представитель управления культуры — начальник или его первый заместитель. Представитель облсовпрофа, ведаю-

<sup>3</sup> Фраза подчеркнута и отмечена НВ. — *Прим. ред.*

ший вопросами культурно-массовой работы. Работники цензуры — цензор по последующему контролю, цензор по вопросам искусств. Рабочий состав комитета — цензоры, технический аппарат — согласно штатному расписанию.

Такое организационное построение нашей цензуры дало бы возможность более глубоко и оперативно выполнять функции и предварительной, а главное, последующей цензуры по охране военных и государственных тайн в печати.

В этих предложениях, мне кажется, есть серьезная возможность несколько сократить цензорский аппарат, улучшить ее качество, укрепить ее за счет подбора более подготовленных и квалифицированных кадров.

Такой перестройкой решается и вопрос некоего принуждения через зам. председателя облисполкома, управление культуры, облсовпроф, и, надо думать, через представителя обкома партии, не прибегая к официальным, исходящим от цензуры мерам.

Ладно ли надумал? Вам виднее. Во всяком случае эти предложения идут из благих намерений улучшить контроль по охране военных и государственных тайн в печати.

Начальник Горьковского Обллита

Ф. Боронин

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 15. Л. 85–94. Подлинник.*

## Письмо академика П.Л. Капицы Н.С. Хрущеву

20 февраля 1959 г.

Глубокоуважаемый Никита Сергеевич,

Пишу Вам с жалобой на Главлит. Мероприятия Главлита, на которые я жалуюсь, затрудняют нашу работу и к тому же оскорбительны для советского человека, поскольку непонятна та цель, которую они преследуют.

Эти новые мероприятия заключаются в том, что иностранные книги, поступающие как по заказу, так и присылаемые в дар из-за границы, если на них Главлит решил поставить ограничительный шестиугольник, должны находиться в спецхранилище в институте, и только там ими надлежит пользоваться. Не только это затрудняет пользование своими книгами, но это оскорбительное недоверие к ученому-академику, который, по мнению Главлита, по-видимому, может использовать эти книги во вред государству. Как это может произойти — не понятно, поскольку они на иностранных языках и не содержат секретных сведений. Я лично не могу представить себе, какой вред от их содержания может вообще быть для любого сознательного советского

гражданина. Если это забота о чистоте наших мыслей и помыслов путем запрета знания греха, то в этом мало смысла.

Известно, что прежде так считали возможным оберегать невинность девиц кисейного воспитания. Но никому еще в голову не приходило ограждать этим способом нравственность познавших жизнь великовозрастных дам. Поскольку нельзя относить развитие ученых-академиков к уровню наивных девиц, то с этой точки зрения нельзя понять эти мероприятия. По-видимому, работники Главлита мало читали Щедрина, а то им бы была понятна нелепость рвения бюрократов к запретам.

Надо заметить, что деятельность Главлита еще неудовлетворительна, потому что проверка поступлений ведется медленно и это очень задерживает своевременное получение иностранной литературы. Так, например, уже несколько лет я получаю журнал "New Statesman" — тот самый английский журнал, в котором Вы полемизируете с Расселом и Далесом. Так вот этот журнал не только приходит с замазанными карикатурами, что еще полбеда, но он приходит еще и с большим запозданием. Например, за этот год из 8 номеров пришли только 2. Потом обычно они приходят пачками по 4–5 штук. Выписанный американский журнал в этом году еще совсем не приходил.

При той интенсивной идеологической борьбе, которая сейчас происходит в мире, нельзя отрицать необходимость контроля над печатью. Хорошо известно, что это главным образом нужно, чтобы охранять мало сознательных людей от ошибочных взглядов и поступков.

Особо необходимы цензурные мероприятия были после революции, в начальный период строительства социализма. Казалось бы, с огромным культурным ростом нашего населения и нашими политическими, хозяйственными и научными успехами цензура и подобные мероприятия физических ограничений должны были бы отживать. Но на самом деле происходит скорее обратное. Например, таких мероприятий, какие сейчас вводит Главлит, у нас еще не было. Я хорошо помню, как перед войной никаких ограничительных шестигранников не существовало, и я мог свободно выписывать из-за границы газеты и журналы.

Мне кажется, мы как-то мало осознаем, что на 42 году советское государство уже настолько возмужало и окрепло и так прочно стоит на ногах, что не нуждается в искусственных подпорках подобно тем, которые воздвигает Главлит и цель которых не только мало понятна, но которые приносят явный вред, так как перед всем миром портят красивый облик нашей передовой страны.

Непонятно, почему наша пропаганда, которая должна была быть у нас самым сильным оружием в идеологической борьбе, еще так слаба и далеко не использует те возможности, которые дают ей в руки наши успехи. Если бы наши пропагандисты действительно были бы на высоте нашего времени, то они первыми должны были бы возмущаться примитивностью и никчемностью действий Главлита.

Конечно, цель этого письма только просить Вас дать указания Главлиту, чтобы он своими мероприятиями не мешал бы мне заниматься и изучать иностранную литературу и предоставил бы это делать так, как мне наиболее удобно.

Буду Вам благодарен, если Вы поможете.

Ваш  
[...]<sup>4</sup>

П. Капица

*Помета:* “Тов. Хрущеву доложено. Тов. Сулову М.А. 27.02.59”

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 121. Л. 20–23. Подлинник.*

**Записка начальника Главлита СССР П. Романова  
в ЦК КПСС относительно письма академика П. Капицы**

11 марта 1959 г.

Секретно

В связи с письмом академика Капицы П.Л. докладываю следующее.

Жалоба г. Капицы на Главлит СССР объясняется незнанием им характера работы органов цензуры.

Главлит не препятствует нашим организациям оперативно использовать иностранную литературу в целях контрпропаганды и изучения научно-технического опыта зарубежных стран. От цензорского контроля освобождена вся литература, поступающая в адреса следующих организаций: ЦК КПСС, Совета Министров СССР, МИД СССР и союзных республик, Академии общественных наук и Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, редакции газеты “Правда”, КГБ, ТАССа, Главного управления радиовещания, журналов “Коммунист”, “Новое время”, “Международная жизнь” и Всесоюзного института научной и технической информации АН СССР. Кроме того, освобождены от контроля органов цензуры иностранные научно-технические издания, литература, издаваемая в странах народной демократии и издания коммунистических партий капиталистических стран.

В соответствии с постановлениями директивных органов нами контролируется буржуазная литература, поступающая из капиталистических стран в адреса министерств, ведомств, учреждений и организаций. Контроль иностранной литературы, поступающей в адреса отдельных лиц, возложен на Комитет Государственной безопасности при Совете Министров СССР.

Всего в 1958 г. Главлит проконтролировал 1,6 млн. контрольных экземпляров изданий (номеров газет и журналов, названий книг и бро-

<sup>4</sup> Опушен текст Postscriptum относительно последних достижений в области физики. — *Прим. ред.*

шюр) общим тиражом 24 млн экз., из которых 18 млн экз. было разрешено для пользования в общих фондах библиотек, и 6 млн экз., содержащих антисоветские и антисоциалистические материалы, направлено в спецфонды библиотек. Кроме этого, уничтожено более 250 тыс. экз. иностранных сугубо враждебных изданий, засланных в СССР.

Иностранная литература контролируется нами в следующие сроки: издания, предназначенные для распространения через “Союзпечать”, — два-три часа, авиапочта — в день поступления, остальные газеты — сутки, журналы — двое-трое суток, книги — до пяти суток.

После Постановления ЦК КПСС от 28 июля 1958 г., в котором была осуждена практика выписки министерствами, ведомствами и организациями политических, бульварных, развлекательных и подобных иностранных изданий, в которых они не имели никакой надобности по характеру своей работы, Главлитом был проверен порядок выписки и использования иностранной литературы в Книжном отделе Академии наук СССР и выявлены серьезные недостатки в этом деле.

Об этих фактах мы сообщали Президенту АН СССР т. Несмеянову А.Н. и во исполнение Постановления ЦК КПСС внесли на рассмотрение АН СССР предложения по упорядочению выписки и использования иностранной литературы в системе Академии наук. Тов. Несмеянов согласился с нашими предложениями и сообщил нам о соответствующих мероприятиях, которые проводятся Академией для устранения обнаруженных недостатков. Таким образом, порядок хранения и пользования иностранной литературы<sup>5</sup> в системе Академии наук установлен, как это и предусмотрено Постановлением ЦК КПСС, Президентом АН СССР.

Что касается иностранных изданий, упомянутых в письме т. Капицы, докладываю следующее.

Тов. Капица выписывает для себя иностранную литературу через несколько организаций: через Книжный отдел АН СССР — по индивидуальной подписке и Московское отделение АН СССР на адрес Института физических проблем им. С.И. Вавилова. Кроме этого, литература из-за границы поступает и непосредственно на домашний адрес т. Капицы.

Через Московское отделение АН СССР в адрес Института физических проблем им. С.И. Вавилова тов. Капица выписывает журналы “Нью стейтсман энд нейшэн” (Англия) и “Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт” (США). Оба эти издания являются политическими реакционными журналами, не имеющими к науке и технике никакого отношения и постоянно публикующими грязные антисоветские материалы. В этих журналах систематически помещается большое количество статей о так называемой “борьбе за власть в Кремле”, направленных против руководителей КПСС и Правительства СССР, в особенности лично против товарищей Н.С. Хрущева, М.А. Сулова и Е.А. Фурцевой.

<sup>5</sup> Так в тексте. — *Прим. ред.*



Естественно, что такие издания выписываются в СССР лишь организациями, которым они нужны по характеру своей работы, а органами цензуры запрещаются для общего пользования. Нам непонятно, зачем т. Капице понадобились эти сугубо махровые антисоветские издания и почему он желает иметь эти журналы у себя дома. По нашему мнению, они т. Капице для работы не нужны и мы считаем, что он злоупотребил своим правом выписки иностранной литературы по специальности, т.к. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 4046–1624сс от 25 октября 1948 г., действительные члены АН СССР имеют право выписки иностранной литературы только по специальности.

Мы также не можем согласиться с заявлением т. Капицы о задержке в органах цензуры выписанных им изданий. Главлит контролирует упомянутые им журналы в срок один-два дня. Задержка в получении этих изданий, если она и случается, происходит по вине работников Московского отделения АН СССР, получающих ограниченные для общего пользования издания с Московского почтамта всего один раз в неделю. Кроме того, полученная с такими задержками иностранная литература передается Московским отделением в Институт физических проблем им. С.И. Вавилова для т. Капицы лишь на второй-третий день.

Такие же серьезные неполадки со сроками доставки литературы имеются и в Книжном отделе АН СССР, например, книга Роберта Юнка “Светлее тысячи солнц”, выписанная Книжным отделом (как выяснилось сейчас — для т. Капицы), проконтролирована нами 13 января с.г., получена Книжным отделом 20 января и еще 3 марта не была доставлена в Институт физических проблем.

Таким образом, жалоба т. Капицы на Главлит СССР является необоснованной и не может служить причиной для изменения установленного в соответствии с решениями директивных органов существующего порядка контроля и использования поступающей в СССР иностранной литературы, содержащей антисоветские и антисоциалистические материалы.

О задержке иностранной литературы, поступающей на домашний адрес т. Капицы, мы ничего сообщить не можем, т.к. указанные издания контролируются органами КГБ при Совете Министров СССР.

Начальник Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР

П. Романов

*Помета:* “Тов. Ильичеву Л.Ф. Тов. Суслов М.А. считает записку т. Романова формальной и просит Вас рассмотреть этот вопрос. 13.03.59 г.”<sup>6</sup>

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 121. Л. 25–29. Подлинник.*

<sup>6</sup> В деле имеется вторая записка Главлита по поводу письма П.Л. Капицы. — *Прим. ред.*

**Письмо И.С. Кона Секретарю ЦК КПСС М.А. Сулову**24 февраля 1960 г.<sup>7</sup>

Глубокоуважаемый Михаил Андреевич!

Занимаясь в течение ряда лет изучением и критикой современной буржуазной социологии и идеологии в широком смысле слова, я хотел бы рассказать Вам о некоторых недостатках и трудностях в организации нашей идеологической работы, которые серьезно снижают, а иногда и вовсе сводят на нет ее эффективность. [...]

Каковы причины этого?

1) Отвратительная организация научной информации. Нельзя толково вести идеологическую борьбу, не зная противника. Но абсолютное большинство иностранных книг оседает в Москве и работникам периферийных учреждений мало доступна. Это можно было бы восполнить добротной научной информацией. К сожалению, такой информации нет. Бюллетень “Новые книги за рубежом”, издаваемый Издательством иностранной литературы, отражает лишь ничтожную часть литературы. Закрытый же бюллетень, рассылаемый по списку, фактически недоступен ученым, работающим на периферии. ИЛ\* издает и рассылает по спискам переводы некоторых книг, но даже Ленинградский университет этих изданий не получает. И вообще в Ленинграде достать их нельзя. Почему? У нас же есть спецхраны, где книги были бы достигаемы только для специалиста. А нередко книги, идущие под грифом, только для специалиста и интересны. Например, в 1958 г. так была издана книжка Хайдеггера “Что такое философия”, весьма специального содержания. Институты философии, стран Азии, стран Африки, мировой экономики и др. издают информационные бюллетени служебного характера. Почему нельзя посылать их в крупнейшие научные библиотеки (хотя бы в Ленинград, Киев, Минск, Свердловск и Новосибирск) для закрытого использования? Это стоило бы гроши, а дало бы много. Почему периферийным работникам нужно доверять меньше, чем московским? Почему ленинградский или киевский профессор не может пользоваться тем, что доступно любому московскому аспиранту?

2) Неправильный стиль работы органов Главлита. Среди иностранных книг, получаемых в СССР, имеется большое количество клеветнических антисоветских сочинений. Само собой понятно, что эта вредная литература не должна попадать широкому читателю. Для этого существует специальное хранение. Однако в последние два года органы Главлита, видимо, из соображений перестраховки, закрывают огромное количество специальных философских, социологических и т.п. книг без

<sup>7</sup> Письмо поступило в ЦК КПСС лишь 27 января 1961 года. Дата проставлена от руки, возможно, это описка. — *Прим. ред.*

\* Издательство “Иностранная литература”. — *Прим. ред.*

всякой к тому необходимости. Иногда закрываются даже прогрессивные книги. Например, книга американского социолога Миллса “Причины Третьей мировой войны” положительно оценена в советской печати, в том числе в журнале “Коммунист”, но тем не менее находится на спецхране. На спецхране находится хорошая книга английского историка Барраклоу “История в изменяющемся мире”, почти все иностранные социологические словари и справочники, книги по общей социологии и даже книга Догерти “Введение в аристотелевскую формальную логику”. Нередко книга, первое издание которой открыто, вдруг закрывается во втором издании, хотя ничего нового в нем нет. Таких примеров цензурского произвола можно привести сотни.

В чем здесь дело? Вероятно, цензор, не имея времени прочитать книгу и не будучи в состоянии разобраться в ее содержании (это и не входит в его обязанности), закрывает книгу “на всякий случай”. Но такая практика неправильна. [...]

Я со всей ответственностью утверждаю, что очень многие книги, находящиеся на спецхране, ничем не отличаются от тех, которые выдаются свободно. Если попытаться закрыть все то, что противоречит марксизму, то гораздо проще было бы посылать на спецхран всю буржуазную литературу. Но тогда надо расширить соответствующие отделы библиотек.

Может возникнуть вопрос: а не все ли вам равно, где читать литературу? Ведь вам никто не мешает ходить в отдел спецхранения и получить соответствующее разрешение легко? Нет, не все равно. Во-первых, спецхрановскую литературу нельзя получить домой, а сидеть целыми днями в библиотеке не каждый может. Во-вторых, перегрузка отделов спецхранения случайной литературой приводит к тому, что там нелегко найти даже место для работы. В-третьих, что особенно важно, спецхрановскую литературу почти невозможно получить по межбиблиотечному абонементу. В-четвертых, доктора наук имеют право на выписку очень небольшого количества иностранной литературы. Естественно, что они стремятся выписать справочные пособия. Но что прикажете делать, если все социологические справочники подлежат спецхрану и, следовательно, не выдаются на дом? Ясно, что это сильно мешает нашей работе и снижает ее продуктивность.

[...] Прежде чем написать это письмо, я советовался со многими товарищами, занимающимися критикой буржуазной идеологии, а также с библиотечными работниками, и убедился, что их волнуют те же самые проблемы.

С уважением

доктор философских наук И. Кон

*Помета:* “т. Ильичеву, Кириллину. Прошу обратить внимание, подготовить предложения. М. Суслов. 28.01.61”.

**Справка Главлита СССР по письму в ЦК КПСС И.С. Кона**

13 февраля 1961 г.

Секретно

I. В соответствии с указанием директивных органов, а также с “Положением о Главном управлении по охране военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР”, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 24 февраля 1958 г. № 219–106, органы Главлита СССР обязаны предотвращать распространение иностранных изданий, “содержащих антисоветские и антисоциалистические материалы”. Указанным положением Главлиту СССР предоставлено право “ограничивать пользование иностранными изданиями, содержащими антисоветские и антисоциалистические материалы, или конфисковывать их”.

В практике работы Главлитом СССР ограничиваются для общего пользования, т.е. направляются для хранения в спецфонды библиотек, только те иностранные издания капиталистических стран, которые содержат антисоветские и антисоциалистические материалы, а также религиозно-пропагандистские, порнографические издания и вся литература, издаваемая антисоветскими эмигрантскими организациями. При этом контролируемые иностранные издания оцениваются с точки зрения политической, т.е. содержат ли эти произведения антисоветские и антисоциалистические материалы, а не с точки зрения правильности помещенных в них тех или иных технических и прочих теорий. Следует при этом иметь в виду, что вся литература капиталистических стран, поступающая в директивные органы, а также организации нашей страны, занимающиеся оперативной контрпропагандой, от контроля Главлита СССР освобождена. Органами цензуры контролируется иностранная литература, предназначенная для публичных библиотек, заводов, высших учебных заведений и других организаций, в которых к этим изданиям имеет доступ широкий круг читателей. Необходимо также отметить, что от контроля органов цензуры освобождены поступающие в СССР литература стран народной демократии, издания коммунистических и рабочих партий капиталистических государств, иностранная научно-техническая литература, а также произведения печати, изданные до 1917 года.

II. Мы не можем согласиться с утверждениями т. Кона о том, что органы Главлита чинят произвол, ограничивают иностранные издания без достаточных к тому оснований, не разбираются в книгах по существу и т.п.

Неправильность обобщений, сделанных т. Коном в его письме, видна из разбора тех буржуазных книг по социологии, которые конкретно упоминаются в его письме.

а) В книге Кеннета Ф. Догерти “Логика. Введение в формальную логику Аристотеля”, изданной в США в 1956 г., ее автор — американский философ разбирает историю развития формальной логики.

В подтверждение правильности или неправильности силлогизмов он часто приводит примеры из современной политики, истории, экономики. Зачастую в этих примерах содержатся выпады против коммунизма, Советского Союза, Китайской Народной Республики. Например, на стр. 47 приводится определение: “Коммунист — это красный фашист”, а на стр. 48 говорится: “Коммунисты смешивают понятия противного и противоположного на своем языке диамата или диалектического материализма... Карл Маркс и Фридрих Энгельс, основатели диалектики, испытывали особую ненависть к формальной логике, которую они никогда не понимали. Это один из примеров непонимания ими основ”.

Эта мысль продолжена автором и на стр. 68: “Коммунисты избрали псевдо-философию и биолога-эволюциониста, который, исходя из ошибочного понимания противоречия, не в состоянии даже дать определение своим терминам”.

На стр. 115 приводится следующий пример неправильного, по мысли Догерти, силлогизма: “Все советские миротворцы — поджигатели войны. Иван — советский миротворец. Иван не является поджигателем войны”.

[...]

Проверка показала, что в настоящее время разрешать для общего пользования поименованные т. Коном в его записках книги нет оснований и необходимости, т.к. в них содержатся антисоветские и антисоциалистические материалы. Справка по этим книгам прилагается.

Таким образом, утверждения т. Кона о “произволе цензуры” и необходимости разрешения для общего пользования реакционных книг по социологии, изданных в последнее время в капиталистических странах, не только не основательны и беспочвенны, но и вредны. Нужно учесть при этом, что книги, о которых пишет т. Кон, посвящены не технике, точным наукам и производству, а буржуазной социологии, которая от начала до конца враждебна нашей идеологии. В этой связи мы не можем согласиться с т. Коном, утверждающим, что такие книги понятны лишь избранному единичам, подобным ему<sup>9</sup>. Антисоветские и антисоциалистические положения, содержащиеся в этих книгах, не должны быть доступны любому читателю, которому данные произведения не нужны по роду служебной или научной деятельности. Кроме того, нас не может не удивить то, что в настоящее время острейшей идеологической борьбы с буржуазной идеологией, борьбы против попыток идеологов американского империализма помешать огромной воспитательной работе, проводимой нашей партией, работник идеологического фронта, каким, видимо, считает себя т. Кон, ратует за практически неограниченное распространение в советских публичных библиотеках буржуазных писаний, наполненных клеветническими выпадами против нашей страны, теории марксизма-ленинизма. С такой позицией т. Ко-

<sup>9</sup> Так в тексте. — *Прим. ред.*

на мы согласиться не можем, т.к. она объективно идет навстречу постоянным стремлениям определенных зарубежных реакционных кругов добиться беспрепятственного распространения в Советском Союзе враждебных нашей идеологии изданий.

III. Беспочвенны утверждения т. Кона о том, что Главлит СССР, направив в спецфонды библиотек ряд иностранных буржуазных изданий по социологии, “засекретил” их, прячет эти книги от советских ученых. [...]

*Приложение:* “Справка о книгах, упомянутых т. Коном в его записках в библиотеки, как якобы неправильно ограниченных органами Главлита СССР для общего пользования” — на 21 листе.

Зам. Начальника Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР

Охотников А.П.

Зам. начальника второго отдела

Найденев В.И.

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Л. 11–23. Подлинник.*

### **Записка отделов пропаганды и агитации по союзным республикам и отдела науки, высших учебных заведений и школ ЦК КПСС по письму И.С. Кона**

31 марта 1961 г.

[...] Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам и Отдел науки, вузов и школ ЦК КПСС рассмотрели письмо т. Кона. Считаем, что некоторые предложения т. Кона целесообразно принять. Так, необходимо несколько расширить список организаций, которым рассылается издаваемый Издательством иностранной литературы закрытый бюллетень о книгах, выходящих за рубежом, включить в этот список Ленинградский, Киевский, Минский, Горьковский, Свердловский, Новосибирский, Харьковский, Тбилисский, Ташкентский государственные университеты, обязав Главлит организовать надлежащий контроль за правильностью хранения и использования бюллетеня в названных учебных заведениях. Целесообразно также дать указание библиотекам: иностранной литературы, им. Ленина, общественных наук АН СССР и другим получающим иностранную литературу — улучшить для научных работников условия ознакомления с зарубежными книгами и статьями.

Просим на это согласия.

Вместе с тем считаем нецелесообразным поддерживать предложение о расширении списка организаций, которым рассылаются переводы книг буржуазных авторов.

Что касается предложения т. Кона относительно ослабления цензурных требований, касающихся иностранных книг, содержащих антисоветские и антисоциалистические утверждения, то это предложение принимать нецелесообразно. [...]

Зам. заведующего  
Отделом  
пропаганды и агитации  
ЦК КПСС  
по союзным республикам  
А. Романов

Зам. заведующего  
Отделом науки,  
высших учебных заведений  
и школ  
Д. Кукин

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 186. Л. 8–9. Подлинник.*

**Письмо КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС  
о Проекте закона о распространении, отыскании и получении  
информации, подготовленном группой ученых и представителями  
творческой интеллигенции**

14 ноября 1967 г.

Секретно

По поступившим в Комитет государственной безопасности данным, группой ученых и представителей творческой интеллигенции в количестве свыше 100 человек подписан документ, в котором преднамеренно искажается политика нашей партии и государства в области печати, ставится вопрос об отмене цензуры и упразднении Главлита, провозглашается по существу ничем неограниченное право любого лица, группы лиц издавать любые печатные издания, осуществлять постановку спектаклей, производство и демонстрацию кинофильмов, устраивать выставки и концерты, осуществлять радио- и телепередачи. В числе подписавшихся академики ЛЕОНТОВИЧ, САХАРОВ, КАПИЦА, КНУ-НЯНЦ, писатели КОСТЕРИН, КАВЕРИН, КОПЕЛЛЕВ, композиторы ПЕЙКО, ЛЕДЕНЕВ, КАРЕТНИКОВ, художники БИРГЕР, ЖИЛИНСКИЙ и другие. Указанный документ адресован Президиуму Верховного Совета СССР. Копия документа, добытая принятыми нами мерами, направляется в порядке информации.

Комитетом принимаются дополнительные меры для пресечения деятельности организаторов указанного документа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВ**

**Приложение**

Копия

Экз. № 1

В Президиум Верховного Совета СССР

Одним из первых декретов Советской Власти был декрет о печати, полный текст которого приводится ниже: [...]

Приведенный декрет, а также ст. 125 Конституции СССР, в которой указано, что свобода слова и печати гарантируется законом, предполагают издание специального закона о печати. Однако такого закона до сих пор нет. Не существует также специального закона, регулирующего распространение информации в других формах. В то же время постоянно возрастающая потребность в информации и значительное увеличение и усложнение информационного потока выдвигают множество вопросов правового характера, которые могут быть наиболее рационально решены только посредством издания специального союзного закона о распространении, отыскании и получении информации. Причем современные условия, как нам кажется, позволяют сделать этот закон в соответствии с указанным декретом “самым широким и прогрессивным”. Положение в стране стабилизировалось настолько, что, по нашему мнению, появилась возможность поставить на обсуждение вопрос об отмене некоторых временных мер административного воздействия на печать и другие средства информации и, в частности, вопрос об отмене цензуры. Настало время пересмотреть ряд устаревших положений некоторых нормативных актов, принятых еще в 20–30 годах, например, декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 5 октября 1925 г. (с дополнениями от 17 сентября 1928 г. и 30 мая 1930 г.), который фактически наделяет Главлит цензурскими полномочиями и в котором, в частности, говорится:

“Главное управление по делам литературы и издательства объединяет все виды политически-идеологического просмотра печатных изданий... и... руководит: ... б) предварительным просмотром всех предназначенных к опубликованию, распространению и к публичному исполнению произведений как рукописных, так и печатных (издание периодических снимков, рисунков, нот, фильмов, карт и т.п.), издаваемых в РСФСР и ввозимых из-за границы; в) составлением списков произведений печати, запрещенных к продаже, распространению и публичному исполнению...” (текст дан по книге: “Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР. М., Госюриздат, 1959, т. 1, стр. 131).

Цензура в нашей стране являлась одним из орудий диктатуры пролетариата. В настоящее время, как указано в Программе КПСС, “диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию и с точки зрения внутреннего развития перестала быть необходимой в СССР”. Поэтому, как нам кажется, современным условиям гораздо более соответствует такая форма контроля со стороны общества за распространением информации, как ответственность перед судом за нарушение законов посредством печати и других средств информации в сочетании с контролем редакторов, изготовителей и распространителей произведений.



Отмена цензуры предоставит большой простор инициативе граждан и организаций. Это приведет к усилению притока информации, необходимой как для позитивной деятельности, так и для быстрого выявления ошибок.

Усиление роли судебного контроля за распространением информации в результате отмены цензуры будет иметь большое положительное значение, потому что при таком контроле, основанном не на личном мнении представителя (или даже представителей) администрации, а на действующих законах, возможность ошибок гораздо меньше, чем при административном контроле. Уменьшение возможности ошибок будет обеспечиваться также тем, что судебный контроль, осуществляемый в ходе открытого судебного разбирательства, является более гласным, чем контроль административный.

Могут возразить, что судебный контроль недостаточно эффективен, т.к. осуществляется уже после выхода произведения в свет. Однако не следует забывать, что ответственность перед судом является основой предварительной самоцензуры авторов, редакторов, изготовителей и распространителей произведений. Кроме того, в условиях, когда большая часть средств информации принадлежит государству или субсидируемым им организациям, предварительный контроль за основной массой информации может осуществляться государством через редакторов, изготовителей и распространителей. Более того, государство может организовать оперативный контроль на стадии после изготовления, но до распространения произведений. Для этого можно обязать изготовителей и распространителей представлять первые изготовленные экземпляры произведений или сведения о репертуаре в соответствующие государственные учреждения.

Сторонники существующей формы контроля за распространением информации утверждают, что цензура необходима для предотвращения разглашения военной и государственной тайны. Однако, как известно, каждого, кто имеет доступ к секретным сведениям, предупреждают о том, что эти сведения не подлежат разглашению. Поэтому случайно, "по незнанию", такой работник разгласить секретные сведения не может, а если он сознательно захочет предать их огласке, то цензура вряд ли сможет ему помешать. Кроме того, цензор в настоящее время фактически не решает вопрос, является материал секретным или нет. К любой публикации научно-технического характера прилагается акт компетентной экспертной комиссии, подтверждающий возможность и целесообразность опубликования данного материала. Цензор в сущности только проверяет наличие такого акта, а это может делать любой достаточно квалифицированный и компетентный редактор либо работник предприятия-изготовителя или предприятия-распространителя.

Учитывая сказанное выше, убедительно просим ускорить издание специального закона, регулирующего процессы распространения,

отыскания и получения информации. В качестве одного из рабочих черновых вариантов просим поставить на обсуждение Верховного Совета СССР следующий законопроект: [...]<sup>10</sup>

Подписи под петицией в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой поставить на обсуждение проект Закона о распространении, отыскании и получении информации (продолжение):

Верно: Начальник 5 управления Комитета госбезопасности при СМ СССР.

*Архив института “Открытое общество” № 1156. Копия. Документ публикуется по: “История советской политической цензуры”. С. 180–187.*

---

<sup>10</sup> Текст опубликован в сборнике документов “История советской политической цензуры”. М.: РОССПЭН, 1997. С. 181–187.

## II. За рамками экономической дискуссии в печати

### **Письмо Ф. Кулакова П. Демичеву о проекте записки “Об освещении вопросов экономики сельскохозяйственного производства на страницах центральной печати”**

20 февраля 1967 г.

Уважаемый Петр Нилович!

Группой товарищей подготовлен проект записки “Об освещении вопросов экономики сельскохозяйственного производства на страницах центральной печати”. Может быть следовало бы поручить гг. Степакову В.И., Трапезникову С.П. и Карлову В.А. предварительно переговорить с руководителями органов печати, упомянутых в записке, попросить от них объяснений, а затем внести (если это потребуется) соответствующие предложения в ЦК КПСС.

Ф. Кулаков

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 59. Д. 25. Л. 15. Подлинник.*

### **“Об освещении вопросов экономики сельскохозяйственного производства на страницах центральной печати”**

В последнее время в печати появились выступления отдельных экономистов, которые дают путаные и нередко ошибочные рекомендации по важнейшим вопросам дальнейшего развития сельского хозяйства.

Экономисты В. Венжер, Л. Леонтьев, Л. Кассиров, М. Лемешев и некоторые другие выступают с критикой существующего порядка управления и планирования в сельскохозяйственном производстве и “радикальными” предложениями по его совершенствованию. Суть выдвинутых ими рекомендаций сводится к тому, чтобы дать широкий простор закону стоимости, которому отводится по существу роль основного регулятора производства, экономической жизни общества,

чтобы обмен продуктами сельского хозяйства и промышленности осуществлялся исключительно на основе свободного спроса и предложения через “свободный” рынок.

31 января 1967 г. “Комсомольская правда” опубликовала пространную статью доктора экономических наук Л. Кассирова и кандидатов экономических наук И. Карлюка и В. Морозова “Мартовские всходы”. Авторы неправильно истолковывают и грубо извращают смысл решений мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС. [...]<sup>1</sup>

Во всех работах тов. Кассиров проводит мысль о том, что необходимо отказаться от централизованного планирования натуральных показателей государственных заготовок и заменить их стоимостными показателями. В государственном народнохозяйственном плане наиболее целесообразно, на его взгляд, устанавливать задания лишь по прибыли, отчисляемой в государственный бюджет. Все остальное должно определяться, устанавливаться самим коллективом на основе приспособления к требованиям закона стоимости. “Установление заданий колхозам и совхозам по объему и структуре реализуемой государству продукции, — считает тов. Кассиров, — есть не что иное, как элемент администрирования в планировании...” (Журнал “Вопросы экономики” № 1 за 1965 г., стр.55).

В книге “Плановые показатели и хозрасчетные стимулы производства в колхозах и совхозах”, вышедшей в свет значительно позже мартовского Пленума ЦК КПСС, Л. Кассиров утверждает, что доведение до колхозов и совхозов планов закупок в натуральном выражении является экономически необоснованным, в той или иной мере представляет возврат к отвергнутым партией методам административного регулирования сельскохозяйственного производства. Плановые задания по товарной продукции полеводства в натуральном выражении, по его мнению, навязываются колхозам и совхозам, без учета их специализации. Планы закупок продуктов животноводства по видам и объему также ограничивают хозяйственную самостоятельность колхозов и совхозов, так как неизбежно предопределяют поголовье и структуру стада по видам скота. Исходя из этого, он предлагает заменить устанавливаемые хозяйствам натуральные показатели по продаже сельскохозяйственной продукции государству стоимостными, а планы закупок в натуре доводить только до заготовительных организаций и предприятий.

Подобные рассуждения оторваны от жизни, от практики. Только располагая твердым планом-заказом государства, то есть гарантированной возможностью сбыть продукцию, намеченную к производству, колхозы могут правильно вести свое хозяйство. Без этого важнейшего условия неизбежны стихийность в производстве, возрастание трудностей со сбытом продукции. Таково мнение самих руководителей колхозов. [...]

---

<sup>1</sup> Опущен подробный разбор статьи “Мартовские всходы”. — *Прим. ред.*

К сожалению, статья “Мартовские всходы” в “Комсомольской правде”, как и в некоторых других центральных печатных органах, явление далеко не единичное. Нередко появляются материалы с несостоятельными рекомендациями, высказанными в еще более откровенной форме.

Вызывает недоумение характер ряда выступлений “Правды”, затрагивающих проблемные вопросы развития экономики колхозного и совхозного производства. В материалах “Правды” нередко весьма вольно истолковывается смысл экономических мероприятий, осуществляемых в настоящее время на селе. Делается та же попытка — эффективность этих мероприятий оценивать прежде всего по тому, насколько широко они опираются на “всемерное развитие товарно-денежных отношений”, на принцип “купи-продажи”. Иными словами, речь идет о том, чтобы дать полный простор действию закона стоимости. С этих позиций в ряде материалов ведется разговор о причинах отставания сельского хозяйства, о путях его подъема, оценивается практика планирования сельскохозяйственного производства, в частности, закупок продукции, действенность хозрасчета, эффективность использования капиталовложений и даже основного средства производства — земли.

В статье начальника Вологодского областного управления сельского хозяйства Ю. Седых “Хозрасчет в колхозах”, опубликованной под рубрикой “Проблемы сельского хозяйства” (“Правда”, 18 февраля 1966 г.), говорится: “Колхозы Вологодчины и соседних областей Северо-Запада особенно сильно чувствовали пренебрежение законом стоимости, проявившееся во взаимоотношениях артелей и государства”. К этому сводятся в статье причины отставания сельскохозяйственного производства Нечерноземья.

В этом и некоторых других выступлениях “Правды” не учитывается, что в условиях социализма регулятором развития производства выступает система экономических законов, а не какой-либо один из них. Дело в правильном использовании не только закона стоимости, а всего комплекса экономических факторов, и прежде всего, экономических законов планомерного и пропорционального развития, расширенного социалистического воспроизводства, а также принципов сочетания общественных и личных интересов, материальной заинтересованности работников в результатах труда и других.

В материале “Проблемы сельской экономики” (“Правда”, 24 апреля 1966 г.) единственный закон, о более полном использовании которого идет речь — тот же закон стоимости. В этом материале, рассказывающем о встрече группы экономистов-аграрников “За столом деловых встреч”, с призывом совершенствовать существующую практику планирования заготовок сельскохозяйственной продукции выступает Л. Кассиров. Смысл его предложения сводится к тому же — доводить колхозам и совхозам “задания по реализации продукции в стоимостной форме”. Предоставив слово тов. Кассирову и не оговорив непри-

емлемость его точки зрения, “Правда” тем самым как бы подтвердила “актуальность” и “жизненность” его рекомендаций, с которыми он широко выступает в различных органах печати и на совещаниях перед учеными и практиками.

Идея всемерного расширения товарно-денежных отношений настолько укоренилась у некоторых работников “Правды”, что они стали активно поддерживать предложения отдельных экономистов об установлении платы за основное средство производства — землю. В статье зав. кафедрой политэкономии Тартуского университета, доктора экономических наук М. Бронштейна “Земля и экономические рычаги” (“Правда”, 26 июля 1966 г.) утверждается, что “введение в экономической оборот платы за землю, которая взималась бы в зависимости от доходности ее различных участков”, будет способствовать лучше всего использованию земель. “В новых условиях, — говорится в статье, — плата за землю станет составной частью общей стоимости хозрасчетного стимулирования... Плата за землю является одним из необходимых звеньев в общем комплексе мер по совершенствованию экономических рычагов планового руководства народным хозяйством”.

Несколько позднее идея установления платы за землю была подкреплена статьей Л. Леонтьева “О товарном производстве при социализме”, опубликованной 31 августа 1966 года под рубрикой “Вопросы теории”.

Чем же аргументируется необходимость установления платы за землю? В первую очередь тем, что эта мера будет способствовать решению проблемы интенсификации сельского хозяйства, позволит ликвидировать бесхозяйственность в использовании основного средства производства, явится совершенной формой распределения дифференциальной ренты.

Несостоятельность этих доводов очевидна. Причина недостаточно эффективного использования земли в минувший период заключалась в первую очередь в том, что колхозы не имели необходимых материально-технических средств, достаточных фондов для общественно-нормального уровня оплаты труда и эффективного применения принципов материального стимулирования. Те хозяйства, где были такие фонды, использовали и используют землю эффективно и без платы за нее.

Практика показывает, что более совершенной формой изъятия дифференциальной ренты, мерой, способствующей выравниванию экономических условий различных хозяйств, является дифференциация цен и подоходного налога. Эта форма имеет дело уже с фактическими результатами деятельности хозяйств. Именно такая мера и осуществляется в настоящее время. Дело за тем, чтобы ее совершенствовать. Но т.г. Бронштейн, Леонтьев и другие, пользуясь авторитетом “Правды”, предлагают принципиально другое — изымать у колхозов и совхозов средства в форме оплаты за землю, независимо от того, создана ли рента или сколько ее получено. При этом совершенно не ис-

следует вопрос, как такая мера отразится на положении экономически слабых и средних хозяйств.

Публикация подобных статей в “Правде” является косвенной поддержкой тех экономистов, которые выступают не только за установление платы за землю, но и за сдачу ее в аренду и продажу. Они утверждают, что, если отдельным хозяйствам земля будет в тягость, то часть ее можно продать другим хозяйствам, сдать в аренду (см. брошюру В.П. Шкредова “О планомерной организации землепользования”, изд-во МГУ, 1965 г.). Земля, таким образом, превращается в объект купли-продажи, а часть хозяйств, не выдержавших “мирной конкуренции”, должна свертывать производство. К этому неизбежно ведет автоматизм свободного действия закона стоимости.

Тот же подход — полная свобода товарно-денежных отношений — обнаруживается и в материалах, посвященных анализу развития хозрасчетных отношений на селе. Именно так оценивает эффективность хозрасчета сотрудник редакции Г. Лисичкин во многих своих публикациях, и, в частности, в статье “Два подхода к хозрасчету” (“Правда”, 19 декабря 1966 г.).

Если принцип “купи-продажа” не получает широкого простора, то такой хозрасчет, по мнению тов. Лисичкина, всего-навсего учетная категория, которую в современных условиях надо всемерно преодолевать. Видимо, поэтому внимание редакции привлекла статья кандидата экономических наук В. Кошелева “Ливенский опыт” (“Правда”, 28 ноября 1966 г.), в которой рассказывается о внедрении хозрасчета в орловском колхозе имени XXII съезда КПСС. Один из ведущих принципов хозрасчета, как утверждает тов. Кошелев, сам автор этой системы, — “взаимоотношения одного производственного подразделения с другим и с правлением колхоза на основе “купи-продажи”.

Ливенский “опыт” изучался специальной комиссией, созданной по согласованию с Сельхозотделом ЦК КПСС. Комиссия пришла к выводу, что разработанное В. Кошелевым и осуществляемое в колхозе “Положение о полном внутривозрастном расчете” имеет принципиальные ошибки, противоречит Уставу артели и должно быть пересмотрено. И все же редакция “Правды” предоставляет страницы газеты тов. Кошелеву.

Столь же преждевременно и необоснованно выступила газета с пропагандой почина волгоградского совхоза “Труд” по звеньевой системе организации труда механизаторов на выращивании зерновых (“Правда”, 30 августа 1966 г.).

Возражения работников сельского хозяйства вызывает и постановка газетой вопроса о законном признании строителей-отходников, именуемых в народе “шабашниками”, “журавлями”. Именно такую задачу поставил перед собой специальный корреспондент “Правды” Ю. Черниченко в статье “Честный рубль” (“Правда”, 20 ноября 1966 г.).

Все эти факты говорят о том, что установившийся в “Правде” подход к освещению экономической жизни села — не случайность, а ли-

ния газеты. Эта линия основывается на чрезмерном преувеличении роли товарно-денежных отношений в подъеме сельскохозяйственного производства.

Позиция, занятая “Правдой” в постановке и решении важнейших экономических проблем развития сельскохозяйственного производства, не способствует мобилизации экономической науки на правильное их решение. Экономическая литература, выходящая в издательстве “Экономика” и пропагандирующая несостоятельность установки отдельных экономистов, газетой не рецензируется.

Такой подход становится понятным, если учесть взгляды некоторых работников редакции, ведущих вопросы аграрной теории, в частности, ее экономического обозревателя Г.С. Лисичкина. В своей статье “Жизнь вносит поправки” (“Известия”, 27 февраля 1966 г.) и в брошюре “План и рынок” (изд-во “Экономика”, 1966 г.) он стремится доказать, что именно закон стоимости (а не комплекс законов) выступает регулятором социалистического производства, называет “догматиками” тех, кто не согласен с этим.

Увлечение товарно-денежными отношениями приводит Г.С. Лисичкина к тому, что в первую очередь по этому признаку он оценивает две формы собственности, сложившиеся в нашем сельском хозяйстве. Вольно или невольно он допускает попытки третировать совхозную форму, как сковывающую законы товарного производства и менее совершенную (“Тектары, центнеры, рубли” “Новый мир”, 1965 г. № 9).

Ошибочность позиций таких экономистов, как В. Венжер, Л. Касиров, М. Лемешев, Г. Лисичкин и некоторых других, обстоятельно раскрывалась в свете марксистско-ленинской политэкономии в ряде выступлений “Сельской жизни”, “Экономической газеты”, в журнале “Партийная жизнь”. Так, в “Сельской жизни” эта тема поднималась в статьях “К вопросу о плане и рынке” (22 сентября 1966 г.), “Экономические методы — в основу руководства хозяйством” (29 ноября 1966 г.), “Организацию производства — на научную основу” (8 декабря 1966 г.), “Плановость — наше преимущество” (17 декабря 1966 г.), “Твердый план закупок — важный стимул производства” (21 декабря 1966 г.), “Путь к рентабельности — хозрасчет” (10 января 1967 г.), “План, хозрасчет, специализация” (25 января 1967 г.). “Правда”, между тем, заняла роль стороннего наблюдателя, никак не поддержала выступления этих печатных органов.

Невмешательство “Правды” и даже известное содействие распространению несостоятельных экономических предложений способствует тому, что в периодической печати сложилось явно ненормальное положение с освещением ленинской аграрной теории. В некоторых органах печати считают чуть ли не зазорным публиковать статьи, пропагандирующие проверенные жизнью положения марксистско-ленинской политэкономической науки, и, наоборот, модным “ниспровергать” их. Публикация непроверенных, явно сомнительных



предложений отвлекает усилия ученых от решения действительно актуальных и назревших проблем. Все это наносит серьезный ущерб науке, практике.

В редакциях газет “Известия” и “Комсомольская правда” проводятся беседы за круглым столом, где подвергается бичеванию новый порядок планирования сельскохозяйственного производства, установленный мартовским Пленумом ЦК КПСС, выступления в его защиту. Семинар, преследовавший ту же цель, состоялся в конце 1966 года в Доме литераторов. Там поднимались на щит очерки Г. Радова, ратующие за развитие коммерческих отношений на принципах “не хотите — не берите”. Кстати, защищая эти принципы, в очерках “В селах и около” (“Литературная газета”, 1 ноября 1966 г.), Г. Радов неоднократно прибегает к помощи “Правды”, цитируя ее статьи. Этим же приемом воспользовалась “Комсомольская правда” в материале “Журавли”, опубликованном 12 января 1967 г.

Журнал “Проблемы мира и социализма” опубликовал статью М. Лемешева “В новых условиях” (№ 3, 1966, стр. 13), где выдвигается идея — установить плату за землю; хвалебную рецензию В. Тюмлера на брошюру Г. Лисичкина “План и рынок” (№ 10, 1966 г., стр.94–95).

Даже журнал “РТ”, призванный заниматься вопросами радио и телевидения, — и тот внес свою лепту в “развитие” экономической теории. В статье А.Стреляного “Что такое колхоз?” (“РТ” № 28, 1966 г., стр. 11) огульно охаиваются демократические принципы сельхозартели и поднимаются на щит надуманные концепции В.Г. Венжера, выражается сожаление, что его книги выходят “возмутительно малым тиражом”.

Отдельные работники “Правды”, ратуя за полную свободу закона стоимости, стремятся подкрепить свои позиции ссылкой на зарубежный опыт. При этом за опыт порой выдается только начало эксперимента, предполагаемые результаты. 27 января 1967 г. под рубрикой “Из опыта братских стран” газета опубликовала материал своих специальных корреспондентов из Чехословакии В. Журавского и Г. Лисичкина “Новыми путями”. На примере госхоза “Безно” делается попытка показать эффективность “усовершенствованной системы руководства сельским хозяйством”, которая введена “с января начавшегося года”. Особое внимание авторов привлекает установление налога на землю, отмена всяких плановых показателей, которые прежде доводились до хозяйств, и т.д.

Выступления в защиту закона стоимости, естественно, приходится по душе некоторым зарубежным экономистам, придерживающимся тех же взглядов. Большое одобрение у них вызвала, в частности, брошюра Г. Лисичкина “План и рынок”. Так, газета “Борба” (орган ЦК КП Югославии) полностью опубликовала ее, а затем поместила статью своего корреспондента в Москве “Деньги — не “Золушка” (“Борба”, 4 сентября 1966 г.). В этом материале, излагающем рецензию кандидатов экономических наук т.г. Петракова и Гофмана на брошюру “План и рынок”, опубликованную в журнале “Новый мир”,

дается оценка этой работе, как выдающемуся экономическому исследованию, воздается хвала ее автору. “Без всякого сомнения, — говорится в статье, — Г. Лисичкин получил сегодня право авторитетом современного экономиста-марксиста, блестящего журналиста и публициста, комментировать партийную и экономическую политику”. При этом подчеркивается, что в настоящее время он работает сотрудником “Правды”. По словам автора статьи, Лисичкин на марксистской основе и широко используя исторический материал, великолепно защищает закон стоимости: он по-новому и оригинально осветил ленинскую политику НЭПа и т.д. и т.п.; аргументировал то, что Сталин сделал шаг назад, возвращая советскую экономику в период “военного коммунизма”. В статье подчеркивается, что предложения молодых экономистов направлены против старой гвардии экономистов-теоретиков, которые-де не уважают объективных законов социализма.

Следует сказать и о круге авторов, выступающих в “Правде” по проблемным вопросам экономики сельскохозяйственного производства. На эти темы весьма редко появляются статьи секретарей обкомов партии, опытных сельскохозяйственных работников, руководителей и специалистов хозяйств. В 1966 году, например, в газете не появилось ни одной заметной статьи председателя колхоза или сельского экономиста по этим вопросам. Экономическая тема отдала, что называется, на откуп штатным работникам редакции и некоторым избранным московским экономистам, разделяющим взгляды, о которых говорилось выше.

Освещение в печати коренных вопросов экономики сельскохозяйственного производства нуждается в серьезном улучшении. Путаные, оторванные от жизни рекомендации отдельных экономистов, поддерживаемые на страницах периодической печати, неправильно ориентируют практических работников сельского хозяйства и могут нанести определенный ущерб.<sup>2</sup>

*Помета:* “Тов. Степакову В.И., Трапезникову С.П., Карлову В.А. П. Демичев. 25.03.1967.”

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 59. Д. 25. Л. 16–27. Подлинник.*

### **Ответ главного редактора газеты “Правда” М. Зимянина**

24 марта 1967 г.

Секретно

Редколлегия “Правды” ознакомилась с запиской сельхозотдела ЦК КПСС “Об освещении вопросов экономики сельскохозяйственного производства на страницах центральной печати”. В связи с этим считаем необходимым сообщить следующее.

<sup>2</sup> Записка не подписана. — Прим. ред.

В освещении вопросов сельского хозяйства, как и во всей своей деятельности, “Правда” руководствуется программными документами партии, прежде всего, решениями XXIII съезда КПСС, мартовского, сентябрьского, майского и других Пленумов Центрального Комитета. В этих партийных документах содержится ясная программа работы по улучшению управления промышленным и сельскохозяйственным производством, совершенствованию планирования и усилению экономического стимулирования. Укрепляя централизованное планирование, партия определила его научные основы, подчеркнув значение экономических методов руководства хозяйством, развития хозяйственного расчета, товарно-денежных отношений в целях повышения эффективности производства, более полной реализации экономических преимуществ социализма. Партия ориентирует работников науки и производства на творческий поиск, на разработку и применение наиболее рациональных методов ведения хозяйства. На решение этих общепартийных задач и нацелена работа “Правды”. Ее линия — это линия нашей партии, линия Центрального Комитета КПСС. У сельскохозяйственного отдела ЦК нет никаких оснований обвинять редакцию “Правды” в проведении какой-то особой “линии” по вопросам экономики сельского хозяйства.

В записке умалчивается о проделанной “Правдой” работе по выполнению последних решений партии в области экономической политики и даже не делается попытки рассмотреть деятельность газеты именно в свете этих решений, с позиций утверждения новых методов хозяйствования.

Между тем, наряду с освещением работ на полях и фермах страны, хода заготовок сельскохозяйственной продукции, “Правда” ставила на своих страницах вопросы управления производством в новых условиях, сочетания централизованного планирования с инициативой хозяйств, вопросы использования основных производственных фондов, специализации и концентрации производства, хозрасчета и повышения рентабельности, организации и оплаты труда, вовлечения в управление производством колхозников и рабочих совхозов и другие. На страницах газеты проведено обсуждение проблем мелиорации, использования основного средства производства в сельском хозяйстве — земли, поставлен ряд вопросов развития науки и применения ее достижений в сельском хозяйстве. Обсуждались также вопросы перестройки работы некоторых ведомств в связи с новыми условиями в сельском хозяйстве (банк, ЦСУ, торговые организации). Иными словами, “Правда” освещала те вопросы, на которые нацеливают внимание партийных организаций мартовский и сентябрьский Пленумы ЦК КПСС, XXIII съезд партии. При этом во всех своих выступлениях “Правда” последовательно проводила мысль о необходимости укрепления централизованного планового руководства и широкого использования товарно-денежных отношений в интересах развития социалистической экономики, что полностью отвечает духу и букве последних партийных решений.

Со времени мартовского Пленума ЦК КПСС “Правда” напечатала более 350 статей и корреспонденций по вопросам сельского хозяйства, в том числе около ста по проблемам экономики. Опубликовано 86 передовых статей. За это время в газете выступили сотни авторов. Только в 1966 году в “Правде” опубликовали свои статьи 11 секретарей ЦК Компартий союзных республик, обкомов и крайкомов КПСС (непосредственно по вопросам сельского хозяйства, не считая выступлений по проблемам партийной работы на селе), 30 председателей колхозов и директоров совхозов, 29 специалистов сельского хозяйства, 34 ученых, 35 работников ведомств и министерств, партийных и советских работников, всего 163 автора. Кроме того, в рейдах “Правды” по оперативным вопросам сельского хозяйства приняло участие 59 специалистов и других работников сельского хозяйства.

Разумеется, нельзя оспаривать, что в освещении газетой вопросов сельского хозяйства есть недостатки. Их устранение, повышение уровня выступлений газеты является предметом постоянной заботы редколлекции и всего коллектива редакции. Однако содержание работы “Правды” в этой области не дает оснований для выводов, сделанных авторами записки относительно ведения в ней вопросов экономики сельского хозяйства.

В записке содержатся упреки “Правде” и некоторым другим органам печати в том, что они допускают “чрезмерное преувеличение” роли закона стоимости и товарно-денежных отношений (при этом авторы записки ссылаются на статьи Ю. Седых “Хозрасчет в колхозах”, М. Бронштейна “Земля и экономические рычаги”, Л. Леонтьева “О товарном производстве при социализме”, Г. Лисичкина “Два подхода к хозрасчету” и другие). Особые возражения у авторов записки вызывает формула “всемерное расширение товарно-денежных отношений”. Но ведь известно, что это один из важнейших тезисов программных документов партии. В Программе КПСС говорится: “В коммунистическом строительстве необходимо полностью использовать товарно-денежные отношения в соответствии с новым содержанием, присущим им в период социализма”.

В докладе тов. Л.И. Брежнева на мартовском Пленуме ЦК КПСС также было указано, что “свободным закупкам сельскохозяйственной продукции государство будет покровительствовать и стимулировать их устойчивыми ценами, способствовать всемерному развитию товарных отношений”. Почему же пропаганду этих положений авторы записки ставят в упрек “Правде”?

В записке утверждается, что “Правда” выступает за то, чтобы “дать полный простор действию закона стоимости”. Ни по форме, ни по существу такой постановки вопроса ни в одном из материалов “Правды” нет. Что касается сути этой формулировки авторов записки, то, очевидно, что закон стоимости, наряду с другими экономическими законами, действующими в нашей экономике, является объективным, и рассуждения о том, давать или не давать право действовать этому зако-

ну, а если давать, то больший или меньший простор, представляются нам ненаучными и неправомерными. Партия в своих документах ориентирует на то, чтобы познать, как тот или иной объективный закон действует в условиях социализма и выяснить, что, каким образом можно сделать, чтобы эффективнее использовать его в интересах строительства коммунизма. “Правда” считает необходимым способствовать разрешению этих проблем путем всестороннего их обсуждения.

Закон стоимости, говорил В.И. Ленин, проявляет себя в конечном счете через цены. Следовательно, оценка роли закона стоимости, его пассивного или активного воздействия на производство связана прежде всего с признанием той или иной роли цены в развитии народного хозяйства. Насколько важно соблюдать правильную политику цен, убедительно свидетельствует, например, опыт по увеличению производства хлопка и сахарной свеклы. О нем специально говорилось в докладе на мартовском Пленуме, чтобы показать взаимосвязь между политикой ценообразования и успехами сельского хозяйства. Учитывая важную роль цены, мартовский Пленум, как известно, и обратил особое внимание на необходимость совершенствования ценообразования. При этом партия в своих документах по вопросам экономической реформы ориентирует на приближение цен к уровню общественно необходимых затрат труда, подчеркивая тем самым объективную базу наших цен. Игнорирование именно такого подхода к ценообразованию с неизбежностью вело бы к рецидивам волюнтаризма и субъективизма в руководстве экономикой, которые были решительно осуждены на октябрьском, а затем мартовском и сентябрьском Пленумах ЦК КПСС. Естественно, что “Правда” не может при освещении вопросов экономической реформы обходить вопросы ценообразования, а значит и действия закона стоимости.

Опасения авторов записки, связанные с законом стоимости, являются, видимо, следствием того, что они смотрят на этот закон, как на враждебный социализму, как на “родимое пятно” капитализма. Но закон стоимости действовал не только при капитализме, а и до него. Его объективное содержание диалектически преобразовывается в зависимости от характера социально-экономического строя. [...] При социализме открывается возможность эффективно использовать закон стоимости в интересах ведения планового хозяйства, целью которого является всемерное удовлетворение растущих потребностей трудящихся. Именно этим определяется место закона стоимости в системе экономических законов социализма, и “Правда” не раз подчеркивала это в опубликованных теоретических статьях (статьи Л. Леонтьева, М. Кузьмина, Я. Кронрода и другие)...

Авторы записки упрекают “Правду” в том, что она изображает закон стоимости основным регулятором производства при социализме и пренебрегает другими законами, “не учитывает, что в условиях социализма регулятором развития производства выступает система экономических законов, а не какой-либо один из них”. Это явно искажен-

ное толкование позиции “Правды”, которая, разумеется, ни в одной статье не допускала недооценки того или иного объективного закона и не отрицала их взаимосвязи. Очевидно, что все экономические законы в наших условиях могут быть выражены самостоятельно лишь в общих формулах, а их взаимосвязь выражается преимущественно в стоимостных категориях. Так, экономический оборот заводов, фабрик и т.д., как известно, учитывается и происходит в стоимостных формах. Рабочая сила при социализме — не товар, она не обменивается на деньги, но доходы по труду распределяются в денежной форме. Закон стоимости и основанные на нем категории составляют тот инструментарий, при помощи которого выясняется, что выгодно и что невыгодно обществу, какой из имеющихся проектов плана следует принять, какой — отклонить. Игнорирование именно такого рода взаимосвязи между законами ведет на деле к противопоставлению натуральных и стоимостных начал в экономике с предпочтением натурализации хозяйственных связей. Надо сказать, что по этому поводу возникали и соответствующие предложения. При таком подходе труд, как общее качество всех товаров, перестает быть основой соизмерения стоимости отдельных продуктов. Это означало бы отказ от марксовой теории трудовой стоимости. Такого рода позиция в современных условиях является анахронизмом и прямо противоречит позициям партии. Решения мартовского, сентябрьского Пленумов ЦК, XXIII съезда КПСС ориентируют не на натурализацию отношений в народном хозяйстве, а, наоборот, на всемерное развитие экономических, стоимостных рычагов, инструментов в целях повышения эффективности и ускорения развития народного хозяйства.

“Правда” в своих выступлениях анализирует многие проблемы сельского хозяйства. И ранее, и сейчас газета публикует в соответствии с решением мартовского Пленума ЦК разнообразные статьи о совершенствовании материально-технического снабжения сельского хозяйства, о партийной работе на селе, систематически освещает проблемы повышения культуры земледелия. Однако на мартовском и сентябрьском Пленумах ЦК КПСС задача овладения методами планирования, основанными на учете требований объективных экономических законов, была выдвинута на первый план. И вполне естественно, что газета сосредоточивает в этом направлении особые усилия. Обращая внимание на необходимость правильного использования закона стоимости и экономических рычагов в руководстве народным хозяйством, “Правда” стремится тем самым привить, укрепить самое серьезное отношение к этому важному элементу экономической системы. Не переоценка закона стоимости, экономических рычагов, а их недооценка нанесла большой урон народному хозяйству. И это совершенно ясно выражено в постановлениях мартовского, сентябрьского Пленумов, XXIII съезда КПСС, обративших особое внимание на внедрение научно обоснованных экономических методов в планирование и управление народным хозяйством.

Предлогом для постановки авторами записки вопроса о преувеличении роли закона стоимости в ряде газет, включая и “Правду”, послужила якобы существующая недооценка ими роли централизованного планирования в области сельского хозяйства, в особенности роли плана-заказа государства. Можно назвать десятки статей “Правды”, и передовых и авторских, в которых говорится о принципиальной важности и своевременности установления мартовским Пленумом ЦК КПСС твердых планов-заказов и, разумеется, нет ни одной статьи, где эта мера подвергалась бы критике.

Другой вопрос, что планы заготовок у нас существовали всегда, а вот фактические результаты оказывались нередко очень далекими от желаемых. Даже в урожайном 1966 году около 25 процентов хозяйств РСФСР не выполнили планов продажи зерна. Значит есть необходимость совершенствовать и методологию планирования, и рычаги, обеспечивающие выполнение планов.

“Правда” исходит из того, что проблемы сельского хозяйства не ограничиваются заготовками продукции, заготовки — лишь результат производства. И очевидно, что для успешного его развития нужно осознанно и планомерно опираться на объективные законы социализма, добываясь того, чтобы экономические рычаги, материальные, как и моральные, стимулы не противодействовали плану, а точно работали на его выполнение и перевыполнение. К этому и направлены партийные решения в области экономики. Между тем, авторы записки вообще обходят роль стоимостных, т.е. экономических категорий. По записке получается, что экономическая реформа идет лишь в промышленности и лишь применительно к ней можно употреблять стоимостные категории, хотя общеизвестно, что начало экономической реформе было положено именно в деревне, именно мартовским Пленумом ЦК КПСС.

Рассмотрение указанных теоретических вопросов было бы неполным и необъективным, если бы мы не сказали о действительно имеющихся проявлениях переоценки роли рыночных отношений в определении основных пропорций народного хозяйства. Это проявилось, например, у т. Венжера в статье, которую он представлял в “Правду” в конце 1965 года, и которая была отклонена редколлегией. Тов. Венжеру было тогда указано, что в пылу критики недостатков планирования неправильно было бы забывать о том, что выполнение задачи всемерного удовлетворения постоянно растущих потребностей трудящихся (основной закон социализма) возможно лишь в условиях, когда общество сознательно, в плановом порядке мобилизует резервы развития производства, определяет основные пропорции народного хозяйства, формируя тем самым социалистический рынок, не стихийный, а плановый. На этом и основывается единство натуральных и стоимостных показателей.

Однако указанное вовсе не означает, что сегодня существует необходимость выдвигать и муссировать в печати тезис о наличии у нас группы экономистов, выступающих против социалистического пла-

нирования, за развязывание стихии рынка, причем, под “рынком” понимается порой не сфера реализации всей продукции социалистического производства, а самый что ни на есть элементарный базар. (Например, в статье “Сельской жизни” “К вопросу о плане и рынке”). Выдвижение таких обвинений не принесет пользы партии и стране, а может создать лишь повод для антисоветских измышлений на Западе.

С точки зрения интересов партии и народа представляется необходимым, чтобы и “Правда”, и сельхозотдел ЦК активно ставили и помогали Центральному Комитету КПСС решать те коренные и жизненно важные проблемы развития сельского хозяйства, которые определены в решениях XXIII съезда КПСС и последних Пленумов ЦК.

Нельзя не видеть, что в практике планирования сельскохозяйственного производства и заготовок еще допускаются серьезные просчеты, наносящие ущерб производству, что применение материальных и моральных стимулов в сельском хозяйстве еще далеко до совершенства, его надо отлаживать с тем, чтобы экономические рычаги полностью содействовали и подъему производства и выполнению планов по каждому виду продукции, а не противодействовали этому. Очень остро стоят сейчас вопросы совершенствования ценообразования, специализации производства, проблемы реализации сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности производства в совхозах и колхозах, последовательного осуществления принципов хозрасчета.

Как известно, трудности в решении этих и многих других вопросов возникли в значительной степени вследствие пренебрежения в планировании производства экономическими методами. К сожалению, названные выше экономические проблемы до сих пор комплексно не разрабатываются с должной энергией силами науки. Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) и Всесоюзный институт экономики сельского хозяйства (ВНИЭСХ) не стали теми штабами, которые двигали бы вперед экономическую науку в области сельского хозяйства, отвечали на злободневные вопросы практики. На это, по нашему мнению, должно быть обращено серьезное внимание и партийных органов и печати. Необходимо больше работать с экономистами, не боясь того, что кто-либо из них в процессе научного поиска, в своих теоретических работах допустит ошибки, — это легко поправимо коллективными усилиями, научной критикой. Куда как более опасно сегодня отсутствие планомерно организованной научной разведки, затушевывание острых проблем.

По поводу отношения к науке и ученым в докладе на мартовском Пленуме ЦК КПСС было высказано принципиальное положение: “Подлинная наука ничего не принимает на веру, она не может быть монополией отдельных ученых, тем более администраторов, каким бы авторитетом они ни пользовались. К сожалению, у нас в последнее время имели место такие факты, когда некомпетентные в науке люди подчас брали на себя роль арбитров в споре между учеными и таким образом связывали их инициативу, препятствовали свободному твор-



ческому обсуждению научных проблем”. “Правда” исходит именно из этого положения и поэтому не может солидаризироваться с рядом выступлений “Сельской жизни”, поддержки которых требует в записке сельхозотдел от “Правды”, так как “Сельская жизнь”, на наш взгляд, не разрабатывает новых проблем, связанных с экономической реформой в народном хозяйстве.

Что касается замечаний авторов записки по отдельным статьям, опубликованным в “Правде”, то в большинстве своем эти замечания неаргументированы, содержат неточности, а в ряде случаев искажения.

Так, в статье “Проблемы сельской экономики”, которая рассказывала о встрече ученых-экономистов за “столом деловых встреч”, выступление доктора экономических наук Л. Кассирова, так же, как и другие выступления, отнюдь не выдавались за рекомендацию практикам, как это утверждается в записке. Статье предпослано вступление, в котором говорится, что XXIII съезд партии поставил серьезные задачи перед учеными-экономистами в решении актуальных проблем научного планирования и управления народным хозяйством. В связи с этим редакция обратилась к группе ученых с вопросом, как они понимают свои задачи в свете решений съезда, над какими проблемами работают. “Главная проблема, над которой предстоит работать, — говорил Л. Кассиров, — сочетание централизованного планового руководства с хозяйственной инициативой предприятий”. Он высказал свои соображения о перспективах развития методов планирования, в частности, о системе договоров между заготовителями и производителями, заметив, что “экономической науке предстоит решить в связи с этим многие взаимосвязанные проблемы ценообразования, внедрения хозрасчета, кредитования, материального стимулирования. Очень важно, на мой взгляд, разработать переходные этапы развития экономической реформы на селе”. Заканчивая рассказ о встрече за “круглым столом”, “Правда” отметила, что участники встречи высказали свои мнения и предположения, не претендующие на неоспоримость. О каких же безоговорочных рекомендациях может идти речь?

Поводом для публикации статьи “Ливенский опыт” послужила статья первого секретаря Орловского обкома КПСС тов. Соколова (“Правда”, 10 сентября 1966 г.), в которой он высоко оценивал систему хозрасчета в колхозе им. XXII съезда. Бюро обкома КПСС обсуждало этот опыт и рекомендовало его к внедрению. “Правда” считала возможным поддержать инициативу областной партийной организации, причем в примечании от редакции была сделана оговорка, что это лишь поиск, что срок проверки практикой еще невелик. Руководствуясь тем же соображением, что рассказ об эксперименте, хотя и недостаточно длительном, возможно не безошибочном, будит мысль людей, помогает им в поиске наилучших форм оплаты труда, газета опубликовала рассказ о звеньевой системе организации труда механизаторов в волгоградском совхозе “Труд”.

Далее в записке говорится, что “возражения работников сельского хозяйства вызывает” статья Ю. Черниченко “Честный рубль”. О таких возражениях нам до сих пор не было известно, а при подготовке статьи редакция советовалась с секретарями обкомов КПСС ряда областей, куда строители-сезонники приезжают, а также тех, откуда они уезжают. После опубликования статьи редакция получила сообщение о решении Совета Министров РСФСР, в котором, в частности, говорится: “Отметить, что в статье “Честный рубль”, опубликованной в газете “Правда” 20 ноября 1966 года, правильно ставится вопрос о необходимости решения проблемы использования в сельском строительстве сезонных рабочих, приезжающих на сельские стройки из густонаселенных районов страны”.

Авторы записки возражают против использования для регулирования экономических процессов платы за землю, что предлагалось в статьях М. Бронштейна и Л. Леонтьева. Аргументы авторов записки напоминают те, к каким еще недавно прибегали бывшие противники введения платы за фонды в промышленности, отрицавшие возможность использования товарно-денежных отношений в целях более эффективного применения средств производства. В сельском хозяйстве земля является основным средством производства. Здесь, не менее, чем в промышленности, необходимы меры, поощряющие интенсификацию. Кстати, заметим, что и при Ленине, после национализации земли и перехода ее в общенародное пользование, механизм погектарного налога успешно применялся для регулирования экономических процессов, и это не считалось противоречащим общественной собственности на землю.

Авторы записки сводят на нет роль налога в изъятии дифференцированной ренты, категорично утверждая, что это — задача цены. Практика доказала: чрезмерная дифференциация закупочных цен (а некоторые экономисты договариваются до того, что рекомендуют ввести свои цены чуть ли не для каждого колхоза и совхоза), ведет к субъективизму и волонтаризму в сельском хозяйстве, лишает цену ее основной функции и фактически ликвидирует ее в качестве измерителя общественно-необходимых затрат. Проблема эта, по нашему мнению, заслуживает серьезного обсуждения, в том числе в печати.

Неправильно характеризуются в записке статья В. Журавского и Г. Лисичкина о сельском хозяйстве Чехословакии. В записке дело изображается так, будто речь идет об эксперименте, тогда как в статьях рассказано о новой системе руководства сельским хозяйством, действующей в масштабах страны с января 1967 года, эксперименты же были проведены до этого. “Правда” систематически освещает опыт братских партий в руководстве экономическими процессами. Непонятно, почему в данном случае это вызвало возражения сельхозотдела ЦК.

По поводу замечаний о брошюре Г. Лисичкина “План и рынок” следует сказать, что она написана в 1965 году, до работы т. Лисичкина в нашей редакции. В “Правде” Г. Лисичкин, как и другие работни-

ки, выполняет указания редакции, и говорить о каком-то его отрицательном влиянии, которое имеют в виду авторы записки, неуместно.

Что касается туманных намеков, будто выступления “Правды” как-то используются за рубежом, то необходимо заметить, что “Правда” ни разу не дала повода для каких-либо враждебных спекуляций за рубежом в ущерб политике нашей партии.

Замечания относительно неточностей и передержек, допускаемых авторами записки в анализе некоторых материалов, опубликованных в “Правде”, можно было бы продолжить. Однако в этом нет необходимости. Отдельные выражения в авторских статьях или заметках, если эти материалы в целом приемлемы, не могут составлять предмет серьезного спора. “Правда” при отборе материалов для печати исходит из их идейной направленности, содержательности, при этом редакция относится с максимальным уважением к авторской позиции. Разумеется, когда речь идет о передовых и редакционных статьях, которые выражают позицию самой редакции, постановка вопросов и аргументация в них всегда особенно строго выдержаны в духе партийных решений.

Не располагая фактами для критики принципиальных позиций “Правды”, авторы записки пользуются полунанеками, искусственно притягивают публикации, не имеющие отношения к “Правде”, с помощью выражений, вроде: “является косвенной поддержкой”, “тем самым как бы подтвердила” и других.

Таким образом, авторы записки, предъявляющие ряд неосновательных претензий “Правде”, на наш взгляд, допускают неправильное толкование некоторых важнейших положений экономической политики партии в сельском хозяйстве, дают органам печати теоретически необоснованные рекомендации, ориентируют на свертывание творческих поисков в области экономики, утверждая монопольное положение в печати определенных, порой явно устаревших взглядов на экономические процессы.

[...] Тот, кто хотел бы вернуться назад, к административным методам руководства, к отрицанию научных принципов в планировании и, прежде всего, необходимости опираться в централизованном плановом руководстве на использование и инициативу масс, тот неизбежно стал бы тормозить развитие сельского хозяйства, исторически важную работу, начатую партией.

“Правда” и впредь намерена, наряду с еще более активной борьбой за решение оперативных задач в области сельского хозяйства, за выполнение планов текущего года, освещать, руководствуясь решениями мартовского Пленума ЦК КПСС и XXIII съезда партии, коренные проблемы экономики сельского хозяйства. [...] Считаем, что многие из таких вопросов целесообразно ставить и в порядке обсуждения, поскольку абсолютизация какой-то одной точки зрения неминуемо наносит ущерб развитию научной, общественной мысли. Публикуя такого рода статьи, “Правда” тем самым подтверждает, что партия не

боится постановки актуальных и острых проблем, широко советуется при выработке своей политики с учеными, специалистами, практиками, с массами трудящихся. Такая работа “Правды”, на наш взгляд, служит помощью ЦК КПСС и всей партии в ее колоссальной преобразовательной работе в области сельского хозяйства, как и во всех областях коммунистического строительства в нашей стране.

Главный редактор “Правды”

М. Зимянин

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 59. Д. 25. Л. 28–46. Подлинник.*

**Справка отделов пропаганды, науки и учебных заведений  
и сельхозотдела ЦК КПСС о записке  
“Об освещении вопросов экономики сельскохозяйственного  
производства на страницах центральной печати”**

24 января 1968 г.

Группой товарищей был подготовлен проект записки “Об освещении вопросов экономики сельскохозяйственного производства на страницах центральной печати”.

Несмотря на недостатки указанной записки, некоторые нечеткие формулировки в ней правильно указывалось на то, что в печати в 1966 и первой половине 1967 года наряду со статьями, с научных позиций рассматривавшими проблемы товарно-денежных отношений в социалистическом обществе, появились выступления отдельных экономистов (В. Венжера, Л. Кассирова, Л. Леонтьева, Г. Лисичкина и других) с путаными, нередко ошибочными положениями по вопросам экономики сельского хозяйства, в которых преувеличивается роль закона стоимости и товарно-денежных отношений при социализме, недооценивается необходимость установления колхозам и совхозам государственных планов закупок сельскохозяйственных продуктов. Эти ошибочные положения в то время не были подвергнуты критике в нашей печати.

После соответствующих указаний отделов ЦК КПСС ошибкам экономистов, стоящих на позициях преувеличения закона стоимости, товарно-денежных отношений при социализме дана острая критика в редакционной статье “Экономической газеты” (статья в номере за 30 июля 1967 г. “Правда жизни и кабинетные домислы”), в газете “Сельская жизнь” (статья в номере от 13 сентября 1967 г. “Фактам вопреки”). Обстоятельный критический разбор ошибочных взглядов экономистов, указанных в записке, дается в книге “Итоги и перспективы” (Политиздат, 1967 г.), а также в ряде других книг и журнальных статей.

В июне-июле 1967 года эти вопросы обсуждались в отделении экономики Академии наук СССР.

Отделами ЦК КПСС принимаются меры по дальнейшему улучшению освещения в печати вопросов экономики сельского хозяйства.

Зав. Отделом  
пропаганды  
ЦК КПСС  
В. Степаков

Зав. Отделом  
науки и учебных  
заведений  
ЦК КПСС  
С. Трапезников

Зам. зав. Сельхозотделом  
ЦК КПСС  
В. Карлов

*Помета:* “В отделе пропаганды ЦК КПСС ознакомились. Зам. зав. отделом пропаганды ЦК КПСС. Т. Куприков. В архив. 6.02.68 г.”

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 59. Д. 25. Л. 47. Подлинник.*

**Письмо секретаря Ставропольского крайкома партии  
в ЦК КПСС по поводу статьи экономиста Лисичкина  
“Спустя два года”**

12 августа 1967 г.

В последнее время в печати появился ряд оригинальных и полезных работ советских экономистов, направленных на конкретизацию и дальнейшее развитие марксистско-ленинской аграрной теории. Вместе с тем, как это правильно отмечено в статьях — “К вопросу о плане и рынке” (“Сельская жизнь”, № 223 за 1966 г.), “Правда жизни и кабинетные домыслы” (“Экономическая газета”, № 30 за июль 1967 г.), “О научной разработке основных проблем заготовок”, “Экономические законы и планирование” (журнал “Экономика сельского хозяйства”, № 4 за 1967 г.), “Особенности товарного производства при социализме и экономическое стимулирование развития народного хозяйства” (журнал “Экономика сельского хозяйства” № 5 за 1967 г.), в ряде работ по экономическим проблемам сельского хозяйства появляются неправильные выводы и поверхностные рекомендации, которые не опираются ни на глубокие теоретические исследования, ни на всесторонние обобщения богатейшего опыта колхозов и совхозов. Примером этого является статья т. Лисичкина в журнале “Новый мир” № 2 за 1967 г., где автор, на словах ратая за претворение в жизнь исторических решений мартовского Пленума ЦК КПСС (1965 г.), на самом деле искажает их по ряду коренных принципиальных вопросов планирования и организации сельскохозяйственного производства. При этом в обоснование своих домыслов т. Лисичкин передергивает и искажает факты, относящиеся к жизни и деятельности колхозов и совхозов Ставропольского края.

Краевой комитет КПСС, специалисты сельского хозяйства выражают категорический протест против домыслов т. Лисичкина,

направленных на дискредитацию решений мартовского Пленума ЦК КПСС.

По поручению крайкома КПСС группой товарищей подготовлен ответ на статью т. Лисичкина “Спустя два года”. Крайком КПСС, направляя этот материал, просит ЦК КПСС, если это будет сочтено возможным, опубликовать его в печати.

Секретарь крайкома КПСС

Л. Ефремов

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 59. Д. 32. Л. 237–238. Подлинник.*

**Записка отделов ЦК КПСС  
Секретарю ЦК КПСС П.Н. Демичеву**

[Не ранее 16 августа — не позднее 4 сентября 1967 г.]

О записке секретаря Ставропольского крайкома КПСС тов. Ефремова по поводу статьи “Спустя два года”, опубликованной в журнале “Новый мир” № 2 за 1967 год.

В соответствии с Вашим поручением докладываем. В записке и приложенной к ней статье (“Против фетишизации товарно-денежных отношений”) Ставропольского крайкома партии содержится протест в связи с фальсификацией фактов о состоянии и руководстве сельским хозяйством края, допущенных в статье т. Лисичкина “Спустя два года”.

Следовало бы порекомендовать тов. Ефремову Л.Н. направить статью “Против фетишизации товарно-денежных отношений” в редакцию газеты “Сельская жизнь” для опубликования.

С тов. Ефремовым Л.Н. по этому поводу переговорили.

Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС

Т. Куприков

Зам. зав. Сельхозотделом ЦК КПСС

В. Панников

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 59. Д. 32. Л. 266.*

**Письмо секретаря Ставропольского крайкома партии  
в ЦК КПСС по поводу статей Г. Лисичкина**

22 марта 1968 г.

В газете “Сельская жизнь” от 13 сентября 1967 г. была опубликована статья “Фактам вопреки”, написанная на основе материалов, подготовленных группой работников сельского хозяйства Ставропольского края. Это было сделано по просьбе, с которой крайком партии обратился в письме в ЦК КПСС от 12 августа 1967 г.

В этой статье отмечалось бесспорное оживление и подъем экономической науки за последнее время и одновременно было высказано беспокойство по поводу того, что наряду с полезными работами появляются поверхностные рекомендации, которые не опираются ни на глубокие теоретические исследования, ни на всесторонние обобщения богатейшего опыта колхозов и совхозов.

В качестве примера неправильного подхода к трактовке важнейших экономических проблем приводилась статья Г. Лисичкина “Спустя два года”, опубликованная в журнале “Новый мир” № 3 за 1967 г.

Автор этой статьи, на наш взгляд, допускал искажения решений мартовского Пленума ЦК КПСС по ряду принципиальных вопросов. Кроме того, он неправильно освещал факты, относящиеся к жизни и деятельности колхозов и совхозов Ставропольского края.

Все это вызвало у практических работников сельского хозяйства края недоумение и потребовало дать необходимую оценку его выступлению, что и было сделано в статье “Фактам вопреки”.

Однако, продолжая отстаивать свои неверные взгляды, Г. Лисичкин вновь выступил в журнале “Новый мир” № 12 за 1967 год со статьей “О чем говорят факты”, являющейся своеобразной “объяснительной запиской”, в которой автор опровергает критические замечания, высказанные в его адрес.

Одновременно с этим, передергивая факты и наши высказывания, он пытается набросить тень на авторов статьи “Фактам вопреки”, а также приводит новые данные для обоснования своих субъективных утверждений. Его ошибочные толкования по ряду теоретических и практических вопросов сбивают с толку отдельных работников сельского хозяйства, отвлекают внимание от решения главных задач, стоящих перед колхозами и совхозами, по увеличению производства и заготовок зерна и других сельскохозяйственных продуктов.

Чрезмерное и одностороннее выпячивание товарно-денежных отношений и роли закона стоимости и принижение централизованного планового начала в нашем социалистическом хозяйстве не способствует укреплению государственной заготовительной дисциплины и является, по нашему мнению, вредным. Поэтому мы считаем необходимым еще раз объективно осветить факты, по которым Г. Лисичкиным вновь допущены искажения, и высказать свое отношение к его выступлениям.

При этом направляем материал, в котором изложены эти вопросы.

Просим ЦК КПСС дать указания на основе этого материала опубликовать соответствующую статью в печати.

Секретарь крайкома КПСС

Л. Ефремов

[Приложена статья: “Объективные факты и субъективные измышления” на 46 листах.]

**Записка ЦК КПСС о письме секретаря Ставропольского крайкома партии Л. Ефремова**

11 июля 1968 г.

Первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС т. Ефремов Л.Н. обратился с просьбой опубликовать статью “Объективные факты и субъективные измышления”. В ней указывается, что экономист Г. Лисичкин в статьях “Спустя два года”, “О чем говорят факты” (журнал “Новый мир”, № 1<sup>3</sup>, 12 за 1967 год) допускает искажение действительного положения в колхозах и совхозах Ставропольского края, выступает за чрезмерное преувеличение роли закона стоимости и связанных с ним категорий и за принижение роли централизованного планирования.

Редакции журнала “Новый мир” указано на ошибку, выразившуюся в публикации статей т. Лисичкина “Спустя два года” и “О чем говорят факты”.

Обращено внимание главного редактора газеты “Правда” т. Зимянина М.В. на то, что сотрудник газеты “Правда” т. Лисичкин в своих статьях допускает искажение фактического состояния и ошибки в освещении некоторых теоретических вопросов развития сельского хозяйства.

Отдел пропаганды ЦК КПСС и Сельхозотдел ЦК КПСС считают, что, поскольку ошибочные положения, высказываемые т. Лисичкиным и другими авторами, уже подвергались критике на страницах газеты “Сельская жизнь”, “Экономическая газета”, журнала “Экономика сельского хозяйства”, в книгах и брошюрах, публиковать статью “Объективные факты и субъективные измышления” в настоящее время нет необходимости.

Тов. Ефремову Л.Н. об этом сообщено.

Зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС  
Зам. зав. Сельхозотделом ЦК КПСС

В. Степаков  
Е.П. Карлов

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 25. Л. 113. Подлинник.*

**Записка секретаря ЦК КП Украины П. Шелеста в ЦК КПСС**

25 июня 1968 г.

В связи с тем, что некоторые органы нашей печати продолжают популяризировать взгляды профессора Либермана Е.Г. по вопросам хозяйственной реформы, предоставляя ему свои страницы, считаем необходимым сообщить следующее.

<sup>3</sup> Так в тексте. — Прим. ред.



Известно, что экономическую реформу, осуществляемую в нашей стране, империалистическая и маоцзедунская пропаганда связывает с именем Либермана. Его взгляды именуются “либерманизмом” и противопоставляются марксизму. Определенная часть советских людей, а также некоторые представители научной общественности братских социалистических стран также считают Либермана “отцом” экономической реформы.

В появлении этого ошибочного мнения в определенной мере повинна наша печать. “Правда” и “Коммунист”, а вслед за ними другие газеты и журналы, центральные и республиканские слишком часто предоставляли Либерману трибуну для распространения его идей и положений. Многие выступления экономистов в 1962–1964 годах печатались в порядке обсуждения статьи Либермана “План, прибыль, премия”. Газета “Правда” сразу после сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС опубликовала еще одну статью Либермана (21 ноября 1965 г.) В некоторых газетах и журналах начали печататься его интервью, суждения по тем или иным вопросам хозяйственной реформы. Он стал частым гостем на многих совещаниях, экономических конференциях, выступая, по существу, в качестве “эксперта” по вопросам реформы. И сейчас многие центральные и республиканские печатные органы считают чуть ли не честью для себя опубликовать статью либо интервью, взятые у профессора Либермана.

Все это ведет к тому, что искажается подлинный процесс разработки новой системы планирования и экономического стимулирования, принижается роль нашей партии и всей экономической науки, многих выдающихся советских ученых-экономистов, внесших большой вклад в разработку проблем теории и практики социалистического хозяйствования.

По ряду важных проблем теории и хозяйственной практики Либерман высказывает ошибочные суждения. Для его предложений характерно отсутствие широкого социально-экономического подхода, забвение подчас интересов общества и увлечение интересами отдельных предприятий. В статьях Либермана преуменьшается значение централизованного планирования, противопоставляются экономические интересы живущих и будущих поколений. Последние выступления Либермана носят скорее сенсационный, а не научный характер и рассчитаны на определенные вкусы. Об этом, в частности, свидетельствуют его статьи “Очередь: анамнез, диагноз, терапия” (см.: “Литературная газета” 20.03.68 г.).

Подобные выступления противоречат задачам идеологической работы партии, дезориентируют наших хозяйственников. К тому же пошолочку вокруг имени Либермана создан своеобразный “бум”, его ошибочные высказывания подхватываются буржуазной пропагандой и используются против нас в идеологической борьбе.

Учитывая все это, считаем необходимым в настоящее время не предоставлять страницы нашей печати для выступлений Либермана,

больше внимания уделять показу роли партии, а также ведущих научных учреждений и видных советских ученых-экономистов в подготовке и осуществлении экономической реформы, усилить освещение идеологических аспектов новой системы планирования и экономического стимулирования.

Секретарь ЦК КП Украины

П. Шелест

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 25. Л. 158–159. Подлинник.*

### **Записка отделов пропаганды и плановых и финансовых органов ЦК КПСС по поводу записки П. Шелеста**

29 июля 1968 г.

В записке т. Шелеста П.Е. обращается внимание на то, что в процессе подготовки и проведения в нашей стране хозяйственной реформы некоторые центральные органы печати излишне часто предоставляли свои страницы харьковскому профессору Е.Либерману, статьи которого на протяжении 1962–1966 г. неоднократно помещались в газете “Правда”, журнале “Коммунист” и других органах. Дискуссия, проведенная в 1962 году газетой “Правда” вокруг статьи Либермана “План, прибыль, премия”, в известном смысле, по мнению т. Шелеста П.Е., послужила поводом для провозглашения буржуазной прессой Либерамана “основоположником” экономической реформы в СССР. Это ведет к тому, говорится в записке, что искажается подлинный процесс разработки новой системы планирования и экономического стимулирования, принижается роль партии и всей экономической науки, внесших большой вклад в разработку проблем теории и практики социалистического хозяйствования.

В записке содержится предложение не предоставлять в настоящее время страницы нашей печати для выступлений Либермана, больше внимания уделять показу роли партии в подготовке и осуществлении экономической реформы, усилить освещение идеологических аспектов новой системы планирования и экономического стимулирования.

В связи с высказанными в записке замечаниями необходимо отметить, что решения сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС оказали благотворное влияние на усиление научных поисков, творческой жизни ученых-экономистов. Многие из них выступили в центральной и местной печати с обстоятельными материалами, затрагивающими коренные вопросы подъема всех отраслей промышленного производства, обеспечения его рентабельности. В статьях, опубликованных в “Правде”, “Известиях”, “Экономической газете”, “Труде”, в журналах “Вопросы экономики”, “Плановое хозяйство” и других, а также в ряде книг и брошюр, рассматривались важные экономические проблемы: плани-

рование производства, научная организация труда и внедрение передовой техники, место и роль закона стоимости и стоимостных категорий, совершенствование товарно-денежных отношений и другие.

В большинстве материалов эти вопросы раскрываются с научных позиций. В них подчеркивается исключительно важное значение централизованного планирования, инициативы и самостоятельности предприятий для обеспечения высоких темпов развития экономики; обращается внимание на необходимость учета стоимостных категорий, правильного использования хозяйственного расчета, цен, прибыли, рентабельности и кредита. Эти выступления оказали определенную помощь партийным, советским и хозяйственным органам в успешном осуществлении экономической реформы, в выполнении решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

Однако в статьях некоторых экономистов были допущены спорные суждения и выводы по этим вопросам, отражающие в ряде случаев субъективный подход авторов к отдельным экономическим проблемам, что является правомерным в научных дискуссиях. С одной стороны, имеется группа ученых-экономистов, которые недооценивают роль товарно-денежных отношений в развитии социалистической экономики, с другой стороны, некоторые экономисты преувеличивают роль и место закона стоимости, которому отводят по существу роль основного регулятора производства и в какой-то мере противопоставляют централизованное планирование рынку. К числу таких экономистов относится проф. Либерман.

Следует отметить, что в 1967–1968 гг. в центральной партийной печати не было опубликовано ни одного материала Либермана. Его статья “Очередь: анамнез, диагноз, терапия”, на которую делается ссылка в записке, напечатана 20 марта с.г. в “Литературной газете”, являющейся органом Правления Союза писателей СССР. Основной порок этой статьи заключается в том, что ее автор, ратуя за увеличение государственных ассигнований на строительство кинотеатров, столовых, бань, прачечных, совершенно не учитывает международную и внутреннюю обстановку, диктующую необходимость направлять огромные средства на оборону, на оказание помощи народам, борющимся против империализма, на решение жилищной проблемы и т.д., что резко ограничивает наши возможности по развитию сферы культурно-бытового обслуживания населения.

Отдельные ошибочные выступления по вопросам экономической теории встречались и на страницах других изданий (“Новый мир”, “Журналист” и т.д.).

Это свидетельствует о том, что редколлегия указанных печатных органов не всегда проявляли достаточную требовательность в подборе авторов, редко привлекают для консультации по намеченным к публикациям материалам компетентных специалистов из числа работников научных, плановых и хозяйственных органов (Госплана, промышленных министерств, Академии наук).

Отдел пропаганды ЦК КПСС совместно с Отделом плановых и финансовых органов ЦК КПСС обращали внимание руководителей органов печати на недостатки в освещении вопросов экономики и принимали меры по их устранению. В частности, этим целям служат регулярно организуемые в Отделе пропаганды встречи с редакторами журналов, газет, радио и телевидения. Одна из таких встреч (11 июня с.г.) была посвящена вопросам освещения хода хозяйственной реформы и Всесоюзного экономического совещания.

Принимая во внимание, что по ряду проблем в периодической печати пропагандируются противоречивые, нередко ошибочные взгляды (например, по вопросам плана и прогноза, содержанию оптимального планирования и др.), Отделы ЦК КПСС намечают провести в ближайшее время обсуждение этих вопросов с участием компетентных ученых-экономистов и практических работников. По результатам обсуждения в печати намечается опубликовать итоговые статьи, которые бы отражали действительную роль и место того или иного вопроса в нашей хозяйственной практике.

Как это предлагается в записке т. Шелеста, будут приняты меры по усилению в публикациях, передачах радио и телевидения пропаганды идеологического аспекта хозяйственной реформы, организаторской роли коммунистической партии в ее проведении.

Просим согласия сообщить об этом ЦК КП Украины.

Зам. заведующего Отделом  
пропаганды ЦК КПСС

Т. Куприков

Зам. заведующего Отделом  
плановых и финансовых органов ЦК КПСС

Б. Гостев

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 25. Л. 160–162. Подлинник.*

### III. “Новый мир”: зафиксированные позиции

#### **Справка Главлита при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о контроле материалов журнала “Новый мир” за первое полугодие 1969 г.**

15 июля 1969 г.

Секретно

В целях информации сообщаем о замечаниях по материалам журнала “Новый мир”, представленных на предварительный контроль в первой половине 1969 года.

Редакция журнала подготовила к опубликованию за указанный период ряд материалов, в которых тенденциозно, неправильно освещались отдельные вопросы современности, истории, экономики и политики советского общества, а также с позиций, преследующих групповые цели, некоторые явления в литературе.

Редакция продолжала представлять публицистические статьи и исследования в основном критического содержания по отношению к нашей действительности. Некоторые из таких материалов были облечены в форму исторических изысканий и экскурсов в прошлое, основная цель которых — вызвать у читателя неблагоприятные аналогии и сравнения с положением дел в нашей стране, с ее государственной политикой.

В первых шести номерах за 1969 год было обращено внимание редакции на политически неприемлемое содержание следующих литературных произведений, публицистических и критических материалов.

В верстку январского номера было помещено стихотворение главного редактора журнала А. Твардовского из цикла “Стихи из записной книжки” (“Напрасно думают, что память не дорожит сама собой”...). В нем автор говорит о вынужденном молчании по поводу злоупотреблений властью, неудач первого периода войны и других бедствий, на которые был обречен народ. В стихотворении утверждается мысль, что настало время сказать всю правду о прошлом, вопреки запретам и попыткам скрыть ее от народа: “Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу”. После замечаний Главного управления стихотворение редакцией было снято из номера.

В верстку этого же номера журнала было помещено стихотворение Н. Матвеевой “Размышление у трона”, которое ставилось в июльский и августовский номера журнала за 1968 год. Снятое редакцией из этих номеров после замечаний Главного управления, оно в третий раз было представлено на цензорский контроль в январе с.г. В нем автор проводит мысль о перерождении диктатуры класса в диктаторское единовластие одного лица. В стихотворении утверждается далее, что в стране, якобы, снова появилась опасность возрождения идеологии культа личности, что хотят полностью реабилитировать прошлые ошибки, предать их забвению, чтобы занять место у нового “трона”: “И много их, о землю бьющих лбами, опять согласных рабство испытать. Бедняжки! Чтобы сделаться рабами? Нет, дудки! Чтобы деспотами стать”. Стихотворение нами не было подписано к печати.

В тот же номер была заверстана рецензия доктора исторических наук Г. Федорова “Суждения черпают из забытых газет” на четыре книги по истории Крыма, выпущенных в Симферополе в 1951–1967 гг. В ней поднимается вопрос о “предвзятости”, “антиисторизме”, “неклассовости” в оценке истории крымских татар, утверждается, что “необходимо создать настоящий марксистский труд по истории Крыма”, где была бы “объективно отражена роль народа, который в течение сотен лет поливал крымскую землю своим потом, на которой он сражался за установление Советской власти, трудился, строя социализм, отстаивал в боях против фашистских захватчиков”. Вся рецензия направлена на то, чтобы еще раз напомнить о выселении крымских татар, а также заявить о полумерах в восстановлении исторической справедливости по отношению к этому народу, который Указом Верховного Совета в 1967 году “полностью реабилитирован”, но не возвращен на свою землю, т.к. она передана “в дар Украинской ССР”. После замечаний статья исключена редакцией из номера.

В этот же номер журнала было помещено для публикации продолжение “Деревенского дневника” Е. Дороша “Иван Федосеевич уходит на пенсию”, о проблемах колхозного села в 1961 году. Очерк представлен вторично после доработки автором в связи с замечаниями по нему, возникшими при контроле июльского номера журнала за 1968 год, где он был впервые заверстан. Однако и после поправок это произведение имело существенные недостатки политического характера. В очерке проводится мысль о том, что в послевоенные годы из-за некомпетентного руководства сельским хозяйством и администрирования крестьяне были насильственно отторгнуты от земли и производства. Они не могли проявлять самостоятельность в решении вопросов и быть хозяевами земли, в результате чего нравственные связи крестьянства с колхозным хозяйством утрачены. В очерке высказывалась мысль о том, что если крестьяне с давних пор привыкли к коллективным формам труда (“мирские работы прежних времен”) и приемлют их, то до сих пор им чужда коллективная форма собственности. Поэтому главный герой очерка председатель колхоза Иван Федосеевич высказывает взгляды о

необходимости коренных изменений в колхозном производстве: надо, чтобы колхоз как практический владелец земли сдавал землю в аренду колхозникам на длительный срок за определенную плату, а у них скупал произведенную продукцию. Таким образом, в очерке проводилась мысль о возврате к доколхозным формам производства. В очерк редакцией были внесены отдельные поправки.

В январский же номер был представлен очерк В. Борнычевой “День страхового агента”, в котором автором делаются некоторые социологические наблюдения и выводы, касающиеся населения Москвы. По ее утверждению, все городские слои испытывают значительные материальные затруднения вследствие нерешенных вопросов экономической политики: еще низка заработная плата, наблюдается массовая незаинтересованность в результатах труда, бюрократизм и волокита в ведомствах, безнадзорность детей, отсутствие свободного времени у женщин, пассивность и равнодушие к общественным проблемам у молодежи. В очерк внесены некоторые исправления, сделанные редакцией после замечаний Главного управления.

В февральском номере журнала было завершено три материала, содержащие недостатки, характерные для публикаций “Нового мира”.

Статья экономиста О. Лациса “Опыт полувека”, посвященная разбору шеститомного собрания документов “Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам” (Политиздат), создавала искаженную картину развития Советского государства за 50 лет. В обзоре главным образом анализировались те партийные документы, которые по мысли автора отражают нарушения экономических закономерностей, порожденные произволом и волюнтаристскими методами руководства, и свидетельствуют о порочности формирования системы управления социалистическим производством. Большое место в статье занимала критика постановлений Совета Министров СССР и ЦК КПСС, которые повторяли друг друга в разные годы (“постановления-близнецы”). В статье утверждалось также, что “нэп — не совсем новая политика”, а возврат к политике 1918 г., в качестве примера поиска решения экономических проблем приводились высказывания В.И. Ленина, противоречившие одно другому.

Мнение о содержании статьи О. Лациса было сообщено редакции журнала, которая сняла статью из этого номера, но без изменений поставила ее в следующий, третий, номер журнала, а исключив из мартовского номера после некоторой доработки представила на контроль для публикации в июльском номере.

Редакция включила для опубликования снятую ею ранее из апрельского номера журнала за 1968 год, после замечаний Главного управления, рецензию Г. Березкина “Форма и содержание одной поэмы”, направленную против произведения С. Смирнова “Свидетельствую сам”. Написанная недоброжелательно, с групповых позиций, рецензия затрагивала некоторые биографические данные поэта и в связи с этим давала оценку поэме как произведению ущербному и неполно-

ценному, написанному человеком с отметкой “не годен” в воинском билете, с кругозором “младшего исполнителя” при заводском отделе кадров, приверженцу культа личности Сталина.

После замечаний редакция внесла лишь отдельные поправки, связанные с культом личности.

В мартовский номер журнала редакция включила исследование Е. Плимака “Чернышевский и Шлоссер. (Страницы революционного прошлого)”. В статье усматриваются аналогии с современностью, оценка якобинской диктатуры и ее роли в истории революции расходится с оценкой, данной В.И. Лениным. О содержании статьи было сообщено в Отдел культуры ЦК КПСС. Редакция исключила статью из этого номера, однако после незначительных поправок представила для опубликования в апрельский, а затем еще раз — в майский номер журнала. Статья не была разрешена к печати.

В верстку апрельского номера была включена рецензия Н. Реформатской “О новом собрании сочинений В.В. Маяковского”, в которой ставился вопрос о “тенденциозности” в составлении юбилейного издания собрания сочинений В. Маяковского (изд. “Правда”) под редакцией Л.В. Маяковской, В.В. Воронцова и А.И. Колоскова. В статье “тенденциозность” усматривается в том, что в это издание, якобы, по вполне определенным соображениям составителей не включены все стихи Маяковского, направленные против антисемитизма (помещено стихотворение “Жид”, но опущено “Еврей”). Составители обвиняются также в сглаживании и “причесывании” “левых” взглядов Маяковского на искусство. Упрек в “тенденциозности” брошен составителям также по вопросу об умалчивании отношений Маяковского с Л. Брик.

О содержании этой статьи было сообщено в Отдел культуры ЦК КПСС. Редакция после замечаний Главного управления сняла рецензию из апрельского номера и снова поставила ее в верстку майского номера журнала. При контроле пятого номера журнала эта статья также не была подписана к печати.

В рецензии В. Борнычевой на статистический сборник “Труд в СССР”, выпущенный ЦСУ Союза, содержалось обвинение статистических органов в несостоятельности официальной информации по вопросам труда, поскольку в сборник не включены важнейшие показатели: по оплате труда, производительности, о колхозном труде, материальном обеспечении трудящихся, потерях от прогулов, простоев и неорганизованности производства и др. В рецензии делается вывод о сознательности пропуска этих показателей, поскольку они носят неблагоприятный характер.

Рецензия снята редакцией после замечаний Главного управления.

При контроле майского номера журнала обращено внимание редакции на содержание статьи экономиста Г. Лисичкина “Кооперация — человек — общество (Ленинский кооперативный план и современность)”.

В ней утверждается, что настало время пересмотреть определение форм социалистической собственности (“высшей” — общенародной,



государственной и “низшей” — групповой, кооперативно-колхозной), поскольку это определение, данное в период господства догматических взглядов, якобы, не отвечает их экономической сущности.

Автор пересматривает также результаты экономической политики партии за период после В.И. Ленина, утверждая, что ленинский кооперативный план не был применен как универсальный и всеобщий принцип ведения всего народного хозяйства в период социализма, был неправомерно и искусственно сужен и ограничен лишь рамками крестьянского хозяйства. В статье говорится, что кооперацию надо рассматривать как “всеобщий принцип организации экономической и общественной жизни при социализме”, как общественный строй, наиболее отвечающий социалистическим принципам ведения хозяйства.

Автор утверждает также, что в результате игнорирования ленинского кооперативного плана были созданы такие производственные отношения и такая экономическая структура, при которых будто бы интересы государства и трудящихся не совпадают: до сих пор не ликвидирован наемный труд, все трудящиеся являются наемными работниками у государства. Трудящиеся на деле отстранены от руководства производством, управление им выделено “в самостоятельную область, автономную от производства”, что, якобы, ведет к развитию бюрократизма, к опасности, от которой предостерегал В.И. Ленин.

В заключение статьи делается вывод о том, что “игнорирование ленинского широкого понимания кооперации чревато серьезными отрицательными социально-экономическими последствиями”. После замечаний Главного управления редакция внесла в статью исправления.

В этот же номер была заверстана публикация доктора философских наук А. Гулыги “Пути мифотворчества и пути искусства. (Заметки социолога)”, в которой ведется полемика с советскими критиками в защиту взглядов Р. Гароди на творчество Ф. Кафки. В статье высказываются оценки творчества Ф. Кафки как писателя, предсказавшего антигуманизм и бесчеловечность тоталитарных режимов XX века от фашистского в Италии и Германии до “диктатуры генералиссимуса Франко” в наши дни. Ф. Кафка оценивается как прорицатель, который уловил возможные извращения власти, “будущие концентрационные лагеря, будущие нарушения законности, будущее всемогущие государственного аппарата, тусклую жизнь множества одиночек под властью неполноценного руководства”. Используя прием аналогий, манипулируя цитатами из произведений Кафки “Рулевой” и “Как строилась китайская стена”, автор создает картину перерождения власти, обесценения идей, утраты духовных связей между поколениями, присущих режимам и общественным устройствам в XX веке. После того, как редакции были высказаны замечания, в текст внесены поправки.

В статье В. Савина “Проблемы и перспективы социалистической демократии” рецензируется ряд книг по этой тематике. Используя от-

дельные положения, взятые из выпущенных изданий, автор статьи создает впечатление о том, что общественность ставит вопрос о необходимости замены существующих форм советской демократии новыми. Например, рассматривая предложение, высказанное в автореферате диссертации И. Проценко (МГУ), В. Савин поддерживает его позицию в отношении установления выборности руководителей предприятий, цехов, отделов на общих собраниях коллективов трудящихся при тайном голосовании и при наличии двух-трех претендентов на каждое место.

В рецензии рассматривается также точка зрения других авторов о необходимости повышения значения акта голосования при выборах, а также о выделении нескольких кандидатов при баллотировке в органы власти. Эти предложения рассматриваются в рецензии под углом зрения расширения демократии и обеспечения подлинного избирательного права. В статье подвергается сомнению положение о ведущей и руководящей роли рабочего класса в нашем обществе. В ней утверждается, что поскольку при социализме еще сохраняются существенные различия между умственным и физическим трудом, сказывающиеся на фактических возможностях в осуществлении власти для всех социальных групп общества, “люди умственного труда” “в общем и целом располагают большими фактическими возможностями для активного использования равных политических прав”, чем люди “физического труда”. Редакция внесла в статью отдельные исправления, после чего она была подписана к печати.

При контроле июньского номера журнала возражения вызвали следующие материалы.

В новом цикле стихов А. Твардовского “По праву памяти” высказывается утверждение о якобы реальной опасности возрождения в настоящее время нового культа личности, которую он усматривает в замалчивании прошлых ошибок и реабилитации Сталина, в установлении “опеки” над мыслями творческой интеллигенции. В этом цикле стихов А. Твардовский, высказывая обиду за раскулачивание своего отца, неправильно оценивает советское общество 30–40-х годов, будто бы развращенное идеологией культа личности, пассивно относящееся к массовым репрессиям, бездумно возвеличивающее вождя. Стихи не были нами разрешены к печати и сняты редакцией.

В верстку этого же номера была помещена статья В. Сурвилло “Звенит труба Мещерякова”, посвященная анализу творчества С. Залыгина. Рассматривая повесть “На Иртыше”, автор высказывает соображения о том, что коллективизация была начата преждевременно, середняк не осознал еще необходимости ее проведения. В результате неправильных методов кооперирования было нарушено чувство хозяина, разорваны исконные связи крестьян с землей, попрано достоинство личности. Выступая с полемикой против ранее высказанных справедливых критических оценок этой повести, В. Сурвилло утверждает правоту писателя, подлинный его историзм в изображении

проблем коллективизации и раскулачивания. Редакция после замечаний Главного управления внесла в статью ряд исправлений.

Не разрешена к печати и снята редакцией после наших замечаний рецензия Л. Лазарева “Бой местного значения”, написанная на произведение Д. Гранина “Наш комбат” (журнал “Север”, 1968 г.). В рецензии дается высокая оценка повести Д. Гранина за постановку проблемы моральной ответственности командиров и политработников, допуская непоправимые ошибки в период войны в обстановке культуры личности, страха и неуверенности. Повесть Д. Гранина содержит черты дегероизации подвига народа на войне, однако в рецензии Л. Лазарева идейная направленность этого произведения преподносится как нравственная проблема послевоенного времени.

Для опубликования в июньском номере журнала помещена повесть Ф. Абрамова “Пелагея”, написанная на материале жизни советской деревни пятидесятых и начала шестидесятых годов. В ней изображается трагическая судьба колхозницы и ее мужа, погибших в результате неблагоприятных социальных условий жизни. Пытаясь вырваться из бедности, уйти от недоедания, героиня повести избирает неверный путь, старается выбиться “в верхи”, быть ближе к деревенскому “начальству”. Жизнь деревни рисуется в повести так, чтобы подчеркнуть, что честный труд людей в деревне обесценен. Если в доколхозное время он был мерилем достатка и уважения, то теперь не труд, а должность, выгоды и привилегии, с ней связанные, становятся главным источником материального благополучия и определяют “верхний” слой деревни (бригадиры, парторг, бухгалтер, председатель сельсовета, директор школы, заведующие фермой и конюшней и т.д.). Поскольку редколлегия журнала должна нести полную ответственность за идейное содержание публикуемых произведений, повесть нами была разрешена к печати. Мнение Главного управления о порочности этого произведения было сообщено редакции.

В настоящей справке нашли отражение лишь наиболее серьезные замечания Главного управления по материалам, подготовленным к публикации в журнале “Новый мир”, других замечаний за первое полугодие 1969 года было значительно больше.

Итоги предварительного контроля журнала “Новый мир” за первое полугодие свидетельствуют, по нашему мнению, о неудовлетворительном выполнении его редакцией постановления ЦК КПСС от 7 января 1969 г. “О повышении ответственности руководителей органов печати, радио, телевидения, кинематографии, учреждений культуры и искусства за идейно-политический уровень публикуемых материалов и репертуара”.

Начальник Главного управления по охране  
государственных тайн в печати  
при Совете Министров СССР

П. Романов

**Письмо начальника Главлита при Совете Министров СССР  
П. Романова в ЦК КПСС о цикле стихов А. Твардовского  
“По праву памяти”**

13 июня 1969 г.

Секретно

Редакция журнала “Новый мир” для опубликования в июньском номере за 1969 г. представила на предварительный контроль в Главное управление цикл стихов А. Твардовского “По праву памяти”.

Во втором стихотворении этого цикла “Сын за отца не отвечает” использованы автобиографические моменты, связанные с судьбой самого поэта и его отца в годы, когда отец поэта был раскулачен, сослан и зачислен в списки “врагов народа”. Переходя от своих личных переживаний к характеристике периода 30–40-х годов, А. Твардовский оценивает советское общество этих лет, все поколение того периода, как искаленное и развращенное идеологией культа личности, пассивно относящееся к массовым репрессиям, способное на любое предательство ради достижения “высшей цели” и бездумного возвеличения вождя.

В последнем разделе цикла “О памяти” автор открыто выступает против какого-либо контроля в области идеологии, который он называет “опекой” над мыслями.

По утверждению А. Твардовского возникла реальная опасность возрождения нового культа личности, примером чего, считает автор, является “китайский образец”. Появились люди, которые “норовят”, запрещающая критику прошлых ошибок, реабилитировать Сталина и тем самым объективно подготавливают почву для возрождения нового культа.

Данный цикл стихов А. Твардовского, по нашему мнению, публиковать не следует.

Приложение: упомянутое на 16 листах.

Начальник Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР

П. Романов

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 82. Л. 256. Подлинник.*

**Записка Отдела культуры ЦК КПСС о журнале “Новый мир”**

6 августа 1969 г.

В мае прошлого года Отделы пропаганды и культуры ЦК КПСС докладывали ЦК КПСС о серьезных идейных ошибках, которые содержались в материалах, подготовленных редакцией журнала “Новый мир” для публикации в четвертом номере за 1968 год. В записке отме-

чалось, что в журнале и ранее публиковались материалы, которые вызвали резкую критику в печати и в Союзе писателей СССР. Однако редакция журнала не делала необходимых выводов из этой критики. В записке вносилось предложение поручить секретариату правления СП СССР решить вопрос о руководстве журнала “Новый мир”.

ЦК КПСС одобрил предложение отделов. В связи с этим, секретариату правления Союза писателей СССР было поручено обсудить вопрос о руководстве журнала “Новый мир”, имея в виду новые кандидатуры на пост главного редактора и его заместителей.

Секретариат правления СП СССР, рассмотрев вопрос об укреплении состава руководства журналом, предложил т. Твардовскому на должность зам. главного редактора несколько авторитетных литераторов. Назывались кандидатуры С. Залыгина, М. Луконина, С. Наровчатова, Л. Якименко, В. Панкова и других.

Тов. Твардовский все рекомендованные кандидатуры отклонил. В то же время он настойчиво предлагал утвердить заместителем главного редактора В.Лакшина, неоднократно выступавшего в журнале с ошибочных идеологических позиций. Литературного критика А. Дементьева, ранее снятого с поста зам. главного редактора этого журнала за серьезные недостатки в работе, т. Твардовский предложил вновь ввести в состав редколлегии.

В январе текущего года секретариат правления СП СССР, разрабатывая меры по выполнению постановления ЦК КПСС “О повышении ответственности руководителей органов печати, радио, телевидения, кинематографии, учреждений культуры и искусства за идейно-политический уровень публикуемых материалов и репертуара”, поручил главным редакторам подведомственных журналов внести предложения по укреплению составов редколлегий. Руководители большинства журналов эти рекомендации выполнили. Так, из редколлегии журнала “Юность” выведены В. Аксенов и Е. Евтушенко и включены А. Алексин и К. Кулиев. Заместителем главного редактора журнала “Москва” утвержден М. Годенко, заместителем главного редактора журнала “Октябрь” — Н. Грибачев. Работа по укреплению кадров в литературно-художественных журналах продолжается.

Тов. Твардовский продолжал настаивать на включении в состав редколлегии А. Дементьева и на утверждении В. Лакшина заместителем главного редактора, вновь отклонив рекомендованные секретариатом Союза писателей СССР кандидатуры.

Вместе с тем в журнале до сих пор помещаются материалы, имеющие серьезные недостатки. Рекомендации секретариата правления СП СССР не принимаются во внимание. Так, например, когда возникли сомнения в целесообразности публикации романа Н. Воронова “Юность в Железнодорожье”, т. Твардовский согласился обсудить это произведение на секретариате правления СП СССР. Участники обсуждения пришли к выводу, что печатать роман без устранения имеющихся в нем идейно-творческих ошибок не следует и рекомендовали

продолжить работу с автором. Однако т. Твардовский, признав обоснованность критических замечаний по роману, все же опубликовал его без каких-либо существенных изменений и поправок.

За 6 месяцев т.г. Главлитом (т. Романов П.К.) не были разрешены к печати более 10 представленных на контроль материалов, в которых содержались серьезные идейно-политические ошибки (в т.ч. ряд стихотворений А. Твардовского, статья Е. Плимака “Чернышевский и Шлоссер” и др.).

Секретари правления СП СССР (тт. Марков и Воронков), учитывая изложенные выше факты и высказанные ранее предложения об укреплении руководства журнала “Новый мир”, рекомендовали т. Твардовскому перейти на штатную работу в секретариат правления СП СССР. Тов. Твардовский отклонил это предложение, заявив, что он в ближайшее время обратится в секретариат с просьбой освободить его от должности главного редактора журнала и попросил предоставить ему месячный отпуск, по истечении которого он на работу в журнал не вернется.

Однако и после отпуска официального заявления от т. Твардовского об освобождении его от работы главного редактора не поступило.

В последнее время в советской печати (журнал “Огонек”, № 30, 1969 г.; газеты “Советская Россия” 27 июля и 3 августа с.г.; “Социалистическая индустрия” от 31 июля с.г.; “Литературная Россия” от 1 августа с.г.) опубликованы серьезные критические материалы в адрес журнала “Новый мир” и его редактора А. Твардовского.

В связи с этим в Отделе культуры ЦК КПСС состоялась беседа с руководством Союза писателей СССР (т. Марков). Было указано на необходимость ускорения решения вопроса по укреплению руководства редакции “Нового мира”. Тов. Марков заявил, что секретариат Союза писателей СССР продолжает необходимую работу в этом направлении. Сообщается в порядке информации.

Зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС

Ю. Мелентьев

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 82. Л. 306–308. Подлинник.*

### **Записка Отдела культуры ЦК КПСС о собрании партийной группы писателей Москвы**

24 октября 1969 г.

21 октября с.г. состоялось закрытое партийное собрание писателей Москвы, на котором обсуждался доклад парторга МГК КПСС в Московской писательской организации т. Васильева А.Н. “Об усилении идеологической борьбы и задачах писателей-коммунистов”.

На собрании присутствовало более 600 членов КПСС — секретари правлений Союзов писателей СССР и РСФСР, писатели, работни-

ки литературных журналов и газет. В ходе обсуждения доклада выступили А. Сурков, Н. Грибачев, В. Беляев, И. Левченко, А. Овчаренко, В. Тельпугов, А. Насибов, Я. Цветов.

Отмечалось, что подавляющее большинство литераторов столицы успешно и плодотворно работают над созданием новых художественных произведений. В писательской организации регулярно проходят дискуссии по творческим проблемам, проводятся встречи с читателями на заводах, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях.

[...]

Особое внимание в докладе и выступлениях коммунистов было уделено критике нездоровых проявлений и идейных ошибок у отдельных творческих работников.

Собрание единодушно осудило и заклеимило позором подлое предательство Кузнецова и оставшихся ранее за границей бывших московских литераторов Белинкова и Демина.

В выступлениях Н. Грибачева, В. Беляева, В. Тельпугова были подвергнуты острой критике недостойные поступки отдельных писателей во время зарубежных командировок (Р. Бершадского, Б. Окуджавы); в выступлениях И. Левченко, А. Овчаренко, А. Насибова решительно осуждалось поведение некоторых литераторов, сочинения которых систематически печатаются во враждебных зарубежных изданиях. Было высказано мнение, что А. Солженицын, Л. Чуковская, Л. Копелев не могут оставаться в рядах Союза писателей СССР.

На собрании говорилось об отставании художественной критики от текущего литературного процесса, о некоторых ее неверных тенденциях. Резко критиковались, в частности, статьи журнала "Новый мир", авторами которых являются В. Лакшин, И. Виноградов, С. Рассадин.

В выступлениях указывалось на недостатки, имевшие место в речи А. Суркова, который пытался смягчить остроту оценок в характеристике отдельных литераторов. [...]

В единогласно принятом решении собрание потребовало от секретариата Московской писательской организации привлечь к ответственности лиц, нарушающих устав Союза писателей СССР, и заверило ЦК КПСС в том, что коммунисты и все писатели столицы будут и впредь верно служить партии и советскому народу, непримиримо относиться ко всяким проявлениям враждебной идеологии.

Собрание коммунистов-писателей Москвы прошло на высоком политическом уровне, организовано и по-деловому.

Успеху собрания в значительной степени способствовала подготовительная работа, проведенная МГК КПСС среди партийного актива литераторов столицы.

Докладывается в порядке информации.

Зав. Отделом культуры ЦК КПСС

В. Шауро

**Письмо А. Твардовского в ЦК КПСС**

5 февраля 1970 г.

3 февраля этого года товарищ К.В. Воронков ознакомил меня в Союзе писателей с решением Бюро Секретариата, принятым без моего согласия и в мое отсутствие, о назначении первым заместителем главного редактора журнала “Новый мир” тов. Большова.

Не имея ничего против товарища Большова по той простой причине, что совершенно с ним не знаком, в глаза его не видел и даже не знаю его имени-отчества, тем не менее считаю этот факт беспрецедентным ущемлением прав главного редактора, носящим по отношению ко мне оскорбительный характер.

Эта акция, противоречащая элементарным нормам демократии, совершается в творческой общественной организации, где, казалось, должны понимать, что журнальное дело — дело творческое, и решать вопрос о первом заместителе главного редактора журнала “заочным” и грубо административным порядком не годится.

Не могу рассматривать это решение иначе, как прямое понуждение меня к отставке.

Я обратился по этому поводу с протестом в Секретариат Правления Союза писателей СССР и прошу Центральный Комитет помочь мне в этом вопросе, важнейшем для меня и нормальной работы журнала.

А. Твардовский

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 84. Л. 33. Подлинник.***Письмо А. Твардовского Л.И. Брежневу**

7 февраля 1970 г.

Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

Я обращаюсь к Вам по вопросам, которые впервые — за более чем пятнадцатилетнюю мою редакторскую деятельность и более чем сорокалетнюю жизнь в литературе — встали передо мной как прямая угроза моему доброму имени советского писателя и коммуниста.

На днях Секретарь Союза писателей К.В. Воронков и работник Отдела культуры ЦК КПСС А.А. Беляев предъявили мне те западноевропейские издания, где в ноябре-декабре прошлого года появилась моя поэма “По праву памяти”, снабженная провокационным заголовком “Над прахом Сталина” и широкоэвangelическим уведомлением, что она “запрещена в Советском Союзе”.

<sup>1</sup> Поэма А.Твардовского “По праву памяти” впервые была опубликована в России только в 1987 г. в журнале “Знамя”, № 1.— *Прим. ред.*



Я считаю излишним заверять Вас, что поэма проникла за рубеж неизвестными мне путями и, разумеется, помимо моей воли, но предыстория этого дела в кратких словах такова.

Эта небольшая по объему поэма, над которой, однако, я работал в общей сложности свыше пяти лет, действительно была задержана Главлитом в сверстанном уже виде в шестой (июньской) книжке “Нового мира” за 1969 год, — без всяких, впрочем, предложений о поправках или купюрах и без каких бы то ни было мотивировок.

Я тогда же обратился к Первому Секретарю Союза писателей К.А. Федину с просьбой поставить этот вопрос на Секретариате и обсудить поэму по примеру того, как были обсуждены заключительные главы моей книги “За далью — даль”, в свое время также задержанные цензурой.

Но поэма тогда не была обсуждена и вопрос о ней оставался открытым вплоть до поры, когда я узнал о зарубежных ее публикациях.

Последнее обстоятельство, естественно, не могло меня не встревожить чрезвычайно, и 19 января я вновь обратился к К.А. Федину, ставя вопрос о необходимости безотлагательного обсуждения поэмы. Но теперь о рассмотрении поэмы на Секретариате уже и речи не было: вместо этого мне предложили выступить с “выражением своего отношения” к факту этих публикаций, т.е. с соответствующей отповедью всем этим “Эспрессо”, “Фигаро” и “Посевам”.

Я был готов это сделать со всей решимостью, во всю меру моего негодования и протеста против опубликования в зарубежной печати выкраденного и изуродованного моего произведения, но считал и считаю, что наиболее действенной формой отповеди было бы опубликование (после соответствующего обсуждения) самой моей поэмы в подлинном ее виде, что свело бы на нет эффект провокационных попыток опорочить это мое произведение.

Однако когда 3 февраля Секретариат Союза писателей заслушал сообщение К.А. Федина о моем письме и беседе со мной, то постановление по этому вопросу явилось для меня полной неожиданностью: назначить первым заместителем Главного редактора журнала “Новый мир” тов. Большова, и комиссии, в состав которой тут же был введен тов. Большов, в трехдневный срок реформировать редакционную коллегию журнала.

Я опротестовал перед ЦК КПСС и Секретариатом Союза писателей это решение (принятое не только без согласования со мной, но и в мое отсутствие) на том основании, что в глаза тов. Большова не видел, совершенно с ним не знаком и считаю назначение его без моего ведома и согласия беспрецедентным ущемлением прав Главного редактора, носящим по отношению ко мне оскорбительный характер. Но уже через день тов. К.В. Воронков, информировавший К.А. Федина об этом моем протесте и о моем письме в “Литературную газету” по поводу зарубежных публикаций моей поэмы, поставил меня в известность о представлении к убытию пяти рабочих членов редколлек-

гии журнала, в том числе обоих моих заместителей, и о введении вместо них новых, опять же без моего ведома и согласия.

Таким образом вопрос о моей поэме повлек за собой оргвыводы, означающие по существу прямое понуждение меня к отставке и фактический разгром редактируемого мною журнала. И этот разгром редколлекгии “Нового мира” совершается именно тогда, когда журнал выкарабкивается, наконец, из хронических запозданий с выходом (по причине главным образом цензурных задержек) и когда вопреки длительной травле его в печати читатели подпиской своей на 1970 год показали свое доверие и симпатии к нему (тираж журнала возрос на 26 000 новых подписчиков, по одной только Москве — на 10 000, в то время как по другим “толстым” журналам наблюдается в подписке значительная убыль).

Обсуждение же поэмы отложено на неопределенный срок, и практически она объявлена как бы “неприкасаемой”.

Уже неоднократно в стенах Союза писателей прозвучало сравнение меня с А.И. Солженицыным. Но хотя я считал и считаю исключение А.И. Солженицына из Союза писателей грубой ошибкой, причинившей нам огромный вред как внутри страны, так и за ее пределами, я — не Солженицын, я — Твардовский.

Провокационный характер зарубежных публикаций моей поэмы совершенно ясен: наши враги исходят из предположения, что в Советском Союзе складывается атмосфера неосталинизма и что автора поэмы наравне с Солженицыным предадут всяческому ostracismu и таким образом он окажется вне советской литературы.

К сожалению, я имею основания предполагать, что задержание поэмы Главлитом — со всеми вытекающими из этого печальными для меня последствиями — объясняется ее недвусмысленной направленностью против культа личности Сталина, а также автобиографическим характером поэмы. Но известно, что автобиографичность художественного произведения и мотивы личной судьбы автора — не одно и то же. Как художника меня сформировали годы первых пятилеток (“Страна Муравия”), годы Великой Отечественной войны (“Василий Теркин”), и в чисто личном плане у меня нет оснований считать себя обиженным Сталиным. Выходит, как это ни парадоксально, что Сталин при жизни награждал меня орденами и премиями, а нынешние сталинисты травят. Но, конечно же, не через призму личной судьбы отразилось в моей поэме историческое время, а в духе глубоко воспринятых мною решений последних съездов нашей партии.

Мне известны попытки противопоставить поэта Твардовского Твардовскому-редактору. Такое разделение совершенно неправомерно. За последние двадцать лет все мои произведения — стихи, статьи, поэмы, в том числе удостоенная Ленинской премии поэма “За далью даль”, — впервые появились на страницах “Нового мира”. Иными словами, все мое творчество неразрывно связано с журналом, которо-

му я отдал более пятнадцати лет своей жизни. В журнале я в меру моих сил проводил те же, что и в своем творчестве, идеи партии, которые были заявлены ею в решениях XX — XXIII съездов и в других ее документах, вплоть до Вашего выступления на последнем Пленуме ЦК КПСС.

Именно эта общественно-политическая направленность журнала определила его лицо, создала ему добрую репутацию как в нашей стране, так и среди наших подлинных друзей за рубежом. Журнал стал центром притяжения для наиболее талантливых и жизнеспособных сил нашей литературы, собрал вокруг себя десятки и сотни литераторов, ученых и публицистов, представителей самых разных поколений и едва ли не всех национальностей Советского Союза. Многие ныне прославленные произведения литературы впервые были опубликованы на страницах “Нового мира”, и неслучайно по количеству Ленинских и Государственных премий, присужденных авторам журнала, “Новый мир” решительно превосходит все другие журналы.

Осуществляемые ныне мероприятия по “укрошению” журнала не могут не иметь поэтому самых отрицательных последствий, не только литературных, но и политических. В широких кругах наших читателей они неизбежно будут восприняты как рецидив сталинизма.

Это мое обращение к Вам вызвано необходимостью, не терпящей отлагательства. Если бы Вы сочли возможным принять меня, я бы, наверное, смог коснуться вопросов о поэме, о “Новом мире” и вообще о положении в литературе с гораздо большей обстоятельностью и доказательностью.

А.Твардовский<sup>2</sup>

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 84. Л. 36–40. Подлинник.*

### **Записка ЦК КПСС о назначении главного редактора журнала “Новый мир”**

10 февраля 1970 г.

Как уже докладывалось, бюро Секретариата Союза писателей СССР приняло решение о назначении первым заместителем главного редактора журнала “Новый мир” т. Большова Д.Г. и укреплении состава редколлегии журнала.

<sup>2</sup> На документе нет никаких отметок о чтении его лично Брежневым. Скорее всего, ему была предоставлена справка Отдела культуры, написанная одновременно по письму Твардовского и коллективному письму писателей о журнале “Новый мир”. Именно на ней имеется помета рукой Брежнева: “т.т. Суслыов М.А., Демичеву П.Н. Прошу рассмотреть”. — *Прим. ред.*

9 февраля с.г. на заседании бюро Секретариата Союза писателей СССР, в котором участвовали гг. К. Федин, Н. Тихонов, Л. Соболев, С. Михалков, А. Чаковский, В. Озеров, С. Баруздин, К. Яшен, К. Воронков, в присутствии главного редактора журнала “Новый мир” А. Твардовского были рассмотрены предложения по частичному изменению состава редколлегии журнала.

Комиссия в составе гг. Федина, Маркова, Воронкова, Большова предложила вывести из состава редколлегии В. Лакшина, И. Виноградова, И. Саца.

Было предложено ввести в состав редколлегии гг. Косолапова, О. Смирнова, А. Рекемчука, А. Овчаренко, утвердив одновременно О.Смирнова в должности заместителя главного редактора.

Бюро Секретариата Союза писателей СССР единогласно утвердило внесенные предложения.

А. Твардовский заявил, что утвержденные Секретариатом кандидатуры для него неприемлемы, и что в связи с этим он обращается в ЦК КПСС с жалобой на действия Секретариата Союза писателей СССР. Он заявил, что его дальнейшее пребывание на посту главного редактора журнала зависит от ответа на эту жалобу.

Бюро Секретариата Союза писателей СССР рассмотрело представленный А. Твардовским текст заявления в связи с публикацией его поэмы в зарубежных антисоветских изданиях и приняло решение напечатать его заявление в “Литературной газете”.

Сообщается в порядке информации.

Зав. отделом культуры ЦК КПСС

В. Шауро

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 84. Л. 42. Подлинник.*

### **Коллективное письмо Л.И. Брежневу советских писателей о журнале “Новый мир”**

9 февраля 1970 г.

Дорогой и глубокоуважаемый Леонид Ильич!

Встревоженные положением, создавшимся в нашей литературе, мы считаем своим долгом обратиться к Вам.

Против А.Т. Твардовского и руководимого им журнала “Новый мир” в последнее время ведется кампания, преследующая цель отстранить Твардовского от руководства журналом. Уже приняты решения об изменении редколлегии “Нового мира”, по существу направленные к уходу Твардовского из журнала.

А.Т. Твардовского можно смело назвать национальным поэтом России и народным поэтом Советского Союза. Значение его творчества для нашей литературы неопределимо. У нас нет поэта, равного

ему по таланту и значению. Руководимый им журнал является эталоном высокой художественности, чрезвычайно важной для коммунистического воспитания народа. Журнал проводит линию XX — XXIII съездов партии и с научной глубиной анализирует сложные проблемы современного общественного развития. Журнал собрал на своих страницах множество талантливейших современных советских писателей. Авторитет, которым он пользуется, как в нашей стране, так и среди прогрессивной интеллигенции всего мира, делают его явлением совершенно исключительным. Не считаться с этим фактом было бы ошибкой с далеко идущими отрицательными последствиями.

Мы совершенно убеждены, что для блага всей советской культуры необходимо, чтобы “Новый мир” продолжал свою работу под руководством А.Т. Твардовского и в том составе редколлегии, которую он считает полезным для журнала.

А. Бек, В. Каверин, Б. Можаев, Ан. Рыбаков, Ю. Трифонов, А. Вознесенский, Ев. Евтушенко, М. Алигер, Евг. Воробьев, В. Тендряков, Ю. Нагибин, М. Исаковский.

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 84. Л. 35. Подлинник.*

### **Телеграмма Фазиля Искандера А.Н. Косыгину<sup>3</sup>**

10 февраля 1970 г.

Правительственная Москва Совет Министров А.Н. Косыгину  
Уважаемый Алексей Николаевич. Как писатель и как автор “Нового мира” считаю своим долгом выразить несогласие с решением секретариата Союза писателей об изменении редколлегии “Нового мира”, под каким бы предлогом это ни проводилось. Суть дела ясна: ликвидация наиболее последовательного критического направления в литературе. Литература всегда была критикой и будет критикой. Как Вы понимаете, мыслить — значит критиковать. Вне критики нет и не может быть никакой мысли. Кроме всего, меня удивляет и такая сторона вопроса: каким образом секретариат Союза писателей объяснит свое решение тысячам подписчиков, которые подписались именно на этот журнал с его нынешней редколлегией, а не тот, который пытается из него сделать секретариат Союза писателей.

С уважением Фазиль Искандер. Член Союза писателей. Москва.

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 84. Л. 47–48. Подлинник.*

<sup>3</sup> При публикации телеграммы восстановлена пунктуация. — Прим. ред.

**Справка Отдела культуры ЦК КПСС о телеграмме Ф. Искандера**

10 марта 1970 г.

Тов. Искандер Ф.А. (г. Москва) высказывает несогласие с решением секретариата правления Союза писателей СССР об изменении в составе редколлегии журнала “Новый мир”.

С т. Искандером Ф.А. состоялась беседа в Отделе культуры ЦК КПСС. Ему даны соответствующие разъяснения по существу поднятого вопроса.

Зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС  
Зав. сектором Отдела культуры ЦК КПСС

Ю. Мелентьев  
А. Беляев

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 84. Л. 50. Подлинник.*

**Справка Отдела культуры ЦК КПСС  
об освобождении А. Твардовского от обязанностей  
главного редактора журнала “Новый мир”**

24 марта 1970 г.

12 февраля с.г. в секретариат правления Союза писателей СССР обратился т. Твардовский А.Т. с просьбой об освобождении его от обязанностей главного редактора журнала “Новый мир”. Секретариат правления Союза писателей СССР 13 февраля с.г. удовлетворил эту просьбу т. Твардовского А.Т. и назначил главным редактором журнала “Новый мир” т. Косолапова В.А.

24 февраля с.г. Секретариат ЦК КПСС, рассмотрев предложения секретариата правления Союза писателей СССР, освободил т. Твардовского А.Т. от обязанностей главного редактора журнала “Новый мир” согласно его просьбе и утвердил главным редактором этого журнала т. Косолапова В.А., освободив его от должности директора издательства “Художественная литература”.

Секретариат правления Союза писателей предложил т. Твардовскому А.Т. работу в качестве штатного секретаря правления Союза писателей.

2 марта с.г. т. Твардовский А.Т. был принят в ЦК КПСС. С авторами коллективного письма состоялись беседы по существу поднятых ими вопросов в Отделе культуры ЦК (с писателями В. Тендряковым, Б. Можаевым, Ю. Нагибиным, М. Исаковским) и в Союзе писателей СССР (т. Воронков К.В.) — с остальными литераторами, подписавшими письмо.

Зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС

Ю. Мелентьев

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 84. Л. 51. Подлинник.*

**Сопроводительное письмо КГБ СССР в ЦК КПСС  
к копии письма А. Солженицына А. Твардовскому**

24 июля 1970 г.

Секретно

При этом направляется полученная оперативным путем копия письма А. СОЛЖЕНИЦЫНА А. ТВАРДОВСКОМУ, в котором сообщается о завершении СОЛЖЕНИЦЫНЫМ работы над новым романом “Август четырнадцатого” из эпохи первой мировой войны.

Председатель Комитета Госбезопасности

Андропов

Дорогой Александр Трифонович!

Очень рад был Вашей отзывной телеграмме (только сейчас мне ее переслали), тем более, что юбилейный распорядок не оставляет времени отвечать каждому. Не огорчение, что многие взгляды расходятся, в этом и развитие. Да ведь самая простая задача — что совершится завтра? — недоступна никакому мудрецу, сильнеешие умы иногда и на неделю вперед не видели — как же людям не спорить и не разногласить?

Что в телеграмму как-то не помещалось, а сейчас хочется сказать: рану, которую так несправедливо нанесли Вам разрушением “Н. Мира” и еще подтащили содержанием юбилейных статей — рану эту пустите зажить скорей! Прошлого все равно никто не вычеркнет, а от боли ее — Вам только боль. Все еще обновится, возродится, вынырнет.

Я кончил 1-ую редакцию “Августа четырнадцатого”, теперь уже начал 2-ю. Очень велика получилась вещь — больше “Ракового корпуса” — и это меня смущает. Таких только военных глав, как Вы читали 12, получилось 46, да еще “мирных” 18. Боюсь, что от военных глав читатель будет обалдевать, скучать. И как будто нигде не размазывал, все плотно писал. Может быть, есть какая-то ошибка во всей методике, в первоначальном замысле. Если будем живы и одолею 2-ю редакцию — где-нибудь в октябре попрошу Вас почитать, ладно?

Обнимаю и целую Вас!

Ваш А. Солженицын

Верно: начальник 5 управления КГБ при СМ СССР (Бобков)

*РГАНИ. Ф. 89. Оп. 37. Д. 23. Л. 1–2. Подлинник и копия.*

**Письмо КГБ СССР в ЦК КПСС о настроениях А. Твардовского**

7 сентября 1970 г.

Секретно

В Комитет госбезопасности поступили материалы о настроениях поэта А. ТВАРДОВСКОГО.

В частной беседе, состоявшейся в начале августа 1970 года, он заявил: “Я прекрасно знаю, что на мой счет идут насмешливые пере-суды: ТВАРДОВСКИЙ-то сообразил, что нынче СТАЛИН не в моде, а в свое время чуть ли не пятьсот строк ему персонально посвя-тил. Верно, я много написал стихов о “родном отце”. Но я тогда не кривил душой, как, уверен, не кривили очень многие. Не надо сты-диться, что мы писали во время финской войны поздравление СТА-ЛИНУ в стихах. Мы верили, что делаем высокое дело. Стыдно долж-но быть тем, кто сегодня пытается обелить СТАЛИНА, ибо в душе они знают, что творят. Да, ведают, что творят, но оправдывают себя высокими политическими соображениями: этого требует политиче-ская обстановка, государственные соображения! ... А от усердия они уже начинают верить в свои писания. Вот увидите, в конце года в “Литературной газете” появится обзор о “Новом мире”: какой содер-жательный и интересный теперь журнал! И думаете, не найдутся чи-татели, которые поверят? Найдутся. И подписка вырастет. Рядовой, как любят говорить, читатель, он верит печатному слову. Прочтет десять статей насчет того, что у нас нет цензуры, а на одиннадцатой поверит. Впрочем, сейчас этому и вправду можно поверить: если вы-ходят в свет романы ШЕВЦОВА, то, пожалуй, действительно цензу-ры нет”.

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета госбезопасности

Андропов

*РГАНИ. Ф. 89. Оп. 37. Д. 25. Л. 1. Подлинник.*

### **Из справки Главлита при Совете Министров СССР по итогам контроля иностранной литературы за период с января по июнь 1970 г.**

5 августа 1970 г.

Секретно

Объектом самого пристального наблюдения буржуазных обозрева-телей было положение в среде творческой интеллигенции СССР, при анализе которого на первое место выносилась борьба между так назы-ваемыми “либералами” и “консерваторами”. [...].

В течение ряда лет основными органами “либеральных сил” в ли-тературе буржуазная пропаганда считает журналы “Новый мир” и “Юность”. Поэтому не случайно западная печать с большим разоча-рованием и сожалением прокомментировала факт ухода А. Твардов-ского с поста главного редактора журнала “Новый мир”. В это “тяже-лое время” она стремилась всячески поддерживать “либерально наст-роенную интеллигенцию”, которая, как писали газеты, потеряла в лице Твардовского “свой последний оплот”. Как правило, эти мате-



риалы сопровождалась нападками на внутреннюю политику партии и правительства. “Твардовский был для советской интеллигенции путеводной звездой”, — писал У. Шиллер в западно-германской газете “Ди цайт” (за 20.02.70. Статья “На смену ему придут функционеры”). “Надо понимать, какое выдающееся место занимал Твардовский в духовной и литературно-политической жизни советской интеллигенции, чтобы представить всю величину потери”. Английская газета “Таймс” 16.02.70 поместила редакционную статью “Смелый “Новый мир”, в которой деятельность Твардовского охарактеризована как “доблестная, но в конечном итоге печальная история”. “Для него было важно лишь то, чтобы писатель мог сказать что-либо значительное и заявить об этом честно — как Солженицын, Дудинцев, Некрасов, Евтушенко, Померанцев и др.” — утверждалось в упомянутой статье. “Пал последний оплот либералов в советской литературе,” — говорилось в статье “Конец эксперимента”, опубликованной английским журналом “Экономист” за 21-27.02. “Победа консерваторов — это итог длительной войны на истощение. Отставка Твардовского олицетворяет собой конец целой эры. В год столетия со дня рождения Ленина русские любят характеризовать все, что они делают, как “возврат к ленинизму”, но в области искусства им, поистине, далеко до этого”. [...]

Начальник Главного управления  
по охране государственных тайн в печати  
при Совете Министров СССР

П. Романов

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 43. Л. 183–186. Подлинник.*

## Из писем в журнал “Новый мир”

**Письмо Григорьевой из Москвы  
в связи с опубликованием в газете “Правда” 27 января 1967 г.  
статьи “Когда отстают от времени”**

6 февраля 1967 г.

Дорогой и уважаемый Александр Трифонович,  
Я уже несколько лет подписываюсь на “Новый мир” и очень люблю Ваш журнал.

Иногда больше, иногда меньше, но нравится мне в нем все. Все проникнуто каким-то духом уважения к читателю, искренностью. Я считаю, что журнал очень много делает для воспитания в людях духа демократизма. Я, например, всю жизнь прожила в Москве, в очень узком кругу средней интеллигенции (моя мать — корректор, я — инженер) и люди простых профессий — крестьяне, парикмахеры, подавальщицы всегда казались мне чем-то непонятным и в глубине души я их, наверное, не очень уважала (хоть и понимала, что это стыдно). Теперь благодаря Вашему журналу мне открылся другой, более широкий взгляд на жизнь, я поняла не умом, а чувством, что эти люди — многие из них, ничуть не глупее, а часто наверное и умнее и лучше тех, кто окружает меня.

Журнал приносит большую пользу — развивает, учит, прививает читателям более широкие и терпимые взгляды и просто приносит большое удовольствие.

Если бы не Ваш журнал, то я бы просто не знала, что у нас есть столько талантливых и самобытных писателей.

Вот поэтому я очень расстроилась, когда мне сказали, что Вы, Александр Трифонович, собираетесь уйти из “Нового мира”. Очень прошу Вас — не делайте этого, многим Вашим читателям это будет очень тяжело.

Уважающая Вас Григорьева

*РГАЛИ. Ф. 1702. Оп. 9. Д. 259. Л. 4, 4об. Подлинник. Автограф.*

**Письмо В. Трофименко в связи с Постановлением  
Союза писателей СССР о работе журнала**

10 апреля 1967 г.

В редакцию журнала “Новый мир”  
Уважаемый т. главный редактор!

Прочел я 30 марта с.г. в газете “Известия” короткое сообщение о том, что состоялось в секретариате Союза Писателей обсуждение де-

тельности журнала “Новый мир”, и не очень удивился, что взбунтовались мотяковы, воронковы, гузенковы и что даже берут верх. Пока еще, но берут верх. Неужели же не увидеть больше на страницах журнала вещей, подобных таким, как “Беглец”, “Письмо”, “Наши старухи”, “Созвездие Козлотура”, “Из жизни Федора Кузькина” и других, статей, таких, как “О ремесленной литературе”, “Читатель, писатель, критик” и им подобных? А ведь всю эту прелесть я открыл для себя случайно. Давненько не брал толстые журналы в руки. “Щит и меч” оскомины набил. А после того, как в “Огоньке” стали печатать “Богиню победу”, разлюбил и “Огонек”. Искал удовлетворения в случайных встречах с миниатюрными рассказами таких журналов, как “Работница”, например. Но как-то купил четвертый номер “Нового мира” за 1966 год, прочел “Беглеца” и удивился. Ведь тут жизнь. Давно такого не встречал. Затем прочел статью Светова “О ремесленной литературе” и понял, что это тот самый журнал, без которого нам, пожалуй, теперь никак нельзя. А “Из жизни Федора Кузькина”, чуется душа моя, произведение, которое станет когда-нибудь незаменимым пособием при изучении нравов наших дней.

[...] Что ж? Жаль, что бог отменен, а то сказал бы: “Дай боже силы журналу “Новый мир” и благослови его на борьбу с Мотяковым, Гузенковым, Воронковым и иже с ними обиженными”.

В. Трофименко, г. Одесса

*РГАЛИ. Ф. 1702. Оп. 9. Д. 258. Л. 13–14. Подлинник. Автограф.*

**Письмо К.М. Качанова в связи с публикацией статьи “Против чего выступает «Новый мир»?” в журнале “Огонек” № 30**

8 августа 1969 г.

Уважаемая редакция!

С болью и негодованием я читал в 30 номере “Огонька” статью “Против чего выступает «Новый мир»?”. Поразило меня и то, что в числе подписавших статью оказались писатели Сергей Воронин и Петр Проскурин, художественные произведения которых идут вразрез с позицией статьи. Может быть, подпись их недействительна и получена обманным путем?

После недавнего разгрома “Юности” (я имею в виду массовое и негласное изгнание членов редколлегии) можно теперь ожидать того же самого и по отношению к “Новому миру”.

Мне стыдно, мне стыдно за нашу интеллигенцию, которая так легко отдает одну свою позицию за другой, не видит или не хочет видеть, что это безмолвие, это молчаливое согласие и равнодушие, а в неко-

торых случаях даже прямая поддержка консерватизма и реакции, может привести к временам постановлений о журналах “Звезда” и “Ленинград”, к восстановлению сталинских методов и репрессий.

Наши журналы “Октябрь”, “Огонек”, “Молодая гвардия” и “Москва”, стоящие на весьма разных позициях, начинают выступать единым фронтом с закамуфлированной, а иногда и явной проповедью реставрации сталинизма и догматизма.

Начинают под видом патриотизма культивировать ростки махрового национализма. Начинают клеить ярлыки, выступать с провокационными политическими инсинуациями, требовать расправы с инакомыслящими.

Разверните журнал, а там слышится: Ату их, ату! Намордник им, кнут! А спрашивается, с кем это завели наши ретивые литераторы такую баталию? С американским империализмом? С западногерманским неофашизмом, с маоизмом, грозящим нам войной? Ничуть не бывало! Лупят на чем свет стоит по своим, по тем, кто хочет правды и гласности, кто хочет торжества идей Ленина, кто хочет коммунизм для народа, а не для кучки избранных.

Ах, это проклятое молчание и умалчивание! Эта куца, обрезанная информация, это отсутствие гласности и свободного обмена мнениями!

Сколько это нам навредило, и сколько еще навредит!

Все наши неудачи и промахи, все это идет от робости и половинчатости. Ничего-ничего мы не можем довести до конца. Разговор о расширении демократии заканчивается после собрания. Хозяйственная реформа из-за консерватизма старых кадров и укоренившихся методов руководства ничего пока не дала и вряд ли даст. Трудовая дисциплина на предприятиях неуклонно падает, зато все более растет процент потребления алкогольных напитков. Воровство принимает уже массовый характер и даже форму “взять”, “взять со своего предприятия, как свое собственное, недоплаченную зарплату”.

И кто-то думает, что все это можно ликвидировать жестким курсом, принуждением, репрессиями. Намордником? Нет уже, история давно доказала, что это напрасные усилия.

Только правильный ленинский курс, курс на демократию, на повышение благосостояния народа, на воспитание чувств патриотизма и настоящего, не фанерно-плакатного энтузиазма может привести к желанной цели.

Вы спросите, зачем я вам это пишу? Просто появилась потребность высказаться.

До свидания, и пусть вас минует это стихийное бедствие идиотизма. С уважением

Качанов К.М., МССР, г. Чадыр-Лунга

**Копия письма Расула Гамзатова в Секретариат  
Союза писателей РСФСР и в редакцию “Литературной России”,  
присланная в редакцию  
журнала “Новый мир”**

8 августа 1969 г.

В Секретариат Союза писателей РСФСР

Уважаемые товарищи!

Довожу до Вашего сведения мое письмо в редакцию “Литературной России”:

Открытое письмо в редакцию “Литературной России”

Уважаемые товарищи.

Как известно, редакционная статья на страницах печатного органа всегда выражает мнение литераторов, составляющих редакционную коллегию. Такова традиция коллективной работы и принципиальная практика всей нашей печати. Нарушение этого незыблемого правила, этой политической и этической основы ведения литературного дела грозит узурпацией общественного мнения для выгоды конъюнктурных групповых интересов, с чем, конечно, мириться нельзя.

Эти соображения заставили меня взяться за перо, чтобы отмежеваться от редакционной статьи “Справедливое беспокойство”, опубликованной в еженедельнике “Литературная Россия”, членом редколлегии которого я состою.

Считаю долгом довести до сведения читателей, что до опубликования я этой статьи не видел и моего согласия на ее обнародование меня не спрашивали.

Случай беспрецедентный!

Не вдаваясь в подробный разбор опубликованного в “Огоньке” “письма группы видных советских литераторов”, с мнениями которых редакционная статья “Литературной России” солидаризуется, я замечу только одно: письмо полно недостойных политических инсинуаций, своей грубостью и передержками оно возрождает приемы той печальной памяти критики, которая некогда нанесла советской литературе невосполнимый вред.

Надеюсь, что мое письмо будет опубликовано на страницах “Литературной России”.

Расул Гамзатов

Ввиду того, что главный редактор “Литературной России” тов. Поздняев отказал мне, члену редколлегии, в моем бесспорном праве на опубликование письма, я не считаю возможным оставаться членом редколлегии еженедельника “Литературная Россия”.

Ставя об этом в известность Секретариат, прошу:

1. Заявление о моем выходе из состава редколлегии “Литературной России” напечатать в этом органе.

2. С ближайшего номера снять мою фамилию из числа членов редколлегии, подписывающих “Литературную Россию”.

Расул Гамзатов

*РГАЛИ. Ф. 1702. Д. 323. Л. 3–4. Копия.*

**Письмо А.А. Шкодиной в связи с сообщением  
в “Литературной газете” о смене редколлегии  
журнала “Новый мир”**

11 февраля 1970 г.

Дорогие товарищи и друзья!

Прочтя в сегодняшней “Литературной газете” сообщение об изменениях в составе редколлегии “Нового мира”, мы все поняли. Мы торопимся — в те немногие дни, что все вы еще вместе — принести вам свою несказанную и невыразимую благодарность. [...] Мы верим, что расстаемся с вами лишь на время: все плохое проходит, все хорошее остается навсегда. Мы, ваши читатели, всегда с вами — знайте и помните это; мы вам всегда благодарны и гордимся вами. Спасибо вам за все то, что вы успели сделать. Спасибо вам за все то, что вы еще сделаете.

Крепко жмем вам руки, низко кланяйтесь Александру Трифоновичу.

По поручению группы читателей А. Шкодина, Москва

*РГАЛИ. Ф. 1702. Оп. 9. Д. 349. Л. 11. Подлинник. Автограф.*

## IV. Лики писем

### Письмо А.Д. Сахарова Л.И. Брежневу

[конец декабря 1969 г. — начало 1970 г.]

На закрытых партийных собраниях прочитывают вслух ваше, Леонид Ильич, письмо, обращенное ко всем членам КПСС.

В письме приводятся некоторые подробности, не известные низам, но в общем обрисовывается картина, давно уже известная и членам партии и всему народу.

Мы давно уже знаем, что проиграли не только битву за Луну, но и экономическое соревнование в целом, что производительность труда у нас ничтожная, что наша страна превращается в сырьевой придаток Европы, что мы держимся только благодаря баснословным природным богатствам и традиционному терпению крестьян. Все видят, что никто не желает у нас заниматься реальной работой, а только пускают пыль в глаза начальству, что такие фиктивные события, как юбилей и даты, стали для нас важнее настоящих событий экономической и социальной жизни.

Все это — следствие того, что мы много лет живем в выдуманном мире, обманываем друг друга и не решаемся взглянуть правде в глаза в то время, как другие государства не царят в небесах, а на земле строят свое хозяйство, поэтому обгоняют нас все больше и больше.

Не бывает сейчас ни одной дружеской встречи, где не говорили бы об этом. Ведь все знают, что затянувшийся коллективный самообман неизбежно ведет к катастрофе. Во всей России говорят об этом. И вот — ваше письмо.

Это смелый, правильный шаг с вашей стороны, и история поставит вам его в заслугу. Но она не простит вам, если за сигналом не последуют спасательные меры. А они очень просты. Лечение подсказывается диагнозом. Всеобщее взаимное вранье можно лечить только гласностью. Сколько инициативы, ума, энтузиазма выльется наружу, если, наконец, перестанут затыкать рты. В редакциях журналов лежат десятки статей, на машинках напечатаны десятки книг, в которых четко анализируется наша жизнь. Все это “не пропускают”.

Гордость русской литературы — Солженицына — выгнали из Союза писателей. Парламент, стоящий столько денег, стал слепой машиной голосования.

Гласность и только гласность может поставить больную Россию на путь выздоровления.

Сахаров.

*Архив Института “Открытое общество”. РРС. № 330. Копия.*

### **Из почты корреспонденту “Известий”**

Прочитав в “Известиях” “Пойми человека”, хочу поделиться с вами своими мыслями, высказать наболевшее. Я пишу не для газеты, и прошу меня правильно понять — я обращаюсь к вам потому, что, возможно, с такими разговорами вам приходилось встречаться неоднократно, сделать определенные выводы. Возможно, и посоветуете, что можно предпринять по ряду вопросов. [...]

С самого начала ваш рассказ вызвал какое-то неудовольствие, чувствуется какая-то невысказанность, что-то находится там, за строкой. Перечитав несколько раз, поспорив с некоторыми товарищами, оперируя, конечно, отдельными выдержками вашего труда — так и разошлись в мнениях, оставшись каждый при своем. О нашем хозяйстве писать много не буду. Вы его знаете. Однако скажу, что мы многое сделали в части благоустройства станицы. Однако со всеми затронутыми проблемами мы тоже сталкиваемся ежедневно и ежечасно. Вот несколько примеров.

Мы построили дворец в 1958 году. Первые годы, как говорят, во дворце “тремело”, а потом “тишь да благодать”. Никто не ходит. Дворец пустует. Выясняли, беседовали, узнавали, в чем дело. Начали приводить примеры. Дескать, в городе идешь по асфальту, едешь автобусом, трамваем, а здесь попробуй 3–4 км идти по грязи. Резон? Да! Выход? Начали строить асфальтированные дорожки. Настроили 26 км. Не ходи по грязи — иди по асфальту. Однако все по-старому. Почему? Есть люди, — баянисты, музыканты, балетмейстер — все специалисты, а дела нет. Говорят, надо человека с душой, который бы все это организовал. Правильно? Да, по-видимому, так! А где их брать с “душой”?

Вы говорите, что пропал интерес к работе. Это верно. Приходится выискивать такие формы, которые бы заставили работать честно и добросовестно. Однако и это дает очень мало. В 1969 году по опыту Кубани мы ввели оплату за качество работы. Если ты сделал свою работу на “отлично”, получи к сдельному заработку 30 процентов. Сколько пришлось попортить нервов, пока перешли на такую форму работы. Каждый знает, что его участок будет приниматься комиссией и от качества работы будет зависеть его оплата труда. Однако сплошь и рядом приходилось браковать работу, заставлять переделывать. Как же быть? По какому пути идти?!



[...] Недовольных много, и винят нас, правление колхоза, председателя, главных специалистов — в несовершенстве оплаты, обвиняют в частых изменениях принципа оплаты труда. А ведь в *интересах дела*, подчеркиваю, — в интересах дела, приходится идти на это. Например, мы переоборудовали 14 комбайнов и нацепили им половосборщики. За то, что на комбайне висит дополнительный агрегат, комбайнеру надо платить 20 процентов к сдельному заработку. Каков же результат? В бригадах № 1 и № 2 было по три переоборудованных комбайна. Комбайнерам платили по 20 процентов плюс. В первой бригаде собрали половы 100 тонн, а во второй — 300. Почему? Мы ищем эту причину, и она коренится в том, что надо было платить не за дополнительный агрегат, а за тонну собранной половы. Поэтому ради интересов дела придется изменить оплату.

Какой же вывод из сказанного? Вы обвиняете правление колхоза, председателя в том, что часто принципы оплаты меняются, а это, дескать, приведет к тому, что всякий интерес к труду у колхозника теряется. Мне кажется, что это не так. Если искать формы оплаты с учетом экономического роста хозяйства, с учетом повышения производительности труда, то это делать надо без всяких оглядок, конечно, в пределах разумного.

Хочется поделиться соображениями о другой стороне вопроса. Я помню, как мне пришлось первый раз как председателю колхоза проводить собрание в бригаде № 5 (овощеводческой). После официальной части собрания я обратился к колхозникам с просьбой честно и добросовестно трудиться, не воровать и тогда у нас пойдут дела. Не помню, кто из членов бригады мне сказал так: будете давать деньги ежемесячно, будете давать хлеб, будете думать о нас, воровать не будем, а не будет этого, воровать будем. Это было сказано на собрании, при всем честном народе, и никто, никто не дал отповеди тому, кто так ответил на мою просьбу. Я заверил тогда колхозников, что все, что будет зависеть от меня, я буду делать на благо людей, на благо наших колхозников. Прошли годы. О требованиях нечего и говорить. Люди получают ежемесячно оплату труда, получают хлеб, овощи и т.д. и т.п. А как с обещанием со стороны колхозников, как обстоит дело с воровством? Ведь стыдно признаться, эта зараза не исчезла [...]

Я не малодушный, я не паникер, однако и у меня после всего этого зарождается мысль, для чего так трудиться, для чего отдавать всего себя работе, зачем вставать рано и в 5 часов быть на работе, приезжать домой поздно, два раза в день кушать, а зачастую и раз. Говорил я в районе и с прокурором, и с первым секретарем, и начальником производственного управления, и ни от кого я не получил совета, рекомендации, что делать? [...]

С уважением

В. Бурлак, Ставропольский край,  
Георгиевский район, колхоз "40 лет Октября"  
16 августа 1969 г.

*Личный архив С.Ф. Ярмолюк. Подлинник. Автограф.*

\* \* \*

Недавно, совершенно случайно (я не выписываю “Известия”) мне попал лист газеты с вашей статьей. Я не знаю, какая у вас должность, положение, но вы, я вижу, занимаетесь вопросами сельского хозяйства, ищите ответы на вопрос “почему”. Я заинтересовался и хочу поделиться мнением. Я малограмотный (5 классов), мысли ясно выразить не могу, но Вы, как мне кажется, поймете, что я хотел сказать. [...]

В какой-нибудь праздник мы, пожилые, устраиваем гулянку со спиртным, с гармошкой, песней, пляской, и вот молодежь тянется сюда же. Даже если есть кино в клубе — они не идут туда, стараются участвовать в гулянке, стараются выпить, хоть и с великим трудом (молодой организм, не привыкший к алкоголю, не так-то легко принимает спиртное). Вроде жертвуют, вроде стараются купить билет на право участия в гулянке, веселье. Тут они сами посмотрят, как веселятся, и сами примут участие в веселье, покажут свое “я”. Видимо, чем смотреть классический балет, лучше самому топнуть какую-нибудь примитивную камаринскую. Это интереснее и веселее. Так я их понимаю.

Как-то к нам в компанию попал один интересный человек. Веселый, способный, остроумный, развитый человек. Весь вечер старался смешить нас, балагурил, развлекал нас. В общем, “артист”. Нам, примитивам, делать нечего было. Много было выпито, съедено, а когда расходились, то почувствовали, что праздника-то не было. Мы-то себя не показали, только он себя показал, он веселился, он “художествовал”, самодельничал. Ему-то очень весело было. Наутро я расспрашивал соседей, и все заключили, что “артиста” этого лучше бы не было. А могло бы быть по-другому. Он, этот “артист”, мог бы помочь своим талантом нам веселее провести время. Поймел бы он тактичность, предоставил бы и нам “похудожествовать”, хоть примитивно показать свое “я”, и праздник бы получился. Этот пример, пожалуй, и к первому вопросу подходит — о методах руководства. Не похож ли ваш председатель крепкого колхоза в чем-то на этого “артиста”? Не забрал ли он все, не оставив ничего для “примитивов”? [...]

Еще раз хочу сказать, что я пишу только для Вас. Мне можете не отвечать, — мне это ни к чему.

Я 1919 года рождения. Захватил немного одиночную жизнь. В колхозе прожил до 1968 года. Сейчас работаю сторожем-дворником. Беспартийный.

Чернигов М.Н.  
Иркутск  
24 ноября 1971 г.

*Личный архив С.Ф. Ярмолюк. Подлинник. Автограф.*

**Из письма академика П.Л. Капицы  
главному редактору газеты “Правда” академику А.М. Румянцеву**

14 сентября 1965 г.

Глубокоуважаемый Алексей Матвеевич,

Я с большим интересом читал как Вашу прежнюю статью об интеллигенции, так и только что появившуюся в “Правде” о партийности творческого труда советской интеллигенции. [...] С решением ряда поставленных Вами вопросов я согласен, но есть один очень важный вопрос в Вашей статье, который мне хочется критически разобрать — это взаимоотношение партии с наукой и искусством. [...] Вы в своей статье только касаетесь литературы, Вы говорите, и я с Вами согласен, что литература есть “человековедение”, но я думаю, что Вы согласитесь, что литература есть еще и “обществоведение” (например: Рабле, Свифт, Самюэль Батлер, Салтыков-Щедрин больше занимались “обществоведением”). Но вот когда Вы пишете, что должно существовать “подлинное партийное руководство художественными процессами, опирающееся на авторитет знаний и исторический опыт партии и т.д.”, то я не нахожу доказательств этого тезиса в Вашей статье. Если вообще считать осуществимым руководство творческим процессом, то это возможно только единолично и более сильным и зрелым творческим талантом, как учитель и ученик. Крупный научный и художественный талант не требует и не терпит руководства, он сам является направляющей силой. [...] Конечно, можно говорить о руководстве при выборе тематики, но это не руководство творчеством. Запрет и цензура, конечно, тоже не руководство. Надо не бояться сознаться, что попытки партийного руководства научным творчеством дали отрицательные результаты. Это было особенно наглядно за последние десятилетия при попытках административно направлять биологию по неправильному пути. Таким образом, непосредственное партийное руководство большим искусством и наукой — не осуществимый процесс.

Но с другой стороны, наука и искусство всегда являются неотъемлемыми факторами социального строительства. [...] Поэтому приходится принять, что развитие науки и искусства у нас не должно происходить стихийно, и вопрос создания здоровых условий для развития науки и искусства есть важная проблема, которая у нас пока не имеет четкого решения. На сегодняшний день это больше касается искусства, чем науки. Я думаю, что основная причина этого в том, что мы научно не разобрались в вопросе о роли искусства при построении общества. Тут можно упрекнуть наших марксистов в том, что они не изучают этот вопрос, в то время когда за рубежом есть интересные попытки это делать. Например, я с интересом читал книгу Фишера и книгу Гароди. Обе книги недавно вышли и освещают роль искусства в строительстве общества. Обе книги хотя и написаны коммунистами, но спорны — спорны в лучшем смысле этого слова, ибо только спор-

ные мысли интересны, поскольку это и есть диалектический путь для решения поставленной проблемы. Только такие спорные книги следуют печатать и обсуждать. Пока что опубликованная критика на книгу Гароди, напечатанная в “Иностранной литературе”, была до того слаба, что напоминала лепет ученика средней школы. [...] Может быть, Гароди и прав, что Брехт, Кафка, Пикассо ближе нам, чем все другие искатели нового. Но все же они рождены капитализмом, а не нами. Какую литературу и искусство родит наша эпоха? Кто из наших писателей ближе всего и нужнее всего нам? [...]

Ряд наших партийцев считает, что основная роль литературы — это помогать пропагандой и популяризацией идей коммунистического строительства. Наиболее подходящую форму для этого обычно называют “социалистическим реализмом”. Конечно, нельзя отрицать, что литература может успешно выполнять эти задания, но исторический опыт показывает, что роль большого искусства гораздо шире и значительнее, чем приписывается Вами “социалистическому реализму”. Возьмем два хорошо известных примера. Энгельс говорил, что понять структуру буржуазного общества во время реставрации ему больше всего помог Бальзак. Ленин говорил, что лучше других именно “граф” Толстой (Лев) показал крестьянина. Это хорошо согласуется с Вашим определением задач литературы как “человековедения”. Я думаю, что основная задача “большой литературы” — это путем художественного обобщения выявлять взаимоотношения человека и общества. Большой художественный талант дает материал для понимания общественных процессов, происходящих в стране, более надежный и ценный, чем пресса, обычно лишенная объективности, чем статистические таблицы или обобщения, которые существуют на Западе. [...]. Мы имеем полное основание ставить два основных требования большой литературе, это: 1 — Правда художественного обобщения и 2 — Актуальность тематики.

Всякий настоящий большой писатель-художник, если ему дана свобода творить свое произведение, удовлетворяет этим двум требованиям без всякого руководства, без всякого понуждения, большому таланту художественная правда дороже его собственных взглядов. [...]

Роль искусства всегда была и будет — выявление проблем социальных, этических и психологических, решение которых определяет путь развития общества. Я думаю, что определение Горького, что писатели — “инженеры человеческих душ”, не достаточно широко. Их задача шире, они участвуют в построении всего общества, его этики, его вкусов. Основная задача большого искусства — это выявлять социальные проблемы, а их решать всегда будут общественные деятели, а у нас в основном партийные. [...]

Попробуем разобрать творчество некоторых наших крупных писателей с точки зрения, что они дали для постановки новых проблем, стоящих на пути нашего строительства. Во-первых, есть ли такие проблемы? Да, есть, и их очень много, но тут нужно бросить упрек нашим пар-

тийным идеологам, что они часто уклоняются и не хотят заниматься этими проблемами, пытаясь ограничиться только теми проблемами, которые были перед нами поставлены во время Ленина. Но за 40 лет после смерти Ленина произошел ряд социальных изменений, которые выдвинули новые проблемы. Они преимущественно обусловлены возникновением новой техники и поэтому схожи, как у нас, так и у капиталистов. Я приведу один пример. Пожалуй, самая значительная из всех проблем нашего времени — это влияние технико-научной революции на производительность труда, и следовательно — на занятость в обществе. Хорошо известно, что благодаря энергетике, механизации, автоматизации и химизации эффективность труда человека за последние 2–3 десятилетия возросла в несколько раз. Так что сейчас в передовых странах, чтобы прокормить страну, достаточно, чтобы 10–12% населения занимались сельским хозяйством. Чтобы еще одеть, обеспечить жильем, транспортом, связью и пр., необходимо еще 20–30%. Таким образом, не менее половины человеческих производительных сил остается свободно. Как их использовать? Значительная часть этих сил в капиталистических странах тратится на военные задачи, частично они поглощены безработицей, немало сил идет на рекламу. Сейчас в капиталистических странах много людской энергии идет на развитие зрелищных предприятий, использующих интерес к спортивной, сексуальной и приключенческой тематике. Но даже этого начинает быть недостаточным. В капиталистическом обществе развивается неудовлетворенность — люди не знают, что с собой делать, в особенности это чувствует молодежь. Это создает явления, как “сердитая молодежь”, и это приводит к бандитизму и гангстерству. В западной литературе видно, как все больше и больше ставятся эти вопросы и часто не без таланта (например Сэлинджер).

А у нас? Проблемы свободного времени и легкой жизни у нас есть, а скоро по мере нашего материального развития встанут не менее остро, чем у капиталистов. Одно из проявлений незнания, как использовать свободное время, — это рост потребления алкоголя. И уже сейчас этот вопрос начинает подниматься в литературе и не без таланта, я имею в виду “Семеро в одном доме” Семина. Но вместо того, чтобы искать решение этого вопроса, наше руководство пытается его замаять и автора очернить, как это было сделано в неглубокой страусовой критике, которая была в “Правде” и в других газетах, хотя эта критика и имеет положительный результат, тем, что она подогрела интерес к этой повести и, несомненно, скоро нельзя будет его замолчать.

Интересно также разобрать и произведения несомненно крупнейшего таланта Солженицына. Основную проблему, которую он ставит, что при увлечении строительством нашего нового общества мы часто забываем о человеколюбии. Это правдивый и искренний писатель, и к нему надо прислушиваться и не забывать, что у нас все должно делаться ради человека. Ваш подход и оценка произведений Тендрякова и Аксенова полностью согласуется с выдвинутыми мною критериями.

Нам нужно более глубоко разобраться в роли искусства в нашем коммунистическом строительстве, несомненно, оно более, чем принято считать<sup>1</sup>. Для этого нужно свободно печатать и обсуждать все, даже спорные работы по этому вопросу (Фишер, Гароди, Арагон и др.) и создавать условия, при которых наши товарищи не боялись бы спорных вопросов. [...] Но даже если мы будем продолжать, как теперь, держать эти вопросы в шорах, все равно в нашем народе будет всегда достаточно смелых и сильных талантов, которые будут поднимать и ставить социальные проблемы, и их придется решать. Мне думается, что главная роль искусства во веки веков была и будет — это показывать людям, что в их жизни есть плохого и хорошего.

Привет, Ваш Капица

*АРАН. Ф. 2052. Личный фонд академика А.М. Румянцева. Подлинник.*

**Из письма читателя В.Н. Крюкова  
главному редактору “Литературной газеты” А. Чаковскому**

29 апреля 1968 г.

Можно соглашаться или не соглашаться с Вашей статьей “Ответ читателю”<sup>2</sup>. [...] Я никогда не пойму, как можно топтать сбитых с ног, лишенных возможности защитить себя. Как можно было вообще осудить Синявского и Даниэля за неугодные кому-то художественные произведения, да еще на такие сроки?

Что я знаю о процессах Синявского и Даниэля, А. Гинзбурга — Ю. Галанскова, В. Буковского? Несколько газетных статей, где приводились только аргументы обвинения. А где выступления обвиняемых, защиты? Согласитесь, что это самое элементарное условие объективного освещения судебных разбирательств.

На эти и подобные им вопросы не даны до сих пор деловые, убедительные ответы.

“Антисоветчики”. Это очень тяжкое обвинение, эквивалентное термину “враги народа” периода кровавой сталинской диктатуры.

Обращение-протест П.М. Литвинова и Л.И. Богораз-Даниэль, содержащий факты грубого нарушения социалистической законности на январском процессе молодых писателей<sup>3</sup>.

В результате — мое твердое личное мнение: учитывая огромный общественный интерес к процессам писателей, глубокие сомнения и

<sup>1</sup> Так в тексте. — *Прим. ред.*

<sup>2</sup> “Литературная газета” № 13 за 27.03.68 г. С. 13. В статье речь идет о суде над А. Гинзбургом, Ю. Галансковым, В. Лашковой.

<sup>3</sup> Так в тексте. — *Прим. ред.*

тревогу, испытываемые самыми различными гражданами нашей страны относительно характера судебных заседаний, я настаиваю на проведении нового судебного разбирательства дел Синявского и Даниэля, А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, Веры Лашковой, В. Буковского, на основе строгого соблюдения норм социалистического судопроизводства, на объективной информации в печати, по радио и телевидению.

Только таким образом, в атмосфере терпимости и допустимости трагических ошибок нашего прошлого, неприменения административных мер к подписавшим протесты, разрешатся все противоречия, вызванные этими процессами. Это будет достойным ответом на все зарубежные кривотолки относительно свобод и демократичности моей Родины.

У меня нет веских оснований сомневаться в искренности намерений П.М. Литвинова и Л.И. Богораз-Даниэль. Уверен — это люди большой культуры и гражданского мужества. Высокая ученая степень доктора П.М. Литвинова — лучшее свидетельство в пользу его личных качеств.

Их “прокламации”, как вы выражаетесь, результат невозможно выступить в печати. Результат неопубликования письма матери А. Гинзбурга в защиту сына в редакцию “Комсомольской правды”. Вот она, объективность! О какой рекламе может быть речь? До нее ли Л.И. Богораз-Даниэль, женщине, в которой столько личного горя? Доктор Литвинов П.М. нуждается в ней? Может быть, я, рабочий, пишу это письмо и грежу наяву: мое имя на страницах буржуазных газет. Чуть какая-то!

Я просто хочу, чтобы нас объективно информировали обо всем, что происходит в мире и внутри страны, без излишнего упора на идеологическую борьбу, в ущерб фактам. На протяжении февраля-марта полное молчание о колоссальных политических событиях в Чехословакии, недостаточно полное освещение недавних событий в Польше. Потери во Вьетнаме несут только американские и южно-вьетнамские правительственные войска. Это уж совсем по-детски. Из номера в номер словесная война, идеологическая борьба со своими и чужими. Как она еще не надоела вам, редакторам. Каждый день одно и то же.

Сообщая о тревожных фактах возрождения нацизма в Западной Германии, расовой дискриминации в США и ЮАР, наша печать в то же время полностью прекратила десталинизацию. Или вы думаете, мы забыли о катастрофе 1941 года, о кровавом кошмаре 30-х годов. Никогда. Как никогда не поверю, что писатель А. Солженицын, смелый и мужественный человек, всю войну проводивший на фронте, награжденный боевыми орденами, был предателем. Несомненно, эти кривотолки на 100% состоят из “дела”, состряпанного сталинско-бериевскими палачами, по которому капитан А. Солженицын в феврале 1945 года был посажен в концлагерь. XX и XXII съезды КПСС пол-

ностью восстановили доброе имя его и тех, кто выжил. О каких “ошибочных” реабилитациях может быть речь? Вздор.

Почему вы, писатели и журналисты, молчите об этом? Это ваш коллега. Может быть, капитан А. Солженицын тоже “антисоветчик”? Или прав писатель Грэм Грин, сказав, что в ваших ушах не звонят никакие колокола...

Всего Вам доброго.

Крюков В.Н., 1930 г. рожд., токарь  
г. Одесса

*Архив Института “Открытое общество”. РРС № 147. Копия.*

### **Письмо Иосифа Бродского Л.И. Брежневу**

4 июня 1972 г.

Уважаемый Леонид Ильич,

Покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому.

Я хочу просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Хотя бы в качестве переводчика — в том качестве, в котором я до сих пор и выступал. Смею думать, что работа моя была хорошей работой, и я бы мог и дальше приносить пользу. В конце концов, сто лет назад такое практиковалось.

Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык — вещь более древняя и неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны.

Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас.

Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти — пусть именуемых праведными — никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий



эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять.

Я надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою просьбу, не знаю, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось. Но скажу Вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится.

С уважением,

Ваш Иосиф Бродский

*Личный архив А.И. Волкова. Копия.*

### **Письмо В. Сдобнова члену Политбюро ЦК КПСС Д.С. Полянскому**

17 августа 1970 г.

Уважаемый Дмитрий Степанович!

Не могу оставаться равнодушным к тому, что творится в редакции и издательстве “Известий”. Моя партийная совесть не позволяет проходить мимо безобразий.

1. Редакция правительственной газеты стала прибежищем политически скомпрометировавших себя людей, ареной политической борьбы и расправы над теми, кто придерживается позиций, противоположных убеждениям аджубеевской группы, т.е. придерживается партийных позиций.

Решением ЦК КПСС из “Правды” был освобожден член редколлегии этой газеты Л. Карпинский, из “Журналиста” быв. главный редактор этого журнала Яковлев — оба за политически вредные выступления. Их приютила (а по версии Л. Толкунова они были “навязаны” газете отделом пропаганды ЦК КПСС) редакция правительственной газеты, а точнее, группа журналистов, поддержавшая чехословацкие “начинания”. Иными словами, виновница политически вредных статей и выступлений в газете (“Они и мы”, М. Шагинян о “Фиате”, Шульгина в “Неделе” и т.д.) и беспринципных, а порой открытых антисоветских ревизионистских заявлений на летучках, собраниях, в статьях многотиражки.

Наиболее ярко позиция этой группы проявилась в случае с Орловым и Кривошеевым, которые демонстративно отказались освещать события в ЧССР, куда они были направлены. Эти молодчики транжи-

рили редакционную валюту на встречи с контрреволюционными элементами, но по словам главаря аджубеевской группы Ю. Филоновича, “хорошо проявили себя в ЧССР” (так он отозвался о поведении Кривошеева в своем выступлении перед редакционным коллективом).

Указанная группа открыто атаковала авторов принципиальных партийных выступлений, подвергая их разному на летучках, собраниях. На партсобрании 10.3.70 года я говорил о неблагоприятной рецензии в “Неделе” на роман Г. Владимова “Три минуты молчания”. Это выступление было подвергнуто острой критике секретарем ЦК КПСС т. П. Демичевым. “Известия” исправили ошибку “Недели”, опубликовав критическую рецензию на произведение Владимова.

Однако на очередной летучке эта известинская рецензия подверглась критике Пархомовским. Дежурный член редколлегии главный редактор “Недели” М. Цейтлин многозначительно отмолчался. Когда на собрании я выразил возмущение по поводу этого выступления “Недели” и поведения Цейтлина и Пархомовского, то Цейтлин квалифицировал мое выступление как “ушат грязи на коллектив”.

Идеологическая схватка произошла, например, на летучке, где выступил Л. Карпинский, открыто изложивший свои мелкобуржуазные взгляды на отношение партии к проблемам художественного творчества. Его поддержали Ю. Шарапов (отдел пропаганды), О. Лацис (промышленный отдел), Михайловская<sup>4</sup> (отдел школ) и, конечно, приятель Яковлев (спец. корр. Секретариата редакции). Я тогда прямо сказал, что в редакции существует группа людей (выступление прилагается), которая пытается создать в коллективе определенный климат. С благословения главного редактора эту летучку так и замолчали. Но всем ясно, что после этого началась расправа надо мной, а виновника потихоньку убрали. Он не понес никакой партийной ответственности.

2. И, наоборот, тех, кто попытался “вынести сор из избы”, кто партийному подошел ко всем этим и другим безобразиям, — этих людей всячески очернили, сделали объектом гонений, шантажа, угроз, клеветы.

“Беспринципные люди, проявляющие двойственность, беспринципность в подходе к важнейшим идеологическим материалам, сыграли неблагоприятную роль и в деле т. Сдобнова” — эти слова принадлежат первому секретарю Фрунзенского РК КПСС тов. Е.А. Пирогову.

Действительно, допущенный мною промах использовали для того, чтобы политически расправиться со мной. К собранию, разбиравшему мое персональное дело, тщательно готовились. Я не помню (за 9 лет работы в редакции) ни одного такого “активного” собрания. Никто и не подумал обсуждать подтвержденные справкой Сектора печати ЦК КПСС недостатки в работе редакции (к ним и потом не возвращались). Вместо этого ораторы обрушились с грубой бранью на меня,

<sup>4</sup> Ошибка автора письма, речь, видимо, идет о Преловской. — *Прим. ред.*

обвиняя в демагогии и клевете. Зам. главного редактора А. Гребнев назвал меня человеком из 1937 года, потому что, мол, написал о фактах, имевших место, но якобы обсуждавшихся, т.е. вроде бы вынес сор из избы, действуя методами 1937 года. Чехонин назвал меня шovinистом. Сагателян националистом. сотрудник отдела пропаганды Кирсанов<sup>5</sup> вменил мне даже в вину, что я обнаружил серьезные политические ошибки в “Детской энциклопедии”, которые союзным и республиканским комитетами по печати были квалифицированы как идеологическая диверсия.

Я дал отповедь этим нападкам. Но эти и другие обвинения сыграли свою роль, повлияли на результаты голосования. Правда, примерно треть коммунистов первоначально отказалась голосовать за исключение из партии. Тогда собрание было прервано, было созвано заседание бюро, и оно в мое отсутствие приняло новую формулировку и меру взыскания, вынеся его на обсуждение собрания. Так, грубо попирая партийные нормы, аджубеевская группа, руководствуясь чувством политической мести, навязала коммунистам редакции свое решение: мне вынесли строгий выговор с занесением в учетную карточку за притупление политической бдительности и использование служебного положения, выразившееся в незаконной передаче антисоветской книги, а также за демагогические обвинения в адрес партбюро и редколлегии “Известий” [...].

В. Сдобнов, член КПСС с 1943 года<sup>6</sup>.

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 40. Л. 128–129, 137–139. Подлинник.

<sup>5</sup> Ошибка автора письма, речь, видимо, идет о Курасове — *Прим. ред.*

<sup>6</sup> Сдобнов неоднократно писал подобные письма в ЦК КПСС. В ответ на последнее, отрывок из которого мы публикуем, было принято решение “считать дальнейшее рассмотрение подобных писем т. Сдобнова нецелесообразным”. — *Прим. ред.*

## V. Настроения в обществе: спецслужбы сигнализируют

### Записка КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС об антисоветской деятельности творческой интеллигенции

11 декабря 1965 г.

Секретно

Докладывая, что на протяжении 1964–1965 годов органами государственной безопасности был раскрыт ряд антисоветских групп, в той или иной форме проводивших подрывную работу против социалистического строя, политики КПСС, участники некоторых групп пытались даже пропагандировать идеи реставрации капитализма в нашей стране.

За проведение антисоветской националистической работы на Украине арестовано более 20 человек. Как выясняется в ходе следствия, их взгляды, а также распространяемые ими документы антисоветского, националистического содержания в различной степени были известны весьма широкому кругу интеллигенции (свыше 1000 человек).

Отмечается некоторая активизация националистических элементов и в других союзных республиках.

Раскрытая антисоветская группа в Ленинграде, состоявшая из молодых научных работников, изготовила программный документ, на базе которого ее участники, наряду с антисоветской пропагандой, пытались привлекать себе сообщников. Документ этот получил достаточно широкое распространение: с его содержанием в различных городах страны знакомились свыше 150 человек.

В сентябре с.г. в Москве были арестованы авторы литературных антисоветских произведений СИНЯВСКИЙ и ДАНИЭЛЬ, которые на протяжении ряда лет по нелегальному каналу переправляли свои “труды” за границу, где они издавались и активно использовались в антикоммунистической пропаганде, в компрометации в глазах общественности советской действительности.

Следует отметить также, что в течение последних месяцев 1965 года зафиксирован целый ряд антисоветских проявлений в форме распространения листовок, различного рода надписей враждебного содержания, открытых политически вредных выступлений. Дело иногда доходит до того, как это было, например, в Москве, когда некоторые

лица из числа молодежи прибегают к распространению так называемых “гражданских обращений” и группами выходят с демагогическими лозунгами на площади. Формально в этих действиях нет состава преступления, но если решительно не пресечь эти выходы, может возникнуть такая ситуация, когда придется прибегнуть к уголовным преследованиям, что вряд ли оправдано. Большинство участников раскрытых антисоветских групп было профилактровано, а некоторые привлечены к уголовной ответственности.

Нельзя сказать, что конкретные антисоветские и политически вредные проявления свидетельствуют о росте в стране недовольства существующим строем или о серьезных намерениях создания организованного антисоветского подполья. Об этом не может быть и речи. Однако анализ этих проявлений и причин некоторого оживления антисоветской деятельности отдельных лиц указывает на то, что, наряду с влиянием буржуазной идеологии на политически неустойчивых лиц, систематическим подогреванием националистических настроений со стороны китайских раскольников, мы нередко сталкиваемся с потерей политической бдительности, революционной боевитости, классового чутья, а то и просто политической распушенности среди некоторой части интеллигенции, и прежде всего творческой. Представляется, что это последнее обстоятельство заслуживает самого пристального внимания, так как принимает достаточно распространенный характер и увлекает, сбивая с правильного пути, в нигилизм, фрондерство, атмосферу аполитичности значительную часть интеллигенции и вузовской молодежи, особенно в крупных городах страны. У некоторой части молодежи появилось равнодушие, безразличное отношение к социальным проблемам, к революционному прошлому нашего народа.

Критиканство под флагом борьбы с культом личности, опорочивание основ социалистического строя, огульное высмеивание наших недостатков является по существу основной тематикой многих произведений литературы и искусства. Складывается впечатление, что для публикации или постановки произведений в некоторых издательствах, театрах и студиях в настоящее время обязательным условием является наличие в них выпадов против нашей действительности. Не случайно поэтому в репертуарах театров и киностудий часто стали появляться пьесы и картины, которые вызывают ажиотаж обывателей, всегда спешащих увидеть “скандальный” спектакль или фильм, да и сам аппарат изображается как мрачная стена, стоящая на пути всего нового, передового. Такие спектакли и кинокартины серьезно влияют на подрыв авторитета власти.

В Московском Театре драмы и комедии на Таганке, где художественным руководителем является член КПСС ЛЮБИМОВ, накануне 48-й годовщины Октября вышла премьера “Павшие и живые”, посвященная творчеству советских поэтов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и в известной мере советской фронтовой по-

эзии вообще. Спектакль этот готовился около года, имел несколько просмотров, после которых его постановщики вносили бесконечные поправки. Они сводились вначале к тому, что, наряду с еврейскими поэтами-фронтовиками, были показаны и русские участники войны, затем возникал вопрос о смягчении некоторых сцен в политическом плане, в частности сцены, рассказывающей о поэте БАГРИЦКОМ — сыне Эдуарда БАГРИЦКОГО. Этот эпизод, с одной стороны, показывал БАГРИЦКОГО на фронте, а с другой, — его мать в лагерях. Подтекст сцены невольно ставил вопрос, что защищает БАГРИЦКИЙ на фронте?

Подобными изъятиями грешат и некоторые другие сцены спектакля. Вызывает удивление появление в этом спектакле имени поэта ПАСТЕРНАКА. Как известно, он не пал на фронте и не относится к числу оставшихся в живых поэтов-фронтовиков. Однако в спектакле долго старались сохранить сцену, сделанную весьма помпезно, и уход его со сцены пытались сопроводить символикой вечного огня.

Следует отметить, что в течение года, пока этот спектакль был выпущен, с ним в ходе так называемых “предварительных просмотров” ознакомилось большое количество зрителей.

В театре имени Ленинского комсомола идет спектакль драматурга РАДЗИНСКОГО “Снимается кино”. Это двусмысленная вещь, полная намеков и иносказаний о том, с какими трудностями сталкивается творческий работник в наших условиях, и по существу смыкается с идеями, охотно пропагандируемыми на Западе, об отсутствии творческих свобод в Советском Союзе, о необходимости борьбы за них. При этом отсутствие якобы “свободы” увязывается с требованием партийности в искусстве.

В некоторых современных произведениях протаскивается мысль о том, что партийность является оковами для советских творческих работников, что тезис о социалистическом реализме должен быть снят с повестки дня. Об этом по существу говорится и открыто. Достаточно вспомнить хотя бы выступление поэта ЕВТУШЕНКО в Колонном зале на вечере, посвященном памяти ЕСЕНИНА.

Ряд пьес, идущих на сцене московских театров, таких, как пьеса ЗОРИНА “Дион” в Театре им. Вахтангова, “Голый король” ШВАРЦА в Театре “Современник”, “Трехгрошовая опера” БРЕХТА в Театре им. Моссовета и некоторые другие, ставят целью перенести события прошлого на нашу современность и в аллегорической форме высмеять советскую действительность.

Опасность этих произведений состоит не только в том, что они иронизируют по поводу советской действительности, но и в том, что они делают это через аллегорию, как бы доказывая невозможность сказать правду или критиковать недостатки открыто.

Аналогичное положение наблюдается и в кино. На студии “Мосфильм”, например, недавно сделан фильм “33”. Не что иное, как изображение советского “города Глупова”. По существу в этом фильме

высмеивается местная советская администрация, рисуется патриархальный уклад жизни, фарс, присущий всем руководящим сферам от района до столицы, ложь, в которую все верят. Налицо попытка по существу опорочить все, вплоть до полета космонавтов. И вообще трудно представить после просмотра этого фильма, что же сделано в Советском Союзе за годы Советской власти, кроме показной мишуры и блеска столицы.

“Ленфильмом” сделан фильм “Друзья и годы”. Он охватывает этапы жизни нашей страны с 1934 по 1960 год. На протяжении 26 лет изображается привольная, обеспеченная жизнь карьеристов, проходимцев и жуликов и мучения честных советских граждан. На этой же студии снят фильм “Иду на грозу”, в принципе не вызывающий больших сомнений, но опять-таки порочно изображающий отдельные стороны нашей жизни.

Моральная неустойчивость отдельных советских людей стала весьма желательной темой некоторых работников кино и театров. Фильм “Иду на грозу” этому отвечает, хотя бы одной стороной: все женщины, изображенные в фильме, распущенные люди, стоящие на грани проституции. Театр им. Ленинского комсомола, призванный воспитывать здоровое начало в своем молодом современнике, решил почему-то заняться детальным изучением причин и следствий неудачно сложившихся судеб, разбитой любви, разрушающихся семей. За первым спектаклем “До свидания, мальчики!” появились в том же плане “104 страницы про любовь”, “Мой бедный Марат”, “В день свадьбы”, “Снимается кино”. Из спектакля в спектакль, из сцены в сцену начали кочевать инфантильные мальчики и девочки, плюющие через губу на все происходящее вокруг них, зато не по возрасту пристально изучающие проблему взаимоотношения полов. Герои и героини указанных спектаклей соблазнительны внешне, но бедны духовно и интеллектуально и насквозь пропитаны мещанским духом.

С известными изъятиями вышли на экран и фильмы “Лебедев против Лебедева”, “Обыкновенный фашизм”.

Вызывает серьезные возражения разноречивое изображение на экране и в театре образа В.И. ЛЕНИНА. В фильме “На одной планете”, где роль ЛЕНИНА исполняет артист СМОКТУНОВСКИЙ, ЛЕНИН выглядит весьма необычно: здесь нет ЛЕНИНА-революционера, есть усталый интеллигент, с трудом решающий и проводящий линию заключения Брестского мира. Фильм заканчивается весьма странной фразой ЛЕНИНА о том, что он мечтает о времени, когда будут говорить агрономы и инженеры и молчать политики. В фильме “Залп Авроры”, как отмечают многие советские граждане, в ЛЕНИНЕ, которого исполняет артист КУЗНЕЦОВ, много клоунских черт.

В свое время на одном из диспутов МАЯКОВСКИЙ говорил, что он первым будет бросать тухлые яйца в экран, где будут играть ЛЕНИНА, так как он считал, что ЛЕНИНА нельзя играть, ибо нельзя

передать гениальность и революционный пафос вождя революции. После игры ЩУКИНА и ШТРАУХА казалось, что ЛЕНИНА можно играть. Но, безусловно, этим нельзя злоупотреблять. Сейчас ЛЕНИНА играют от кружка самодеятельности до ведущих артистов. Причем артисты, исполняющие роль ЛЕНИНА, играют и другие роли. Сегодня они играют роль ЛЕНИНА, завтра купца, послезавтра пьяницы. Вместе с тем о том, как изображался ЛЕНИН, надо серьезно задуматься, так как по этим фильмам о ЛЕНИНЕ будут судить потомки, которые не только его не видели, но и не смогут услышать о нем из уст очевидцев.

После опубликования романа СОЛЖЕНИЦЫНА “Один день Ивана Денисовича”, когда был брошен официальный призыв к критическому изображению периода культа личности в литературе, вышло немало произведений на эту тему, в которых с разных сторон подвергались критике те или иные явления в жизни советского общества. Помимо признанных партией вредных последствий культа СТАЛИНА в вопросах попрания основ социалистической законности, некоторые литераторы даже коллективизацию, индустриализацию страны пытаются отнести к ошибочным действиям партии, критикуют роль партии в руководстве всеми отраслями хозяйства в послевоенный период, равно как и в период Великой Отечественной войны, огульно чернят завоевания нашего народа последних лет. Не случайно в ответ на призывы работать над юбилейной октябрьской тематикой эти писатели не видят, что, собственно, можно показать положительного, когда отдельными мазками недобросовестных художников перечеркнута почти сорокалетняя история нашего народа.

Не говоря уже о литературных произведениях на лагерную тематику, таких как: “Один день Ивана Денисовича” СОЛЖЕНИЦЫНА, “Барельеф на скале” АЛДАН-СЕМЕНОВА, “Из пережитого” ДЬЯКОВА, “Люди остаются людьми” ПИЛЯРА и других, много кривотолков среди читателей вносит различного рода мемуарная литература. Вряд ли могут иметь воспитательное значение распри, затеянные советскими военачальниками на страницах печати.

Нельзя умолчать о фактах, когда в отдельных литературных объединениях и клубах нашли себе прибежище антиобщественные элементы, занимающиеся изготовлением идейно порочных или прямо антисоветских произведений, которые с враждебным умыслом по нелегальным каналам передаются за границу. Никогда еще, пожалуй, после белой эмиграции в столь широком масштабе за рубежом не печаталась антисоветская макулатура, причем ее значительную часть составляют “труды”, чьи авторы проживают на территории СССР. Некоторые из них превратились по сути дела во внутренних эмигрантов, стали агентами наших идеологических противников.

Недостатки и просчеты в печати, литературе, произведениях искусства широко используются против нас нашими идеологическими



противниками. Некоторые представители антисоветских центров за рубежом говорят, что в идеологическом плане они работают против СССР на советском материале, на переводах и компиляциях из литературных источников и произведений искусства, создаваемых внутри страны.

Во всей этой обстановке нетерпимым является равнодушие к подобным явлениям со стороны некоторых руководителей ведомств и учреждений, органов печати, отдельных звеньев партийного аппарата на местах. Примиренчество, нежелание портить отношения или вызывать недоброжелательность со стороны политически заблуждающихся людей, стремление хорошо выглядеть в любых ситуациях приводят к тому, что мы делаем в области идеологии неоправданные уступки, затушевываем явления и процессы, с которыми надо бороться, дабы не вызывать необходимость применения административных мер и нежелательных последствий.

Трудно найти оправдание тому, что мы терпим по сути дела политически вредную линию журнала "Новый мир". Вместе с тем наша реакция на действия редакции "Нового мира" не только притупляет политическую остроту, но и дезориентирует многих творческих работников. Критика журнала "Юность" по существу никем не учитывается и никто не делает из этого необходимых выводов. Журнал из номера в номер продолжает публиковать сомнительную продукцию, выдавая ее за достижения литературного процесса. Кстати, также не проявляют должной реакции и коммунисты, работающие в театрах, редакциях и в иных идеологических учреждениях, где порой рождаются идейно порочные произведения. Многие произведения советских писателей печатаются в реакционных буржуазных издательствах за рубежом. Однако писатели, среди которых есть и коммунисты, на это никак не реагируют. В этой связи нельзя не упомянуть и статью бывшего главного редактора газеты "Правда" тов. Румянцева.<sup>1</sup> Статья явно миролюбивая, не вызывающая больших возражений по принципиальным вопросам, но безусловно страдающая некоторыми ошибочными положениями. В частности, она не поднимает тех основных вопросов, которые надо критиковать, затушевывает и пытается подменить тезис партийности литературы тезисом общечеловеческой гуманности и т.д.

Сложившаяся обстановка требует, прежде всего, неуклонного повышения идейного и воспитательного уровня произведений литературы и искусства; принципиальной, прямой и открытой критики идейно невыдержанных, политически вредных произведений, проявлений очернительства; всемерной поддержки творческих работников, которые действительно хотят пропагандировать коммунистические идеалы и работать над идейным укреплением нашего общества.

Наряду с этим следовало бы обратить внимание на повышение активности и боевитости творческих объединений в вопросах борьбы с

<sup>1</sup> "Правда", 21 февраля 1965 г. "Партия и интеллигенция". — *Прим. ред.*

буржуазной идеологией, на усиление нашей контрпропаганды, направленной на своевременное разоблачение подрывных действий противника на идеологическом фронте.

Председатель Комитета Госбезопасности

В. Семичастный

Резолюция: “Ознакомиться по Секр[етария]ту”.

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 462. ЛЛ. 249–256. Подлинник.*

*Впервые опубликовано в: “История советской политической цензуры”.*

*С. 147–153.*

### **Записка КГБ СССР при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о распространении “внецензурной литературы”, или “самиздата”**

7 февраля 1969 г.

Секретно

В последние годы среди интеллигенции и молодежи распространяются идеологически вредные материалы в виде сочинений по политическим, экономическим и философским вопросам, литературных произведений, коллективных писем в партийные и правительственные инстанции, в органы суда и прокуратуры, воспоминаний “жертв культа личности”, именуемых их авторами и распространителями “внецензурной литературой”, или “самиздатом”.

В этих материалах отдельные недостатки коммунистического строительства выдаются за типичные явления, извращается история КПСС и Советского государства, выражается несогласие с мероприятиями партии и правительства в национальном вопросе, в развитии экономики и культуры, пропагандируются различные оппортунистические теории “усовершенствования” социализма в СССР, выдвигаются требования об отмене цензуры, реабилитации лиц, осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду, изменение Конституции СССР.

“Самиздат”, как правило, распространяется путем передачи из рук в руки рукописных, отпечатанных на пишущих машинках, размноженных фотоспособом или на ротаторных аппаратах документов. К распространению произведений “внецензурной литературы” примыкаются и спекулятивные элементы, которые сбывают их за деньги и извлекают из этого материальную выгоду.

Для пропаганды “самиздата” иногда используются всякого рода полуофициальные диспуты, конкурсы песен, концерты, устраиваемые самодельными клубами, литературными объединениями, чему способствует пребывание в ряде случаев во главе таких коллективов беспринципных в политическом отношении руководителей.

Факты изготовления и распространения “самиздата” отмечались чаще всего в Москве. Появление “самиздатовских” произведений и документов фиксировалось также в Ленинграде, Киеве, Одессе, Новосибир-

ске, Горьком, Риге, Минске, Харькове, Свердловске, Караганде, Южно-Сахалинске, Обнинске и некоторых других городах и районах страны.

В Москве изготовлением и распространением клеветнических документов активно занимались известные своей антиобщественной деятельностью ГРИГОРЕНКО, ЛИТВИНОВ, БОГОРАЗ-БРУХМАН, ЯКИР. В частности, ГРИГОРЕНКО изготовил и направил в адрес Президиума Консультативной встречи представителей коммунистических и рабочих партий в Будапеште письмо, извращающее опыт Коммунистической партии Советского Союза в построении социалистического общества. ЛИТВИНОВ и БОГОРАЗ-БРУХМАН изготовили и распространили "Обращение к мировой общественности", в котором они обвиняли советские органы правосудия в нарушении законности. ЯКИР в соавторстве с другими лицами составил "Обращение к деятелям науки, культуры и искусства", содержащее измышления о "реставрации сталинизма в СССР".

Организаторами распространения политически вредных документов в Ленинграде являлись инженеры научно-исследовательских институтов КВАЧЕВСКИЙ и СТУДЕНКОВ, юрисконсульт ГЕНДЛЕР.

Из распространяемых материалов "самиздата" обращают на себя внимание "философская" статья академика САХАРОВА "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", книга научного сотрудника Академии педагогических наук МЕДВЕДЕВА "Перед судом истории", письмо в ЦК КПУ писателя ДЗЮБЫ, известное под названием "Интернационализм или русификация", а также заметки пенсионера из Караганды, в прошлом активного меньшевика, ЯКУБОВИЧА "Письма к неизвестному". Траклат САХАРОВА пропагандирует идеи, заимствованные из современных буржуазных теорий "конвергенции" и "строительства мостов", и выдвигает программу постепенного слияния социализма с капитализмом, а в книге МЕДВЕДЕВА изложены тенденциозно подобранные данные о репрессиях в нашей стране. В письме ДЗЮБЫ "Интернационализм или русификация" осуждается национальная политика КПСС, оправдывается деятельность буржуазных националистов на Украине, приводятся клеветнические утверждения о "русификации украинского народа". Основное назначение "Писем к неизвестному" ЯКУБОВИЧА заключается в попытках реабилитировать троцкизм.

В появившемся недавно среди документов "самиздата" псевдонаучном "исследовании" "Закат капитала", подписанном Л. БОРОДИНЫМ, подвергается критике вся общественно-экономическая структура Советского Союза и выдвигается программа осуществления революции против "диктатуры бюрократического аппарата" (этот документ на 84 листах прилагается).

Антисоветские и антиобщественные элементы нередко направляют "нецензурные" произведения в редакции буржуазных газет, журналов, радиостанций, в адреса эмигрантских центров в расчете на то, что западная радиопропаганда в передачах на Советский Союз ознакомит с

содержанием этих документов значительное число советских граждан и облегчит таким образом распространение их внутри СССР.

Материалы “самиздата” широко используются разведками империалистических государств и зарубежными антисоветскими организациями в осуществлении идеологической диверсии против СССР. Они преподносятся идеологами империализма как одно из “доказательств” существования в СССР “активно действующей оппозиции”. Так, в последнее время империалистическая пропаганда усиленно рекламировала статью САХАРОВА, произведения СОЛЖЕНИЦЫНА и другие документы. В августе 1968 года издаваемый Информационным агентством США журнал “Проблемы коммунизма” выпустил сборник из 53 документов “самиздата”. В предисловии редактор БРУМБЕРГ, назвав в числе авторов опубликованных документов ГРИГОРЕНКО, бывшего председателя колхоза ЯХИМОВИЧА, преподавателей университетов, священника русской православной церкви и баптистского проповедника, подчеркнул, что их несогласие с политикой ЦК КПСС и Советского правительства якобы отражает мнение широкой советской общественности.

Рассматривая “самиздат” как одно из средств ослабления социалистического общества, империалистическая реакция стремится всемерно оказывать поддержку действующим внутри нашей страны авторам и распространителям политически вредных материалов. С этой целью на Западе увеличиваются тиражи изданий “подпольной советской литературы”. При участии разведывательных органов США создано, например, “Международное литературное содружество” во главе с известными специалистами по антикоммунизму СТРУВЕ и ФИЛИППОВЫМ. Одной из главных задач этого “содружества” определена публикация не издающихся в СССР произведений советских писателей. Помимо публикации за границей и передачи по радио, материалы “самиздата” засылаются по различным каналам в СССР.

Учитывая, что распространение политически вредной литературы наносит серьезный ущерб воспитанию советских граждан, особенно интеллигенции и молодежи, органы госбезопасности принимают меры, направленные на пресечение деятельности авторов и распространителей “самиздата” и на локализацию отрицательного влияния “внецензурных” произведений на советских людей. В 1968 году значительное число причастных к деятельности “самиздата” лиц профилактировано с помощью общественности. Несколько злостных авторов и распространителей документов, порочащих советский государственный и общественный строй, привлечены к уголовной ответственности.

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета госбезопасности

Андропов

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 668. Л. 1–4. Подлинник.  
Впервые опубликовано в: “История советской политической цензуры”.  
С. 191–194.*

## Записка КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о распространении “самиздата”

21 декабря 1970 г.

Секретно

Анализ распространяющейся в кругах интеллигенции и учащейся молодежи так называемой “самиздатовской” литературы показывает, что “самиздат” претерпел за последние годы качественные изменения. Если пять лет назад отмечалось хождение по рукам главным образом идейно порочных художественных произведений, то в настоящее время все большее распространение получают документы программно-политического характера. За период с 1965 года появилось свыше 400 различных исследований и статей по экономическим, политическим и философским вопросам, в которых с разных сторон критикуется исторический опыт социалистического строительства в Советском Союзе, ревизуется внешняя и внутренняя политика КПСС, выдвигаются различного рода программы оппозиционной деятельности.

Во многих документах пропагандируются идеи и взгляды, заимствованные из политических платформ югославских руководителей, чехословацких дубчечковцев и некоторых западных компартий.

В статье “О некоторых общественно-политических течениях в нашей стране”, написанной известным своей антиобщественной деятельностью Р. МЕДВЕДЕВЫМ, делается вывод о появлении в советском обществе и партии новых идейных течений и центров идеологического влияния. В ней утверждается, что внутри КПСС имеются силы, выступающие против якобы существующего “консерватизма” за “решительное разоблачение всех преступлений периода культа личности, чистку госаппарата от бюрократов, перерожденцев, догматиков и карьеристов, за расширение свободы слова, собраний и дискуссий, замену цензуры более гибкими формами партийного руководства печатью, за расширение рабочего самоуправления, изменение системы выборов” и т.п.

Среди научной, технической и части творческой интеллигенции распространяются документы, в которых проповедуются различные теории “демократического социализма”. Согласно схеме одной из таких теорий, автором которой является академик САХАРОВ, эволюционный путь внутриполитического развития СССР должен неизбежно привести к созданию в стране “истинно демократической системы”. Математики и экономисты должны в связи с этим заблаговременно разработать ее модель с тем, чтобы она являлась синтезом положительного в существующих ныне общественно-политических системах.

В ряде проектов “демократизации” СССР предусматривается “ограничение или ликвидация монопольной власти КПСС, создание в стране лояльной социализму оппозиции”. Их авторы и распространители, считая, что нынешний уровень развития социалистической демократии дает право на существование оппозиционных воззрений, требуют предоставления легальных возможностей для выражения не-

согласия с официальным курсом. Уголовное законодательство, карающее за антисоветскую агитацию и пропаганду или распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, они объявляют на этой основе антиконституционным.

На базе изготовления и распространения “самиздатовской” литературы происходит определенная консолидация единомышленников, наглядно прослеживаются попытки создания подобия оппозиции.

Примерно в конце 1968 — начале 1969 года из оппозиционно настроенных элементов сформировалось политическое ядро, именуемое “демократическим движением”, которое, по их оценке, обладает тремя признаками оппозиции: “имеет руководителей, активистов и опирается на значительное число сочувствующих; не принимая четкой формы организации, ставит себе определенные цели и избирает определенную тактику; добивается легальности”.

Основные задачи “движения”, как они сформулированы в 13-м номере “Хроники текущих событий”, выпускаемой московской группой “демократического движения” во главе с ЯКИРОМ, включают в себя “демократизацию страны путем выработки в людях демократических и научных убеждений, сопротивление сталинизму, самозащиту от репрессий, борьбу с экстремизмом любого толка”.

Центрами распространения внецензурных материалов по-прежнему остаются Москва, Ленинград, Киев, Горький, Новосибирск, Харьков. В этих и других городах выявлено около 300 человек, которые, именуя себя “антисталинистами”, “борцами за демократические права”, “участниками демократического движения”, занимаются выпуском как отдельных документов, так и сборников — “Хроники текущих событий”, “Вестника Украины”, “Общественных проблем” и т.п. Группой сионистски настроенных элементов в Москве, Ленинграде и Риге с 1970 года начал выпускаться журнал под названием “Исход”.

Западная пропаганда, враждебные Советскому Союзу зарубежные центры и организации рассматривают “самиздат” как важный фактор политической обстановки в СССР. Нелегально выпускаемые журналы и сборники именуются печатными органами “демократического подполья”, “свободной демократической печатью” и т.п. На основе сравнения выпусков “Хроники текущих событий” отмечается “растущее число участников движения” и наличие в нем “постоянного и коллективного сотрудничества”. “Советологи” делают вывод, что в СССР существует и развивается “движение за гражданские права”, которое приобретает “все более определенные очертания и определенную политическую программу”.

Империалистические разведки и связанные с ними антисоветские эмигрантские организации не только учитывают наличие оппозиционных устремлений, но и пытаются поддерживать их, прибегая к изготовлению и пропаганде документов-фальшивок. В ряде таких документов, например в “Программе демократического движения Советского Сою-

за”, “Тактических основах”, “Время не ждет”, сформулированы программные установки и рекомендации по организации подпольной борьбы против КПСС.

Комитетом госбезопасности принимаются необходимые меры по пресечению попыток отдельных лиц использовать “самиздат” для распространения клеветы на советский государственный и общественный строй. На основе действующего законодательства они привлекаются к уголовной ответственности, а в отношении лиц, подпавших под их влияние, осуществляются профилактические меры.

Вместе с тем, принимая во внимание идейную трансформацию “самиздата” в форму выражения оппозиционных настроений и взглядов и устремлений империалистической реакции использовать “самиздатовскую” литературу во враждебных Советскому Союзу целях, полагали бы целесообразным поручить идеологическому аппарату выработать на основе изучения проблемы необходимые идеологические и политические меры по нейтрализации и разоблачению представленных в “самиздате” антиобщественных течений, а также предложения по учету в политике факторов, способствующих появлению и распространению “самиздатовских материалов”.

Приложение: 1. Р. Медведев. “О некоторых общественно-политических течениях в нашей стране”.

2. А. Славин. “Некоторые заметки о советском демократическом движении”.

3. “Хроника текущих событий”, № 10.

Председатель Комитета госбезопасности

Андропов

*РГАНИ. Ф. 89. Оп. 55. Д. 1. Л. 2–5. Подлинник.*

### **Выписка из протокола № 8 заседания Секретариата ЦК КПСС**

28 июня 1971 г.

Совершенно секретно

Выписка из протокола № 8 § 37 гс Секретариата ЦК

О мероприятиях по противодействию нелегальному распространению антисоветских и других политически вредных материалов.

Утвердить мероприятия по противодействию нелегальному распространению антисоветских и других политически вредных материалов (прилагается)

СЕКРЕТАРЬ ЦК

Послано: тт. Пельше, Демичеву, Андропову, Капитонову, Пономареву, Тербилову, Руденко, Горкину, Щелокову, Иванову, Савинкину,

Яковлеву, Русакову, Шауро, Тяжельникову, Лапину, Замятину, Громько, Романову А., Стукалину, Никитину, Маркову, Зимянину, Толкунову, Панкину, Субботину, Алексееву, Егорову, Халдееву, Курьянову, Вишнякову, Удальцову, Романову П.; обкомам, крайкомам, ЦК компартий союзных республик.

### **Мероприятия по противодействию нелегальному распространению антисоветских и других политически вредных материалов**

За последнее время в некоторых городах имеют место случаи нелегального распространения антисоветских и других политически вредных материалов (так называемый “самиздат”), в которых содержатся нападки на опыт социалистического строительства в СССР, советскую внешнюю и внутреннюю политику, историю КПСС, пропагандируются идеи, заимствованные из политических платформ различного рода ревизионистов и правых оппортунистов, националистические взгляды. Распространение подобных материалов отмечается среди некоторой части научных и творческих работников, а также учащейся молодежи в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Риге, Горьком, Новосибирске, Свердловске, Рязани и некоторых других городах.

Империалистические центры антикоммунизма, разведки капиталистических стран и связанные с ними антисоветские эмигрантские организации, не имея поддержки среди советских людей, стремятся использовать в своих подрывных целях отдельных отщепенцев, враждебно настроенных и политически неустойчивых лиц. На них пытаются опереться наши зарубежные противники в своей антисоветской пропаганде, инспирируя распространение в различных местах политически вредных материалов и разного рода фальшивок.

В целях противодействия нелегальному распространению политически вредных материалов и использованию их враждебной пропагандой осуществить следующие мероприятия.

1. ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии, ЦК ВЛКСМ в ходе реализации решений XXIV съезда КПСС по усилению политико-воспитательной работы среди различных категорий трудящихся, особенно среди творческой и научной интеллигенции, учащейся молодежи обратить внимание коммунистов и комсомольцев на необходимость повышения политической бдительности, улучшения индивидуальной работы с членами коллективов, занимающими ошибочные позиции, имея в виду применение прежде всего мер воспитательного характера, вовлечение этих лиц в жизнь производственных, учебных и творческих коллективов и усиление на них общественного воздействия:



— опираясь на разъяснительную работу, повышать партийную ответственность членов и кандидатов в члены КПСС, строго взыскивать с коммунистов, утративших бдительность и проявляющих попустительство в отношении организаторов и разносчиков антисоветских и других политически вредных материалов;

— повысить ответственность партийных организаций и хозяйственных руководителей за подбор и воспитание кадров, обслуживающих множительную технику; лиц, виновных в нарушении правил работы с этой техникой, привлекать к партийной и административной ответственности.

2. Московскому горкому КПСС, ЦК компартий Латвии, Литвы, Эстонии, Ленинградскому, Киевскому, Харьковскому, Горьковскому, Новосибирскому, Свердловскому, Рязанскому обкомам партии совместно с отделами пропаганды и организационно-партийной работы ЦК КПСС принять соответствующие меры по предотвращению распространения политически вредной литературы, выявлению лиц, занимающихся изготовлением, распространением и использованием т.н. “самиздатовских” произведений, и проведению с ними необходимой профилактической работы.

3. Редакциям центральных газет и журналов, Государственному комитету СМ СССР по телевидению и радиовещанию чаще выступать с теоретическими статьями с критикой ревизионистских концепций по вопросам демократии, роли партии и социалистического государства, подчеркивая классовый социалистический характер советской демократии; с материалами, раскрывающими на конкретных примерах содержание и системы обеспечения конституционных прав советских граждан, деятельность государственных органов по их осуществлению; публиковать выступления видных ученых, представителей технической интеллигенции и молодежи об их участии в разработке и проведении в жизнь конкретных вопросов политики партии и государства; видных представителей творческой интеллигенции по проблемам свободы творчества и гражданского долга художника; другие материалы, дающие правильное представление о сущности партийного руководства наукой и культурой.

4. Международному отделу ЦК КПСС и Отделу ЦК КПСС установить контакты с руководством братских партий с целью активизации их выступлений против развязанной буржуазной пропагандой кампании вокруг так называемого “самиздата” и разоблачения ее антисоветской и антикоммунистической направленности.

Государственному комитету СМ СССР по телевидению и радиовещанию и Агентству печати Новости на основе рекомендованных КГБ при СМ СССР материалов по согласованию с отделами ЦК КПСС оперативно удовлетворять запросы братских партий и прогрессивных организаций капиталистических стран на подготовку контрпропагандистских материалов, разоблачающих антикоммуни-

стическую сущность и диверсионный характер “самиздатовских” публикаций.

Отделам ЦК КПСС и МИД СССР усилить работу с находящимися в Советском Союзе корреспондентами газет братских партий и прогрессивных организаций зарубежных стран.

5. Агентству печати Новости с учетом основных направлений враждебной пропаганды организовать публикацию и распространение за рубежом материалов (статьи, брошюры и т.д.) о социалистической демократии и законности, материальном и правовом обеспечении свобод личности в условиях социализма, практической деятельности органов советской юстиции в защиту этих прав;

— предусмотреть выпуск для демонстрации в учебных заведениях зарубежных стран, центрах по изучению русского языка и советских культурных центрах телевизионных фильмов по данной тематике.

6. Центральным ведомствам и организациям СССР при направлении в ЦК КПСС предложений о проведении политических акций одновременно вносить планы их пропагандистского обеспечения внутри страны и за рубежом.

7. Комитету по кинематографии при СМ СССР совместно с КГБ при СМ СССР предусмотреть в планах работы на 1971–1972 годы создание документальных кинофильмов, разоблачающих проведение спецслужбами и пропагандистскими центрами империалистических государств идеологических диверсий против СССР и других социалистических стран.

8. Главному управлению по иностранному туризму при СМ СССР совместно с партийными организациями усилить контроль и принять практические меры по предотвращению общения иностранных туристов с враждебно настроенными и политически неустойчивыми лицами.

9. Отделу культуры ЦК КПСС, Комитету по печати при СМ СССР и Союзу писателей изучить вопрос и внести в ЦК КПСС предложения о целесообразности издания некоторых произведений литераторов, к которым проявляется интерес со стороны части творческих работников и учащихся, и произведения которых не переиздавались в СССР после 20-х годов.

Отделу пропаганды ЦК КПСС совместно с КГБ при СМ СССР подготовить материал в помощь лекторам для выступлений перед партийным и комсомольским активом по вопросу о необходимости повышения бдительности советских людей к идеологическим диверсиям буржуазной пропаганды, пытающейся использовать во враждебных целях нелегальные антисоветские и другие политически вредные материалы.

**Записка КГБ при Совете Министров СССР  
в ЦК КПСС о некоторых негативных проявлениях  
среди творческой молодежи и недостатках в ее воспитании<sup>2</sup>**

19 мая 1975 г.

Секретно

Поступающие в Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР материалы свидетельствуют о том, что спецслужбы и идеологические центры противника стремятся в своей подрывной работе против Советского Союза сосредоточить свои усилия на враждебной обработке умов советской молодежи, имея в виду прежде всего ту ее часть, которая пополняет ряды творческой интеллигенции, играющей немаловажную роль в формировании общественного мнения в стране.

В ходе осуществления мероприятий по пресечению враждебной деятельности противника выявлены факты, свидетельствующие о том, что среди одаренной в творческом отношении или стремящейся проявить себя в этом плане молодежи отмечается стремление к группированиям на неофициальной основе, проявляющееся в литературных чтениях, выставках живописи и графики, постановках спектаклей на частных квартирах и в случайно подобранных помещениях. Намечается тенденция к выпуску и распространению машинописных журналов, составленных из неопубликованных произведений.

Изучение обстановки в подобного рода группировках в г. Москве показало, что будучи предоставлена самой себе, часть творческой молодежи не находит общественно-полезного применения своим способностям и порой становится на путь нежелательных проявлений, которые, как правило, инспирируются лицами, занимающимися антиобщественной деятельностью, или иностранцами.

В отдельных случаях проявляется стремление со стороны просоциалистически настроенных элементов использовать эти группы в своих целях, а также объединение молодежи еврейской национальности под предлогом единства творческих устремлений.

Обращает на себя внимание в связи с подобными явлениями то обстоятельство, что для творческой молодежи очень затруднена возможность широкой публикации на страницах "толстых" литературных журналов, участие в официальных выставках, постановка и исполнение драматургических и музыкальных произведений. При определении того, кто должен печататься в первую очередь, при распределении

---

<sup>2</sup> Записка КГБ, а также записка МГК КПСС (г. Гришин) рассматривались на заседании Секретариата ЦК КПСС 19 июня 1975 года. Состоялся обмен мнениями, и было принято решение разработать предложения по вопросам работы с молодыми актерами, художниками и писателями.

ролей в театре, при отборе произведений изобразительного искусства выставками нередко все решают личные отношения и групповые пристрастия, а не забота о поддержке молодых талантливых авторов или исполнителей. Такой журнал, как “Юность”, например, систематически печатает произведения давно перешагнувших тридцатилетний рубеж авторов (Б. ВАСИЛЬЕВ, В. ШАЛАМОВ, Б. СЛУЦКИЙ, С. ОСТРОВОЙ, А. АДАМОВ, Д. САМОЙЛОВ, К. ВАНШЕНКИН и др.), тематика произведений которых в основном далека от интересов молодежи.

На протяжении нескольких лет своего существования экспериментальный театр, руководимый выпускником школы-студии МХАТ Г. ЮДЕНИЧЕМ, не имеет постоянного помещения для репетиций и спектаклей, хотя этот молодежный коллектив ставит идейно-выдержанные спектакли, нашедшие положительный отклик в заводских и студенческих аудиториях в разных городах нашей страны.

Показателен и тот факт, что в творческих союзах крайне мало людей в возрасте до 30 лет: по данным на декабрь 1974 года, в Союзе писателей СССР из 7549 членов только 48 человек в возрасте до 30 лет (в Московской писательской организации соответственно из 1672 членов Союза — 5 человек), в Союзе художников РСФСР, например, из 8026 членов — 107 человек до 30 лет (в МОСХе соответственно из 3457 членов — 49 человек).

В силу того, что в творческих союзах и коллективах работа с молодыми ведется на недостаточно высоком уровне, отдельные лица, спекулируя на большой потребности молодежи проявить себя в общественном плане, выступают в роли поборников интересов молодежи, помогающих якобы ей преодолевать бюрократические препоны на пути к признанию. Эти лица прежде всего стремятся направить молодежь по нежелательному руслу.

Так, например, директор театра “Современник” О. ТАБАКОВ, выступая в декабре 1974 года на расширенном пленуме ВТО, заявил, что в результате неправильного воспитания в государственных театральных школах профессионализм актерского мастерства заметно падает. Выход из этого положения он видит в создании учебных студий на общественных началах по типу студии, созданной при “Современнике”, которые были бы свободны от государственного контроля, от государственных программ обучения, то есть прежде всего от политико-философского воспитания.

Учитывая, что в условиях благотворного идейного и профессионального наставничества со стороны признанных мастеров наиболее талантливые произведения создаются в молодом возрасте, становится еще более ясной необходимость изменения такого положения, когда творческие потенции молодых писателей, художников, актеров не полностью реализуются на благо нашего общества и определенная часть молодежи остается в стороне от больших задач, решаемых партией и государством.

Из окончивших в 1972–74 годах театральное училище им. Щепкина 137 молодых актеров 92 человека осталось в Москве, некоторые из них не трудоустроились или работают не по специальности.

К таким явлениям приводят серьезные недостатки в планировании подготовки и распределения специалистов в области культуры и искусства, в результате чего получается избыточный выпуск, например, искусствоведов и ощущается острая нехватка актеров музыкального театра, театра кукол, эстрады.

Увеличение контингента “неустроенных” молодых специалистов, недовольных своим положением, в известной мере создает благоприятные условия для воздействия на них враждебной пропаганды.

Таким образом, в настоящее время возникает опасность создания неуправляемых объединений творческой молодежи, существующих параллельно с официальными творческими союзами.

Иллюстрацией к такому положению могут служить проводившиеся осенью 1974 года в Москве так называемые устные литературные альманахи, организаторы которых, используя интерес к новым явлениям в искусстве, собирают на частных квартирах до ста и более человек, призывают посетителей материально поощрять их участников. Показ картин художников-авангардистов в сентябре 1974 г. в Москве также выявил тенденцию к объединению не состоящей в творческих союзах молодежи.

В последнее время в Москве возник ряд самостоятельных театральных групп, организаторами и участниками которых явились в основном выпускники творческих вузов и молодые актеры. Не получая подолгу значительных ролей в театрах, молодые актеры с привлечением любителей ставят для довольно узкого круга зрителей некоторые произведения, не разрешенные к постановке в наших театрах, в которых проповедуется мистика, секс, искаженно отражается советская действительность. Отмечается тяга к постановке пьес западных авторов, в основном драматургов театра абсурда: “Упражнение № 1”, “Упражнение № 2” С. БЕККЕТА, “Стулья” Э. ИОНЕСКО, “Сторож” Г. ПИНТЕРА.

У молодых писателей, которые годами не могут напечатать свои произведения, возникают настроения уныния и недовольства, что отрицательно влияет на их творчество и приводит к стремлению публиковаться на Западе.

Настоятельность улучшения работы с одаренной молодежью ощущается и самими представителями творческих союзов. Известно, например, что идея создания нового литературного журнала “Мастерская”, подхваченная и развиваемая Е. ЕВТУШЕНКО, вызвала сочувствие у ряда известных писателей. Однако кандидатура ЕВТУШЕНКО в качестве руководителя журнала не встречает поддержки у писательской молодежи. При этом высказываются мнения о создании при существующих журналах, таких, как “Новый мир”, “Октябрь”, “Москва”, “Знамя”, литературных приложений или аль-

манахов для публикации произведений только молодых литераторов. Это позволило бы эффективнее осуществлять отбор талантливой молодежи для пополнения Союза писателей.

Продолжая изучать процессы, происходящие в среде творческой молодежи, с целью ограждения ее от враждебного идеологического воздействия противника, Комитет государственной безопасности считает желательным поручить Отделу культуры ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ совместно с Министерством культуры и руководителями творческих союзов СССР еще раз рассмотреть меры по улучшению работы с творческой молодежью и доложить о них ЦК КПСС.

Председатель Комитета госбезопасности

Андропов

*РГАНИ. Ф. 89. Оп. 44. Д. 5. Л. 3–7. Подлинник.*

## VI. “Дело Карпинского — Лациса”

**Записка Комитета партийного контроля при ЦК КПСС  
о непартийном поведении  
Карпинского Л.В., Глотова В.В., Клямкина И.М. и Лациса О.Р.**

[24 июня 1975 г.]

Совершенно секретно

В соответствии с поручением ЦК КПСС от 23 мая 1975 года изучены материалы, поступившие в КПК при ЦК КПСС о непартийном поведении коммунистов Карпинского Л.В., работавшего в издательстве “Прогресс” заведующим редакцией литературы по научному коммунизму и опыту социалистического и коммунистического строительства, Глотова В.В. и Клямкина И.М., работавших членами редколлегии, редакторами отделов журнала ЦК ВЛКСМ “Молодой коммунист”.

Установлено, что Карпинский, находясь на важном участке идеологической работы, встал на путь антипартийных, нелегальных действий, направленных на ревизию марксистско-ленинской теории и политической линии КПСС. Им была написана и неофициально распространялась рукопись статьи “Слово тоже дело”, в которой с крайне ревизионистских позиций критикуется политическая система социализма в нашей стране и формулируется направленная на ее изменение программа действий для фракционных групп.

В этих же целях Карпинский активно занимался подготовкой издания нелегального журнала под названием “Солярис”. В первом номере его намечалось поместить статью “Слово тоже дело” и объемистый “труд” Лациса О.Р. “До тридцать седьмого”, в котором с антипартийной точки зрения рассматривается довоенный период социалистического строительства в СССР, предпринимается попытка ревизовать решения XX съезда КПСС о культе личности, представить разгром антиленинских оппозиций в партии как борьбу за власть между отдельными личностями. Весь период развития страны после смерти В.И. Ленина представлен Лацисом очернительски, как сплошная цепь ошибок и провалов. Рукопись Лациса редактировалась Карпинским и была отдана на размножение.

Комитет партийного контроля при ЦК КПСС 24 июня 1975 года исключил Карпинского из членов партии за взгляды, несовместимые со званием коммуниста и попытку организации антипартийной нелегальной деятельности. Он освобожден от работы в издательстве “Прогресс”.

Как выяснилось, Карпинский пытался втянуть в сферу своей вредной деятельности тт. Глотова, Клямкина и вел с ними сомнительные в политическом отношении беседы.

Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, отметив в своем решении, что за притупление бдительности и проявление примиренческого отношения к политически вредным разговорам Глотов В.В. заслуживает исключения из членов партии, вместе с тем учел, что он признал и осудил свое неправильное поведение, по работе и участию в общественной жизни характеризуется положительно, ранее к партийной ответственности не привлекался, объявил ему строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Тов. Клямкину за притупление бдительности и проявленную беспринципность в беседах по ряду политических вопросов объявлен выговор. Глотов и Клямкин освобождены от работы в редакции журнала ЦК ВЛКСМ “Молодой коммунист”.

В связи с нарушением партийных принципов в подборе отдельных работников в издательство “Прогресс” привлечен к партийной ответственности директор издательства т. Торсуев Ю.В., которому объявлен строгий выговор. Строго указано главному редактору Главной редакции общественно-политической литературы Госкомитета Совета Министров по делам издательств, полиграфии и книжной торговли т. Молдавану В.С.

Рассмотрен также вопрос о непартийном поведении автора рукописи “До тридцать седьмого” т. Лациса О.Р., работающего заведующим отделом проблем социалистического строительства журнала “Проблемы мира и социализма”.

За антипартийные взгляды, изложенные в этой рукописи, и передачу ее другому лицу т. Лацис заслуживал исключения из членов партии, но Комитет партийного контроля учел, что он признал допущенные им политические ошибки, дал обещание впредь занимать только партийные позиции, что по работе он характеризуется положительно, ранее к партийной ответственности не привлекался, и объявил ему строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Международный отдел ЦК КПСС внес предложение об освобождении т. Лациса от работы в журнале “Проблемы мира и социализма”.

п/п тов. Пельше А.Я.



**Решение Комитета партийного контроля при ЦК КПСС № 728  
о непартийном поведении Карпинского Л.В.**

24 июня 1975 г.

Совершенно секретно

Кому: Ленинскому райкому КПСС г. Москвы для  
ознакомления т. Карпинского Л.В. через  
парторганизацию издательства “Прогресс”;  
в дело

**РЕШЕНИЕ**

Комитета партийного контроля протокол № 728 п. 1 от 24 июня  
1975 г.

О непартийном поведении Карпинского Л.В.

(Доклад т. Петровой. Присутствовали: т. Карпинский и секретарь  
партийного бюро издательства “Прогресс” т. Клышко)

За взгляды, несовместимые со званием коммуниста, и попытку орга-  
низации антипартийной нелегальной деятельности Карпинского Лена  
Вячеславовича (партилет № 06114881) исключить из членов КПСС.<sup>1</sup>  
Председатель Комитета

партийного контроля при ЦК КПСС

А. Пельше

*РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 8315. Т. 1. Л. 73. Подлинник.*

**Справка Комитета партийного контроля при ЦК КПСС  
о непартийном поведении Карпинского Л.В.**

Июнь 1975 г.<sup>2</sup>

Совершенно секретно

В соответствии с поручением ЦК КПСС от 23 мая 1975 года изу-  
чены материалы, поступившие в КПК при ЦК КПСС о непартийном  
поведении члена КПСС т. Карпинского Л.В., работающего в изда-  
тельстве “Прогресс” заведующим редакцией литературы по научно-  
му коммунизму и опыту социалистического и коммунистического  
строительства.

Установлено, что Карпинский, находясь на важных участках иде-  
ологической работы в Институте социологических исследований  
Академии наук СССР, а затем в издательстве “Прогресс”, встал на

<sup>1</sup> Л.В. Карпинский был восстановлен в партии 25 октября 1988 г. после коллективного обращения в президиум XIX партконференции. Обращение подписали: Ю. Черниченко, О. Ефремов, М. Шатров, Ю. Карякин, Ю. Афанасьев, Б. Грушин, Ю. Левала, В. Лельчук, В. Шубкин, Е. Амбарцумов, Н. Шмелев. — *Прим. ред.*

<sup>2</sup> Датируется по штемпелю. — *Прим. ред.*

путь непартийных действий и нелегальной деятельности, направленной на ревизию политической линии партии.

Позиция Карпинского прослеживается в неофициально распространяемой рукописи “Слово тоже дело” объемом 36 стр., написанной им в 1970 году.

Автор рукописи излагает свои взгляды на существующую в нашей стране политическую систему и пытается сформулировать программу политической деятельности, направленную на ее изменение. Суть утверждений Карпинского прямо противоположна взглядам В.И. Ленина на характер социалистической революции в СССР, духу партийных решений по рассматриваемым вопросам и по существу политики партии.

Излагаемые им в рукописи концепции сводятся к следующему.

1. Повторяя один из основных тезисов ревизионистов, Карпинский заявляет, что революция в СССР была преждевременной и поэтому она не была социалистической. В результате революции в стране утвердился “бюрократический не-социализм”.

По утверждению автора, “сложилась система, присвоившая флаг социализма” (стр. 8). Строительство социализма объявляется им “обрядовыми танцами”, “имитирующими” этот процесс (стр. 11).

Это система, как отмечается в рукописи, “пролетарская” по форме и мелкобуржуазная по содержанию, возникла как реализация мелкобуржуазных настроений, лежащих на поверхности рабочего движения, вопреки коренным интересам пролетариата (стр. 7).

“Господствующий класс системы, — это, по мнению автора рукописи, бюрократическая корпорация, включающая партийный и государственный аппарат, административные структуры общественных организаций, сложившихся как монопольный собственник средств производства” (стр. 27).

Карпинский считает, что период культа личности Сталина не получил должной партийно-научной оценки.

Он пишет:

“Сталинизм 30–40-х годов был делом мерзавцев, опиравшихся на слепой энтузиазм народного большинства и беззаветную поддержку лучших, честных, веривших элементов из молодой поросли кадров. Сталинизм нынешний — по-прежнему дело мерзавцев, но оступившихся в бездонную яму народного равнодушия, или недоверия и теряющее опору в “лучшей, честной, верящей кадровой молодежи” (стр. 25).

В рукописи утверждается, что сейчас общество переживает “фарс неосталинизма”. Карпинский клеветнически заявляет, что политическая система будто бы уже утратила опору в народе, “подавляющее большинство которого питает к ней отвращение и не намерено ее защищать”... “Создались реальные предпосылки к тому, чтобы толкнуть режим колебанием слов” (стр. 8–9).

2. Автор рукописи считает необходимым вести борьбу против существующей системы, “революционно преобразовать общество, создав какой-то вариант “демократического социализма”. Программа

партийно-демократического движения должна быть, отмечает он, не петиция, а понуждение, действие не просительное, а революционное, связанное с политическим пересозданием норм командной деятельности, против засилия невежд, проходимцев, фразеров, усевшихся “не в свои сани” (стр. 28–29).

Надеясь на предстоящее революционное преобразование нашей страны, Карпинский предполагает использовать для этого в решающей мере “Слово”, то есть пропаганду излагаемых им взглядов. Этот метод действенный, как пишет он, доказал свою эффективность в 1968 году в Чехословакии. События в Чехословакии расценивает, как Парижскую коммуны XX века (стр. 22). С этой целью провозглашается намерение использовать каналы информации и навязать партии широкую дискуссию, “общую очистительную дискуссию”, которая рассматривается как путь радикальных перемен, современная форма “революционного процесса”.

В целях подготовки такой дискуссии высказывается намерение издавать сборник программных работ (“марксистскую библиотеку”) (стр. 30–31). В рукописи подчеркивается необходимость подготовки всевозможных каналов для распространения этих работ. Представляется возможным и использование “партийной печати за рубежом”. Социальной опорой движения объявляется интеллигентная часть народа.

Из текста рукописи видно, что Карпинский по существу намеревался заниматься нелегальной деятельностью, сколачиванием группы лиц, подвергающих ревизии политическую линию партии по многим вопросам.

В последнее время он активно занимался подготовкой нелегального издания журнала под названием “Солярис”, в первом номере которого предполагал поместить рукописи свою “Слово тоже дело” и О. Лациса “До 1937”, фактически рассматривающую с антипартийных позиций довоенный период социалистического строительства в нашей стране. С этой целью рукопись О. Лациса правилась Карпинским и была отдана на размножение. Правка и послесловие, написанное Карпинским к рукописи Лациса, содержат ряд грубых политических ошибок, утверждений, противоречащих взглядам партии. В них, в частности, высказывается положительная оценка порочным работам Солженицына и Р. Медведева.

С содержанием рукописи Лациса Карпинский ознакомил своих близких друзей, членов КПСС Лисичкина Г.С. и Гефтера М.Я., а с текстом своей работы “Слово тоже дело” ознакомил Р. Медведева и Ю. Леваду.

Карпинский поддерживает систематическую связь с Р.А. Медведевым, исключенным из членов КПСС в 1969 году за взгляды, несовместимые со званием коммуниста, и действия, наносящие политический ущерб делу партии. Знаком со всеми его идейно порочными материалами, имевшими нелегальное распространение в нашей стране и опубликованными за рубежом.

В объяснении, представленном в КПК при ЦК КПСС, Карпинский теперь пишет, что его действия были направлены на накопление систематизированного портфеля для последующего якобы внесения их в ЦК КПСС с предложением восстановить идею X съезда РКП (б) о “дискуссионных сборниках” и включить подходящую часть собственного “портфеля” в числе публикаций. В то же время он осуждает свои прежние рассуждения о подготовке материалов для публикации в обход партийных инстанций, в некий “кризисный момент”, с целью развязать силы перемен в “напряженных структурах”, и прочее, которые содержатся в написанном им тексте “Слово тоже дело”. Данную рукопись в настоящее время оценивает как безответственную болтовню.

Однако Карпинский ведет себя неискренне, категорически отказывается назвать 8–10 лиц, для ознакомления которых размножались порочные в политическом отношении рукописи его и Ладиса.

Следует отметить, что Карпинский в 1967 году был освобожден от обязанностей члена редколлегии и редактора газеты “Правда” по отделу культуры и быта за нарушение партийной этики и опубликование в газете “Комсомольская правда” политически ошибочной статьи “На пути к премьеру”.

Бюро партийной организации издательства “Прогресс” в характеристике Карпинского за время работы в издательстве (с мая 1973 г.) отмечает: “При правильном отношении к своим служебным и общественным обязанностям, он по ряду важных вопросов политики партии придерживается взглядов и быта за нарушение партийной этики и опубликование в газете “Комсомольская правда” политически ошибочной статьи “На пути к премьеру”.

Данные о трудовой деятельности Карпинского Л.В. видны в прилагаемой выписке из учетной карточки.

Вопрос о партийной ответственности Карпинского Л.В. вносится на рассмотрение КПК при ЦК КПСС.

Ответ. контролер КПК при ЦК КПСС  
Инструктор КПК при ЦК КПСС

Г. Петрова  
М. Казаков

*РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 8315. Т. 1. Л. 69–72. Подлинник.*

### **Из рукописи Л. Карпинского “Слово тоже дело”<sup>3</sup>**

[1969]

Автор настоящей записки исходит из предположения, что известная мысль Ленина “Слово — тоже дело” в условиях нашей современной действительности приобретает новое значение.

<sup>3</sup> Опубликован на английском языке в книге: An End to Silence / Ed. by S. Cohen. W.W. Norton & Company. New York. London, 1982 под псевдонимом Л. Окунев. На русском языке публикуется впервые.

Неверие — характерная черта умонастроения интеллигенции в период реакции. Сомневаются в себе, своих близких, достоинствах своего народа, в успехе любого хорошего дела и особенно в эффективности слова — первейшего гражданского оружия мыслящих. Никто не пытается отрицать наличия веских оснований для подобного рода настроений: период активного критического познания (в дозволенных порциях в печати и без всяких границ в “застольном быте”) наших общественных химер сменился после 1964 года усталостью после всей этой уймы собеседований, их бессилья, а затем практическим поражением сторонников XX съезда. Поражение явилось закономерностью, требующей особого разбора. Так или иначе, мало кто нынче отдает должное предыдущему, казалось бы, потерянному времени, которое тем не менее было временем существенных приобретений, временем старта необратимых процессов разложения сталинизма.

Часть нашей научной и идеологической интеллигенции вновь втиснулась в “детские туфельки” профессиональных радостей и самоцельной аполитичности, что к тому же оказалось обывательски удобным. Однако многие из тех, кто нас особенно интересует, продолжают мучительный поиск, почти, однако, не различая впереди никаких просветов. И не в последнюю очередь потому, что мыслят возможности перемен в наезженных категориях, по шаблону, по одним только историческим аналогиям.

Но история — большая оригиналка. В том числе и в формах, которые она “изобретает” для социальных революций. Тут мы вполне разделяем точку зрения авторов известного сборника “Историческая наука и некоторые проблемы современности”, подчеркнувших *постепенное* складывание и такой формы общественного движения, как революция. В отличие от всех известных из прошлого революционных преобразований, предстоящее в нашей стране может стать в решающей мере преобразованием посредством *слова*. Идея, овладевшая массами, ныне способна проявить себя “материальной силой” в почти что *прямом* смысле. Условно говоря, если прадеды, рассчитывая изменить образ правления, не иначе как выводили на Петровскую площадь мятежные полки, а деды и отцы звали на улицы “железные батальоны пролетариата”, то современный революционер должен вывести в каналы информации “отряды” точно стреляющих идей. Штурм Зимнего, как метод революционного действия, продолжал, репродуцировал штурм Бастилии. Штурм наших бюрократических “твердьнь” будет *радикально* иного рода: они станут разваливаться под ударами самой мысли, выраженной в слове, но не ставшей ни строем вооруженных солдат, ни мятежной толпой, ни шеренгой революционных матросов, ни залпом “Авроры”. Не “в топоры” предстоит призвать; наша работа призвана подготовить “склады” оружия небывалого действия.

Вот этот-то “идеализм”, доказавший всю свою реалистичность в Чехословакии (так называемая “ползучая (контр)-революция”), было

бы полезно обсудить во всех его объективных, осязаемых предположениях.

Реакционные периоды — периоды реакционных интеллигентских сомнений и “отказов”. История наводняется фатальными предопределениями. Над ней развешивают всякого рода заклятия, в ней ищут безвыходную, вечную круговерть. “В Нидерландах революция кончилась наследственным штат-гальтерством, в Англии — протекторатом, во Франции — термидором и империей (дважды)”. К этому прибавляются особые заклятия русской истории: тупые столетия татарского ига, кровавое наследие Грозного, вышущее из рук дело Петра, глухое наследие казарм Павла и Николая, дыба и дым сжигаемых книг, поражение декабристов, казнь Разина и Пугачева, убийство Пушкина, изгнание Герцена, ссылка Чернышевского, стена непонимания перед народниками... Охлос Октября — охлос сталинизма, “царское”, холопское сознание народа... Просто и ясно, ясно и просто! В прошлом заложено все, что есть, и все, что еще будет. Истории отказывается в *историческом* развитии.

Мода бывает везде, бывает она и в исторических толкованиях. Что касается нашего бюрократического самовластия, то вряд ли правильно и плодотворно выводить его из традиционного российского самодержавия, а тем более сводить к простому продолжению роковой традиции. Если “дурная наследственность” и сыграла свою роль, то совсем не ту и не так, чтобы *подменять ею собственные* причины и закономерности разрастания бюрократического (не) социализма. Как бы ни прельщала нас новаторская концепция революции по “перевернутой схеме”, сколько бы ни прав был Ленин, простив меньшевиков, доказывая возможность “обратного исторического порядка”, социалистического преобразования, нам не удалось избежать *отдаленных* последствий переиначивания исторической логики, обойти “глубинные мины”. На мой взгляд, их точнее всего “запеленговали” однажды Маркс и Энгельс. Отвечая на требования авантюристической фракции в Союзе коммунистов о немедленном захвате пролетариатом политической власти, Маркс сказал: “Между тем как мы говорим рабочим: вам, может быть, придется пережить еще 15, 20, 50 лет гражданских войн и международных столкновений не только для того, чтобы изменить существующие условия, но и для того, чтобы изменить самих себя и сделать себя способными к политическому господству, вы говорите наоборот: “Мы должны тотчас достигнуть власти или же можем лечь спать”. В то время как специально указываем немецким рабочим на неразвитость немецкого пролетариата, вы самым грубым образом льстите национальному чувству и сословному предрассудку немецких ремесленников, что, разумеется, популярнее. Подобно тому, как демократы превращают слово *народ* в святыню, вы продельваете то же самое со словом *пролетариат*. Пролетариат, если бы он пришел к власти, проводил бы не непосредственно пролетарские, а мелкобуржуазные меры. Наша партия может прийти к власти лишь тогда, когда условия позволят проводить в жизнь *ее* взгляды”.

Дополняя эти мысли Маркса, Энгельс впоследствии писал Вейдемейеру: “Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы в конце концов проводить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюционным и специфически мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс, связанные своими собственными, в известной мере ложно истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, мы будем вынуждены производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем головы, — надо надеяться, только в физическом смысле, — наступит реакция, и прежде чем мир будет в состоянии дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать не только чудовищами, но что нам было бы наплевать, но и дураками, что уже гораздо хуже”. [...]

Нет нужды доказывать, что неразвитость российского пролетариата не уступала неразвитости немецких рабочих, которой так опасался Маркс, и что ремесленных предрассудков и мелкобуржуазных, *получательских* стремлений, усиленных войной, в русском рабочем было тоже предостаточно. Напомним хотя бы хрестоматийный пример с “сапожником фабрики Алиханова”, нарисованный Сталиным и, как показали последующие годы, *взятый* им за исходный образец его политической и моральной практики. Иными словами, наша система есть, так сказать, непролетарская (мелкобуржуазная) истина, сорванная с пролетарских уст; есть извлечение, усугубление и государственное оформление всего “заднего”, ремесленного, предрассудочного, антиобщественного, мещанского, что сохранялось в пролетариате и утрировалось в крестьянской стране.

Бюрократический “социализм” возник как возмездие истории за переворачивание ее порядка, реализация “непосредственно” не наших, а “специфически мелкобуржуазных” чаяний и наслоений<sup>4</sup>, лежащих на поверхности рабочего движения, в числе *первых ожиданий* пролетарской массы — вопреки их коренным историческим интересам. В упорной, кровавой борьбе с теми, кто пытался отстоять эти интересы, с потерей неисчислимых голов (к сожалению, не только в физическом смысле) победил пролетарский по *форме* и мелкобуржуазный по *содержанию* общественный режим. [...]

Сюда, конечно, задним числом и с известными основаниями можно примонтировать традицию российского самодержавия. Но в ней ли дело? Не правильнее ли считать, что случившийся мелкобуржуазный, казарменный *выброс* пролетарского движения лишь сходен во внешних признаках с деспотиями прошлого, имея под собой *совершенно*

<sup>4</sup> Так в тексте. Скорее всего опечатка. Следует читать: настроений. — Прим. ред.

иные классовые основания и *абсолютно* иное конкретное содержание? Поглотившая наши поколения *издержка* скачкообразного хода истории не имеет ничего общего с мистическими предопределениями. В “билетной кассе” истории мы просто переплатили “за скорость” и “за дальность” (азиатскую окольность) социалистического маршрута.

Принципиальное значение этой оценки нашего результата в его собственных, несводимых к прошлым схемам, основаниях заключается в том, что она позволяет видеть не только начала и законы утверждения системы, но и законы ее разложения и гибели, ее преходящий характер.

По нашему глубокому убеждению, “буржуазный запас” в социализме” ныне “внутри кончен”, он *перебродил* и утратил главные опоры в народе. Те “15, 20, 50 лет гражданских войн и международных столкновений”, о которых говорил Маркс, состоялись. Правда, произошло это внутри системы, что имеет свои плюсы и минусы. Ситуация, когда “реакция выполняет программу революции”, являясь ее “душеприказчиком”, повторилась. Но система *зависла* исключительно на своих собственных “блоках” и “стропилах”, на своем аппарате самовластия, без всякого серьезного фундамента — над *размытой* почвой. Она никому не может доказать своей плодотворности и лишь инстинктивно *самосохраняется*.

Фарс неосталинизма, который мы ныне переживаем, является прямым выражением “илохих предчувствий” самодуров. Они жаждут былой “сталинской” крепости режима, но находят для этого слишком хилые основания.

Чем же питаются столь “бодрые” выводы? Дело прежде всего в ином, новом *народе*. Понятия “советский народ” и “советский человек”, органически связавший свою личную судьбу с *социализмом*, не являются (вопреки дешевому скептицизму) надуманными пустотами. Однако, по всеобщей ныне догадке, не с этим “социализмом”. Характерной особенностью именно всенародного сознания сегодня является, так сказать, “опытнический” протест — неприятие действительности в ее частных, знакомых каждому проявлениях с позиции обещанных (и выстраданных) идеалов социализма. И даже социальная апатия, чаще всего поражающая в молодежи, как правило, свидетельствует об углублении ощущения *подлога*: “езде так” и “вообще так”. Это — негативное восхождение к общему корню, обобщение со знаком минус, но именно обобщение.

Разумеется, на этой оси возникают разного рода человеческие ничтожества, однако в общем балансе их немного. Разумеется, по этому случаю зародилась массовая практика подпочвенного приспособления, “подпольная” система социальных связей, противостоящая связям государственно-бюрократическим и позволяющая людям работать, получать за работу, покупать, просто-напросто существовать. Но эта *вынужденная* мелкомошенническая “мафия” со своим самодельным “хозрасчетом” — не грабительского, а оборонительного, защитного



назначения: она изобретена для сопротивления бюрократическому грабежу и в качестве способа существования в его условиях. При ее содействии “трабят” лишь в той мере, в какой недополучают, и только потому, что все плохо лежит. Этот суррогат производства и обмена тем не менее не может никого удовлетворить: он либо разлагает, либо отвергает. В массиве своем народное сознание напоминает иссохшую, жаждущую “влаги” почву, которая лишь отчасти уже совсем разрушена и не способна родить. Пока еще разочарование в результатах Октября таит некий созидательный потенциал, в наглядно-наивном виде. “Если бы встал Ленин...”, т.е. если бы нашлась сила *исправления*, сила перемен. Нет никаких оснований полагать, что идеи подлинного социализма будут приняты народом за “эбо” (волшебный сверток, подброшенный для навязывания чуждой воли), как это случилось когда-то с крестьянами, слушавшими народников, или с рабочими, не воспринявшими рациональные зерна агитационизма в речах оппозиционеров.

С другой стороны, нельзя не учитывать новый уровень культуры, образованности народа, его способности к восприятию научных концепций. Последним нет нужды придавать форму агитационных поделок, которые бы “зацепили” тяжелые маховики безграмотного, неразвитого мышления “рядовых” революций. Научная пропаганда отныне сама есть агитация. Решающее значение приобретает апелляция к интеллектуальной совести человека, не к социальному инстинкту, а к социальному разуму. (Кстати, в этом одна из надежд на *неискаженный* результат нового движения, ибо идея не станет другой, деформированной по сравнению с ее смыслом, материальной силой, что неизбежно происходило, когда она овладевала *темной* массой, массой “в себе”). “Обрядовые танцы”, имитирующие строительство социализма, далее не будут отождествляться с действительностью.

К тому же в традиционное представление о поляризованном “народе” кучка просвещенных и просвещающих интеллигентов (или властвующих манипуляторов его сознанием) время внесло коренные поправки. Существенной и быстро возрастающей частью “народа” стала сама интеллигенция, сам *полюс* просвещения и знаний.

Но дело не только в количественных характеристиках. В сфере научного творчества, на стадиях “исследования”, “проектирования” и “конструирования” производится ныне основная доля совокупного общественного продукта, что, как известно, связано с превращением науки в непосредственную производительную силу. Научно-творческая деятельность не просто расширила свои позиции, но становится преобладающей. С известным допуском можно утверждать, что огромная масса интеллигенции как раз и составляет тот рабочий класс (“совокупного рабочего”) в главном общественном смысле понятия, с которым марксизм связывает историческую миссию этого отряда человечества, предопределяемую самим его положением в производстве и ходом развития труда.

Остается ли что-либо от заявления авторов “Коммунистического

манифеста”, будто *только* пролетариат из всех общественных классов имеет билет в будущее и способен прогрессировать, если под пролетариатом по-прежнему разуместь мучеников физического труда и “непосредственного изготовления”? [...]

Общий вывод, по-видимому, состоит в том, что основная часть “народа” расстанется с “бедными формами деятельности” (Маркс) и осваивает ее специфические человеческие особенности.

Решающее значение в ней приобретают такие стимулы, как возможность самовыражения, творческой инициативы, идеальная цель, индивидуальный проект и условия для его реализации, стремление разрешать противоречие между познанным и непознанным, правдой и неправдой о действительности, потребность в неограниченной информации и в саморазвитии. Через науку и информацию работник связывается со всеми сторонами общественной жизни, ассимилирует ее влияние и испытывает ее состояние как “свое” собственное. *Социально-духовные* факторы выдвигаются на первый план и, следовательно, *демократия* (как единственный пригодный механизм конструктивной свободы) превращается в насущное общественное условие и элементарную предпосылку эффективного производства. [...]

С другой стороны, протекает встречный процесс огромной важности. Стало уже банальностью подчеркивать роль современных средств массовой коммуникации. Наши казенные пропагандисты сами того не подозревают, как близки они к истине, сравнивая страну и ее население с одной, “созванной” воедино аудиторией, которая вместе слышит, вместе видит, вместе узнает и способна была бы вместе *мыслить*. Сегодня мощь средств информации преимущественно служит созданию “массового общества” с его стандартами мышления и беспардонными манипулированиями народным сознанием. Но не исключено совсем другое сплочение и *другое* единство. “Три минуты правды” (свободы слова и печати) сегодня значили бы для распространения (точнее — оформления) нового социального понимания куда больше, нежели десятилетия самой упорной журнальной пропаганды или самого беззаветного агитаторского хождения в народ в условиях прошлого либо начала нынешнего века.

Таким образом, известный спор между Добролюбовым и Писаревым — о первенстве стихийных народных стремлений перед научными знаниями, либо научных знаний перед стихийными стремлениями, — разрешается как бы в пользу *обеих* сторон. Исчезают исходные посылки спора, преобразуются его, казалось, незыблемые параметры; старая и досель неверная формула “знания правят миром” ныне омолаживается и выглядит не такой уж заведомой ложью.

Центральным пунктом наших рассуждений является мысль о *принципиальных* изменениях как раз в “бытии” современного общества — подобных тем, что когда-то означало возникновение *членораздельной* речи как сугубо *реального* фактора человеческого общения и объективного рычага становления человечества. Мысль о возникновении

некой “второй сигнальной системы” общественного бытия, ставшей несомненной *физической* действительностью социального организма и способной регулировать его “вегетатику”. Наши танки в Праге, если хотите, были *анахронизмом*, “неадекватным” оружием. Они “стреляли” по ... идеям без всякой надежды поразить цель. Они “справились” с чехословацкими событиями приблизительно так же, как отдельные рептилии “справлялись” известное время с наступлением эры млекопитающих. Рептилии ловили ртом воздух, лязгая зубами в том самом эфире, который буквально кишел “планктоном” обновления. Одновременно скованные своими природными инстинктами, они искали “склады оружия” и старательно оккупировали “почту” и “телеграф”. Ударом кулака в челюсть мыслящего общества будто погасили, “словили” его мысль.

Проведем некоторую аналогию (разумеется, только апалогию) с технической теорией взрывов, знающей два метода. Один — сильное тепловое давление на материал; воспламеняясь от постороннего воздействия, он взрывается. Другой — направленное колебательное излучение, рассчитанное на ответный резонанс *внутри* напряженных, едва связанных структур, и в результате их распад. Как легко понять, нас интересует аналогия со вторым случаем. Что смог противопоставить “напряженный” режим Новотного в январе 1968 года “излучению”, начатому съездом чехословацких писателей, а затем переброшенному в руководство партии, аппарат которой на 95% считал главным тормозом социализма в стране отсутствие демократии (обследование газеты “Руде право”)? Ровно ничего. Устремившиеся в “пробоины” бюрократического всеведения “тысячи слов”<sup>5</sup>, при всей своей путаности и хаотичности, целиком парализовали защитные силы бюрократии. Режим начал расползаться на глазах и даже до того опасного предела, когда утрачиваются самые рычаги какого бы то ни было социального регулирования. Оказалось, вне методов абсолютного всевластия система *ничего не значит*, за ней *никто не стоит*. И если бы не вмешательство наших рептилий, вернувших на прежние места своих местных сородичей, мы бы уже, вероятно, имели совсем другую социалистическую Чехословакию. Но и прильнув вновь к власти, новотновская бюрократия эту власть на деле *не вернула*. Без единого выстрела, одним росчерком аналитического пера силы обновления панесли ей смертельный удар. “Вторая сигнальная система” общественного действия продемонстрировала свое принципиальное превосходство перед “безусловными рефлексам” бюрократического механизма.

Опыт Чехословакии — этой Парижской коммуны XX века — является для нас ключевым.

Вопрос — в конкретном анализе конкретных тенденций и социально-политических сил в стране. И прежде всего — в понимании ха-

---

<sup>5</sup> Чешский документ назывался “Две тысячи слов”. — *Прим. ред.*

рактера и внутренних пружин того, что мы до сих пор в общем негативном виде именовали “бюрократией”. [...]

В целом бюрократическая корпорация, включая партийный государственный аппарат, административные структуры в общественных организациях, несомненно, сложилась как монопольный собственник средств управления людьми и вещественными процессами, а значит — и средств производства. Суть не в том, что она управляет, а в том, что присваивает командные функции *в качестве частной привилегии* и поэтому *не может* управлять хорошо. Однако внутриерархические отношения в корпорации объективно ставят ее членов в *двойственное* положение: соучастников монополистической фаланги и, следовательно, совладельцев, *собственников*, а с другой стороны — *тружеников* управления и, следовательно, “скрытых” коллективистов. При этом отдельный “частичный” работник управления — всегда *мелкий* собственник, *мелкий* “хозяйчик”, со всех сторон ограниченный всеобщей внутрикорпоративной регламентацией. Борьба этих двух тенденций с неизменным до сих пор перевесом собственника над тружеником, “субстанции” бюрократии над личными достоинствами того или иного человека, прослеживается на протяжении всего полувека и составляет решающий подтекст нашей политической истории. И все же не исключено развитие, когда, пользуясь методологией ленинской формулы, труженик может быть *отделен* от собственника и, осознав, что на отдельном “клочке” ему не выжить, склонится к социалистическому, антибюрократическому *кооперированию* управления, иными словами — к демократизации.

Говоря более определенно, каждый класс связан с теми или иными формами хозяйствования, в том числе связана с таковыми и управленческая бюрократия. Терпят крах формы хозяйствования, “разоряются” их носители, ища спасения в *переходе* на сторону новых хозяйственных форм и новых социальных сил. Речь в данном случае идет о переходе к экономическим методам управления, политическим иносказанием которых является не что иное, как *демократия*. [...]

В дальнейшем возможны несколько вариантов развития событий.

Идеальный случай заключался бы действительно в развертывании общепартийной (затем неизбежно общенародной) дискуссии — устной и печатной.

Такая дискуссия, на наш взгляд, — *незаменимый* и, пожалуй, *единственный* путь перемен. Она и есть современная форма революционного процесса через “вторую сигнальную систему”. Только дискуссия сразу и надежно парализует бюрократический абсолютизм, как его заведомое отрицание, и дает несокрушимое преимущество *идейным* элементам, которым есть что сказать. В дискуссии инструмент, способ преобразований *совпадает* с их существом и целью: в своей основе именно дискуссия служит прообразом того общественного состояния, которое впоследствии составит обстановку в партии

и стране в виде демократической нормы. Будучи разрушительной в отношении бюрократии, дискуссия одновременно — работа созидательная; она в себе самой несет “строительный материал” новой системы. Только путь дискуссии позволяет произвести глубокие социальные изменения без нарушения повседневного хода производства и обмена, исключая развал и разрыв коренных общественных связей. Она и только она гарантирует скоротечное “сцеживание” и консолидацию всех здоровых сил партии и страны и их размежевание со своим преступным прошлым, т.е. позволяет “обратное сотворение” ценностей Октября и социалистического доверия народа. До дискуссии не может быть воссоздано марксистское течение в партии, — оно сорганизуется лишь в ходе дискуссии. Дискуссия есть доказуемая *легальная*, признанная норма деятельности всякой марксистской партии. Дискуссия обеспечивает самую многочисленную армию революции, не поддающуюся истреблению ни картечью, ни танками, ни тюрьмами, ни какими-либо другими орудиями политического и физического изничтожения.

С общенародной дискуссией мы связываем концепцию революционного действия в том генерализующем смысле, в каком, например, понималась в результате 1905 года “всеобщая стачка”. Сегодня, во второй половине XX века, в условиях нашей действительности нет оснований отождествлять эту точку зрения с бернштейнианской абсолютизацией “культурных форм” борьбы в противовес “уличным революциям”, ревизионистское содержание которой было несомненно в условиях Европы конца XIX века. Здесь не возврат к обветшалым теориям, а прогресс жизни, сбрасывающий обветшалые формы. Движению масс мы не противопоставляем движение полемической мысли, но думаем, что первое ныне находит себя через второе.

Задачи в дискуссии состояли бы в ее непрерывном расширении и углублении в сторону все более последовательных социалистических выводов; в содействии *полному* разгрому и окончательному захоронению сталинских концепций в общественных науках и массовом сознании; в решительной борьбе с малейшими антисоциалистическими или просто антиобщественными отклонениями.

Полагаем подобный вариант оптимальным — необходимым и достаточным — для завоевания исходных рубежей нового социалистического развития.

Второй вариант представляется, так сказать, промежуточным. Дело сведется к верхушечному обсуждению принципиальных проблем. Известное расширение демократических свобод, если обсуждение даст перевес в этом направлении, должно быть энергично использовано для активной пропаганды задач обновления с постоянным указанием на половинчатость допущенных шагов и необходимость дальнейших преобразований. Развитие процесса с неизбежностью подведет вновь к пограничной черте, на которой возникает все та же потребность в общей очистительной дискуссии. Свертывание процесса вер-

нет нас к исходному положению со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Здесь нам остается лишь утешаться тем, что наше дело не пропало, что оно “разбудит” новые слои партийной интеллигенции, которые повторят попытки с большим успехом. Хватило бы и того, что мы разделим роль хранителей и переносчиков марксистской “ереси”.

Но уж коли на то пошло, мы также не лишаем себя практических перспектив. Поэт мечтал, “чтоб к штыку приравняли перо”. Думается, мечта становится все более жизненной, и область политики не составит исключения.

*Личный архив Л.В. Карпинского. Копия.*

### **Записка Комитета партийного контроля при ЦК КПСС о непартийном поведении Лациса О.Р.**

[Июль 1975]

Совершенно секретно

При изучении материалов, поступивших в КПК при ЦК КПСС об антипартийных действиях Карпинского Л.В., стало известно о рукописи члена КПСС т. Лациса О.Р., заведующего Отделом проблем социалистического строительства журнала “Проблемы мира и социализма”, в которой с ревизионистской позиции пересматривается политическая линия партии за весь довоенный период социалистического развития.

ЛАЦИС Отто Рудольфович, 1934 года рождения, член КПСС с 1959 года, партбилет № 13943015, кандидат экономических наук. С января 1971 года работает в журнале “Проблемы мира и социализма”.

В 1972 году Лацис написал рукопись “До тридцать седьмого” на 187 страницах, позднее несколько дополнил ее. В этой рукописи сделана попытка ревизии решений XX съезда КПСС о культе личности И.В. Сталина, его роли в истории Коммунистической партии и Советского государства.

Все политическое развитие страны, борьба партии против оппозиционеров рассматриваются им лишь как борьба за власть между отдельными личностями.

В рассматриваемой рукописи Лацис пишет, что через два месяца после ликвидации троцкистской оппозиции Сталин якобы полностью взял на вооружение взгляды и методы ее действий (стр. 24–41).

Значительная часть рукописи посвящена итогам первых пятилеток (стр. 10–15). Отмечается, что в результате завышения темпов первой пятилетки значительно снизились темпы второй, образовалась диспропорция в экономике, возник товарный голод. В ускоренной коллективизации сельского хозяйства и политике ликвидации кулачества как класса Лацис усматривает отступление от ленинско-

го учения о медленном вращении крестьянства в социализм. Результатом ускоренной коллективизации и насильственных методов ее свершения, по мнению автора, были голод и введение карточной системы.

По утверждению Лациса, никакого правого уклона в партии будто бы не существовало, он был придуман Сталиным в борьбе за власть (стр. 92–109).

В работе “До 1937” по существу критикуется ленинский призыв в партию, рассматривается это как расширение партии за счет неоформившейся части рабочего класса для “разводнения ее кадрового состава” (стр. 134–135).

Симпатии автора, как это ни странно, чаще всего оказываются на стороне оппозиционеров. В рукописи ставится даже такой вопрос: было бы для партии лучше, если бы победил Троцкий? И автор отвечает: “... Здесь тот редкий случай, когда можно утверждать с большой долей уверенности: хуже не было бы. Сталин осуществил именно то, что Троцкий не раз предлагал” (стр. 176).

Лацис требует дальнейшего развертывания критики Сталина, призывает защитить советский опыт построения социализма, отделив его от сталинизма.

Весь период социалистического развития после смерти В.И. Ленина в рукописи изображается только с негативной стороны, как сплошная цепь ошибок и провалов. В рукописи даже не упоминается о выдающихся достижениях советского народа под руководством партии в период первых пятилеток.

Занимаясь очернительством действий Сталина, Лацис подчеркивает имевшиеся неудачи Советской Армии в первый период Отечественной войны, в то же время ни слова не говорит о разгроме немецко-фашистских войск и героической победе советского народа над фашизмом.

В своем объяснении в КПК при ЦК КПСС Лацис пишет: “... я сознавал, что такая работа не может быть опубликована, но испытывал потребность выяснить для себя и систематизировать понимание ряда сложных вопросов, ответ на которые не мог найти ни в имеющейся литературе, ни в самой текущей хозяйственной практике...”. Рукопись напечатана Лацисом на пишущей машинке в трех экземплярах, один из которых находился в г. Праге, второй у его родных в г. Риге, третий передан Карпинскому Л.В. Передачу Карпинскому рукописи в 1974 году Лацис объясняет желанием услышать оценку, проверить верность своих мыслей. Утверждает, что о правках и написанном послесловии Карпинским к его работе он не знал. О намерении Карпинского размножить рукопись узнал якобы только в январе текущего года. Признает, что должен нести ответственность за написание этой работы и за то, что дал ее читать Карпинскому. Передачу рукописи Карпинскому расценивает как поступок по меньшей мере легкомысленный.

[...] За время работы в журнале “Проблемы мира и социализма” характеризуется положительно, участвует в общественной жизни коллектива, член бюро партийной организации советской части редакции.

Ответ. контролер КПК  
при ЦК КПСС  
Инструктор КПК при ЦК КПСС

Г. Петрова  
М. Казаков

*РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 8315. Т. 2. Л. 62–64. Подлинник.*

**Аннотация на рукопись О. Лациса  
“До тридцать седьмого. Опыт документального анализа”**

[Не позднее 16 июня 1975 г.]

Секретно

Рукопись состоит из введения, четырех разделов (1. Сталин против Сталина; 2. Бухарин против Бухарина; 3. Каменев и Зиновьев против Каменева и Зиновьева; 4. Сталин против Ленина) и послесловия редактора.

Автор рукописи заявляет, что главная цель рукописи — анализ корней культа личности Сталина, как средства его окончательного развенчания (стр. 1). Основная идея рукописи — после XV съезда партии Сталин по всем главным линиям ревизовал ленинизм, совершил антиленинский политический переворот. Репрессии, нарушения законности рассматриваются как логическое следствие этого переворота.

В рукописи рассматривается эволюция взглядов и методов борьбы Сталина, Зиновьева, Каменева, Бухарина и в меньшей степени — Троцкого.

Ленин характеризуется как образец правильного и творческого подхода к развитию теории социализма и к строительству социализма. Его труды широко цитируются в рукописи (так же как высказывания Сталина, Бухарина, Каменева, Зиновьева). [...]

Фактически рукопись пытается ревизовать партийную оценку всего довоенного периода социалистического строительства, в частности оценку троцкистско-зиновьевской оппозиции, правого уклона, хода и темпов индустриализации и коллективизации.

Руководитель группы консультантов  
Отдела пропаганды ЦК КПСС

Б. Владимиров

Консультант Отдела пропаганды ЦК КПСС

В. Панов

*РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 8315. Т. 2. Л. 7, 15. Подлинник.*



**Решение КПК при ЦК КПСС  
о непартийном поведении т. Лациса О.Р.**

4 июля 1975 г.

Совершенно секретно

Кому: Фрунзенскому райкому КПСС г. Москвы  
для ознакомления т. Лациса О.Р.  
через парторганизацию редакции газеты “Известия”;  
Международному отделу ЦК КПСС;  
Сектору учета руководящих кадров  
Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС;  
в дело.

**РЕШЕНИЕ**

Комитета партийного контроля протокол № 735 п.1 от 4 июля 1975 г.

О непартийном поведении т. Лациса О.Р.  
(Доклад т. Петровой. Присутствовал т. Лацис)

За антипартийные взгляды, изложенные в рукописи “До тридцать седьмого” и передачу ее другому лицу, т. Лацис О.Р. заслуживает исключения из членов КПСС.

Учитывая, что он признает допущенные им политические ошибки, обещает впредь в своей работе стоять только на партийных позициях и что по работе в журнале “Проблемы мира и социализма” характеризуется положительно, ранее к партийной ответственности не привлекался, члену КПСС т. Лацису Отто Рудольфовичу (партбилет № 13943015) объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку<sup>6</sup>.

Председатель Комитета  
партийного контроля при ЦК КПСС

А. Пельше

*РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 8315. Т. 2. Л. 65. Подлинник.*

---

<sup>6</sup> Выговор был снят 11 октября 1978 г. — *Прим. ред.*

## VII. СМИ, читатель, власть: мозаика цифр и фактов

### **Постановление Секретариата ЦК КПСС о журнале “Журналист” и освобождении Е.В. Яковлева от должности главного редактора**

26 апреля 1968 г.

Совершенно секретно

Ст № 50/5с

— *О серьезных недостатках в работе журнала “Журналист”*

(т.т. Суслов, Зимянин, Яковлев Е., Устинов, Соломенцев, Куприков, Кулаков, Пельше, Капитонов)

1. Отметить, что редакция журнала “Журналист” допускает серьезные ошибки в работе, неудовлетворительно освещает практику партийного руководства печатью, радио и телевидением. В журнале нередко публикуются идейно слабые, неправильно ориентирующие работников печати материалы. Редакция безответственно относится к публикации иллюстраций, нередко помещая на страницах журнала фотографии и репродукции картин модернистского и натуралистического характера.

2. За неудовлетворительное руководство редакцией журнала “Журналист” и допущенные в журнале серьезные ошибки освободить т. Яковлева Е.В. от обязанностей главного редактора журнала и члена редколлегии газеты “Правда”.

3. Поручить Отделу пропаганды ЦК КПСС, редколлегии газеты “Правда” и правлению Союза журналистов СССР внести предложение о главном редакторе журнала “Журналист” и укрепить редакционную коллегию журнала.

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 4. Оп. 19. Д. 101. Л. 11. Подлинник.  
Опубликовано в: “История советской политической цензуры”.  
С.187–188.*

**Письмо в ЦК КПСС о постановлении  
собрания коммунистов редакции газеты “Советская Россия”**

27 ноября 1968 г.

Направляем в порядке информации выписку из постановления собрания коммунистов редакции газеты “Советская Россия” от 15 ноября 1968 г.

Секретарь партийной организации редакции  
газеты “Советская Россия”

В. Щеголев

**Выписка из постановления  
собрания коммунистов редакции газеты “Советская Россия”**

от 15 ноября 1968 г.

п.5. Партийное собрание считает необходимым информировать ЦК КПСС о неправильном поведении работников Центрального телевидения, предоставивших экран для выступления с рекламой сомнительных исторических розысков бывшему главному редактору журнала “Журналист” Яковлеву Е.В., освобожденному недавно от работы за грубые политические ошибки. Получается демонстрация несогласия с решением ЦК.

Председатель собрания  
Члены президиума

Д. Иванов  
В. Московский  
А. Шаронов

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 25. Л. 218–219. Подлинник.*

**Записка ЦК КПСС по письму  
из редакции газеты “Советская Россия”**

18 декабря 1968 г.

Секретарь партийной организации редакции газеты “Советская Россия” т. Щеголев сообщает, что собрание коммунистов редакции приняло решение информировать ЦК КПСС о том, что работники Центрального телевидения рекламируют бывшего главного редактора журнала “Журналист” Яковлева Е.В., освобожденного от работы за грубые политические ошибки.

Высказанные на партийном собрании редакции газеты “Советская Россия” замечания признаны справедливыми и сообщены Председате-

лю комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР т. Месяцеву и заместителю главного редактора газеты “Известия” т. Филоновичу (в этой газете тов. Яковлев также выступает с большими саморекламными статьями). При этом было обращено внимание тт. Месяцева и Филоновича на необходимость более строгого отбора материалов для показа по телевидению и публикации в печати. Тов. Яковлев приглашался в Отдел пропаганды ЦК КПСС, где ему указано на то, чтобы он впредь не занимался саморекламой.

Тов. Щеголеву ответ дан в личной беседе.

Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС  
Зав. сектором Отдела пропаганды ЦК КПСС

А. Дмитрюк  
В. Власов

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 25. Л. 220. Подлинник.*

### **Записка ЦК КПСС об Аджубее А.И.**

19 апреля 1968 г.

Тов. Аджубей приглашался в Отдел пропаганды ЦК КПСС, где ему было предложено выехать в г. Тамбов для использования его на журналистской работе в качестве заместителя редактора областной газеты. С Тамбовским обкомом КПСС (т. Черным В.И.) вопрос согласован. Жене т. Аджубея — т. Аджубей Р.Н. работа также будет предложена по ее журналистской специальности.

Согласия выехать на работу в Тамбов т. Аджубей не дает. Он заявил, что не выедет из Москвы даже в том случае, если на его счет будет принято решение ЦК КПСС. Отказ мотивируется тяжелой болезнью матери и детей (объяснение т. Аджубея прилагается). Учитывая, что в Тамбове имеется возможность квалифицированной медицинской помощи и лечения заболеваний, о которых говорится в записке т. Аджубея, отказ его выехать на работу в Тамбов считаем необоснованным.

Было бы целесообразным направить т. Аджубея А.И. решением ЦК КПСС в распоряжение Тамбовского обкома КПСС.

В случае отказа выехать на работу в г. Тамбов полагали бы необходимым вопрос о неправильном поведении т. Аджубея передать на рассмотрение Московской партийной организации.

Зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС  
Зав. сектором Отдела пропаганды ЦК КПСС

В. Степаков  
В. Власов

*Помета от руки:* “Справка. Тов. Аджубей вторично отказался от предложенной работы в газете “Тамбовская правда”. Зам. зав. Отделом ЦК КПСС Т. Куприков. 16.07.68. В архив. 23.07.68.”

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 25. Л. 118. Подлинник.*

**Письмо заместителя главного редактора Главной редакции телевизионных программ для детей и молодежи В. Магидова в партийную организацию Института философии АН СССР о поведении Н.Ф. Наумовой**

5 марта 1964 г.

21 февраля с.г. группа сотрудников Вашего института, молодых ученых-социологов, принимала участие в телевизионной передаче “Молодые ученые — о науке”.

В ходе передачи сотрудник Вашего института тов. Наумова Н.Ф., произвольно отступив от текста, ранее согласованного, заявила, что на одном из Московских заводов число рабочих, недовольных работой, составляет 30%.

В тексте, предложенном тов. Наумовой Н.Ф. перед передачей и нами утвержденном, была указана цифра 14%.

Отступив от текста, тов. Наумова Н.Ф. тем самым дезориентировала телезрителей.

Доводя до Вашего сведения об этом факте, просим Вас разобраться в случившемся и сообщить нам о результатах.

Зам. главного редактора

В. Магидов

*Личный архив Наумовой Н.Ф. Подлинник.*

**Записка КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о распространении в СССР антисоветских материалов**

24 февраля 1966 г.

Совершенно секретно

Докладываю, что в 1965 году по сравнению с 1964 годом число лиц, занимавшихся изготовлением и распространением антисоветских анонимных документов, уменьшилось более чем в два раза. Сократилось также на 2.827 экземпляров общее количество распространенных документов, а в некоторых республиках и областях их не было вообще (Северо-Осетинская АССР, Калининградская, Смоленская, Ульяновская, Брянская и другие области).

В течение 1965 года на территории Советского Союза органами госбезопасности зарегистрировано распространение 9.697 антисоветских анонимных документов, в том числе 8.429 листовок, исполненных 1.292 авторами.

В истекшем году имели место случаи распространения большого количества антисоветских листовок в городах: Иваново (2.460 экземпляров), Ереван (1.700 экземпляров), Ленинград (400 экземпляров), Киев (70 экземпляров) и некоторых других. Участились случаи распространения листовок и антисоветских надписей в Москве.

Листовки распространялись иногда с применением взрывных устройств (на базарной площади города Иваново) и нередко путем подбрасывания в квартирные почтовые ящики и подъезды жилых домов (Москва и Ленинград).

Как правило, листовки преступниками изготовлялись с помощью множительной техники (типографский шрифт, пишущие машинки, модельные гектографы, клише и т.п.).

После октябрьского Пленума ЦК КПСС (1964 г.) сократилось количество листовок и писем, направленных против отдельных руководителей партии и правительства, однако увеличилось число анонимных документов идеологически вредного содержания и с клеветническими измышлениями в отношении Программы партии, решений пленумов ЦК КПСС.

Зарегистрировано появление анонимных документов с изложением "программы" и "устава" якобы существующей нелегальной "рабочей партии".

В других документах излагаются требования об улучшении снабжения населения продовольствием и увеличении зарплаты, содержатся призывы братья за оружие в целях свершения "новой революции". В частности, в упомянутой выше программе "рабочей партии" говорится: "Вести активную пропаганду о неизбежности революционного взрыва в связи с ухудшающимися жизненными условиями народа, гнета над рабочим классом и беспомощности бюрократического абсолютизма".

В листовках, распространенных в городе Луцке, излагаются следующие призывы: "Люди, возьмите в руки оружие и начинайте сокрушать голову красного дракона, который вот уже полвека душит чуть не всю Европу".

В листовке, вешенной в здании МГУ, говорится: "Недалеко время, когда мы раздавим вас и всю вашу высокооплачиваемую, бюрократическую камарилью".

В ряде анонимных документов излагаются требования ликвидировать однопартийную систему, не допускать якобы имевших место фактов ограничения свобод, гарантированных Конституцией СССР.

В листовках, распространенных в Москве, Ленинграде и Иваново, говорится: "Партия боится гласности, диктатура ее держится на цензуре и тюрьмах. В произволе и нищете виноваты не Сталин и не Хрущев, а уродливая однопартийная система полицейского типа... существующая конституция не способна вывести нашу страну в передовую страну мира... Настоящая конституция это сплошной позор для нашей страны, для коммунизма. Она никак не могла и не может служить завидным примером для других стран".

В других листовках, надписях и анонимных письмах авторы выражают неверие в построение коммунизма в нашей стране, недовольство избирательной системой в СССР, советской печатью, а также националистические настроения. Так, в распространенных в июле 1965

года в Ташкенте листовках на узбекском языке указывается: “Народная партия Средней Азии обращается с боевым призывом к своему народу на борьбу против русских захватчиков и за освобождение своей родины от столетнего ига, воодушевившись в этой борьбе примером народов Алжира, Кубы, Мали... Мы являемся рабами России... Не жалейте жизни для спасения своей нации, гибнущей от русских. Боритесь за освобождение своего народа. Гоните со своей земли русских захватчиков”.

Зарегистрировано распространение нескольких анонимных документов с террористическими намерениями в отношении руководителей КПСС и Советского правительства и 125 писем с угрозами по адресу партийного и советского актива.

Отмечено распространение небольшого количества листовок от имени НТС и нескольких документов с клеветой на Коммунистическую партию в связи с разногласиями между КПСС и КПК.

В 1965 году органами госбезопасности установлено 828 авторов, которыми распространено 5.312 документов (4.038 листовок и 1.274 письма). Вскрыта и пресечена преступная деятельность 58 локальных групп, в которые входило 234 человека, преимущественно из числа учащейся молодежи.

Среди установленных авторов 206 рабочих, 189 учащихся школ, 169 служащих, 95 пенсионеров, 72 человека без определенных занятий, 61 колхозник, 36 студентов высших и средних учебных заведений. В числе разысканных анонимов оказалось 111 членов и кандидатов в члены КПСС и 90 комсомольцев. 88 человек в прошлом отбывали наказание за антисоветские и уголовные преступления.

Из числа установленных авторов привлечено к уголовной ответственности 19 человек (против 80 в 1964 году), взято 108 в агентурную проверку и 701 профилактирован.

Среди установленных в 1965 году авторов 25% составляют рабочие (против 35% в 1964 году). Возросло количество распространителей из числа молодежи (до 40%). [...]

Анализ причин изготовления и распространения анонимных документов показывает, что в подавляющем большинстве авторы встали на преступный путь в силу своей политической незрелости и неправильного понимания происходящих событий. Другими причинами являлись воздействие антисоветских передач иностранных радиостанций и враждебной литературы, засылаемой в СССР по различным каналам, а также влияние националистически и религиозно настроенных лиц.

Вместе с тем установлен ряд серьезных преступников, сознательно избравших изготовление и распространение антисоветских документов как форму борьбы против Советской власти. Нередко преступники собирались на сборища, где обсуждали планы и методы борьбы против существующего строя, принимали так называемые присяги, уставы и т.п. [...]

В течение 1965 года органы госбезопасности осуществляли профилактические мероприятия в отношении 84 процентов установленных авторов анонимных документов. В профилактике использовались преимущественно гласные формы — собрания трудящихся, газетные публикации, показ специальных передач по телевидению и кинорепортажи (Украина, Белоруссия, Азербайджан, Молдавия, Чечено-Ингушетия, Ленинградская область). Это в известной степени способствовало сокращению количества анонимных документов, а в некоторых случаях создавало возможность предотвратить их распространение.

По всем фактам появления анонимных документов и установления их авторов информировались местные партийные органы.

Комитетом госбезопасности приняты меры к активизации работы по розыску неустановленных авторов антисоветских анонимных документов.

Председатель Комитета Госбезопасности

В. Семичастный

*РГАНИ. Ф. 89. Оп. 6. Д. 30. Л. 2–8. Подлинник.*

### **Записка ЦК КПСС об устранении дублирования в изданиях журналов**

19 января 1968 г.

Отдел пропаганды и агитации вносит предложение об устранении дублирования в издательстве журналов и сокращении их объема.

В настоящее время в стране издается 1069 журналов и около 2900 периодических изданий журнального типа — бюллетеней, сборников, ученых записок, трудов, альманахов и т.п. Большинство журналов пользуется большой популярностью, о чем свидетельствуют все возрастающие их тиражи. Разовый тираж журналов в текущем году достиг 126 миллионов экземпляров. Годовой тираж всех изданий журнального типа в 1967 г. составил 2 миллиарда экземпляров.

Издание журналов в целом является прибыльным. Только от издания центральных журналов чистая прибыль в 1966 году составила 120 миллионов рублей.

Сложившаяся сеть журнальной периодики в известной мере отражает развитие нашего общества. В первые годы культурной революции журналы общественно-политического и культурно-просветительского характера занимали преобладающее положение в структуре журнальной периодики. С развитием индустриализации, ростом отечественной науки и техники стали преобладать по количеству издания научного, технического и производственного характера.



В настоящее время в СССР по вопросам общественных наук, политики, экономики, культуры, литературы и искусства издается 1385 журналов и изданий журнального типа, по вопросам естественных наук, техники, промышленности и сельскохозяйственного производства — 2581 издание.

В ЦК КПСС поступают многочисленные просьбы со стороны работников общественных наук, творческой интеллигенции, различных общественных организаций об открытии новых общественно-политических, литературно-художественных, искусствоведческих и иных изданий гуманитарного профиля. Учитывая ограниченность ресурсов бумаги для печати и отставание в развитии полиграфической базы, считали бы целесообразным не форсировать расширение сети журналов этого типа, а сосредоточить внимание на повышении идейно-теоретического и литературно-художественного качества существующих изданий.

Что касается изданий по вопросам естественных наук, техники, промышленного и сельскохозяйственного производства, то их, как считают специалисты, у нас явно не хватает.

Для сравнения скажем, что в СССР издается журнальной периодики меньше, чем в США в два с половиной раза, чем во Франции — в два с лишним раза, чем в Англии — в полтора раза.

Уже сейчас наши ученые проявляют большую озабоченность о недостаточном широком и квалифицированном освещении проблем таких быстро развивающихся отраслей науки, как физика, химия, биология, кибернетика, радиоэлектроника, энергетика и т.д. Современные науки, техника и производство все более и более специализируются. Между тем, новые их отрасли, как правило, слабо освещаются в журналах.

Однако, хотя у нас и недостаточно изданий по наукам и отраслям производства, все же можно отметить определенный параллелизм в изданиях. Имеется ряд журналов, которые дублируют друг друга, некоторые из них печатаются мизерными тиражами.

В последние годы приобрела очень широкое распространение тенденция к увеличению объемов существующих изданий. Отрицательные последствия этой тенденции состоят в том, что увеличивается расход бумаги, повышается себестоимость изданий, перегружается полиграфическая база, мощности которой и без того чрезвычайно ограничены, а самое главное — утрачивается оперативность информации, затрудняется ее использование, т.к. она тонет среди второстепенных материалов, которые публикуются только потому, что для этого появились возможности в большем по объему журнале.

Особенно заметно увеличение объемов в научных и литературно-художественных журналах. Такие “толстые” литературно-художественные журналы, как “Новый мир”, “Октябрь”, “Москва”, “Знамя”, “Нева”, “Дружба народов” имеют общий объем в 123 печатных листа и издаются ежемесячно тиражом 832 тысячи экземпляров. При этом

следует учитывать, что на русском языке издается большое количество литературно-художественных журналов на местах, которые выпускаются почти таким же объемом, как и центральные.

Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС просит рассмотреть предложения об объединении дублирующих друг друга изданий, об изменении периодичности и объема некоторых журналов, а также об изменении названий ряда журналов (справки прилагаются).

Вносимые предложения касаются 750 центральных и местных журналов. Их осуществление позволит сократить расход бумаги для печати на 5-6 тысяч тонн в год и высвободить около 110 работников.

Эти предложения не согласовывались ни с министерствами и ведомствами, ни с Отделами ЦК КПСС. Как показывает практика, предложения об упразднении какого-либо издания, о сокращении его периодичности и объема встречают активное возражение со стороны заинтересованных организаций, учреждений и лиц. Более того, сейчас в Отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС имеется большое количество просьб об открытии новых журналов и бюллетеней, об увеличении объемов и периодичности существующих изданий.

Однако, несмотря на возможные возражения против объединения дублирующих друг друга изданий, сокращения объемов и периодичности ряда журналов, просили бы рассмотреть наши предложения.

Проект постановления ЦК КПСС прилагается.

Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС  
Зав. сектором Отдела пропаганды ЦК КПСС

А. Яковлев  
И. Кириченко

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 33. Л.5-7. Подлинник.*

### **Записка ЦК КПСС о сокращении объемов и прекращении выпуска некоторых журналов**

24 декабря 1968 г.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 22 августа 1967 г. Отдел пропаганды ЦК КПСС провел работу по подготовке предложений о сокращении объемов и прекращении выпуска некоторых журналов и 18 января 1968 г. внес их на рассмотрение ЦК КПСС.

Предложения касались сокращения объемов 750 центральных и местных журналов и объединения 64 журналов. Однако эти предложения не были рассмотрены, т.к. они затрагивали интересы почти всех местных партийных комитетов, министерств, ведомств, научных учреждений, творческих союзов и общественных организаций. Не нашли эти предложения поддержки и со стороны Отделов ЦК КПСС.

Попытки внести вопрос о сокращении журналов в последнее время также были безуспешными.

Учитывая вышеизложенное Отдел пропаганды ЦК КПСС просит разрешения осуществить в течение 1969 года меры по сокращению объемов и устранению некоторого дублирования в издании журналов не одновременно, а по частям, предварительно согласовав их с заинтересованными ведомствами, организациями и Отделами ЦК КПСС.

Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС  
Зав. сектором Отдела пропаганды ЦК КПСС

А. Дмитриук  
И. Кириченко

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 33. Л. 62. Подлинник*

### **Справка ЦК КПСС**

19 августа 1970 г.

В настоящее время Отдел пропаганды ЦК КПСС считает нецелесообразным вносить на рассмотрение ЦК КПСС вопрос “О сокращении объемов и о прекращении выпуска некоторых журналов”.

В течение 1970–1971 годов Отдел пропаганды ЦК КПСС планирует осуществить ряд мер по определенному сокращению объемов и устранению дублирования в издании отдельных журналов, предварительно согласовав их с заинтересованными ведомствами, организациями и Отделами ЦК КПСС.

Просим документ № 01561 направить на хранение в архив Общего отдела.

Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС

А. Дмитриук

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 33. Л. 63. Подлинник*

### **Записка ЦК КПСС о заглушении иностранных радиостанций**

6 августа 1958 г.

Основным каналом проникновения в нашу страну враждебной идеологии и всевозможных слухов стало радиовещание империалистических государств, организуемое специально для населения СССР.

До войны радиовещание на СССР из-за границы почти не проводилось, а в 1949 году — до введения заглушения — объем его состав-

лял 2–3 часа в день. Постановлением Совета Министров СССР от 19 апреля 1949 года Министерству связи было поручено организовать заглушение радиостанций, ведущих антисоветское вещание.

После начала заглушения стал быстро увеличиваться объем враждебного вещания. В настоящее время оно ведется круглосуточно по многим программам и общая продолжительность их достигает 120 часов в день. Кроме того, из разных стран передаются для населения СССР религиозные и другие программы, которые не заглушаются.

Антисоветское вещание проводят США, Англия, Канада, Италия, Ватикан, Испания, Греция, Израиль, Филиппины. В 1953–1955 годах созданы филиалы “Голоса Америки”, выступающие как независимые радиоцентры (“Освобождение”, “Байкал”, “Борьба за свободу”, “Наша Россия”, “Новая Украина” и другие). Их передачи носят особенно злостный характер и транслируются станциями, работающими на скользкой волне, чтобы избежать заглушения.

Враждебная радиопропаганда превратилась в открытую радиоинтервенцию против СССР с целью не только довести до населения свои передачи, но и помешать слушанию советского вещания. Организаторы радиоинтервенции стали на путь захвата наших радиоволн и подавления советских радиостанций. В частности, осенью 1953 года США ввели в действие в Мюнхене сверхмощный тысячекиловаттный передатчик на частоте (волне) основной станции советского радио. Это поставило наше вещание в тяжелое положение: западнее Риги, Смоленска, Киева вместо московских программ слышны на волне 1734 метра передачи “Голоса Америки”.

Радиоинтервенция империалистических государств наносит большой вред не только нашей идеологической работе, но и может причинить серьезный ущерб обороноспособности страны.

В отдельные непродолжительные периоды суток против Советского Союза одновременно работает на разных языках народов СССР до 50–60 радиостанций общей мощностью 5500–7500 киловатт. В остальное время трансляцией антисоветских передач занято 15–25 станций. Подавляющее количество передач на СССР идет по немногим станциям. Так, США из 64 получасовых передач на СССР в сутки дают 31 передачу по 1–5 станциям и только одну — более чем по 20 станциям. Англия из 13 передач в сутки 7 дает по 1–5 станциям. Другие страны располагают для вещания на СССР от одной до пяти небольших станций. Девять пиратских радиоцентров используют одновременно все вместе от 6 до 13 станций небольшой мощности.

Для заглушения враждебного вещания у нас заняты во много раз большие технические средства. По данным Министерства связи СССР к началу текущего года на заглушении работало 1660 радиостанций мощностью 15.440 киловатт, то есть больше, чем на нашем внутреннем и внешнем вещании. В настоящее время общая мощность

передатчиков глушения в три раза превосходит максимальную мощность станций антисоветского вещания, а в отдельные сеансы средства глушения превышают средства враждебного радио в пять-десять-двадцать раз. Например, в час ночи для заглушения 12 станций “Голоса Америки” мы используем 85 станций. Против 9 пиратских передатчиков мощностью 780 киловатт в 3 часа 30 минут действует 167 станций (в 19 раз больше) мощностью 6.592 квт (в 9 раз больше), а в 5 часов против 6 пиратских станций мощностью 640 киловатт мы даем 133 станции (в 22 раза больше). К тому же в эти подсчеты включены только наши передатчики дальней защиты и не учтены многие сотни станций местной защиты.

И несмотря на все усилия и миллиардные затраты, глушение не достигает цели. Враждебное радио прослушивается по всей стране, за исключением центральной части городов Москвы, Ленинграда, Киева, Риги. С помощью несложной комнатной радиолобительской антенны возможен прием и заглушаемых станций. Проверка, проведенная Комитетом госбезопасности, и сообщения местных партийных организаций показывают, что даже в отдельных районах Москвы, Ленинграда, Киева, а также в пригородах слышны передачи Би-Би-Си, “Голоса Америки” и другие. Это признает и Министерство связи.

Таким образом, для враждебного радио по существу открыта вся страна, в том числе Донбасс, Урал, Центр и северо-запад страны, Прибалтика, Поволжье, Украина, Западная Сибирь, Средняя Азия.

В последнее время сообщения о бесполезности нашего заглушения все чаще появляются в зарубежной печати.

Развивая средства глушения, мы не используем другие эффективные способы защиты населения от антисоветской радиопропаганды, в частности, мало уделяется внимания резкому улучшению радиовещания, расширению телевидения, прекращению производства коротковолновых приемников. Больше того, наряду с развитием глушения у нас еще усиленнее внедряются средства для слушания антисоветских передач. За девять лет в 40 раз увеличился объем враждебного радиовещания и мы сами в 30–40 раз увеличили технические средства для его слушания населением. Если до войны в СССР было лишь около 200 тысяч коротковолновых радиоприемников, а в 1949 году — до 500 тысяч, то сейчас у населения имеется свыше 20 миллионов приемников, способных принимать враждебное радио.

Постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1953 года было предложено Министерству связи и промышленности принять меры к прекращению с 1954 года выпуска приемников, способных принимать враждебное радио. Однако промышленность резко увеличила производство таких приемников, доведя его с 1954 года до четырех миллионов штук в год, а Министерство связи не возражало против этого. Так, технические меры по борьбе с враждебным радио были сведены на нет массовым выпуском коротковолновой приемной

аппаратуры. Производство такой аппаратуры совершенно не вызывалось необходимостью и определялось лишь коммерческими соображениями. Достаточно отметить, что сейчас до 85 процентов коротковолновых приемников находится в европейской части СССР, где на коротких волнах наше вещание не принимается и можно слушать только враждебное радио.

Глушение причиняет советскому государству большой морально-политический и материальный ущерб, позволяет буржуазной пропаганде широко использовать его против Советского Союза. После введения глушения резко ухудшилась слышимость советских передач, особенно внутри страны и снизилось их техническое качество. Раньше в Москве можно было хорошо принимать Ленинград, Киев и многие другие станции. Теперь это невозможно, хотя мощность станций увеличилась. Кроме того, мы сами же заглушаем большое число собственных радиовещательных станций.

Таким образом, вместо того, чтобы с введением глушения сделать наше радиовещание разнообразным, многопрограммным и тем самым отвлечь внимание населения от иностранных радиостанций, наоборот, ухудшилась слышимость наших передач и вещание стало по существу однопрограммным, а содержание его страдает серьезными пороками. Руководство Государственного комитета по радиовещанию и телевидению не справляется с возложенными на него задачами и не сумело обеспечить улучшения программ радиопередач.

Ежегодно в нашей стране на цели глушения расходуются сотни миллионов рублей.

В то же время в капиталистических странах без введения глушения и не только без затрат, а с получением большой прибыли, население за несколько лет было лучше изолировано от нашего радио, чем население СССР от враждебной радиопропаганды. В США, Англии, Западной Германии и других странах был прекращен массовый выпуск коротковолновых приемников, на которых можно слушать советские передачи. (У нас до 95 процентов приемников, имеющих у населения, выпущено после начала глушения и в том числе коротковолновых продано больше, чем во всех остальных странах мира за это же время). В результате, например, в США меньше 0,1 процента действующих приемников способно принимать советские радиостанции, а в Западной Германии более чем в 85 процентах приемников нет коротковолнового диапазона. Из-за высокой стоимости коротковолновые приемники за границей находятся у наиболее состоятельной части населения. Перевод приемного парка и внутреннего вещания на диапазоны волн, не позволяющие слушать советское радио, а также строительство станций, направленных против СССР, обеспечили на ряд лет загрузку радиопромышленности капиталистических стран.

В настоящее время, когда в Советском Союзе работает свыше 20 миллионов радиоприемников, а заглушение явно не достигает цели и

ведет к напрасной трате больших средств, целесообразно рассмотреть вопрос о более эффективных способах ограждения населения от враждебной радиопропаганды.

Прежде всего необходимо коренным образом улучшить наше радиовещание для населения СССР, сделать его многопрограммным и разнообразным, удовлетворяющим различные запросы слушателей. При правильном использовании даже имеющихся технических средств можно обеспечить почти повсеместно уже теперь прием нескольких различных программ советского вещания. Для этого нужно ввести зональное или межобластное вещание через местные станции и усилить техническую базу вещания. Одновременно следует прекратить массовое производство приемников, способных принимать враждебное радио, и ускорить перевод трансляционной радиосети на передачу нескольких программ. Конкретные мероприятия в данном направлении предусмотрены в проекте постановления "О коренном улучшении радиовещания", внесенном в ЦК КПСС.

Для укрепления технической базы советского радио важное значение может иметь передача ему мощных радиостанций, занятых глушением. Целесообразнее, чтобы эти станции вместо помех давали для советских слушателей и на зарубежные страны разнообразные программы, прежде всего музыкальные. Ослабление заглушения иностранных радиостанций следует проводить постепенно. На первом этапе можно, как предлагает Комитет госбезопасности (г. Серов), прекратить заглушение передач на малораспространенных языках (тюркский, фарсидский и другие). Затем, после специальных переговоров с Англией и США, было бы целесообразно прекратить заглушение передач Би-Би-Си и "Голос Америки". Несомненно, что прекращение глушения приведет, как показывает опыт, к сокращению объема и технических средств вещания на СССР из капиталистических стран.

Наряду с прекращением в течение 2–3 лет глушения, следует прекратить массовое производство радиоприемников с коротковолновым диапазоном и резко сократить выпуск запасных частей и радиоламп к коротковолновым приемникам, выпущенным в прошлые годы. Это позволит в ближайшие годы заменить имеющийся у населения парк приемников на аппараты, через которые нельзя будет слушать антисоветское радио.

Одним из важных способов ограждения населения от радио капиталистических стран является широкое развитие телевидения. В связи с этим целесообразно поручить Министерству связи и Государственному комитету по радиовещанию и телевидению совместно с заинтересованными организациями внести предложения об ускорении развития и улучшении телевидения.

Подготовку конкретных мер по ограждению населения от зарубежного радио, в дополнение к предложениям, предусмотренным в проекте постановления "О коренном улучшении радиовещания", считали бы

необходимым поручить комиссии в составе представителей Комитета госбезопасности, Государственного комитета по радиовещанию и телевидению, Министерства связи СССР, МИД СССР и Госплана СССР.

Л. Ильичев  
А. Романов  
Г. Казаков

*Помета:* “Решением Секретариата ЦК КПСС создана комиссия, которой поручено рассмотреть этот вопрос. 8.04.59 г.”

*РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 75. Л. 163–167. Подлинник.*

### **Выписка из протокола №184 заседания Политбюро ЦК КПСС о неотложных мерах по укреплению партийной печати**

7 апреля 1990 г.

Совершенно секретно

1. Одобрительно отнестись к предложениям по данному вопросу, изложенным в записке т.т. Капто А.С. и Кручины Н.Е. от 2 апреля 1990 г. (прилагается).

2. Разрешить ЦК компартий союзных республик, краевым, областным комитетам партии по согласованию с Советами брать на бюджет партии те республиканские и областные газеты, которые содержатся за счет госбюджета. Принять частично или полностью на партийный бюджет городские и районные газеты, обеспечив в их издании следующие подходы: выпуск газеты по договоренности с соответствующими Советами на паевых началах; создание хозрасчетных региональных концернов партийной печати на базе областных, краевых, республиканских газет и издательств, включая книжные издательства.

3. Предложить Советам, ставящим вопрос о разделе или об исключительном праве на то или иное издание, создавать свои (новые) печатные органы, а если последнее невозможно, то, при наличии двух и более совместных изданий, уступить на коммерческой основе одно из них Советам.

4. В целях обеспечения рентабельности партийных изданий существенно повысить их профессиональный уровень и резко усилить рекламно-коммерческую деятельность, особенно в городских и районных газетах. Разрешить низовым партийным изданиям до 50 процентов газетной площади отводить под рекламу, предусмотрев высокий процент отчислений от полученной прибыли в фонд редакций и право расходовать эти деньги по собственному усмотрению на производственные и социальные нужды.

Секретарь ЦК

М. Горбачев



## Записка Идеологического отдела ЦК КПСС о неотложных мерах по укреплению партийной печати

2 апреля 1990 г.

В последнее время, особенно после выборов в республиканские и местные Советы народных депутатов, в Идеологический отдел ЦК КПСС и Управление делами ЦК КПСС участились обращения партийных работников по поводу возможного разделения газет, являющихся одновременно органами партийных комитетов и местных Советов.

Подобные обращения поступили, в частности, из Рижского горкома Компартии Латвии (т. Клауцен А.П.), Чукотского окружкома КПСС Магаданской области (т. Каштыкин Н.), Хакасского обкома КПСС (т. Косов А.А.), Томского обкома КПСС (т. Домбровский Я.А.), Владимирского обкома КПСС (т. Шаров А.П.), Калининского обкома КПСС (т. Аксенов Г.Н.) и многих других партийных комитетов.

Первая сессия Рижского городского Совета народных депутатов нового созыва приняла решение о передаче городской вечерней газеты "Ригас балсс" ("Голос Риги") в исключительное ведение городского Совета народных депутатов. В Калининской области редакция областной партийной газеты считает целесообразным раздел издания на партийное и советское. В Первомайском районе Томской области и Ковровском районе Владимирской области вопрос ставится более категорично — о реорганизации газет исключительно в органы местных Советов. События развиваются таким образом, что эти же проблемы, видимо, в ближайшее время перейдут в разряд практических в Москве, Ленинграде, других городах и районах страны.

Принципиально меняется ситуация, в которой предстоит работать КПСС, ее комитетам и организациям, партийной прессе. Принятие Закона о печати и других средствах массовой информации, становление многопартийной системы требуют пристального учета политической перспективы, оперативных упреждающих действий. Идущий в обществе процесс усиления независимости Советов от партии неизбежно скажется на изменении существующей структуры печати, особенно городской и районной. Пока эти газеты являются органами партийных комитетов и местных Советов народных депутатов. Однако в условиях многопартийности и при соответствующем изменении состава депутатского корпуса местные Советы могут взять городские и районные газеты полностью под свой контроль. Это означает, что райкомы, горкомы КПСС окажутся без своих печатных органов.

Следует подчеркнуть, что у местных партийных комитетов нет достаточных юридических оснований для того, чтобы бороться за сохранение своих прав на газету, если Советы будут против. В отличие от центральных, республиканских, краевых, большинства областных партийных газет, городские и районные газеты находятся не на пар-

тийном, а на государственном бюджете, финансируются и снабжаются по линии Госкомпечати СССР. В число таких изданий (в основном все они убыточные) входят и 106 областных и республиканских (автономные области, республики) газет, являющихся органами партийных комитетов и Советов.

Словом, тенденции таковы, что партия может в короткое время лишиться огромного пласта той печати, которая ближе всего к людям, трудовым коллективам, партийным организациям и зачастую в большей степени, чем центральная, влияет на формирование общественного сознания.

Учитывая эти обстоятельства, полагали бы целесообразным в оперативном порядке рассмотреть и принять ряд неотложных мер.

1. В первую очередь и незамедлительно разрешить ЦК компартий союзных республик, краевым, областным комитетам партии по согласованию с Советами брать на бюджет партии те республиканские и областные газеты, которые содержатся за счет госбюджета.

В отношении городских и районных газет предусмотреть разноплановый подход. Можно полностью принять их на партийный бюджет или выпускать по договоренности с соответствующими Советами на паевых началах. При наличии серьезных разногласий с Советами в вопросах принадлежности прессы можно с согласия коммунистов учреждать чисто партийные межрайонные газеты — как органы обкомов, крайкомов партии. Можно на базе областных, краевых, республиканских газет и издательств создавать хозрасчетные региональные концерны партийной печати (в этом случае в районных центрах и городах иметь отделения или собкоров, с помощью которых выпускать сменные вкладыши для районных парторганизаций). В подобные концерны или объединения могут быть включены и книжные издательства вместе с полиграфической базой, что представляется крайне желательным.

2. Предложить Советам, ставящим вопрос о разделе или об исключительном праве на то или иное издание, создавать свои (новые) печатные органы. Если этому препятствуют сложности с бумагой и полиграфической базой, а в наличии имеется два и более совместных издания, то признать целесообразным одно из них уступить на коммерческой основе Советам.

3. Все перечисленные меры требуют повышения рентабельности, а следовательно, и тиражности изданий. В этой связи необходимо уделить первостепенное внимание улучшению содержания местной партийной прессы и росту профессионализма ее кадров.

Следует также резко усилить рекламно-коммерческую деятельность партийных изданий, особенно городских и районных газет. Для этого предлагается разрешить низовым партийным изданиям до 50 процентов газетной площади отводить под рекламу — общественную, бытовую, семейную, событийную и иную. А чтобы по-настоящему заинтересовать эти редакционные коллективы, предусмотреть высокий

процент отчислений от полученной прибыли в фонд редакций и право расходовать эти деньги по своему усмотрению на производственные и социальные нужды. При разумном подходе внимание к коммерческой стороне дела не только не должно нанести ущерба содержательным, идейно-нравственным моментам, но даже повысит возможности гуманизации прессы, приблизит ее к повседневным нуждам и заботам населения, людей труда.

В то же время надо иметь в виду, что в любом случае определенная часть изданий (газеты национальных меньшинств, народов Крайнего Севера) будут убыточными. Считаем, что надо брать на партийный бюджет и эти издания, исходя из того, что затраченные средства окупятся сторицей политическим, социальным эффектом.

Зав. Идеологическим  
отделом ЦК КПСС  
А. Капто

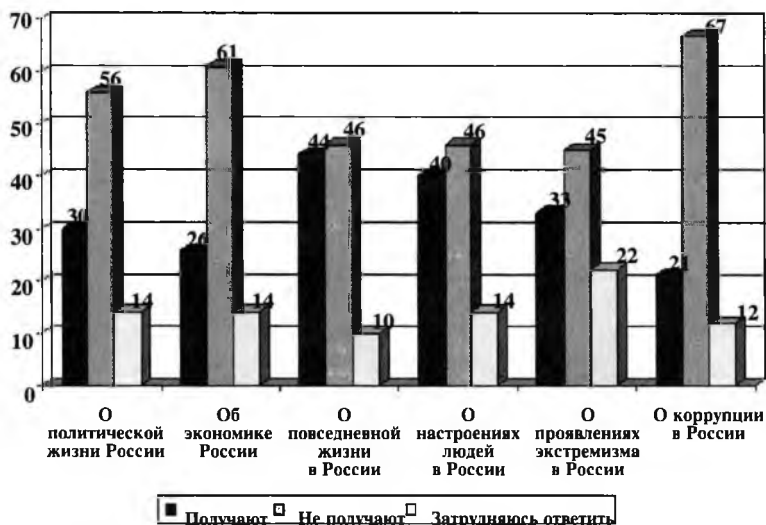
Управляющий  
делами ЦК КПСС  
Н. Кручина

*РГАНИ. Ф. 89. Оп. 9. Д. 107. Л. 1–7. Подлинник.*

## Некоторые итоги социологических опросов населения\*

Исследования проведены Фондом “Общественное мнение” по репрезентативной выборке в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик всех экономико-географических зон России. Метод опроса — интервью по месту жительства. Опрошено 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

**Если говорить в целом, то получают или не получают россияне из средств массовой информации объективную, правдивую информацию?**



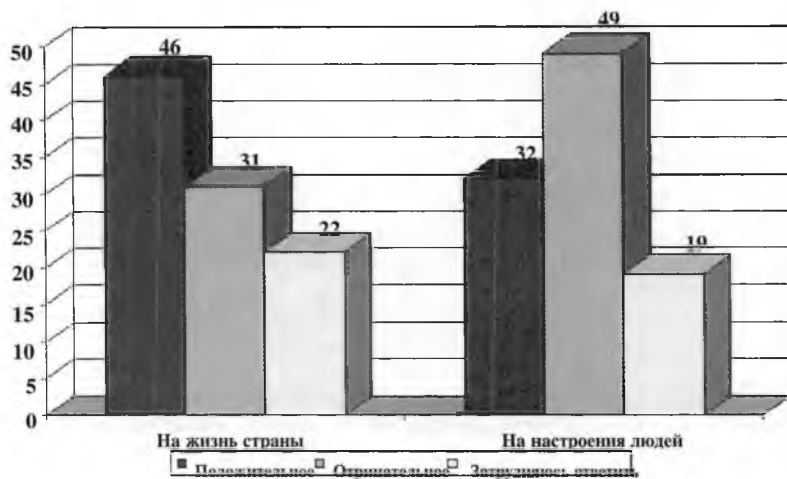
\* Графики 1–2 — опрос проводился 23–24 января 1999 года.

Графики 3–6, 8 — 21–22 февраля 1998 года.

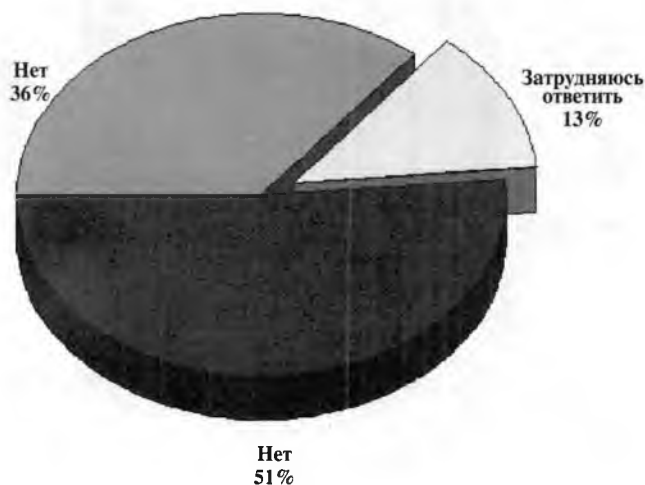
Графики 7, 9 — 13–14 июня 1998 года.

График 10 — 6–7 декабря 1998 года.

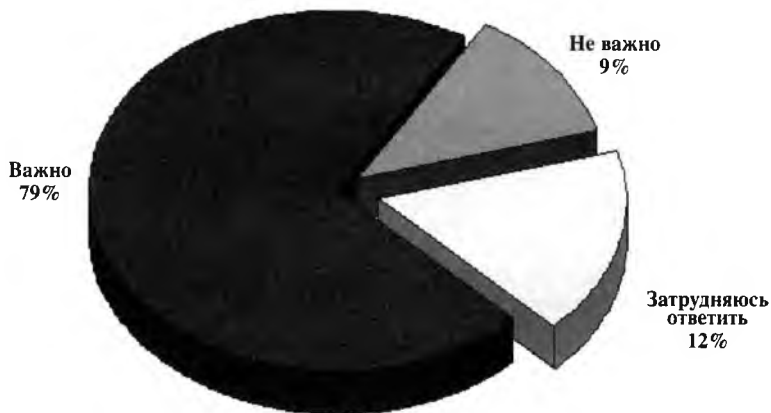
Если говорить в целом, то какое влияние — положительное или отрицательное — оказывают СМИ?



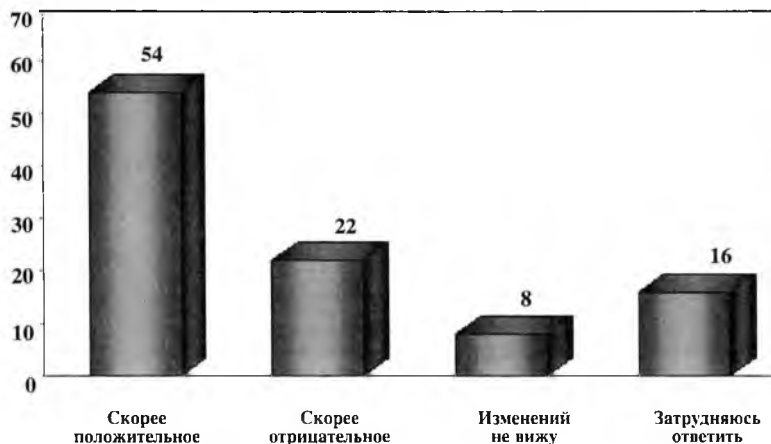
Иногда высказывается мнение, что по сравнению с периодом советской власти СМИ стали свободными, не подвергаются цензуре. Согласны ли вы с этим мнением?



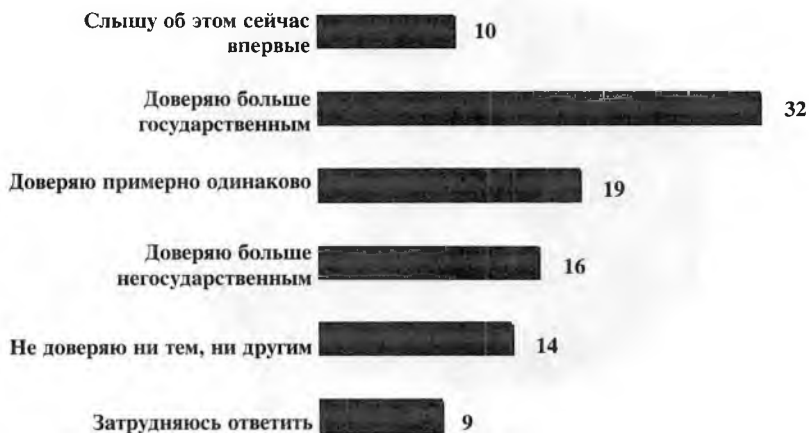
**Важно или нет для России, чтобы СМИ были свободными, имели возможность давать информацию по своему усмотрению?**



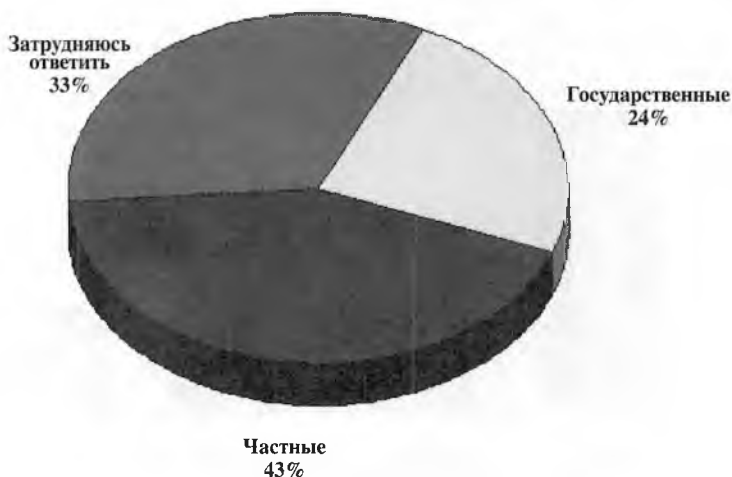
**Если сравнить сегодняшние СМИ с теми, что были при советской власти, то видите ли вы изменения, и если да, то эти изменения в целом скорее положительные или скорее отрицательные?**



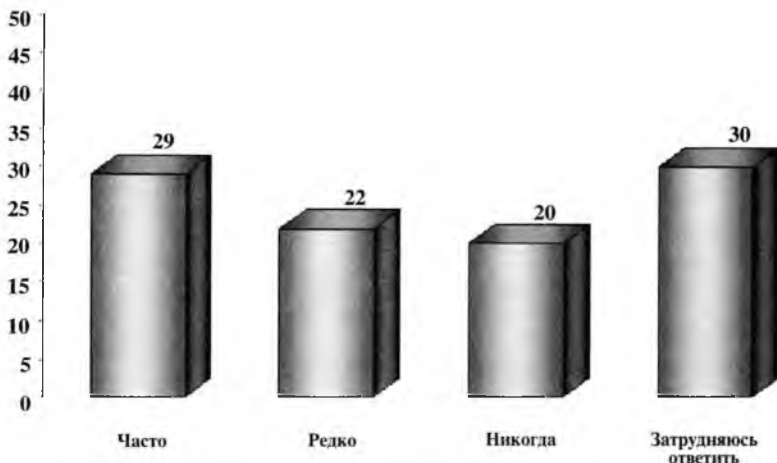
Знаете ли вы, что многие СМИ принадлежат не государству, а коммерческим организациям и частным лицам? Если знаете, то каким из них вы доверяете больше – государственным или негосударственным?



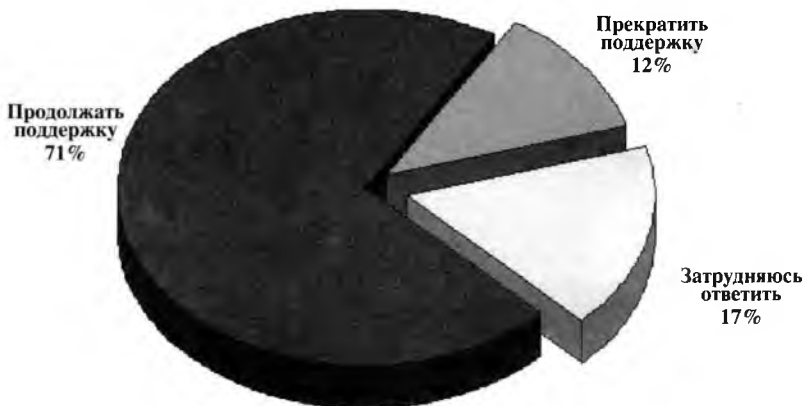
По вашему мнению, какие из СМИ — государственные или частные — более правдиво рассказывают о положении дел в стране?



**Когда вы читаете прессу, слушаете радио, смотрите ТВ, как часто вы ощущаете влияние их владельцев на публикации и передачи?**



**Как вы считаете, должно ли государство при ограниченных возможностях бюджета продолжать финансовую поддержку СМИ или ее нужно прекратить?**





**Сегодня высказываются разные мнения  
о российских журналистах.  
С какими из приведенных ниже высказываний вы согласны?  
Российские журналисты – это чаще всего**



## Об авторах

**Аджубей Рада Никитична** (р.1929) — журналист. Окончила факультет журналистики МГУ. В 1953 начала работать в журнале “Наука и жизнь”. Заведовала отделом и одновременно поступила на биологический факультет университета. Получила вторую профессию, но место работы не меняла. С 1961 по настоящее время — заместитель главного редактора “Науки и жизни”, курирует такие области знания, как биология, медицина, сельское хозяйство, науки о Земле, история, литература.

**Борин Александр Борисович** (р.1930) — писатель, юрист, журналист. Окончил Московский юридический институт (1951) и Литературный институт (1961). Работал юрисконсультom в промышленности (на заводе, в главке), в журнале “Изобретатель и рационализатор”. В 1964 начал печататься в “Литературной газете”. В 1966 стал членом Союза писателей СССР. С 1970 по настоящее время — обозреватель “Литгазеты”.

**Виноградов Игорь Иванович** (р.1930) — критик, литературовед. Окончил филологический факультет МГУ. Работал в Институте философии, Институте истории искусств, Институте психологии. Преподавал в Литературном институте. В журнале “Новый мир” времен А.Т. Твардовского был критиком, возглавлял отдел прозы, пять лет вел отдел критики, входил в состав редколлегии. Автор нескольких книг и многих статей по вопросам теории литературы, истории русской культуры. В настоящее время — главный редактор журнала “Континент”.

**Волков Александр Иванович** (р.1929) — журналист, доктор исторических наук, профессор. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности — журналистика. Работал в газете “Алтайская правда”, затем собственным корреспондентом “Известий” по Алтайскому краю, по Ростовской области, редактором отдела и членом редколлегии “Советской России”, заместителем заведующего отделом “Правды”. В 1970 перешел на должность заведующего сектором в Институт конкретных социальных исследований

АН СССР. Впоследствии — заведующий отделом журнала “Проблемы мира и социализма” (Прага), профессор Академии общественных наук, заведующий научным отделом Института общественных наук при ЦК КПСС, эксперт Горбачев-Фонда. Ныне — независимый журналист.

**Гайдар Егор Тимурович** (р.1956) — доктор экономических наук, политический деятель. Окончил экономический факультет МГУ. Работал во Всесоюзном НИИ системных исследований, Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. С 1987 — редактор отдела, член редколлегии журнала “Коммунист”, затем газеты “Правда”. Вернулся в науку. Вошел в правительство РСФСР, занимался вопросами экономической реформы, финансов. В июне-декабре 1992 — исполняющий обязанности Председателя правительства РФ; в сентябре 1993 — январе 1994 — первый заместитель Председателя правительства России; ушел в отставку. В настоящее время — депутат Госдумы, председатель партии “Демократический выбор России”, директор Института экономических проблем переходного периода.

**Гладилин Анатолий Тихонович** (р.1935) — писатель. Учился в Литературном институте. В 1956 опубликовал первую книгу — “Хроника времен Виктора Подгурского”, ставшую “первенцем” молодежной прозы периода оттепели. В 1958 возглавил отдел литературы и искусства газеты “Московский комсомолец”. В 1960 принят в Союз писателей СССР. Издал десять книг (половина из них напечатана в журнале “Юность”). В 70-е был близок к семье А.Д. Сахарова и диссидентскому движению. В 1976 эмигрировал во Францию. С 1978 — заведующий отделом культуры парижского бюро радиостанции “Свобода”. Сотрудничал с газетой “Панорама” (Лос-Анджелес) и радиостанцией “Немецкая волна”. В эмиграции опубликовал на русском языке еще пять книг. В настоящее время живет в Париже, занимается литературной и журналистской деятельностью.

**Грушин Борис Андреевич** (р.1929) — доктор философских наук, профессор. Окончил философский факультет МГУ. В 1960, будучи сотрудником “Комсомольской правды”, организовал Институт общественного мнения газеты (за 7 лет было проведено 27 опросов). Работал в журнале “Проблемы мира и социализма”, в Институте философии, Институте конкретных социальных исследований АН СССР, где возглавлял Центр изучения общественного мнения. Руководил крупнейшим исследовательским проектом (в рамках проекта “Таганрог”), итогом которого стала книга “Массовая информация в советском промышленном городе”. Автор ряда публикаций по проблемам массового сознания. В 1990 создал службу изучения общественного мнения “Vox populi”, которую возглавляет и в настоящее время.

**Заславская Татьяна Ивановна** (р.1927) — доктор экономических наук, профессор, академик (1981). Окончила экономический факультет МГУ. В начале 60-х работала в Институте экономики АН СССР, затем переехала в новосибирский Академгородок, где с 1968 по 1987 г. возглавляла отдел социальных проблем Института экономики и организации промышленного производства. В 1989–1992 — народный депутат СССР. Возглавляла ВЦИОМ и Советскую социологическую ассоциацию. С 1993 — сопresident Междисциплинарного академического центра социальных наук (Интерцентр).

**Кон Игорь Семенович** (р.1928) — доктор философских наук, профессор, академик Российской академии образования. Окончил Ленинградский педагогический институт. Преподавал в ряде вузов, в том числе в Ленинградском университете (1957–1967). Работал в Институте конкретных социальных исследований (заведующий сектором), Институте этнографии АН СССР. Автор многих книг и публикаций в печати. Среди основных работ — “Позитивизм в социологии”, “Социология личности”, “Психология юношеской дружбы”, “Открытие “я””, “В поисках себя (личность и ее самосознание)”, “Научно-техническая революция и проблемы социализации молодежи”, “Этнография детства”, “Введение в сексологию”. В настоящее время — главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Почетный профессор Корнельского университета (США).

**Коротич Виталий Алексеевич** (р.1936) — писатель. Окончил Киевский государственный медицинский институт, ординатуру. В течение шести лет — врач-кардиолог в сельской больнице. Затем работал редактором журнала “Всесвіт”, вел теле- и радиопередачи, опубликовал ряд романов и сборников стихов. С 1981 — секретарь правления Союза писателей СССР. Главный редактор журнала “Огонек” (1986–1991), народный депутат СССР (1989–1992). В дальнейшем преподавал в Бостонском университете. В настоящее время — старший стипендиат Гуверовского фонда (США), член редколлегий нескольких отечественных изданий.

**Лацис Отто Рудольфович** (р.1934) — журналист, доктор экономических наук. Окончил факультет журналистики МГУ. Работал в газетах “Советский Сахалин”, “Экономическая газета”, “Известия”. Уехал в Прагу, в журнал “Проблемы мира и социализма”, где возглавлял отдел (1971–1975). Был отозван в связи с “делом Карпинского — Лациса”. В 1975–1986 работал в Институте экономики мировой социалистической системы АН СССР. Затем — первый заместитель главного редактора журнала “Коммунист” (1986–1991), политический обозреватель “Известий” (1991–1997). Избирался в ЦК КПСС (1990–1991), был членом Президентского совета. Лауре-

ат президентской премии “Лучший журналист печатной прессы” (1996). В настоящее время — заместитель главного редактора газеты “Новые Известия”.

**Левада Юрий Александрович** (р.1930) — доктор философских наук, профессор. Окончил философский факультет МГУ. С 1960 работал в Институте философии, затем перешел в Институт конкретных социальных исследований АН СССР, где возглавлял сектор теории. В 1969 опубликовал “Лекции по социологии”, подвергнутые идеологической критике, после чего практически не имел доступа в печать. В 1972–1988 работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. С конца 80-х — заведующий отделом, затем директор ВЦИОМ. Главный редактор журнала (бюллетеня) “Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения”.

**Лисичкин Геннадий Степанович** (р.1929) — публицист, доктор экономических наук, профессор. Окончил Московский государственный институт международных отношений. Работал в Министерстве иностранных дел СССР. В 1953 добровольно поехал в Казахстан, три года был председателем колхоза. В дальнейшем — сотрудник посольства СССР в Югославии, редактор отдела газеты “Известия”, экономический обозреватель “Правды”. С 1968 работал в системе Академии наук СССР. В настоящее время — главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН.

**Максимова Элла Максовна** (р.1926) — журналист. Окончила филологический факультет МГУ. Публиковалась в “Литературной газете”, “Московском комсомольце”, в журналах “Знамя”, “Смена”. С 1959 — специальный корреспондент газеты “Известия”, где и продолжает работать.

**Пархоменко Сергей Борисович** (р.1964) — журналист. Окончил факультет журналистики МГУ. В 1986–1990 — сотрудник журнала “Театр” (редактор, заведующий отделом публицистики). Затем перешел в “Независимую газету”, в создании которой участвовал. Параллельно работал консультантом в московском бюро агентства “France Presse”. Был в числе организаторов газеты “Сегодня”, а потом и ее сотрудников (1992–1995). В течение года готовил проект журнала “Итоги”. С первого его номера (1996) по настоящее время — главный редактор журнала.

**Петровская Ирина Евгеньевна** (р.1960) — журналист. Окончила факультет журналистики МГУ. Первые годы сотрудничала с телевидением, писала для различных изданий рецензии и критические обзоры. В 1990–1993 работала в журналах “Журналист”, “Огонек”, в “Независимой газете”. С конца 1993 — обозреватель “Общей газеты” и одновременно главный редактор еженедельника “7 дней”. В 1995 перешла

в “Известия”, где проработала пять лет. Лауреат премии Академии свободной прессы (1998). В настоящее время — обозреватель “Общей газеты”.

**Пугачева Марина Геннадиевна** (р.1958) — историк-архивист, социолог. Окончила Московский государственный историко-архивный институт. Работала в Центральном государственном архиве литературы и искусства (1982–1985). С 1985 — в Институте социологии РАН (руководитель Историко-социологического архива, старший научный сотрудник). В настоящее время ведет научно-исследовательский проект “Российская социология в документах и воспоминаниях”.

**Сенокосов Юрий Петрович** (р.1938) — историк, философ. Окончил исторический факультет МГУ и аспирантуру Института философии АН СССР. Работал в журналах “Вопросы философии”, “Проблемы мира и социализма”, “Общественные науки”. Как научный редактор вел серию книг “Из истории отечественной философской мысли” — приложение к журналу “Вопросы философии”. В настоящее время — председатель Совета Фонда философских междисциплинарных исследований им. М.К. Мамардашвили, эксперт Московской школы политических исследований. В рамках деятельности школы руководит изданием двух серий книг — по политологии и политической культуре. Редактор журнала на английском языке “Russia on Russia”.

**Симонов Алексей Кириллович** (р.1939) — кинорежиссер, общественный деятель. Окончил факультет восточных языков МГУ (индонезийское отделение). Работал переводчиком в Джакарте. В 1964–1967 — редактор издательства “Художественная литература”. Затем, по окончании Высших режиссерских курсов, работал в творческом объединении “Экран”, преподавал во ВГИКе. С 1991 по настоящее время — президент Фонда защиты гласности.

**Степанов Лев Васильевич** (р.1929) — журналист-международник, кандидат экономических наук. Окончил экономический факультет МГУ. Работал в издательстве “Иностранная литература”, журнале “Новое время”, в Посольстве СССР в Индии, в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, был заместителем главного редактора журнала “МЭиМО”. В течение двенадцати лет (1971–1983) работал в Праге, в журнале “Проблемы мира и социализма”, возглавляя группу консультантов. Затем — консультант отдела ЦК КПСС. В настоящее время занимается переводческой и редакторской работой.

**Шакиров Раф Салихович** (р.1960) — информационщик (определение автора), кандидат исторических наук. Окончил исторический факультет МГУ. В 1984–1991 работал в Институте мировой экономи-

ки и международных отношений АН СССР. С 1991 — в “Коммерсанте”: заведующий международным отделом, заместитель главного редактора, первый главный редактор еженедельника “Деньги”, главный редактор газеты “Коммерсант”, признанной лучшим проектом последнего десятилетия. Недолгое время (с февраля по апрель 2000) работал на телевидении генеральным директором ЭСМИ “Вести” на ВГТРК.

**Шляпентох Владимир Эммануилович** (р.1926) — российско-американский социолог, доктор экономических наук, профессор. Окончил Киевский университет и Московский заочный статистический институт. Преподавал статистику в учебных заведениях Саратова. С 1962 по 1969 — в новосибирском Академгородке, преподавал в НГУ, затем сотрудник ИСИ АН СССР. В 1979 эмигрировал в США. Профессор Мичиганского университета, автор работ по методологии исследований, истории советской социологии, изучению общественного мнения, социальных ценностей.

**Шубкин Владимир Николаевич** (р.1923) — доктор философских наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны. Окончил экономический факультет МГУ. В 60-е был научным сотрудником Института философии АН СССР, затем уехал в новосибирский Академгородок, заведовал сектором в Институте экономики и организации промышленного производства, отделом — в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР, преподавал в Новосибирском университете. С 1969 по 1972 — заведующий отделом Института конкретных социальных исследований, в 1972–1991 — заведующий отделом Института международного рабочего движения. С 1991 работает в Институте социологии РАН. В настоящее время — главный научный сотрудник, руководитель Центра социологии образования и молодежи.

**Ядов Владимир Александрович** (р.1929) — доктор философских наук, профессор. Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. Некоторое время был на комсомольской работе, затем преподавал в ЛГУ. В конце 50-х организовал лабораторию социологических исследований. Руководил проектом “Человек и его работа”. В 1963–1964 стажировался в Англии. В 1968 вместе с лабораторией вошел в состав Института конкретных социальных исследований. В 1975–1988 работал в Институте социально-экономических проблем АН СССР, в ленинградском отделении Института истории естествознания и техники. С 1988 по 2000 — директор Института социологии РАН. В настоящее время — главный научный сотрудник, руководитель Центра исследования социальных трансформаций.

**Яковлев Егор Владимирович** (р.1930) — журналист. Окончил Московский государственный историко-архивный институт. Работал в газетах “Ленинское знамя”, “Московская правда”, “Советская Россия”,

“Известия”. Возглавлял журнал “Журналист”, был заместителем ответственного секретаря в журнале “Проблемы мира и социализма”. В 1986–1991 — главный редактор газеты “Московские новости”. В 1990 присуждена ежегодная миланская премия “Журналист Европы”. В дальнейшем был председателем Российской государственной телерадиокомпании “Останкино”, членом Политического консультативного совета при Президенте СССР. Народный депутат СССР (1989–1992). В 1992 создал “Общую газету” и по настоящее время является ее учредителем и главным редактором.

**Яницкий Олег Николаевич** (р.1933) — доктор философских наук, профессор. Окончил Московский архитектурный институт. В 1957–1966 работал в Академии строительства и архитектуры. С 1967 — в системе Академии наук СССР. В 1976–1989 был экспертом ЮНЕСКО по проблемам социальной экологии. В настоящее время — главный научный сотрудник Института социологии РАН, координатор исследовательской сети по социальным движениям Европейской социологической ассоциации.

**Ярмолюк Светлана Федоровна** (р.1936) — журналист, кандидат философских наук. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в газетах “Советская Россия”, “Известия” (специальный корреспондент), в журналах “Проблемы мира и социализма” (редактор-консультант), “Коммунист” (редактор-консультант, заведующая отделом, член редколлегии). С 1993 — в Институте социологии РАН. Ведущий научный сотрудник.



# Именной указатель

- Абрамов, Ф. А. — 102  
Авдеевко, С. — 403  
Авен, П. О. — 296  
Автономова, Н. — 171  
Аганбегян, А. Г. — 109, 119, 274  
Аграновский, А. А. — 28, 85, 92, 191, 287, 388, 411  
Адамович, А. — 260  
Аджубей, А. И. — 8, 12–14, 23, 25–32, 34–35, 39, 45, 55, 59, 73, 83, 93, 263  
Аджубей, Р. Н. — 70  
Аксёнов, В. П. — 228–229, 233  
Алексеев, В. И. — 295  
Алексеев, М. А. — 88  
Альбац, Е. М. — 87  
Альтгюссер, Луи — 172  
Амальрик, А. А. — 214  
Амбарцумов, Е. А. — 260, 287  
Амосов, Н. М. — 43  
Андреева, Н. А. — 310–311  
Андроников, И. Л. — 38  
Андропов, Ю. В. — 219–224, 318, 336  
Анпилов, В. И. — 329, 421  
Антокольский, П. Г. — 38, 43  
Апдайк, Джон — 320  
Арзуманян — 73  
Астафьев, В. П. — 102  
Атлас, М. — 73  
Афанасьев, Ю. Н. — 320, 346  
Ахиезер, А. С. — 255  
Ахматова, А. А. — 126, 281–282, 286, 328  
Басилашвили, О. В. — 361  
Батурин, Ю. — 432  
Бахтин, М. М. — 173  
Бек, А. А. — 40, 197  
Белов, В. И. — 102, 248  
Бердяев, Н. А. — 76  
Березовский, Б. А. — 81, 377  
Берия, Л. П. — 16, 278, 308  
Бернев, Г. — 40  
Биккенин, Н. Б. — 280, 283–284,  
Бирман, А. М. — 97, 101  
Бирман, И. — 101  
Бирюков, Д. — 312  
Блок, А. А. — 38  
Богат, Е. — 191–192  
Богомолов, О. Т. — 287  
Болдин, В. И. — 278–279,  
Болотов, А. Т. — 247  
Болховитинов, В. Н. — 37, 38, 39, 40  
Бондарев, Ю. В. — 281  
Бор, Нильс — 120  
Борин, А. Б. — 198  
Брежнев Л. И. — 15, 22, 29, 30, 78, 219, 278  
Бродский, И. А. — 239  
Бронштейн, М. — 101  
Бруно, Джордано — 80  
Брутенц, К. Н. — 204  
Буковский, В. К. — 116, 385, 421  
Булгаков, М. А. — 115  
Бунин, И. А. — 38  
Бурденко, Н. Н. — 39  
Бурков, Б. С. — 35  
Бурлацкий, Ф. М. — 199  
Буртин, Ю. Г. — 127–129, 134  
Бухарин, Н. И. — 272, 276–277, 286, 422  
Быков, Р. А. — 361

- Вавилов, Н. И. — 174  
 Ваксберг, А. И. — 192, 388, 427  
 Васинский, А. Г. — 244  
 Вебер, Макс — 350  
 Венжер, В. Г. — 78  
 Веселовский, В. — 197  
 Винокур — 73  
 Вишневский, А. Г. — 171  
 Владимов, Г. Н. — 231, 239  
 Водолазов, А. Г. — 134  
 Вознесенский, А. А. — 23, 176  
 Вознесенский, Н. А. — 16, 18,  
 Волкогонов, Д. А. — 173  
 Волков, А. И. — 71, 204  
 Воронов — 94, 100  
 Воронов, Ю. П. — 48, 95, 199, 312  
 Ворошилов, К. Е. — 20  
 Выжугович, В. В. — 244
- Газенко, О. Г. — 43  
 Гайдар, Е. Т. — 279, 286, 298, 345  
 Гайдар, Т. А. — 260, 290  
 Гатовский, Л. М. — 74  
 Гдлян, Т. Х. — 198, 317  
 Гейзенберг, Вернер — 120–121,  
 Гельман, А. И. — 260  
 Герцен, А. И. — 79  
 Гёте, Иоганн — 68  
 Гинзбург, А. И. — 201, 214, 230  
 Глазунов, И. — 314  
 Глогов, В. — 286–287  
 Голембиовский, И. Н. — 275, 412,  
 425  
 Голль, Шарль де — 317  
 Головин, Н. — 295  
 Горбачев, М. С. — 11, 28, 78, 102,  
 118, 174, 200, 232, 259, 275, 287,  
 291, 297, 308, 317–318, 331, 338,  
 344–345, 364  
 Горький, Максим — 35, 37, 359  
 Горюнов, Д. П. — 24, 263–264  
 Гранин, Д. А. — 41  
 Гребнев, А. В. — 31, 83  
 Грибачев, Н. М. — 233  
 Гришин, В. В. — 188  
 Громько, А. А. — 187  
 Грушин, Б. А. — 116, 169–170,  
 175–176, 366, 442
- Грызунов, С. — 423  
 Губин, — 31  
 Гужвин, П. Ф. — 101  
 Гулыга, А. В. — 169  
 Гумилев, Н. С. — 311  
 Гуревич, В. — 106–107  
 Гурьянов, А. В. — 60
- Давыдов, Ю. Н. — 250, 255  
 Давыдченков, В. — 109–110, 117  
 Данин, Д. С. — 37  
 Дансоко, Амаду — 213  
 Дедков, И. А. — 134, 276, 281–282,  
 286  
 Деелстра, Т. — 250  
 Дегость, Е. — 380  
 Джексон, Майкл — 312  
 Джилас, Милован — 11, 77  
 Джонсон, Линдон — 324  
 Добродеев, О. Б. — 413  
 Добролюбов, Н. А. — 134  
 Дорош, Е. Я. — 75, 102, 136,  
 Достоевский, Ф. М. — 182  
 Друзенко, А. И. — 71, 260  
 Дубинин, Н. П. — 174  
 Дубчек, Александр — 119, 209  
 Дудинцев, В. Д. — 159  
 Дюркгейм, Эмиль — 437
- Евтушенко, Е. А. — 23, 176, 233,  
 238, 309, 313, 318  
 Ежов, Н. И. — 278  
 Елисева, В. Ф. — 144  
 Ельцин, Б. Н. — 268, 285, 303,  
 312–313, 316, 318, 320, 331, 364,  
 382  
 Емельянов, А. М. — 101  
 Ермилов, В. В. — 28  
 Ермонский, А. Н. — 224  
 Ерофеев, В. В. — 228  
 Ефимов, Б. — 35
- Жванецкий, М. М. — 237  
 Жданов, А. А. — 281, 286  
 Жириновский, В. В. — 316, 367

- Залыгин, С. П. — 138, 159, 276, 281, 295  
 Замошкин, Ю. А. — 175, 250  
 Зародов, К. И. — 93–95, 201, 210, 213, 263, 265  
 Заславская, Т. И. — 291, 313, 447  
 Захаров, А. А. — 183  
 Захаров, М. А. — 286  
 Здравомыслов, А. Г. — 116, 169  
 Зиганшин, Асхат — 33  
 Зильберман, Д. — 171  
 Зиммель, Георг — 437  
 Зимянин, М. В. — 76, 95, 104  
 Зиновьев, А. А. — 175  
 Злобин, К. С. — 73  
 Золотусский, И. П. — 134  
 Зошенко, М. М. — 281–282, 286
- Иванова, Л. М.** — 91  
**Ивантер, В. В.** — 104  
**Ильичев, Л. Ф.** — 30,  
**Исмаилова, Н. Х.** — 71
- Кагаловский, К. Г. — 296, 300  
 Кадышев — 73  
 Казакевич, Э. — 28  
 Калинина, Ю. — 410  
 Калистратова, С. В. — 190–191  
 Капица, П. Л. — 40, 171, 174  
 Каплун, И. Э. — 193, 196  
 Кардель, Эдвард — 70  
 Карлюк, И. — 101  
 Карпинский, Л. В. — 78–79, 116, 259–260, 264, 279, 287  
 Карякин, Ю. Ф. — 170, 208, 260, 310  
 Каспаров, Г. К. — 320  
 Кассиров, Л. — 78, 101  
 Кастро, Фидель — 320  
 Катаев, В. П. — 125  
 Квиатовский, Жорж — 212  
 Кейнс, Джон — 69  
 Келле, В. Ж. — 169, 175  
 Кидрич, Б. — 70  
 Кириленко, А. П. — 94  
 Кирклисова, М. И. — 39, 75  
 Киселев, Е. А. — 386
- Клямкин, И. М. — 287  
 Кобзон, И. Д. — 319  
 Кожевников, В. М. — 136  
 Кожокин, М. М. — 411–412  
 Козлов, А. — 214  
 Кокашинский, В. — 193  
 Колесников, А. В. — 380  
 Колесников, С. — 276,  
 Колмогоров А. Н. — 171  
 Кольцов, М. Е. — 35  
 Кон, И. С. — 255  
 Кондратович, А. — 137–138  
 Кондратьев, В. — 69  
 Кондрашов, С. Н. — 31, 260  
 Конквест, Роберт — 307  
 Константинов, Ф. В. — 147, 170  
 Конт, Огюст — 370  
 Коперник, Николай — 80  
 Коржавин, Н. — 238  
 Корнаи — 296, 298  
 Коротич, В. А. — 343  
 Косолапов, Р. И. — 111, 272  
 Косыгин, А. Н. — 278  
 Кочетов, В. А. — 125, 136  
 Коэн, Стивен — 277  
 Кравченко, Л. П. — 424  
 Кривошеев, В. М. — 27, 70, 85,  
 Кронрод, Э. — 73–74  
 Крутилин, С. А. — 102  
 Крючков, В. А. — 308  
 Крючковский, А. — 33  
 Кузнецов, А. А. — 16  
 Кулаков, Ф. Д. — 104  
 Куньял, Альваро — 202  
 Курашвили, Б. П. — 347  
 Курчагов, И. В. — 66
- Лавров, К. Ю.** — 361  
**Лаговской, И. К.** — 39  
**Лакшин, В. Я.** — 75, 90, 134, 137–138, 261  
**Лаптев, И. Д.** — 260  
**Лассуэлл, Гарольд** — 438  
**Лауристин, Марью** — 255  
**Лацис, О. Р.** — 71, 97, 134, 287, 291–292, 297, 438, 449  
**Лебедев, В. С.** — 23  
**Левада, Ю. А.** — 169

- Леви-Стросс, Клод — 172  
 Лекторский, В. А. — 175  
 Ленин, В. И. — 15, 28, 220, 329, 422  
 Леонов, Л. М. — 38, 137,  
 Леонтьев, Л. А. — 73, 81, 101  
 Лехляйтер, Фриц — 211  
 Либерман, Е. Г. — 101  
 Либих, Юстус — 67  
 Лигачев, Е. К. — 261, 273, 280, 284, 309, 311–312, 317  
 Липман, Мария — 403  
 Лисичкин, Г.С. — 27, 73, 95, 98, 104, 134, 265, 287  
 Лихачев, Д. С. — 173  
 Лордкипанидзе Н. — 71  
 Лосев, А. Ф. — 173  
 Лотман, Ю. М. — 64, 173  
 Лоуэлл, Роберт — 309  
 Лужков, Ю. М. — 81  
 Лукин, В. П. — 209  
 Лысенко, Т. Д. — 164, 171
- Максимов, В. Е. — 139, 232–233, 238–240  
 Максимова, Э. М. — 90, 244  
 Мамардашвили, М. К. — 170–172, 174–177, 180, 182, 250  
 Мандельштам, О. Э. — 38, 232  
 Манучарова, Ж. — 351  
 Маркс, К. — 76, 220, 350  
 Маслоу, Абрахам — 436  
 Мау, В. А. — 296  
 Машеров, П. М. — 189  
 Медведев, Ж. А. — 132, 174  
 Мелентьев, А. — 292  
 Менжинский, В. Р. — 278  
 Мережковский, Д. С. — 330  
 Микеланджело, Буонарроти — 80  
 Микоян, А. И. — 26, 29,  
 Милошевич, Слободан — 365  
 Митин, М. Б. — 170  
 Мишустина, Л.П. — 183  
 Можаяв, Б. А. — 102  
 Молотов, В. М. — 278  
 Момджян, Х. Н. — 147  
 Мурадели, В. И. — 281  
 Мушкина, Е. Р. — 144
- Набоков, В. В. — 330  
 Нагибин, Ю. М. — 233  
 Надирашвили, Ш. А. — 440  
 Наровчатов, С. С. — 38  
 Некрасов, В. П. — 90, 236, 239, 261, 419  
 Немчинов, В. С. — 101  
 Николай I — 370  
 Никонов, А. А. — 342  
 Никулин, Ю. В. — 319  
 Нилин, П. Ф. — 38, 39, 136,  
 Новиков, М. — 224  
 Новиков, Н. В. — 250
- Овечкин, В. В. — 102  
 Окуджава, Б. Ш. — 38, 229, 233–235, 374  
 Олсон — 299  
 Орлов, Б. С. — 85  
 Орлов, В. Е. — 37  
 Оруэлл, Джордж — 177  
 Осипов, Г. В. — 169  
 Ослон, А. — 61  
 Островский, Н. А. — 359  
 Остроумов, Г. Н. — 32, 37  
 Оуэн, Роберт — 285
- Панкин, Б. Д. — 48  
 Парк, Роберт — 244  
 Парсонс, Толкотт — 250, 350  
 Пастернак, Б. Л. — 126  
 Пелевин, В. — 359  
 Петрова, А. — 404  
 Петровская, И. Е. — 406  
 Печенев, В. А. — 221–222, 225  
 Пиночет, Аугусто — 317  
 Писаржевский, О. Н. — 37, 256  
 Плеханов, Г. В. — 449  
 Плутник, А. — 244, 260  
 Познанская, Л. Н. — 37  
 Полозков, И. К. — 284  
 Полянский, Д.С. — 100  
 Поляновский, Э. — 244  
 Померанц, Г. С. — 159  
 Пономарев, Б. Н. — 217  
 Попов, Г. Х. — 40, 346  
 Попов, Е. — 228

- Поплавский, Ф. — 33  
 Поршнев, Б. Ф. — 80  
 Примаков, Е. М. — 227  
 Прошунин, Н. Ф. — 218  
 Пугачева, Л. И. — 196  
 Путин, В. В. — 345  
 Пятигорский, А. М. — 240
- Радов, Г. Г. — 102, 191  
 Рамзин, Л. К. — 278  
 Распутин В. Г. — 102, 249  
 Рейган, Нэнси — 312  
 Рекунков, А. М. — 193  
 Рождественский, Р. — 314  
 Рост, Ю. — 244  
 Рубинов, А. З. — 144, 244  
 Рублев, Андрей — 80  
 Румянцев А. М. — 72–73, 109, 200  
 Рыжков, В. А. — 183  
 Рыжков, Н. И. — 274–275, 291  
 Рыжов, Ю. А. — 260  
 Рязанов, Э. А. — 35, 190
- Салтыков–Щедрин, М. Е. — 372  
 Салуцкий, А. — 342–343  
 Самарджиа — 70  
 Самюэльсон, Пол — 69  
 Сарада, Митра — 211–212  
 Сахаров, А. Д. — 66, 80, 118, 149, 317, 346  
 Сац, И. А. — 137  
 Свинаренко, И. — 380  
 Седых, А. — 233–234  
 Семенов, Н. Н. — 38, 171  
 Сен–Симон, Клод — 370  
 Сименон, Жорж — 359  
 Симонов, А. К. — 29  
 Симонов, К. М. — 18, 29, 115, 187  
 Скларов, Ю. — 219  
 Скотт, Вальтер — 328  
 Смирнов–Черкезов, А. И. — 188  
 Смрковский, Йозеф — 209  
 Соколов, М. — 380  
 Солженицын, А. И. — 115, 116, 118, 166, 208, 237, 249, 252, 288, 307, 312, 421  
 Солодин, В. А. — 308
- Солоухин, В. А. — 39  
 Софронов, А. В. — 233  
 Сталин, И. В. — 15–20, 25, 29, 78, 126, 233, 329  
 Старков, В. А. — 261  
 Старовойтова, Г. В. — 320  
 Стейнбек, Джон — 328  
 Степанский, А. Д. — 247  
 Страда, Витторио — 105  
 Стрельников, Б. — 33  
 Стреляный, А. И. — 138, 275–276  
 Стукалин, Б. И. — 104  
 Стуруа, М. Г. — 31  
 Суслов, М. А. — 25, 30, 77, 98, 173, 204  
 Сырокомский, В. А. — 115, 144, 186, 188, 190, 193–194
- Твардовский, А. Т. — 11, 28, 82, 114, 124–126, 134, 137, 147, 158, 176, 258  
 Твардовская, М. И. — 159  
 Тендряков, В. Ф. — 38  
 Теребилов, В. И. — 190  
 Тимофеев, Ю. П. — 192  
 Титов, Г. С. — 60  
 Толкунов, Л. Н. — 267  
 Толстой, Л. Н. — 182  
 Торсуев, Ю. В. — 79, 287  
 Трапезников, С. П. — 173, 340  
 Тримбл, Дж. — 312  
 Трифонов, Ю. В. — 138  
 Троцкий, Л. Д. — 28  
 Троянкер, А. — 404  
 Турен, Ален — 249–250  
 Тэсс, Т. Н. — 28, 31, 85, 191
- Удальцов — 199  
 Узнадзе, Д. Н. — 440  
 Ульянов, М. А. — 361  
 Улюкаев, А. В. — 295–296  
 Урбани, Доминик — 202  
 Урланис, Б. Ц. — 166  
 Устинов, Д. Ф. — 189
- Фадин, А. В. — 244  
 Федоров, А. С. — 37

- Федосеев, П. Н. — 169  
Федотов, И. — 33  
Феофанов Ю. В. — 31, 260  
Фетисов, В. — 323  
Фишер, Джордж — 164  
Францев, Ю. П. — 200  
Фрейд, Зигмунд — 350  
Фролов, И. Т. — 170–173, 272, 283,  
301, 318  
Фрумкин М. Е. — 32
- Хавинсон, Я. С. — 207, 215  
Хайдеггер, Мартин — 172  
Хитров, М. — 75  
Хлевнюк, О. — 277  
Ходорковский, М. Б. — 81  
Хорос — 134  
Хренников, Т. Н. — 281  
Хрушев, Н. С. — 14–15, 18–23,  
28–29, 50, 55, 57, 59, 67, 108,  
126, 281
- Цветаева, М. И. — 328  
Цивина, Д. — 380  
Ципко, А. С. — 40, 41
- Чайковская, О. — 192, 388  
Чаковский, А. Б. — 114, 186–189,  
191, 198–199, 235  
Чангли, И. И. — 76  
Чаплин, Чарльз — 33–34  
Чебриков, В. М. — 307  
Челфелд — 319  
Черненко, К. У. — 223–224  
Черниченко, Ю. Д. — 93, 95,  
104–105, 134, 265  
Черняев, А. С. — 173, 204, 209, 226  
Черчилль, Уинстон — 313, 317, 408  
Чехов, А. П. — 421  
Чубайс, А. Б. — 296, 381
- Шапиро, М. М. — 187  
Шаталин, С. С. — 279–280  
Шахназаров Г. Х. — 202, 218  
Шварц, Е. Л. — 153  
Шекспир, Уильям — 68  
Шик, Ота — 75, 215–216  
Шипунов, Ф. — 243  
Шкаратан, О. И. — 255  
Шляпентох, В.Э. — 59, 112, 116  
Шмелев, Н. П. — 260, 287  
Шостакович, Д. Д. — 281  
Шохин, А. Н. — 295  
Шпрингер — 232  
Шубкин, В. Н. — 116  
Шубкин, Н. Ф. — 166–167
- Эйдельман, Н. Я. — 38, 269  
Эйзенхауэр, Дуайт — 324  
Эллиот, Эбенезер — 309  
Энгельс, Фридрих — 76–77, 220  
Эман, Родни — 212  
Эренбург, И. Г. — 28, 90
- Юмашев, В. — 314, 316, 319  
Юровский — 69
- Ягодкин, В. Н. — 173  
Ядов, В. А. — 165, 169, 255, 447  
Язов, Д. Т. — 318  
Яков, В. — 244  
Яковлев, А. Н. — 17, 119, 154, 260,  
265, 274, 280, 284, 309, 311, 313,  
318, 354  
Яковлев, В. Е. — 375–376, 380, 409  
Яковлев, Е. В. — 95, 267, 271, 254  
Яницкий, О. Н. — 255  
Ярошенко, В. — 295  
Ясин, Е. Г. — 29  
Яшин, А. Я. — 90, 102

П 77     **Пресса в обществе (1959–2000).** Оценки журналистов и социологов. Документы /Авторы и исполнители проекта А.И. Волков, М.Г. Пугачева, С.Ф. Ярмолюк. Издательство Московской школы политических исследований. 2000. — 616 с.

ISBN 5–93895–008–2

Эта книга — совместный труд журналистов и социологов. Роль прессы в обществе, ее влияние на сознание людей и социальные процессы, развивавшиеся в России во второй половине уходящего столетия, а вместе с тем — проблемы современной печати, претерпевшей глубокую трансформацию, оценивают в своих интервью Р.Н. Аджубей, А.Б. Борин, И.И. Виноградов, А.И. Волков, Е.Т. Гайдар, А.Т. Гладилин, Б.А. Грушин, Т.И. Заславская, И.С. Кон, В.А. Коротич, О.Р. Лацис, Ю.А. Левада, Г.С. Лисичкин, Э.М. Максимова, С.Б. Пархоменко, И.Е. Петровская, Ю.П. Сенокосов, А.К. Симонов, Л.В. Степанов, Р.С. Шакиров, В.Э. Шляпентох, В.Н. Шубкин, В.А. Ядов, Е.В. Яковлев, О.Н. Яницкий.

Уверены, что эта книга будет интересна журналистам, социологам, историкам, другим специалистам в сфере общественных наук, преподавателям, студентам, аспирантам кафедр журналистики, политологии, социологии, а также широкому кругу читателей.

**ББК 84.7**

Библиотека Московской школы  
политических исследований

## *Пресса в обществе (1959–2000)*

Оценки журналистов и социологов.  
Документы

Ответственный за выпуск *О. Разуменко*  
Корректоры *С. Наджафова, Н. Мышковская*  
Художник *А. Бондаренко*  
Компьютерная верстка *О. Козак*



Сдано в набор 11.09.2000. Подписано в печать 13.10.2000.  
Формат издания 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс".  
Усл. п. л. 38?5. Тираж 3000 экз. Заказ № 500.

Московская школа политических исследований  
121854, ГСП-2, Москва, Большая Никитская ул., 44-2, комн. 22  
e-mail: [mmps@co.ru](mailto:mmps@co.ru)  
<http://www.mmps.ru>

ЛР № 00972 от 14.02.2000.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской типографии № 6  
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств  
массовых коммуникаций, 109088, Москва, Южнопортовая ул., 24



9 785938 950085